ГЕРМАН

МЕЛВИЛЛ

Энкантадас



ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА

Энкантадас
Герман Мелвилл

Аннотация
Герман Мелвилл. Энкантадас. Сборник
Тайпи
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX

XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
Бенито Серено
Писец Бартлби
Энкантадас, или Заколдованные острова
Очерк первый. Общее впечатление от этих островов
Очерк второй. Две стороны черепахи
Очерк третий. Утес Родондо
Очерк четвертый. Вид с птичьего полета
Очерк пятый. Фрегат и «Летучий корабль»
Очерк шестой. Остров Баррингтон и флибустьеры

Очерк седьмой. Остров Карла и собачий король
Очерк восьмой. Остров Норфолк и вдова Чола
Очерк девятый. Остров Гуда и отшельник Оберлус
Очерк десятый. Преступники, жертвы, отшельники, надгробия и пр
Билли Бадд, фор-марсовый матрос
Предисловие
I
II
И в мыслях, и в словах прямого,. Что в город привело, о Фабиан, тебя?
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI

XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
Отступление
XXIII
XXIV
XXV
XXVI

Аннотация

Молодой матрос Герман Мелвилл, автор знаменитого «Моби Дика», за несколько лет обогнул почти весь земной шар, и этот опыт послужил источником вдохновения для многих его произведений.

Капитан испанского корабля везет партию «живого товара» и не замечает надвигающегося бунта…

Матрос, повздорив с капитаном, дезертирует и несколько месяцев живет на острове с каннибалами…

На «заколдованных» островах обитают невероятных размеров черепахи и военные ловят призраков…

А таинственный писец с Уолл-стрит, явившийся из «отдела невостребованных писем», объявляет бойкот всему обществу…

В данное издание вошли: дебютный роман Мелвилла «Тайпи», повести «Энкантадас, или Заколдованные острова», «Бенито Серено», «Билли Бадд, фор-марсовый матрос» и «Писец Бартлби».

Герман Мелвилл
Энкантадас. Сборник

Серия «Зарубежная классика»

Перевод с английского



© Перевод. И. Бернштейн, наследники, 2023
© Перевод. М. Лорие, наследники, 2023
© Перевод. И. Гурова, наследники, 2023
© Перевод. В. Топоров, наследники, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2023

Тайпи

I

Полгода в открытом море! Да, да, читатель, вообрази: полгода не видеть суши, гоняясь за кашалотами под палящими лучами экваториального солнца по широко катящимся валам Тихого океана — только небо вверху, только море и волны внизу, и больше ничегошеньки, ничего! Уже много недель, как у нас кончилась вся свежая провизия. Не осталось ни единой сладкой картофелины, ни единого клубня ямса. Великолепные грозди бананов, украшавшие прежде нашу корму и ют, увы! исчезли, нет больше и сладостных апельсинов, свисавших с наших штагов и рей. Все ушло, и нам ничего не осталось, кроме солонины и морских сухарей. О вы, путешествующие в пассажирских каютах, вы, которые столько шуму подымаете из-за какого-то двухнедельного плавания через Атлантику и с таким искренним ужасом повествуете о своих корабельных тяготах, — подумать только, ведь после целого дня завтраков, чаев, обедов из пяти блюд, светских бесед, виста и пунша вам приходится, бедненьким, запираться по своим отделанным красным деревом и мореным дубом каютам и спать по

десяти часов кряду непробудным сном, разве только «эти негодники матросы» вдруг вздумают «орать и топать над головой», — что бы вы сказали, случись вам провести шесть месяцев в открытом море?!

Увидеть бы хоть одну травинку, освежающую глаз! Вдохнуть хоть бы один раз жирный аромат земли, размятой и благоухающей в горсти! Неужто ничего свежего, ничего зеленого нет вокруг нас?! Зелень-то, правда, есть. Наши борта изнутри выкрашены зеленой краской, но какого ядовитого, болезненного оттенка — будто ничто, даже отдаленно схожее с живой растительностью, не могло бы вынести этого тяжкого пути, уводящего прочь от твердой земли. Даже кора, державшаяся на дровах, ободрана и пожрана капитанской свиньей, да и сама та свинья уже съедена давным-давно.

И в загородке для птицы остался только один-единственный обитатель — некогда веселый лихой петушок, гордо расхаживавший в окружении жеманных кур. А теперь? Взгляните на него: вон он круглый день стоит, понурый, на своей одной неутомимой ноге. И с омерзением отворачивается от рассыпанных перед ним плесневелых зерен и от тухлой воды в корытце.

Без сомнения, он предается трауру по своим погибшим подругам, которые были в буквальном смысле вырваны у него одна за другой и исчезли безвозвратно. Но дни его траура сочтены, ибо наш черный кок Мунго вчера сообщил мне, что получено наконец указание и смерть бедняги Педро предрешена. В будущее воскресенье его изможденный труп выставят для прощанья на капитанском столе, и задолго до наступления ночи он будет со всеми почестями похоронен под жилеткой сего почтенного джентльмена. Кто бы поверил, что может сыскаться столь жестокий человек, который желал бы казни страдальцу Педро? Однако эгоистичные матросы денно и нощно молят Бога о гибели злосчастной птицы. Утверждают, что капитан не повернет к берегу до тех пор, пока у него в запасе есть хоть один свежий мясной обед. Бедное пернатое обречено послужить ему последним таким обедом, и, как только оно будет поглощено, капитан должен образумиться. Я не желаю тебе худа, Петр, но раз уж ты все равно обречен рано или поздно разделить судьбу всего рода твоего и раз конец твоему существованию одновременно должен послужить знаком нашего освобождения, — да по мне, признаться, пусть бы тебе хоть сейчас пе-

перезали горло; ибо, о, как я жажду снова увидеть живую землю! Даже сама наша старая шхуна мечтает опять взглянуть на сушу своими круглыми клюзами, и смельчак Джек Люис правильно ответил, когда на днях капитан обругал его за то, что он плохо держит курс:

— Да видите ли, капитан Вэнгс, я рулевой не хуже всякого, — сказал он, — да только нынче никто из нас не может удержать старушку на курсе. Не хочет она идти ни по ветру, ни бейдевинд; как ни смотришь за ней, она все норовит сойти с курса, а когда я, сэр, этак нежненько кладу руль на борт и добром приглашаю ее не увиливать от работы, она взбрыкнет и на другой галс перекатывается. А все потому, сэр, что она чует сушу с наветренной стороны и нипочем не хочет уходить дальше по ветру.

Твоя правда, Джек. Да и как может быть иначе? Разве ее толстые шпангоуты не выросли в свое время на твердой земле и разве у нее, как и у нас, нет своих чувств и привязанностей?

Бедная старая шхуна! Чего же ей еще желать? Да вы только посмотрите на нее. Вид ее так жалок! Краска на боках, выжженная палящим солнцем, пошла пузырями и лупится. И вон водоросли тащатся за нею хвостом, а под кормой что

за безобразный нарост из уродливых полипов и рачков! И всякий раз, взбираясь на волну, она открывает миру оборванные, покореженные листы медной обшивки.

Бедная старая шхуна! Ведь ее полгода без передышки носит и мотает по волнам. Однако бодрись, старушка, скоро надеюсь увидеть тебя в зеленой бухте, мирно покачивающейся на якоре в надежном укрытии от неистовых ветров и так близко от веселых берегов, что просто рукой подать или добросить замшелым сухарем!

«Урра, братцы! Решено: через неделю мы берем курс на Маркизские острова!»

Маркизские острова! Какие странные, колдовские видения вызывает это имя! Нагие гурии, каннибальские пиршества, рощи кокосовых пальм, коралловые рифы, татуированные вожди и бамбуковые храмы; солнечные долины, усаженные хлебными деревьями; резные челноки, танцующие на ясных синих струях вод; дикие джунгли и их жуткие стражи — идолы; языческие обряды и человеческие жертвоприношения.

Таковы были странные, смутные предвкушения, томившие меня все время, пока мы туда плыли. Мне не терпелось как можно скорее увидеть острова, столь красочно описанные мо-

реплавателями прошлых дней.

Архипелаг, на который мы держали курс, хотя и принадлежит к наиболее ранним открытиям европейцев в Южных морях (впервые они побывали там в 1595 году), остается по сей день обиталищем племени дикого и языческого. Миссионеры, отправлявшиеся в плавание по делам божиим, стороной миновали эти живописные берега, предоставляя их во власть деревянных и каменных идолов. А как необыкновенны обстоятельства, при которых они были открыты! На водной тропе Менданьи, рыскавшего по океану в поисках золотого берега, они встали как некий очарованный край, и на какое-то мгновение испанец поверил, что мечта его сбылась. В честь маркиза де Мендозы — в те времена вице-короля Перу, — под чьим покровительством было начато это плавание, Менданья дал островам имя, прославляющее титул его патрона, и по возвращении восторженно и туманно поведал миру об их великолепии. Но острова, годами никем не тревожимые, снова как бы канули во мрак неизвестности; все сведения, которыми мы о них располагаем, появились лишь в самое последнее время. А раз в полстолетие на них обязательно натыкался какой-нибудь отчаянный

морской бродяга, нарушая их мирную дремоту, и готовый всякий раз приписать себе честь нового открытия.

Сведения о группе этих островов скудны — есть только случайные упоминания в книгах о плаваниях по Южным морям. Кук во время своих неоднократных кругосветных путешествий почти не задерживался у их берегов, и все, что мы знаем о них, почерпнуто из двух-трех повествований более общего характера. Среди них особого внимания заслуживают две книги: «Бортовой журнал плавания американского фрегата “Эссекс” по Тихому океану в годы минувшей войны» Портера, содержащая, как я слыхал, немало интересных подробностей об островитянах, хотя эту книгу мне ни разу не посчастливилось видеть самому; и «Плавание в Южных морях» Стюарта, капеллана американского военного шлюпа «Венсанн», где один из разделов также посвящен этой теме.

За последние несколько лет американские и английские суда, занятые китобойным промыслом в Тихом океане, испытывая недостаток в продовольствии, заходили время от времени в удобную бухту одного из Маркизских островов, но страх перед туземцами, коренящийся в памя-

ти об ужасной судьбе, постигшей здесь многих белых людей, удерживал команды от общения с местным населением, достаточно близкого для того, чтобы познакомиться с их своеобразными обычаями.

Протестантские миссионеры, как видно, отчаялись когда-либо вырвать эти острова из цепких пут язычества. Встречи, которые им во всех без исключения случаях оказывали островитяне, запугали даже храбрейших из их числа. Эллис в своих «Полинезийских исследованиях» приводит интересный рассказ о неудачной попытке Таитянской миссии организовать филиал на одном из Маркизских островов. В связи с этим я не могу не передать довольно забавный случай, происшедший там незадолго до моего появления.

Один отважный миссионер, не устрашенный плачевным исходом всех прежних стараний умиротворить этих дикарей и твердо верующий в благотворную силу женского влияния, привез к ним молодую и красивую жену, первую белую женщину в тех краях. Вначале островитяне взирали на это чудо с немым восторгом и, видимо, полагали, что перед ними какое-то божество. Но вскоре, свыкнувшись с прелестным внешним обличием этого божества и негодуя на покровы,

заслоняющие от них его истинные формы, они пожелали проникнуть взором священные ситцевые складки и, утоляя свое любопытство, столь недвусмысленно преступили правила благонравного поведения, что жестоко оскорбили чувство приличия этой достойной дамы. Но лишь только они установили ее пол, как молчаливое их обожание сменилось откровенным презрением; и не было счета оскорблениям, которыми осыпали ее эти возмущенные дикари, вообразившие, будто их желали бессовестно обмануть. К ужасу любящего супруга, с нее сорвали одежды и дали ясно понять, что больше ей не удастся безнаказанно водить их за нос. Благородная дама была не настолько возвышенна душой, чтобы терпеть все это, и, убоявшись дальнейших безобразий, заставила мужа отказаться от его начинания и возвратиться на Таити.

Такое стыдливое нежелание демонстрировать свои прелести отнюдь не было свойственно самой царице, прекрасной супруге царя острова Нукухива Мованны. Спустя два-три года после описываемых в этой книге приключений я как-то очутился у здешних берегов на борту военного корабля, на котором тогда плавал. В то время Маркизы находились во власти французов, и

они с гордостью утверждали, что благотворное воздействие их законов уже успело сказаться на поведении жителей. Правда, при одной такой попытке усовершенствования нравов ими было перебито человек полтораста обитателей острова Уайтайху — но об этом умолчим. В те дни, о которых идет речь, в заливе Нукухива собрались все корабли французской эскадры; и в ходе беседы между одним их капитаном и нашим многоуважаемым коммодором француз выдвинул предложение, чтобы наш корабль, как флагман американской флотилии, принял с официальным визитом здешнюю царскую чету. При этом он с большим удовлетворением сообщил, что под их неусыпным руководством царь и царица усвоили надлежащий взгляд на собственное высокое положение и в торжественных случаях держатся со всей подобающей солидностью. На борту корабля начались приготовления — их величествам надо было устроить достойный прием.

И вот в ясный погожий день от одного из французских фрегатов отвалила пестро изукрашенная гичка и устремилась прямо к нам. На корме ее возлежал Мованна и рядом — его царственная супруга. Когда они приблизились к нам в достаточной мере, им были оказаны все королевские

почести: команда усеяла реи, пушки грянули салют, и поднялся невообразимый шум.

Взойдя по трапу на палубу, где их со шляпой в руке приветствовал наш коммодор, они двинулись мимо выстроившегося на шканцах почетного караула, а оркестр грянул «Славься, царь каннибальских островов». Все шло как нельзя лучше. Французские офицеры ухмылялись и строили самодовольные гримасы вне себя от восторга, что августейшие особы так прилично себя ведут.

Их внешний вид, безусловно, был рассчитан на то, чтобы впечатлять. Его величество был облачен в великолепный военный мундир, колом стоявший от бессчетных шнуров и золотого шитья, между тем как его бритую макушку скрывала огромная chapeau bras[1] с плавно колышущимися страусовыми перьями. Одно только было неладно в его царственном облике: через все лицо шла вровень с глазами широкая полоса татуировки, создавая впечатление, будто его величество носит большие темные очки; а королевская особа в очках — это же бог знает что такое! В наряде же его прекрасной смуглолицей

[1] Примечания: 1
Широкополая шляпа (*фр.*).

половины флотские портные поистине явили весь блеск своего национального вкуса. Она была обернута в легкое ярко-алое полотнище с желтой шелковой бахромой понизу, которая едва достигала колен и открывала всеобщему обозрению голые ноги, украшенные спирально татуировкой и несколько напоминающие две Трояновы колонны в уменьшенном масштабе. А на голове у нее красовался замысловатый тюрбан из лилового бархата с серебряными разводами, увенчанный плюмажем из всевозможных перьев и перышек.

Скоро внимание ее величества привлекли любопытствующие члены экипажа, столпившиеся на палубе. Из их числа она выделила одного старого морского волка, чьи голые руки, босые ноги и распахнутая грудь были исписаны китайской тушью гуще, чем крышка египетского саркофага. Невзирая на тактичные намеки и прямые возражения французских офицеров, она тут же приблизилась к нему и, заглядывая за пазуху его парусиновой робы, еще выше закатывая его широченные штанины, с восхищением рассматривала открывавшиеся при этом малиновые и синие узоры. Она прямо оторваться от него не могла, ласкала его, обнимала и выражала свой восторг разными непонятными восклицаниями

и жестами. Легко себе представить смущение дипломатичных галлов при этих непредвиденных обстоятельствах. Вообразите же, каков был их ужас, когда сия августейшая дама, желая явить взглядам кое-какие иероглифы на своей собственной особе, вдруг быстро наклонилась и, отвернувшись от общества, вскинула свои юбки, открыв глазам присутствующих такое зрелище, от которого потрясенные французы бежали в тот же миг и, попрыгав в свою шлюпку, покинули сцену позорной катастрофы.

II

Не забыть мне те восемнадцать или двадцать дней, пока легкие пассаты безмолвно гнали нас к Маркизским островам. Мы промышляли кашалотов на самом экваторе, где-то градусах в двадцати к западу от Галапагосов, и, когда курс был проложен, наше дело было только обрасопить реи и держать по ветру, а об остальном уж позаботятся свежий ветер да добрый корабль. Вахтенный рулевой больше не изводил старушку беспрерывными рывками штурвального колеса, а, удобно облокотившись на спицы, часами блаженно дремал. Верная своему долгу, «Долли» твердо держалась курса и, как те люди, что лучше всего управятся с делом, если предоставить их самим себе, трусила своей дорогой, точно старый морской конь, каким она в действительности и была.

Какое божественное это было время, какая лень, какая истома царили кругом! Делать было нечего — положение вещей, как нельзя более отвечавшее нашей явной склонности к ничегонеделанию. Кубрик совсем обезлюдел, мы натянули на баке тент и целый божий день проводили

под ним — спали, ели и предавались безделью. Всех словно каким-то зельем опоили. Даже офицеры, кому долг запрещает садиться, пока они находятся на палубе при исполнении служебных обязанностей, тщетно пытались удержаться на ногах и вынуждены были прибегать к компромиссу: они прислонялись к поручням и бездумно глядели за борт. О чтении нечего было и думать: стоило взять книгу в руки, и ты уже крепко спал.

Не в силах противостоять этому расслабляющему влиянию, я, однако, по временам стряхивал с себя на мгновение чары и успевал восхититься красотой всего, что было вокруг меня. Небо раскинулось широким сводом чистейшей нежной синевы, лишь по самому горизонту опушенное узкой каймой бледных облаков, день ото дня не меняющих ни формы, ни цвета. Плавно, размеренно, заупокойно колыхалось тихоокеанское лоно, и зеркальная выпуклая гладь огромных валов морщила и рябила солнечными зайчиками. Время от времени из-под форштевня взлетали вспугнутые стайки летучих рыбешек и тут же серебряным ливнем низвергались назад. Или вдруг великолепный тунец вырывался из воды, сверкая боками, и, описав дугу, вновь скрывался под водой. Порой вдалеке можно было видеть

высокую играющую струю китового фонтана, а поближе — рыскающую тень акулы, этого коварного морского разбойника, украдкой с безопасного расстояния разглядывающего нас своим недобрым глазом. Иногда какое-нибудь бесформенное чудище глубин, всплывшее на поверхность, при нашем приближении начинало медленно погружаться, исчезая из виду в синей толще воды. Но всего примечательнее была почти полная тишина, царившая меж небом и водою. Не слышно было ни звука, разве фыркнет поблизости дельфин, да журчит, не умолкая, под форштевнем вода.

А когда мы приблизились к суше, я с радостью встречал бесчисленные полчища морских птиц. Издавая резкие крики и спиралью взлетая и опускаясь, они сопровождали корабль и даже садились на реи и ванты. Пернатый пират, заслуженно прозванный морским коршуном, сверкая кроваво-красным клювом и черным вороновым оперением, бывало, спускался к нам широкими кругами, постепенно их сужая, так что под конец можно было отчетливо видеть странный блеск его маленького глаза, а затем, словно удовлетворившись наблюдением, снова взмывал вверх и терялся из виду. Скоро стали заметны и другие

признаки близости суши; прошло немного времени, и вот уже с фор-марса раздался радостный возглас: «Земля-а-а!», выведенный нараспев по всем правилам матросского искусства.

Капитан, выскочив из каюты на палубу, заорал, чтобы ему немедленно подавали подзорную трубу; первый помощник еще оглушительнее заорал марсовым: «Где-е?» Чернокожий кок высунул из камбуза курчавую голову, а пес по кличке Боцман стал носиться от борта к борту и яростно лаять. Земля! Земля! Ну да, вот она. Едва различимая неровная голубая полоска — провозвестница обрывистых, еще неразличимых круч и пиков Нукухивы.

Остров этот, хотя обыкновенно считается принадлежащим к Маркизскому архипелагу, многими мореплавателями рассматривается как составляющий вместе с близлежащими островками Рухука и Ропо самостоятельную группу. Все три они получили название Вашингтоновых островов. Они образуют треугольник, расположенный между 8°38′ и 9°32′ южной широты и 139°20′ и 140°10′ западной долготы (от Гринвича). Сколь мало у них оснований почитаться отдельной группой, будет ясно, если вспомнить, что, во-первых, они лежат в непосредственной

близости, то есть менее чем в одном градусе на северо-запад от остальных островов, и что, во-вторых, их обитатели говорят на маркизском диалекте и у них одни и те же законы, религия и обычаи. Единственной причиной для такого условного выделения могло бы служить то удивительное обстоятельство, что мир ничего не знал об их существовании вплоть до 1791 года, когда они были обнаружены капитаном Ингреэмом из Бостона (штат Массачусетс) без малого на два столетия позже, чем были открыты соседние острова посланцем испанской короны. Как бы то ни было, я, в соответствии с мнением большинства мореплавателей, буду рассматривать эти три острова как часть Маркизского архипелага.

Нукухива — наиболее значительный из них, единственный, куда имеют обыкновение заходить корабли; это тот самый знаменитый остров, где хитроумный капитан Портер во время последней войны американцев с англичанами переоснастил свои суда и откуда он неожиданно напал на большую китобойную флотилию, плававшую тогда в ближних морях под вражеским флагом. Остров имеет около двадцати миль в длину и почти столько же в ширину. На его побережье есть три хорошие гавани, самую

вместительную и удобную из них обитатели ее окрестностей обозначают именем Тайохи, а капитан Портер окрестил Массачусетским заливом. Среди различных племен, обитающих по берегам других бухт, а также среди мореплавателей она известна по имени самого острова — как гавань Нукухива. Ее обитатели уже подверглись за последнее время развращающему коммерческому влиянию европейцев, но там, где дело касается их своеобразных обычаев и нравов, они и сейчас находятся в том же первобытном природном состоянии, в каком впервые предстали взгляду белого человека. А враждующие между собой племена, населяющие более отдаленные части острова и почти не вступающие в общение с иноземцами, полностью сохранили свой примитивный образ жизни с древнейших времен.

Теперь и мы держали курс так, чтобы бросить якорь в бухте Нукухива. Лишь на закате стали видны силуэты гор, и, двигаясь всю ночь с очень слабым бризом, мы к утру оказались вблизи них; но поскольку гавань, в которую мы хотели попасть, была на противоположном конце острова, нам пришлось некоторое расстояние проплыть каботажем вдоль берега, и мы видели, проплывая мимо, цветущие долины, глубокие ущелья, водо-

пады, трепетные рощи, заслоняемые тут и там крутыми обрывистыми утесами, каждую минуту открывающими все новые и новые красоты.

Тех, кто впервые попадает в Южные моря, обычно поражает вид островов с воды. По невнятным отзывам люди часто представляют себе их в виде едва выступающих над водой ярко-зеленых покатых холмов, осененных прелестными рощицами и орошенных сонно журчащими ручейками. Действительность же совсем не такова: высокий прибой ударяет в крутые каменистые берега, кое-где они отступают, образуя глубокие бухты с непроходимыми лесами по низменным берегам, а между ними стенами высятся отроги гор, одетые жесткой травой и спускающиеся к воде откуда-то из гористой сердцевины острова.

К полудню мы поравнялись с входом в залив, медленно обогнули выступающий мыс и выплыли на внутренний рейд Нукухивы. Никаким описанием нельзя передать красоты открывшегося нам зрелища. Но для меня она, увы, пропала, я видел только шесть трехцветных французских флагов, повисших на кормах шести кораблей, чьи корпуса своим черным цветом и раздутыми боками выдавали их воинственное предназначение. Вот они, все шестеро, покачиваются на

серебристой глади вод, а зеленые горы с берегов глядят на них так миролюбиво, словно упрекая за эту воинственность. На мой взгляд, ничто не могло бы так нарушить гармонию, как присутствие здесь этих судов. Но вскоре мы узнали, каким образом они тут оказались. Незадолго перед тем сюда явился доблестный контр-адмирал дю Пти-Туар со всей эскадрой и именем непобедимой французской нации вступил во владение всей группой Маркизских островов.

Это известие мы получили от личности в высшей степени необыкновенной: от настоящего тихоокеанского бродяги. Лишь только мы вошли в залив, он подплыл к нам на вельботе и поднялся на палубу с помощью некоторых сочувствующих из числа команды — ибо находился в той степени опьянения, когда человек делается крайне любезным и совершенно беспомощным. Будучи явно не в состоянии прямо стоять на ногах или же переправить свою персону от одного борта к другому, он тем не менее великодушно предложил капитану свои услуги в качестве лоцмана, дабы провести нашу шхуну к месту удобной и надежной якорной стоянки. Капитан усомнился в его способности послужить нам лоцманом и отказался признать его в этом звании. Но наш

уважаемый гость не собирался отступаться от своего намерения. Упорно карабкаясь, падая и карабкаясь снова, он взобрался в висевшую на шканцах шлюпку, встал в ней во весь рост, держась за ванты, и голосом на редкость оглушительным принялся выкрикивать команды, сопровождая их к тому же весьма своеобразной жестикуляцией. Разумеется, никто его не слушал, но утихомирить его не представлялось возможности, и мы плыли мимо кораблей французской эскадры, имея на борту этого клоуна, выделывавшего свои штуки на глазах у их офицеров.

Потом мы узнали, что наш странный знакомец был когда-то лейтенантом английского флота, но, опозорив флаг своей страны каким-то преступлением в одном из больших европейских портов, бежал и много лет провел, скитаясь по островам Тихого океана, пока новые французские власти в Нукухиве, где он случайно находился, когда они прибрали остров к рукам, не назначили его портовым лоцманом.

Мы медленно плыли по заливу, а с окрестных берегов отчаливали и устремлялись нам наперерез многочисленные туземные челноки, так что скоро нас окружала уже целая флотилия этих суденышек, и их смуглые гребцы теснили и от-

пихивали один другого, пытаясь вскарабкаться к нам на борт. Иногда при этом две такие легкие ладейки сцеплялись под водой своими выносными балансирами и грозили перевернуться, и тогда поднимался такой ералаш, какой не поддается описанию. Клянусь, что столь диких воплей и столь яростных телодвижений я не видел и не слышал никогда в жизни. Можно было подумать, что островитяне вот-вот вцепятся друг другу в глотки, между тем как они всего только дружелюбно обсуждали, как бы расцепить лодки.

Среди лодок на волнах там и сям покачивались связки кокосовых орехов, образуя на воде почему-то правильные кольца. По какой-то необъяснимой причине все эти орехи неуклонно приближались к нашему кораблю. Я перегнулся через борт, любопытствуя разгадать тайну их продвижения, и одна такая кольцеобразная связка, далеко опередившая остальные, привлекла мое внимание. В ее центре я заметил нечто показавшееся мне тоже кокосом, но если так, то кокосом в высшей степени странным. Он как-то по-особенному кружился и плясал среди остальных, и, когда они подплыли поближе, оказалось, что он замечательно походит на коричневую бритую голову туземца. Вскоре обнаружились два

глаза, и я понял, что то, что я принимал за орех, в действительности и есть просто-напросто голова островитянина, который избрал этот своеобразный способ доставки товара к месту продажи. Все орехи были связаны между собой узкими полосами шелухи, в которую одета их скорлупа. И владелец всей связки, просунув голову в середину, продвигал свое кокосовое ожерелье вперед, работая под водой только ногами.

Удивило меня также, что среди многочисленных окружавших нас туземцев не было видно ни единой женщины. Я тогда еще не знал, что по обычаю *табу* женщинам острова строжайше запрещено плавать в лодках; даже войти в челн, вытащенный на берег, для женщины означает смерть; соответственно, если дама-маркизанка путешествует по воде, средством передвижения ей служат исключительно ее собственные руки и ноги.

Мы были уже, наверное, не далее чем в полутора милях от внутренней оконечности залива, когда туземцы, из которых многие сумели к этому времени вскарабкаться к нам на палубу, хотя и рисковали затопить свои челноки, обратили наше внимание на то, что вода впереди корабля непонятным образом бурлит и плещется. Снача-

ла я подумал было, что это стайка рыб резвится на поверхности. Но наши дикие друзья заверили нас, что кипение воды вызвано стайкой *вайхини* (молодых девушек), которые выплыли нам навстречу, дабы нас приветствовать. Когда они подплыли ближе и я уже различал в волнах их колышущиеся формы и высунутые из воды правые руки, в которых они держали свои пояса из тапы, и длинные черные пряди волос, тянущиеся за ними в струях вод, я готов был вообразить, что это плывут волшебные морские девы-сирены; да они и вели себя как настоящие сирены.

До берега оставалось еще значительное расстояние; медленно двигаясь своим курсом, мы очутились в самой гуще стайки этих наяд, и в тот же миг они облепили судно со всех сторон: одни, карабкаясь по вант-путенсам, вылезали на руслени; другие, не боясь погибнуть под килем нашего корабля, умудрялись уцепиться за ватерштаги и, подтягивая гибкие тела, повисали, раскачиваясь в снастях над водой. Вода стекала по угольно-черным волосам, служившим единственным прикрытием их нагих сверкающих тел. А они, держась за снасти, со всей своей дикарской жизнерадостностью о чем-то громко переговаривались и заливисто, весело хохотали.

При этом они не теряли времени даром, помогая друг другу совершать незамысловатый туалет: скручивали как можно туже и выжимали одна другой мокрые роскошные локоны, вытирались и, передавая из рук в руки круглую раковину с пахучими притираниями, умащивали свою смуглую кожу. В довершение всего они два-три раза свободно обматывали бедра куском белой тапы и в этом скромном наряде, отбросив всякую нерешительность, со всех сторон легко соскакивали на палубу. Скоро они уже резвились по всему кораблю. Одни толпились на баке, другие взбегали по бушприту, кто-то оседлал поручни юта, а некоторые растянулись во весь рост на днищах перевернутых шлюпок. Вот так зрелище для нас, холостяков матросов! Как не поддаться столь сильному искушению? Да и кому придет в голову вышвырнуть за борт этих бесхитростных детей природы, проплывших несколько миль для того, чтобы оказать нам гостеприимство?

Вид их совершенно ошеломил меня: их крайне юный возраст, светло-коричневый оттенок кожи, нежные черты и невыразимая грация движений, плавные линии их тел и полная свобода, непринужденность во всем казались столь же странными, сколь и прекрасными.

Старушкой «Долли» они завладели полностью. И смело скажу, никогда еще судно не попадало в руки такого бойкого, такого неотразимого захватчика! Ну а раз корабль наш был захвачен, нам ничего иного не оставалось, как признать себя пленниками. И все время, пока «Долли» стояла в заливе, она сама и вся ее команда находилась во власти сирен.

Вечером, после того как был брошен якорь, палуба была иллюминована цветными фонариками, и наши нимфы, в уборах из цветов и в одеяниях из тапы всех оттенков, задали нам бал по первому разряду. Эти юные дамы оказались страстными охотницами до танцев, и я не знаю никого, кто бы мог сравниться с ними дикой грацией и одушевлением. Танцы девушек-маркизанок разнообразны и необыкновенно красивы, но в них столько безудержного сладострастия, что я не рискну их описывать.

На корабле царили разгул и буйство. Не было ни малейших преград между греховными страстями матросов и необузданным их удовлетворением. Грубейший разврат и беспробудное пьянство продолжались все время, пока «Долли» стояла в Нукухиве, с редкими и плачевно краткими перерывами. Бедные дикари, подвергаемые

воздействию таких губительных примеров! Доверчивые и немудрящие, они легко поддаются всякому пороку, и человечеству остается лишь оплакивать их гибель от руки беспощадных цивилизаторов-европейцев. Трижды счастливы те, кто, населяя ныне какой-либо неведомый остров, затерянный в океанских просторах, еще не вкусил развращающего общения с белым человеком.

III

Мы прибыли на Маркизы летом 1842 года. Уже несколько недель, как французы установили на островах свое владычество. За это время они успели посетить основные поселения на всех островах и высадить в различных пунктах побережья около пятисот отрядов. Солдат сразу же бросили на возведение оборонительных сооружений и на другие защитные мероприятия против предполагаемых набегов туземцев, от которых в любой момент ожидали открытия военных действий. Островитяне взирали на этих людей, столь рыцарственно захвативших их земли, со смешанным чувством страха и неприязни. Их ненависть была искренней и глубокой, но влияние ее на их поступки нейтрализовалось ужасом, который внушали плавучие батареи, чьи дула были многозначительно наведены не на укрепления и редуты, а на кучку бамбуковых хижин под сенью кокосовых пальм! Вне сомнения, доблестный воин этот контр-адмирал дю Пти-Туар, но в то же время и весьма осмотрительный. Четыре тяжелых двухпалубных фрегата и три корвета, чтобы внушить страх божий горстке голых дикарей и

научить их послушанию! Шестьдесят восьмифунтовых орудий, чтобы разрушить хижины из кокосовых веток, и торпеды Конгрива, чтобы поджечь несколько лодочных сарайчиков.

В Нукухиве на берегу находилось человек сто солдат. Расквартированы они были в палатках из старой парусины и обломков рей, пожертвованных эскадрой. Лагерь был разбит внутри земляного укрепления, снабженного несколькими восьмифунтовыми пушками, и обведен рвом. Регулярно через день отряд в полном боевом снаряжении выводили из крепости, и он парадным маршем двигался на близлежащую лужайку, где в течение нескольких часов проделывал все военные кунстштюки, окруженный толпой туземцев, которые наблюдали это, по-дикарски восхищаясь представлением и так же по-дикарски ненавидя самих актеров. Полк Старой Гвардии на летнем смотру на Елисейских полях не выглядел бы безукоризненнее. Офицерские мундиры, сверкающие золотыми галунами и нашивками, словно нарочно предназначенные ослеплять бедных островитян, казалось, прибыли прямехонько из Парижа.

Всеобщее волнение на острове, вызванное приездом чужеземцев, отнюдь еще не улеглось

ко времени, когда там очутились мы. Местные жители все еще толпились у ограды лагеря и с живейшим интересом наблюдали за всем, что там происходило. Кузнечный горн, установленный под сенью рощи у самого берега, привлекал такие толпы любопытствующих, что требовались отчаянные усилия расставленных вокруг часовых, чтобы кузнецы могли без особых помех заниматься своим делом. Но ничто не вызывало такого восхищения, как лошадь, привезенная из Вальпараисо на «Ашилле», одном из судов эскадры. Это превосходное животное свезли на берег и поместили в стойло из кокосовых веток внутри укрепленного лагеря. По временам его в пестрой сбруе и под ярким чепраком выводили за стены, и кто-нибудь из офицеров скакал на нем галопом по плотному прибрежному песку. Это неизменно вызывало бурные восторги зрителей; островитяне единодушно считали «пуарки нуи» (большого кабана) самым выдающимся представителем животного мира, когда-либо попадавшимся им на глаза.

Экспедиционная эскадра, имевшая целью захват Маркизских островов, отплыла из Бреста весной 1842 года, однако секрет ее назначения был известен одному только командиру эскадры.

И ничего удивительного, если те, кто замыслил столь вопиющее нарушение человеческих прав, пытаются скрыть свое преступное намерение от глаз мира. А между тем французы, несмотря на эти и другие подобные беззакония, испокон веку объявляют себя самым культурным и гуманным народом.

Однако изысканность и утонченность, как видно, не очень-то успешно служат для подавления дурных наклонностей, и, если самую нашу цивилизацию оценивать по некоторым ее результатам, подумаешь, пожалуй, что для той части человечества, которую мы зовем варварской, быть может, лучше будет такой и оставаться.

Стоит, наверное, привести один пример того, к каким бессовестным уловкам прибегают французы, чтобы оправдать любые жестокости, какие им вздумается совершить над туземцами, дабы склонить их к подчинению. Под каким-то сомнительным предлогом царь Нукухивы Мованна, которого захватчики с помощью богатых подарков переманили на свою сторону и превратили в послушную марионетку, был провозглашен законным монархом всего архипелага — он по распоряжению свыше оказался единоличным властелином многочисленных племен, быть

может, до этого веками считавших себя независимыми. Чтобы вернуть этому обездоленному монарху якобы утраченное некогда могущество его праотцов, совершенно незаинтересованные чужеземцы не пожалели трудов и приехали на остров из самой Франции; и теперь они не допустят, чтобы кто-то подрывал его престольные права. Так что если какое-нибудь племя упрямо отказывается поклониться расшитой шляпе Мованны и тем самым признать владычество французов, пусть пеняет на себя, последствия будут самые ужасные.

Под таким же предлогом совершались и совершаются избиения и всяческие беззакония на прекрасном острове Таити — жемчужине Южных морей. В грабительскую экспедицию на Таити контр-адмирал дю Пти-Туар снарядился потихоньку, оставив всю свою эскадру на Маркизах, к тому времени уже без малого полгода находившихся в его руках, и отплыл в сторону обреченного острова на одном только фрегате «Рэн Бланш». По прибытии он потребовал, чтобы ему за какие-то оскорбления, якобы нанесенные флагу его страны, были немедленно уплачены не то двадцать, не то тридцать тысяч долларов, угрожая в противном случае высадкой и захва-

том острова.

Фрегат, только что встав на якорь и подведясь на швартовых, выкатил пушки и с бомбардирами на местах развернулся бортом к Папеэте, наставив жерла на это мирное селение и спустив на воду все свои боевые катера, готовые в любую минуту высадить десант под прикрытием корабельных батарей. В такой грозной позиции они простояли несколько дней, между тем как велись какие-то неофициальные переговоры, а по всему острову распространялся страх. Поначалу многие среди таитян были склонны прибегнуть к оружию и отогнать насильников от своих берегов; но в конце концов возобладало мнение более осторожных и миролюбивых. Несчастная королева Помаре, бессильная противостоять опасности, устрашенная вызывающей дерзостью высокомерных французов и доведенная до полного отчаяния, ночью бежала в пироге на остров Эймео.

В эту пору всеобщего страха на Таити был совершен один подвиг женского героизма, о котором я не могу умолчать. У самой воды, во дворе знаменитого миссионера консула Причарда, находившегося тогда в отъезде в Лондоне, на высокой мачте, как всегда в дневное вре-

мя, развевался на виду у французского фрегата консульский британский флаг. Однажды утром на веранде миссии появился в сопровождении небольшого отряда французский офицер и на ломаном английском языке спросил хозяйку дома. Эта почтенная дама вскоре к нему явилась, и галантный француз, отвесив изысканнейший из поклонов, изящно играя бахромой аксельбанта на груди, приступил к вежливому изложению цели своего прибытия: адмирал желает, чтобы спустили флаг — его превосходительство надеется, что возражений не будет, — люди готовы проделать все немедленно.

— Передайте вашему пирату-хозяину, — отвечала бесстрашная англичанка, величаво протянув руку, — что, если он желает спустить этот флаг, он должен будет сделать это сам, потому что больше никому я не позволю к нему прикоснуться.

С этими словами она высокомерно кивнула и удалилась в дом. Обескураженный офицер побрел через двор к берегу и, взглянув на мачту, только тогда заметил, что шнур, на котором держится флаг, от верхушки флагштока тянется над лужайкой прямо в открытое верхнее окно, за которым сидит только что покинувшая его дама

и мирно вяжет на спицах. Был ли спущен флаг? Миссис Причард утверждает, что нет; и такого же мнения придерживается, как говорят, контр-адмирал дю Пти-Туар.

IV

Мы всего несколько дней простояли в гавани Нукухивы, когда я принял решение покинуть корабль. Понятно, у меня были на то причины многочисленные и веские, ведь иначе я бы не предпочел скорее вверить мою жизнь дикарям-островитянам, чем пуститься в новое плавание на борту нашей «Долли». Употребляя точное, сжатое выражение из матросского лексикона, я решился дать деру. Ну а поскольку смысл, заключенный в этих двух словах, обыкновенно бывает крайне нелестным для того, о ком они сказаны, мне надлежит здесь, дабы не пострадала моя репутация, пуститься в некоторые объяснения.

При поступлении на корабль я, естественно, подписал судовое соглашение, добровольно приняв на себя юридические обязательства выполнять определенную службу в течение предполагаемого плавания, и, разумеется, при прочих равных условиях, должен был это соглашение выполнить. Но во всяком договоре, если одна сторона не выполняет условий, разве другая тем самым не освобождается от обязательств? Найдется ли человек, который стал бы это отрицать?

Теперь, установив общий принцип, позвольте мне применить его к данным обстоятельствам. Не только подразумеваемые, но и специально оговоренные правила несчетное множество раз нарушались судном, на котором я плавал. Нравы на борту «Долли» были тиранические; больные подвергались бесчеловечному небрежению; провиант выдавали скупыми крохами, а рейсы недопустимо затягивались. Виновником этих злоупотреблений был капитан, и тщетно было ждать от него, что он их исправит или изменит свое деспотическое и свирепое обращение. На все жалобы и несогласия у него был один незамедлительный ответ — тычок вымбовкой, настолько убедительный, чтобы умолкло всякое недовольство.

А у кого можно было искать заступничества? Закон и справедливость мы оставили по ту сторону мыса Горн, да к тому же наш экипаж, за редкими исключениями, был составлен из разных темных и жалких личностей, разобщенных между собой и единодушных только в безвольном покорстве неограниченной капитанской тирании. И было бы чистым безумием со стороны всякого, кто вдвоем или втроем решился бы без поддержки остальных выступить против несправедливости

капитана. Они лишь навлекли бы на себя сугубую ярость «корабельного бога» и подвергли бы товарищей еще большим тяготам.

Но в конце концов, все это можно было бы перетерпеть в течение какого-то срока, питай мы твердую надежду, что по своевременном завершении плавания нас ждет скорое освобождение от этого рабского ярма. Однако и здесь никакого просвета для нас не было. Продолжительность тихоокеанских китобойных рейсов вошла в пословицу, нередко они длятся года по четыре, а то и по пять. И как часто длиннокудрые, нежнолицые юноши, которые под объединенным влиянием капитана Мариетта и тяжелых времен садятся в Нантакете на корабль для совершения увеселительной экскурсии по Южным морям, получив от заботливых мамаш на дорогу дюжину бутылок молока, — как часто они возвращаются домой почтенными пожилыми мужчинами!

Одни сборы в такое плавание вполне могут запугать человека. Поскольку никакого груза судно с собой не увозит, его трюмы заполняют продовольствием для экипажа. Судовладельцы, выступающие, как правило, в роли поставщиков, снаряжают корабль в рейс, загружая кладовые грудами деликатесов. Куски говядины и свини-

ны всех мыслимых форм и размеров, научно выкромсанные из туш, тщательно укладывают в рассол, залитый в кадушки, и это сулит вам в плавании бесконечное разнообразие стола в смысле жесткости кусков и степени их просоленности. Высококачественная тухлая вода, разлитая по величественным шестибареллевым бочкам, откуда она ежедневно выцеживается из расчета по две пинты на душу, и неистощимые запасы морских сухарей, приведенных предварительно в состояние окаменелости, чем они оберегаются от порчи, а заодно от поедания нормальными людьми, также в изобилии предоставляются для наполнения и услаждения матросских желудков.

Но если не говорить о качестве корабельного провианта, количества, в которых он загружается на китобоец, просто невероятны. Бывало, когда нам случалось проникнуть зачем-нибудь в трюм и глазам нашим открывались уходящие вглубь ряды бочонков, бочек, бочищ, содержимое которых нам со временем предстояло поглотить, душа моя ныряла в пятки.

Обыкновенно корабль, которому не попадаются киты, продолжает плавание до тех пор, пока из всех его запасов не остается разве едва достаточно на обратный путь, и тогда он тихо поворачивает

и пускается восвояси подобру-поздорову; однако бывают случаи, когда обладающие железной волей капитаны умудряются преодолеть даже это, можно сказать, естественное препятствие к продолжению рейса; в каком-нибудь чилийском или перуанском порту они обменивают скудные плоды своих тяжких трудов на новые припасы продовольствия и с прежним пылом и упорством опять выходят в плавание. Напрасно будут судовладельцы слать такому капитану письма, требуя, чтобы он безотлагательно плыл домой и возвратил им корабль, пускай пустой, да хоть целый. Не на такого напали. Он ведь при всем честном народе поклялся, что наполнит судно до краев спермацетом и что иначе не видеть ему никогда американских берегов.

Мне рассказывали об одном китобойце, который после многолетнего отсутствия уже считался погибшим — последние полученные о нем весьма туманные известия говорили, что он будто бы заходил на отдаленный тихоокеанский островок, из тех, которые от одного издания лоции до другого с головокружительным непостоянством меняют свое местонахождение. Через какое-то время, однако, прошел новый слух, что «Персевиренс» — так звалась эта китобойная шхуна

— объявилась где-то на краю земли; она плыла себе помаленьку, никуда не торопясь, паруса все латаны-перелатаны и сплошь простеганы каболкой, мачты и реи сколочены из обломков бочарными клепками, а снасти перевиты и перештопаны во всех направлениях. Команду ее составляли два десятка таких старых морских волков, что в пору бы в Гринвичскую матросскую богадельню — едва ковыляли по палубе. Все концы бегучего такелажа, кроме разве сигнальных фалов да ниралов на полуюте, были пропущены через канифас-блоки и заведены на шпиль или лебедку, так что ни одна рея не брасопилась и ни один парус не поднимался без содействия этих механизмов.

Корпус шхуны насквозь пророс раковинами, совершенно скрывшими собой обшивку. В хвосте за ней следовали три ручные акулы, каждый день подходя к борту попировать отбросами из камбуза, нарочно для них выплескиваемыми. А чуть позади шла большая стая бонитов и тунцов — также ее неразлучных спутников.

Такова была, как мне рассказывали, эта удивительная шхуна. Мысль о ней постоянно преследовала меня; что с ней в конце концов сталось, я так никогда и не узнал, во всяком случае домой

она не возвратилась, и кто знает, быть может, и ныне курсирует, дважды в сутки меняя галсы, где-нибудь у Серно-Кислых островов или в виду пика Маунт-Педераст.

Теперь, после того как я достаточно распространился на тему о продолжительности китобойных плаваний, когда я скажу, что наше плавание, собственно, еще только начиналось — ведь и полутора лет не прошло, как мы оставили родные берега, и встречные суда все еще относились к нам как к новеньким и ждали от нас свежих вестей из дому, — читатель, я надеюсь, легко поймет, сколь малым утешением служило для нас будущее, тем более что у меня всегда было предчувствие, что плавание наше окажется неудачным, и покамест действительность подтверждала подобные опасения. (Здесь кстати будет заметить — и даю слово честного человека, это истинная правда, — что вышеупомянутое судно, которое я покинул три с лишком года тому назад, в настоящее время все еще пребывает в Тихом океане, и я как раз на днях читал в газетах сообщение о том, что оно заходило на Сандвичевы острова, откуда взяло курс к берегам Японии.)

Но вернемся к нашему рассказу. Оказавшись в столь тягостных обстоятельствах, без всякой

надежды на то, что рано или поздно, останься я на судне, наступит облегчение, я решился не медля покинуть «Долли». Правда, это был довольно бесславный способ — вот так, украдкой, бежать от тех, кто причинял мне зло и обиды и на кого я даже не вправе был обижаться. Но что же еще мне оставалось? Ведь иного выхода не было. Приняв решение, я приступил к сбору сведений об острове и его обитателях, чтобы соответственно разработать план побега. Ниже я излагаю все, что мне удалось узнать, чтобы понятнее было последующее повествование.

Залив Нукухива, в котором мы тогда стояли, представляет собою водное пространство, по конфигурации напоминающее внутреннюю сторону лежащей подковы. Он имеет примерно девять миль в поперечнике. С моря в него ведет узкий проход, по обе стороны которого расположены два маленьких одинаковых островка, конусом уходящие футов на пятьсот вверх. От них берега расходятся двумя крутыми полукругами.

Берег на всем протяжении плавно поднимается над водой зелеными отлогими склонами от покатых холмов и небольших возвышенностей к высоким величавым вершинам, чьи синие контуры обступают залив во всех сторон, замыкая

кругозор. Красоту берегов увеличивают глубокие живописные долины-ущелья, выходящие к воде через почти равные промежутки и берущие начало в каком-то общем центре, где их верховья теряются из виду в тени гор. По каждой такой долинке сбегает прозрачный ручей, там и сям ниспадающий узким каскадом, затем, невидимый, продолжающий путь, чтобы в новом месте снова явиться взору небольшим водопадом, уже пошумнее и пошире, и наконец, жеманно, не спеша, как бы нехотя, спуститься к морю.

В этих долинах под сенью кокосовых рощ разбросаны в беспорядке жилища островитян — изящные хижины, сплетенные, словно корзинки, из желтого бамбука и крытые внахлестку длинными сужающимися листьями карликовых пальм.

Ничто на свете не может сравниться с мирной красотой этих берегов. С палубы нашего корабля, стоящего на якоре посреди залива, они казались гигантским естественным амфитеатром, полуразрушенным и поросшим дикими лозами, а глубокие ущелья, рассекавшие его бока, выглядели словно огромные трещины — следы ударов сокрушительного времени. И часто, погрузившись в созерцание этой красоты, я с мимолетной

болью думал о том, как жаль, что такие восхитительные картины сокрыты от мира в дальних Южных морях и лишь изредка ласкают взгляд наших горячих поклонников Природы.

Кроме этого залива, берега острова изрезаны и другими значительными углублениями, и к ним спускаются широкие цветущие долины. В каждой такой долине живет обособленное туземное племя, и, хотя племена эти говорят на родственных диалектах общего языка, имеют одну религию и одни законы, они с незапамятных времен, из поколения в поколение ведут друг против друга вечные войны. Горные кряжи высотою в две или три тысячи футов над уровнем моря служат географическими пределами владений этих враждующих племен, и они никогда их не переходят иначе как в военных или грабительских целях. Рядом с заливом Нукухива, отделенная от него горами, которые видны с воды, расположена прелестная долина Хаппар, чьи жители находятся с жителями Нукухивы в самых дружеских отношениях. Но по ту сторону к долине Хаппар примыкает роскошная долина, принадлежащая грозному племени тайпи — заклятым врагам обоих этих мирных племен.

Прославленные воины тайпи внушают непре-

одолимый страх всем остальным островитянам. Само их имя ужасно: слово «тайпи» на маркизском наречии означает «любитель человеческого мяса». Интересно, что принадлежит оно одному только этому племени, между тем как все здешнее население безнадежно закоснело в каннибализме. Видимо, это имя дано им за особую свирепость и несет в себе осудительный смысл.

Племя тайпи широко известно по всем островам архипелага. Жители Нукухивы не раз жестами и гримасами повествовали нам на корабле об их ужасных деяниях и показывали рубцы от ран, полученных в столкновениях с ними. А когда мы съезжали на берег, они делали попытки нас запугать, указывая на кого-нибудь из своих соплеменников и называя его «тайпи», и выказывали непритворное удивление, когда видели, что при таком страшном известии мы почему-то не обращаемся в бегство. Забавно было также видеть, с какой решительностью они отрицали какие бы то ни было каннибалические наклонности со своей стороны, разоблачая при этом своих врагов тайпийцев как закоренелых и неуемных людоедов, но об этой своеобразной черте я еще буду говорить.

И хотя я твердо знал, что туземцы, живущие по

берегам нашего залива, такие же отъявленные каннибалы, как и все прочие обитатели острова, тем не менее я не мог не испытывать особенного, безграничного отвращения перед помянутыми тайпийцами. Еще до того, как я сам побывал на Маркизских островах, я слышал от людей, туда заходивших, страшные истории, связанные с этими дикарями; особенно свежа в моей памяти была повесть о злоключениях капитана «Катерины», который всего за несколько месяцев до нас вздумал с торговыми целями войти в бухту Тайпи на вооруженной шлюпке и был схвачен туземцами, увлечен в глубь долины и спасся от ужасной смерти только благодаря содействию одной девушки, указавшей ему ночью путь берегом в Нукухиву.

Слышал я также об одном английском судне, которое много лет назад после долгого и утомительного плавания решило искать пристанища в заливе Нукухива. Милях в двух или трех от берега их встретила большая туземная пирога, до отказа набитая людьми, и судну было сообщено, что ему укажут путь в искомую им тихую гавань. Капитан, незнакомый с побережьем, обрадовался и согласился — весла пироги ударили по воде, корабль двинулся следом. И действительно, вскоре

они очутились в живописной бухте, где судно и бросило якорь в тени высоких берегов. В ту же самую ночь коварные тайпийцы, заманившие их в свою страшную бухту, сотнями набились на палубу обреченного корабля и по условленному знаку перерезали там всех до последнего человека.

Мне никогда не забыть слов одного нашего матроса на подходе к Нукухиве, когда мы медленно проплывали вход в бухту Тайпи. Мы все стояли у борта и любовались изумрудно-зелеными мысами, и вдруг Нед, указывая вытянутой рукой на предательский берег, воскликнул: «Там! Вон там долина Тайпи! Ох, какое отличное угощение устроили бы из нас эти чертовы людоеды, вздумай мы здесь высадиться. Впрочем, говорят, моряцкое мясо им не по вкусу — слишком соленое. Ну что, браток, хочешь, я тебя закину на берег, а?» И, содрогаясь от такого предложения, я никак не подозревал, что через каких-нибудь несколько недель я и впрямь окажусь пленником в этой самой долине.

Французы, правда, устроили церемонию поднятия своего государственного флага во всех основных поселениях на Маркизах — впрочем, всего на часок-другой, — но в бухте Тайпи они до сих пор не побывали, очевидно ожидая встретить

там от дикарей яростный отпор, чего им сейчас по возможности желательно было избежать. Быть может, на эту, неожиданную в них, сдержанность французов натолкнуло воспоминание о воинственном приеме, оказанном жителями долины капитану Портеру году примерно в 1814, когда этот храбрый и опытный офицер предпринял попытку их поработить только для того, чтобы утолить смертельную ненависть к ним своих союзников — нукухивцев и хаппарцев. В тот раз, как мне рассказывали, значительный отряд морской пехоты и матросов с фрегата «Эссекс», сопровождаемый по меньшей мере двумя тысячами воинов хаппарцев и нукухивцев, высадился на шлюпках и пирогах в глубине бухты и, проникнув на некоторое расстояние вверх по долине, встретил отчаянное сопротивление ее обитателей. Доблестно, хотя и с большими потерями, отстаивали тайпийцы каждую пядь своей земли и после жестокого боя вынудили нападающих отступить и отказаться от всяких завоевательских намерений.

Отходя к морю, те решили утешить себя в поражении тем, что подожгли каждый дом и храм на своем пути, и длинная полоса курящихся руин исказила прежде ликующий лик долины,

познакомив ее непросвещенных обитателей с истинным христианским духом этого воинства. Можно ли после этого удивляться смертельной вражде жителей долины Тайпи ко всем чужеземцам?

Вот каким способом те, кого мы именуем дикарями, обучаются вести себя сообразно с этим наименованием. Когда жители какого-либо отдаленного острова впервые видят «большую пирогу» европейцев, идущую к ним по синему лону вод, они толпами сбегаются на берег, готовые с распростертыми объятиями встретить пришельцев. Убийственное объятие! Они прижимают к груди змею, чье жало отравит им всякую радость, и природный порыв любви в их сердцах скоро оборачивается лютой ненавистью.

Жестокости, учиняемые в Южных морях над мирными обитателями некоторых островов, трудно даже себе представить. В цивилизованном мире о них редко становится известно; ведь эти вещи происходят где-то на краю земли, делаются они тихонько, в укромных далеких уголках, и некому о них свидетельствовать перед людьми. Но много, много шныряет по Южным морям купцов-крохоборов, которые бесстыдно грабят, похищают и убивают людей, увозя с со-

бою от острова к острову все более тяжкий груз прегрешений, достаточный, наверное, чтобы увлечь преступный корпус корабля на самое дно океана.

А иной раз смутные слухи о таких действиях достигают нас у наших каминов, и тогда мы бесстрастно осуждаем их как неправедные, политически вредные, сверх меры суровые и чреватые опасностью для экипажей других судов. То ли дело, когда мы читаем красочный рассказ о том, как на Фиджи была перерезана команда «Хобомака»! Все наше сочувствие на стороне жертв, и мы с ужасом думаем об этих кровожадных нехристях, которые, в конце концов, только мстили за причиненное им без всякой их вины зло. Мы слышать ни о чем не хотим, кроме мести, и снаряжаем военные суда, дабы, пересекши океанские просторы, они могли покарать в один присест всех наших обидчиков. И военные суда жгут, крушат и убивают в соответствии с духом и буквой данных им инструкций и, отплыв обратно, оставляют за собой полное разорение, приглашая весь христианский мир умилиться их необыкновенной храбрости и праведному суду.

Как часто слово «дикари» употребляется не по назначению! Старые мореплаватели и первоот-

крыватели никогда не встречали на путях своих тех, к кому оно по праву может быть отнесено. На вновь открытых землях они находили варваров и язычников, которых впоследствии ужасными жестокостями доводили до дикарского состояния. Можно смело утверждать, что во всех случаях совершенных полинезийцами зверств первоначальными виновниками когда-то наверняка были европейцы, и жестокие кровожадные нравы некоторых островитян в действительности порождены воздействием их примера.

Но вернемся к нашему описанию. Из-за враждебных отношений между упомянутыми мною племенами горные области, разделяющие их территории, никем не заселены; туземцы живут только в своих долинах, чтобы обезопасить себя от грабительских набегов врагов-соседей, которые нередко прокрадываются к самому краю окружающего леса, всегда готовые наброситься на забредшего туда неразумного путника или разорить чье-нибудь одиноко стоящее жилище. Я встречал пожилых людей, которые по этой самой причине ни разу не бывали за пределами родной долины, иные за всю свою жизнь даже не поднялись по склону окружающих гор и, естественно, не имеют ни малейшего представления о том, как

выглядят остальные части острова, хотя он весьто, пожалуй, имеет не больше шестидесяти миль в окружности. Тесные пределы пространства, в которых проходит существование некоторых племен, кажутся просто невероятными.

Любопытным примером этому может служить долина Тиор. Ее населенная часть в длину насчитывает не больше четырех миль, а в ширину — от полумили до четверти мили и меньше. Справа над ней на полторы тысячи футов возвышаются отвесные, увитые лозой утесы, а напротив, поражая резким контрастом, одна за другой вздымаются цветущими террасами травянистые покатые горы. Сдавленная этими грандиозными ограждениями, долина оставалась бы совершенно отрезанной от мира, если бы в нее не было доступа со стороны моря, а также через узкий проход с противоположного верхнего конца.

Никогда не изгладится из моей памяти впечатление, произведенное на меня этой восхитительной долиной, какой она впервые предстала моему взору.

Я прибыл из Нукухивы водой на нашей судовой шлюпке. Когда мы вошли в бухту Тиор, был полдень. Стояла жара. Пока мы скользили по гладким широким океанским валам, ветра

совсем не чувствовалось. Солнечные лучи изливали на нас свою ярость, а тут, вдобавок ко всему, мы еще забыли, пускаясь в путь, запастись питьевой водой. От жары и жажды я так исстрадался, что, когда мы наконец развернулись к берегу, я встал на носу шлюпки и приготовился к прыжку. И в тот миг, когда шлюпку, разогнанную несколькими дружными ударами весел, чуть не целиком вынесло на отлогий песок, я выскочил прямо в толпу молодых островитян, которые собрались у воды, чтобы оказать нам любезный прием, промчался по открытому побережью (а они с воплями — за мной, точно стая чертенят) и нырнул, как пловец, под сень первой попавшейся зеленой рощи.

Что за восхитительное чувство я там испытал! Я словно погрузился в какую-то незнакомую стихию, и она обтекала меня, наполняя слух мой бульканьем, плеском, журчанием. Говорят, что холодная ванна оказывает отличное освежающее действие, но я лично в разгоряченном состоянии выше всего ставлю теневые ванны Тиора, принимаемые под кокосовыми пальмами в восхитительной лесной прохладе.

А какими словами опишу я красоты пейзажа, представшие моему взгляду, пока я нежился под

зелеными сводами! Узкая долина между крутыми тесными боками, изукрашенными дикой лозой, перекрытая сверху резными арками сплетенных ветвей, почти заслоняемая от взора пышной листвой, показалась мне похожей на гигантскую тенистую аллею, открывающую все новые виды и незаметно расширившуюся в прелестнейшую лужайку, когда-либо ласкавшую человеческий глаз.

Случилось так, что как раз, когда я был в Тиоре, туда торжественно прибыл из Нукухивы французский адмирал со всеми судами эскадры, дабы официально установить там свою власть. Он пробыл в долине около двух часов и имел за это время церемонную встречу с местным царем.

Патриарх и владыка Тиора был человек очень немолодой; но, хотя от старости он стал согбен и немощен, огромная его фигура не утратила внушительности и величия. Ступая медленно и с трудом, он вышел нетвердой походкой, держа в руке тяжелое боевое копье, служившее ему также посохом, и сопровождаемый свитой седобородых вождей, одному из которых он иногда грузно опирался на плечо. Адмирал шагнул ему навстречу с непокрытой головой, картинно протянув руку; старый царь приветствовал его, величественно

взмахнув своим копьем. И вот они уже стояли один подле другого, эти два полюса человеческого общества — самоуверенный, вылощенный француз и бедный татуированный дикарь. Оба они были высокого роста и благородной внешности, но в остальном какой разительный контраст! Дю Пти-Туар прибыл при всех регалиях, присущих его высокому морскому рангу. Он был облачен в богато расшитый адмиральский мундир, в руке — широкополая шляпа с галунами, грудь увешана всевозможными орденами и ленточками. А простодушный островитянин, не считая узкого пояса на чреслах, явился во всей природной наготе.

Какое неизмеримое расстояние, подумал я, разделяет этих двух людей. В одном воплотились столетия развивающейся утонченной цивилизации, в конце концов превратившей человека в существо возвышенное и могущественное, другого все эти столетия не подвинули ни на шаг по пути совершенствования. «И все же, — молвил я себе, — уж не окажется ли дикарь, нечувствительный к тысячам современных нужд и недоступный бесконечным тревогам и заботам, из них двоих счастливейшим?» С такими мыслями взирал я на это небывалое зрелище. Честно признаюсь, оно было впечатляющим; вряд ли

я его когда-нибудь забуду. Я и сейчас с живейшей ясностью представляю себе эту сцену во всех подробностях: глубокую тень деревьев, под которыми происходила встреча, роскошную тропическую растительность вокруг, живописную смешанную толпу солдат и туземцев и даже золотистую гроздь бананов у меня в руке, к которым я время от времени прикладывался, размышляя на вышеприведенные философские темы.

V

Окончательно решившись оставить тайно корабль и собрав все сведения о побережье, какие я только мог добыть в моем положении, я стал перебирать в уме все мыслимые способы побега, твердо вознамерившись действовать с наивеличайшей осторожностью, ибо попытка, окончившаяся неудачей, повлекла бы за собой множество неприятных последствий. Мысль, что меня могут схватить и с позором вернуть на борт корабля, была мне до того не по сердцу, что я вознамерился никоим образом не допускать поспешности и непродуманности, чтобы ничего подобного произойти не могло.

Я знал, что наш достойный капитан, столь отечески пекущийся о благе своей команды, никогда по доброй воле не согласится, чтобы один из лучших его матросов подвергал себя опасностям пребывания среди диких туземцев варварского острова; и я не сомневался, что в случае моего исчезновения отеческая забота побудит его посулить многие ярды набивного ситца в награду тому, кто меня схватит. Быть может, он даже оценит мою службу в целый мушкет, и тогда, как

я отлично понимал, все население долины бросится меня выслеживать, вдохновленное столь щедрым обещанием.

Узнав, что туземцы, как говорилось выше, из соображений безопасности селятся лишь глубоко в долинах, а на возвышенных местах побережья вообще избегают появляться иначе как для того, чтобы спуститься ради войны или грабежа в соседнюю долину, я заключил, что если сумею незаметно пробраться в горы, то без труда могу пробыть там, питаясь плодами и фруктами, до отплытия моего корабля, о чем мне сразу же станет известно, благодаря моему возвышенному положению, так как мне будет открыт вид на весь залив.

План этот пришелся мне по душе. С одной стороны, он казался довольно легким, с другой — сулил доставить немало удовольствия: как восхитительно будет глядеть на осточертевшую старую посудину с высоты нескольких тысяч футов и среди зеленого изобилия вспоминать ее тесные палубы и мрачный кубрик! Даже думать об этом и то было приятно. И я принялся воображать, как сижу под кокосовой пальмой на верхушке горы, рядом, рукой подать, банановая роща, а я поглядываю вниз и посмеиваюсь над маневрами

«Долли», пробирающейся к выходу из залива.

Был, правда, один существенный недостаток у моего соблазнительного плана: а вдруг я попаду в руки этих кровожадных тайпийцев, вышедших на поиски добычи; аппетит у них на свежем воздухе, наверное, разыграется, и они, не откладывая, тут же меня сожрут? Такая вероятность, должен признаться, была мне в высшей степени неприятна. Вообразите себе веселую компанию этих противоестественных гурманов, забравших себе в голову, что они могут приятнейшим образом закусить беднягой, который не имеет возможности ни защититься, ни удрать. Однако делать было нечего. Ради достижения цели я был готов рисковать и очень рассчитывал, что сумею в горах укрыться и улизнуть от этих рыскающих каннибалов. К тому же было десять шансов против одного, что никто из дикарей не покинет своих твердынь.

У меня не было намерения делиться с кем-либо из товарищей моим замыслом побега и тем менее — приглашать кого-то составить мне компанию. Но однажды ночью, стоя на палубе, я перебирал в мыслях все возможности бегства, как вдруг заметил у борта одного матроса: облокотясь, он глядел на воду, погруженный в глубокую задум-

чивость. Это был молодой парень, примерно мой ровесник; я с самого начала относился к нему с симпатией, и Тоби — так он у нас прозывался, ибо настоящего своего имени не открывал никому, — ее вполне заслуживал. Он был живого нрава и редкой храбрости, скор на дружескую услугу и совершенно бесстрашен и прям в выражении собственных чувств. Я не раз выручал его из неприятностей, к которым такое свойство его приводило, и не знаю, может быть, по этой причине, а может быть, из-за какой-то душевной общности, он всегда ко мне тянулся. Не одну вахту простояли мы с ним вместе, коротая томительные часы беседой, песней и рассказом и в изобилии сдабривая их сетованиями на общую нашу тяжкую участь.

Тоби, видно, как и я, вращался прежде в ином обществе, его нет-нет да и выдавала речь, как ни старался он скрыть это обстоятельство. Он был из тех мятежных духом, кого можно встретить порой на морских путях: кто они, какого роду-племени, где остался их отчий дом — об этом от них не услышишь, и бредут они по свету, словно гонимые таинственным злым роком, от которого нет им спасения.

Даже в облике Тоби были черты, привлекавшие

меня к нему, ибо, в то время как все остальные члены экипажа были столь же грубы видом, сколь и духом, Тоби был одарен на редкость располагающей наружностью. В синей матросской куртке и парусиновых штанах, он казался таким франтом, какого только поискать среди бравых моряков. Маленького роста, худой и весь необычайно гибкий, с лицом смуглым от природы и еще потемневшим от загара под тропическим солнцем, с целой шапкой угольных кудрей, под тенью которых только чернее казались его большие черные глаза, он был существом необыкновенным, прихотливым, странным, подверженным приступам веселья и тоски — подчас даже угрюмости. Он был вспыльчив и горяч; если его разозлить, он приходил в ярость, подчас граничащую с безумием.

Странно, какую власть имеют сильный дух и глубокие страсти над более слабыми натурами. Я много раз видел, как здоровенный детина, отнюдь не страдающий недостатком обычной храбрости, позорно пасовал перед этим худеньким мальчуганом, охваченным одним из таких пароксизмов гнева. Впрочем, они случались с моим приятелем довольно редко, и в них его благородная натура разом давала выход накопившейся желчи, от

которой личности более уравновешенные избавляются постепенно, пребывая в беспрерывном раздражении из-за самых недостойных пустяков.

Никто никогда не видел, чтобы Тоби смеялся, то есть до конца отдавался настоящему, во весь рот, сердечному веселью. Улыбаться он иногда улыбался, это верно, и обладал саркастическим, суховатым чувством юмора, особенно ощутимым из-за полной серьезности, с какой он отпускал свои шутки.

За последнее время я замечал, что Тоби стал гораздо печальнее, чем раньше, и с тех пор, как мы прибыли на остров, я часто видел его на палубе с тоской разглядывающим берега, в то время как вся остальная команда предавалась разгулу в кубрике. Мне было известно, как ненавидел он наше судно, и я не сомневался, что, если бы ему представилась верная возможность бежать, он бы с охотою воспользовался ею. Однако в нашем положении всякая попытка к бегству была сопряжена с такими опасностями, что, кроме меня, как я полагал, ни у кого на корабле не достало бы безрассудства даже думать об этом всерьез. И здесь я, как выяснилось, ошибался.

При виде Тоби, облокотившегося на фальшборт и погруженного в раздумье, у меня сразу же

мелькнула мысль: а вдруг и он размышляет на те же темы, что и я? А если так, то разве он — не единственный из всех моих товарищей по плаванию, кого я хотел бы иметь спутником в моем рискованном предприятии? Да и почему бы мне не обзавестись спутником, который делил бы со мною опасность и облегчал тяготы предстоящего побега? Быть может, придется пробыть в горах целый месяц. Каково-то мне будет без товарища?

Эти мысли молниеносно промелькнули у меня в голове, и я только диву дался: как же я раньше об этом не подумал? Впрочем, было еще не поздно. Одного прикосновения к плечу Тоби было довольно, чтобы вывести его из задумчивости; предложение мое, как я и полагал, нашло у него прямой отклик, и с двух-трех слов между нами установилось полное согласие. А через час у нас уже было все переговорено и составлен план действий. Тогда мы подкрепили наш сговор, дружески соединив ладони, после чего, желая избежать подозрений, разошлись по своим койкам, чтобы провести на борту «Долли» последнюю ночь.

На следующий день вся наша вахта должна была получить увольнение на берег, и мы уговорились воспользоваться этой возможностью:

как только представится случай, незаметно, не возбуждая подозрений, отстать от других и сразу же углубиться в горы. С воды вершины казались неприступными, но кое-где отроги контрфорсами спускались к самому морю, как бы подпирая величавые пики, с которыми они были соединены, и образуя те радиальные долины, о которых шла речь выше. Один из таких боковых хребтов выглядел доступнее остальных, и на него мы решили взобраться, полагая, что в конце концов он приведет нас к отдаленным вершинам. Поэтому мы постарались с корабля хорошенько запомнить, где он находится и как тянется, чтобы, очутившись на берегу, не искать его напрасно.

Мы преследовали только одну цель: найти себе надежное укрытие на тот срок, пока наше судно не покинет залива. После этого мы собирались попытать удачи, спустившись в Нукухиву в надежде, что туземцы окажут нам добрый прием, пробыть среди них на острове, сколько нам придется по вкусу, а тогда покинуть его при первой представившейся возможности.

VI

Назавтра рано поутру вся наша вахта уже стояла выстроенная на шканцах, и наш достойный капитан, остановившись у капитанского трапа, так разглагольствовал перед нами:

— Ну, ребята, вот мы с вами закончили полугодовое плавание и здесь в порту уже почти со всем управились, так что, я думаю, вам теперь охота на берег. Ладно, я вашей вахте даю сегодня увольнение, можете собираться и двигать хоть сейчас; но учтите, я вам это увольнение даю потому, что иначе вы, я знаю, такой вой подымете, что твоя канонада. Но хотите послушать моего совета, оставайтесь-ка вы все до единого на судне, не подворачивайтесь под руку кровожадным людоедам. Кто пойдет на берег, десять против одного, что попадет в переделку — ввяжется в драку, и тут ему и конец. Потому что стоит только этим татуированным гадам заманить вас в долину, и уж они вас сцапают, можете не сомневаться. Многие белые сошли здесь на берег и не вернулись. Взять, например, старую «Дидону», она заходила сюда года два тому назад, ну и отправили одну вахту целиком в увольнение на берег. Неделю о них ни

слуху ни духу, туземцы клянутся, что знать о них ничего не знают, потом трое из всех вернулись на корабль; у одного лицо изуродовано на всю жизнь: чертовы язычники вытатуировали ему широкую полосу через всю личность. Да что толку вам говорить? Вижу, вы все равно решились идти на берег, и потому одно могу сказать: попадете туземцам на обед, меня не вините. Впрочем, у вас есть кое-какая надежда уйти от них живыми, если будете держаться поблизости от французского лагеря и вернетесь засветло на судно. Запомните хоть это, если остальные мои слова пропустили мимо ушей. Ну, двигайте. Соберитесь, снарядитесь и ждите сигнала. Как пробьет две склянки, на воду будет спущена шлюпка, которая доставит вас на берег, — и да сжалится над вами Бог!

Разные чувства выражались на лицах, пока звучала эта речь; но по завершении ее все, как один, устремились в кубрик, и скоро каждый из нас уже был по уши занят сборами и подготовкой к празднику, наступление которого столь зловещим образом было провозглашено шкипером. Пока собирались, обменивались весьма нелестными мнениями об его устрашающей проповеди, и один матрос, обозвав его лживым щукиным сыном, который жалеет для команды даже уволь-

нения на вечерок, сказал, чертыхнувшись: «Ну нет, меня никакими россказнями не запугаешь, чтобы я от увольнения отказался; да я пошел бы на берег, даже будь там всякий камешек угольком, всякий прутик — вертелом, а вокруг — дикари и готовы из тебя жаркое состряпать, только ступишь на землю».

С духом, если не с буквой, этого заявления были согласны все члены экипажа. Было решено, что назло карканью капитана мы повеселимся на берегу от души.

Но у нас с Тоби была в этом деле своя ставка, и мы воспользовались суматохой, всегда возникающей на судне перед отправкой на берег, чтобы еще раз все обсудить и обо всем договориться окончательно. Поскольку наша цель была как можно быстрее убежать в горы, мы условились не обременять себя лишней одеждой, и в то время как остальные вырядились, словно на парад, мы с ним ограничились тем, что натянули новые парусиновые штаны, легкие парусиновые сандалии да плотные тельняшки, что вместе с матросскими шляпами и составило все наше обмундирование.

Когда кое-кто из товарищей выразил удивление по этому поводу, Тоби своим всегдашним

странно-серьезным тоном объявил, что другие пусть как хотят, но он лично прибережет свою парадную одежду до Южной Америки — там хоть имеет значение, как у тебя завязан галстук, а что до голоштанных язычников, то ради них он не намерен лезть на дно своего рундучка, он скорее и сам явится среди них в чем мать родила. Матросы слушали и потешались его, как они считали, удивительным зазнайством, и всякие подозрения были от нас отведены.

Может показаться странным, что мы так опасались своих же собственных товарищей; однако среди нас были такие, кто, едва учуяв, откуда ветер дует, ради ничтожной надежды на вознаграждение, сразу же ринулись бы доносить на нас капитану.

Как только пробило две склянки, был получен приказ всем, кто сходит на берег, садиться в шлюпку. Я последним выходил из кубрика и, перед тем как подняться на палубу, обвел прощальным взглядом его знакомые переборки; случайно на глаза мне попались кадка с сухарями и чан из-под солонины, содержащие остатки нашего поспешного завтрака. И хотя до этой минуты я совершенно не задумывался о том, чтобы запастись на дорогу провиантом, полностью

полагаясь на дары природы этого изобильного острова, я все-таки не мог удержаться, чтобы не прихватить кое-что из этих остатков нам на ужин. Я зачерпнул горсти две черствых, как кремни, раскрошенных сухарей, известных повсюду под именем «орешки гардемарина», и ссыпал за пазуху — просторное вместилище, куда я еще прежде упрятал несколько фунтов табаку да с десяток ярдов ситца; с помощью этих товаров я надеялся купить благорасположение островитян, когда после ухода корабля мы окажемся среди них.

Это последнее добавление к моим запасам создало спереди заметную выпуклость, но мне удалось частично ее пригладить, растряся сухари так, что они распространились равномерно вокруг пояса, и рассовав пачки табаку туда, где были складки одежды.

Едва только я покончил с этим, как послышалось мое имя, выкликаемое дюжиной голосов, я выскочил на палубу и увидел, что все уже расселись в шлюпке и только меня и ждут, чтобы отвалить от корабля. Я спустился за борт и уселся рядом с остальными на кормовых банках, бедняги вахтенные ударили веслами по воде и повезли нас к берегу.

Был как раз дождливый сезон в этих широтах, небеса с утра упорно грозили ливнем, какие столь часты на островах в это время года. Лишь только мы отвалили от нашей «Долли», как тяжелые крупные капли начали шлепаться на воду, а к тому времени, когда мы могли наконец выскочить на песок, с неба низвергались целые потоки. Мы добежали до большого лодочного сарая, стоявшего почти у самого берега, и там укрылись, выжидая, покуда утихнет первая ярость бури.

Но ливень не унимался; от монотонного шума дождя над головой клонило ко сну, матросы, растянувшись тут и там на днищах боевых челнов, постепенно перестали переговариваться и скоро уже все спали крепким сном.

Этого нам с Тоби только и надо было: мы тут же воспользовались представившейся возможностью, выскочили на дождь и со всех ног помчались к зарослям, начинавшимся неподалеку за сараем. Минут десять мы, задыхаясь от спешки, продирались через чащу, пока не выбрались на открытое место, откуда сквозь мутную пелену тропического ливня неясно, но не дальше чем в миле от нас проглядывал скалистый кряж, по которому мы намерены были подняться в горы. Прямая дорога к нему вела через довольно

населенный участок побережья, но мы, чтобы не попадаться на глаза туземцам и беспрепятственно уйти в глубь острова, решились двинуться в обход по зарослям и вовсе не появляться вблизи человеческого жилья.

Ливень, по-прежнему не прекращавшийся, был нам на руку: он загнал в хижины островитян и уменьшил опасность случайных встреч. Наши плотные тельняшки скоро насквозь пропитались водой, и их тяжесть, а также вес всего того, что было у нас спрятано под ними, сильно затруднял продвижение. Но до того ли сейчас было, когда в любой момент на нас могла выскочить ватага дикарей и положить конец всему нашему предприятию?

С тех пор как мы покинули приютивший нас лодочный сарай, мы не обменялись с Тоби ни единым словом; но, выбравшись на узкую прогалину в лесу, откуда нам снова открылся вид на желанный кряж, я взял Тоби за локоть и, указывая пальцем туда, где постепенно вздымающийся хребет сливался с высокими горами в центре острова, тихо произнес:

— Теперь ни звука, Тоби, и ни взгляда назад, покуда мы не очутимся вон на той вершине, — устремимся же без промедления в путь и будем

карабкаться, сколько у нас достанет сил; через несколько часов мы сможем кричать и смеяться вволю. Ты полегче и попроворнее меня, так что ступай вперед, а я за тобою.

— Ладно, брат, — ответил Тоби, — главное дело — быстро! Ты только смотри не отставай.

И, так сказав, он, словно молодой олень, одним прыжком перескочил через ручей, протекавший поперек нашей дороги, и стремительным легким шагом углубился в лес.

Когда мы подошли к подножию хребта, нам преградила путь сплошная стена высокого желтого тростника, крепкого и упругого, словно лес стальных прутьев; к великому нашему огорчению, оказалось, что такие густые заросли тростника тянутся до половины склона, по которому нам предстояло подняться.

Мы остановились и стали озираться в поисках какого-нибудь прохода; но было очевидно, что, если мы намерены двигаться дальше, нам ничего иного не оставалось, как пробиваться сквозь эту чащу. Тогда мы изменили наш боевой порядок, я, как сильнейший, пошел впереди, проламывая дорогу в тростнике, а Тоби двигался в арьергарде.

Сначала я попробовал протискиваться между гигантскими стеблями, старался раздвинуть и

отогнуть их в стороны, чтобы они пропускали меня вперед, однако с таким же успехом лягушка могла бы пролезть сквозь зубья гребня.

Я отчаялся, и вне себя от этого неожиданного препятствия стал наваливаться всем телом на стену тростника и, падая, сокрушал своей тяжестью проклятые стебли; потом вскакивал и бросался на тростники снова. Так продолжалось минут двадцать, я совершенно обессилел от такого нечеловеческого занятия, однако за это время мы успели несколько углубиться в чащу. Тогда Тоби, который только пожинал плоды моих трудов, двигаясь позади меня, предложил поменяться со мной местами и пойти теперь первым, чтобы я пока отдохнул. Но у него мало что из этого получилось: он был слишком легкого телосложения, и я вскоре снова должен был занять место впереди идущего.

Так, надрываясь, прокладывали мы путь в тростниках, и пот ручьями струился по нашим телам, а острые края расщепленных стеблей немилосердно ранили нам руки и ноги; мы прошли уже, наверно, половину зарослей, как вдруг дождь прекратился, и сразу же в чаще сделалось невыносимо душно и парко. Упругие тростники тут же выпрямлялись позади нас, снова смыка-

ясь за нами по мере нашего продвижения, и ни ветерка, ни легкого дыхания свежего воздуха не проникало к нам сквозь эти преграды. К тому же тростник был настолько высок, что совершенно заслонял нам кругозор, и вполне могло статься, что мы давно уже идем в неверном направлении, ничего об этом не подозревая.

Измученный и задыхающийся, я чувствовал, что не в силах больше двинуть ни рукой, ни ногой. Я закатал мокрый рукав тельняшки и выжал несколько капель влаги себе в пересохший рот. Но облегчение было кратковременным, и я повалился на спину, охваченный глубокой тупой апатией. Из нее меня сразу же вывел Тоби — он изобрел способ, как нам вырваться из этих тенет, в которые мы, не чая того, попали.

Он яростно размахивал ножом, подсекая направо и налево высокие стебли, словно косец в траве, и вскоре выкосил вокруг нас целую прогалину. Зрелище это меня воодушевило, я тоже схватился за нож и принялся рубить и кромсать, сколько достало мочи. Но увы! Чем дальше мы продвигались, тем гуще и выше становились тростники, и, казалось, конца им не было.

Я уже начал подумывать, что мы пропали, что без пары добрых крыльев нам никогда не

выбраться из этой живой ловушки, как вдруг впереди и справа между тростниками засинел дневной свет; я поделился с Тоби моим радостным открытием, мы со свежим воодушевлением принялись за работу и вскоре очутились на свободном от тростника склоне, где ничто уже больше не преграждало нам дороги к вершине хребта.

Несколько минут передышки, и мы начинаем подъем. И вот мы уже у верха. Однако, вместо того чтобы идти по самой бровке хребта, на виду у обитателей обеих долин, так что пожелай они, им ничего не стоило подстеречь нас где-нибудь впереди, мы осмотрительно избрали путь вдоль по склону и, словно две змеи, поползли на четвереньках, скрываемые от посторонних взоров густой травой. Час мы продвигались этим мало приятным способом, а потом наконец выпрямились во весь рост и храбро продолжили путь уже по гребню.

Этот главный отрог горного массива, возвышающегося над заливом, подымался от долины под острым углом и, если не считать двух-трех крутых уступов, представлял собою одну наклонную плоскость от моря и до дальних высот. Мы поднялись на него у его начала, где он был еще

сравнительно невысок, и теперь наша дорога к вершинам лежала прямо по узкому гребню, в иных местах едва ли пяти футов шириною, выстланному роскошным зеленым ковром.

Возбужденные успехом, знаменовавшим покамест нашу затею, и освеженные чудесным целительным воздухом, который вдыхали полной грудью, мы с Тоби весело шагали вперед, как вдруг снизу, из долины, по обе стороны от нас, донеслись крики туземцев, заметивших наши фигуры, отчетливо обозначенные на фоне неба.

Бросив на ходу взгляд вниз, мы увидели, что обитатели обеих долин мечутся туда-сюда, видимо объятые внезапной тревогой. Они представлялись нам с высоты стайками взбудораженных пигмеев; а их жилища под белыми кровлями казались издалека игрушечными домиками. Глядя на островитян свысока, мы чувствовали себя в совершенной безопасности — уж конечно, вздумай они погнаться за нами, у них все равно бы ничего не вышло: ведь мы забрались уже довольно высоко, им пришлось бы карабкаться за нами в горы, а на это, как мы полагали, они не отважатся.

Однако на всякий случай мы решили поторопиться и, когда это представлялось возможным,

пускались бегом по гребню. Дорогу внезапно преградила отвесная каменная стена, поначалу показавшаяся нам совершенно непреодолимым препятствием. Но потом, после долгих трудов, то и дело рискуя сломать себе шею, мы все-таки вскарабкались по ней и с прежним проворством продолжали путь.

Мы покинули побережье рано утром и после непрерывного подъема, по временам трудного и даже опасного, ни разу не оглянувшись назад, часа за три до заката вышли на самое возвышенное место в центре острова. Под ногами у нас был огромный скальный массив, составленный из базальтовых пород, с отвесными склонами, густо поросшими паразитической растительностью. Над уровнем моря мы находились, вероятно, более чем в трех тысячах футов, и вид, открывшийся с этой высоты, был великолепен.

Глубоко-глубоко внизу, так что корабли французской эскадры только редкими точками чернели на пустынной глади вод, покоился залив Нукухива, замкнутый в кольце обступивших его холмов, и эти зеленые склоны, там и сям перерезанные узкими ущельями или оттесненные от воды солнечными долинами, являли взору прекраснейшее зрелище, какое я когда-либо видел в

жизни, и, доживи я хоть до ста лет, мне не забыть восхищения, которое я тогда испытал.

VII

Мне не терпелось узнать, что представляет собою местность по ту сторону горного массива; мы с Тоби предполагали, что, лишь только наше восхождение будет завершено, глазам откроются заливы Хаппар и Тайпи, простертые у наших ног справа, как слева простирался внизу залив Нукухива. Но ожидания эти не оправдались. Гора, на которую мы взобрались, вовсе не уходила с той стороны круто вниз, как мы думали, к просторным низменным долинам; местность и дальше оставалась возвышенной, только пересеченной разными хребтами и перепадами, и тянулась она вдаль, насколько хватал глаз; крутые обрывы были увиты пышно зелеными лозами, а на склонах колыхались рощи деревьев, среди которых, однако, не видно было тех пород, чьи плоды, по нашему замыслу, должны были служить нам верной пищей.

Этого мы никак не ожидали. Такой оборот дела грозил повергнуть во прах все наши расчеты. Ведь о том, чтобы спускаться за едой в долину Нукухива, и думать не приходилось — там мы едва ли избегли бы встречи с туземцами, и они

в лучшем случае препроводили бы нас обратно на корабль в надежде на вознаграждение в виде ситца и побрякушек, которое наш капитан уже наверняка выдвинул как аргумент в пользу нашей поимки.

Что же делать? «Долли» отплывает дней через десять, не раньше, как же нам просуществовать все это время? Я горько раскаивался, что по недостатку предусмотрительности мы не запаслись хотя бы сухарями — ведь это так легко было сделать! С грустью я подумал о той жалкой горсти, которую засыпал перед отплытием себе за пазуху, мне захотелось проверить, много ли от нее осталось после всех тягот, выпавших на долю сухарей за время нашего восхождения. И я предложил Тоби устроить совместный смотр всего, что было нами унесено с корабля. Мы уселись на траву, и я, любопытствуя узнать, чем набил себе пазуху мой запасливый товарищ — ибо она у него топырилась не меньше, чем моя, — попросил его начать первым и выложить свои запасы.

Он сунул руку за тельняшку и из этого просторного вместилища извлек на свет божий примерно фунт табаку, еще не раскрошившегося, а составлявшего один кусок, снаружи густо облепленный хлебными крошками. Правда, он совершенно

промок, словно его только что выловили со дна морского. Но меня не смутила гибель этого продукта, бесполезного для нас в нашем теперешнем положении, главное, я обнаружил признаки того, что у Тоби достало предусмотрительности запастись на дорогу также и съестным. Я спросил, велики ли его запасы. В ответ, порывшись еще под тельняшкой, он вытащил горсть какого-то вещества, настолько размякшего, раскисшего и ни на что не похожего, что поначалу он и сам не больше моего мог сказать, в результате какого таинственного процесса образовалась у него на груди эта злокачественная смесь. Я могу ее определить лишь как табачно-хлебную кашу, густо замешенную на поте и дожде. Но как тошнотворна она ни была, для нас она сейчас представляла величайшую ценность, и я, сорвав с куста большой лист, осторожно уложил на него этот липкий комок. Тоби объяснил, что утром сунул себе за пазуху два целых сухаря, чтобы пожевать в пути, если придет охота. Они-то и превратились в подозрительное месиво, которое я держал теперь на листе.

Еще одно погружение в недра тельняшки, и на свет появилось ярдов пять набивного ситца, изысканный узор на котором, впрочем, несколь-

ко портили желтые пятна от табака, лежавшего там же. А Тоби знай тянул из себя ситец дюйм за дюймом, словно факир, показывающий фокус с бесконечной лентой. Потом пошла добыча помельче: «матросский ридикюль» — мешочек с нитками, иглами и прочими швейными принадлежностями, бритвенный прибор и в довершение всего две или три плиточки черного паточного жевательного табака, выуженные со дна уже опустевшего хранилища. Оглядев все это имущество, я прибавил к нему то немногое, что было у меня.

Как и следовало ожидать, мои запасы провианта оказались в столь же плачевном состоянии, что и у моего товарища, и количество их катастрофически сократилось, — едва на один зуб голодному человеку, если только он достаточно благосклонен к табаку, чтобы потреблять его внутрь. Эти крохи, да добрые две сажени белого ситца, да несколько фунтов лучшего низкосортного табака составляли все мое богатство.

Общие наши запасы мы увязали в один узелок и уговорились нести его по очереди. Однако с жалкими остатками сухарей необходимо было особое обращение: от них одних, быть может, зависела при теперешних обстоятельствах судьба всего нашего побега. После краткого совещания, во время

которого мы оба решительно высказались против того, чтобы спускаться в долину, пока не отплыл наш корабль, я предложил разделить весь наш хлебный запас, как ни скуден он был, на шесть равных частей, каждая из которых должна была служить однодневным рационом для нас обоих. Тоби согласился; я снял с шеи шелковый платок, разрезал его ножом на двенадцать квадратиков и приступил к тщательному разделу хлеба.

Тоби вздумал было весьма некстати привередничать, настаивая на том, чтобы выковырять из хлебной массы табачные крошки; но я решительно протестовал, потому что тем самым чувствительно уменьшился бы ее объем.

Осуществив раздел, мы увидели, что дневная порция на нас обоих была разве чуточку больше, чем поместилось бы в одну столовую ложку. Каждую такую порцию мы завернули в отдельный кусочек шелка, потом связали их все в один сверток, и я, воззвав к дружеской верности, вручил его на хранение Тоби. В тот день мы решили ничего не есть, так как оба подкрепились с утра завтраком. Мы поднялись и стали озираться кругом в поисках укрытия на ночь, ибо ночь, насколько можно было судить по виду небес, предстояла темная и бурная. Поблизости не видно было ни

одного подходящего места; и тогда, повернувшись спиной к Нукухиве, мы стали разглядывать неведомые дали по ту сторону горы.

Здесь, насколько хватало глаз, не видно было ни малейших признаков человека, ничего даже, что говорило хотя бы о его временном пребывании. Весь ландшафт был одна нескончаемая пустыня — очевидно, внутренние области острова оставались не заселенными от сотворения мира, и, когда мы двинулись дальше, переговариваясь в этом безлюдье, человеческие голоса наши звучали странно, словно впервые тревожа зловещее безмолвие здешних мест, нарушаемое лишь бормотанием отдаленных водопадов.

Впрочем, наше огорчение из-за того, что здесь не оказалось райских плодов, какими мы надеялись упиваться, несколько умерилось, когда мы сообразили, что зато нам можно почти не опасаться случайных встреч с окрестными жителями, потому что, как известно, они обитают в тени тех же самых деревьев, плодами которых кормятся.

Мы брели, оглядывая каждый кустик, как вдруг, поднявшись на гребень очередного холма, какие бороздили плоскогорье, я увидел в траве что-то вроде едва приметной тропы, — она бежала впе-

ред и примерно через полмили обрывалась у глубокого ущелья.

Наверно, Робинзон Крузо был не больше поражен человеческим следом на песке, чем мы этим мало приятным открытием. Моим первым побуждением было немедленно повернуть и уйти в другую сторону, однако желание выяснить, куда же все-таки ведет эта тропа, одержало верх, и мы зашагали вперед. Мы шли, и тропа становилась все отчетливее, пока наконец не привела нас на край обрыва; здесь тропа прекращалась.

— Гм, — пробормотал Тоби, заглядывая вниз, — стало быть, всякий, кто идет по этой дорожке, прыгает туда?

— Вовсе не обязательно, — возразил я. — Должно быть, тут можно как-нибудь спуститься. Послушай… попробуем, а?

— Но что, клянусь пещерами и угольными шахтами, надеешься ты найти на дне этой пропасти? Сломанную шею? Б-р-р! Да там чернее, чем было у нас в трюме, и от водопада стоит такой грохот, что в пору голове лопнуть.

— Полно, Тоби, — ответил я со смехом, — ей-богу, уж что-нибудь да есть там, иначе сюда не вела бы эта тропинка. И я намерен узнать, что там такое.

— Я тебе вот что скажу, любезный друг, — не уступал Тоби, — если ты вздумаешь совать нос во все, что возбуждает твое любопытство, ты и оглянуться не успеешь, как сломаешь шею. Можешь мне поверить, там внизу тебя уж, наверное, дожидается компания людоедов, и ты прямым ходом попадешь им в лапки, если не уймешь свою жажду открытий. Вряд ли тебя так уж прельщает встреча с дикарями, а? Послушай меня один раз: давай развернемся и ляжем на другой курс. Да и время уже не раннее, пора нам где-нибудь стать на якорь.

— А я о чем тебе толкую? — настаивал я. — По-моему, это ущелье как раз то, что нам надо. Видишь, место там укромное, но достаточно просторное, воды питьевой вдоволь, и от непогоды мы будем избавлены.

— От непогоды — не знаю, а вот от сна человеческого — это точно. Да еще заработаем ангину и ревматизм, — возражал Тоби, которому мой замысел пришелся не по сердцу.

— Ну хорошо, мой друг, — сказал я. — Раз ты со мной спускаться не хочешь, я полез один. Утром увидимся.

И, приблизившись к самому краю обрыва, я стал карабкаться вниз по спутанным корням и

ветвям деревьев, растущих в расселинах скал. Тоби, как я и ожидал, сколько ни ругался, а тоже полез вслед за мною — быстрый и ловкий, как белка. Он скоро меня обогнал и приземлился на дно ущелья, когда я еще едва одолел половину спуска.

Зрелище, открывшееся тогда нам снизу, навсегда запечатлелось в моей памяти. Пять пенных струй, вырываясь из пяти узких расселин, вздутые и замутненные после недавних дождей, соединялись в один головокружительный каскад, с ревом обрушивающийся с восьмидесятифутовой высоты в глубокий черный котлован, выбитый в мрачных скалах, громоздящихся вокруг, а оттуда единым потоком устремлялись куда-то круто вниз в темную трещину, которая проникала, казалось, до самых недр земли. А сверху по обе стороны ущелья свисали огромные древесные корни, и влага сочилась по ним, сотрясаемым от грохота водопадов. Было время заката, и в слабых, неверных его отсветах, проникавших сюда под каменные кручи и лесные кроны, еще страннее, еще необычайнее казалось все вокруг, сурово напоминая нам, что недалек тот миг, когда мы окажемся в совершенной темноте.

Я рассматривал дно ущелья со все растущим

недоумением: возможно ли, чтобы в это дикое место вел человеческий след? Пожалуй, я все-таки ошибся, и это вовсе не тропа, проложенная туземцами. Мысль такая была для нас скорее приятной, нежели наоборот, ибо тем самым уменьшалась опасность нежелательных встреч; и я в конце концов пришел к заключению, что, как ни ищи, нам никогда бы не найти укрытия более надежного, чем это ущелье, на которое мы так случайно набрели. Тоби со мной согласился, и мы тотчас приступили к сбору валежника, чтобы соорудить себе шалаш для ночлега. Нам пришлось поставить его у самого подножия водопада, ибо вода заливала почти все дно ущелья. Последние мгновенья, пока еще не сгустилась тьма, мы употребили на то, чтобы покрыть свой шалаш плоскими перьями особого вида травы, в изобилии росшей по всем расселинам. Хижина наша, если только она заслуживала такого названия, представляла собою несколько палок попрямее из того, что нам удалось найти, приставленных наискось к отвесной стене ущелья и воткнутых нижними концами не далее чем в футе от бурлящего потока. Мы покрыли их травой, подлезли внутрь и там, вконец измученные, расположились, как смогли, на отдых.

Забуду ли я когда-нибудь эту жуткую ночь? Из бедного Тоби мне не удалось вытянуть ни слова; а между тем звук его голоса мог бы послужить хоть каким-то утешением, но Тоби пролежал всю ту бесконечную ночь молча и только трясся, как паралитик, подтянув колени к подбородку и упираясь затылком в мокрую каменную стену. Кажется, в нашем распоряжении было все, чтобы сделать этот ночлег совершенно невыносимым. Хлестал дождь, против которого наша бедная кровля была как жалкая насмешка, — напрасно старался я спрятаться от изливающихся на меня струй: отодвигая один бок, я подставлял им другой, а дождь находил в крыше все новые отверстия, чтобы сквозь них обрушиваться на нас.

За жизнь мне не раз случалось промокнуть до нитки — такими вещами меня вообще-то не испугаешь. Но в ту жуткую ночь могильный холод на дне ущелья, непроницаемая тьма и непереносимое чувство затерянности и безнадежности едва не сломили меня.

Утром мы встали, как нетрудно догадаться, достаточно рано; лишь только нечто, отдаленно подобное первым проблескам дня, забрезжило сквозь тьму, как я стал трясти своего товарища за плечо, оповещая его о том, что наступил рассвет.

Бедняга Тоби поднял голову и через минуту сипло произнес:

— Ну что ж, тогда, значит, приятель, мои бортовые огни погасли, потому что с открытыми глазами мне еще темнее, чем с закрытыми.

— Глупости! — отозвался я. — Ты еще просто не проснулся.

— Не проснулся? — вознегодовал Тоби. — Ты что хочешь сказать, что я спал, что ли? Да это просто оскорбление — предполагать, что человек мог уснуть в этой чертовой дыре!

Я стал извиняться за то, что столь превратно истолковал его ночное молчание, а тем временем свету еще немножко прибавилось, и мы выползли из своей берлоги. Дождь прекратился, но все вокруг сочилось и струилось. Мы сняли вымокшую одежду и, насколько возможно, отжали ее. Потом попытались восстановить кровообращение в застывших конечностях, изо всех сил растирая их руками, и, умывшись из ручья и снова натянув влажное платье, стали подумывать, что пора наконец нарушить наш затянувшийся пост, поскольку уже двадцать четыре часа во рту у нас не было ни крошки. И вот на свет был вытащен наш дневной рацион, и мы, усевшись на большой камень, стали совещаться, как нам с

ним поступить. Прежде всего мы разделили его пополам и, тщательно завернув одну половину, отложили ее на ужин; остаток по возможности точно разделили еще пополам и бросили жребий, кому первому выбирать. Доставшуюся мне порцию я мог бы уместить на кончике пальца, но тем не менее я постарался растянуть трапезу и употребил целых десять минут на то, чтобы поглотить все до последней крошки. Как верно говорят: голод — лучшая приправа! Этот крохотный кусочек пищи доставил мне столь тонкое и острое гастрономическое наслаждение, какого при иных обстоятельствах я не испытал бы от самого изысканного блюда. Досыта напившись чистой воды из бегущего у наших ног ручья, мы тем закончили завтрак и встали на ноги, изрядно подкрепившиеся и готовые ко всему, что ни ожидало нас впереди.

Теперь мы решили более тщательно осмотреть провал, в котором провели ночь. Перейдя через ручей, мы выбрались на тот берег описанного мной выше котлована и там по несомненным признакам обнаружили, что совсем незадолго до нас здесь кто-то был. Пошарив вокруг, мы убедились, что место это посещалось неоднократно, — очевидно, как мы догадались по следам,

здесь добывали некий корень, из которого местные жители получают красильное вещество.

Это открытие пробудило в нас решимость покинуть негостеприимное ущелье, прельстившее нас только своей мнимой необитаемостью. Задрав головы, мы стали выискивать по стенам путь вверх и вскоре нашли относительно удобный откос, по которому через каких-нибудь полчаса взобрались на тот самый обрыв, с которого спустились накануне вечером.

Я предложил Тоби, чтобы мы, вместо того чтобы рыскать без толку по острову, выставляя себя напоказ за каждым поворотом, избрали какое-нибудь постоянное место укрытия на все время, пока у нас хватит пищи, соорудили бы настоящую хижину, сидели бы там и вели бы себя разумно и осмотрительно. На все это он согласился, и мы сразу же приступили к осуществлению моего плана.

В поисках подходящего места мы осмотрели ближнюю лощинку, остались неудовлетворены и двинулись в путь. Мы одолели несколько гребней, пересекавших, как я уже упоминал, все плоскогорье, и к полудню оказались на широком пологом склоне, так и не найдя места, которое отвечало бы нашим нуждам. Низкие тяжелые об-

лака предвещали новую бурю, и мы заторопились вверх по склону, который венчали густые заросли кустов, где мы и рассчитывали найти укрытие от непогоды. Поднявшись, мы спрятались под кустами и, надергав росшей вокруг высокой травы, укрылись с головой и стали ждать дождя.

Но ливень медлил, прошло несколько минут, и мой товарищ уже спал крепким сном, а вслед за ним и я готов был погрузиться в это блаженное бездумное состояние. Но тут как раз хлынул дождь, да такой сильный, что о сне нечего было больше и думать. Мы были прикрыты кустами и травой, но, несмотря на это, вскоре снова вымокли насквозь — а мы-то так старались высушить одежду. Вот досада! Впрочем, тут уж ничего нельзя было поделать — могу только порекомендовать мятежным юношам, убегающим с кораблей на экзотические острова в дождливый сезон, непременно захватывать с собою зонтик.

Через час ливень кончился. Тоби все это время проспал, во всяком случае, насколько можно было судить по виду. Но теперь у меня рука не поднималась его будить. Я лежал на спине, весь одетый листвой и зелеными травами, и ветви кустов склонялись к самому моему лицу, и поневоле мне вспомнились герои известной баллады

— дети, потерявшиеся в лесу. Бедные маленькие страдальцы! Насколько им хуже пришлось, чем нам, какие тяготы выпали на их долю — неудивительно, что здоровье бедняжек не выдержало.

Пролежав так часа, наверное, два, я почувствовал, что со мною происходит что-то неладное — ночь, проведенная в холодном ущелье, как видно, не прошла даром: меня начало бросать то в жар, то в холод, и при этом одна нога моя так вдруг распухла и стала причинять такую острую боль, что я подумал, уж не ужалила ли меня ядовитая змея, какие, должно быть, без числа водятся на дне той мрачной пропасти. Попутно замечу, что, как я узнал впоследствии, на островах Полинезии, как и на острове Ирландия, по всеобщему мнению, совершенно не водятся ядовитые пресмыкающиеся, хотя заглядывал ли когда-нибудь на них святой Патрик, — на этот счет свидетельств не имеется.

Лихорадка моя все усиливалась, я стал метаться на своем ложе, но старался не потревожить спящего товарища и отполз от него немного в сторону. При этом я раздвинул какие-то ветви — и тут моему взору открылось зрелище, которое я и теперь вспоминаю со всей живостью и остротой первого впечатления. Явись передо мною вдруг

сад Эдемский, я и тогда, наверное, восхитился бы не больше.

Сверху, где я лежал пораженный, мне видна стала зеленая долина, спускавшаяся покатыми, широкими террасами к далекому голубому морю. Где-то в середине проглядывали сквозь листву деревьев пальмовые кровли хижин, выбеленные зноем и ослепительно сверкающие на солнце. Вся долина была более трех лиг в длину и, наверное, с милю поперек в самом широком месте.

С обеих сторон ее теснили крутые травянистые склоны и там, где я лежал, сходились полукругом, затворяя долину стеной зеленых круч и обрывов в сотни футов высотой, по которым там и сям прыгали бесчисленные тоненькие водопадики. Но главную красоту составляла зелень — бесконечная, всепронизывающая, вечная зелень; в ней, я полагаю, таится прелесть всякого полинезийского ландшафта. Повсюду подо мною, прямо от подножия обрыва, над которым я, сам того не ведая, все это время лежал, тянулась зеленая туча листвы, такой роскошной и изобильной, что немыслимо было определить, кроны каких деревьев ее слагают. И может быть, всего более меня восхитили безмолвные крохотные водопады, серебристыми нитями влаги протянувшиеся с

обрыва на обрыв и пропадавшие внизу в пышной зелени долины.

А надо всей этой сценой царил такой чуткий, трепетный покой, что мне было страшно чем-нибудь его потревожить, страшно, что от одного произнесенного слова нарушатся чары и растает, как в сказке, вся эта волшебная красота. И я долго лежал так, забыв о своем недуге и о товарище, спящем поблизости, и все глядел и глядел, не в силах понять, когда и как возникло передо мною это видение.

VIII

Когда я немного пришел в себя, то поспешил растолкать Тоби и объявил ему о своем открытии. Вдвоем мы подползли к краю обрыва, и мой друг был потрясен не меньше меня. Впрочем, удивляться, как мы быстро сообразили, тут было особенно нечему: ведь мы знали, что долины Хаппар и Тайпи, расположенные по соседству с Нукухивой, тянутся от побережья в глубину острова и где-то в этих местах должны кончаться.

Вопрос был в том, которую из двух долин мы сейчас видим? Тоби считал, что перед нами — место обитания хаппарцев, я же склонен был думать, что это — родная долина их заклятых врагов, кровожадных тайпийцев. Правда, полной уверенности у меня не было тоже, но, когда Тоби предложил спуститься и вкусить радостей местного гостеприимства, я стал спорить, что нельзя так рисковать, не имея сколько-нибудь основательных доказательств, что сначала нужно удостовериться.

А разница была существенная. Обитатели долины Хаппар не только жили в мире с Нукухивой, но даже поддерживали с ней в высшей степени

дружеские отношения и, кроме того, вообще славились миролюбием и добротой, так что мы с полным основанием могли рассчитывать если не на сердечный прием, то уж, во всяком случае, на кров и пищу.

Другое дело — Тайпи. Само имя это вселяло ужас в мою душу, и я этого вовсе не скрывал. Мысль о том, чтобы добровольно отдаться в руки свирепых дикарей, казалась мне безумной; и не менее безумным представлялся мне замысел спуститься в долину, не зная, кто в ней живет. В том, что долину, лежащую у наших ног, населяет одно из этих двух племен, мы не сомневались, но которое — на этот счет мы находились в неведении.

Однако мой товарищ, видя, какое изобилие еды и прочих радостей жизни сулит нам роскошная долина, не в силах был противиться искушению и продолжал твердить свое, не слушая моих доводов. Я внушал ему, что мы ничего не знаем наверняка, и яркими красками живописал судьбу, которая нас ожидает, если мы безрассудно спустимся вниз и слишком поздно обнаружим свою ошибку, а он в ответ перечислял все тяготы и невзгоды, уготованные нам, останься мы там, где сидим.

Чтобы как-нибудь отвлечь его внимание — ибо

переубедить его, как я понял, мне было не под силу, — я указал ему на солнечную безлесную полосу земли, которая прямо под нами спускалась вниз в долину из внутренней части острова. Там, говорил я ему, должно быть, лежит большая ненаселенная долина, изобилующая всевозможными тропическими плодами. Я слышал, что в глубине острова несколько таких долин, и теперь уговаривал Тоби направиться туда, ведь там, если только ожидания наши оправдаются, мы сможем пробыть, ничего не опасаясь, сколько захотим.

Он дал себя уговорить, и мы стали разглядывать склоны, выбирая дорогу. Но выбирать было особенно не из чего: чтобы добраться туда, куда мы задумали, нам надо было пересечь несколько ущелий и горных отрогов, тянувшихся поперек нашего пути.

Нелегкое путешествие! Но мы решились его предпринять, хотя я, например, с трудом представлял себе, как одолею такую дорогу: попеременно охватываемый то жаром, то холодом (не знаю, как иначе описать то, что со мной происходило), я к тому же теперь сильно хромал на одну ногу. А вдобавок еще дурнота, вызванная голодной диетой, — новая беда, от которой и Тоби страдал ничуть не меньше моего.

Впрочем, все это лишь усугубляло мое нетерпение добраться до надежного укрытия, где было бы вдоволь еды и можно было бы спокойно отдыхать, когда слабеющие силы вовсе меня оставят. И потому мы поспешили в путь. Начали мы с того, что спустились по крутому склону глубокого оврага, который весь щетинился зарослями тростника. Здесь у нас был только один способ передвижения: сесть и съехать вниз, хватаясь за встречный тростник и так направляя свой стремительный спуск. На такой скорости мы быстро добрались туда, где снова можно было воспользоваться ногами, и задержались над ручьем, который несся, бурля, по дну оврага.

Мы напились его освежающей воды и начали новый переход, куда более трудный, чем недавний спуск. Дюйм за дюймом надо было снова набирать потерянную высоту, карабкаясь вверх по другому склону, — занятие тем менее приятное, что, совершая эти вертикальные переходы, мы ни на шаг не приближались к цели. Однако, проявив беспримерное терпение, после полутора часов улиточного хода мы одолели уже, наверное, половину подъема, когда оставившая меня было лихорадка вдруг возвратилась и опалила таким жаром, породившим затем такую мучительную

жажду, что у Тоби едва достало красноречия убедить меня не ринуться, жертвуя плодами всех трудов, с обрыва вниз, где так искусительно журчала в ручье вода. В тот миг все мои мечты и страхи как бы слились в одно неодолимое желание, и я не в силах был думать о том, что будет, когда я его удовлетворю. Я не знаю другого ощущения, ни приятного, ни мучительного, которому так же невозможно противостоять, как сильной жажде.

Тоби заклинал меня продолжать подъем. Еще несколько усилий, уговаривал он, и через каких-нибудь пять минут мы выйдем на берег следующего ручья, который наверняка течет по ту сторону отрога.

— Только не поворачивай назад! — кричал он мне. — Ведь мы уже вон куда поднялись. Так и знай, если мы снова очутимся внизу, ни у тебя, ни у меня не хватит духу снова начинать подъем.

Я еще не совсем потерял голову и потому внял его уговорам: продолжая карабкаться вверх, я тщетно пытался умерить терзавшую меня жажду мыслями о том, что вот сейчас, еще немного, и я смогу пить, сколько душе моей будет угодно.

И вот наконец мы на гребне самого высокого из отрогов, тянувшихся поперек нашего пути к той

долине, в которую мы мечтали попасть. Отсюда, с высоты, нам открылось все пространство, лежащее между нами и желанным приютом, и от этого зрелища, хоть мне и прежде было невесело, душу мою исполнило беспросветное отчаяние: впереди, насколько хватало глаз, одна за другой тянулись глубокие мрачные пропасти, разделенные обрывистыми, острыми хребтами. И ни клочка ровной земли! Если бы мы могли шагать с хребта на хребет, переступая узкие глубокие пропасти, мы без труда достигли бы цели. Но ведь нам надо было спускаться на дно каждого из этих зияющих провалов и затем взбираться по их обрывистым бокам! Даже Тоби, не испытывавший моих мучений, дрогнул перед этим безнадежным зрелищем.

Впрочем, нам некогда было стоять и смотреть — я горел нетерпением как можно скорее очутиться у бегущего внизу ручья. И, не задумываясь об опасности столь головокружительного спуска, мы — страшно вспомнить — бросились в пропасть, будя первозданную тишину шорохом и гулом осыпей, и прыгали и скользили вниз, нимало не заботясь, прочно ли стоит под ногою камень и крепко ли держится кустик, за который схватился рукой, или же сейчас предательски

выдернется с корнем. Я, во всяком случае, не мог бы с уверенностью сказать, то ли я просто-напросто падал с обрыва в пропасть, то ли этот устрашающе скорый спуск был актом моей свободной воли.

В несколько минут мы достигли дна ущелья, и, став коленями на влажную каменную плиту, я склонился к воде. Как я радовался, предвкушая первый глоток. Помедлив, чтобы сосредоточить все чувства на предстоящем наслаждении, я наконец погрузил губы в прозрачную текучую стихию.

Если бы яблоки Содома рассыпались пеплом у меня во рту, я и тогда не испытал бы более сильного отвращения. Первая же капля студеной влаги словно заморозила всю кровь у меня в жилах; жар, пылавший в моем теле, сразу же сменился мертвенным холодом, сотрясая меня с ног до головы, как электрическим током, и пот на лбу собрался в крупные ледяные капли. Жажды моей как не бывало, вода теперь была мне отвратительна. Я встал на ноги, весь дрожа, — от одного вида этих сочащихся влагою мрачных скал и черного ручья, несущегося по своему каменистому руслу, мне становилось еще холоднее, и я вдруг почувствовал такое же непреодолимое

стремление вверх, к солнечному теплу, какое раньше вело меня сюда, на дно.

Еще два часа мы карабкались, выбиваясь из сил, и вот мы снова наверху — на гребне следующего хребта. Глядя назад, я просто глазам своим не верил: неужели мы вылезли вот из этой черной пропасти, зияющей у нас под ногами? Но впереди опять открылся все тот же безрадостный вид — спуски и подъемы, спуски и подъемы, — и я вдруг отчетливо понял, что нам нечего и думать о том, чтобы преодолеть все эти препятствия. Долина, лежащая где-то там, за ними, для нас недостижима. Но что нам делать, этого я не знал.

Возвратиться в Нукухиву, прежде чем мы удостоверимся, что наш корабль ушел, — такая мысль даже не приходила мне в голову; да и неизвестно еще, сумели бы мы туда добраться: расстояние, отделявшее нас от нее, мы даже примерно себе не представляли и направление после всех наших странствий тоже не могли бы определить. И мыслимо ли это — после стольких трудов отступить и от всего отказаться?

В трудную минуту человеку ничто так не противно, как движение «на месте, кругом и назад шагом марш!» — то есть полное повторение в обратном порядке того, что уже пройдено, тем

более если человек любит опасное и неведомое, возвращаться назад он не согласен ни за что, покуда остается хотя бы тень надежды найти выход на новых, неизведанных путях.

Именно такое чувство толкало нас вперед, и мы опять спустились по другую сторону отрога, на который только что с таким трудом взобрались, — хотя зачем, мы и сами не знали.

Не обменявшись ни полсловом, мы с Тоби оба решили, что от теперешнего замысла приходится отказаться: на лице друг у друга мы увидели то выражение безнадежности, которое красноречивее всяких слов.

Смеркалось, когда мы с ним очутились на дне третьей пропасти, не в силах сделать больше ни шагу, покуда отдых и пища хоть как-то нас не подкрепят.

Выбрав наименее неудобное место, мы сели бок о бок, и Тоби вытащил из-за пазухи священный сверток. В молчании были съедены крохи, оставленные от утренней трапезы, и мы, даже в мыслях не покусившись на остальные запасы, поднялись, чтобы соорудить себе укрытие для ночлега, ибо сейчас мы всего более нуждались в сне.

По счастью, место на этот раз больше отвечало

человеческим потребностям, чем наше пристанище накануне ночью. Мы расчистили маленький, но почти ровный клочок земли, свили из тростника некое подобие низенькой хижины, а поверх покрыли ее изрядным слоем длинных толстых листьев, которые росли на дереве рядом. Этими листьями мы старательно обложили все вокруг, оставив только совсем небольшое отверстие, чтобы протиснуться в укрытие.

В этих глубоких провалах, куда, казалось бы, нет доступа ветрам, хозяйничающим наверху, царит, однако, такой пронизывающий промозглый холод, какого трудно ожидать в здешних широтах; а так как, кроме шерстяных тельняшек и парусиновых штанов, у нас не было ничего, что бы согревало наши бренные тела, мы особенно позаботились сделать свою тростниковую хижину как можно теплее. Для этого мы оборвали чуть ли не все листья с ближних деревьев и кучей навалили их сверху да еще втащили охапку внутрь и соорудили из нее роскошное ложе.

В ту ночь, если бы не мучившая меня боль, я мог бы выспаться по-царски. Но я только забывался время от времени чутким сном, между тем как Тоби посапывал у меня под боком с таким вкусом, словно нежился на голландском полотне. Дождя

в ту ночь, на наше счастье, не было, и мы были избавлены от мук холодной бани.

Утром меня разбудил громкий голос моего товарища, который звал меня из шалаша. Я выполз из-под кучи вчерашних листьев и поразился перемене, какую вызвала в нем одна хорошо проведенная ночь. Он был бодр и жизнерадостен, как молодая птица; для того чтобы умерить свой здоровый утренний аппетит; он жевал мягкую кору какого-то древесного побега, которую тут же предложил и мне, уверяя, что это чудеснейшее средство от голода.

Я же, хоть и чувствовал себя тоже несравненно лучше, чем накануне, тщетно пытался заглушить тревогу, которую внушала мне моя злосчастная нога, мучившая меня вот уже целые сутки сильными и частыми приступами боли. Но, не желая портить настроение моему другу, я пресек жалобы, готовые сорваться у меня с языка, и, весело пригласив Тоби поторопиться с нашим пиршеством, приступил к умыванию. После торжественного омовения мы съели, вернее, проглотили, медленно рассасывая каждую крошку, наши мизерные порции пищи и стали совещаться о дальнейших шагах, которые нам надлежало предпринять.

— Что же нам делать? — спросил я тоскливо.

— Как что? Спуститься в ту долину, что мы видели вчера, — отозвался Тоби таким зычным и решительным голосом, что мне пришло в голову серьезное подозрение, уж не умял ли он втайне от меня хороший бараний бок где-нибудь в кустах по соседству.

— Что же еще нам остается, как не это? — продолжал Тоби. — Ведь здесь мы с тобой в два счета с голоду подохнем. А все твои опасения насчет тайпийцев — сущий вздор. Обитатели такой прекрасной долины обязательно должны быть милейшими людьми. Может быть, конечно, ты согласен погибнуть голодной смертью в этой мокрой яме, но я, например, предпочитаю спуститься, и будь что будет.

— А кто будет нашим проводником? — уныло продолжал я. — Даже если мы изберем твой план, неужели нам опять карабкаться вверх и вниз по всем этим кручам, чтобы возвратиться к исходному месту и оттуда ласточкой с обрыва нырнуть в долину?

— Гм, черт, я об этом не подумал, — сказал Тоби. — Ведь и вправду, долину со всех сторон ограждали скалы.

— Отвесные, как борта линейного корабля,

только в сто раз выше, — подтвердил я.

Товарищ мой повесил голову и задумался. Потом он вдруг вскочил и обратил ко мне взор, освещенный тем живым огнем, который знаменует возникновение блестящей идеи.

— Ну ясное дело! — воскликнул он. — Ведь все ручьи текут в одну сторону и наверняка попадают сначала в долину, а оттуда уже в море. Нам только нужно пойти по течению вот этого ручья, и рано или поздно он приведет нас в долину.

— Верно, Тоби! — воодушевился и я. — Твоя правда. И приведет очень скоро, потому что видишь, под каким уклоном бежит вода?

— Вижу! — обрадовался мой друг, услышав от меня подтверждение своей теории. — Конечно, так оно и есть! Ну пошли, пошли скорее. Да выкинь ты из головы все свои выдумки насчет тайпийцев и — да здравствует прекрасная долина Хаппар!

— Ты, значит, считаешь, что там живут безобидные хаппарцы. Дай Бог, чтобы ты оказался прав, любезный друг, — сказал я, покачав головой.

— Аминь! — отозвался Тоби, устремляясь вперед. — Я знаю, что это долина Хаппар, потому что больше и быть-то нечему. Такая роскошная долина — целые леса хлебных деревьев, кокосо-

вые рощи, заросли гуавы. Ах, братец, не отставай. Клянусь всеми сочными плодами, я умираю от нетерпения за них приняться. Да ну же, веселей, живей! Ты ли у меня не молодец! И не гляди хмуро под ноги, а подвернется камень, сшибай его с дороги, вот как я. Завтра утром, помяни мое слово, мы с тобой будем как сыр в масле кататься. Вперед!

И с этими словами он как безумный припустился со всех ног вниз по ущелью, совершенно позабыв, что я не в силах за ним угнаться. Немного погодя он, впрочем, опомнился и, остановившись, подождал, пока я с ним поравняюсь.

IX

Бесстрашная уверенность Тоби была заразительна, и я тоже стал склоняться к хаппарской гипотезе. Но, пробираясь мрачным пустынным ущельем, я все-таки не мог унять волнения и тревоги. Идти сначала было совсем легко, но постепенно становилось все труднее и труднее. Русло потока часто оказывалось завалено обломками нависших вокруг скал, и вода ярилась и пенилась перед этими преградами, образуя маленькие водопады, разливаясь глубокими озерками и бешено обрушиваясь на каменные груды.

А ущелье было узким и стены его отвесными, так что приходилось брести по воде, то и дело спотыкаясь о невидимые камни, оскользаясь на подводных древесных корнях. Но самым досадным препятствием были корявые ветви деревьев, росших на отвесных склонах: они переплетались так густо и так низко, что приходилось просто проползать под их давящими сводами. И мы ползли на четвереньках по мокрым камням, проваливаясь с головой, когда вода разливалась, а мы не видели, потому что было почти совсем

темно. Случалось, мы ударялись лбами о стволы деревьев, принимались, не чая беды, увлеченно тереть ушибленное место, и шлеп! — прямо носом на острие ребристого камня, и безжалостные потоки воды обдавали сверху наши простертые тела. Я думаю, Бельцони, протискивавшемуся в подземные переходы египетских катакомб, едва ли приходилось так туго, как нам. Однако мы мужественно преодолевали трудности, хорошо сознавая, что вся наша надежда в том, чтобы двигаться вперед.

На закате мы сделали привал и позаботились об устройстве ночлега. Снова соорудили шалаш наподобие прежних и, забравшись в него, попытались забыться сном. Товарищ мой, мне кажется, выспался отлично, но я, когда мы утром выползли на свет божий, почувствовал, что у меня, наверное, не хватит силы идти дальше. От этой немощи Тоби прописал мне принять внутрь и незамедлительно содержимое одного из наших шелковых сверточков. Но как он ни настаивал, я такой способ лечения решительно отверг, и мы, подкрепившись нашим обычным лилипутским завтраком, без дальних слов снова пустились в путь. Пошел уже четвертый день с тех пор, как мы покинули Нукухиву, и голод давал себя чув-

ствовать все острее. Чтобы хоть как-то успокоить его мучения, мы жевали на ходу мягкую кору каких-то корней и молодых побегов, которая не могла нас напитать, но по крайней мере была приятна на вкус.

Мы медленно спускались по каменному ложу ручья. К полудню была пройдена всего одна миля. Именно в это время отдаленный гул падающей воды, смутно долетавший к нам еще утром, сделался настолько отчетливым, что мы не могли уже больше не обращать на него внимания. И вот путь нам преградил во всю ширину ущелья обрыв футов в сто высотой, вода единым бешеным каскадом обрушивалась с него прямо вниз. А справа и слева высились совершенно отвесные скалы, так что обойти водопад стороной нечего было и думать.

— Что будем делать теперь, Тоби? — спросил я.

— Гм. Не отступаться же, — ответил он. — Стало быть, пошли дальше.

— Золотые слова, друг мой Тоби. Но как, интересно, ты намерен это осуществить?

— Можно спрыгнуть в водопад, если не найдется другого способа, — твердо ответил мой товарищ. — Зато быстро. Но поскольку ты сейчас не в такой хорошей форме, как я, попробуем

что-нибудь еще.

С этими словами он осторожно полез по скале вперед и заглянул в водяную пропасть, а я стоял сзади и не мог даже себе представить, как нам преодолеть это, на мой взгляд, совершенно непреодолимое новое препятствие. Когда Тоби закончил осмотр, я поспешил поинтересоваться, что он сумел высмотреть.

— Ах, тебя интересует, что я высмотрел, — отозвался он своим задумчиво-шутливым тоном. — Что ж, объяснить недолго. В настоящее время мне неясно только, чья шея, твоя или моя, удостоится чести быть сломанной в первую очередь, но я полагаю, что не менее ста шансов против одного в пользу того, кто прыгнет первым.

— Вот видишь, значит, невозможно? — хмуро сказал я.

— Напротив, любезный друг, ничего нет легче. Сложность только в том, каково достанется нашим костям там внизу и будем ли мы после этого способны к дальнейшим боевым действиям. Но подойди сюда, я покажу тебе, в чем наш единственный шанс.

Я полез вслед за ним к краю обрыва, и он показал мне, что отвесная каменная стена над водопадом и дальше вся топорщится какими-то

странными толстыми корнями в несколько футов длиною, которые свисают чуть ли не из каждой трещины, заканчиваясь в воздухе наподобие черных сосулек. Нижние корни даже касались воды. Были среди них и гнилые, замшелые, с оторванными концами, а те, что свисали над самым водопадом, выглядели мокрыми и скользкими.

Замысел Тоби — совершенно отчаянный замысел — состоял в том, что мы должны были вверить свою жизнь этим подозрительным корням и по ним, скользя с одного на другой, съехать к подножию водопада.

— Ты готов на это? — серьезно спросил меня Тоби, не распространяясь о риске, трудности и прочем.

— Готов, — был мой ответ, ибо я видел, что иного выхода, если мы хотим продолжать путь, у нас нет, а об отступлении мы давно бросили думать.

Услышав о моем согласии, Тоби, не говоря больше ни слова, пополз вперед к самому краю выступа мокрой скалы, откуда он уже мог дотянуться до длиннейшего из болтавшихся в воздухе корней. Он дернул его к себе, корень изогнулся и, когда Тоби разжал руку, зазвенел, как толстый натянутый канат, когда по нему ударят. Удовлетворившись этим испытанием, мой легкий,

ловкий товарищ ухватился и повис на корне, и, по-матросски обвив его ногами, съехал сразу футов на десять, где уже можно было своим весом раскачать корень наподобие маятника. Ниже спускаться было слишком рискованно, и Тоби, держась за него одной рукой, другой стал дергать свисавшие вокруг корни потоньше, выбирая самый надежный. Найдя новый подходящий корень, он перебрался на него и спустился еще ниже.

Все это прекрасно, думал я, но я ведь гораздо тяжелее, и до его обезьяньей ловкости мне далеко, тем более сейчас, когда я болен и хромаю. Но делать было нечего, и через минуту я уже висел прямо над его головой. А он, взглянув наверх и увидев меня, заметил со своей всегдашней невозмутимостью, словно никакие опасности его не касались: «Будь другом, подожди падать, пока я не уберусь в сторону». И, раскачавшись, перебрался на следующий корень. Я осторожно съехал вниз по толстому корню и дальше стал спускаться, держась одновременно за два тонких, рассудив, что двойная тетива вернее, — впрочем, я долго испытывал их прочность, прежде чем повис на них всем своим весом.

Съехав таким образом еще на одну ступень

вниз, я стал дергать висевшие вокруг меня корни, но они, к моему ужасу, один за другим обрывались, словно хрупкие соломинки, и летели вниз, ударяясь о скалы и падая наконец в воду глубоко подо мною.

Предательские корни ломались и падали вниз, и сердце мое все глубже уходило в пятки. Я висел и качался на двух корнях над зияющей пропастью, ожидая, что в любую минуту они тоже не выдержат и оборвутся. В страхе я потянулся к единственному толстому корню, спускавшемуся поблизости, но не достал — пальцы мои были от него в нескольких дюймах. Тогда, вне себя от ужаса, я оттолкнулся ногой от скалы, сильно качнулся в ту сторону и успел на лету ухватиться за толстый корень. Я повис на нем, он заходил под моей тяжестью, но, по счастью, выдержал — не оборвался.

При мысли о том, какой страшной опасности я только что избежал, мне чуть не стало дурно, и я закрыл глаза, чтобы только не видеть бездны у себя под ногами. В ближайшие минуты опасность мне не угрожала, и я благочестиво восхвалял Господа за спасение.

— Молодец! — крикнул мне снизу Тоби. — Ты гораздо ловчее, чем я думал. Скачешь по веточ-

кам, что твоя белка. А теперь, когда ты вдоволь налюбуешься пейзажем, советую тебе двигаться дальше.

— Будет исполнено, любезнейший, всему свое время. Еще два-три таких славных корешка, и я нагоню тебя.

Оставшийся спуск я проделал сравнительно легко: корней было множество, и в нескольких местах путь мне облегчали небольшие выступы в скале. Вскоре я уже стоял внизу рядом с Тоби.

Я подобрал себе новую толстую палку взамен той, что осталась там, над водопадом, и мы снова двинулись вниз по ущелью. Через некоторое время нас опять приветствовал издалека шум падающей воды — он становился громче и громче, по мере того как позади нас затихал рев первого водопада.

— Вот вам еще один обрывчик, — сказал я Тоби.

— И отлично: мы теперь умеем по ним лазить. Идем!

Ничто не могло запугать и остановить моего отважного товарища. Ниагара или Тайпи, ему все было по плечу. Он с готовностью устремлялся навстречу любым опасностям, а я не мог нарадоваться, что обзавелся таким чудесным

спутником.

Через час впереди и вправду показался гребень нового водопада, еще более высокого, чем первый, а над ним возвышались такие же отвесные каменные стены; впрочем, на этот раз кое-где выдавались узкие уступы, и на них тонкий слой почвы, из которого росли какие-то кусты и даже деревья, красиво контрастируя ярко-зелеными кронами с пенным потоком внизу.

Тоби, возглавлявший нашу экспедицию, пошел на рекогносцировку. Вернувшись, он объявил, что справа уступы достаточно удобны и мы без особого труда и риска можем спуститься по ним к подножию водопада. Мы повернулись спиной к бурлящему гребню воды и поползли по покатым уступам, перебираясь с одного на другой, помогая друг другу или цепляясь за обнаженные корни каких-то растений. Но уступы становились все у́же, держаться на них было все труднее, пока наконец мы не увидели, что уступ, на котором мы очутились, впереди не расширяется, как мы надеялись, а, наоборот, обрывается вовсе и пройти дальше нет никакой возможности.

Тоби по-прежнему был впереди, и я молча ждал от него объяснений, как он думает преодолеть эту новую трудность.

— Ну, мой мальчик, — не выдержал я, когда прошло несколько минут, а он все еще не произнес ни слова, — что надо делать теперь?

Он спокойно ответил, что лучше всего, пожалуй, нам как можно скорее отсюда удалиться.

— Разумеется, мой милый Тоби, но как это сделать?

— Примерно вот таким манером, — ответил он и в тот же миг, к моему великому ужасу, боком соскользнул вниз и, на мой взгляд, просто чудом угодил на раскидистую верхушку пальмы, которая росла на одном из нижних уступов, выгнув кверху ствол и не доставая зеленой кроной футов двадцати до того места, где стояли мы. Я замер, ожидая, что сейчас мой друг, не удержавшись в ветвях дерева, провалится сквозь их хрупкую сферу и кувырком полетит дальше вниз. Этого, однако, к моему восторгу и удивлению, не произошло. Тоби прочно там зацепился и, раздвинув пострадавшие ветки, выглянул из своего зеленого гнезда. «Прыгай сюда! — весело крикнул он мне. — Смелее! Все равно другого выхода нет!»

Тут он нырнул в гущу листвы и, съехав по голому стволу, в следующее мгновение уже стоял между корней футах в пятидесяти подо мною на широком каменном уступе.

Чего бы я не отдал в ту минуту, чтобы стоять с ним рядом! То, что он только что у меня на глазах проделал, казалось мне едва ли не чудом, я просто глазам своим не верил — так велико было расстояние, которое он преодолел одним головокружительным прыжком.

Но Тоби кричал мне, подбадривая: «Давай, давай!» — и, чтобы окончательно не утратить мужества в сомнениях, я в последний раз примерился, закрыл глаза и с невнятным возгласом, долженствующим быть моей молитвой, наклонился над пропастью. Одно отчаянное мгновение, и я с треском вломился в гущу листвы, круша сучья и падая все ниже, покуда не застрял на какой-то толстой ветке.

Чуть погодя я уже стоял у подножия дерева, ощупывая себя и сгибая руки и ноги, чтобы выяснить, сколь велики полученные увечья. К моему удивлению, я отделался всего лишь несколькими пустяковыми ушибами, о которых не стоило и говорить. Дальше мы спустились без особого труда, а еще через полчаса, съев крохи нашего ужина и опять соорудив шалаш, устроились на ночлег.

Утром, как ни обессилены мы были и как жестоко ни терзали нас муки голода, хотя мы не признавались в этом друг другу, мы двинулись

дальше по нашей темной и опасной дороге; нас поддерживала надежда, что еще немного — и впереди откроется долгожданная долина. Но вместо этого под вечер послышался отчетливый грохот нового водопада. Он уже давно звучал в ущелье глухим басовым аккомпанементом к мелодичному журчанию малых каскадов и перекатов, но теперь мы поняли, что приближаемся к чему-то грандиозному.

В сумерках мы остановились над обрывом в полных триста футов высотою, с которого одним, последним скачком срывалась черная масса воды. А внизу лежала долина — цель нашего путешествия. С обеих сторон водопад теснили гигантские отвесные стены скал, выходящие прямо в зеленое море долины, и точно такие же неприступные скальные бастионы замыкали ее широким полукругом. Над самым гребнем водопада сходились густые кроны каких-то деревьев, образуя зеленую амбразуру, сквозь которую, как в прекрасной раме, открывался чудесный вид вниз.

Итак, долина была перед нами. Но в нее вело вовсе не отлого спускающееся ложе потока, по которому мы до сих пор шли, и было очевидно, что все наши труды и старания должны пойти

прахом. Но, горько разочарованные, мы все же не отчаивались.

Близилась ночь, и мы решили заночевать там, где остановились, с тем чтобы утром, подкрепившись сном и съев за один присест весь наш запас пищи, либо спуститься как-нибудь в долину, либо погибнуть, сорвавшись в бездну.

Я и теперь с содроганием вспоминаю, как мы устроились тогда на ночлег. Над самым водопадом, на небольшом каменном уступе, обдаваемом снопами брызг, застрял ствол дерева, занесенный туда, наверное, во время паводка. Он держался прислоненный к обрыву, нижним концом упираясь в край уступа. Мы уложили на него трухлявые обломки веток, в изобилии валявшиеся поблизости, сверху навалили листьев и под этим скатом-укрытием приготовились ждать наступления утра.

В ту ночь неумолчный грохот водопада, жалобный вой ветра в вершинах деревьев, шум дождя и глубокая, беспросветная тьма совсем подавили меня. Промокший, голодный, истерзанный мучившими меня болями, я скрючился на земле, без сил и без воли к сопротивлению, и даже мой товарищ поддался воздействию мрака и безнадежности и за всю ночь едва ли произнес

два слова.

Наконец забрезжил рассвет, и мы, восстав с нашего жалкого ложа, размяв затекшие руки и ноги и съев весь оставшийся у нас хлеб, приготовились к последнему спуску.

Сколько раз мы оказывались на волосок от гибели, какие фантастические трудности преодолевали — всего этого я описывать не буду. Достаточно сказать, что после многих мучительных трудов и жестоких опасностей мы с Тоби, живые и относительно невредимые, очутились наконец в той самой долине, которая пять суток назад пленила нас своей роскошной панорамой, под тем самым обрывом, с которого она тогда вдруг открылась нашему взору.

X

Первой нашей заботой было найти, где растут плоды, которых здесь должно быть в избытке.

Тайпи или Хаппар? Что нас ждет: ужасная смерть от рук кровожадных людоедов или радушный прием миролюбивых дикарей, — бесполезно, да и поздно сейчас было размышлять о том, что все равно должно скоро разъясниться.

Этот конец долины показался нам необитаемым. Он весь был покрыт густыми непроходимыми зарослями, и в них не видно было ни одного из тех деревьев, на плоды которых мы так твердо рассчитывали. И мы зашагали вниз по течению ручья, обшаривая глазами его заросшие берега.

Мой товарищ, хотя замысел спуститься в долину принадлежал ему, стал проявлять осторожность, которой я от него никак не ожидал. Он предложил, чтобы мы, как только найдем съедобные плоды, остались возле них в этом необитаемом конце долины, где нам меньше угрожает встреча с местными жителями, кто бы они ни были, и не двигались дальше, пока достаточно не отдохнем и не окрепнем. Потом, запасшись необходимым количеством прови-

анта, мы легко сможем перебраться в Нукухиву, дождавшись того времени, когда будем уверены, что наш корабль уже ушел.

Но я не согласился с его планом, каким бы разумным он ни представлялся на первый взгляд. Не зная местности, мы не нашли бы дороги на Нукухиву — я напомнил Тоби наши только что окончившиеся мучительные скитания. Словом, я утверждал, что раз уж мы решили спуститься в долину, то должны довести дело до конца и встретиться с ее обитателями, кто бы они ни были, тем более что у нас и выбора-то не было, нам оставалось только довериться их гостеприимству; что до меня лично, объявил я, то мне необходим кров и отдых, без этого я совершенно неспособен к новым испытаниям, вроде тех, что мы только что перенесли. И с этим Тоби не мог не согласиться.

К нашему удивлению, сколько мы ни шли, справа и слева от нас тянулись все те же непроходимые чащи. Но я был уверен, что рано или поздно начнутся прогалины, и сговорился с Тоби, что мы будем высматривать, каждый со своей стороны, просветы в кустах, малейшие намеки на тропинку или что-нибудь еще, говорящее о присутствии туземцев.

Какими настороженными, жадными взорами

пронизывали мы тенистые заросли! С каким замирающим сердцем шли вперед, понимая, что в любой момент нас может приветствовать из засады дротик затаившегося дикаря. Наконец мой товарищ, остановившись, указал мне на узкий просвет в листве. Мы свернули и вскоре по едва приметной тропе вышли на поляну, в дальнем конце которой росло несколько деревьев под местным названием *аннуи*, приносящих, как мы знали, сочные чудесные плоды.

Мы со всех ног бросились через поляну. Странная это была гонка: я с горем пополам тащился, хромая и припрыгивая, как дряхлый инвалид, а Тоби несся вперед, словно гончий пес. Он в три прыжка очутился под деревом, на котором висело несколько плодов, но, к великому нашему сожалению, они оказались сильно перезрелыми; кожура растрескалась, и сердцевина поклевана птицами. Тем не менее мы тут же их съели, и божественный нектар не показался бы нам вкуснее.

Потом мы огляделись, не зная, в какую сторону направить дальше шаги. Тропа, приведшая нас сюда, кончилась. Подумав, мы решили свернуть в рощу, зеленевшую невдалеке, но, не пройдя и сотни ярдов, я остановился как вкопанный: на

опушке валялся зеленый молодой побег хлебного дерева, с которого, как видно, только что содрали нежную кору, — он был еще мокрый от сока, и казалось, его сию минуту бросили на землю. Я молча протянул Тоби этот неоспоримый знак близости туземцев.

Деревья росли здесь довольно густо. Через несколько шагов я увидел на земле целую связку таких же побегов, схваченных узкой полоской коры. А что, если ее бросил здесь какой-то бродивший в одиночестве дикарь, спугнутый нашим появлением и поспешивший прочь оповестить о нем своих соплеменников? Кто он, тайпиец или хаппарец? Однако отступать было поздно, и мы медленно двинулись дальше. Тоби шел впереди, бросая по сторонам под деревья настороженные взгляды. Вдруг я увидел, что он отпрянул назад, словно ужаленный змеей. Упав на колени, он одной рукой сделал мне знак остановиться, а другой раздвинул пышные ветви, загораживавшие от него какой-то необыкновенно интересный вид.

Я пренебрег его молчаливым запретом и, быстро подойдя туда, где он притаился, разглядел сквозь густую листву две человеческие фигуры: они стояли рядом, почти скрытые зеленью и совершенно неподвижные. Очевидно, они раньше

заметили нас и спрятались в чаще.

Я сразу же принял решение. Выпустив из рук палку, я раскрыл сверток, в котором лежали захваченные нами с корабля вещи, и, развернув и перекинув через руку кусок пестрой ткани, вышел из кустов. Тоби я велел следовать за собой и, в знак миролюбия размахивая над головой зеленой веточкой, двинулся к стоявшим в отдалении людям.

Это оказались юноша и девушка, тонкие, стройные и совершенно нагие, если не считать узких поясов из древесной коры, с которых впереди и сзади свисали красные листья хлебного дерева. Одна рука юноши лежала на плечах девушки, скрытая ее густыми волосами, в другой он держал ее руку. Так они стояли бок о бок, наклонив голову, настороженно прислушиваясь к звуку наших шагов и выставив вперед одну ногу, вот-вот готовые сорваться с места и убежать.

Чем ближе мы подходили, тем явственнее становилась их тревога. Опасаясь их спугнуть, я остановился и стал делать им знаки приблизиться самим и принять от нас подарки. Они не пошевелились. Тогда я произнес несколько известных мне слов на их языке, не рассчитывая быть понятым, но надеясь показать им хотя бы,

что мы не с неба свалились. И действительно, они как будто слегка успокоились, и я сделал еще несколько шагов, одной рукой протягивая им ткань, а в другой держа ветку. Они так же медленно отступали. Но в конце концов они подпустили нас к себе настолько, что мы смогли набросить им на плечи наш кусок ситца, давая им понять, что он теперь принадлежит им, и всевозможными жестами выражая наше к ним глубочайшее расположение.

Они стояли как зачарованные, пока мы из сил выбивались, чтобы внушить им, что нам от них нужно. Тоби разыграл перед ними целую пантомиму: он разевал рот до ушей, совал себе в глотку пальцы, скрежетал зубами и вращал глазами, так что испуганная парочка, наверное, сначала решила, что два белых людоеда готовятся их сожрать. Потом они как будто поняли, чего мы хотим, но готовности выполнить наши пожелания не выказали. Тут вдруг хлынул дождь, и мы стали жестами просить, чтобы нас отвели куда-нибудь, где можно укрыться от непогоды. Они поддались на наши бессловесные уговоры, но, идя впереди нас, весьма недвусмысленно проявляли страх, то и дело озираясь, разглядывая нас и следя за каждым нашим движением.

— Ну, Тоби, Тайпи или Хаппар? — спросил я, шагая вперед.

— Разумеется, Хаппар, — ответил мой друг уверенным тоном, пытаясь скрыть свои собственные сомнения.

— Ладно, сейчас увидим, — сказал я и, нагнав наших проводников, произнес вопросительным тоном оба эти имени, указывая пальцем в долину. Необходима была ясность, и немедленно. Но они в ответ принялись безо всякого выражения повторять вслед за мной эти два слова, и я был совершенно сбит с толку (уже впоследствии мы узнали, сколько было в этом сознательного коварства).

Желая во что бы то ни стало узнать, что нас ждет, я не отступался и выговорил с вопросительной интонацией два слова: «Хаппар» и «мортарки», из которых второе примерно равнозначно слову «хороший». Тут мои собеседники многозначительно переглянулись и выразили на лице недоумение. Но когда вопрос был повторен, они, посовещавшись, к великой радости Тоби, ответили утвердительно. Он пришел в невероятный восторг, потому что они не ограничились просто ответом, а без конца и весьма убедительно его повторяли, как бы говоря этим, что здесь, сре-

ди хаппарцев, мы можем считать себя в полной безопасности.

Я тоже, хоть кое-какие сомнения у меня еще оставались, выразил при этом известии удовольствие, а Тоби — тот разыграл новую пантомиму, красочно представляя наше отвращение к тайпийцам и бесконечную любовь к милым добрым хаппарцам. Между тем наши провожатые смущенно переглядывались, видимо обескураженные нашим странным поведением.

Потом они пошли дальше; мы поспешили за ними. Вдруг, совершенно для нас неожиданно, они испустили какой-то странный протяжный вопль, и он был подхвачен несколькими голосами за рощей. В следующее мгновение мы очутились на большой поляне. На ее дальнем конце мы увидели длинное низкое строение и перед ним — группу девушек. Едва завидев нас, они с визгом разбежались и попрятались в кустах, как испуганные косули. И вот уже вся окрестность зазвенела громкими голосами, и на поляну со всех сторон сбежались местные жители.

Вторгнись на их территорию вражеская армия, они и тогда бы, наверное, всполошились не больше. Скоро нас окружило плотное кольцо людей, которые, желая разглядеть нас, почти не давали

нам идти; не меньше народу обступило наших юных провожатых, и те на редкость торопливой скороговоркой живо излагали, надо полагать, обстоятельства встречи с нами. Каждая новая подробность вызывала, видимо, у островитян все большее изумление. На нас бросали недоуменные взгляды.

Наконец мы приблизились к большому красивому сооружению из бамбука, и нам сделали знак войти. Туземцы расступились перед нами, мы двинулись по образовавшемуся проходу и вступили в дом. Войдя, мы без дальних церемоний повалились на устланный циновками пол и растянулись, предвкушая отдых для своих измученных тел. Но не прошло и минуты, как легкое строение наполнилось людьми, а те, кто не поместились и остались снаружи, глазели на нас сквозь прорехи в бамбуковых стенах.

Был уже вечер, и в сумерках мы могли смутно различить обступившие нас свирепые физиономии, горящие любопытством глаза, голые татуированные тела могучих воинов, кое-где тонкие фигуры девушек; все были вовлечены в настоящую бурю разговоров, единственной темой которых были, конечно, мы. Тут же были наши недавние провожатые, отвечавшие на

бесконечные вопросы своих соплеменников. Вряд ли что-нибудь может сравниться с яростной жестикуляцией этих людей, когда они увлечены разговором; а в тот вечер они дали волю своему природному темпераменту и кричали и плясали от возбуждения, так что мы не на шутку перепугались.

Поблизости от того места, где мы лежали, сидели на корточках человек десять величавых старцев, очевидно вождей — как впоследствии и оказалось, — и, будучи гораздо сдержаннее остальных, разглядывали нас внимательно и сурово. От их ровных пристальных взглядов нам было очень не по себе. Один из них, судя по всему верховный вождь, уселся прямо лицом к лицу со мной, и перед его каменными чертами я затрепетал. Он ни разу не растворил плотно сжатых губ, а просто глядел и глядел, не сводя с меня глаз. Мне никогда не приходилось встречать такого взгляда; он никак не выдавал того, что было на уме у старого дикаря, но меня, казалось, проницал насквозь.

Нервы у меня не выдержали, и, чтобы по возможности прекратить эту муку, а заодно завоевать расположение военачальника, я вытащил из-за пазухи пачку табаку и протянул ему. Он

невозмутимо отклонил мой дар и знаком повелел убрать его назад.

Из моего прежнего общения с жителями Нукухивы и Тиора я знал, что, получив в подарок пачку табаку, любой из них будет служить тебе верой и правдой. Что же тогда этот жест вождя — знак вражды? «Тайпи или Хаппар?» — мысленно спрашивал я себя.

Я вздрогнул, потому что в ту же минуту тот же самый вопрос задал мне он — сидевший напротив меня загадочный человек. Я взглянул на Тоби: в дрожащих лучах туземного светильника его лицо при этом роковом вопросе вытянулось и позеленело. Я замер на миг и, подчиняясь бог весть какому наитию, ответил: «Тайпи!» Черное изваяние передо мной зашевелилось, кивнуло и пробормотало: «Мортарки».

— Мортарки, — подхватил я без дальнейших колебаний. — Тайпи мортарки!

Что тут вдруг произошло! Темные сидящие фигуры сразу выпрямились, повскакали, восторженно захлопали в ладоши, снова и снова выкрикивая эту сакраментальную фразу, очевидно разрешившую все затруднения.

Когда всеобщее ликование несколько поутихло, верховный вождь снова уселся на корточки

передо мною и, неожиданно распалясь, произнес длинную филиппику, направленную, как я без труда понял по часто встречавшемуся в ней слову «Хаппар», против жителей соседней долины. На все его возмущенные речи мы с Тоби согласно кивали, а затем и сами выступили с восхвалением воинственного племени Тайпи. Правда, наш панегирик отличался определенной лаконичностью, поскольку состоял лишь из многократно повторенного этого славного имени в сочетании с красочным эпитетом «мортарки». Однако этого оказалось довольно, чтобы завоевать расположение туземцев, которых, как видно, ничто так не подкупало в нас, как наше с ними полное единодушие в этом серьезном вопросе.

Наконец запас ярости вождя истощился, и он снова сделался спокоен и невозмутим. Положив ладонь на грудь, он дал мне понять, что его зовут Мехеви и что он также желает узнать мое имя. Я подумал, что, пожалуй, мое настоящее имя ему не выговорить и, руководствуясь самыми лучшими побуждениями, назвался ему просто-напросто Томом. Однако выбор мой оказался крайне неудачным; как он ни бился, овладеть этим словом ему не удалось. У него получалось: «Томмо», «Томма», «Томми» — все что угодно, но

не «Том». Поскольку он упорствовал в желании украсить мое имя добавочным слогом, я пошел на компромисс, и мы остановились на варианте «Томмо» — под этим прозвищем я значился все время нашего пребывания в долине Тайпи. То же повторилось с Тоби, но его благозвучная кличка была усвоена тайпийцами без труда.

Обмен именами у этих простодушных людей равнозначен подписанию договора об установлении добрых дружеских отношений. Мы это знали и потому особенно радовались.

Разлегшись на циновках, мы теперь устроили своего рода дипломатический прием, давая аудиенцию всем туземцам, которые по очереди группами подходили к нам, представлялись и, выслушав в ответ наши имена, отходили чрезвычайно довольные. В продолжение всей этой церемонии среди туземцев царило большое веселье, чуть не каждая реплика сопровождалась новыми взрывами смеха, и это навело меня на мысль, что кое-кто из них, должно быть, подсмеивается над нами и потешает честную компанию, награждая себя рядом вымышленных титулов, с остроумием, которого мы с Тоби оценить не могли.

На все это ушло около часа. Наконец толпа на-

чала редеть, и тогда я обратился к Мехеви и дал ему понять, что мы нуждаемся в пище и отдыхе. Любезный вождь тут же произнес несколько слов, кто-то из туземцев выбежал вон и через две минуты возвратился, держа в руках сухую тыкву со знаменитым кушаньем *пои-пои* и три или четыре молодых кокосовых ореха, очищенных от шелухи, с надбитой скорлупою. Мы оба поспешно поднесли к губам эти естественные кубки и осушили их в несколько освежающих глотков. Затем перед нами была поставлена *пои-пои*, однако, как ни голодны мы были, мы все же не сразу на нее набросились, ибо не знали, как ее едят.

Это главное кушанье обитателей Маркизских островов изготовляется из плодов хлебного дерева. Оно напоминает густой клей, каким пользуются у нас в переплетном деле, имеет желтый цвет и на вкус слегка терпко.

Таково было угощение, достоинства которого мне не терпелось исследовать. Несколько мгновений я взирал на него в замешательстве, потом не выдержал и, отбросив всякие церемонии, погрузил ладонь прямо в мягкую массу, а затем вытащил, к бурному восторгу туземцев, всю в липкой *пои-пои*, длинными нитями тянущейся с каждого пальца. Эта *пои-пои* оказалась такой

клейкой и тягучей, что, поднеся облепленную руку ко рту, я тем самым едва не вытянул все содержимое из тыквенной миски на пол. Такая неловкость, проявленная и мной, и моим другом Тоби, вызвала у наших зрителей настоящие судороги смеха.

Когда всеобщее веселье немного улеглось, Мехеви, сделав нам знак внимательно следить за ним, торжественно опустил в миску указательный палец правой руки и, совершив быстрый, тонко рассчитанный поворот, вытащил его покрытым толстым слоем этого питательного месива. Вторым вращательным движением, не дав ни капли *пои-пои* отвалиться, он поднес палец ко рту, куда его тут же и погрузил, через мгновение вынув совершенно чистым. Все это он, как видно, проделал в назидание нам. Я попытался действовать в согласии с преподанными правилами, но успеха не добился.

Впрочем, голодный человек не склонен особенно заботиться о приличиях, тем более на каком-то богом забытом острове. И потому мы с Тоби в конце концов поужинали на свой корявый лад, перемазав при этом липкой кашей себе лицо и по самое запястье погружая в месиво руку. Блюдо это вполне приемлемо на вкус европейца, только

способ, каким его едят, поначалу может не понравиться. Я, например, уже через несколько дней свыкся с его своеобразным привкусом и питал к нему с тех пор необыкновенную любовь.

После первой перемены нам подавали и другие блюда, из которых иные я нашел просто восхитительными. В заключение пиршества мы с Тоби опрокинули еще по кокосу, после чего долго услаждали себя ароматным табачным дымом, который вдыхали через замысловато выгнутую трубку, ходившую по кругу.

Пока мы ели, островитяне разглядывали нас с превеликим любопытством, замечая малейшие наши жесты и, видимо, находя для себя очень много интересного, так как всякий пустяк подвергали многословному обсуждению. Так, удивлению их не было предела, когда у них на глазах мы начали стаскивать с себя промокшие тяжелые одежды. Потрясенные, они рассматривали наши белые тела, так необъяснимо отличающиеся цветом от наших же смуглых лиц, пропеченных дочерна за полгода работы на экваторе. Они щупали нашу кожу, как торговец шелками щупает образцы особо тонкого атласа; а кое-кто в своих изысканиях зашел так далеко, что воспользовался даже органом обоняния.

Такое необычное поведение заставило меня сначала предположить, что они вообще никогда не видели белого человека; но это, как я тут же понял, было бы просто невероятно: впоследствии я нашел этим их странностям более правдоподобное объяснение.

Дело в том, что корабли европейцев, запуганных ужасными рассказами о тайпийцах, не заходили к ним в бухту, а враждебные отношения с соседними племенами не позволяли им посещать другие долины, где обычно можно застать стоящие на якоре суда. Только изредка какой-нибудь отважный капитан бросал якорь у входа в их залив и отправлял к берегу две-три вооруженные шлюпки и переводчика. Обитатели прибрежной полосы издалека замечают гостей и, хорошо зная цель их прибытия, громогласно оповещают о нем остальных. С помощью особого рода голосового телеграфа весть эта в невообразимо короткий срок передается в дальние уголки долины, и все ее население собирается на берегу, стаскивая к воде горы плодов и фруктов. Переводчик — обыч-

но это «канака табу»[2] — выскакивает на песок с товарами, предназначенными к обмену, между тем как шлюпки с веслами в уключинах, с гребцами на местах держатся поблизости, готовые при первом же подозрительном движении унестись в открытое море. Лишь только сделка заключена, одна из шлюпок подходит вплотную к берегу и под надежным прикрытием мушкетов с других шлюпок быстро загружается вымененными плодами, после чего мимолетные гости спешат удалиться из таких опасных, по их справедливому суждению, вод.

Неудивительно, что после столь поверхностного и краткого знакомства с другими европейцами жители долины Тайпи выказали такое повышенное любопытство в отношении нас, когда мы неожиданно очутились в их среде. Не сомневаюсь, что мы были первыми белыми людьми, проникшими в их долину на такое расстояние, во всяком случае первыми, пришедшими с внут-

[2] Примечания: 2

Слово «канака» в настоящее время употребляется европейцами и Южных морях для обозначения вообще всех островитян. На самом деле в основных местных диалектах оно означает мужчину в отличие от женщины, но при общении с приезжими туземцы теперь стали пользоваться этим словом в том же распространительном смысле.

Канака табу — это островитянин, особа которого подверглась некоей освящающей процедуре в соответствии с весьма интересным обычаем, о чем речь впереди. (*Примеч. авт.*)

ренней стороны. Как мы там очутились, этого они не могли взять в толк, и мы, весьма слабо владея их языком, не умели им объяснить. В ответ на все их недоумения, выраженные в таких красноречивых жестах, что не понять их было нельзя, мы смогли только ответить, что прибыли из Нукухивы, с жителями которой, как помнит читатель, у них была прямая война. Такое известие заметно их переполошило. «Нукухива мортарки?» — спрашивали нас. И разумеется, мы, как могли, поспешили ответить отрицательно.

После этого нас засыпали сотнями вопросов, из которых мы только поняли, что речь идет о французах, яростно ими ненавидимых. Им так нужны были какие-то о них сведения, что многие продолжали задавать вопросы даже тогда, когда стало уже совершенно ясно, что мы на них ответить не в силах. Только иногда мы как будто угадывали общий смысл какого-нибудь вопроса и тогда изо всех сил старались как-то сообщить то, что знали сами. Это их приводило в восторг, и попытки объясниться с нами возобновлялись. Но все было бесполезно; под конец они отчаялись и стали смотреть на нас с досадой, как на кладезь сведений полезных, но недоступных.

Вскоре толпившийся вокруг нас народ начал

понемногу расходиться, и к полуночи мы были оставлены наедине с теми, кто обитал в этом доме. Наши хозяева постелили нам свежие циновки, укрыли нас сложенными несколько раз кусками тапы, а потом, задув горевшие светильники, улеглись рядом с нами и, перекинувшись друг с другом двумя-тремя фразами, уснули крепким сном.

XI

Сложными и противоречивыми были мысли, одолевавшие меня в те безмолвные часы, что последовали за событиями, описанными в предыдущей главе. Тоби, измученный путешествием, спал подле меня тяжелым беспробудным сном; но мне неотступно терзавшая боль не давала сомкнуть глаз, и все немыслимые сложности нашего теперешнего положения сохраняли для меня пугающую реальность. Возможно ли, что мы после всех мук и лишений действительно попали в ужасную долину Тайпи и находимся в руках ее жителей, свирепого, беспощадного дикарского племени?

Тайпи или Хаппар? Я содрогался, сознавая, что никаких сомнений больше не было, что мы пропали, что с нами случилось именно то, о чем одна лишь мысль еще недавно внушала нам такой ужас. Что нас ждало теперь? Правда, до сих пор ничего плохого нам не сделали, наоборот, нас приняли радушно и любезно. Но можно ли полагаться на переменчивые страсти, пылающие в груди дикаря? Его непостоянство и коварство общеизвестны. Что, если под этой любезной

внешностью островитяне скрывают какой-нибудь кровожадный замысел и дружелюбный прием их — всего лишь прелюдия к жестокой расправе? Всю ночь меня неотступно преследовали ужасные опасения, и я лежал без сна на ложе из циновок, а справа и слева от меня смутно темнели спящие фигуры тех, кого я так боялся.

Под утро среди этих страшных мыслей я забылся тревожной дремотой; мне приснился какой-то жуткий сон, и я, вздрогнув, проснулся: прямо надо мной склонялись возбужденные дикарские лица.

Было уже совсем светло; я увидел, что в дом набилось множество молодых женщин в пышных уборах из цветов, и они-то и разглядывали меня с детским восторгом и интересом, живо отражавшимся на их физиономиях. Разбудив также и Тоби, они уселись в кружок на циновки и дали волю любопытству, каким с незапамятных времен славился прекрасный пол.

Над этими резвыми молодыми созданиями не было никакого надзирающего ока, и они вели себя совсем безыскусно, нимало не заботясь о сдержанности и приличии. Нас почтили таким пристальным и тщательным разглядыванием и так при этом искренне веселились, что я

чувствовал себя последним дураком, а Тоби подобная бесцеремонность привела в совершенную ярость. В то же время юные леди держались с отменной любезностью и вниманием: отгоняли от нас мух, одаривали разными угощениями и от души сочувствовали мне в моих недугах. Однако, несмотря на все их льстивые уловки, мое чувство благопристойности было глубоко оскорблено — я был убежден, что они нарушают неоспоримые законы скромности.

Навеселившись вволю, наши прелестные гостьи удалились, и на смену им стали появляться группы мужчин, сменявшие один другого чуть не до полудня, когда, пожалуй, бо`льшая часть обитателей долины с нашего милостивого согласия уже искупалась в лучах нашей славы.

Наконец толпа посетителей поредела, и у входа появилась могучая фигура какого-то воина, он пригнул украшенную высоким убором из перьев голову и вошел. По тому, с каким почтением встретили его туземцы, с какой поспешностью расступились перед ним, я сразу понял, что это — важное лицо. Вид его был величав. Над головой из густой шапки коротких пестрых перьев колышущейся аркой вздымались длинные хвостовые перья какой-то тропической птицы, вставленные

в шитый бисером обруч, который стягивал ему лоб. Шею обвивало в несколько нитей тяжелое ожерелье из кабаньих клыков, отполированных, как слоновая кость, и нанизанных в таком порядке, чтобы самые длинные и большие лежали посреди его широкой груди. А сквозь огромные отверстия в мочках ушей торчали два покрытых мелкой замысловатой резьбой кашалотовых зуба корневыми впадинами вперед, и в них вставлены были свежие листья. Эти варварские серьги, украшенные зеленью с широкого конца и заканчивающиеся изогнутыми остриями, очень напоминали два маленьких рога изобилия.

Чресла воина были препоясаны тяжелыми складками тапы с кистями спереди и сзади, а руки и ноги его украшали браслеты из человеческих волос, довершавшие роскошный наряд. В правой руке он держал красивое резное копье-весло без малого пятнадцати футов длиною, вырезанное из полированного дерева коар: на одном конце его было смертоносное острие, а на другом — плоское расширение вроде лопасти весла. На поясе в петле из лианы наискось висела богатая трубка; тонкая тростинка черенка была выкрашена красной краской и увита, так же как и чашечка, изображавшая какого-то идола,

лентами прозрачной тапы.

Но всего примечательнее в наружности этого превосходного воина была изощренная татуировка, покрывавшая с головы до ног все тело. Всевозможные линии, завитки и геометрические фигуры испещряли его кожу, замысловатым многообразием напоминая разве что сложные узоры дорогих кружев. Самый простой и удивительный орнамент украшал его лицо. Татуировка шла двумя широкими полосами, которые расходились от бритой макушки наискось, захватывая глаза, покрывая веки и оканчиваясь пониже ушей, где они сливались с нижней прямой полосой, которая тянулась через рот, образуя основание своего рода треугольника. Этот воин, судя по великолепному сложению, безусловно, принадлежал к высшему сословию природы, и возможно, что рисунок на его лице как раз и был знаком такового отличия.

Грозный гость молча уселся неподалеку от нас с Тоби, и остальные дикари стали выжидательно и нетерпеливо поглядывать то на него, то на нас. Между тем внимательно присматриваясь к лицу вождя и восхищаясь его разрисовкой, я нашел, что черты его мне отдаленно знакомы. И только когда он обратил прямо ко мне свои заштрихованные глаза, я узнал неподвижный

загадочный взгляд, под которым мне было так не по себе вчера, — передо мной сидел Мехеви, хотя и преображенный. Я назвал его по имени. Он сейчас же подошел ко мне с самым дружеским видом, очень довольный тем впечатлением, какое произвел на меня его варварский убор.

Тогда-то я и решился во что бы то ни стало завоевать расположение почтенного вождя, чувствуя, что он обладает властью над соплеменниками и что дальнейшая наша судьба во многом зависит от него. Он отнесся ко мне благосклонно, выказывая в общении со мною и моим товарищем дружелюбие необычайное. Растянувшись могучим телом на полу подле нас, он всячески старался выразить свои к нам добрые чувства. А из-за того, что изъясняться друг с другом мы почти не могли, горю его не было предела. Он дал нам понять, что всем сердцем жаждет просветиться относительно обычаев и порядков, царящих в той далекой стране, из которой мы, по его мнению, прибыли и которую он многократно поминал в своих речах под именем Маника.

Но всего более его занимали «франи», как он называл французов, стоящих в бухте Нукухива. Эта тема была неисчерпаема, он мог расспрашивать о них без конца. Но мы сумели только ему

сообщить, что в то время, когда мы покинули территорию их врагов, в гавани стояло шесть французских военных кораблей. Услышав это известие, Мехеви с помощью пальцев произвел ряд сложных подсчетов, очевидно выясняя, сколько всего французов в эскадре.

В самый разгар этих математических операций Мехеви вдруг заметил мою распухшую ногу. Он тут же осмотрел ее с величайшим вниманием и немедленно отправил с каким-то поручением оказавшегося поблизости мальчика.

По прошествии некоторого времени юнец возвратился в сопровождении дряхлого старца — настоящего туземного Гиппократа. Голова его была гола, как скорлупа кокоса, каковую в точности напоминала также цветом и лоском, длинная седая борода свисала до самого пояса. На лбу лежал венок, свитый из листьев дерева *ому*, листья спускались прямо на глаза, защищая, вероятно, его слабое зрение от ослепительных лучей солнца. По-старчески семеня, он опирался на длинный тонкий посох, напоминавший мне волшебный жезл, с каким у нас выходят на сцену театральные колдуны. В другой руке он держал зеленый веер из только что сплетенных молодых кокосовых побегов. А с плеч его свободными

складками свисала разноцветная мантия из тапы, придавая особое величие его согбенной фигуре.

Мехеви приветствовал старца и, усадив его между собой и мной, открыл ему мою ногу и пригласил начать осмотр. Знахарь перевел с меня на Тоби испытующий взгляд, а затем приступил к делу. Внимательно оглядев мою многострадальную конечность, он перешел к ощупыванию и, полагая, видимо, что опухоль сделала ее совершенно нечувствительной, стал мять ее и щипать с такой силой, что я буквально взвыл от боли. Я решил, что щипками и шлепками я и сам могу лечиться, и попробовал отклонить его услуги. Но вырваться из когтей старого чародея оказалось нелегко — он вцепился в мою ногу, будто всю жизнь только о ней и мечтал, и, бормоча какие-то заклинания, продолжал свое черное дело, барабаня по ней так, что я едва с ума не сошел от боли, а тем временем Мехеви, руководствуясь, очевидно, такими же соображениями, по каким любящая мамаша удерживает свое орущее чадо в зубоврачебном кресле, заключил меня в могучие объятия, предоставляя злодею продолжать свои пытки.

Ошалев от ярости и боли, я вопил как полоумный, а Тоби, словно искусный танцор и мим, пы-

тался жестами и гримасами выразить туземцам свой гневный протест против такого обращения — движимый состраданием и тщась положить конец моим мукам, он являл собою воплощенную азбуку глухонемых. Наконец, то ли мой мучитель внял убеждениям Тоби, то ли просто выбился из сил, не знаю — он вдруг прекратил эту лечебную процедуру, Мехеви при этом разжал объятия, и я повалился на пол, измученный и задыхающийся после перенесенных страданий.

Несчастная моя нога была теперь приблизительно в таком же состоянии, как отбивная котлета, перед тем как попасть на сковороду. А лекарь, передохнув и, видимо, желая загладить свою вину передо мной, извлек теперь какие-то травы из висевшего у него на поясе мешочка и, размочив их в воде, стал прикладывать к моей воспаленной конечности, наклоняясь при этом над нею и не то шепча некие заклинания, не то ведя продолжительную задушевную беседу со злым духом, расположившимся на жительство у меня в лодыжке. Когда нога моя была основательно запеленута листьями, я, посылая хвалу Богу по случаю окончания военных действий, был с миром отпущен на свободу.

Вскоре Мехеви собрался уходить, но, перед тем

как нас покинуть, он что-то приказал одному из туземцев, которого назвал Кори-Кори, и, насколько я мог уразуметь, поручил меня ему как человеку, чья обязанность отныне — ухаживать за моей особой. А может быть, я тогда еще ничего не уразумел, и только последующее поведение моего верного телохранителя убедило меня, что речь шла именно об этом.

Мне все-таки смешно было, когда почтенный вождь обратился ко мне с длинной речью и торжественно говорил, наверное, минут двадцать, как будто я понимал хоть одно его слово. Такую странность я замечал впоследствии за многими туземцами.

Наконец Мехеви ушел, удалился и престарелый врачеватель, и на закате мы с Тоби остались только в обществе тех десяти — двенадцати человек, которые, как мы поняли, вместе с нами составляли население этого дома. А поскольку в этом доме я жил все время, пока оставался в долине, и, естественно, был с его жителями в самых близких отношениях, будет, пожалуй, весьма кстати, если я опишу всех домочадцев. Тем самым можно получить некоторое представление вообще о жилищах в долине и ее обитателях.

Примерно на половине склона, поросшего

густой зеленью, в несколько слоев уложены большие камни, образуя ровную площадку футов в восемь высотой, отвечающую контурам расположенного на ней дома, но несколько шире, особенно перед входом, где таким образом получается обнесенная оградой из прутьев своего рода узкая веранда. Туземцы называют это каменное сооружение *пай-пай*. Каркас самого дома составляют укрепленные отвесно толстые бамбуковые стойки с распорками из легких прутьев хибискуса, прихваченных лыковыми тяжами. Задняя стена строения, сплетенная из кокосовых ветвей так, что их листья хитрым образом перемежаются с прутьями, слегка наклонена наружу и подымается над уровнем *пай-пай* футов, наверное, на двадцать, откуда начинается односкатная крыша из длинных заостренных пальмовых листьев, которая круто спускается на переднюю стену и обрывается в пяти футах от пола. Концы кровельных листьев свисают со стрехи кистями по всему фасаду — изящно плетенной решетке из легкого блестящего тростника, перевитого разноцветной травой. Торцовые стены тоже решетчатые. Таким образом весь дом с трех сторон открыт и при этом совершенно непроницаем для дождя. В длину наше живописное жилище имело,

наверное, двадцать ярдов, а в ширину — едва ли двадцать футов.

Таков был наружный вид этого строения, напоминавшего мне своими плетеными стенами обнесенный железной сеткой птичий двор.

Внутрь через низкое и узкое отверстие входили пригнувшись, и прямо перед вами оказывались два ровных и длинных — во всю длину дома — кокосовых ствола: один лежал вплотную у задней стены, другой — на два шага отступя, и все пространство между ними завалено пестрыми циновками самых разных цветов и узоров. Это было общее ложе, нечто вроде восточного дивана. Здесь туземцы спали ночью и возлежали в блаженном безделье бо`льшую часть дня. В остальной части дома пол блестел холодными каменными плитами, из которых слагалась *пай-пай*.

Со стропил свисали разнообразной величины свертки из грубой тапы — в них хранились праздничные одеяния и другая одежда, высоко местными жителями ценимая. Доставали все это благодаря простейшему приспособлению с веревкой: одним ее концом был обвязан сверток, а другой, пропущенный через стропило, тянулся к боковой стене, где и закреплялся так, чтобы без

труда можно было поднять или опустить все, что висело под потолком.

На задней стене были живописно развешаны всевозможные копья, дротики и другие предметы военного обихода. Снаружи на площадке перед домом стоял небольшой сарайчик — своего рода кладовка, где хранилась хозяйственная утварь, и еще чуть подальше под большим навесом из кокосовых листьев готовили *пои-пои* и производились все прочие кулинарные действа.

Таков был этот дом со всеми служебными пристройками — нельзя не согласиться, что для жителей острова более подходящего и удобного жилища по тому климату не придумаешь. В нем было прохладно, безупречно чисто и вдоволь свежего воздуха, а каменная площадка поднимала его над сыростью и грязью земли.

Каковы же были его обитатели? Здесь я позволю себе первое место уделить моему умелому и верному слуге и опекуну Кори-Кори. Поскольку характер его будет постепенно раскрываться в ходе моего повествования, я ограничусь лишь наброском его наружности. Кори-Кори, этот, безусловно, самый преданный и самый добродушный человек на свете, был, увы, с виду настоящее страшилище. Лет двадцати пяти от

роду, крупный и здоровый, он тем не менее выглядел просто черт знает как. Его круглый череп был весь выбрит наголо, кроме двух небольших участков по обе стороны макушки, — из них росли волосы необычайной длины, закрученные в тугие торчащие узлы, из-за чего казалось, будто голова его украшена парой черных рогов. Борода на всем лице была выщипана с корнем и только свисала двумя косицами с верхней губы и двумя — с углов подбородка.

Но Кори-Кори, желая, видимо, внести дальнейшие усовершенствования в дела природы и прибавить себе обаяния, счел необходимым украсить свою физиономию тремя широкими меридиональными полосами татуировки, и они, подобно проселочным дорогам, которым никакие неровности и преграды нипочем, проходили прямо по его носу, ныряли в глазницы и чуть ли не залезали в рот. Каждая пересекала лицо от уха до уха — одна на уровне глаз, другая — через нос, третья — перекрывая губы. Физиономия его, перетянутая татуировкой, как бочка тремя обручами, всегда напоминала мне тех несчастных, что с тоской глядят на мир сквозь тюремную решетку, тогда как тело моего дикого камердинера, сверху донизу испещренное изображениями птиц, рыб

и всевозможных небывалых существ, наводило на мысль о музее естественной истории или же об иллюстрированном издании голдсмитовской «Одушевленной природы».

Впрочем, разве не бессердечие это с моей стороны так писать о бедном островитянине, неустанным заботам которого я, быть может, обязан жизнью? Кори-Кори, я ничего обидного не хочу сказать о твоей наружности, просто вид твой для моего непривычного глаза был странен, потому я о нем и распространился. Но забыть или недооценить твою верную службу — в этом я никогда не буду повинен, какие бы головокружительные перемены со мной в жизни ни происходили.

Отцом приставленного ко мне оруженосца был человек великанского телосложения, славившийся некогда сказочной силой. Но теперь его могучий торс поддался разрушительным набегам времени, хотя рука болезни ни разу, я думаю, не коснулась престарелого воина. Мархейо — так его звали — удалился от участия в делах обитателей долины, почти никогда не сопровождал их в бесчисленных походах и едва ли не все время был занят сооружением какой-то лачуги за домом — у меня на глазах он прокопался там четыре месяца

без каких-либо заметных результатов. Боюсь, что он впал в детство, во всяком случае я замечал за ним немало признаков, характерных для этой стадии нашей жизни.

Помню в особенности, как он возился с парой драгоценных ушных украшений из зубов какого-то морского зверя. Он втыкал их и вынимал по меньшей мере пятьдесят раз на день, для чего неизменно удалялся в свою лачугу и с безмятежным видом возвращался назад. Иной раз, вставив их в отверстия в мочках ушей, он хватал свое копье — легонькое и тонкое, как удилище, и расхаживал по соседним рощам, словно каннибальский странствующий рыцарь, ищущий встречи с достойным противником. Но скоро ему это наскучивало, он возвращался и, засунув копье в углубление под стрехой и закатав чудовищные серьги в кусок тапы, снова принимался за свое мирное занятие, будто и не прерывая его.

Впрочем, несмотря на подобные чудачества, Мархейо был человек в высшей степени славный и добросердечный, в этом отношении очень похожий на своего сына Кори-Кори. Главой дома была мать Кори-Кори, дама весьма почтенная и замечательно искусная, трудолюбивая хозяйка. Если джемы, повидла, пироги, кексы, запеканки и

тому подобную ерунду она, быть может, делать не умела, зато превосходно разбиралась в кулинарных тайнах изготовления *эймара, пои-пои, коку* и других вкусных и питательных блюд. Целые дни она хлопотала и суетилась, словно добрая деревенская тетушка, к которой нежданно нагрянули гости: давала поручения девушкам, нередко так и остававшиеся невыполненными, залезала во все углы, копалась в узлах старой тапы или же подымала невообразимый шум, грохоча тыквенными мисками. Ее можно было видеть то сидящей на корточках над деревянным корытом и занятой приготовлением *пои-пои* — она с такой энергией колотила каменным пестом, что казалось, корыто сию минуту разлетится вдребезги; то она носилась по долине в поисках какого-то особого листа, необходимого ей для таинственных манипуляций, и возвращалась, задыхаясь и обливаясь потом под тяжестью набитого мешка, который всякую другую женщину давно свалил бы с ног. Честно сказать, мамаша Кори-Кори была единственным работящим человеком на всю долину Тайпи; она не могла бы трудиться больше и усерднее, даже будь она жилистой вдовой без средств к существованию и с целым выводком голодных детей где-нибудь в цивилизованной стране.

Труды этой старой женщины, как правило, не вызывались ни малейшей необходимостью; ее побуждала работать, по всей видимости, некая внутренняя потребность, и ее руки постоянно ходили туда-сюда, туда-сюда, словно в теле у нее был запрятан неутомимый моторчик, приводивший его в безостановочное движение. И при этом она вовсе не была какой-нибудь там сварливой мегерой — отнюдь нет. У нее было добрейшее сердце, и со мной она обращалась совсем по-матерински: то и дело, глядишь, пихнет в руку кусок полакомее, какую-нибудь туземную сласть или печенье, будто любящая мамаша, пичкающая тартинками и цукатом свое избалованное чадо. Поистине сладостны мои воспоминания о доброй, милой, любящей Тайнор!

Помимо перечисленных мною лиц к этой семье принадлежали еще три молодых человека, три весьма беспутных юных дикаря — гуляки и лоботрясы, которые заняты были только амурами, попойками да курением табака в обществе таких же, как они сами, шалопаев.

Было также среди постоянных обитателей дома несколько очаровательных девушек, которые, вместо того чтобы бренчать на фортепьяно и читать романы, как другие, более просвещенные

юные леди, занимались рукоделием, вырабатывая особо тонкий сорт тапы; а впрочем, бо`льшую часть времени они тратили на то, что порхали от дома к дому и отчаянно, беззастенчиво сплетничали.

Однако из их числа я должен выделить прелестную нимфу Файавэй, мою любимицу. Ее гибкое подвижное тело было воплощенным идеалом женской грации и красоты. Нежное лицо то и дело заливала краска, и я, любуясь ее разгоряченными щеками, не раз готов был поклясться, что различаю сквозь полупрозрачный покров смуглоты игру настоящего ярко-красного румянца. Овал ее лица был безукоризнен, и каждая черта была совершенство, какого только может пожелать мужское воображение. Полные губы, раздвигаясь в усмешке, обнажали зубы ослепительной белизны, а когда розовый рот широко открывался в хохоте, они казались молочно-белыми зернышками *арты* — туземного плода, в котором, когда его разрежешь, видны ряды зерен, покоящихся в сочной, сладкой мякоти. Волосы, темно-каштановые, рассыпающиеся непринужденно на обе стороны природными локонами, ниспадали на плечи и, стоило ей нагнуться, закрывали живой завесой ее прелестную грудь. Синие, странные

глаза, как ни засматривай в их бездонную глубину, казались загадочно-безмятежными, когда она была в задумчивости; но, вспыхнув живым чувством, они сияли и лучились, как звезды. Ручки Файавэй были мягки и нежны, как у графини, ибо девы и юные жены в долине Тайпи совершенно не занимаются черной работой. Ее крохотные ножки, хоть и не знающие обуви, изяществом и красотой не уступали тем, что выглядывают из-под шуршащих подолов светских дам Эквадора. А кожа этого юного создания, от беспрестанных омовений и умащиваний, была дивно гладкой и шелковистой.

Быть может, в изображении отдельных черт Файавэй я и добьюсь некоторого успеха, но мне никогда не передать — нечего даже и пытаться — той общей прелести ее облика, в которую они слагались. Никакими словами не выразить свободную, естественную грацию и красоту, которой блистало это дитя природы, с младенчества выросшее здесь, в краю вечного лета, вскормленное простыми плодами земли, не ведавшее забот и печалей и никогда не подвергавшееся разного рода вредным воздействиям. Образ этот — не фантазия, я писал по самым живым и ярким воспоминаниям, которые сохранил о той, чей

портрет пытался здесь набросать.

Если бы меня спросили, была ли восхитительная Файавэй совершенно не тронута обезображивающей печатью татуировки, я вынужден был бы отвечать отрицательно. Но исполнители этого варварского ритуала, с такой беспощадностью испещрявшие своими узорами мускулистые тела воинов, очевидно, понимали, что прелести юных дев долины мало нуждаются в их искусстве. Женщины там вообще не сильно татуированы, а Файавэй и ее подружки — гораздо меньше, чем те, кто превосходили их годами. Причину этого я объясню ниже. Татуировку моей нимфы нетрудно описать. На верхней и нижней губке у нее чернели по три точки, не более булавочной головки величиной и с недалекого расстояния неразличимые. А на плечах, от самой шеи, были проведены по две параллельные линии, в полудюйме одна от другой и дюйма, наверное, в три длиною, и между ними — какие-то тонко выполненные фигуры. Эти две вытатуированные на плечах полоски всегда напоминали мне погоны золотого шитья, которые носят на плечах вместо эполет офицеры, когда они не при параде, для обозначения своего высокого ранга.

И больше никакой татуировки на коже Файа-

вэй не было — святотатственная рука, как видно, дрогнула и не имела дерзости продолжить начатое надругательство.

Но я еще не описал туалетов, которые носила эта нимфа долины Тайпи.

Файавэй — я вынужден это признать — отдавала постоянное предпочтение простому летнему наряду по райской моде. Но как к лицу был ей такой костюм! Он самым наивыгоднейшим образом подчеркивал линии ее фигуры и как нельзя лучше соответствовал особенностям ее наружности. В будни она бывала одета в точности так же, как та пара юных дикарей, которые первыми повстречались нам в долине. Иногда, гуляя в рощах или отправляясь с визитами к знакомым, она надевала тунику из белой тапы, ниспадавшую от пояса чуть пониже колен. А когда ей долгое время приходилось бывать на солнце, она неизменно защищалась от его лучей широким покрывалом из той же материи, свободно охватывающим плечи. Ее парадный туалет я опишу ниже.

Подобно тому как красавицы в нашей стране любят унизывать себя всевозможными драгоценностями, втыкая их в уши, навешивая на шею, надевая на запястья, Файавэй и ее подружки также имели обыкновение украшать себя.

Флора была их ювелиром. Они носили ожерелья из красных гвоздик, нанизанных — точно рубины на нить — на волоконце тапы, или втыкали в уши белые бутоны, и сложенные в шарик нежные лепестки светились и переливались, как зерна чистейшего жемчуга. На голову они надевали венки, сплетенные из листьев и цветов, напоминавшие маленькие короны — трилистники британских герцогинь; и руки и ноги им нередко украшали также свитые из цветов и зелени браслеты и кольца. Девушки на этом острове вообще питали страсть к цветам, и им никогда не наскучивало украшать себя — прелестная черта, о которой ниже вскоре пойдет речь опять.

Хотя Файавэй, по крайней мере в моих глазах, была прекраснейшей из женщин в долине Тайпи, тем не менее ее портрет, который я здесь набросал, может в какой-то мере дать понятие чуть ли не обо всех живущих там юных представительницах прекрасного пола. Суди же сам, о читатель, что это были за божественные создания!

XII

Лишь только Мехеви, как было описано в предыдущей главе, покинул наш дом, Кори-Кори, не медля, приступил к исполнению своих новых обязанностей. Он прежде всего принес нам разной еды и во что бы то ни стало пожелал кормить меня, как младенца, своими руками. Я, разумеется, пытался воспротивиться такому обращению, но ничего не вышло: он поставил передо мной тыквенную миску с *коку*, сполоснул водой пальцы, засунул руку в миску и, скатывая эту массу в маленькие шарики, стал один за другим класть их мне прямо в рот, на все мои возражения подымая такой крик и шум, что мне ничего не оставалось, как подчиниться; после этого кормежка, производившаяся в дальнейшем беспрепятственно, была скоро завершена. Что же до Тоби, то ему было дозволено насыщаться как он сам пожелает.

После ужина мой новый слуга постелил поудобнее циновки и, знаком пригласив ложиться, укрыл меня широким плащом из тапы, при этом поглядывая на меня с великим удовлетворением и приговаривая: «Кай-кай муи-муи, ах! Мои-мои

мортарки!» (Ешь вдоволь, ах! Спи всласть!) Оспаривать это мудрое изречение мне и в голову не приходило, ибо я несколько ночей толком не спал, и теперь, когда боль в ноге заметно утихла, был склонен, не откладывая, воспользоваться представившейся возможностью.

Утром, когда я проснулся, Кори-Кори спал у меня под боком с одной стороны, а мой товарищ Тоби — с другой. Крепкий сон меня освежил, и потому, когда заботливый телохранитель дал понять, что мне следует пойти на речку умыться, я сразу же выразил согласие, хотя и опасался, что от хождения у меня опять разболится нога. Но эти опасения быстро развеялись, так как Кори-Кори, спрыгнув с каменной террасы, стал под стеной в позу носильщика, подставляющего спину под сундук, и разнообразными возгласами и жестами пояснил, что я должен сесть ему на закорки, а он отнесет меня к речке, протекавшей ярдах в двухстах отсюда.

Между тем наше появление на *пай-пай* привлекло под стены немало людей, которые глазели на нас и весьма оживленно обменивались между собой замечаниями. И это было очень похоже на толпу ротозеев, теснящихся у деревенской гостиницы, когда к воротам подают экипаж некоей

заезжей знаменитости и предстоит ее отбытие. Я обхватил руками шею Кори-Кори, он рысцою пустился в путь, и вся толпа — это были молодые люди и девицы — с хохотом, с криком, резвясь и ликуя, двинулась за нами и сопровождала нас до самого берега.

Кори-Кори вошел в воду выше колен и спустил меня на большой плоский камень, чуть выступавший посредине реки. Наша земноводная свита с брызгами и плеском зашлепала по воде вслед за нами и, рассевшись на мшистых камнях, которыми в изобилии было усеяно русло речки, приготовилась наблюдать мое утреннее омовение.

Крайне смущенный присутствием представительниц женского пола среди моих зрителей, я почувствовал, что щеки мои горят от стыда и, сделав из ладоней некое подобие умывального таза, спрятал в них разгоряченное лицо; потом снял тельняшку и омылся до пояса. Как только Кори-Кори понял по моему поведению, что этим я собираюсь ограничиться, он, совершенно потрясенный и негодующий, подскочил ко мне и произнес целый страстный монолог, порицая меня за отсутствие размаха и призывая немедленно раздеться и погрузить в воду все тело. Я

вынужден был уступить, и добряк Кори-Кори, относившийся ко мне как к малому и неразумному дитяти, за которым нужно ухаживать, как бы оно ни брыкалось, поднял меня и, бережно держа, опустил в воду. Искупав таким образом, он снова посадил меня на камень, и я, оглядевшись, не мог не восхититься обступавшей меня красотой.

Мои зрители, расположившиеся кругом на обомшелых зеленых камнях, теперь все попрыгали в воду, ныряя, плавая и подымая снопы брызг, — молодые девушки резвились, выскакивая по пояс из воды, их обнаженные тела блестели, длинные волосы струились по плечам, а глаза сверкали, как капли росы на солнце, и заливистый веселый смех, чуть что, начинал звенеть над водой.

Под вечер того дня, когда состоялось мое первое купание, Мехеви нанес нам еще один визит. Почтенный дикарь был настроен все так же дружелюбно и отнесся к нам с прежней сердечностью. Посидев у нас около часа, он встал и направился к выходу, жестом пригласив меня и Тоби последовать за ним. Я указал ему на мою больную ногу, но он в ответ указал мне на Кори-Кори; тем самым возражение мое было снято, и я, вновь оседлав моего доброго телохранителя, как старик на спине Синдбада, пустился вслед

за вождем.

Дорога, по которой мы двигались, поразила меня чрезвычайно: она нагляднее, чем что-либо до сих пор мною виденное в долине, говорила о праздности, присущей всему туземному складу жизни. Это была хорошо убитая, много хоженная тропа, от нее и вправо и влево отходили дорожки поменьше, видно, она не одному поколению жителей служила как бы главной улицей. И тем не менее, пока я не привык, хождение по ней представляло для меня немалые трудности. То она вдруг взбиралась на крутой склон, изборожденный всяческими неровностями и густо усеянный большими острыми камнями, прячущимися в густой растительности, то шла прямо через все препятствия, то описывала широкие дуги вокруг них, то устремлялась чуть не отвесно вверх по каменному уступу, до лоска протертому множеством подошв, то спускалась с крутого обрыва, пересекая кремнистое ложе потока. Здесь она вела вас по дну оврага, принуждая то и дело кланяться, чтобы пройти под низко распростертыми могучими ветвями деревьев, а там вдруг заставляла шагать прямо по огромным упавшим стволам, которые гнили, лежа поперек нее с незапамятных времен.

Такова была эта главная артерия долины Тайпи. Проехав по ней немного верхом на Кори-Кори, который пыхтел и отдувался под своей увесистой ношей, я слез и, позаимствовав у Мехеви его длинное копье, пошел дальше сам, опираясь на него, как на костыль, и кое-как перебираясь через препятствия, — я все-таки предпочел этот способ передвижения первому, который из-за бесчисленных неровностей был одинаково мучителен и для меня, и для моего носильщика.

Скоро наше путешествие подошло к концу — мы вскарабкались на какую-то кручу и оказались у цели. Очень жаль, что нет таких слов, которыми можно было бы передать впечатление от того, что я там увидел.

Перед нами были Священные рощи Тайпи — место многих нескончаемых пиршеств и многих ужасных обрядов. Под тенистыми вершинами хлебных деревьев царил торжественный сумрак — как под сводами старинного собора. Мрачный дух языческого культа словно навис в безмолвии, подчинив своим чарам все вокруг. Здесь и там, во мраке, полускрытые завесой листвы, высились идолопоклоннические алтари из огромных полированных плит черного камня, свободно положенных одна на другую, достигавшие две-

надцати и даже пятнадцати футов в высоту. Сверху на этих пьедесталах были сооружены примитивные открытые святилища, обнесенные тростниковой загородкой, за которой можно было видеть свежие, загнивающие, гниющие и сгнившие приношения в виде кокосовых орехов и хлебных плодов и разлагающиеся остатки недавно закланных жертв.

Посредине была поляна, а на ней — площадка для *хула-хула*, одного из фантастических местных ритуалов. Она представляла собой длинную террасу *пай-пай* с двумя высокими алтарями по концам, охраняемыми плотным рядом жутких деревянных идолов, и с бамбуковыми навесами, тянущимися по длинным сторонам площадки и оставляющими открытой внутреннюю часть просторного четырехугольника. Толстые стволы столетних деревьев, росших посредине и бросавших на него свои густые тени, были окружены небольшими возвышениями и обнесены оградой, образуя своего рода кафедры, с которых священнослужители могли взывать к своей пастве. Место это — святая святых всей рощи — было защищено от осквернения всесильным *табу*, обрекающим на немедленную смерть всякую женщину, осмелившуюся вступить в запретные

пределы, или коснуться заповедных стен, или хотя бы святотатственно ступить ногой на землю в том месте, где на нее падает священная тень.

Выходили на поляну через расположенные сбоку ворота, против которых правильным рядом высились могучие кокосовые пальмы. В дальнем углу виднелось строение довольно внушительных размеров, служившее обиталищем жрецам и хранителям Священных рощ.

Поблизости от него находилось другое примечательное сооружение, как и все, стоящее на каменном фундаменте *пай-пай*; оно имело по меньшей мере двести футов в длину, хотя в ширину не превосходило двадцати футов. Передней стены у этого длинного дома вообще не было, ее заменяла лишь низкая тростниковая ограда по самому краю *пай-пай*. А изнутри он представлял собой один гигантский диван — циновки толстым слоем покрывали пол между двумя лежащими кокосовыми стволами, самыми прямыми и гладкими, какие нашлись во всей долине.

К этому-то строению, которое на туземном наречии называется именем *Тай*, и повел нас теперь Мехеви. До сих пор нас окружала небольшая свита из островитян обоего пола, но по мере нашего приближения к длинному дому

женщины выходили из толпы и, стоя в стороне, пропускали мужчин вперед. Суровый запрет *табу* распространялся и на это сооружение, угрожая ослушницам такой же беспощадной карой, какая ограждала и площадку *хула-хула* от якобы оскверняющего присутствия женщины.

Войдя внутрь, я с изумлением увидел развешанные по бамбуковой стене шесть мушкетов с прицепленными к дулам холстяными мешочками, в которых явно еще было некоторое количество пороха. А вокруг мушкетов, подобно абордажным саблям и крючьям на переборке в кабине корабля, красовались всевозможные примитивные копья, весла, дротики и боевые дубинки. Очевидно, перед нами, как сказал я Тоби, был тайпийский арсенал.

Пройдя еще немного вдоль стены, мы вдруг увидели группу уродливых старцев, в чьем дряхлом облике время и татуировка, казалось, вообще не оставили ничего человеческого. Дело в том, что благодаря беспрестанно возобновляющимся операциям на коже, которые прекращаются для воинов-островитян лишь тогда, когда все орнаменты на их теле, нанесенные еще в юности, сливаются в один — эффект, достигаемый, однако, только в случаях крайнего долголетия, — тела

старцев были равномерного грязно-зеленого цвета, поскольку татуировка имеет обыкновение зеленеть с течением времени. Кожа у них казалась какой-то пятнистой, чешуйчатой, что в сочетании с ее небывалым оттенком создавало сходство с зеленым, испещренным прожилками римским мрамором. В некоторых местах она свисала у них с костей грузными наплывами, напоминающими просторные слоеные складки на боках носорога. Голова у них была совершенно лысая, а лицо бороздили тысячи мелких морщин; ни на щеках, ни на подбородке не заметно было ни малейших признаков бороды. Но самой их примечательной чертой были удивительные ступни; пальцы расходились на них, как деления компаса, во все стороны света, видно, они, за свой столетний век не изведавшие заточения, на старости лег прониклись нетерпимостью к ближним и слали друг другу приказ держаться развернутым строем.

Эти отталкивающего вида существа, вероятно, давно уже не владели своими нижними конечностями — они сидели, скрестив ноги, на полу, застыв в каком-то отупении. Нас они совершенно не заметили, ни разу не поглядели в нашу сторону, пока Мехеви усаживал нас на циновки, а

Кори-Кори давал кому-то громкие пространные указания.

Вскоре мальчик внес на деревянном блюде *пои-пои*, и мы приступили к пиршеству, во время которого я опять принужден был подчиниться заботам моего неутомимого слуги. За *пои-пои* последовали другие яства, и престарелый вождь потчевал нас с неотвязным радушием, при этом, дабы окончательно разогнать наше смущение, сам показывая весьма внушительный пример.

Когда окончилась трапеза, была зажжена трубка, которая переходила из рук в руки, и под ее наркотическим воздействием, а также под влиянием царившей кругом тишины и сгущающихся снаружи сумерек мы с Тоби погрузились в сонливое оцепенение, а Мехеви и Кори-Кори заснули подле нас.

Очнулся я от тревожной дремоты, вероятно, около полуночи. Я приподнялся на локте и огляделся — кругом была полная тьма. Тоби все еще спал, но нашего сотрапезника с нами уже не было. Стояла глубокая тишина, нарушаемая лишь астматическим дыханием стариков, тоже дремавших неподалеку от нас. Кроме них, насколько можно было судить, в длинном доме никого больше не было.

В дурном предчувствии я поспешил растолкать моего товарища, и мы совещались шепотом о том, куда это подевались все туземцы, как вдруг из глубины рощи прямо перед нами вырвались языки ослепительного пламени, и в их свете выступили озаренные стволы окружающих деревьев, и еще чернее стала темнота ночи.

Мы не отрываясь смотрели на огонь, а между тем перед ним задвигались какие-то тени, и темные фигуры запрыгали, заметались в красном свете, словно демоны.

В страхе глядя на это странное явление, я шепнул Тоби:

— Что это все может значить?

— Да ничего, — ответил мой товарищ, — просто костер разводят, наверное.

— Костер?! — воскликнул я, и сердце мое заколотилось, как механический молот. — Для чего же костер?

— Да чтобы нас поджарить, ясное дело. С чего бы иначе стали эти каннибалы так суетиться?

— Ах, Тоби, брось ты свои шутки, сейчас не время для них. Я чувствую, я уверен, что должно произойти что-то очень важное.

— Хороши шутки! — возмутился Тоби. — Ты когда-нибудь слышал, чтобы я шутил? Да для чего,

по-твоему, они откармливали нас целых три дня, если у них не было на уме того самого, о чем ты боишься сейчас говорить? Взять этого Кори-Кори, разве он не пичкал тебя всевозможными кашами и смесями, как свинью, которую кормят на убой? Можешь мне поверить, нынче же ночью нас съедят, а перед тем как съесть, поджарят вот на этом самом огне.

Такой взгляд на вещи никак не мог развеять мои собственные страхи, и я, трепеща, думал о том, что мы и вправду находимся во власти людоедского племени и что ужасный конец, о котором толковал мне Тоби, вовсе не лежит за пределами вероятного.

— Ну вот! Говорил я тебе! Идут за нами! — воскликнул между тем Тоби, ибо четыре фигуры, отделившись от костра, стали подыматься, освещенные сзади, к нам на *пай-пай*.

Они ступали тихо! бесшумно! — скользили в окружающем нас мраке, словно боясь спугнуть прежде времени свою намеченную добычу. Боже ты мой! Какие ужасные подозрения теснились у меня в голове! Холодный пот выступил на моем лбу, и, парализованный страхом, я ждал своей участи.

Вдруг тишину нарушил хорошо знакомый

голос Мехеви, и дружелюбный его тон сразу же положил конец моим страхам.

— Томмо, Тоби, кай-кай! (кушать).

Он просто не окликал нас раньше и старался не шуметь потому, что думал, что мы спим, и удивился, видя, что ошибся.

— Ах вот как? Кай-кай? — проворчал Тоби. — Сначала вам еще надо нас поджарить. Но что это? — прибавил он, когда другой дикарь выступил вперед, держа большой деревянный поднос, на котором, как можно было судить по запахам, лежало дымящееся мясо; этот поднос был поставлен к ногам Мехеви. — Печеный младенец, а? Но что бы это ни было, меня увольте, я этого есть все равно не буду. Только последний дурак согласится вставать среди ночи и обжираться до отвала — и все для того только, чтобы в одно прекрасное утро послужить угощением пожирнее для стаи кровожадных дикарей. Нет уж. Я отлично вижу, к чему они клонят. Поэтому я намерен заморить себя голодом, и пусть они тогда лакомятся на здоровье моей кожей да костями. Но что я вижу, Томмо? Неужели ты собрался отведать этой штуковины? Как же ты в темноте определишь, что это такое?

— На вкус, — ответил я, с удовольствием разже-

вывая кусок, который Кори-Кори как раз положил мне в рот, — совсем не плохо. Вроде телятины.

— Это печеный младенец, клянусь душой капитана Кука! — со страстью, для него необычайной, воскликнул Тоби. — Телятина! Да на этом острове и не видывали телят, пока ты не объявился. Говорю тебе, ты уплетаешь мясо мертвого хаппарца и можешь мне поверить, так оно и есть!

О, рвотные средства, запиваемые тепловатой водицей! Какие ощущения в области желудка! И вправду, откуда бы этим дьяволам во плоти достать мясо? Но я решился дознаться истины во что бы то ни стало и, обратившись к Мехеви, скоро втолковал нашему предупредительному хозяину, что желаю, чтобы принесли свет. Когда же был внесен светильник, я с трепетом заглянул на блюдо и обнаружил там искалеченные останки… молочного поросенка! «Пуарки!» — пояснил Кори-Кори, удовлетворенно посматривая на лакомое яство; и я с того самого часа и по сегодняшний день запомнил, что так на языке тайпи называется свинья.

Утром мы с Тоби, еще раз угостившись у тароватого Мехеви, собрались уходить. Но почтенный вождь стал убеждать нас не торопиться. «*Эйбо, эйбо*» (Ждать, ждать), — повторял он, и мы, уважив

его просьбу, снова уселись на циновки. Он же с помощью ревностного Кори-Кори стал отдавать какие-то сложные распоряжения целой толпе собравшихся снаружи туземцев, но что именно между ними происходило, мы понять не могли. Впрочем, недоумевали мы недолго, так как вождь подозвал нас, и мы увидели, что по его велению там выстроился почетный караул, который должен был сопровождать нас к дому Мархейо.

Во главе процессии были поставлены два весьма почтенных дикаря, державшие в руках копья с развевающимися на концах длинными вымпелами из белоснежной тапы. За ними следовало несколько юношей, высоко над головами поднимающие тыквенные миски с *пои-пои*, а за ними в свою очередь выступали четверо отменных здоровяков, которые несли длинные бамбуковые шесты с привязанными к ним корзинами, наполненными зелеными плодами хлебного дерева. Далее двигалась ватага мальчишек, и у каждого в руках были гроздья спелых бананов или же корзинки, плетенные из зеленых кокосовых листьев, а в них — молодые кокосовые орехи, освобожденные от волосистых одежд и поблескивающие нагими гладкими боками. Замыкал процессию могучий островитянин, несший на

голове деревянное блюдо с остатками нашего полуночного пиршества, прикрытыми, впрочем, листьями хлебного дерева.

Зрелище было величественное и забавное, я не мог не улыбнуться мыслям, которые оно поневоле сразу же приводило на ум: получалось, что Мехеви заботился о пополнении запасов продовольствия в доме Мархейо, опасаясь, что иначе его дорогие гости будут испытывать нужду.

Я спустился с *пай-пай*, почетный караул расступился и двинулся, замкнув нас в середину, и я часть пути ехал верхом на Кори-Кори, а часть, избавляя его от тяжкой ноши, ковылял сам, опираясь на копье. С первых же шагов туземцы завели дикий ритмический напев, который и тянули с некоторыми вариациями, покуда не доставили нас к месту назначения.

А из окрестных рощ высыпали стайки юных девушек и примыкали к нашей процессии, заглушая веселым звонким смехом низкие звуки пения. Когда мы приблизились к жилищу старого Мархейо, его обитатели поспешили нам навстречу, и, пока другие принимали и убирали дары вождя, престарелый воин оказывал нам все традиционные знаки гостеприимства, точно английский сквайр, встречающий друзей в своей

старинной вотчинной усадьбе.

XIII

Так почти незаметно прошла неделя. Туземцы, движимые какими-то непонятными чувствами, день ото дня были к нам все внимательнее. Почему они так хорошо с нами обращались, оставалось загадкой. Во всяком случае, полагал я, они вели бы себя не так, если бы замышляли против нас зло. Но откуда столько почтительности и доброжелательства? И что, интересно, рассчитывают они за это получить от нас?

Мы недоумевали. Но, даже несмотря на смутные, хотя и неотступные, опасения, я считал, что ужасная репутация, которой пользовались жители долины Тайпи, совершенно незаслуженна.

— Да ведь они людоеды! — возмутился Тоби один раз, слушая, как я их восхвалял.

— Не спорю, — отвечал я. — Но по-моему, во всем Тихом океане не найти гурманов благороднее, любезнее и порядочнее.

Однако, как ни ласково с нами обращались, я слишком хорошо понимал непостоянство дикарской натуры и, естественно, помышлял подальше убраться из долины, чтобы стать недосягаемым для ужасной смерти, угроза которой, быть может,

таилась за обманчивыми улыбками. Но здесь имелось одно препятствие. Нечего было и думать сниматься с места, пока не прошла хромота; собственно говоря, недуг мой начал внушать мне большую тревогу: несмотря на лечение травами, мне становилось все хуже. Приятно охлаждающие примочки из трав хотя и утоляли боль, но не излечивали самое болезнь, и я чувствовал, что без более серьезной помощи мне предстоит долго и жестоко мучиться.

Но как получить эту помощь? Наверное, мне оказал бы ее кто-нибудь из судовых врачей французской флотилии, все еще, должно быть, находившейся в бухте Нукухива. Но как это осуществить?

Наконец, доведенный до отчаяния, я предложил Тоби, чтобы он пробрался в Нукухиву и попробовал вернуться оттуда за мною во французской шлюпке или, на худой конец, хотя бы добыл у них нужные лекарства и возвратился сюда по суше.

Мой товарищ выслушал это предложение молча и поначалу даже отнесся к нему неодобрительно. Дело в том, что он мечтал как можно скорее удрать из долины Тайпи, рассчитывая воспользоваться для устройства побега тепереш-

ним добрым расположением туземцев, прежде чем они к нам переменятся. А так как бросить меня в немощи и болезни он и мысли не допускал, то стал уговаривать меня не падать духом и бодриться, уверяя, что я скоро поправлюсь и через несколько дней смогу вместе с ним уйти в Нукухиву.

Кроме того, возвращаться сюда на верную смерть ему было совсем не по душе. А что до французов, то, на его взгляд, напрасно ожидать от них, что они отправят сюда шлюпку с гребцами только для того, чтобы вызволить меня от тайпийцев. Мне нечего было возразить на его утверждение, что никогда французы не захотят ради этого навлекать на себя вражду грозного племени, которое они всячески стараются умиротворить и с этой целью вообще воздерживаются заходить в здешнюю бухту. «Да если б даже они и согласились, — уверял меня Тоби, — их появление вызвало бы только переполох в долине, и в этом переполохе кровожадные тайпийцы нас с тобою наверняка бы отправили на тот свет». Возразить на это мне было нечего, но я держался за вторую часть моего плана и убеждал Тоби, что она вполне осуществима. В конце концов мне удалось его уговорить. Тоби сказал, что попробует.

Но когда мы с большим трудом втолковали туземцам, что мы задумали, поднялась целая буря протеста, так что я уже готов был махнуть на все рукой, не надеясь добиться их согласия. При мысли, что один из нас собирается их покинуть, огорчению их не было предела. Особенно разволновался Кори-Кори; он так бурно жестикулировал, прямо бился в конвульсиях, пытаясь втолковать нам, какое мерзкое место эта Нукухива и какие темные люди ее обитатели, а также выразить свое совершеннейшее недоумение в связи с тем, что, познакомившись с просвещенными тайпийцами, мы считаем для себя возможным покинуть, хотя бы на время, их изысканное общество.

Однако я опроверг все их возражения ссылками на мою хромоту, от которой, уверял я, мне сразу же удастся вылечиться, как только Тоби доставит мне необходимые медикаменты.

Сговорились на том, что мой товарищ утром же отправится за спасительными лекарствами, но его будет сопровождать кто-нибудь из домочадцев Мархейо, чтобы указывать ему кратчайшую дорогу, по которой можно прийти в Нукухиву засветло.

На следующий день, еще до восхода, весь наш

дом был на ногах. Один из парней вскарабкался на ближнюю кокосовую пальму и пошвырял вниз несколько молодых орехов, а почтенный Мархейо их подобрал, очистил от зеленой шелухи и нанизал на прут — их сок предназначен был освежать Тоби в пути.

Когда все приготовления были завершены, я взволнованно простился с моим другом. Он обещал вернуться не позже чем через три дня, и, пожелав мне между тем не падать духом, завернул за угол *пай-пай*, и скрылся из виду в сопровождении старого Мархейо. Сердце у меня защемило, и я, вернувшись в дом, бросился ничком на циновки, охваченный чувством, близким к отчаянию.

Часа через два Мархейо возвратился и объяснил мне, что проводил немного моего товарища и показал ему дорогу дальше.

Наступил полдень — время, которое туземцы предпочитают посвящать сну; я лежал в доме, окруженный спящими, и странная тишина, царящая повсюду, отчего-то угнетала меня. Вдруг мне почудились отдаленные возгласы — словно кто-то кричал за рощей.

Звуки становились громче, они приближались, и вот уже вся долина звенела от криков.

Мои домашние пробудились ото сна, вскочили в тревоге и поспешили наружу — узнать причину переполоха. Через несколько минут Кори-Кори, который первым вскочил и выбежал вон, возвратился — он тяжело дышал и был совершенно вне себя от волнения. Все, чего я смог от него добиться, это что с Тоби случилось какое-то несчастье. В предчувствии непоправимой беды я бросился вон из дому и увидел, что из рощи с воплями и стенаниями вышла толпа людей; они несли что-то, к чему относились их горестные пени. Толпа приближалась ко мне, все громче становились крики мужчин, и девушки, воздевая кверху обнаженные руки, жалобно, но отчетливо причитали: «Оха! Оха! Тоби маки мои!» (Увы! Увы! Тоби убит!)

Толпа расступилась, и я увидел бездыханное тело моего друга, которое несли двое, — голова Тоби тяжело свисала на грудь идущему впереди. Все его лицо, вся шея были залиты кровью, и сейчас еще сочившейся из раны на виске. Среди великого переполоха, под громкие крики тело внесли в дом и положили на циновки. Я знаками велел туземцам разойтись и не толпиться, волнуясь, склонился над Тоби и, положив ладонь ему на грудь, с облегчением убедился, что сердце у

него еще бьется. Тогда я плеснул ему в лицо водой из тыквенного сосуда, отер кровь, откинул слипшиеся волосы и приступил к осмотру раны. Она была дюйма в три шириной и обнажала черепную кость. Я обрезал волосы моим матросским ножом и обмыл рану в нескольких водах.

Вскоре Тоби обнаружил первые признаки жизни — он на минуту открыл глаза и вновь закрыл, не произнося ни звука. Кори-Кори, стоявший рядом со мной на коленях, стал осторожно растирать ладонями ему руки и ноги, какая-то девушка легонько помахивала веером над его головой, а я все время смачивал ему губы и лоб. И бедный мой товарищ начал постепенно приходить в себя — я даже заставил его выпить несколько глотков воды.

Тут к нам приблизилась старая Тайнор, держа в руке пучок каких-то трав, и знаками дала мне понять, что я должен выдавить их сок прямо в рану. Я так и сделал, после чего счел за лучшее не беспокоить Тоби, пока он немножко не наберется сил. Несколько раз он открывал рот и порывался заговорить, но я, заботясь о нем, принуждал его хранить молчание. Только часа через три он настолько оправился, что смог сесть на циновке и рассказать мне о своем приключении.

«Мы с Мархейо пересекли долину, — рассказывал Тоби, — и поднялись на противоположный склон. За ним, как объяснил мой проводник, лежит долина Хаппар, а если идти по хребту дальше, не спускаясь в долину, то выйдешь как раз в Нукухиву. Здесь мой провожатый остановился и дал мне понять, что дальше не пойдет, разными знаками выражая страх, который он испытывает, очутившись вблизи вражеских пределов. И, показав мне дорогу, ведущую через горы, поспешил обратно вниз по склону.

Я страшно обрадовался, что нахожусь так близко от славных хаппарцев, и весело пустился в путь, и скоро взобрался на самую хребтовину. Сзади и спереди уходили вниз крутые склоны, и мне видны были обе враждующие долины. Здесь я посидел немного, закусил кокосовыми орехами и пошел дальше поверху. Вдруг я увидел впереди себя на тропе трех туземцев, только что, должно быть, взобравшихся сюда из долины Хаппар. Все трое были вооружены тяжелыми копьями, один из них показался мне вождем. Они прокричали что-то, чего я, разумеется, не понял, и поманили меня к себе.

Я без малейших колебаний пошел к ним и был уже в двух шагах от переднего, когда вдруг, со зло-

бой указав в сторону Тайпи, он выкрикнул что-то свирепое и, замахнувшись копьем, мгновенным ударом поверг меня на землю. Он-то и нанес мне эту рану, и я лишился чувств. Когда же я очнулся, они все трое стояли поблизости и вели яростный спор — вне сомнения — обо мне.

Первым моим побуждением было бежать, спасая жизнь, но, пытаясь встать, я упал и скатился по травянистому обрыву. Это падение меня, как видно, встряхнуло, я вскочил на ноги и пустился бегом вниз по тропе, по которой только что поднимался. Оглядываться мне не было нужды — я по крикам знал, что враги бросились в погоню. Подстегиваемый их кровожадными воплями, я забыл и думать о полученной ране — хотя кровь бежала по лицу и слепила меня, заливая глаза, — и, как ветер, мчался под гору. Я уже на треть сбежал по склону, когда крики моих преследователей смолкли, но вдруг раздался ужасный вой, и в тот же миг тяжелое копье, пролетев мимо, трепеща, впилось в ствол дерева рядом. Жуткий этот звук повторился еще и еще, и второе и третье копья, рассекая воздух в полуметре от меня, наискось вонзились в землю. Дикари взревели от злобы и досады, но, как видно, спускаться дальше в долину Тайпи не решились и прекратили погоню.

Я видел, как они подобрали копья и повернули назад. Я же со всех ног помчался дальше вниз.

Что могло быть причиной столь яростного нападения хаппарцев, ума не приложу, — разве только они видели, как я подымался вместе с Мархейо, и одного того, что я пришел из долины Тайпи, было достаточно, чтобы вызвать их убийственную вражду.

Пока мне угрожала опасность, я почти не чувствовал раны, но, когда мои преследователи отстали, она снова начала причинять мне страдание. В бегстве я потерял шляпу, и солнце жестоко палило мне голову. Я чувствовал слабость и дурноту, но я боялся, что упаду там, где некому будет прийти мне на помощь, и потому тащился дальше из последних сил, пока не достиг дна долины. Здесь ноги мои подкосились, я упал на землю и больше уже ничего не помнил, пока не очутился лежащим вот на этих циновках, а надо мной склонялся ты с калебасом холодной воды».

Таков был рассказ Тоби. Уже потом я узнал, что, к счастью, он потерял сознание неподалеку оттуда, куда тайпийцы ходят за дровами. Его заметили, когда он упал, подняли тревогу, поспешили к нему, пытались привести в чувство у ручья и, не добившись успеха, поторопились

отнести в дом Мархейо.

Это происшествие представило нам наше положение в довольно мрачном свете. Оно напомнило о том, что мы со всех сторон окружены воинственными недружелюбными племенами и у нас нет надежды пройти в Нукухиву через их земли, не столкнувшись с враждебностью. Как видно, для побега оставался единственный путь — морем.

А наши друзья тайпийцы воспользовались случившимся с Тоби несчастьем и призывали нас по достоинству оценить все преимущества пребывания в их долине; они сравнивали радушный прием, который оказали нам, с коварством и злобой своих соседей. Равным образом распространялись они и на тему о людоедских наклонностях хаппарцев — черте, которая, как они отлично видели, не могла не вызвать у нас беспокойства. И в то же время энергично отрицали ее за собой. Не упустили они случая и указать нам на природные красоты их родной долины и на щедрость, с какой родит она в изобилии всевозможные роскошные плоды.

Всех больше витийствовал Кори-Кори. Он так пламенно желал внушить нам правильный взгляд на все эти вещи, что в самом деле сумел с помощью некоторых усвоенных нами слов и

выражений заставить нас понять кое-что из его речей. А чтобы облегчить нам понимание, он вначале выражал свои мысли с максимальной краткостью.

— Хаппар кийкино нуи! — восклицал он. — Нуи, нуи кай-кай канака! А! Аули мортарки! (Что означает: «Ужасный народ эти хаппарцы! Поедают людей в огромных количествах! Ах, какое безобразие!»)

Свои слова он сопровождал пояснительной пантомимой, исполняя каковую то выбегал из дома и с отвращением указывал пальцем в ту сторону, где находилась долина Хаппар, то мчался со всех ног обратно, опасаясь, быть может, как бы мы не упустили пока что нить его рассуждений, и, возобновляя представление, прихватывал зубами мякоть моего плеча, чем, очевидно, хотел сказать: вот что сделали бы с тобой люди, которые живут там!

Убедившись, что мысль его до нас дошла, он перешел к другой, смежной теме:

— А! Тайпи мортарки! Нуи, нуи миори; нуи, нуи вай; нуи, нуи пои-пои: нуи, нуи коку, — а! нуи, нуи кай-кай; а! нуи, нуи, нуи! (Что в дословном, как и выше, переводе означает: «То ли дело Тайпи! Превосходное место — здесь не проголодаешься.

Это уж точно! Хлебных деревьев — сколько угодно; воды — хоть залейся; пудинга — ешь не хочу; всего вдоволь! Кучи, груды, горы еды!»)

Эта речь также сопровождалась подстрочными комментариями жестов, не понять которые было невозможно.

Однако, переходя к следующим пунктам, Кори-Кори не хуже наших записных ораторов стал отвлекаться в сторону, все основательнее углубляться в некоторые частные вопросы, рассуждая попутно, например, и о моральной стороне дела, и в таком духе продолжал разглагольствовать столь громко и непонятно, что у меня потом весь день болела голова.

XIV

Через несколько дней Тоби окончательно оправился от последствий своей встречи с хаппарскими воинами; растительное лечение доброй Тайнор заживило его рану. Но меня удача не жаловала: я по-прежнему мучился недугом, происхождение и природа которого оставались загадкой. И тогда, видя себя безнадежно отрезанным от цивилизованного мира и окончательно убедившись, что туземные снадобья бессильны мне помочь, отлично понимая также, что в теперешнем моем состоянии я все равно не смогу никуда податься из долины Тайпи, какие бы заманчивые возможности побега ни открывались, и, терзаясь опасениями, что в любой момент мы можем стать жертвами зловещей перемены в настроении туземцев, я впал в глубочайшее уныние. Мрачные мысли одолевали меня, и их не могли разогнать ни дружеские уговоры моего товарища, ни преданность Кори-Кори, ни даже целительное присутствие прекрасной Файавэй.

Однажды утром, когда я лежал на циновках, объятый тоской, не видя и не слыша ничего, что происходило вокруг, Тоби, который раньше куда-

то ушел, вдруг прибежал ко мне с известием, что, насколько он понял по поведению островитян, в бухту входят какие-то шлюпки и, значит, можно считать, что мы спасены.

Новость подействовала на меня волшебно. Близился час нашего освобождения, и я поспешил наружу, чтобы удостовериться, что действительно ожидается событие из ряда вон выходящее. И в самом деле, со всех сторон слышалось одно слово: «Боти!» Оно прозвучало сперва в отдалении, слабое, едва различимое, затем крик был подхвачен, повторен еще и еще, и с каждым разом он становился все громче, все отчетливее, пока наконец его не подхватил тайпиец, сидящий на дереве возле нашего дома. Он высоко вывел: «Боти! Боти!» Сразу же отозвались в соседней роще, потом еще дальше, и так постепенно крик замер вдали, разнеся известие во все уголки долины. Это был голосовой телеграф, с помощью которого местные жители могли за несколько минут передавать краткие сообщения от береговой линии до самого конца долины, то есть на расстояние по крайней мере девяти миль. Сейчас он был на полном ходу: все новые известия поступали с непостижимой быстротой.

Поднялся невообразимый переполох. С каждой

новой вестью туземцы приходили во все большее волнение и в лихорадочной спешке готовились к встрече. Кто обдирал шелуху с кокосовых орехов, кто, взобравшись на дерево, сбрасывал вниз хлебные плоды, кто подбирал их и складывал в кучи, а кто меж тем ловко и быстро плел из пальмовых листьев корзины для переноски всех этих товаров.

Одновременно велись и приготовления иного свойства: там видно было, как могучий воин до блеска начищает куском тапы свое верное копье или прилаживает складки набедренной повязки; здесь можно было подсмотреть, как юная девушка украшает себя цветами, словно рассчитывает завоевать чье-то сердце; и, как бывает всегда и повсюду, когда люди спешат и волнуются, кто-то старательно и неутомимо сновал туда-сюда, делая это без всякой надобности и очень мешая другим.

Мы еще никогда не видели тайпийцев в таком возбуждении. Не приходилось сомневаться: подобные события случались редко.

Я с тоской подумал, что может пройти еще бог знает сколько времени, прежде чем опять подвернется такая счастливая возможность для спасения, а я бессилен воспользоваться ею

сейчас.

Видно было, что островитяне изо всех сил торопятся на берег и очень боятся опоздать. Нам с Тоби тоже надо было бы поспешить туда, но оказалось, что Кори-Кори не только отказывается нести меня, но испытывает непреодолимый ужас при одной мысли о том, чтобы мы уходили далеко от дома. Все остальные тайпийцы отнеслись к нашему намерению столь же неодобрительно и только смотрели изумленно и печально, когда я пытался их убеждать. Было ясно, что, хотя мой телохранитель делал вид, будто ничем не стесняет моей свободы, в действительности же поступить так, как я хочу, он мне не позволит. В тот раз, да и потом еще неоднократно у меня создалось впечатление, что он выполняет относительно меня чей-то приказ, хотя в то же время сам испытывает ко мне неподдельную симпатию.

Тоби, который решился во что бы то ни стало отправиться на берег вместе с туземцами и, чтобы не вызвать их противодействия, ничем не выказывал в отличие от меня этого своего желания, убедил меня, что я теперь все равно не поспею к лодкам.

— Разве ты не видишь? — сказал он. — Туземцы и сами боятся, что опоздают. Я бы сейчас же

бросился туда со всех ног, да боюсь поспешностью навлечь на себя подозрения, и тогда мы вынуждены будем пропустить этот редкостный случай и никак им не воспользоваться. Постарайся казаться невозмутимым и равнодушным, они успокоятся и тогда, я уверен, пустят меня на берег, решив, что мне хочется пойти с ними просто из любопытства. Только бы мне добраться до этих шлюпок — я сообщу о том, в каком положении ты здесь остался, и тогда можно будет что-то сделать для нашего спасения.

Это звучало разумно. Между тем приготовления тайпийцев были завершены, и я с интересом наблюдал за тем, как они отнесутся к просьбе Тоби. И в самом деле, услышав, что я остаюсь, они совершенно не стали противиться тому, чтобы мой товарищ шел с ними, наоборот, даже обрадовались. Вообще их отношение к нам в тот день весьма меня озадачило, особенно в свете последующих необъяснимых событий.

Островитяне уже спешили по дороге к морю. Я крепко пожал Тоби руку и дал ему надеть мою матросскую шляпу, потому что свою он потерял и ему нечем было прикрыть раненую голову. Он ответил мне сердечным рукопожатием, обещал возвратиться, как только шлюпки отойдут от

берега, бросился чуть не бегом по тропинке и через несколько мгновений скрылся за стволами деревьев.

Я остался во власти своих не слишком веселых мыслей, но поневоле развлекся необычным и забавным зрелищем: по узкой тропе, толкаясь и напирая, двигались друг за другом туземцы, нагруженные всевозможным провиантом. Вот один, отчаявшись убедить увесистого порося следовать за хозяином на веревочке, кончил тем, что подхватил строптивое животное на руки и понес его, без умолку визжавшего и барахтающегося, прижимая к своей голой груди. А вон двое, кого на расстоянии можно было принять за лазутчиков Израиля, возвращающихся к Моисею с виноградной гроздью, идут — один впереди, другой на несколько шагов сзади, а между ними с шеста, лежащего у них на плечах, свисает огромная связка бананов и раскачивается от их размеренного шага. Или вон еще один — торопится, обливается потом и толкает перед собой огромную корзину с кокосами; он так боится опоздать, что не обращает внимания, когда орехи выпадают из корзины, видно, ему лишь бы добраться до места, а одному или с кокосами — неважно.

Но скоро последний замешкавшийся туземец

скрылся, торопливо шагая по дороге, и замерли в отдалении голоса идущих впереди. Наш конец долины обезлюдел — со мной остались лишь Кори-Кори, его престарелый родитель да еще несколько дряхлых стариков.

На закате туземцы начали возвращаться небольшими группами, и я жадно высматривал среди них моего товарища. Но люди проходили мимо нашего дома, а Тоби все не было видно. Я успокоил себя тем, что Тоби, наверное, решил вернуться вместе с кем-нибудь из наших домашних, и стал ждать его появления в обществе прекрасной Файавэй. Наконец показалась Тайнор, а за ней юноши и девушки, живущие по большей части в доме Мархейо. Но и среди них не было моего друга, и я, терзаемый тысячью страшных опасений, поспешил им навстречу, чтобы выяснить, где он и что с ним.

Мои встревоженные расспросы привели туземцев в большое смущение. Ответы их были противоречивы: один говорил, что Тоби сейчас придет; другой — что знать ничего о Тоби не знает; а третий, придя в великое негодование, объявил, что Тоби сбежал и никогда не вернется. Мне тогда показалось, что они пытаются скрыть от меня правду о каком-то ужасном несчастье.

Понимая, что с Тоби случилась беда, я бросился разыскивать юную Файавэй, чтобы от нее узнать о происшедшем.

Эта милая девушка давно уже завоевала мое расположение, и не только своей удивительной красотой и выражением редкого ума и благородства в чертах лица. Из всех своих соплеменников она одна, видимо, понимала, что должны были чувствовать мы с моим товарищем в столь необыкновенных для нас обстоятельствах. В ее обращении со мною — особенно когда я лежал на циновках, мучаясь от болей, — были нежность и участие, вполне определенные и совершенно неотразимые. Когда бы она ни входила в дом, взгляд ее, устремленный на меня, выражал живейшее сочувствие, она вскидывала руку в жесте сострадания, заглядывала мне прямо в глаза своими огромными сияющими глазами и, нежно приговаривая: «Оха! Оха, Томмо!» — грустно садилась подле меня.

Я верил, что она жалеет меня, терзаемого недугом вдали от родины, от близких, от надежды на исцеление. Иногда мне даже казалось, что доброта ее помогает ей понимать то, чего другие на ее месте никогда бы не могли понять: что мы оторваны от родного дома, что где-то у нас оста-

лись братья и сестры, которым, быть может, не суждено уже больше нас увидеть.

В таком дружественном свете представлялась мне нежная Файавэй. И, совершенно полагаясь на ее искренность и разум, я со всеми моими тревогами обратился к ней, чтобы узнать от нее о моем товарище.

Вопросы мои ее расстроили. Она обвела глазами тех, кто стоял вокруг, словно искала у них для меня ответов. Но потом, уступив моим настояниям, превозмогла себя и объяснила, как могла, что Тоби ушел со шлюпками, но обещал через три дня вернуться. Первым моим чувством было негодование на Тоби, предательски покинувшего меня в беде; но потом, поостыв, я, наоборот, стал упрекать себя за то, что приписал ему такой подлый поступок: разумеется, он просто воспользовался представившейся возможностью попасть в Нукухиву и устроить так, чтобы как-нибудь вывезти меня из долины Тайпи. Или уж по крайней мере, успокаивал я себя, он привезет мне необходимые лекарства, и, когда я выздоровею, мы без труда сможем сами отсюда уйти.

Утешившись такими рассуждениями, я лег в тот вечер спать в настроении гораздо лучшем, чем все последнее время. Следующий день про-

шел — имя Тоби ни разу не было упомянуто. В душе моей зашевелились кое-какие подозрения, но все-таки, ложась спать, я радовался, что второй день позади и завтра Тоби снова будет со мною. Но наступило и прошло завтра, а мой товарищ не появился. «Ну конечно, — говорил я себе, — он считает трое суток! Завтра он вернется!» Но кончился еще один томительный день, а Тоби все не было. Однако я не отчаивался; я считал, что его что-то задержало в Нукухиве, наверное, он ждет лодки, чтобы выехать сюда, и дня через два самое позднее я его увижу. Но проходил день за днем, ожидания мои не сбывались, и наконец надежда оставила меня, уступив место полному отчаянию.

О да, размышлял я, сам-то он спасся, и ему горя нет, что будет с его злосчастным товарищем! Дураком надо быть, чтобы поверить, что кто-нибудь, вырвавшись отсюда, по собственной воле возвратится сюда на почти верную погибель. Он сбежал и оставил меня одного отбиваться, как смогу, от грозящих мне бед.

В таких мыслях о низком предательстве Тоби искал я по временам утешения и при этом горько раскаивался, что сам все затеял и сам по неразумию навлек на себя беды, теперешние и

предстоящие.

В другие минуты я думал, что, может быть, все-таки коварные дикари разделались с ним, и потому их в такое смущение приводили мои расспросы, и потому так сбивчиво и невразумительно они мне отвечали; или же его захватили в плен жители другой долины; или же случилось еще более ужасное — то, при одной мысли о чем моя душа содрогалась.

Но все гадания были бесполезны — узнать я ничего не мог; Тоби исчез навсегда. Поведение островитян оставалось загадочным. Они тщательно избегали всякого упоминания о моем пропавшем товарище, а если мне все же удавалось принудить их к ответу на мои неустанные вопросы, они теперь дружно изображали его чудовищем неблагодарности, который бросил на произвол судьбы друга и сбежал от них в эту мерзкую и ужасную Нукухиву.

Но что бы на самом деле ни произошло с Тоби, ко мне теперь туземцы стали относиться еще заботливее и внимательнее, выказывая столь глубокое почтение, словно я был не человек, а некий посланец небес. Кори-Кори ни на минуту не покидал меня, если только его не отрывала от меня необходимость исполнить мое же малейшее

желание. Дважды в день, по утренней прохладе и под вечер, честный малый таскал меня на себе к реке и купал в живительных струях.

Нередко на закате он относил меня в такое место на берегу реки, откуда открывался вид особенно прекрасный, успокоительно воздействовавший на мою угнетенную душу. Вода здесь плавно стремилась меж округлых травянистых берегов, поросших могучими хлебными деревьями, чьи развесистые ветви смыкались, переплетаясь над рекой в пышный зеленый балдахин. В траве над водой возвышались гладкие глыбы черного камня. У одной из таких глыб была плоская, даже вдавленная верхушка, образовывавшая, будучи засыпана свежими листьями, восхитительное ложе.

Здесь я часами лежал под легким, прозрачным покрывалом из тончайшей тапы, и прекрасная Файавэй, сидя подле, обмахивала меня опахалом из молодых кокосовых побегов, отгоняя от моего лица насекомых, а Кори-Кори меж тем, желая по-своему развеять мою тоску, нырял и кувыркался перед нами в воде, выделывая всевозможные трюки.

Мой взгляд, блуждая вниз по течению, задерживался на обнаженном теле красивой юной

девушки, стоящей по пояс в прозрачной воде, — она тонкой сеткой ловила особой породы крохотных рачков, излюбленное лакомство местных жителей. Или же я смотрел, как целая стайка молодых женщин, рассевшись на низком камне посреди реки, болтая и смеясь, полирует и истончает скорлупу кокосов — для этого ее погружают в воду и натирают камешками, в результате чего получаются легкие и изящные сосуды для питья, напоминающие черепаховые кубки.

Но мирные сцены человеческой жизни, столь необычные и живописные, и умиротворяющие красоты ландшафта были не единственным моим утешением.

Каждый вечер девушки нашего дома собирались возле меня на циновках и, отогнав Кори-Кори — который, впрочем, отходил лишь чуть-чуть в сторону и наблюдал за их действиями с откровенной ревностью, — с головы до ног натирали меня ароматным маслом, выжатым из какого-то желтого корня, который перед этим толкли между двух камней и который на их языке называется *эйка*. Приятнейшее, восхитительнейшее воздействие оказывает сок, добытый из корня *эйка*, когда его втирают тебе в кожу нежные ручки милых нимф, чьи лучистые глаза глядят на тебя

ласково, с любовью; и я радостно предвкушал эту приятную ежевечернюю процедуру, во время которой забывал все беды и топил в блаженстве мою тоску.

Иногда, прохладными вечерами, мой верный телохранитель, бывало, выводил меня на *пай-пай* перед домом и усаживал у самого края, обмотав мое тело от назойливости насекомых целым рулоном тапы. И хлопотал вокруг меня по меньшей мере минут двадцать, чтобы устроить все как можно удобнее. Потом, удовлетворенный, он приносил трубку и, разжегши ее, передавал мне. Нередко при этом ему приходилось добывать огонь, а так как проделывал он это способом, о каком я даже не слыхивал прежде, я сейчас его опишу.

В каждом доме в долине Тайпи непременно можно видеть сухой и гладкий полусточенный хибискусовый чурбак футов в шесть высотой и около трех футов в поперечнике и при нем отдельно — палочку не более фута в длину и, наверное, в дюйм толщиною. Предметы эти столь же обыкновенны здесь, как в наших домах коробок со спичками в углу кухонного шкафа.

Туземец, вознамерившийся добыть огонь, ставит наискось, уперев во что-нибудь, большой

чурбак и садится на него верхом, как мальчик, готовый ускакать на деревянном коне, и, зажав тонкую палочку в обеих руках, принимается с силой тереть по чурбаку ее острым концом, пока не образуется узкий желобок, в конце которого собирается кучка растертой в пыль древесины.

Сначала Кори-Кори трет не спеша, но постепенно убыстряет темп и, разгорячась, с невероятной быстротой гоняет палочку туда-сюда по дымящемуся желобку, а пот градом катится из всех его пор. Он начинает задыхаться, глаза его лезут на лоб от напряжения. Наступает критический момент; все его труды пойдут насмарку, если сейчас у него не достанет силы довести дело до конца, не сбавляя темпа, пока не появится упрямая искра. Вдруг он замирает. Руки его все еще давят на палочку, изо всех сил прижимая острие к концу желобка, где накопилась кучка праха, — кажется, будто он пронзил маленького смертоносного аспида, и тот извивается, бьется, хочет от него вырваться. Еще мгновение — и тоненький венчик дыма, виясь, подымается в воздух, горстка мельчайших частиц древесины загорается, и Кори-Кори, тяжело дыша, слезает со своего коня.

Мне кажется, что описанная операция была самой трудоемкой из всех, какие приходилось

выполнять обитателям долины Тайпи. И располагай я достаточным знанием их языка, я бы непременно вошел к влиятельнейшим из туземцев с предложением срочно создать — с центром в долине и с филиалами — институт благородных весталок, дабы они поддерживали сие необходимое условие жизни — огонь; тем самым отпала бы нужда в столь огромной затрате физических сил и терпения, которые при этом так безжалостно расходуются. Впрочем, в осуществлении этого замысла возникли бы, возможно, кое-какие трудности особого свойства.

Как наглядно видна здесь вся разница между дикарским и цивилизованным образом жизни! Тайпийский джентльмен может вырастить целую ораву детей и дать им всем весьма солидное людоедское образование, употребив на это куда меньше труда и забот, чем ему понадобится, чтобы добыть огонь. А между тем бедный мастеровой-европеец, который с помощью серной спички получает огонь, не затратив и секунды, бьется над тем, как ему добыть для своей голодной семьи пропитание, которое дети полинезийских отцов, не затрудняя родителей, сами срывают с ветвей соседнего дерева.

XV

Все обитатели долины относились ко мне хорошо, а домочадцы Мархейо, с которыми я жил под одной крышей, пеклись о моем благе с поистине поразительной заботливостью. Они постоянно угощали меня всевозможными яствами, когда же я, наевшись, отказывался от предлагаемой ими еды, они считали, что у меня плохой аппетит и необходимо острыми приправами возбудить его.

С этой целью старый Мархейо на заре отправлялся к морю, чтобы собрать в часы отлива какие-то морские травы — некоторые сорта водорослей почитаются островитянами как драгоценные специи. К вечеру он возвращался и приносил несколько кокосовых скорлуп, наполненных разной тиной. Приготовляя их для меня, он принимал важный вид искушенного кулинара, хотя вся хитрость его стряпни сводилась, по-видимому, к тому, чтобы долить должное количество воды к студенистому содержимому скорлуп.

В первый раз, когда он предложил моему взыскательному вниманию один из своих соленых салатов, я, естественно, предполагал, что блюдо,

приготовленное ценою таких усилий, должно обладать необыкновенными вкусовыми достоинствами; но одного глотка оказалось более чем достаточно; и велик был ужас, написанный на лице старого воина, увидевшего, с какой быстротой я изверг его эпикурейское угощение.

Как это верно, что редкость предмета очень увеличивает его ценность! В одном из уголков долины — где точно, я не знаю, но, вероятно, поблизости от моря — девушки иногда собирали крохотное количество соли; содержимое наперстка обычно являлось плодом труда шести человек в течение почти целого дня. Это драгоценное угощение они приносили в наш дом, обернутое в ворох листьев, и в знак особого почитания, разложив передо мною на земле один широкий лист, высыпали на него свою соль крупинка за крупинкой, приглашая меня ее отведать.

Они ценили ее так высоко, что, право же, я думаю, за бушель обыкновенной ливерпульской соли можно было бы закупить всю недвижимость в долине Тайпи. Обладая одной щепотью соли да четвертью хлебного плода, верховный вождь долины посмеялся бы над изысканной роскошью парижского стола.

Поскольку хлебное дерево так знаменито по-

всюду и поскольку плоды его занимают такое видное место в меню тайпийцев, я считаю необходимым остановиться здесь на описании этого дерева и разных способов приготовления его плодов.

Хлебное дерево в могучем зрелом возрасте представляет собою такую же своеобычную и неотъемлемую черту маркизского пейзажа, как патриарх восточных лесов — огромный вяз неотделим от ландшафта Новой Англии. Оно напоминает его своей высотой, раскидистостью пышных ветвей, живописной величавостью своего вида.

Листья хлебного дерева большого размера и по краям все в зубцах и фестончиках, точно дамский кружевной воротник. В пору осеннего увядания они восхитительной игрой постепенно меняющихся красок могут поспорить с радужными переливами на боках издыхающего дельфина. Осенние уборы наших американских лесов при всей их красоте в сравнении с этим ничего не стоят.

Лист, сорванный в определенный момент на закате года, когда все цвета радуги как будто смешаны на его поверхности, используется местными жителями в качестве сказочно пестрого,

роскошного головного убора. В середине листа по волокну делается разрез достаточной ширины, раздвигается, и в него просовывается голова, спереди образующийся козырек лихо заламывается надо лбом, а остальная часть широкими полями нависает на затылке и за ушами.

Плод хлебного дерева величиной и видом напоминает нашу круглую дыню средних размеров — такого сорта, у которого на корке нет борозд, как бы делящих дыню на доли. Вся поверхность его усеяна маленькими шишечками — точно выпуклыми шляпками огромных гвоздей, какими обивали в старину церковные двери. Корка имеет толщину не более восьмой части дюйма, и освобожденный от нее плод в пору наивысшей спелости представляет собой красивый шар белой мякоти, весь съедобный, не считая тонкой сердцевины, которая легко вынимается.

Однако его никогда не употребляют, да он и не годится в пищу до того, как не будет подвергнут действию огня.

Самый простой способ обработки огнем — и, на мой взгляд, самый лучший — состоит в том, что свежесорванные, еще зеленые плоды зарывают в золу, как у нас пекут в костре картошку. Минут через десять — пятнадцать зеленая корка чер-

неет и трескается, и в трещинах проглядывает молочно-белое нутро. Остынув, корка отстает, и вы получаете мякоть в самом чистом и самом аппетитном виде — она очень нежна и приятна на вкус.

Иногда туземцы выхватывают испеченный плод из золы, прямо горячий выдавливают из растрескавшейся кожуры в холодную воду и размешивают. Полученная смесь называется у них *бо-а-шо*. Мне она никогда не нравилась, да и среди более просвещенных тайпийцев она не в большой моде.

Впрочем, есть одно блюдо, приготовляемое из плодов хлебного дерева, поистине королевское. Плод вынимают из огня, освобождают от кожуры, извлекают сердцевину и, пока не остыл, толкут его в плоской каменной ступе каменным же пестом. Между тем кто-то другой берет спелый кокосовый орех, раскалывает надвое — они делают это с необычайным искусством — и мелко крошит ядро. Для этого используется накрепко привязанный к толстой палке обломок перламутровой раковины, один край у которой имеет аккуратную нарезку, как у пилы. Палка часто бывает узловатая, корявая, из тела ее, словно кривые, гнутые ножки, торчат длинные сучки, и

она стоит на них футах в двух-трех от земли.

Под нос этому своеобразному палочному коню ставится тыквенная миска, чтобы в нее падали крошки размельченного кокоса, кто-нибудь усаживается на лошадь-палку верхом и трет содержимое кокосового полушария об острые зубцы раковины — оно белым дождем сыплется в миску. Натерев достаточное количество ореховой массы, ее укладывают в мешок из волокнистой сетки, какая одевает стволы кокосовых пальм, и выдавливают на размятый хлебный плод.

Полученное блюдо называется *коку*, и яства роскошнее я в жизни не едал. Пока я жил в доме Мархейо, такая лошадь-палка и каменная ступа с пестом постоянно пускались в ход, и Кори-Кори часто имел возможность выказывать свое искусство владения ими.

Но главные продукты, в больших количествах изготовляемые из плодов хлебного дерева, носят местные названия *эймар* и *пои-пои*.

В определенное время года, когда по всей долине в рощах поспевают бесчисленные плоды и свисают золотистыми гроздьями с каждой ветки, островитяне приступают к сбору урожая. Деревья освобождаются от клонившего их к земле бремени, и все это изобилие, легко извлекаемое из

кожуры и очищенное от сердцевины, энергично толчется каменными пестами в тестообразную массу, которая называется *тутао*. Затем ее разделяют на брикеты, каждый из которых тщательно обертывают в несколько слоев листьев, туго перевязывают волокнами коры и зарывают в большие ямы, откуда впоследствии и извлекают по мере надобности.

В земле *тутао* может лежать годами, считается даже, что от времени оно становится только лучше. Однако перед тем, как стать съедобным, оно подвергается еще одной процедуре. В земле роют углубление — своего рода примитивную печь; дно выкладывают камнями и разводят большой огонь. Когда камни достаточно разогреваются, золу тщательно выгребают, камни застилают слоем листьев, помещают на него завернутый брикет *тутао* и сверху покрывают еще одним слоем листьев. Затем все это быстро засыпают землей, так что получается небольшая круглая горка.

Печеное таким способом *тутао* называется *эймар*, в печи оно превращается в янтарную пухлую лепешку, немножко терпкую, но все же вполне приятную на вкус.

Из *эймар* в свою очередь приготовляют *поипои*. Делается это очень быстро. Такая лепешка

помещается в сосуд с водой, размачивается, перемешивается, пока не обретет равномерной консистенции пудинга, — и *поу-поу* готово к употреблению. Именно в этом виде тутао большей частью и идет в пищу. Способ, каким его едят, я уже описывал.

Если бы не эта способность плодов хлебного дерева храниться длительное время, аборигены, вероятно, были бы обречены иногда на голод, так как бывает, по какой причине — неизвестно, что хлебные деревья вообще не приносят плодов. В этих случаях жители Маркизских островов существуют главным образом за счет запасов, которые сумели заготовить в предыдущие сезоны.

Это замечательное дерево, лишь изредка встречающееся на Сандвичевых островах, да и то в своей наихудшей разновидности, и даже на Таити растущее в недостаточных количествах, чтобы составить главный продукт питания, в благодатном климате Маркизского архипелага достигает подлинного великолепия, разрастаясь до огромных размеров и покрывая долины густыми рощами.

XVI

Думая теперь о тех днях, вспоминая бесчисленные знаки уважения и любви, которые оказывали мне жители долины Тайпи, я просто диву даюсь: как я мог среди всего этого великолепия оставаться во власти самых мрачных предчувствий и жить изо дня в день снедаемый глубочайшей тоской? Правда, подозрительные обстоятельства исчезновения Тоби могли сами по себе кому угодно внушить недоверие к дикарям, в чьей власти я очутился, тем более если держать в уме, что эти милые люди, которые так добры и внимательны ко мне, в сущности — самые обыкновенные людоеды.

Но главным источником беспокойства, отравлявшим мне малейшую радость, была загадочная боль в ноге, которая никак не проходила. Все растительные примочки доброй Тайнор в сочетании с более суровыми методами лечения старого знахаря и с любовным уходом верного Кори-Кори так и не могли меня исцелить. Я сделался калекой и нередко страдал от приступов мучительной боли. Необъяснимый недуг не сулил облегчения; наоборот, он становился все сильнее и грозил

самым мрачным исходом, если ему не воспрепятствуют действенными мерами. Казалось, я осужден погибнуть от тяжкой болезни и уж, во всяком случае, никогда не смогу из-за нее покинуть долину Тайпи.

А случай, который произошел, насколько могу судить, недели через три после исчезновения Тоби, убедил меня, что тайпийцы, не знаю почему, будут всячески препятствовать тому, чтобы я их покинул.

Однажды утром я заметил, что все вокруг странно взволнованы. Оказалось, что причиной тому был слух, будто в залив входят какие-то лодки. Сразу же все кругом пришло в смятение.

В тот день как раз боль в ноге меня немного отпустила, и я в гораздо лучшем, чем обычно, расположении духа отправился с Кори-Кори к вождю Мехеви в его дом под названием *Тай*, стоящий, как было описано выше, в заповедных рощах. Эти святые места расположены неподалеку от жилища Мархейо и на полпути к морю. Дорога к морю шла мимо самого дома *Тай*, а оттуда, по опушке — прямо на берег.

Я возлежал на циновках под священным кровом в обществе Мехеви и еще нескольких вождей, когда пришло первое известие о лодках. Сердце

у меня радостно забилось: быть может, это Тоби возвращается за мной. Я сразу вскочил, готовый бежать на берег, забыв и о том, как это далеко, и о том, что я почти не могу ходить. Мехеви увидел, какое впечатление произвели на меня полученные вести и как я рвусь поскорее попасть на берег; лицо его сразу же приняло то каменное выражение, которое так испугало меня при нашей первой с ним встрече. И когда я заковылял к выходу, он протянул руку, положил ее мне на плечо и негромко проговорил: «Эйбо, эйбо» (Подожди). Занятый только собственными мыслями, я не обратил на его слова внимания, отмахнулся и хотел было пройти, но тут он принял суровый вид и властно приказал: «Мои!» (Садись!) Я поразился перемене в его обращении, но мне было не до того — я прохромал дальше, хотя на руке у меня повис Кори-Кори, пытаясь меня остановить. Тогда все, кто были в доме *Тай*, вскочили и встали плечом к плечу на краю террасы *пай-пай*, загородив мне выход, а Мехеви, грозно глядя на меня исподлобья, повторил свой приказ.

Вот тогда-то, стоя лицом к лицу с полусотней свирепых дикарей, я впервые по-настоящему осознал себя пленником в долине Тайпи. Сознание это ошеломило меня — я чувствовал, что подтвер-

ждаются худшие из моих страхов. Противиться было бесполезно, я опустился на циновки и снова предался тоске.

Я видел, как туземцы спешат друг за другом мимо дома *Тай* к морю. Эти дикари, думал я, скоро вступят в общение, быть может, с моими соотечественниками, которые обязательно спасли бы меня, если бы знали, что я здесь попал в беду. Никакими словами не передать, что я чувствовал и сколько проклятий посылал, охваченный отчаянием, низкому предателю Тоби, бросившему меня здесь на погибель. Напрасно пытался Кори-Кори соблазнить меня едой, разжечь мою трубку и развлечь смешными ужимками, которые прежде меня иногда забавляли. Я был подавлен этой новой неудачей — я и раньше опасался, что так и будет, но никогда не мог спокойно додумать эту мысль до конца.

В оцепенении провел я под крышей *Тай* несколько часов, пока крики в долине не оповестили нас о том, что люди возвращаются с моря.

Приходили в то утро в бухту лодки или нет, мне так никогда и не удалось выяснить. Дикари уверяли меня, что нет, но я склонен подозревать, что этим обманом они хотели просто меня успокоить. Но так или иначе, случай этот показал,

что тайпийцы намерены держать меня у себя в плену. А поскольку обращались они со мною по-прежнему заботливо и почтительно, я просто не знал, что и думать о таком странном поведении. Будь я способен обучить их каким-нибудь начаткам механики или вырази я желание быть хоть чем-нибудь им полезным, тогда еще можно было бы предполагать у них какой-то расчет. Но так их поведение казалось просто загадочным.

За все время, что я пробыл на острове, местные жители, наверное, раза три, не больше, обращались ко мне за советом как к лицу, особо осведомленному. И случаи эти были так забавны, что я не могу не рассказать здесь о них.

Все пожитки, которые мы захватили из Нукухивы, были связаны у нас в узелок, и этот узелок мы принесли с собой в долину Тайпи. В первую ночь здесь я использовал его как подушку, но, когда наутро я его развязал и показал туземцам содержимое, они были потрясены, словно увидели перед собой ларец с брильянтами, и настояли на том, чтобы столь бесценное сокровище было надлежащим образом запрятано. Соответственно, узелок был обвязан веревкой, свободный конец которой пропустили через стропило и подтянули сверток под самую крышу, где он и

висел теперь прямо над циновками, на которых я обычно спал. Если мне что-нибудь оттуда было нужно, — мне стоило только протянуть руку к бамбуковой палке, за которую была закреплена веревка, и спустить узелок на землю. Это было как нельзя более удобно, и я выразил туземцам восхищение тем, как они это здорово придумали. Основное содержимое узелка составляли бритва в футляре, иголки с нитками, фунта два табаку да несколько ярдов пестрого ситца.

Надобно также сказать, что вскоре после исчезновения Тоби я, сознавая, что мне предстоит прожить у тайпийцев неопределенно долгий срок — если вообще не всю жизнь, — решил отказаться от ношения брюк и рубахи, составлявших весь мой гардероб, дабы сберечь их в пристойном виде на тот случай, если мне все-таки еще придется когда-нибудь очутиться среди цивилизованных людей и понадобится их надеть. Вместо этого мне пришлось облачиться в тайпийский костюм, слегка видоизмененный, впрочем, в соответствии с моими понятиями о приличии, и в нем я выглядел, без сомнения, не менее импозантно, чем римский сенатор, задрапированный в свою тогу. Вокруг пояса я был в несколько слоев обернут полотнищем желтой

тапы, ниспадавшей к моим ногам наподобие дамской нижней юбки, с той только разницей, что я не прибегал к толстым прокладкам сзади, какие носили наши изысканные дамы в целях дальнейшего увеличения природной божественной округлости своих фигур. Этим исчерпывался мой домашний туалет; выходя из дому, я обычно добавлял к нему просторное покрывало из той же материи, одевавшее меня сверху донизу и служившее защитой от солнечных лучей.

Однажды я зацепил и порвал эту мантию и, желая показать тайпийцам, как легко помочь такому горю, спустил из-под крыши мой узелок, достал иголку с ниткой и в два счета зашил дырку. Они собрались вокруг и взирали на такое достижение науки с величайшим восторгом. Вдруг старый Мархейо шлепнул себя ладонью по лбу, бросился в угол и извлек засаленный ободранный кусок выгоревшего ситца, — видимо, выторгованный на берегу у заезжего матроса немало лет тому назад — и стал просить меня, чтобы я приложил к нему мое искусство. Я охотно согласился, хотя, видит бог, никогда, наверное, моя короткая игла не двигалась по ткани такими гигантскими скачками. Когда починка была окончена, старый Мархейо на радостях по-отечески обнял меня и,

скинув свой *маро* (набедренную повязку), препоясал чресла этим куском ситца, продел в уши свои любимые украшения и, подхватив копье, торжественно выступил из дому, точно доблестный рыцарь-храмовник, облаченный в новые бесценные доспехи.

Бритвой я за время, что жил на острове, ни разу не пользовался, но у тайпийцев она, хотя и была весьма невысокого качества, вызывала бурное восхищение. Сам Нармони, местный герой, который с великой тщательностью относился к своему туалету и вообще необыкновенно следил за собой — ни у кого в долине не было татуировки замысловатее и вида безобразнее, — решил, что ему бы очень пошло, если бы пройтись разок моей бритвой по его и без того наголо бритой макушке.

Местным орудием для бритья является акулий зуб, который столь же пригоден для этой цели, как однозубые вилы — для того чтобы стоговать сено. Неудивительно поэтому, что проницательный Нармони оценил преимущества моей бритвы. И вот в один прекрасный день он обратился ко мне с просьбой, чтобы я, в виде личного одолжения, прошелся бритвой по его макушке. В ответ я попытался ему втолковать, что она затупилась и

ее надо направить, прежде чем употреблять. Для ясности я несколько раз провел ею по ладони, словно по точилу. Нармони сразу меня понял, выбежал из дому, притащил тяжелый шершавый камень, огромный, как жернов, и смотрел, торжествуя, всем видом выражая полную уверенность, что это именно то, что надо. Пришлось мне махнуть рукой и приступить к бритью. Нармони извивался и корчился, но, неколебимо веруя в мое искусство, стерпел все, как святой мученик.

Я не видел Нармони в бою. Но после этого случая я готов жизнью поручиться за его мужество и доблесть. Перед началом операции его голова была покрыта короткой ровной щетиной, когда же я закончил свои неловкие труды, она весьма напоминала сжатое поле, где прямо по стерне прошлись бороною. Славный вождь, однако, выразил мне живейшее удовлетворение, и я был не настолько глуп, чтобы оспаривать его.

XVII

Проходил день за днем, но никакой разницы в обращении со мною туземцев я не наблюдал. Постепенно я утратил ощущение времени, перестал различать дни недели и вообще погрузился в глубокую апатию, какая обычно наступает после особенно бурных взрывов отчаяния. И вдруг, ни с того ни с сего, нога у меня прошла — спала опухоль, утихла боль, я чувствовал, что еще немного и я совсем излечусь от недуга, так долго меня терзавшего.

Как только я смог разгуливать по долине в обществе туземцев, неизменно сопровождавших меня гурьбой, куда бы я ни направлялся, в моем отношении к миру появилась неожиданная гибкость, благодаря которой я стал совершенно недоступен мрачному унынию, еще недавно целиком мною владевшему. Всюду, где я ни оказывался, меня встречали с самым почтительным радушием; с утра до ночи меня кормили восхитительными фруктами и плодами; темноглазые нимфы заботились о моем благе; да к тому же верный Кори-Кори просто не знал, как мне еще услужить. Кто бы, право, мог лучше устроиться

у каннибалов?

Правда, моим прогулкам были поставлены пределы. Дорога к морю для меня была отрезана недвусмысленным запретом, так что я после двух-трех неудачных попыток дойти до берега, предпринятых главным образом любопытства ради, принужден был отказаться от этой мысли. Не мог я надеяться и на то, чтобы пробраться туда тайно, незаметно, потому что тайпийцы сопровождали меня всюду и везде, и я не помню минуты, когда бы меня оставили в одиночестве. Да и зеленые отвесные кручи, обступившие верхний конец долины, где стоял дом Мархейо, исключали всякую возможность побега, даже если бы мне удалось ускользнуть из-под неусыпного ока моих стражей.

Но мысли об этом все реже посещали меня, я жил настоящим и гнал долой все неприятные думы. Теперь, любуясь пышной зеленью, среди которой я оказался погребен заживо, и созерцая, задрав голову, обступавшие меня величественные вершины, я представлял себе, что нахожусь в Долине Блаженных, а за горами нет ничего, одни заботы да суета.

День за днем я бродил по долине, и чем ближе знакомился с ее обитателями, тем больше

убеждался поневоле, что при всех ее недостатках жизнь полинезийца среди этих щедрых даров природы куда более приятна, хотя, разумеется, гораздо менее интеллектуальна, чем жизнь самодовольного европейца.

Нагого страдальца, у которого зуб на зуб не попадает от холода под мрачным кровом небес и от голода живот подвело на бесплодных камнях Огненной Земли, без сомнения, можно осчастливить дарами цивилизации, ведь они облегчили бы его тяжкую нужду. Но изнеженный житель далеких Индий, который ни в чем не испытывает недостатка, кого Провидение щедро одарило всеми чистыми природными радостями жизни и оградило от стольких бед и недугов, — чего ему ждать от Цивилизации? Она может «развить его ум», может «сообщить ему возвышенный образ мыслей» — так, кажется, принято выражаться, — но станет ли он счастливее? Пусть участь некогда многолюдных и цветущих Гавайских островов с их ныне больным, голодным, вымирающим населением будет ответом на этот вопрос. Как бы миссионеры ни крутились, чем бы ни отговаривались, но факт остается фактом; и самый набожный христианин, если он человек непредубежденный, посетив эти острова, горько

задумается, уезжая: «Увы! Неужели это плоды двадцатипятилетнего просвещения?»

В человеческом обществе на примитивной ступени блага жизни, правда немногочисленные и незамысловатые, распределяются на всех и притом достаются людям в самом чистом виде; а Цивилизация за всякое улучшение возмещает сторицей зла — беспокойством, завистью, соперничеством, семейными неурядицами и тысячами прочих неприятностей, которые все суть неизбежные порождения культурной жизни, складывающиеся в многоэтажное здание людского горя, какого совершенно не ведают дикие народы.

Правда, мне скажут, что зато они, эти заблудшие беспринципные души, — гнусные людоеды. Согласен; и это их очень дурная черта. Но она проявляется лишь тогда, когда их обуревает жажда мести врагам. И я спрашиваю, неужели простое поедание человеческого мяса настолько превосходит варварством обычай, еще недавно существовавший в просвещенной Англии, согласно которому у человека, признанного государственным преступником, то есть, быть может, виновного в честности, патриотизме и прочих «мерзких грехах», топором отрубали го-

лову, внутренности доставали и бросали в огонь, а тело, рассеченное на четыре части, насадив на острые шесты, вместе с головой выставляли гнить и разлагаться в местах наибольшего скопления народа?

Дьявольское искусство, с каким мы изобретаем все новые орудия убийства, беспощадность, с какой мы ведем свои нескончаемые войны, беды и разорение, которые они повсеместно несут за собою, — всего этого вполне довольно, чтобы белый цивилизованный человек предстал самым кровожадным на земле существом.

Проявления его жестокости можно видеть и в нашей благословенной стране. Есть, например, в одном из наших Соединенных Штатов новый закон, порожденный, как нам говорят, исключительно соображениями милосердия: убивать злоумышленников постепенно, по капле иссушая кровь в их жилах, которую у нас недостает смелости пролить одним ударом и тем положить конец их мучениям, почитается куда более целесообразным, нежели вешать по старинке на виселице — и осужденному приятнее, и больше отвечает просвещенному духу времени; а между тем человеческий язык бессилен передать ужасные мучения, каким мы подвергаем несчастных,

замуровывая их в камерах наших тюрем и обрекая на вечное одиночество в самом центре цивилизации!

Умножать эти примеры цивилизованного варварства нет нужды; оно причиняет несравненно больше зла, чем те преступления, за которые мы так праведно клеймим наших менее просвещенных братьев.

Я считаю, что название «дикарь» часто неправильно применяют, и, когда я думаю о пороках, жестокостях и всевозможных извращениях, которые пышным цветом расцветают в болезнетворной атмосфере нашей цивилизации, мне, право же, кажется, что если сравнивать обе стороны по их порочности, то человек пять жителей Маркизских островов, присланных в Соединенные Штаты в качестве миссионеров, оказались бы, во всяком случае, не менее полезны, чем такое же количество американцев в той же роли у них на островах. Я слышал как-то одного человека, который, рисуя безнравственность некоего тихоокеанского племени, сослался на то, что в их языке вообще отсутствует понятие «добродетель». Утверждение это было ни на чем не основано, но, будь оно даже правильным, на это можно бы возразить, что зато в их языке не

найдешь тех живописных словечек, которые у нас составляют бесконечный каталог цивилизованных пороков.

При теперешнем моем умонастроении все в долине Тайпи представало передо мною в новом свете, и, наблюдая дальше за нравами ее жителей, я лишь укреплялся в этом моем благоприятном впечатлении. Одна их черта особенно меня восхищала — неизменное веселие, царящее в долине. Заботы, печали, обиды и огорчения там словно вовсе не существовали. Часы и дни проносились радостной прытью подобно смеющимся парам в деревенской кадрили.

Ведь в долине Тайпи не имелось ни одного из тех ужасных изобретений, какими житель цивилизованного мира сам отравляет себе каждый день; ни просрочек по закладным, ни опротестованных векселей, ни счетов, предъявленных к оплате, ни долгов чести не было в долине Тайпи; не было там неумолимых портных и глупых сапожников, во что бы то ни стало требующих мзды; не было неотвязных заимодавцев и окружных прокуроров, покровительствующих сутягам и скандалистам и науськивающих их друг на друга; не было бедных родственников, постоянно занимающих свободную комнату в вашем доме и

создающих неприятную тесноту за вашим семейным столом; не было бедных вдов с детишками, пухнущими с голоду от щедрот равнодушного мира; не было нищих и долговых тюрем; не было в Тайпи и чванливых бесчувственных набобов; или попросту, если выразить это все одним словом, не было Денег, «этого корня всех зол».

В этом заповедном уголке счастья не было злобных старух, жестоких мачех, усохших старых дев, чахнущих в разлуке влюбленных, закоренелых холостяков и равнодушных мужей, меланхоличных юношей, сопливых мальчишек и орущих противных младенцев. Все было веселье, жизнерадостность и ликование. Сплин, ипохондрия и мировая скорбь бежали оттуда и попрятались в расселинах скал.

Можно было видеть, как ребятишки резвятся ватагой целый день напролет, не ведая ссор и соперничества. У нас в стране они и часа не поиграли бы вместе, не передравшись и не покорябав друг другу рожицы. Проходили молодые женщины — и их не снедала взаимная зависть, они не пыжились одна перед другой, корча из себя утонченных красавиц, и не вышагивали, затянутые в корсеты, прямые и скованные, как заводные куклы, а просто шли, свободные, непритворно

веселые, непринужденно грациозные.

Были определенные места в этой солнечной долине, где женщины обычно собирались, чтобы украсить себя гирляндами цветов. И когда они, лежа в тени роскошных рощ, среди рассыпанных вокруг только что сорванных цветов и бутонов, плели благоуханные венки и ожерелья, право же, казалось, что это веселая свита самой Флоры собралась на празднество в честь своей госпожи.

А у молодых людей всегда были какие-то занятия и развлечения, даривщие им постоянное разнообразие. Но удили ли они рыбу, выдалбливали челны или натирали до блеска свои украшения — между ними никогда не появлялось и намека на спор и соперничество.

Зрелые мужи-воины, сохраняя спокойную величавость осанки, ходили из дома в дом, и повсюду их встречали как самых дорогих гостей. А старики, которых в долине было очень много, редко когда подымались со своих циновок, они лежали часами, покуривая трубки в своей компании, и знай себе болтали со свойственной преклонному возрасту словоохотливостью.

Всеобщее довольство, царившее в долине Тайпи, проистекало, насколько я мог судить, из того ощущения бодрости и физического здоровья, ко-

торое испытывал когда-то и впоследствии описал Жан Жак Руссо. В этом отношении тайпийцам жаловаться не приходилось, ибо болезней они не знали. За все время, что я пробыл у них, я видел только одного больного человека и на их гладкой здоровой коже не встречал пятен и прочих следов перенесенных недугов.

Но однажды этот мир и покой, мною здесь воспеваемый, был нарушен событием, показавшим, что и жители тихоокеанских островов не ограждены от влияний, подрывающих общества более цивилизованные.

Я прожил к этому времени в долине Тайпи довольно долго и удивлялся, что отчаянная вражда, которая существует между тайпийцами и обитателями соседней долины Хаппар, не приводит к военным столкновениям. Правда, доблестные тайпийцы любили яростными жестами выражать свою ненависть к врагам и отвращение, которое у них вызывали каннибальские наклонности хаппарцев; правда, они часто распространялись о том, сколько обид и какой урон претерпели от своих злодеев, тем не менее с терпимостью, достойной подражания, они проглатывали оскорбления и не лезли за расплатой. А хаппарцы, укрывшиеся за своими

горами и ни разу носу оттуда не показавшие, думалось мне, вовсе и не заслуживали той лютой ненависти, какую выражали по отношению к ним героические обитатели здешней долины, и я считал, что приписываемые им зверства были сильно преувеличены.

С другой стороны, пока грохот военных действий еще ни разу не всколыхнул мирного сна долины Тайпи, я начал сомневаться и в том, насколько правдива молва о воинственности и свирепости племени тайпийцев. Ну ясное дело, думал я, все эти рассказы об их беспощадной вражде, смертельной ненависти и об адской злобе, с какой они якобы пожирают из мести безжизненные тела поверженных врагов, все это — обыкновенные басни; и должен признаться, я испытывал нечто похожее на разочарование, оттого что худшие мои опасения не оправдались. Так, должно быть, чувствует себя мальчишка-подмастерье в театре, где он ожидал увидеть зажигательную трагедию с преступлениями и убийствами, а ему, чуть не плачущему, вместо этого показывают салонную драму.

Естественно я считал, что судьба свела меня с людьми, жестоко оклеветанными, и передумал много назидательных мыслей о том, сколь зло-

вредна и могущественна дурная слава, способная дикарей, которые смирнее ягнят, представить ордой кровожадных убийц.

Но дальнейшие события показали, что такие выводы были слишком поспешны. Как-то в полдень я коротал время в доме *Тай*, лежа на циновках в обществе нескольких вождей, и сам не заметил, как погрузился в сладостную дремоту; вдруг всех всполошил страшный крик — туземцы похватали копья и бросились наружу, за ними, разобрав висевшие на стене шесть мушкетов, выбежали шестеро самых могучих вождей, и все скоро скрылись в ближней роще. Все эти действия сопровождались громкими восклицаниями, при этом слово «Хаппар» повторялось на все лады и чаще других. Мимо дома *Тай* пробегали все новые группы тайпийцев и устремлялись на тот край долины, где проходила граница с хаппарцами. Вскоре в холмах грянул мушкетный выстрел и сразу же — крик многих глоток. И немедленно все женщины, собравшиеся в роще, подняли страшный шум, как они это делают всегда и везде в минуту волнения и опасности, сами при этом успокаиваясь, но пугая других. В этом случае они так оглушительно и так долго галдели, что, даже если бы все шесть мушкетов палили в это время

залпами среди соседних холмов, я бы их все равно не услышал.

Когда эта женская канонада немного утихла, я снова прислушался к тому, что происходило на склонах. Вот снова бухнул мушкет и снова — вой множества голосов. Потом — тишина, которая тянулась так долго, что я уже начал подумывать, не сговорились ли воюющие стороны о перемирии. Но нет, снова — «бах!» — и снова крики. После этого в продолжение двух часов ничего существенного не происходило, если не считать того, что один раз донеслись какие-то негромкие возгласы, словно аукались мальчишки, сбившиеся с пути в лесу.

Все это время я стоял на лужайке перед домом *Тай*, выходящей прямо на Хаппарские горы, и со мной не было никого, кроме Кори-Кори да кучки тех престарелых дикарей, о которых была речь выше. Впрочем, они и не подумали приподняться со своих циновок, и вообще нельзя было сказать, знают они о том, что происходит, или нет.

Кори-Кори, тот, видно, считал, что свершаются великие события, и усердно старался внушить мне сознание значительности происходящего. Каждый звук, доносившийся к нам, служил для него новой важной вестью. Всякий раз при этом

он, словно ясновидец, принимался изображать передо мною в подробностях, как именно грозные тайпийцы сейчас карают дерзкого врага. «Мехеви ханна пиппи нуи Хаппар!» — то и дело восклицал он, сопровождая свои иллюстрации этим сжатым объяснением, чтобы я лучше понял, сколь дивные чудеса доблести вершит его племя под водительством своего военачальника.

За все время я слышал только четыре мушкетных выстрела — очевидно, островитяне управлялись огнестрельным оружием так же, как пушкари султана Сулеймана при осаде Византии его могучей артиллерией, затрачивая час, а то и два, на то, чтобы зарядить и прицелиться. Наконец, давно уже ничего не слыша, я решил, что военный конфликт так или иначе разрешен. Действительно, я оказался прав, ибо в скором времени к дому *Тай* прибыл гонец, который едва переводил дух после бега, но все же сообщил весть о великой победе: «Хаппар пуу арва! Хаппар пуу арва!» (Трусливый враг бежал!) Кори-Кори был вне себя от восторга и разразился длинной речью, смысл которой, насколько я понял, сводился к тому, что исход войны полностью совпал с его, Кори-Кори, предсказаниями и что, пойди на тайпийцев хоть несметное полчище чародеев

и волшебников, все равно ему бы никогда не одолеть героев нашей долины. Со всем этим я, разумеется, согласился и стал поджидать возвращения победителей, которые, я опасался, купили свой триумф немалой для себя ценой.

Однако и здесь я ошибся, ибо Мехеви в военном деле оказался скорее приверженцем фабиевой, нежели бонапартовской тактики, заботливо оберегая свои резервы и не подвергая армию ненужным опасностям. Общие потери победителей в этой упорной битве — убитыми, ранеными и пропавшими без вести — исчислялись в один указательный палец и полногтя с большого пальца (каковые бывший владелец принес на ладони), в один разбитый локоть и в одну сильно кровоточащую рану на бедре, полученную от хаппарского копья одним вождем. Насколько пострадал противник, я узнать не мог, — во всяком случае, он, видимо, сумел унести с собой тела своих погибших.

Таков был исход сражения, насколько я мог судить; а так как это у них почиталось событием чрезвычайной важности, можно думать, что войны аборигенов не сопровождаются особым кровопролитием. Впоследствии я узнал, как это столкновение произошло. Группа хаппарцев,

шнырявших с недобрыми намерениями в зарослях, была обнаружена по эту сторону горы; подняли тревогу, и вторгнувшийся неприятель, после продолжительного сопротивления, был вытеснен обратно за рубеж. Но почему же бесстрашный Мехеви не перенес военные действия на вражескую территорию и не спустился в долину Хаппар? Почему не возвратился он оттуда, нагруженный боевыми трофеями, какими, я слышал, завершаются у них все стычки? Я пришел к мысли, что, вероятнее всего, такие случаи если и бывают на острове, то крайне редко.

Дня три в долине только и было разговоров, что о недавнем событии; но постепенно все успокоились, и кругом, как прежде, воцарились мир и тишина.

XVIII

Вернувшееся здоровье и душевное равновесие придали новый интерес всему, что меня окружало. Теперь мне хотелось наполнить дни всеми возможными удовольствиями и развлечениями. Главным из них было купание в большом обществе молодых девушек. Для этого мы обычно отправлялись к озерку, которым разливалась посреди долины сбегавшая к морю речка. Оно было почти правильной круглой формы и насчитывало в поперечнике не более трехсот ярдов. Красота его в словах непередаваема. Окрест по берегам колыхались зеленые тропические заросли, а над ними там и сям высились, как пики, кокосовые пальмы, увенчанные гибкими, поникшими листьями, словно длинными страусовыми перьями.

Так легко и быстро передвигались местные жительницы в воде, так просто себя чувствовали в этой стихии, что я диву давался. То можно было видеть, как они скользят у самой поверхности, не двинув даже пальцами, то вдруг, перевернувшись на бок, устремлялись вперед, и в воде лишь мелькали их блестящие тела, на одно мгновение

вырываясь чуть не во весь рост в воздух, и тут же ныряя в темную глубину, и снова всплывая на поверхность.

Помню, как однажды я плюхнулся в воду, прямо в середину стайки этих речных нимф, и, ошибочно понадеявшись на свою физическую силу, вздумал было затянуть одну из них под воду. Мне сразу же пришлось раскаяться в такой самонадеянности. Юные нимфы окружили меня, словно резвые дельфины, уцепились за руки и за ноги и стали топить и болтать в воде, пока в ушах у меня не поднялся такой звон и перед глазами не поплыли такие небывалые видения, что я вообразил себя уже в стране духов. Я мог противостоять им не больше, чем громоздкий кит — нападающим на него со всех сторон бесчисленным меч-рыбам. Наконец они меня отпустили и расплылись в разные стороны, смеясь над моими жалкими попытками их догнать.

Лодок на озере не было, но по моей настоятельной просьбе один из молодых домочадцев Мархейо, под руководством все того же неутомимого Кори-Кори, специально для меня принес с моря легкий, украшенный резьбой челнок. Спущенный на озеро, он, словно лебедь, плавно заскользил по глади вод. Но увы! Его появле-

ние повлекло за собой последствия, для меня совершенно неожиданные: прелестные нимфы, резвившиеся прежде в озерке вместе со мной, теперь бежали прочь от его берегов. Лежавший на суденышке запрет *табу* распространился и на принявшее его водное лоно.

В следующие дни со мной ходили на озеро Кори-Кори с приятелями — я плавал в челне, а они плескались позади в воде и с веселыми возгласами гонялись за мной. Но я всегда питал пристрастие к тому, что в «*Настольной Книге благовоспитанного юноши*» именуется «обществом добродетельных и рассудительных юных леди»; и без моих сирен прогулки по озеру потеряли для меня всякую прелесть. Однажды утром я выразил моему телохранителю страстное желание снова увидеть на озере милых дам. Честный малый поглядел на меня с ужасом, потом покачал головой и многозначительно произнес: «*Табу! Табу!*» — тем самым давая мне понять, что нечего и думать о возвращении девушек, пока челнок остается на озере. Но расставаться с челноком я был не склонен, мало того, я не только сам собирался в нем плавать по озерку, но хотел еще покатать прекрасную Файавэй. Это последнее намерение до глубины души возмутило Кори-Кори, оно

оскорбило его чувство приличия. Оно не только шло вразрез с местными понятиями благопристойности, но было противно даже религиозным установлениям.

Однако, хотя с *табу*, я понимал, шутки плохи, я вознамерился все же испытать, так ли уж оно непреодолимо. Я обратился к Мехеви. Он пробовал отговорить меня, но я уперся и только удвоил пыл своих просьб. Тогда, видя, что от меня так не отделаешься, почтенный вождь разразился пространной и, без сомнения, весьма ученой речью на тему о происхождении и природе табу в применении к данному случаю, в изобилии уснащая ее всякими удивительными словами, которые, как я мог судить по их необычайной длине и звучности, принадлежали к сфере теологической терминологии. Но все его красноречие меня не убедило, отчасти, я думаю, из-за того, что я не понял ни единого слова, но главным образом из-за того, что я, убейте меня, не мог понять, почему мужчине можно садиться в лодку, а женщине — нет. Под конец Мехеви все-таки внял голосу рассудка и пообещал из любви ко мне поговорить с жрецами и вообще выяснить, нельзя ли что-нибудь сделать.

Каким образом сумели жрецы Тайпи согла-

совать это со своей религиозной совестью, я не знаю, но разрешение было получено; для Файавэй *табу* на этот случай было снято. Боюсь, что ничего подобного раньше в долине не бывало, но пора было преподать островитянам небольшой урок галантности; и я надеюсь, что мой пример еще окажет свое благотворное воздействие. Ну не глупо ли, право, чтобы эти нежные создания, словно утки, бултыхались в воде, пока здоровые мужчины, сидя в лодках, скользят по ее поверхности?

В первый же день снятия запрета мы устроили на озере катание в самом приятном обществе: Файавэй, Кори-Кори и я. Мой усердный телохранитель принес с собой из дому тыквенную миску *пои-пои*, полдюжины молодых кокосов, три трубки, три клубня ямса, да еще часть пути нес меня на спине. Груз не из маленьких; но Кори-Кори для своего роста был очень крепок, а отнюдь не слабоват в поджилках. День мы провели чудесно. Мой верный слуга работал веслом, и челнок медленно скользил вдоль берега в тени нависших ветвей. А мы с Файавэй, откинувшись, восседали на корме — рядком, как самые лучшие друзья. Время от времени прелестная нимфа подносила к губам трубку, выдыхала пахучий табачный дым,

сдобренный сладостным ароматом ее дыхания. Как это ни странно прозвучит, но ничто так не красит молодую женщину, как курение. Разве не очаровательна перуанская красавица, когда она качается в пестром соломенном гамаке, натянутом между двумя апельсиновыми деревьями, и попыхивает первосортной сигарой? Но Файавэй, держащая в своей изящной коричневой ручке длинную, желтую тростниковую трубку с резной чашечкой, то и дело томно выпускающая изо рта и ноздрей легкие витые дымки, была еще неотразимее.

Так мы провели на воде несколько часов. Я глядел, закинув голову, в ясное тропическое небо, засматривал, перегнувшись за корму, в прозрачные глубины вод, и, когда мой взгляд, оторвавшись от восхитительных берегов, падал на замысловато татуированную грудь Кори-Кори и в довершение всего встречался со спокойным, задумчивым взором Файавэй, мне начинало казаться, что я перенесся в сказочное королевство фей — так все это было удивительно и необыкновенно.

Это живописное озерко было самым прохладным местом в долине, и я стал каждый день проводить на нем жаркие часы. С одной его сто-

роны прямо к берегу выходило большое широкое ущелье, тянувшееся далеко и высоко в горы. Сильный пассат, дующий с моря, натыкался иногда на преграду гор, поворачивал, завихряясь, разгонялся вниз по ущелью и, обрушиваясь в долину, рябил обычно невозмутимое зеркало вод.

Однажды, когда мы уже довольно долго катались по озеру, я высадил Кори-Кори на берег, сам взял весло и повернул по ветру к дальнему краю озера. Как только я начал грести, Файавэй, как видно, пришла в голову веселая затея. Издав восторженное восклицание, она развязала на плече свое широкое покрывало из тапы (в которое куталась от солнца) и встала во весь рост на носу челнока, растянув покрывало, словно парус, на высоко поднятых руках. Мы, американские моряки, любим похваляться ровным, ладным рангоутом наших кораблей, но никогда еще ни на одном судне не красовалось мачты стройнее, чем моя маленькая Файавэй.

Ветер сразу же раздул покрывало — длинные пряди волос Файавэй тоже заплескались в воздухе, — и челнок стрелой понесся к берегу. Сидя на корме, я веслом направлял его путь, покуда он не врезался в мягкий береговой откос, и Файавэй легким прыжком перенеслась на траву. Кори-Кори,

с берега наблюдавший за нашим маневром, восторженно хлопал в ладоши и орал как безумный. Впоследствии мы не раз повторяли этот номер.

Если читатель до сих пор не понял, что я был без ума от мисс Файавэй, это значит, что он просто ничего не понимает в сердечных делах и просвещать его на этот счет бесполезно. Из ситца, который я захватил с корабля, я соорудил для моей красавицы платье, в котором она, признаюсь, выглядела как опереточная танцовщица. Но только костюм последней оставляет открытыми локти, а одеяние прекрасной островитянки, начинаясь у пояса и кончаясь достаточно высоко от земли, оставляло открытыми две восхитительнейшие в мире лодыжки.

День, когда Файавэй впервые надела этот туалет, запал мне в память потому, что тогда же состоялось мое знакомство с неким новым лицом. Дело было под вечер, я лежал в доме, как вдруг услышал за стеной какой-то шум. Привыкший к переполохам, по любому поводу возникающим в долине, я не обращал на него никакого внимания, пока в дом, вне себя от волнения, не ворвался старый Мархейо и сообщил мне потрясающую новость: «Марну пеми!», что в переводе означает: «Сюда идет некто по имени Марну». Мой преста-

релый друг, очевидно, ожидал, что это известие произведет на меня большое впечатление, и некоторое время молча смотрел на меня, словно хотел увидеть, что со мной будет, но я и бровью не повел, и тогда почтенный старец бросился со всех ног вон из дому, такой же взбудораженный, как и раньше.

— Марну, Марну... — думал я. — Нет, я что-то не помню такого имени. Должно быть, какая-нибудь важная персона — вон ведь что делается с туземцами.

А оглушительный шум все приближался, крики «Марну!» становились все громче — это имя было у всех на устах.

Я решил, что явился какой-то воин высокого ранга, не имевший до сих пор чести быть принятым мною, и жаждал засвидетельствовать мне почтение. Я сделался так самоуверен, избалованный всеобщим вниманием и уважением, что намеревался уже было за такую небрежность наказать этого Марну и встретить его холодно, — но между тем галдящая толпа приблизилась, и в центре ее оказался самый удивительный представитель рода человеческого, какого я когда-либо видел.

Возраст незнакомца был не больше двадцати

пяти лет, и рост его едва превышал средний; будь он хоть на волосок выше, бесподобная симметрия его тела оказалась бы нарушена. Обнаженные руки и ноги имели форму совершеннейшую, а изящные линии фигуры и гладкие безбородые щеки, я думаю, делали из него достойный образец для статуи полинезийского Аполлона — овалом лица и правильностью черт он и в самом деле напоминал античный бюст. Но мраморной недвижности искусства здесь была придана теплота и живость выражения, какие можно встретить лишь у обитателя Южных морей среди благодатнейшего царства природы. Волосы Марну вились густыми каштановыми локонами, которые начинали плясать на висках и на затылке, когда он оживленно разговаривал. Щеки его были нежны, как у женщины, и все лицо совершенно не тронуто татуировкой, хотя, кроме лица, кожу повсюду испещрили разные замысловатые фигуры, которые — в отличие от несвязных эскизов, украшающих тела его соплеменников, — составляли как будто бы некий законченный узор.

В особенности заинтересовала меня татуировка у него на спине. Автором этих рисунков был, я думаю, большой художник. Вверх по позвоночнику

тянулся узкий, конусообразный, заштрихованный в косую клеточку ствол дерева арту. С обеих сторон от него отходили елочкой поникшие ветви, выполненные в изысканной, тщательной манере, с листьями и прочими подробностями. Право же, это было лучшее произведение изобразительного искусства, виденное мною в долине Тайпи. Вид незнакомца сзади наводил на мысль о лозе дикого винограда, ветвящейся по стене. А грудь его, руки и ноги были покрыты несчетным множеством каких-то изображений, подчиняющихся, впрочем, при всем разнообразии, определенному общему замыслу. Цвет татуировки был ярко-синий, что на коричневом фоне смуглой кожи выглядело весьма эффектно. Пояс из белой тапы, едва ли в два дюйма шириной, но с пышными кистями спереди и сзади, составлял весь костюм незнакомца.

Он шел в окружении жителей долины, неся под мышкой скатанный в трубочку кусок местной ткани, и сжимал в другой руке длинное и богато изукрашенное копье. У него был вид путешественника, предвкушающего близкий и приятный отдых. На ходу он то и дело отпускал какие-то шутливые замечания, и обступавшая его толпа покатывалась со смеху.

Пораженный непринужденностью его манер и необыкновенной наружностью, столь отличающей его от бритоголовых, по уши татуированных аборигенов, я сам не знаю почему вскочил, когда он вошел в дом, и пригласил его расположиться со мной на циновках. Но, ничем не обнаружив, что замечает мою учтивость и даже самое мое присутствие, — и впрямь не бесспорное — незнакомец прошел мимо меня и улегся на циновках в дальнем конце своеобразного дивана, пересекавшего от стены до стены все жилище Мархейо.

Если бы первую красавицу и царицу бала при всем честном народе обхамил какой-то надменный фат, ее негодование не могло бы сравниться с моим при этом неожиданном афронте.

Я был потрясен. Обращение со мною тайпийцев приучило меня ожидать от всякого, кто бы ни появился в долине, таких же щедрых изъявлений почтительности и любопытства. Но поразительное его равнодушие лишь возбудило во мне желание выяснить, кто же таков незнакомец, совершенно завладевший всеобщим вниманием.

Тайнор поставила перед ним тыквенную миску с *пои-пои*, и он с аппетитом ел, то и дело прерывая еду, чтобы отпустить какое-нибудь острое замечаньице, которое живо подхватывали его

слушатели, толпой набившиеся в дом. Видя, что туземцы совершенно поглощены этим новым человеком, а обо мне и думать забыли, я почувствовал себя уязвленным. Померкла слава Томмо, думал я, теперь он может убираться отсюда на все четыре стороны, и чем скорее, тем лучше. Так говорил я себе под действием обиды, питаемой славным правилом всех героических натур: пусть мне дадут самый большой кусок, или мне вовсе не надо вашего пирога.

Между тем этот новый завоеватель сердец Марну, утолив голод и сделав несколько затяжек из поданной ему трубки, начал длинную речь, и все слушали его как завороженные.

Как ни скудны были мои познания в их языке, по его страстной жестикуляции и по быстрой смене выражений его лица — словно в множестве зеркал, повторенных на лицах слушателей, — я без труда мог понять, о чем он говорил и к чему призывал. Судя по часто встречавшимся именам «Нукухива», «франи» (французы) и еще кое-каким мне знакомым словам, то было изложение последних событий в окрестных бухтах. Но каким образом он получил эти сведения, я понять не мог, разве что он сам только что оттуда — мысль, находившая подтверждение в его усталом, про-

пыленном виде. Но если он родом из Нукухивы, оставался необъяснимым дружеский прием, оказанный ему тайпийцами.

Мне не случалось видеть человека в большей мере, чем Марну, обладающего врожденным даром красноречия. Гибкое изящество поз, которые он принимал, выразительные жесты его обнаженных рук и прежде всего огонь, излучаемый его горящими очами, сообщали разнообразным интонациям его речи такую убедительность, какой позавидовал бы самый искусный оратор. То, вытянув ноги и облокотясь, он обстоятельно повествовал о захватнических набегах французов, спокойно перечисляя все пострадавшие долины: Хаппар, Пуиарка, Нукухива, Тиор, — то, вдруг вскочив и подавшись вперед, с лицом, искаженным яростью, и сжатыми кулаками, разражался градом проклятий. То, властно запрокинув голову, призывал тайпийцев противостоять вторжению, с торжеством напоминая им, что до сих пор ужасная их слава ограждала их от вражеских посягательств, то с презрительной насмешкой восхвалял небывалое бесстрашие французов, которые со своими пятью военными кораблями и сотнями вооруженных людей побоялись выступить против горстки голых воинов их долины.

Впечатление, производимое им на слушателей, было магнетическое: все, как один, они взирали на него сверкающими глазами и трепетали с головы до пят, словно слушали вещий голос пророка.

Но вскоре выяснилось, что таланты Марну столь же многообразны, сколь и велики. Покончив со своим спичем, он снова откинулся на циновках и, выкликая имена, стал по очереди обращаться к присутствующим с отдельными замечаниями, очевидно шутливыми, остроумия которых я понять не мог, но все прочие вполне оценили.

Он находил словечко для каждого; поворачиваясь от одного к другому, он бросал шутку за шуткой, и всякий раз ему отвечал дружный хохот. Обращался он не только к мужчинам, но и к женщинам. Что он им говорил, бог весть, но только слова его вызывали улыбки и румянец на их бесхитростных лицах. Я лично думаю, что этот красавец Марну, с его обворожительной наружностью и любезной повадкой, был завзятый погубитель простых девичьих сердец.

Все это время он ни разу даже не взглянул в мою сторону. Он словно бы и не подозревал о моем существовании. Я недоумевал. Было очевидно, что

он пользуется всеобщим большим уважением, что он обладает незаурядными талантами, что он гораздо осведомленнее обитателей долины Тайпи. Ввиду всего этого я опасался, как бы он, проникнувшись ко мне за что-то недобрыми чувствами, не употребил свое влияние мне во зло.

Он, безусловно, не был жителем долины Тайпи — но, в таком случае, откуда он? Со всех сторон тайпийцев окружали враждебные племена, и если он принадлежит к одному из них, как же может быть, что его встречают здесь с таким радушием?

Наружность загадочного незнакомца рождала еще того больше недоумений. У всех, кого я встречал на острове до сих пор, лицо было обезображено татуировкой и маковка головы выбрита наголо; мне всегда говорили, что это — неотъемлемые отличительные знаки маркизского воина. Нет, положительно, я ничего не мог понять и с нетерпением ждал разгадки.

Наконец по кое-каким признакам я понял, что речь у них пошла обо мне, хотя Марну намеренно не произносил моего имени и нарочно не глядел в мою сторону. Неожиданно он встал, не переставая разговаривать, подошел туда, где находился я, и, избегая моего взгляда, уселся почти рядом

со мною. И не успел я опомниться, как он вдруг повернулся ко мне с самым доброжелательным выражением на лице и любезно протянул мне правую руку. Естественно, я принял его столь любезно предложенную руку, и, лишь только ладони наши соприкоснулись, он наклонился ко мне и напевно произнес по-английски: «Как поживаете? Давно ли в этой долине? Нравится вам здесь?»

Пронзи меня внезапно три хаппарских копья, я и тогда бы, верно, вздрогнул не сильнее, чем услышав эти три простых вопроса! Я не сразу пришел в себя от изумления, а затем кое-как ответил ему; но тут же я сообразил, что у него я, должно быть, смогу получить сведения о Тоби, которые, как я подозревал, утаивают от меня туземцы. И я поспешил задать ему вопрос о моем исчезнувшем товарище. Но он, по его словам, ничего об этом не знал. Тогда я спросил, откуда он пришел. Он ответил, что из Нукухивы. Я очень удивился. Довольный произведенным впечатлением, он искоса с торжеством поглядел на меня, а потом пояснил, воскликнув со свойственной ему живостью: «О, я — *табу*! Иду в Нукухиву, иду в Тиор, иду в Тайпи; всюду иду. Меня никто не тронь, я — *табу*!»

Объяснение это ничего бы мне не сказало, если бы я уже раньше не слышал об одном своеобразном здешнем обычае. Хотя остров населяют враждующие племена, между которыми из-за постоянных войн не существует никаких сношений, однако бывают случаи, когда человек, заключив дружественный союз с кем-либо из племени, враждебного его собственному, получает право, хотя и с некоторыми оговорками, спокойно появляться на земле соседей, где при других обстоятельствах он был бы встречен как враг и, быть может, уничтожен. Так уважаются среди аборигенов личные дружеские связи, и человек, находящийся под покровительством этого обычая, считается *табу*, особа его в некотором смысле священна. Это и подразумевал незнакомец, когда объяснял мне, что имеет доступ во все долины на острове.

Мне интересно было, откуда он знает английский язык. Но он почему-то сначала оставил мой вопрос без ответа и только впоследствии рассказал, что подростком его увез с собой капитан одного торгового судна, с которым он прожил три года, частью в море, частью в Сиднее, пока однажды, когда они снова зашли на Маркизские острова, капитан не позволил ему, по его просьбе,

остаться жить среди соотечественников. Природный ум молодого дикаря чудесно развился от общения с белыми людьми, а частичное знание чужого языка дало ему огромное преимущество над его менее образованными братьями.

Марну говорил теперь со мной вполне приветливо, и я осмелился спросить его, почему он сначала не обращал на меня внимания. Вместо ответа он поинтересовался, что я о нем тогда подумал. Я объяснил, что принял его за могущественного вождя, который повидал немало белых людей и не снисходил до общения с каким-то бедным матросом. Услышав, какой важной птицей он мне показался, Марну был доволен, он объяснил мне, что держался так нарочно, чтобы сильнее удивить меня, когда он ко мне обратится.

Теперь он пожелал выслушать меня, каким образом я очутился среди жителей долины Тайпи. Мой рассказ о том, как мы с Тоби сюда попали, вызвал у него живейший интерес, но лишь только я упомянул о загадочном исчезновении моего товарища, как он поспешил заговорить о другом — эту тему он явно предпочитал не затрагивать. Судьба Тоби внушала мне все больше опасений. Хотя Марну сказался ничего не знающим, я не мог

избавиться от чувства, что он обманывает меня; а от этого в душе моей снова ожили недавние страхи и за мою собственную судьбу.

Обуреваемый такими чувствами, я решил, что воспользуюсь покровительством незнакомца и вернусь с ним в Нукухиву. Но стоило мне только заикнуться об этом, как он поспешил отвергнуть мой план, по его мнению, совершенно невыполнимый, — ведь тайпийцы, заверил он меня, ни за что не захотят со мной расстаться. И хотя это лишь подтверждало мои собственные впечатления, я тем настоятельнее желал вырваться из плена, вполне терпимого, да что там! — даже восхитительного в некоторых отношениях, однако могущего закончиться для меня весьма печально.

Я не мог закрыть глаза на то, что и с Тоби обращались здесь так же ласково, как со мной, и однако завершилось это все его необъяснимым исчезновением. Разве и меня не мог ожидать такой же ужасный конец, о котором страшно подумать? Поэтому я стал просить Марну еще настойчивее, но он еще убежденнее повторил, что мой уход отсюда невозможен, что тайпийцы никогда не согласятся меня отпустить.

А когда я попытался от него узнать причины,

побуждающие их держать меня в плену, он снова заговорил тем загадочно уклончивым тоном, который сводил меня с ума, внушая ужасные опасения, всякий раз как речь заходила о моем пропавшем друге.

Натолкнувшись на его противодействие, от которого страхи мои еще более возросли, я уже не мог так просто отступиться — я стал заклинать его, чтобы он замолвил за меня слово перед туземцами и уговорил их меня отпустить. Это ему было совсем не по душе, но в конце концов, уступив моим настояниям, он все же обратился кое к кому из старейшин в толпе, тесно нас обступившей и не сводившей с нас глаз во все время этого разговора. Но его просьба была встречена крайним неодобрением, выразившимся в возмущенных взглядах и жестах и в целых потоках яростных восклицаний, обращенных и к нему, и ко мне. Явно раскаиваясь, что поддался моим уговорам, Марну сдержанно обратился к шумящей толпе и вскоре немного утихомирил своих негодовавших собеседников.

Я следил за их разговором затаив дыхание, и сердце мое больно сжалось от этого нового доказательства неколебимости моих пленителей. А Марну не без тревоги объяснил мне, что хотя его и

допускали в долину как человека, находящегося в дружеских отношениях с ее обитателями, однако он не вправе вмешиваться в их внутренние дела, иначе прекратится действие *табу*, надежно защищавшего его теперь от враждебных чувств, которые тайпийцы питали к его племени.

В этот момент Мехеви, находившийся тут же, гневно прервал его; и слова его, произнесенные начальственным тоном, очевидно, содержали приказ ему немедленно прекратить всякие переговоры со мной и перейти в другой конец дома. Марну сразу же вскочил, торопливо бросил мне, что я не должен больше к нему обращаться, а также, если мне дорога жизнь, заводить речь об уходе из долины Тайпи, и, подчиняясь вторично прозвучавшему грозному приказу вождя, отошел в дальний конец дома.

Я со страхом увидел на лицах тайпийцев то же зловещее выражение, которое некогда так напугало меня в доме *Тай*. Они переводили подозрительные взгляды с Марну на меня, словно не верили безобидности состоявшегося между нами разговора, который происходил на непонятном для них языке, и были убеждены, что мы с ним уже условились, как обмануть их бдительность.

Подвижные лица островитян вообще очень яс-

но выражают тонкую игру чувств, и несовершенство их изустного языка с лихвой покрывается нервным красноречием их гримас и жестов. Я без труда мог прочитать по их лицам всю гамму страстей, разбуженных жестокими подозрениями.

Без лишних уговоров я понял, что к предупреждению Марну следует отнестись с полной серьезностью, и поспешил, как ни трудно мне было овладеть собой, в самом дружелюбном тоне заговорить с Мехеви, чтобы тем самым развеять гнев и подозрения. Но рассерженного вождя оказалось не так-то легко умиротворить. Он с каменным лицом встретил мои заискивания и всем своим видом показывал, что очень мною недоволен и сердит.

Марну в том конце дома, видимо, желая ради меня развлечь насупившихся тайпийцев, снова затеял было с ними веселый разговор, но явно не имел прежнего успеха; и тогда, осознав свою творческую неудачу, он собрался уходить. Его не задерживали и сожалений не выражали — он взял свою скатанную тапу, зажал в руке копье, подошел к краю *пай-пай* и, махнув на прощание рукой безмолвствующей толпе, а в мою сторону бросив мимолетный взгляд сожаления и упрека, зашагал по тропе от дома. Я смотрел ему вслед,

пока он не затерялся в тени рощ, и тогда погрузился в самые мрачные мысли.

XIX

То, что я узнал о намерениях дикарей относительно моей особы, очень тягостно на меня подействовало.

Марну, человек, обладающий редкими талантами и осведомленный обо всем, что происходило в разных частях острова, пользовался у тайпийцев немалым уважением. Его встретили в долине очень радостно и почтительно. Туземцы глядели ему в рот, приходили в восторг, когда он обращался к ним поименно. И, несмотря на все это, стоило ему только обмолвиться двумя словами относительно того, чтобы меня отпустили, и не только от всего этого согласия и доброжелательства не осталось и следа, но даже, если верить тому, что он говорил, сама его жизнь оказалась едва ли не под угрозой.

Как, стало быть, тверды намерения тайпийцев насчет меня! И как внезапны проявления их тайных, необъяснимых страстей! Одного лишь признания, что я хотел бы получить свободу, оказалось довольно, чтобы Мехеви, влиятельнейший из старейшин, многократно доказавший мне свою дружбу, решительно, пусть даже и вре-

менно, от меня отвернулся. Остальные туземцы тоже вознегодовали, и даже Кори-Кори, кажется, разделял всеобщее возмущение.

Напрасно ломал я голову, пытаясь найти причины странного желания этих людей во что бы то ни стало держать меня при себе; оно оставалось необъяснимым.

Но во всяком случае, происшествие с Марну говорило о том, как зловеще опасны изменчивые и горячие страсти островитян и как бесполезно, а может быть, даже гибельно против них бороться. Единственная моя надежда состояла в том, чтобы тайпийцы поверили, будто я примирился с пленом; я должен был прикинуться спокойным и довольным, чтобы улеглись подозрения, которые я у них возбудил. А когда я снова завоюю их доверие и бдительность их несколько ослабнет, тогда я, быть может, сумею воспользоваться возможностью к побегу, если таковая представится. И я решился пока что довольствоваться тем, что есть, и, будь что будет, мужественно нести свою теперешнюю ношу. Это мне удалось как нельзя более. Ко времени появления Марну я пробыл в долине, по моим приблизительным подсчетам, месяца два. Загадочный недуг еще не вполне оставил меня, давая иногда себя знать, но боли

меня уже не мучили, я мог ходить и упражнять наболевшую ногу. Словом, можно было надеяться на скорое выздоровление. Успокоившись на этот счет и решившись бесстрашно смотреть будущему в глаза, я снова обратился к простым радостям, которые дарила жизнь в долине, — мне хотелось утопить всю память, все сожаления о былом в бурных удовольствиях на лоне роскошной природы.

Блуждая по долине и все ближе знакомясь с нравами ее обитателей, я не переставал удивляться царившей повсюду веселости. Простые умы этих дикарей, не отягощенные серьезными заботами, умели извлекать пищу для восторгов из самых простых обстоятельств, которые людьми более просвещенными наверняка оставлены были бы без внимания. Все их радости проистекали из мелких происшествий минуты; но эти незначительные причины порождали вместе куда больше счастья, чем может испытать человек цивилизованный, у которого источники удовольствия более возвышенные, но зато и более редкие.

Можно ли представить себе серьезных граждан, наслаждающихся стрельбой из пугачей? Одна только мысль об этом вызвала бы в серьезном об-

ществе негодование. А между тем все население долины Тайпи целых десять дней занималось этой детской забавой, буквально визжа при этом от восторга.

Однажды я играл с веселым маленьким тайпийцем лет шести от роду. Он гонялся за мною с длинным бамбуковым шестом и, настигнув, нещадно меня им побивал. Я изловчился, выдернул у него бамбук, и тут-то меня и осенило: ведь из этой трубчатой палки можно соорудить мальцу игрушечный мушкет, какими забавляются дети во всем мире. Я взял нож, сделал в бамбуке два длинных параллельных желобка, гибкую перемычку между ними с одного конца перерезал, отогнул и зацепил за специально сделанную зарубку. Теперь стоило только отпустить эту полоску бамбука, и любой небольшой предмет, помещенный перед нею, с силой летел по трубке.

Будь у меня хоть отдаленное представление о том, каким успехом будет пользоваться в долине этот вид артиллерии, я бы, безусловно, взял патент на свое изобретение. Мальчишка, вне себя от восторга, умчался прочь, и через каких-нибудь двадцать минут меня уже обступила разгоряченная толпа — седобородые старцы, почтенные

отцы семейств, доблестные воины, дамы, юноши, девицы, дети теснили меня со всех сторон, и каждый держал в руке бамбуковую палку, и каждый хотел, чтобы ему сделали игрушку первому.

Часа три или четыре я, не разгибая спины, мастерил им ружья, но потом передал все предприятие вместе с секретом производства одному сообразительному пареньку, быстро перенявшему мое искусство.

«Пах! пах! пах!» — звучало теперь по всей долине. Дуэли, перестрелки, сражения и более сложные военные операции происходили повсюду. То, идя по тропе через чащу, вы натыкались на хитро расположенную засаду, и вас в упор расстреливали меткие мушкетеры, чьи татуированные тела сливались с узорной листвою. То вас вдруг обстреливал воинственный гарнизон какого-нибудь дома, наводя дула своих бамбуковых винтовок прямо через сквозные стены. Еще дальше вы попадали под обстрел снайперской команды, расположившейся за выступом *пай-пай*.

«Пах! пах! пах!» Зеленые гуавы, семечки, ягоды летели отовсюду, и в эти опасные дни я уже начинал бояться, как бы мне, подобно легендарному создателю медного быка, не пасть жертвой собственного изобретения. Но постепенно, как и

все в этом мире, увлечение прошло, хотя еще в любое время дня можно было слышать там и сям гулкие выстрелы пугачей.

Уже на исходе «пугачной войны» у меня было одно необыкновенное происшествие со старым Мархейо, весьма меня позабавившее.

Когда я покинул корабль, на мне были брезентовые матросские сандалии, но от лазанья по скалам и съезжания по каменным осыпям они пришли в такое плачевное состояние, что совершенно ни на что уже не годились — так, во всяком случае, сочло бы большинство людей, и так оно и было в действительности, если рассматривать их как обувь. Но то, что негодно в одном качестве, может быть с пользой применено в другом, если, конечно, у вас есть дар изобретательности. У старика Мархейо этот дар имелся, и притом в избытке, о чем свидетельствует остроумие, с каким он приспособил к делу эту безнадежно драную пару обуви.

Любой предмет, даже самый пустячный, принадлежащий моей особе, почитался у туземцев едва ли не священным — я, например, заметил, что после моего водворения в доме Мархейо мои старые сандалии несколько дней простояли, никем не тронутые, там, где я их скинул. Однако

потом их почему-то там уже не оказалось — впрочем, меня это нимало не обеспокоило, я решил, что деятельная Тайнор наткнулась на них во время уборки и, как поступила бы на ее месте любая чистоплотная хозяйка, вышвырнула за негодностью вон. Но вскоре выяснилось, что я ошибся.

Однажды я заметил, что старый Мархейо что-то уж очень вокруг меня увивается и хлопочет, усердием чуть ли не превосходя моего верного слугу Кори-Кори. Он даже вызвался отнести меня на закорках к речке, а когда я решительно отказался, ничуть не обескураженный, продолжал рыскать и суетиться вокруг, словно старый верный пес. Поначалу я никак не мог понять, что это происходит с почтенным старцем. Но вот, воспользовавшись минутой, когда никого из домашних поблизости не было, он разразился целой недвусмысленной пантомимой, то указывая мне на ноги, то вздевая руки к стропилу, с которого свисал маленький сверток. Я начал догадываться, к чему он клонит, и знаком велел ему спустить сверток. Он повиновался с быстротою молнии, и, когда он развернул кусок тапы, в нем, к немалому моему удивлению, оказались те самые сандалии, которые я давно почитал уничтоженными.

Желание его было мне ясно, и я благородно

передал в его собственность эту рваную и к тому же проплесневевшую пару матросской обуви, хотя для чего она ему понадобилась, я понятия не имел.

В тот же вечер престарелый воин явился предо мною во всем великолепии — он торжественными шагами приближался к дому, знаменитые серьги торчали у него в ушах, в руке было копье, а вокруг шеи, связанные полоской коры, висели в виде самых роскошных украшений мои злосчастные сандалии, плавно покачиваясь из стороны в сторону на его мужественной груди. С тех пор эти изящные брезентовые подвески стали у старого щеголя Мархейо неотъемлемой деталью парадного костюма.

Но вернемся к делам более важным. Хотя обитатели долины вели жизнь, не отягощенную трудами и заботами, у них все же были кое-какие занятия, которые скорее можно почесть забавой, чем работой, но без которых, однако, была бы невозможна эта их чудесная жизнь. Среди таких занятий главным было изготовление местной «ткани» — тапы, в разных видах хорошо известной по всей Полинезии. Этот предмет обихода островитян, весьма удобный, а иногда и красивый, делается, как все слыхали, из коры

определенных деревьев. Но, насколько могу судить, способ ее изготовления нигде не был описан, и потому я изложу здесь все, что знаю об этом.

При изготовлении красивой белой тапы, служащей обыкновенно одеждой для жителей Маркизских островов, начинают с того, что собирают молодые побеги так называемого «бумажного» дерева. Наружная зеленая кора с них удаляется, под ней остается тонкий слой волокнистого вещества, плотно прилегающий к древесине, от которой его тщательно отделяют. Когда этого вещества наберется довольно, его заворачивают в большие листья, которые заменяют островитянам оберточную бумагу, и сверху раза два перехватывают веревочкой. Готовый пакет затем кладут на дно ручья, придавив тяжелым камнем, чтобы не унесло водой. Там он лежит дня два или три, после чего его вынимают, оставляют на короткое время на воздухе, а потом тщательно разглядывают содержимое: все ли куски готовы к дальнейшим операциям. Если нужно, кладут мокнуть снова и снова, пока не будет достигнут желаемый результат.

Когда появляются первые признаки загнивания, — волокнистое вещество считается

созревшим для дальнейшей обработки. Волокна его размякли, потеряли упругость, с ними можно делать что угодно. Теперь его укладывают слой за слоем на какой-нибудь ровной поверхности — обычно на поваленном стволе кокосовой пальмы — и при этом каждый раз, уложив новый слой, легонько бьют деревянной колотушкой. Колотушки делаются из твердого тяжелого дерева, похожего на черное, в длину имеют дюймов двенадцать и около двух в толщину и снабжены округлой ручкой; они весьма напоминают наши четырехсторонние ремни для правки бритв. Плоскости этого орудия снабжены небольшими бороздками, на каждой стороне — разной глубины. Они-то и придают готовому изделию приятный рубчатый вид. Постепенно слои сбиваются в однородную массу, ее опрыскивают водой и продолжают понемногу колотить, как делают у нас золотобои, и расплющивают до любой потребной толщины. Таким образом производится материя разной прочности и плотности на все случаи и нужды.

По окончании описанной процедуры вновь выделанная тапа расстилается на траве для просушки и под действием воздуха и солнца скоро становится ослепительно белой. В некоторых случаях на первоначальных стадиях обработки

волокнистую массу пропитывают соками разных растений, отчего она приобретает ровный устойчивый цвет. Встречается тапа темно-коричневая и ярко-желтая, но народ Тайпи с его простыми вкусами всему предпочитает природный оттенок.

Знаменитая супруга короля Камеамеа, прославленного покорителя Сандвичевых островов, некогда гордилась своим искусством окрашивать тапу в контрастные цвета, и притом определенным узором. На склоне лет, в наши обуянные новшествами времена, она считалась дамой старомодной за то, что до конца дней предпочитала традиционную одежду своего народа мишуре европейских ситцев. Но на Маркизских островах секрет набивки тапы неизвестен.

Гуляя в долине, я часто слышал стук колотушки — удары твердого тяжелого дерева производили ясный мелодичный звон, разносившийся на большие расстояния. Когда по соседству друг с другом работали сразу несколько таких орудий, издалека это звучало как прелестная музыка.

XX

Невозможно представить себе ничего более однообразного и размеренного, чем жизнь в долине Тайпи; один за другим мирной чередой следуют светлые дни безмятежного, непринужденного довольства. День для этих простых душ все равно что целая жизнь. Поэтому я сейчас, насколько сумею, коротко опишу один день в долине.

Начнем с утра. Вставали мы не рано — солнце уже метало золотые стрелы своих лучей над Хаппарским хребтом, когда я откидывал покрывало из тапы и, подпоясав мою длинную тунику, выходил из дому вместе с Файавэй, Кори-Кори и остальными обитателями нашего жилища, направляя шаги свои к берегу речки. Здесь собирались те, кто жили в нашем конце долины; и мы все вместе купались. Свежий утренний воздух и прохлада речных струй вливали бодрость и в душу, и в тело, и через полчаса мы пускались в обратный путь. По дороге Тайнор и Мархейо собирали сухие палки на растопку, молодые люди взимали дань с кокосовых пальм, под которыми мы проходили, Кори-Кори дурачился, развлекая меня, а мы с Файавэй, иногда под ручку, а иногда

держась за руки, шли не спеша, в мире со всей вселенной и в полном согласии друг с другом.

Скоро поспевал завтрак. Островитяне довольно воздержанны за утренней трапезой, приберегая основные силы своего аппетита на потом. Я, например, при содействии моего верного телохранителя, который в этих случаях, как я описывал выше, неизменно служил мне вместо ложки, отведывал немного *пои-пои* с одного из деревянных блюд Тайнор, специально для меня предназначенного, где в обычную кашу была подмешана белая молочная мякоть спелого кокоса. Долька поджаренного хлебного плода, лепешка *эймара* или порция *коку*, два-три банана или яблоко *момои*, плод *аннуи* или еще какой-нибудь приятный на вкус и питательный фрукт служили день ото дня для придания разнообразия этой трапезе, которую под конец еще запивали жидким соком двух-трех молодых кокосовых орехов.

Во время еды обитатели дома Мархейо возлежали, на манер изнеженных римлян, на циновках домашнего дивана и вели между собой для лучшего пищеварения приятную беседу.

После завтрака зажигались трубки, и среди них моя, подарок благородного Мехеви. Островитяне, которые делали подряд не больше

двух-трех затяжек и передавали свои трубки по кругу, очень удивлялись тому, как я выкуриваю в один присест несколько трубок. Когда пущенные вкруговую трубки подымали целую завесу дыма, домочадцы Мархейо начинали понемногу расходиться «из-за стола». Мархейо отправлялся к своей хижинке, которую он без конца строил и перестраивал. Тайнор принималась наводить порядок в запасах тапы или садилась плести своими быстрыми пальцами тростниковые циновки. Девушки умащивали себя ароматными маслами, укладывали волосы во всевозможные прически или перебирали свои уборы, красуясь друг перед дружкой драгоценностями из кабаньего клыка или кашалотова зуба. Юноши и молодые воины извлекали копья, весла, украшения для челноков, боевые дубинки и раковины, в которые трубят во время битвы, и покрывали их хитроумной резьбой с помощью острых обломков кремня или увешивали, в особенности раковины, длинными кистями из коры и человеческих волос. Иные, поев, тут же снова растягивались на циновках и предавались занятию, прерванному наступлением дня, и сон их был так крепок, словно они неделю перед тем не смыкали глаз. Другие углублялись в рощи, чтобы собрать плодов, а также

волокнистой коры и листьев, которые шли на сотни разных нужд и были всегда полезны. Кое-кто из девушек уходил в лес за цветами или на речку с горкой тыквенных мисочек и кокосовых скорлуп, чтобы полировать их в воде, натирая гладким камнем. Право же, эти простые души не затруднялись вопросом, на что потратить время, и нелегко было бы перечислить все их занятия, вернее — развлечения.

Я проводил утро по-разному. Иногда бродил от дома к дому, повсюду неизменно встречая самый сердечный прием; или гулял в тенистых рощах вместе с Кори-Кори и Файавэй, в сопровождении шумного пестрого сборища молодых бездельников. Порою мне было лень разгуливать, и я, приняв одно из многочисленных приглашений, отовсюду мною получаемых, подолгу валялся на циновках в каком-нибудь гостеприимном соседнем доме, либо с удовольствием наблюдая за тем, что делают его обитатели, либо принимая участие в их делах. В этом последнем случаи восторгу туземцев не было границ, и всегда не было отбоя от жаждущих преподать мне секреты соответствующего ремесла. Так я стал неплохо управляться с изготовлением тапы — научился не хуже прочих плести соломенные веревки, — а

однажды лезвием своего ножа нарезал на рукояти копья такие красивые узоры, что Карнуну, владелец этого копья, по сю пору хранит его как редкостный образец высокого искусства — я в этом ни на минуту не сомневаюсь.

Ближе к полудню разбредшиеся по долине домочадцы Мархейо начинали возвращаться, а когда полдень и в самом деле вступал в свои права, все звуки в долине умолкали; повсюду воцарялся глубокий сон. Эта сладостная сиеста соблюдалась неукоснительно всеми — кроме разве старого Мархейо, который отличался настолько большими чудачествами, что вообще знать не желал никаких правил, а просто спал, ел или ковырялся в своей хижинке когда ему бог на душу положит, совершенно не сообразуясь с требованиями времени и места. Его можно было застать спящим на солнцепеке в полдень или купающимся в самую полночь. Раз как-то я заметил его в восьмидесяти футах над землей — он забрался на верхушку кокосовой пальмы и там сидел и курил. И нередко можно было видеть, как он стоит по пояс в воде и выщипывает редкие волосы своей бороды, пользуясь, как пинцетом, речной двустворчатой раковиной.

Полуденный сон продолжался обычно часа

полтора, бывало, что и дольше; проснувшись, опять выкуривали трубки и приступали к приготовлению главной трапезы дня.

Впрочем, я, подобно тем джентльменам, которые завтракают дома, а обедают у себя в клубе, почти всегда, с тех пор как поправился, садился за эту трапезу вместе с холостыми вождями в доме *Тай* — там мне неизменно были рады и щедро потчевали всем, что у них было вкусного. Среди прочих яств Мехеви обычно ставил передо мной печеного поросенка — блюдо, по всей видимости нарочно для меня приготовлявшееся.

Дом *Тай* поистине приятное местечко. Сердце мое, равно как и желудок, радовалось пребыванию там. Огражденные от женского вмешательства, доблестные воины веселились вовсю, ничем не отличаясь в этом смысле от европейских джентльменов, которые, лишь только убрана скатерть и удалились дамы, дают волю своему не слишком тонкому чувству юмора.

Проведя в доме *Тай* значительную часть дня, я обычно с наступлением вечерней прохлады либо отправлялся с Файавэй к озеру кататься на лодке, либо шел на речку купаться вместе с толпой тайпийцев, в этот час всегда там собиравшихся. Когда же надвигался сумрак приближающейся

ночи, обитатели дома Мархейо вновь сходились под его крышей — зажигались светильники, заводились протяжные, странные песнопения, рассказывались бесконечные истории (совершенно непонятные) и затевались всевозможные забавы, чтобы занять вечерние часы.

При луне перед домами молодые девушки танцевали. Танцев у них много и самых разных, но я никогда не видел, чтобы в них принимали участие мужчины. Состоят они из ряда живых, задорных, даже озорных движений, в которые вовлекается все тело. Юные маркизанки танцуют с головы до ног; не только их ноги участвуют в танце, но и руки, плечи, пальцы и даже самые глаза у них на лице — все танцует. Честно признаться, они так раскачиваются, скользя в хороводе, так запрокидывают голову, изгибают шею, вскидывают нагие руки, выступают и кружатся, что, ей-богу, это уж слишком для такого скромного и рассудительного молодого человека, как я.

Костюм плясуний составляют лишь цветы да праздничные, совсем короткие туники, и, когда эти юные девы прихорашиваются и чистят перышки перед началом танца, право же, кажется, что это — стайка смуглых сильфид, готовых вот-вот вспорхнуть и улететь.

За исключением тех случаев, когда происходили какие-то особые торжества, обитатели дома Мархейо укладывались спать довольно рано, но не на всю ночь; подремав часок-другой, они вставали, вновь зажигали светильники и приступали к третьей трапезе, состоящей из одной лишь *пои-пои*, и только потом, сделав две-три блаженные затяжки из своих трубок, всерьез обращались к главному делу ночи — сну. У маркизанцев его, пожалуй, даже можно назвать главным делом жизни, ибо бо`льшую часть времени они проводят в объятиях Морфея. Природная выносливость их организмов ни в чем так наглядно не выражается, как в количествах сна, которые они способны вынести. Для многих из них, я думаю, жизнь — это всего лишь сладкий, по временам ненадолго прерываемый сон.

XXI

Нет на свете такой страны, которая не имела бы своих прославленных целебных источников. Челтенхем долины Тайпи находится в пустынной местности и навещается довольно редко. Он расположен вдали от жилищ на склоне горы, к нему ведет малохоженая тропа, осененная восхитительными зелеными кронами и с обеих сторон теснимая прекрасными ароматными травами.

Минеральные воды источника Арва Вай[3] бьют из расщелин в скале и, сбегая по обомшелому камню, каскадами искрящихся капель падают в естественную каменную чашу, края которой обвиты травой и росистыми лиловыми цветами, пахучими и свежими от постоянной поливки.

Сама вода ценится у островитян очень высоко, многие находят ее не только целительной, но и вкусной; ее приносят в тыквенных сосудах и хранят где-нибудь в тенистом уголке возле дома, прикрыв ворохом больших листьев. Среди люби-

---

[3] Примечания: 3

Что, я полагаю, переводится как «Сильная Вода», так как «арва» — это местное название корня, имеющего и опьяняющие и укрепляющие свойства, а «вай» — по-маркизски — вода. *(Примеч. авт.)*

телей воды из целебного источника был старый Мархейо. Он нередко отправлялся на ту гору, волоча на себе большую круглую тыквенную бутыль, и возвращался, пыхтя и отдуваясь, с новым запасом своего излюбленного питья.

На вкус она кажется раствором сразу десятка самых отвратительных веществ и вообще достаточно тошнотворна, чтобы составить состояние владельцу, будь этот источник немного ближе к центрам цивилизации.

Я не химик и не могу привести здесь научный химический состав этой воды. Знаю только, что однажды, когда Мархейо в моем присутствии вылил из бутылки последнюю каплю, на дне ее оказался какой-то крупитчатый осадок, очень похожий на обыкновенный песок. Содержится ли он в воде всегда, и, может быть, как раз он и придает ей особый привкус и целебные свойства, или же он оказался на дне случайно — этого я сказать не могу.

Как-то я возвращался от источника кружной дорогой, и вдруг глазам моим открылось зрелище, живо напомнившее мне знаменитый Стоунхендж и архитектурные опыты друидов.

У подножия горы, в окружении густых рощ, вздымается циклопическая каменная лестни-

ца, ступени-террасы которой уходят вверх по склону. Они не менее сотни ярдов в длину и ярдов двадцать в ширину. Грандиозность всей лестницы, впрочем, не так поражает, как невероятные размеры каменных плит, из которых она сложена. Иные камни, продолговатые по форме, имеют длину до пятнадцати футов и толщиною футов в шесть. Грани их совершенно гладки, но, несмотря на правильную форму, не несут на себе никаких следов тесала. Уложены они без всякой цементирующей прослойки, так что кое-где образовались большие щели. Самая верхняя и самая нижняя террасы по конструкции отличаются от остальных: обе имеют в центре по квадратному углублению. В щелях между каменными плитами выросли огромные деревья, и их развесистые кроны, переплетаясь, образуют балдахин, почти непроницаемый для солнечных лучей. Вся лестница увита лозами дикого винограда, которые переползают со ступени на ступень, пряча серый камень от глаз в своих узловых объятиях. Кое-где закрывают его густо разросшиеся кусты. Нехоженая тропа пересекает одну террасу, и тень здесь так густа, так буйна растительность, что, не зная, можно пройти мимо самых ступеней и ничего не заметить.

Сооружение это носит несомненные признаки большой древности, и Кори-Кори, единственный авторитет, к которому я прибегал в моих научных изысканиях, заверил меня, что оно одного возраста с мирозданием, что строителями его были сами великие боги и что оно будет здесь стоять до конца времен. По тому, как Кори-Кори, не затруднившись, мне это объяснил и как уверенно приписал постройке божественное происхождение, я понял, что ни он и никто из его соплеменников ничего об этом не знают.

Когда я стоял и смотрел на этот памятник могущества какого-то давно вымершего и забытого народа, затерянный в зеленом безмолвии на островке где-то на краю земли, о существовании которого еще вчера вообще никто не знал, я испытывал трепет еще больший, чем у величественного подножия пирамиды Хеопса. Здесь нет ни надписей, ни статуй — никаких ключей, по которым можно было бы прочесть его историю; ничего, только немые камни. Сколько поколений таких могучих деревьев поднялось, достигло расцвета и сгнило с тех пор, как были возведены эти каменные ступени!

При взгляде на эту постройку, естественно, приходят в голову кое-какие интересные мысли.

Она доказывает, что остров существует очень давно — мнение, которого создатели разных теорий о происхождении островов в Южных морях обычно не разделяют. А я лично считаю столь же вероятным, что три тысячи лет тому назад люди могли жить в Маркизских долинах, как и то, что они обитали на землях Египта. Образование острова Нукухива нельзя приписать работе кораллов, ибо, сколь ни сказочно неутомимо это существо, у него все же не хватило бы силенок нагромоздить одну на другую скалы общей высотою в три тысячи с лишком футов над уровнем моря. Вполне возможно, что землю эту выбросило со дна морского при извержении подводного вулкана. Во всяком случае, никто не может поклясться, что это было не так, и я вовсе не собираюсь оспаривать эту гипотезу. Право же, объяви сегодня геологи, что весь Американский континент возник подобным же образом в результате одновременного извержения целой цепи подводных Этн, протянувшейся от Северного полюса до широты мыса Горн, я менее всех склонен был бы им возражать.

Я уже упоминал, что жилища островитян почти всегда построены на каменных площадках, которые у них называются *пай-пай*. Размеры этих

площадок, так же как и камней, из которых они сложены, относительно невелики, однако почти в каждой долине имеются такие же постройки, но только гораздо более крупные, — это *морэй*, места захоронений и празднеств. Иные из этих платформ так широки и сооружение их должно было потребовать такого искусства и труда, что невозможно поверить, чтобы их возводили предки нынешних обитателей острова. Разве что с тех пор эти племена плачевным образом регрессировали и утратили знание многих секретов механики. Не говоря уже об их природной наклонности к праздности, каким способом могли эти простодушные люди передвигать и устанавливать такие огромные каменные глыбы? И как они своими грубыми орудиями могли обтесывать их и придавать им нужную форму?

Все большие *пай-пай*, вроде платформы для *хула-хула* в долине Тайпи, носят несомненные признаки глубокой древности; и я склонен предполагать, что их создание следует приписать тому же народу, который был строителем тех еще более древних террас, описанных мною выше.

По мнению Кори-Кори, *пай-пай*, на которой находится танцевальная площадка *хула-хула*, была сооружена много-много лун тому назад,

и руководил строительством великий вождь и воин Мону — очевидно, глава тайпийского цеха каменщиков. С самого начала она имела именно то предназначение, коему в настоящее время служит, и была воздвигнута в сказочно короткий срок — за одно солнце, после чего состоялось посвящение ее бессмертным деревянным идолам, которое было отмечено пышным празднеством, длившимся десять дней и десять ночей.

Среди площадок *пай-пай* малых размеров, служащих основаниями для жилищ, нет ни одной, которая казалась бы выстроенной недавно. К тому же по всему острову можно встретить немало этих массивных каменных подставок, на которых вообще нет домов. Это в высшей степени удобно, так как любому предприимчивому островитянину, который вздумал бы эмигрировать за несколько сот ярдов от места своего рождения, надо лишь, дабы обосноваться в новых краях, выбрать себе по вкусу какую-нибудь из ничейных *пай-пай* и без дальнейших церемоний разбить на ней свой бамбуковый шатер.

XXII

С тех пор как начала проходить моя хромота, я завел обыкновение каждый день навещать в доме *Тай* Мехеви, неизменно встречая у него самый радушный прием. Меня всегда сопровождали Файавэй и неотлучный мой Кори-Кори. Не доходя до дома *Тай*, на котором лежало суровое *табу* для всего женского пола, моя подруга останавливалась и удалялась в какую-нибудь соседнюю хижину, словно девическая стыдливость не позволяла ей приблизиться к собранию холостяков.

Это и в самом деле было нечто вроде холостяцкого клуба. Хотя дом *Тай* служил постоянным жилищем нескольким наиболее уважаемым старейшинам, в частности самому почтенному Мехеви, он еще был излюбленным местом сборищ для всех веселых и болтливых дикарей долины, достигших зрелого возраста, — они, что ни день, таскались туда, как в цивилизованных странах такие личности таскаются в пивную. Там они сидели часами, болтали, курили, ели *пои-пои* или деловито спали для поддержания своего здоровья. Дом *Тай* был своего рода центром долины, сюда стекались все слухи и разговоры; при виде

его — битком набитого туземцами, всё одними мужчинами, когда в разных углах ведутся разные оживленные разговоры, одни люди приходят, другие уходят, все толпятся, — подумаешь, пожалуй, что это дикарская биржа, на которой обсуждается неустойчивый курс полинезийских акций.

Верховная власть здесь принадлежала Мехеви, проводившему в доме *Тай* бо`льшую часть времени; и часто, когда здание пустело и в нем оставались лишь замшелые столетние старцы, давно ставшие неотъемлемой его принадлежностью, можно было застать верховного вождя, вкушающего otium cum dignitate[4] на мягких циновках, которыми здесь устлан пол. Но когда бы я ни появлялся в доме *Тай*, Мехеви неизменно подымался мне навстречу и, как всякий гостеприимный джентльмен, приглашал меня располагаться поудобнее. Он громко кричал: «Таммари!» (Мальчик!) — немедленно перед ним оказывался подросток-слуга, исчезал на мгновение и возвращался с каким-нибудь соблазнительным яством, которым вождь принимался меня потчевать. Признаюсь чистосердечно, че-

[4] Примечания: 4
Отдых с достоинством (*лат.*).

стью моих столь частых визитов Мехеви был обязан великолепию своего стола. И удивляться тут особенно нечего: следует вспомнить, что во всем мире холостяки славятся умением задать друзьям славную пирушку.

Однажды, подходя к дому *Тай*, я увидел, что там ведутся какие-то большие приготовления, — очевидно, к празднику. Кое-что в поведении дикарей напомнило мне на этот раз беготню поварят на кухне большого ресторана накануне пышного банкета. Они носились туда-сюда, у каждого было какое-то неотложное дело: одни волокли к реке толстые бамбуковые трубки, чтобы наполнить их водою; другие гонялись в кустарнике за взъерошенными кабанами; и повсюду сидели и месили огромные груды *пои-пои* на больших деревянных блюдах.

Я стоял и смотрел вокруг, как вдруг внимание мое отвлек оглушительный визг, доносившийся из ближней рощи. Я бросился туда — визжала огромная свинья, которую несколько туземцев держали распластанной на земле, между тем как один здоровый дикарь безуспешно пытался прикончить несчастную скотину сокрушительными ударами дубиной по черепу. Жертва его рвалась и билась. Он раз за разом промахивался, но, пыхтя

и отдуваясь, продолжал свое дело. Наконец, употребив столько усилий, что хватило бы перебить целый гурт быков, он одним убийственным ударом все же поверг ее бездыханной к своим ногам. Не выпустив крови, тушу быстро отволокли к разведенному поблизости костру, четверо дикарей подняли ее за ноги и стали раскачивать над пламенем. Вскоре разнесся запах паленой щетины — цель была достигнута. Тогда тушу оттащили, выпотрошили, причем внутренности, как самое лакомое, отложили, а самое тушу тщательно промыли в проточной воде. Затем на земле разложили широкое зеленое полотнище из толстых пальмовых листьев, скрепленных между собой бамбуковыми палочками, и, плотно завернув в него свиную тушу, перенесли к заранее подготовленной печи. Ее уложили на раскаленные камни пода, завалили ворохом листьев и быстро насыпали сверху холмик земли.

Таков, в общих чертах, способ, каким тайпийцы делают из воинственных, строптивых кабанов восхитительную нежную свинину, которая, будучи откушена, тает на языке, словно ласковая улыбка на устах Красоты.

Рекомендую его всем мясникам, поварам и хозяйкам.

Злосчастная свинья, чью гибель я здесь воспел, была не единственной, принявшей смерть в тот достопамятный день. Горестное хрюканье и умоляющий визг неслись со всех сторон, и, я думаю, до заката солнца были перебиты первенцы всех пометов всех свиней в долине.

Вокруг дома *Тай* царило величайшее оживление. В многочисленных печах пеклись свиные туши и *пои-пои*, насыпанные над ними горки земли казались целым городом муравейников. Десятки дикарей гулко стучали каменными пестами, приготовляя для печей новые порции *пои-пои*, кто-то деятельно собирал зеленые хлебные плоды и молодые кокосы, тогда как несметная толпа народу просто стояла вокруг, очевидно, чтобы подбодрить своим присутствием тех, кто трудился, и все без умолку горланили во всю глотку.

Такая уж особенность у этих людей, что, за какое бы дело они ни взялись, они всегда поднимают невероятный шум. Им так редко приходится утруждать себя, что когда они все-таки что-то делают, то, видимо, ни за что не хотят допустить, чтобы их доблесть осталась незамеченной ближними. Если, например, надо перенести на другое место камень, что вполне под силу двум крепким

мужчинам, собирается целая толпа людей, они долго и громко разглагольствуют, наконец все вместе, толкаясь, подымают камень и несут с воплями и пыхтением, словно совершают бог весть какой трудный подвиг. Глядя на них при этом, представляешь себе бессчетную армию черных муравьев, окруживших и тянущих в свою дыру ногу скончавшейся мухи.

Наглядевшись на эту веселую суматоху, я вошел в дом *Тай*, где застал Мехеви сидящим на циновках — он удовлетворенно поглядывал на бурные приготовления, время от времени выкрикивая новые приказы. Он был необыкновенно возбужден и объяснил мне, что наутро предстоит грандиозное празднество, которое будет происходить в Священных рощах и в самом доме *Тай*. Меня он настоятельно просил присутствовать. Однако в память какого события или в честь какого героя устраивалось торжество, этого я уяснить себе никак не мог. Мехеви сделал было попытку просветить меня на этот счет, но потерпел такой же полный провал, как и в тот раз, когда вздумал посвящать меня в замысловатые тайны *табу*.

На обратном пути Кори-Кори, сопровождавший меня, разумеется, в дом *Тай*, видя, что любопытство мое осталось не удовлетворено, решил

навести в деле полную ясность. С этой целью он повел меня через Священные рощи, указывая пальцем на разные непонятные предметы и присовокупляя столько словесной абракадабры, что вскоре у меня от нее уже разболелось все от головы до пяток. Он подвел меня к удивительному пирамидальному сооружению площадью ярда в три у основания и футов десяти в высоту, построенному совсем недавно. Сложено оно было главным образом из пустых тыкв с добавлением некоторого числа полированных кокосовых скорлуп и было очень похоже на гору человеческих черепов. Видя, как недоуменно я взираю на это нагромождение дикарской посуды, мой чичероне поспешил просветить меня касательно его смысла и назначения — но все усилия его оказались тщетны, я и по сей день не имею понятия, что это был за монумент. Однако, поскольку он занимал такое видное место в предпраздничной подготовке, я про себя окрестил состоявшееся назавтра торжество Праздником тыкв.

На следующее утро, поднявшись довольно поздно, я увидел, что все обитатели дома Мархейо заняты сборами. Сам престарелый воин закручивал в две седые букли две пряди волос, которые оставались не сбритыми у него на макушке,

серьги и копье, начищенные до блеска, лежали рядом, а его краса и гордость — знаменитая пара сандалий свисала наготове с шеста у стены. Молодые люди были заняты примерно такими же приготовлениями, а юные девицы, и среди них Файавэй, умащивали себя благовонным маслом *эйка*, перебирали и укладывали свои длинные волосы и совершали другие таинства девического туалета.

Когда сборы были позади, девушки предстали передо мной в выходных нарядах, самой приметной частью которых были ожерелья из прекрасных белых цветов, оторванных от стебля и плотно нанизанных на длинное волокно тапы. Такие же украшения сверкали у них в ушах, из них же были сплетены венки, которые они возложили себе на голову. Ниже пояса девушки были облачены в коротенькие туники из белоснежной тапы, а некоторые еще добавили к этому свободный плащ из той же материи, завязанный на плече хитроумным бантом и ниспадающий живописными складками.

Держу пари, что в таком туалете прекрасная Файавэй затмила бы любую красавицу мира.

Что бы там ни говорили о вкусе, с каким одеваются наши модные дамы, их брильянты, перья,

шелка и меха не идут ни в какое сравнение с восхитительной простотой наряда, в котором собрались на свой праздник эти нимфы долины Тайпи. Посмотрел бы я на галерею знатных красавиц, столпившихся в Вестминстерском аббатстве по торжественному случаю коронации, если бы поставить на минуту рядом с ними стайку юных островитянок, — какими скованными, надутыми и дурацки важными выглядели бы они в сравнении с безыскусно грациозными, живыми и веселыми моими дикарками. Все равно как если бы рядом с Венерой Медицейской поставить манекен из модной лавки.

Скоро мы с Кори-Кори остались в доме одни — все остальные уже отправились в Священные рощи. Моему телохранителю не терпелось последовать за ними, он просто места себе не находил, оттого что я слишком медленно собираюсь; так изнывает собравшийся в гости гуляка, со шляпой в руке поджидая внизу у лестницы своего замешкавшегося дружка. Наконец я уступил его настояниям, и мы пошли к дому *Тай*. Все дома, мимо которых вел наш путь, стояли пустые.

Подойдя к большому камню, которым кончалась тропа, мы услышали позади него возгласы и смешанный гул голосов — было ясно, что пред-

стоящее событие, каково бы оно ни было, собрало несчетное множество народу. Прежде чем лезть через камень, Кори-Кори на минуту остановился, как останавливается у двери в зал светский щеголь, чтобы в последний раз окинуть взглядом свой туалет. В этот момент мне пришло в голову, что и мне, пожалуй, следовало бы уделить кое-какое внимание своей внешности. Правда, выходного платья у меня не было, и как себя приукрасить, я не знал. Но, желая непременно произвести благоприятное впечатление, я твердо решился сделать все, что в моих силах; а так как я знал, что не могу обрадовать аборигенов больше, чем если поступлю согласно их обычаям, я сбросил широкий плащ из тапы, в который всегда закутывался, выходя из дому, и остался только опоясанным нешироким полотнищем тапы, едва достигавшим колен.

Мой сообразительный камердинер сразу же разгадал мои намерения почтить в одежде обычаи его племени и принялся старательно расправлять складки моей теперь единственной детали костюма. В это время я увидел, что неподалеку сидят кружком девушки и свивают в гирлянды белые цветы, которые огромными ворохами лежат вокруг. Я знаком попросил у них

цветов, и мне сразу же было подарено венков десять. Один из них я надел на жалкое подобие шляпы, которое уже давно вынужден был смастерить себе из пальмовых листьев, а несколько свил в роскошный пояс. Покончив со всем этим, я медленной, торжественной походкой расфранченного кавалера взошел вверх по камню.

XXIII

В Священных рощах собралось чуть ли не все население долины Тайпи. В глубине виднелся длинный фасад дома *Тай*, широкая площадка перед ним была заполнена мужчинами в самых фантастических костюмах — они громко переговаривались и бешено жестикулировали. А ближе к тому месту, где стоял я, вся роща пестрела яркими нарядами девушек, резвящихся, танцующих, что-то кричащих. Они встретили мое появление громкими приветственными возгласами, один кружащийся хоровод отделился и двинулся ко мне — танцующие женщины пели мне какую-то песню. Перемена в моем костюме привела их в восторг, меня окружили и повели к дому *Тай*. Однако, приблизившись к нему, прелестные нимфы замедлили шаг, расступились, и я без них подошел к переполненному строению.

Поднявшись на *пай-пай*, я убедился, что пир был уже в полном разгаре.

Какое изобилие царило здесь! Уоррик, угощающий мясом и пивом своих приспешников, — просто жалкое ничтожество в сравнении с благородным Мехеви! Во всю ширину дома *Тай*

были расставлены деревянные сосуды в форме челноков, украшенные резьбой и наполненные свежей *пои-пои*, они достигали двадцати футов в длину и были защищены от солнца широкими парусами из банановых листьев. Между ними высились пирамидальные груды зеленых хлебных плодов, напоминающие горы пушечных снарядов, сложенных во дворе арсенала. В щели между каменными плитами пола были вставлены большие ветви, на которых, защищенные листвою от солнечных лучей, висели зеленые свертки с жареной свининой, подвешенные таким образом, чтобы их всякий мог достать. К перилам *пай-пай* был прислонен целый лес толстых бамбуковых палок, снизу наглухо забитых, а сверху их жерла были заткнуты пробками из листьев. Там содержалась речная вода, в одной такой трубе помещалось ее до пяти галлонов.

Так был накрыт пиршественный стол, и всем присутствующим оставалось угощаться в свое удовольствие. Беспрестанно шелестели пересаженные сюда зеленые ветви, одаряя гостей своими небывалыми плодами, которые никогда прежде не родились в гуще их листвы. Тыквенные миски без конца наполнялись божественной *пои-пои* из огромных челноков, а вокруг дома *Тай*

дымились десятки костров, на которых жарились хлебные плоды.

Внутри тоже все выглядело необыкновенно. Грандиозный диван из циновок, тянущийся между двумя параллельными стволами футов на двести из конца в конец сооружения, был покрыт телами возлежащих воинов и вождей, энергично жующих или же забывающих заботы полинезийской жизни в успокоительных клубах табачного дыма. Трубки, которые они курили, были длинными, их чашечки из кокосовых скорлуп — в резных узорах. Лежащие курильщики передавали их по кругу, сделав две-три затяжки, лениво протягивая трубку сотрапезнику иной раз через голову соседа, которого пиршественные труды уже сморили сном.

Табак, употребляемый жителями долины Тайпи, был очень слабый и приятный. Его здесь было вдоволь, обычно в листьях, и я заключил поэтому, что он произрастает прямо в долине. Кори-Кори это подтвердил, но самому мне так и не пришлось увидеть ни единого растущего куста. В Нукухиве и как будто бы во всех других долинах табак ценится очень высоко, его покупают скудными количествами у приезжих, так что курение для жителей этих мест — большая роскошь. Откуда

его так много у тайпийцев, я не выяснил. Чтобы всерьез заниматься возделыванием табака, они, по-моему, слишком склонны к счастливой лени; право же, насколько могу судить, в долине не было ни клочка земли, подвергавшегося какой-либо обработке, не считая воздействия дождевых струй и солнечных лучей. Может быть, правда, кусты табака растут дико, как сахарный тростник, где-нибудь в отдаленном уголке долины.

Впрочем, многие из собравшихся в доме *Тай* не довольствовались утешительным действием табака, но прибегали к более сильному средству — *арве*.

Арва — это корень, в изобилии встречающийся на архипелагах Южных морей. Сок, добываемый из него, поначалу действует на человеческий организм возбуждающе, но потом расслабляет мышцы и вызывает глубокий наркотический сон. В долине Тайпи питье из *арвы* приготовлялось следующим способом. Несколько юношей усаживались в кружок перед большим деревянным сосудом, у каждого под боком была кучка мелко нарезанных корней *арвы*. По кругу пускался кокосовый кубок с водой, молодые виноделы споласкивали рот и приступали к работе, которая состояла в том, что *арва* тщательно прожевы-

валась и выплевывалась в стоящий посредине деревянный сосуд. Когда разжеванной массы набиралось довольно, ее заливали водой, размешивали указательным пальцем правой руки — и питье было готово. *Арва* имеет и целебные свойства. На Сандвичевых островах она с успехом применялась для лечения золотухи, а также для борьбы со свирепствующей там болезнью, знакомством с которой злосчастные аборигены обязаны своим заморским благодетелям. Но жители долины Тайпи, которых пока минула эта напасть, прибегают к *арве* за столом как к источнику радости, и тыквенная чаша с этой жидкостью переходит там из рук в руки, как у нас — бутылка с вином.

Мехеви, приятно пораженный моим новым нарядом, встретил меня с распростертыми объятиями. Он приберег для меня восхитительное месиво *коку*, хорошо зная мое пристрастие к этому блюду, а также выбрал четыре молодых кокоса, несколько жареных хлебных плодов и великолепную гроздь бананов, чтобы получше угостить меня на праздничном пиру. Все эти яства немедленно были поставлены передо мной; но Кори-Кори счел такое угощение совершенно недостаточным и удовлетворился лишь тогда,

когда добавил к нему снятый с ветки, обернутый листьями щедрый кусок свинины, которая, несмотря на то что была приготовлена столь скоропалительно, оказалась отменно вкусной и нежной.

Свинину нельзя считать обычной пищей жителей Маркизских островов; естественно поэтому, что и разведением свиней там не очень-то занимаются. Кабаны бродят в рощах, предоставленные самим себе, питаясь главным образом опадающими кокосами. Правда, голодное животное с огромным трудом добирается до мягкого ядра ореха, раздирая волокнистую шелуху и взламывая скорлупу. Я часто со смехом наблюдал, как толстый боров долго напрасно бьется с упрямым орехом, и так и сяк пробуя его на зуб, а потом вдруг рассвирепеет, подроет под ним землю и подшвырнет его рылом в воздух. Орех падает, кабан бросается за ним, снова пытается его разжевать, при этом орех выскальзывает у него из пасти и отскакивает, и глупое животное стоит озадаченное, не понимая, куда вдруг девалась его добыча. Такое преследование кокосового ореха иной раз продолжалось часами.

Второй день Праздника тыкв начался под еще более оглушительный шум, чем первый. Каза-

лось, целая армия барабанщиков гулко ударяла в бессчетные, туго натянутые овечьи кожи. Разбуженный этим грохотом, я вскочил и увидел, что все в доме Мархейо уже собрались уходить. Мне было интересно, какую новость предвещает столь громкое начало, а также хотелось посмотреть, что за инструменты производят такой ужасный шум, поэтому я вместе с островитянами отправился в Священные рощи.

На широком, довольно открытом пространстве от дома *Тай* до большого камня, по которому туда подымаются, равно как и в самом доме, не было на этот раз ни одного мужчины — одни только женщины под влиянием непонятного возбуждения плясали и кружились повсюду, издавая громкие возгласы.

Помню, меня позабавил вид пяти старух, которые держались очень прямо и, вытянув вдоль боков руки, совершенно обнаженные, без устали подпрыгивали высоко в воздух, словно палки в воде, когда их толкнешь на воду, а потом отпустишь. С лицом, преисполненным глубочайшей серьезности, они продолжали это свое удивительное занятие, не давая себе ни минуты передышки. Никто на них особого внимания не обращал, но я, должен честно признаться, что называется,

выпучил на них глаза.

Желая просветиться насчет того, что увидел, я обратился к Кори-Кори, и мой ученый друг тут же приступил к подробным разъяснениям, но я смог понять только, что эти прыгающие женщины — безутешные вдовы, чьи супруги пали в сражениях много лун назад, о каковом несчастье почтенные матроны с тех пор оповещают соплеменников на каждом празднестве. Было очевидно, что в глазах Кори-Кори это служило вполне достаточным основанием для такого несолидного поведения, но мне, признаюсь, оно все же показалось неуместным.

Оставив сокрушающихся вдовиц, мы прошли к площадке *хула-хула*. Здесь на тесном квадрате собралось чуть ли не все население долины. Зрелище это было весьма примечательное. В тени бамбукового навеса вокруг площадки возлежали старшие вожди и воины, а в середине, под роскошным кровом раскидистых ветвей, преспокойно лежали все, кого только можно было себе вообразить. В глубине площадки, на ступенях гигантских алтарей стояли корзины из листьев кокоса, наполненные хлебными плодами, лежали свитки тапы, грозди спелых бананов, груды яблок *мэмми*, золотистые фрукты *арту* и

жареные свиные туши на больших деревянных подносах, красиво украшенные зеленью, а у ног свирепых идолов были сложены как попало примитивные орудия войны. В нижние ступени обоих алтарей были также вставлены длинные шесты, а к концам их привязаны корзины из листьев, полные всевозможных плодов. Под этими-то шестами были установлены в два ряда огромные барабаны, достигающие пятнадцати футов в высоту. Это были распиленные куски полых древесных стволов, сверху затянутые акульей кожей и испещренные по бокам какими-то замысловатыми резными узорами. На разной высоте они были обвиты пестрыми перевязями из цветной соломы, и кое-где с них свешивались полосы тапы. Позади этих инструментов были установлены легкие возвышения, и на них стояли молодые тайпийцы, которые ударяли ладонями по натянутой коже и тем производили невероятный грохот, разбудивший меня в то утро. То один, то другой музыкант спрыгивал на площадку и смешивался с толпой, но его место сразу же занимал доброволец со свежими, нерастраченными силами. Благодаря этому здесь поддерживался беспрестанный грохот такой силы, что, кажется, никакой Пандемониум не мог

бы с этим сравниться.

Ровно в центре площадки в пол были воткнуты по меньшей мере сто длинных шестов — свежесрезанные с ободранной корой и развевающимися на концах узкими полосками белой тапы, они были обнесены невысокой тростниковой изгородью. Каково их назначение, я так и не смог узнать.

Другую своеобразную черту этой сцены составляли десятка два лысых стариков, которые, скрестив ноги, сидели на своего рода маленьких кафедрах под деревьями. Почтенные эти старцы, очевидно священнослужители, без перерыва тянули какой-то однообразный напев, впрочем совершенно заглушаемый барабанным боем. В правой руке каждый держал тонкого плетения соломенный веер с массивной черной деревянной ручкой и без устали им помахивал.

Но ни на барабанщиков, ни на жрецов никто не обращал ни малейшего внимания, все, кто там были, самозабвенно болтали и смеялись, курили, пили *арву* и ели. Весь дикарский оркестр мог бы с тем же успехом, и с немалой пользой для присутствующих и для оркестрантов, вообще прекратить этот адский шум.

Напрасно я допытывался у Кори-Кори и у

других о смысле того, что происходило. Все их объяснения звучали такой дикой абракадаброй и сопровождались такой бешеной жестикуляцией, что мне ничего не оставалось, как махнуть рукой. Весь день грохотали барабаны, пели жрецы, а толпа веселилась и пировала, и только на закате, когда все разошлись, в Священных рощах вновь воцарились тишина и покой. На третий день все повторилось и продолжалось до вечера, с наступлением же вечера необыкновенный этот праздник кончился.

XXIV

Хотя мои попытки выяснить природу Праздника тыкв потерпели крах, я все же убежден, что в главном, если не во всем, он носил религиозный характер. Как религиозное торжество он, однако, вовсе не согласуется с жуткими описаниями полинезийских ритуалов, напечатанными у нас за последние годы, в частности с картинами жизни на только что христианизированных островах, которыми щедро одарили нас миссионеры. Если бы не их священный сан, гарантирующий совершенную чистоту их намерений, я готов был бы подозревать, что миссионеры нарочно преувеличивают ужасы язычества, дабы возвеличить свой бескорыстный подвиг. Помню, в одной книге, где речь идет о Вашингтоновых, иначе Северных Маркизских островах, туземцы недвусмысленно и настойчиво обвиняются в принесении человеческих жертв на алтари своих богов. В этой же книге приводится подробное описание их религии, перечисляются всевозможные их суеверия, разъясняется иерархия жреческого сословия. По бесконечному перечню всех этих каннибальских архиепископов, епископов, архидиаконов,

пребендариев и прочих священнослужителей более низких степеней можно подумать, будто духовенство далеко превосходит числом все остальное население и будто несчастные туземцы страдают от его засилия еще больше, нежели жители папистских государств. Подобные описания рассчитаны также на то, чтобы у читателя создалось впечатление, будто человеческие жертвы ежедневно поджариваются и подаются на алтари; повсечастно свершаются невообразимые жестокости; и вообще, темные эти язычники пребывают в состоянии самом жалком и ничтожном из-за своих нелепых диких суеверий. Следует, впрочем, иметь в виду, что перечисленные сведения сообщил миру человек, по его собственным словам, побывавший только на одном из островов архипелага, проведший там всего лишь две недели, притом на ночь возвращавшийся к себе на корабль, а днем совершавший небольшие светские экскурсии на берег в сопровождении вооруженных солдат.

Я лично могу лишь сказать, что, сколько я ни разгуливал по долине Тайпи, я ни разу не наблюдал никаких зверств. Если бы они совершались на Маркизских островах, уж конечно, они не ускользнули бы от внимания того, кто

несколько месяцев провел с дикарями, нимало не отошедшими от первобытного состояния и прославленными как самое кровожадное племя в Южных морях.

Дело в том, что в научных исследованиях о полинезийской религии содержится основательная доля чепухи. Ученые-туристы, авторы таких трудов, черпают свои сведения преимущественно у старых моряков, которые некогда бороздили воды Южных морей и, может быть, даже жили на Тихоокеанских островах. Какой-нибудь Джек, прославленный мастер плетения небылиц, с младых ногтей приученный заворачивать в кубрике чудеса какие похлеще, выступает в роли специалиста по тому острову, на котором он немного пожил, и, усвоив с десятка два слов местного языка, готов познакомить вас с народом, на нем говорящим. Естественное желание придать себе веса в глазах нового слушателя побуждает его притворяться, будто он знает куда больше, чем на самом деле. И в ответ на расспросы он сообщает не только все то, что ему известно, но также и многое другое, а если и этого окажется недостаточно — пожалуйста, он без труда может рассказать еще. Жадность, с какой записываются все его рассказы, приятно щекочет его самолю-

бие, и чем доверчивее оказывается слушатель, тем больше разгуливается его воображение. Он отлично понимает, каких сведений от него ждут, и поставляет их в неограниченном количестве.

Это не домысел, я сам был знаком с подобными специалистами и раза два присутствовал при их беседах с интересующимися людьми.

Когда такой высокоученый путешественник возвращается на родину вместе со своими собранными фантастическими материалами, он обычно садится за книгу о народах, которые повидал. Но вместо того чтобы изобразить их веселыми, простодушными дикарями, ведущими жизнь в неге, изобилии и невинности, он углубляется в сложные и солидные рассуждения о неких загадочных суевериях и обычаях, о которых знает так же мало, как и сами туземцы. У него было недостаточно времени и слишком мало возможностей, чтобы познакомиться с обычаями, которые он берется описывать, и он просто перечисляет услышанное от других, не затрудняясь увязать концы с концами и придать повествованию видимость правдоподобия; так что если бы его книгу перевели на язык того народа, чью историю она якобы содержит, она показалась бы там не менее удивительной, чем в

Америке, и еще гораздо менее правдоподобной.

Я, со своей стороны, честно признаюсь, что совершенно не способен удовлетворить любопытство тех, кто хотел бы узнать о теологии тайпийцев. Не уверен даже, что сами тайпийцы способны это сделать. Они либо слишком ленивы, либо слишком разумны, чтобы беспокоиться из-за каких-то абстрактных религиозных проблем. За то время, что я у них прожил, не было ни одного конклава, ни собора, на котором бы затрагивались и решались принципы веры. Здесь царила, как видно, полная свобода совести. Кто хотел, мог молиться неказистому богу с вислым бутылкоподобным носом и жирными обрубками-руками, кое-как сложенными на груди; а другие поклонялись какому-то священному чурбану, ни на что не похожему и потому едва ли заслуживающему даже названия идола. Островитяне всегда с молчаливым уважением относились к моим собственным взглядам на религию, и я счел бы себя бестактным и невоспитанным человеком, если бы стал любопытничать насчет их веры.

Но хотя мои сведения о местной религии, несомненно, очень ограничены, я обнаружил у них один суеверный обряд, весьма меня заинтересовавший.

В одном из самых удаленных уголков долины Тайпи, по соседству от озера Файавэй — как я окрестил место наших лодочных прогулок, — где в два ряда по обоим берегам ручья растут зеленые пальмы и колышут лиственными рукавами, словно машут вслед бегущей воде, стояла гробница какого-то вождя. Как и все прочие здешние сооружения, она была воздвигнута на небольшой каменной площадке *пай-пай*, однако значительно более высокой, чем бывают *пай-пай* обычно, и потому заметной издалека. Легкая кровля из выгоревших пальмовых листьев венчала ее, словно повисший в воздухе балдахин, — только вблизи видно было, что его поддерживали по углам четыре тонких бамбуковых столбика чуть выше человеческого роста. Вокруг была расчищена небольшая полянка, огороженная четырьмя стволами кокосовых пальм, лежащими на четырех тяжелых краеугольных камнях. Место это было священным. О строжайшем запрете — *табу* предупреждал мистический свиток белой тапы, подвешенный на белом[5] же шнурке к верхушке воткнутого в землю тонкого шеста. И запрет, как видно, ни разу не был нарушен. Здесь стояла

[5] Примечания: 5

Белый цвет на Маркизских островах, видимо, вообще считается священным. (*Примеч. авт.*)

могильная тишина, прекрасен и величав был пустынный покой этих мест, а мягкие тени высоких пальм — о, я вижу их как сейчас! — нависали над затерянным храмом, словно стараясь укрыть его от назойливых солнечных лучей.

Откуда бы вы ни подходили к заповедному месту, гробница усопшего вождя видна была издалека; он сидел на корме боевого челна, укрепленного на подставке чуть выше уровня *пай-пай*. Челнок был футов семи в длину, из какого-то темного красивого дерева, покрытый сложной резьбой и увешанный украшениями из цветной плетеной соломы, в которой кое-где поблескивали морские раковины; ряд таких же раковин тянулся поясом по обоим бортам. Сама фигура вождя — из чего она была сделана, я не знаю — была закутана в мантию из коричневой тапы, виднелись только кисти рук и голова, искусно вырезанная из дерева и увенчанная роскошным плюмажем. Красиво выгнутые перья неустанно колыхались и раскачивались над челом вождя, послушные слабому дуновению морского ветра, проникавшему в этот сокровенный уголок. Концы длинных пальмовых листьев свисали с кровли, и в просветы между ними виден был почивший воин, сжимающий в руках боевое весло,

вероятно, гребущий, — он всем телом подался вперед, наклонив голову; он спешил своим путем. А напротив, не отводя от него вечного взора, прямо в лицо ему глядел человеческий череп, установленный на носу челнока, — словно эта замогильная носовая фигура, повернутая задом наперед, смеялась над нетерпением гребца.

Когда я первый раз попал в это необыкновенное место, Кори-Кори объяснил мне, — во всяком случае, так я его понял, — что вождь плывет в царство радости и хлебных плодов — полинезийский рай, где хлебные деревья ежеминутно роняют на землю спелые шары, а бананы и кокосы всегда имеются в избытке; там целую вечность возлежат на циновках, еще более мягких, чем в долине Тайпи, и каждый день купаются в кокосовом масле, погружая в мягчайшую из жидкостей светящиеся тела. В этой блаженной стране вдоволь перьев, кабаньих клыков и кашалотовых зубов, куда более драгоценных, чем блестящие безделушки и цветная тапа белого человека; и, что самое замечательное, множество женщин, значительно превосходящих прелестями дочерей земли. Словом, прекрасное место, как полагал Кори-Кори, хотя едва ли так уж намного лучше, чем долина Тайпи. Я спросил, не хочется ли ему последовать

туда за этим воином. Да нет, ответил он, ему и здесь хорошо, но когда-нибудь и он, наверное, отправится туда в своем собственном челноке.

Я как будто бы вполне понимал, что говорит Кори-Кори. Но он все время употреблял одно выражение, сопровождая его каким-то особенным жестом, и смысл этого высказывания я никак не мог постичь. Думаю, что это была пословица; я и потом не раз слышал от него эти же слова и, по-моему, в том же самом значении. Вообще, у Кори-Кори было в запасе множество таких кратких складных изречений, которыми он любил украшать беседу, и всякий раз, прибегая к ним, давал понять, что тем самым вопрос исчерпан — лучше и больше тут уж ничего не скажешь.

Может ли статься, что на мой вопрос, не хочет ли он отправиться в райские кущи, где столько хлебных плодов, кокосов и юных красавиц, он ответил изречением вроде нашего, толкующего насчет журавля в небе и синицы в руках? Если так, Кори-Кори, несомненно, весьма рассудительный и умный молодой человек, и у меня не хватает слов, чтобы выразить свое восхищение.

Когда бы ни случилось мне во время прогулок по долине очутиться вблизи этого мавзолея, я неизменно сворачивал с пути, чтобы его посе-

тить: чем-то он притягивал меня. Облокотясь на ограду и подолгу следя за тем, как колышутся роскошные перья над головою удивительного истукана, послушные морскому ветру, тихо гудящему меж высоких пальм, я любил поддаваться очарованию местных поверий и почти видел, что суровый воин в самом деле держит путь в небо. Тогда, собравшись уходить, я желал ему счастливого и быстрого плавания. Греби же, о доблестный вождь, поспешай в страну духов. На земной взгляд, движение твое неприметно, но оком веры я вижу, как твой челн разрезает светлые волны, что катятся, обгоняя тебя, и разбиваются о смутно встающий впереди берег.

Странное это поверье служит лишь еще одним доказательством того, что, как ни мало образован человек, его бессмертную душу все равно неотступно влечет неведомое будущее.

Хотя теологические теории островитян оставались для меня загадкой, их ежедневная религиозная практика была открыта моему наблюдению. Нередко, проходя мимо маленьких кумирен, приютившихся под тенью Священных рощ, я видел принесенные жертвы: загнившие плоды, разложенные на простом алтаре или висящие в разваливающихся корзинах вокруг грубого,

неказистого идола; я побывал на празднике; я ежедневно созерцал оскаленных богов, выстроенных в шеренгу на площадке *хула-хула*; я часто встречался с людьми, которых имел все основания считать жрецами. Но кумирни были явно заброшены; трехдневное празднество оказалось всего лишь веселым сборищем, идолы — не опаснее любых других поленьев, а жрецы — первыми весельчаками в долине.

Словом, надо признаться, что религия у тайпийцев была не слишком-то в моде: божественные проблемы мало занимали легкомысленных обитателей долины, а справляя свои многочисленные праздники, они просто искали в них для себя развлечений.

Забавным доказательством этого был один обряд, который часто исполнял Мехеви вместе со многими другими вождями и воинами; но я никогда не видел, чтобы в нем принимали участие женщины.

Среди тех, кого я причислял к духовному сословию долины, был один, особенно привлекавший мое внимание; я считал, что он не иначе как глава этого сословия. Это был величественного вида человек в расцвете лет и сил, со взглядом снисходительным и добрым. Звали его Колори. По тому,

какой властью он пользовался, как заправлял Праздником тыкв, как гладко и невозмутимо было его лицо, какие мистические знаки были вытатуированы по всему его телу, и прежде всего по тому, что он часто носил нечто вроде митры — высокий головной убор, состоящий из целой кокосовой ветви, прямо подымающейся над теменем, листья которой пропущены за ушами и собраны на затылке, — по всему этому я угадал в нем лорда-архиепископа долины Тайпи.

Колори был вроде рыцаря-храмовника, священник и в то же время воин, он нередко щеголял в маркизском боевом облачении и всегда имел при себе длинное копье, снизу оканчивающееся не веслом, как у других, а маленьким препротивным болваном. Очевидно, оно служило эмблемой его двойственной роли. Одним концом в битве телесной он разил врагов своего племени, а другим, словно крючковатым пастушьим посохом, наводил и блюл порядок в своем духовном стаде. Но это еще не все, что я могу рассказать о Колори. Его воинственное преосвященство обычно носил с собой некий предмет, напоминавший сломанную боевую дубинку. Рукоять была запеленута обрывками белой тапы, а толстый конец, который должен был изображать

человеческую голову, украшал малиновый лоскут европейского производства. Не требовалось особой проницательности, чтобы понять, что предмет этот почитался как божество. Рядом с большими свирепыми идолами-хранителями алтарей на площадке *хула-хула* он казался просто пигмеем в тряпочке. Но видимость во всем мире обманчива. Люди маленького роста обладают иногда великим могуществом, а рваные одежды нередко прикрывают безграничное честолюбие. Так и этот смешной болванчик был на самом деле излюбленным богом островитян, поправшим всех этих нескладных деревянных истуканов с их грозными, свирепыми физиономиями; имя его было Моа Артуа[6]. Забавная церемония, о которой я собираюсь рассказать, устраивалась в его честь и для развлечения тех, кто в него верит.

Итак, полдень. Мехеви и старейшины дома *Тай* только что пробудились от дневного сна. Никаких государственных дел сегодня нет; а для обеда отцы долины, съевшие по два-три завтрака в течение утра, еще не нагуляли аппетит. Чем же занимают они свои свободные мгновения? Курят. Болтают. Наконец кто-нибудь вносит пред-

[6] Примечания: 6

Слово «Артуа», помимо других значений, почти во всех полинезийских наречиях служит общим названием для божества. (*Примеч. авт.*)

ложение, которое все с радостью принимают, он выбегает из дома, соскакивает с *пай-пай* и исчезает в роще. Скоро он возвращается вместе с Колори, который несет, прижав к груди, бога Моа Артуа и в руке еще держит корытце, выдолбленное в виде челнока. Священнослужитель качает на руках свою ношу, словно расплакавшегося младенца, которого хочет утешить и развеселить. Вот он входит под крышу *Тай*, усаживается на циновки со сдержанным видом фокусника, собравшегося показать свое искусство; старейшины рассаживаются перед ним в кружок, и обряд начинается.

Прежде всего он нежно обнимает Моа Артуа, укладывает его у своей груди и что-то шепчет ему на ухо; остальные, затаив дыхание, ждут ответа. Но малютка бог то ли нем, то ли глух, а может, он и вовсе глухонемой, во всяком случае от него не дождешься ни слова в ответ. Колори слегка повышает голос и, наконец разозлившись и уже не таясь, прямо орет на него. Он напоминает раздражительного господина, который хочет сообщить кое-что по секрету глухому человеку, это ему никак не удается, и он кончает тем, что приходит в ярость и кричит свой секрет во всю глотку, так что каждый может услышать. Но Моа Артуа по-прежнему безмолвствует; и Колори выходит

из себя, он дает ему звонкую пощечину, сдирает с него пеленки из тапы и красный лоскут и, голого, уложив в корытце, плотно закрывает сверху. Остальные всячески выражают ему свое одобрение, на все лады с восторгом повторяя эпитет «мортарки». Однако Колори желает заручиться безусловным одобрением каждого и опрашивает всех по очереди, согласны ли они, что он, при сложившихся обстоятельствах, правильно поступил, убрав с глаз Моа Артуа. Неизменный ответ «аа, аа» (да, да) повторяется столько раз, что у самого щепетильного человека совесть должна успокоиться. Затем, через несколько минут, Колори вновь извлекает на свет свою куклу, аккуратно наряжает ее снова в белую тапу и малиновый лоскут, попеременно лаская и браня ее при этом. Когда туалет закончен, он опять что-то громко говорит своему богу. Все присутствующие оживляются и с большим интересом выслушивают долгожданный ответ, который сообщает Колори, поднеся Моа Артуа к уху и делая вид, будто повторяет вслух то, что бог сообщает ему по секрету. Кое-что в его ответе очень их забавляет — один радостно хлопает в ладоши, другой весело вскрикивает, третий вскакивает и начинает носиться вокруг точно сумасшедший.

Что именно объявлял бог Моа Артуа своему служителю Колори, я разузнать не мог; но мне, право же, казалось, что у него довольно слабая воля, раз его наказанием можно заставить признаться в том, о чем он поначалу намерен был умолчать. Верил ли сам жрец, что честно передает слова своего бога, или же он просто ломал комедию и гнусно притворялся, этого я решить не берусь. Одно могу сказать: известия, поступающие от божества, неизменно были присутствующим приятны — обстоятельство, доказывающее проницательность Колори, а может быть, приспособленческие наклонности совсем замордованного Моа Артуа.

Узнав от Моа Артуа все, что было нужно, его служитель снова принимается качать божка у груди, но обычно бывает остановлен кем-нибудь из присутствующих воинов, также желающих задать божеству вопрос. Колори снова подносит свое детище к уху, внимательно слушает и снова служит ему переводчиком. Таким образом задается множество вопросов, и на них получается такое же множество ответов, всегда к большому удовлетворению спрашивающего. Наконец уставшего бога любовно укладывают в люльку-корытце, Колори затягивает длинную песню,

и все ему дружно подпевают. С песнопением кончается и весь обряд; вожди, очень довольные, встают, и лорд-архиепископ Колори после короткой приятной беседы и двух-трех затяжек из трубки, сунув люльку с богом под мышку, удаляется.

Все это было очень похоже на игру детей в куклы и кукольные домики.

Для ребенка, не более десяти дюймов ростом и явно воспитывавшегося в не слишком благоприятных условиях, Моа Артуа, безусловно, был настоящим вундеркиндом, если он в самом деле говорил все то, что провозглашалось от его имени. Но пусть даже так, почему этого бедного божка, запугиваемого, задабриваемого и укладываемого в корытце, почитали выше взрослых и солидных обитателей Священных рощ, — это выше моего разумения. Однако Мехеви и многие другие вожди, заслуживающие полного доверия, — не говоря уже о самом архиепископе — утверждали, что Моа Артуа — бог-покровитель всей долины Тайпи и достоин куда большего поклонения, чем целый батальон культяпых идолов, выстроенный на площади *хула-хула*. И мой Кори-Кори, который, надо полагать, разбирался в вопросах теологии, — во всяком случае он знал по именам

всех истуканов в долине и часто их мне называл — также придерживался преувеличенного мнения о достоинствах и влиятельности Моа Артуа. Он дал однажды мне понять с помощью красноречивых жестов, не оставляющих сомнений в смысле его слов, что, если он (Моа Артуа) только пожелает, у него (Кори-Кори) на голове легко может вырасти целая кокосовая пальма и что ему (Моа Артуа) ничего не стоит взять в рот весь остров Нукухива и нырнуть с ним на дно морское.

Но, говоря с полной серьезностью, я ничего не понял в здешней религии. Вот и достославного капитана Кука, кажется, ничто так не озадачило при знакомстве с обитателями тихоокеанских островов, как их священные обряды. Хотя этот король мореплавателей располагал иногда даже помощью переводчиков для своих изысканий, тем не менее он честно признается, что совершенно не сумел сколько-нибудь ясно разобраться в темных тайнах их веры. Сходные признания есть и у других выдающихся путешественников: Картерета, Байрона, Коцебу и Ванкувера.

Так и для меня, хоть, кажется, не проходило дня за то время, что я жил на острове, чтобы я не был свидетелем той или иной религиозной церемонии, — для меня это было все равно что

присутствовать при встрече франкмасонов, делающих друг другу тайные знаки: видать видел, но ничего не понял.

В целом я склонен считать, что у жителей тихоокеанских архипелагов нет твердых и ясных религиозных представлений. Право, я думаю, даже сам Колори развел бы руками, попроси его кто-нибудь составить символ веры и изложить заповеди вечного спасения. Тайпийцы, насколько можно судить по их действиям, вообще не знают никаких законов, ни божеских, ни человеческих, если, конечно, не считать трижды таинственного *табу*. Полноправные граждане долины Тайпи не позволяют собой командовать ни вождям, ни жрецам, ни идолам, ни злым духам. Что до идолов, то эти бедняги куда привычнее к щелчкам и зуботычинам, чем к молитвам. Ничего удивительного, что они имеют такой подавленный вид и сидят так противоестественно прямо — боятся, наверное, покоситься в сторону и кого-нибудь рассердить. Посидишь тут как миленький. Здешние идолопоклонники — народ такой легкомысленный и непочтительный, что, того и гляди, возьмут и повалят, не посмотрят на свирепый оскал, разрубят на куски да на алтаре же и сожгут, изжарят жертвенные плоды и съедят

все за милую душу.

Какое пренебрежительное отношение было у тайпийцев к этим незадачливым божествам, наглядно показал мне один случай. Однажды я гулял с Кори-Кори по Священным рощам и вдруг в одном из дальних уголков увидел странного истукана футов шести ростом, который некогда стоял навытяжку перед невысокой *пай-пай*, увенчанной бамбуковым храмом-развалюшкой, а теперь, видно, притомился и что-то ослаб в коленках — привалился к ней самым безответственным образом. Мне было плохо его видно сквозь листву дерева, которое склоняло свои пышные ветви над ветхой кумирней, словно хотело уберечь ее от быстрого распада. Подойдя, я его разглядел: это было обыкновенное бревно, смешно обтесанное в виде голого человека, поднявшего и сцепившего руки над головой, широко разинувшего рот и стоящего на толстых бесформенных, в дугу выгнутых ногах. Он тоже разрушался. Нижняя его половина поросла ярко-зеленым шелковистым мхом, длинные тонкие травинки свисали из разинутого рта, из-за ушей и плеч. Что называется, заплесневел от старости. Все выступающие части его божественного тела пообились, искрошились, сгнили. Нос являл свое блистательное отсутствие,

и общее впечатление от лица было такое, будто деревянный бог, обидевшись на равнодушие тех, кто должен был ему поклоняться, некоторое время бился головой о стволы ближних деревьев.

Я захотел еще поближе разглядеть этот удивительный объект идолопоклонства, однако почтительно остановился в двух или трех шагах из уважения к религиозным предрассудкам Кори-Кори. Каково же было мое удивление, когда мой телохранитель, увидев, что на меня снова нашел исследовательский стих, подскочил к истукану и, отвалив от стенки, попытался поставить его на ноги! Но божественные ноги совсем отказали, и, пока Кори-Кори возился сзади, пробуя вставить палку-подпорку между стеной *пай-пай* и лопатками идола, чудище покачнулось и повалилось ничком на землю и обязательно сломало бы себе шею, если бы Кори-Кори не успел, к счастью, подставить ему свою многострадальную спину. Как тут рассвирепел честный малый! Он вскочил, взял палку и принялся колотить бедного бога, то и дело прерывая избиение, чтобы самым суровым образом отчитать его за это происшествие. Когда гнев его слегка утих, он грубо ухватил старого идола и стал вертеть передо мною, чтобы я мог осмотреть его со всех сторон. Честное слово, я

сам никогда не позволил бы себе такого вольного обращения с богом и был прямо-таки поражен святотатством Кори-Кори.

Случай этот говорит сам за себя. Если уж простой туземец даже не духовного звания может так пренебрежительно обращаться с престарелым и достопочтенным жителем Священных рощ, нетрудно представить себе, как у них там вообще относятся к делам веры. Я лично считаю, что тайпийцы в этом смысле шагнули далеко назад. Они погрязли в лени и нуждаются в духовном возрождении. Долгие годы изобилия хлебных плодов и кокосовых орехов сделали их нерадивыми в соблюдении высшего долга. Гниль разъедает старых деревянных идолов, плоды на их алтарях источают не ароматы, но мерзкий запах разложения, крыши над кумирнями прохудились: татуированные пастыри разленились и ни о чем не заботятся, и овцы их разбрелись кто куда.

XXV

Многие интересовавшие меня вещи так и остались для меня непонятными, но все же такое знаменательное событие, как трехдневный Праздник тыкв, дало мне немало новых сведений о жизни тайпийцев.

Особенное впечатление на меня произвела мощь и красота их обнаженных тел, в чем они несравненно превосходят обитателей ближней долины Нукухива, а также странное разнообразие у них в оттенках кожи.

Я не знаю никого, кто мог бы сравниться с этими людьми стройностью и совершенством форм. Во всей толпе на празднике я не видел ни одного убогого или урода. Встречались у мужчин шрамы от ран, полученных в битвах, иногда, но очень редко, у кого-то не хватало пальца, или глаза, или всей руки — также боевые увечья. Но если не считать этого, тела островитян были совершенно лишены пороков, даже пятен на коже, какие порой уродуют самого красивого человека. Но их физическое совершенство не исчерпывалось отсутствием этих болезненных следов и знаков — из них любой, кажется, мог бы служить моде-

лью скульптору.

При мысли о том, что островитяне не пользуются одеждой, но предоставляют судить о себе во всей своей природной наготе, я поневоле сравнивал их со щеголями и модниками, которые прогуливаются по нашим бродвеям. Попробуй лиши их покрова всех этих хитрых портновских измышлений и оставь в костюме Адама — что за жалкое, узкоплечее, жидконогое, тонкошеее ничтожество оказывается этот цивилизованный человек! Накладные икры, подложенные плечи, научно скроенные панталоны будут тогда бесполезны, и результат объявится самый что ни на есть плачевный.

Всего более в наружности туземцев поражала меня белизна их зубов. В модных романах зубки героини обычно сравниваются со слоновой костью; но я смело заявляю, что у тайпийцев зубы были гораздо красивее слоновой кости. Челюсти седобородых старцев были уснащены куда богаче, чем челюсти многих юнцов в цивилизованных странах; и у молодых, и у пожилых они были чистоты и белизны поистине ослепительной. Удивительную эту белизну зубов следует приписать строгой овощной диете и размеренному здоровому образу жизни на лоне природы.

Мужчины почти все без исключения высокого роста, редкие из них не достигают шести футов, тогда как представительницы слабого пола удивительно миниатюрны. Заслуживает также упоминания ранний возраст, когда человеческий организм достигает зрелости под этими благодатными тропическими небесами. Здесь можно увидеть девочку лет тринадцати — в прочих отношениях почти ребенка, — кормящую грудью собственного младенца, а мальчишки, которые в менее благоприятном для развития климате ходили бы в школу, здесь солидные отцы семейства.

С первых же дней, как я очутился в долине Тайпи, меня поразило, насколько ее обитатели отличаются от жителей покинутой мною Нукухивы. Мужское население там не слишком мне нравилось, хотя женщин, за исключением отдельных воистину печальных случаев, я находил восхитительными. Мне пришлось убедиться, что даже краткое общение с европейцами успело оставить у жителей Нукухивы свои неизгладимые следы. Одна из отвратительных язв человечества начала хозяйничать и здесь, и симптомы ее, как обычно в Южных морях, были ужасны. Эта, равно как и прочие иноземные бо-

лезни, была совершенно неизвестна в закрытой для чужаков долине Тайпи. И право же, для ее жителей лучше навсегда остаться, как сейчас, блаженными язычниками и варварами, чем, подобно злосчастным обитателям Сандвичевых островов, стать христианами лишь по имени, так и не познав главного смысла истинной религии и между тем сделавшись жертвами худших зол и пороков цивилизованной жизни.

Но помимо этих обстоятельств имеется, как я полагаю, существенная разница между помянутыми двумя народами, если вообще они не принадлежат к различным человеческим расам. Те, кто только заходили в залив Нукухива и не бывал в других частях острова, не могут себе представить, сколь не похожи одно на другое эти мелкие племена, населяющие один небольшой остров. Причина этого явления — наследственная, веками не прекращающаяся межплеменная вражда.

Не так легко найти объяснение бесконечному разнообразию оттенков кожи у жителей долины Тайпи. Во время праздника я заметил несколько девушек, у которых кожа была едва ли желтее, чем у белолицых саксонских красавиц; разве только чуть заметный налет смуглоты

составлял разницу. Такая белокожесть, в значительной степени природная, отчасти создана искусственными мерами, а также постоянной и полной защитой от воздействия солнечных лучей. Большой любовью как косметическое средство пользуется у жительниц долины Тайпи сок корня *пэйпа*, произрастающего в изобилии на склонах гор, — им многие женщины ежедневно натираются с головы до ног. Регулярное его употребление, как считается, делает кожу белой и красивой. Девушки, прибегающие к этому препарату, строго оберегают себя от солнца — задача, впрочем, не слишком сложная, потому что нет, кажется, участка в населенной части долины, над которым не колыхался бы тенистый свод ветвей, так что можно идти от дома к дому, не уклоняясь с прямой дороги, и ни разу не увидеть на земле собственной тени.

Натеревшись соком *пэйпа*, его оставляют на коже в течение нескольких часов, а так как он светло-зеленого цвета, то и сама дама приобретает на время зеленоватый оттенок. Трудно себе представить зрелище более странное, чем такая полуобнаженная красавица, прибегнувшая к этому прославленному косметическому средству. Ее можно принять за какой-нибудь недоспелый

овощ, и хочется из вечной тени выставить ее на солнце, чтобы дозрела как следует.

Островитяне вообще любят притирания и умащивания, женщины предпочитают соки *эйка* или *пэйпа*, а мужчины употребляют кокосовое масло. Мехеви, например, обожал мазаться им с головы до ног. От всего его тела исходил густой кокосовый аромат, а вид подчас бывал такой, словно его только что выловили из чана мыловара или окунали, как фитиль при изготовлении свечей, в расплавленный воск. В этом, очевидно, а также в частых купаниях и вообще редкой чистоплотности кроется отчасти секрет удивительной, безупречной гладкости, какой отличается кожа островитян.

Преобладающим оттенком кожи у женщин долины был светло-оливковый — прелестным образчиком в этом роде могла служить юная Файавэй. Были женщины смуглее, встречались и совершенно золотистые, а были и почти черные.

В подтверждение вышеизложенного я могу сослаться на открывшего эти острова Менданью, который писал, что аборигены здесь необыкновенно красивы и очень похожи на жителей Южной Европы. Первым из увиденных Менданьей островов был Ла-Мадалена, находящийся

неподалеку от Нукухивы; обитатели этих двух островов, как и всего архипелага, имеют между собой большое сходство. Фигероа, летописец плавания Менданьи, рассказывает, как в то утро, когда была замечена земля, навстречу испанцам, приблизившимся к берегу, вышла целая флотилия из семидесяти челнов, а многие островитяне (женщины, надо полагать) прямо с берега пустились к кораблям вплавь. Он прибавляет: «…цветом они были почти белые, телом стройные и сильные и на коже имели изображения рыб и иные начертания». Дальше старый испанец пишет так: «Среди прочих в одном челне подплыли двое юношей, которые налегали на весла, не отводя взоров от корабля; лица их были столь прекрасны и столь освещены живостию ума, и всем видом они оба были так хороши, что наш капеллан, как он сам мне признался, испытал горчайшее в своей жизни сожаление оттого, что принужден был покинуть таких благородных сынов человеческих на этой богом забытой земле».

Более двухсот лет прошло с тех пор, как были начертаны эти строки, но и теперь, когда я их перечитываю, они звучат для меня свежо и правдиво, будто вчера написаны. Островитяне с тех пор не изменились; я тоже встречал в долине

Тайпи юношей, чьи «прекрасные черты лица, освещенные живостию ума», надо видеть своими глазами, чтобы оценить по достоинству. Кук, описывая свое путешествие, также называет жителей Маркизских островов красивейшим из тихоокеанских народов. Стюарт, капеллан американского корабля «Венсан», в книге «Путешествие по Южным морям» неоднократно выражает восхищение необыкновенной красотой здешних женщин и утверждает, что девушки Нукухивы поразили его сходством со знаменитыми красавицами у него на родине. Другой небезызвестный американский моряк — Фаннинг — также отмечает благоприятное впечатление, произведенное на него обликом этого племени; а Дэвид Портер, комендор американского фрегата «Эссекс», как рассказывают, был совершенно покорен прелестью островитянок. Все, кто посетят основные архипелаги Тихого океана, бывают поражены тем, насколько жители Маркизских островов превосходят красотой остальных полинезийцев. Одних только сладострастных таитян можно было бы еще поставить с ними рядом; а темнокожие гавайцы или мелкокурчавые фиджийцы не идут ни в какое сравнение. Особенностью маркизцев, неизменно поражающих приезжего, является

европейский склад их лица — черта, весьма редкая среди других нецивилизованных народов. У многих встречается классический правильный профиль, и нескольких людей в долине Тайпи, как, например, моего нового знакомца Марну, можно было признать во всех отношениях образцами красоты.

Кое-кто из тайпийцев на Празднике тыкв щеголял разрозненными принадлежностями европейского костюма, нашедшими, впрочем, у них свое особое применение. Так, я узнал два отреза ситца, которыми мы с бедным Тоби одарили своих юных провожатых в день нашего появления в долине. Их, очевидно, приберегли для парадного случая, и теперь, на празднике, их молодые владельцы обращали на себя всеобщее внимание. Среди островитян мало кто мог похвастаться таким нарядом: самые пустяковые и обычные предметы в долине Тайпи ценились необычайно высоко, и это было красноречивым свидетельством того, как редко здесь завязывали отношения с приходящими на остров кораблями. Я увидел лишь несколько носовых платков, повязанных вокруг шеи, да полоски цветастого ситца вместо набедренных повязок.

В долине Тайпи вообще редко можно было

увидеть какую-нибудь вещь европейского происхождения: кроме упомянутых выше тряпок я могу назвать, пожалуй, только шесть мушкетов в доме *Тай* да еще три-четыре подобных же боевых орудия, висевших на стенах в других домах; несколько парусиновых мешочков, в которых было понемножку пороха и пуль на дне; да, наверное, с десяток старых абордажных топориков без топорищ, выщербленных и затупленных настолько, что проку от них не могло быть никакого. Туземцы их ценили мало; передо мной часто помахивали таким топориком и тут же с отвращением его отбрасывали, показывая, как здесь презирают столь недолговечные орудия.

Другое дело — мушкеты, порох и пули; на них тайпийцы разве что не молились. Огнестрельным этим орудиям, судя по их ветхости и архаичности, место было в музее. Помню особенно один из мушкетов, висевших в доме *Тай* — как-то Мехеви, у которого и в мыслях не было, что я не разбираюсь в антикварном оружии, вложил его мне в руки с тем, чтобы я его починил. Это был тяжелый и нескладный английский мушкет бог знает какого древнего образца, быть может забытый на острове еще Уоллисом, Картеретом, Куком или Ванкувером. Ложе его было трухлявое,

поточенное червем, затвор поржавел и столь же мало приспособлен был для своего первоначального назначения, как старая дверная петля; нарезка болтов и курка сбилась вовсе; дуло болталось туда-сюда. Таково было это оружие, которое вождь поручал мне привести в состояние боевой готовности. К сожалению, я не был оружейных дел мастером да и не располагал необходимым инструментом, поэтому я вынужден был признаться Мехеви в своем бессилии. Мехеви при этом неожиданном известии посмотрел на меня так, словно готов был счесть меня неполноценным белым человеком, который, оказывается, знает немногим больше тайпийца. Мне с трудом удалось втолковать ему, каким трудным было его поручение. И все-таки он обиженно удалился со своим древним мушкетом, словно не хотел больше ни минуты подвергать свое сокровище надругательству, оставляя его в руках такого несведущего человека, как я.

В дни праздника я не мог не обратить внимание на необыкновенную простоту нравов, полную свободу и непринужденность, во многом полное равенство между туземцами. Никто из них не важничал. Вожди почти ничем не отличались по виду от остальных. Все были вместе, общались

друг с другом свободно, без каких-либо ограничений; но я заметил, что пожелания вождя, высказанные в тоне самом дружеском и мягком, исполнялись со строгой поспешностью, с какой в другом месте подчиняются только властному приказанию. Далеко ли распространяется власть вождей в этом племени, я определить не берусь; но по всему, что мне приходилось видеть, в делах общего благосостояния она, мне кажется, невелика. Правда, необходимые знаки почтения им оказывают охотно, с радостью, и, так как принадлежность к касте вождей передается от отца к сыну, высокое рождение здесь, как и всюду, ценится и уважается.

Общественное устройство на Маркизских островах и в этом отношении можно считать прямо противоположным тому, что наблюдается на Таити и Гавайях, где власть царей и старейшин испокон веку была гораздо деспотичнее власти любого тирана в цивилизованном мире. На Таити человек из низшего сословия карался смертью, если без высочайшего на то изволения вступал в тень от царского дома; или если не оказывал должного почтения проносимому мимо него блюду с пищей для царского стола. На Сандвичевых островах вдовствующая царица Каахуману — ги-

гантская женщина чуть не в четыреста фунтов весом, которая и по сей день еще, говорят, жива в Моуи, — имела привычку, когда на нее находила ярость, хватать обидчика, человека обыкновенного роста, и переламывать ему хребет о свое колено. Звучит неправдоподобно, но, уверяю вас, это правда. Мне как-то в Лахайналуне — резиденции этой чудовищной Иезавели — показали одного горбуна, который лет за двадцать пять до того претерпел серьезный перелом позвоночника от рук своей любезной госпожи.

Какая иерархия существует среди старейшин Тайпи, я тоже точно не знаю. До Праздника тыкв я даже затруднялся определить, кто такой, собственно, у тайпийцев Мехеви. Но выдающаяся роль, которую он играл на торжествах, убедила меня, что среди жителей долины нет никого главнее, чем он. Я и раньше замечал, что, с кем бы он ни разговаривал, к нему всегда обращались с некоторой почтительностью; но я знал, что в других частях долины, ближе к морю, живут другие вожди, кое-кто из них даже навестил меня в доме Мархейо, хотя в обществе Мехеви я их никогда не видел, и до праздника я думал, что, может быть, и он просто один из таких вождей и никакого особо высокого поста не занимает.

Однако на торжества в Священные рощи сошлись все воины долины, которых я встречал раньше только поодиночке или небольшими группами. И Мехеви явно выделялся среди них как лицо, облеченное высшей властью. Тот, кто был в моих глазах до сих пор только гостеприимным хозяином дома *Тай* и одним из военных вождей племени, явился мне теперь во всем блеске монаршего сана. Особый наряд и величественная осанка выделяли его среди всех. Его роскошный шлем из перьев возвышался над толпой, и у других вождей тоже имелись подобные головные уборы, но ни у кого перья не были такими длинными и великолепными.

Да, Мехеви был первым среди вождей — он был главой всего племени, верховным властителем долины Тайпи; и лишь удивительная простота общественных нравов этого народа послужила причиной того, что я столько времени был с ним знаком, виделся с ним всякий день, но даже и не подозревал, с кем я, в сущности, имею дело. Теперь я наконец прозрел. Дом *Тай* был в действительности королевским дворцом, а Мехеви — королем, правда в самом простом и патриархальном духе, без какой-либо помпезности, обычно окружающей порфироносца.

Придя к такому открытию, я не мог не поздравить себя с тем, что Мехеви с самого начала счел возможным взять меня под свое монаршее покровительство и, насколько можно судить, по-прежнему питает ко мне дружеские чувства. И я решился в будущем самым усердным образом выказывать ему почтение, рассчитывая рано или поздно через его дружбу достигнуть желанной свободы.

XXVI

Король Мехеви! Звучит превосходно. Разве я не вправе почтить этим титулом первого человека в долине Тайпи? В Гонолулу на острове Оаху миссионеры-республиканцы строго следят, чтобы в «Придворной газете» регулярно печатались все новости о «его величестве короле» Камеамеа Третьем и об «их королевских высочествах, принцах крови». А кто таков этот «его величество король» и что это за «королевская кровь»? «Его величество» — это жирный, тупой, негритянского вида болван, такой же бесхарактерный, как и безвластный. Он утратил благородные свойства варвара, не приобретя взамен ни одного из достоинств цивилизованного человека, и, будучи почетным членом Гавайского общества трезвости, больше всего любит уже с утра пораньше закладывать за галстук.

Его «королевская кровь» — весьма густая и низкосортная жидкость, образованная главным образом из сырой рыбы, дрянного виски и европейских сластей и несущая в себе желчную заразу бешенства, проступающую пятнами и нарывами на августейшем лице самого «королевского

величества», а также на ангельских личиках «принцев и принцесс крови».

Если уж этой дурацкой игрушке в руках губернатора Сандвичевых островов присвоен королевский титул, можно ли отказать в нем благородному дикарю Мехеви, который в тысячу раз его достойнее? Славься же, Мехеви, король каннибальской долины, многая лета Его Тайпийскому Величеству! Да хранят небеса этого непримиримого врага Нукухивы и французов, если есть надежда, что такая непримиримость убережет его цветущее королевство от страшных язв насажденной цивилизации.

До того как я увидел танец вдов, мне вообще не было известно о существовании у тайпийцев каких-либо матримониальных связей, уж скорее я мог бы вообразить здесь платоническую любовь, чем священные узы брака. Правда, между старым Мархейо и Тайнор чувствовалось какое-то вполне супружеское взаимопонимание; однако я нередко наблюдал, как один забавный старичок в потертом костюме из выцветшей татуировки позволял себе весьма недвусмысленные вольности в обращении с почтенной матроной — и все это в присутствии ее супруга, старого воина, который глядел как ни в чем не бывало со своим

всегдашним добродушным видом. Долгое время, пока я не сделал новых открытий, многое мне объяснивших, такое странное поведение озадачивало меня более всего виденного в долине Тайпи.

Мехеви, например, я считал закоренелым холостяком, так же как и большинство остальных старейшин. Во всяком случае, если у них и были жены и дети, то это просто стыд и позор: никто из них не уделял собственным семьям никакого внимания. Мехеви представлялся мне председателем некоего общества забубенных весельчаков, устроивших себе в доме *Тай* роскошный «холостяцкий клуб». Дети здесь, само собой разумеется, рассматривались как досадная помеха счастью, а прелести домашнего очага никого не манили, о чем свидетельствовало строгое недопущение хозяйкиного глаза и хозяйкиной щетки в их приют повес. Впрочем, многих из этой веселой компании я подозревал в том, что они постоянно заводят любовные шашни с девушками племени, хотя вслух ни в чем таком не признаются. Я несколько раз натыкался на Мехеви, когда он резвился — весьма несолидно для короля — в обществе одной из самых очаровательных проказниц в долине. Она жила со старухой и

каким-то юношей неподалеку от дома Мархейо и, хотя сама была еще почти ребенок, кормила годовалого крепыша, очень похожего на Мехеви, которого я, не задумываясь, счел бы его отцом, да только вот у малыша не было на лице треугольника, — впрочем, и то сказать, ведь татуировка не передается по наследству. Однако Мехеви был не единственным, к кому благоволила красавица Мунуни, — пятнадцатилетний паренек, живший с нею под одной крышей, тоже, безусловно, пользовался ее расположением. Иногда я видел, как они с королем ухаживали за нею одновременно. Возможно ли, недоумевал я, чтобы доблестный военачальник поступался толикою того, что мило ему самому? Это тоже было загадкой, нашедшей разрешение впоследствии.

На второй день Праздника тыкв Кори-Кори, желавший во что бы то ни стало просветить меня на этот счет, после долгих и пространных объяснений указал мне на одну особенность, отличающую многих женщин — главным образом солидных матрон зрелого возраста. Кисть правой руки и левая нога до щиколотки у них покрыты сложной татуировкой, а все остальное тело совершенно свободно от красот этого искусства, если не считать точек на губах и небольших полосок

вдоль плеч, описанных мною там, где я привел портрет Файавэй. Такие украшения на ноге и на руке служили, по словам Кори-Кори, почетным знаком супружества, насколько этот весьма полезный институт известен среди островитян. Они выполняют то же назначение, что и гладкие золотые кольца наших прекрасных половин.

После подобного открытия я некоторое время старался быть изысканно-почтительным со всеми особами дамского пола, у которых имелись такие знаки, и, боже упаси! не позволял себе ни с одной ничего даже отдаленно похожего на заигрывание. Оскорбить замужнюю женщину? Нет уж, меня увольте!

Однако более близкое знакомство с домашним укладом жителей долины в значительной мере поколебало мою щепетильность и убедило меня в ошибочности некоторых моих выводов. У островитян оказалась развитая система полигамии, однако весьма своеобразного свойства: во множестве не жены, а мужья. Один этот факт объясняет неизмеримо много в любезном поведении мужчин. В самом деле, где еще могло бы существовать такое? Представьте себе революцию в турецком серале: гарем — обитель бородатых мужей; или вообразите у нас в стране красавицу,

которая не знает, что ей делать с толпой своих любовников, перерезающих друг другу глотки из ревности, потому что она недостаточно справедливо распределяет между ними свои милости. Боже избави нас от такой оказии! У нас для этого недостанет ни терпимости, ни прямой доброты.

Мне не довелось выяснить, какой церемонией сопровождается заключение брачного контракта, — вероятнее всего, самой простой. Я думаю, как говорят у нас, лишь только «всплывает вопрос», и он сразу же разрешается установлением супружеских отношений. По крайней мере, насколько я мог судить, скучного жениховства в долине Тайпи не знают.

Мужчин здесь значительно больше, чем женщин. Это же относится к большинству островов Полинезии, хотя в цивилизованных странах наблюдается явление обратное. В самом раннем возрасте девушки отдают свою любовь кому-либо из молодых обитателей своего же дома. Впрочем, это детское увлечение, к нему серьезно никто не относится. Когда первая страсть слегка поутихнет, появляется второй поклонник, постарше, и забирает молодую пару жить к себе. Он словно женится сразу и на девице, и на ее возлюбленном, и все втроем они живут-поживают в любви

и согласии.

Мне приходилось слышать, как в цивилизованных странах, неосмотрительно женившись, иногда получают в приданое за женой большую семью, но я и не подозревал, что существует место, где в приданое берут еще запасных мужей. Неверность с той и с другой стороны — явление крайне редкое. Ни у кого из мужчин не бывает больше чем по одной жене, и каждая жена в зрелых годах имеет по меньшей мере двух мужей, случается и трех, но не часто. Узы брака не считаются нерасторжимыми, бывает, что супруги расходятся. Однако разводы никому не причиняют горя и не предваряются мучительными дрязгами; ведь обиженная жена или затравленный муж не должны для получения развода обращаться в судебные инстанции. Потому семейное ярмо никому не в тягость и не причиняет неудобств, и тайпийская жена поддерживает со своими мужьями самые добрые дружеские отношения. В целом можно сказать, что брак у тайпийцев имеет природу более определенную и устойчивую, чем у других варварских народов. Губительный промискуитет тем самым не допускается, и добродетель без громких деклараций торжествует.

Контраст, существующий в этом отношении между Маркизскими островами и остальными тихоокеанскими архипелагами, разителен. На Таити брака вообще не знали, не понимали, что значит «муж и жена», «отец и сын». «Арреорийское общество» — одно из самых своеобразных учреждений на земле — способствовало распространению на острове поголовной совершенной безнравственности. А природное сластолюбие этого племени придало вдвойне разрушительную силу болезни, которую завезли туда в 1768 году корабли де Бугенвиля. Она свирепствовала на острове, как чума, унося сотни человеческих жизней.

Однако, хотя в долине Тайпи брак и существует, библейское предписание плодиться и размножаться выполняется не очень прилежно. Я не встречал там огромных, разрастающихся в арифметической и даже геометрической прогрессии семейств, какие сплошь и рядом попадаются у нас. Больше двух детей под одним кровом мне наблюдать не доводилось, да и это было редкостью. По здешним женщинам сразу видно, что труды и заботы материнства не слишком тревожат их душевный покой; здесь не бывает такого, чтобы обремененная заботами мамаша бежала

куда-нибудь по делам, а за подол ее, вернее, за лист хлебного дерева, который здесь носят вместо турнюра, цеплялось с полдюжины малолеток.

Процент прироста населения во всей Полинезии очень мал; в некоторых местностях, еще не затронутых общением с европейцами, количество рождений почти не превышает количества смертей. Число людей в таких местах остается неизменным из поколения в поколение, даже если здесь не бывает опустошительных войн и неизвестен преступный обычай детоубийства. Кажется, само Провидение позаботилось о том, чтобы на островах не расплодилось слишком это племя, не обладающее необходимым для возделывания земли трудолюбием и обреченное в случае увеличения своей численности на самое бедственное прозябание. За то время, что я прожил в долине Тайпи, я видел у местных жителей не более десятка младенцев моложе полугода, и при мне родилось еще двое.

Именно отсутствием брака объясняется быстрое уменьшение числа жителей на Сандвичевых островах и Таити, которое наблюдается в настоящее время. Пороки и болезни, завезенные белыми людьми, год от года увеличивают смертность среди этих злосчастных племен, а рождаемость по

тем же причинам из года в год падает. И гавайцы с таитянами движутся к полному вымиранию со скоростью, возрастающей почти по закону сложных процентов.

Я уже прежде имел случай упомянуть, что не видел в долине Тайпи ничего похожего на места захоронения, — поначалу я склонен был это объяснить тем, что мне не позволяется ходить в сторону моря. Теперь я, однако, предполагаю, что туземцы, то ли не желая иметь перед глазами постоянное напоминание о смерти, то ли стремясь к живописности, устроили себе прелестное уютное деревенское кладбище где-нибудь подальше, у подножия гор. В Нукухиве мне показывали местный погост — несколько больших квадратных *пай-пай*, обнесенных основательной каменной оградой, над которой низко склонялись густые ветви старых деревьев. Умерших помещали в примитивные склепы, которые образовывались, когда из кладки *пай-пай* удаляли плиту, и там оставляли, не тревожа их праха. И хоть трудно придумать что-либо мрачнее и ужаснее, чем эти громоздкие каменные возвышения под темными лиственными сводами, однако, не зная, что это, никогда не угадаешь в них кладбища.

Поскольку за то время, что я провел в долине,

никто из ее обитателей не оказался настолько любезен, чтобы помереть и быть похороненным и тем удовлетворить мою любознательность касательно их погребальных обрядов, мне поневоле пришлось остаться в неведении на этот счет. Но так как эти обычаи у тайпийцев, я думаю, такие же, как и у других населяющих остров племен, я опишу здесь сцену, которую наблюдал в Нукухиве.

На заре в одном из домов у моря умер молодой человек. Я был отправлен на берег накануне и стал свидетелем подготовки к погребению. Покойника плотно завернули в новую белую тапу и под открытым навесом из кокосовых ветвей уложили на катафалк, сплетенный из гибкого молодого бамбука и установленный на высоких — без малого в человеческий рост — шестах. Две горюющие женщины неотлучно находились при теле, они жалобно, тягуче причитали и мерно помахивали большими соломенными опахалами, обмазанными белой глиной. А в соседнем доме собралось довольно много народу — здесь были заняты стряпней. Всей церемонией руководили два или три человека в замысловатых высоких тюрбанах из тапы и обвешанные множеством украшений. К полудню пир был в

полном разгаре, нам сказали, что он продлится целых два дня. Не считая тех, кто выполнял роль плакальщиц при покойнике, все, как видно, единодушно стремились утопить свежее горе утраты в пиршественных возлияниях. Девушки в своих праздничных нарядах танцевали, старики пели, воины курили и болтали, а жадная до удовольствий молодежь обоего пола уписывала угощения за обе щеки и кутила, как на свадьбе.

Островитяне владеют секретом бальзамирования и достигают здесь такого искусства, что тела их главных вождей помногу лет сохраняются в том самом доме, где они жили и умерли. Я видел три такие мумии, когда ездил в долину Тиор. Одна, замотанная во много слоев тапы, так что открытым оставалось только лицо, стояла во весь рост, подвязанная в доме у стены. Две другие лежали снаружи на бамбуковых помостах, которые были уже не погребальными катафалками, а высокими, в память о них установленными алтарями. Неизменно бальзамируются также головы убитых в бою врагов и висят, как трофеи, в доме победителя. Способ бальзамирования, которым здесь пользуются, мне неизвестен, кажется, главное в нем — окуривание. Все виденные мною мумии напоминали по внешности окорок, про-

висевший долгое время над дымным очагом.

Но вернемся от мертвецов к живым. Прошедший праздник собрал вместе, по-видимому, все население долины Тайпи. Соответственно, я мог определить хотя бы на глаз его численность. По-моему, в долине Тайпи было примерно две тысячи жителей, и это число как нельзя лучше соответствовало размерам их территории. Долина имеет около девяти миль в длину и в среднем одну милю в ширину, жилища аборигенов разбросаны довольно редко по всей ее площади, но главным образом у ее верхнего конца. Никаких деревень нет, дома стоят там и сям в тени рощ или по берегу извилистой речки, красиво выделяясь золотистыми бамбуковыми стенами и белизной лиственных кровель среди обступившей их вечной зелени. И дорог никаких в долине нет, есть только бесконечный лабиринт тропинок, вьющихся и петляющих в чаще.

Тяжесть расплаты за грехопадение праотцев не особенно давит на плечи тайпийцев; не считая разве добывания огня, я не наблюдал здесь ни одной трудовой операции, которая выгоняла бы пот на лбу хотя бы одного тайпийца. О том, чтобы добывать пропитание, копая и вспахивая землю, здесь и речи нет. Природа сама рассадила вокруг

хлебное дерево и бананы, она в положенный срок приводит их к созреванию, и остается только протянуть руку, чтобы утолить голод.

О, злосчастный народ! Страшно подумать, какие перемены в его райском существовании принесут ближайшие годы; и, может быть, когда пагубнейшие из пороков и ужаснейшие из зол цивилизации безвозвратно изгонят из долин мирную радость жизни, великодушные французы объявят свету, что Маркизские острова наконец обращены в христианство! И католический мир возликует. Спаси Господи жителей Южных морей! Расположение, которое испытывают к ним христиане, слишком часто, увы! оборачивалось их проклятием.

Сколь мало сознают бедные островитяне, оглядываясь вкруг себя, что несчастия их подчас восходят к той приятной минуте, когда, напившись чаю, благодушные джентльмены в белых галстуках приступают к сбору взносов, а пожилые леди в очках и молодые леди в открытых, но строгих туалетах жертвуют по грошику на создание фонда, конечная цель коего — спасение душ полинезийцев, но ближайший результат деятельности, как правило, — их земная погибель!

Пусть дикаря цивилизуют, но пусть его циви-

лизуют благами, а не пороками цивилизации. И язычество пусть будет уничтожено, но не путем уничтожения язычников. Англосаксонский рой успел искоренить его почти по всему Североамериканскому континенту, но заодно оказалась искорененной чуть не вся красная раса. Цивилизация поспешно сметает последние остатки идолопоклонничества с лица земли, но вместе с ними она уносит и самые жизни затравленных идолопоклонников.

Лишь только на каком-нибудь из островов Полинезии повергнуты языческие истуканы, сокрушены кумирни, а бывшие идолопоклонники обращены на словах в христиан, как сразу же появляются болезни, пороки и смерть. На обезлюдевших землях оседают тогда желающие из прожорливого просвещенного воинства, и тем самым Истина торжествует повсеместно. На острове вырастают прелестные виллы, аккуратные садики, подстриженные лужайки, шпили и купола, и бедный дикарь вскоре оказывается незваным гостем на земле своих отцов, быть может не сойдя даже с места, где стояла хижина, в которой он родился. Богатые плоды, кои Господь в премудрости своей велел, чтобы земля сама рожала для пропитания праздного туземца,

захватывает жадный пришелец и либо пожирает на глазах у голодного дитяти природы, либо погружает на корабли, без счета идущие теперь к его берегам. А островитянину, безжалостно лишенному естественных средств пропитания, благодетели велят идти и добывать хлеб в поте лица! Но ни один сын благородных родителей, законный наследник фамильного благосостояния, не рожден для тяжкого труда менее, чем этот беспечный житель дальних Индий, у которого отняли пожалованную небесами вотчину. Воспитанный для неги и праздности, он не может и не будет трудиться; и нужда, болезнь и порок, все напасти заморские, привозные, вскоре кладут конец его несчастному существованию.

Но полно, велика ли беда? Зато как блистателен успех! Мерзости язычества уступили место благородным христианским обрядам — темного дикаря заменил добродетельный европеец! Взгляните на Гонолулу, столицу Сандвичевых островов, — здесь теперь община бескорыстных торговцев и добровольных изгнанников, проповедующих Крест Господень, а ведь каких-то двадцать лет назад это место еще оскверняли идолопоклонники! Что за выигрышная тема для миссионерского собрания! И уж, разумеется, она

никогда не лежит втуне! Но почему эти ораторы-филантропы, излагая нам с триумфом одну половину своих подвигов, скромно умалчивают о второй половине содеянного ими добра? До того, как я лично побывал в Гонолулу, я даже и не подозревал, например, что немногие оставшиеся там аборигены теперь цивилизованы и христианизованы настолько, что превратились в тягловую скотину. Однако это так. Их в буквальном смысле обуздали, и они теперь послушно ходят в упряжи, словно бессмысленные животные, влача колесницы своих духовных наставников.

Из многих картин в таком роде мне особенно запомнилась одна. Толстая краснощекая барыня, супруга миссионера, каждый день каталась — для моциона — в небольшой двуколке, запряженной двумя островитянами: один был седовласый старик, другой — озорник мальчишка, и оба, не считая фигового листочка, в чем мать родила. По ровной дороге эта пара двуногих ломовых тащилась расслабленной рысцой, юнец хитрил и не налегал на постромки, вся работа падала на старого коня.

А дама катила по улицам в своем модном экипаже и важно озиралась, что твоя королева в коронационной процессии. Но вдруг бугор или

рытвина в песке, и ее величавая невозмутимость утрачена. Колеса застряли, старик тянет, обливаясь потом, юнец суетится без толку вокруг — экипаж ни с места. Как же поступит добрая женщина, покинувшая дом и друзей для спасения душ бедных язычников? Сжалится ли она над их телами и облегчит ли труд старика, сойдя на минуту на землю? Какое там! Она даже мысли подобной не допускает. По чести признаться, у себя на ферме в Новой Англии она не гнушалась гонять коров на выпас, но нынче времена уж не те. И она остается сидеть, только кричит: «Хуки! Хуки!» (Тяни!) Испуганный старик напрягает все силы, мальчишка тоже делает вид, что ужасно старается, а сам косится на госпожу, чтобы успеть, если нужно, вовремя увернуться. Наконец терпение у дамы истощилось; «хуки, хуки!» — раздается еще громче, и деревянная рукоятка ее большого веера с треском обрушивается на голый череп старого дикаря, а молодой отпрыгивает подальше в сторону. «Хуки, хуки! — кричит она. — Хуки тата, канака!» (Тяни сильнее, человек!) Но все бесполезно. И несчастная дама вынуждена все-таки ступить на землю и — виданное ли дело? — вот так, пешком, взойти на бугор.

В городе, где обитает эта кротчайшая из жен-

щин, имеется вместительная и красивая американская церковь, и в ней неукоснительно свершаются божественные требы. И каждое божье воскресенье утром и днем перед концом церемонии против изящного этого сооружения собираются штук двадцать легких экипажей, и возле каждого стоят по два жалких туземца-лакея в ливрее своей наготы и дожидаются, когда надо будет развозить господ по домам.

Дабы из-за недомолвок здесь или в каком-либо другом месте в тексте не возникло никаких недоразумений, замечу, что против миссионерской отвлеченной идеи не будет возражать ни один христианин: это, без сомнения, святое и правое дело. Но если великая цель имеет природу духовную, то средства, ради нее употребленные, вполне земные; и если в конце по замыслу достигается добро, то сам способ, каким оно достигается, чреват злом. Иначе говоря, миссионерство хотя и благословенное небесами, но все же дело рук человеческих, подверженное, как и все людские дела, ошибкам и злоупотреблениям. А разве ошибки и злоупотребления не проникают порой в святая святых нашей веры и разве не могут быть неспособные или недостойные миссионеры в чужих краях, как бывают неспособные и недо-

стойные священники у нас на родине? И разве не может быть так, что нечестию или неспособности берущихся за божье дело в отдаленных краях легче спрятаться от глаз, чем если бы такое завелось в центре большого города? Неосновательная вера в святость апостолов, склонность провозглашать их непорочными и нетерпимость ко всем, кто осмелится усомниться в их человеческой и христианской безупречности, — таковы спокон веку заблуждения Церкви. Впрочем, это и неудивительно: терпя нападки от самых непринципиальных противников, христианство в любом разоблачении любого преступления церковников склонно усматривать враждебность к себе и отсутствие религиозного чувства. Однако даже ясное понимание таких вещей не удержит меня от того, чтобы честно высказать все, что я думаю.

В организации тихоокеанского миссионерства есть один серьезный недостаток. Нужно сделать так, чтобы люди, по соображениям чисто религиозным жертвующие на него средства, могли быть уверены, что эти средства, пройдя через многочисленные каналы, в конце концов действительно пойдут на то, для чего они предназначены, — на обращение гавайцев в

христианскую веру. Я говорю об этом не потому, что сомневаюсь в нравственной чистоте тех, кто распоряжается этими суммами, а потому, что, как мне известно, их неправильно применяют. Одно дело, когда читаешь об ужасных трудностях, с которыми сталкиваются миссионеры, и о торжестве религии, о крещении туземцев под сенью тропических кущ; и совсем другое — когда сам побываешь на Сандвичевых островах и наглядишься на то, как миссионеры благоденствуют в своих уютных и красивых виллах, а вокруг несчастные туземцы погрязли в бессчетных пороках.

Справедливость требует признать, впрочем, что, сколько зол ни породили на островах дружная неумелая работа всех миссионеров и серьезные преступления против благочестия, допускаемые кое-кем из их числа, все же в нынешнем бедственном положении на Сандвичевых островах повинны не только они. Пагубный пример поселившихся там безнравственных иноземцев и частые посещения различных судов тоже немало содействовали укоренению всевозможных зол. Иными словами, здесь, как и всюду, где среди тех, кого мы именуем дикарями, насаждается Цивилизация, она щедро отсыпала им свои пороки, но

поскупилась дарить свои блага.

Сам Шекспир — а уж он-то знает! — сказал, что у того, кто приносит дурные вести, работа неприбыльная. Боюсь, что и мне предстоит в этом убедиться, если до иных из доверчивых друзей гавайских миссионеров дойдут разоблачения, которые содержатся в этой книге. Однако я верю, что, вызвав интерес, эти разоблачения тем самым послужат чему-нибудь такому, что в конце концов окажется даже на пользу делу христианизации Сандвичевых островов.

Ко всему вышеизложенному мне осталось прибавить лишь вот что. Факты, которые я здесь привел, останутся фактами, что бы ни говорили и ни писали, оспаривая их, фанатики и недоверчивые. Рассуждения же мои, на этих фактах основанные, вполне могут быть и ошибочными. В таком случае я ожидаю не больше снисхождения, чем заслуживает всякий, чья цель — благо.

XXVII

Я уже отмечал, что влияние вождей на жителей долины было весьма умеренным; что же до общих правил поведения, которыми простой люд руководствовался бы, общаясь между собой, то, насколько позволяют судить мои наблюдения, таковых, я почти готов утверждать, не было, если, конечно, не считать таинственного *табу*. За то время, что я прожил среди тайпийцев, никого не судили за преступления против общества. Судов там вообще как будто бы нет. Нет и муниципальной полиции, чтобы задерживать бродяг и правонарушителей. Короче, не принимается никаких мер для защиты общественного благосостояния, о коем печется все просвещенное законодательство на земле. И тем не менее здесь все живут в покое и согласии, и далеко до них, уверяю вас, любому избранному обществу самых цивилизованных и самых набожных граждан христианского мира.

Как же так? Необъяснимая загадка! Ведь эти островитяне — язычники! Дикари! Да что там! Прямые каннибалы! Возможно ли, чтобы они без какого-либо содействия законов явили нам

в столь совершенном виде тот самый общественный порядок, который почитается высшим благом и главной гордостью нашей государственности?

Тут с полным основанием может быть задан вопрос: как же этот народ управляется? Что день ото дня держит в узде его страсти? Очевидно, ими управляет врожденная честность и доброта в отношении друг к другу. Они, должно быть, руководствуются тем самым неписаным законом здравого смысла, статьи которого — что бы ни говорили о беззаконии рода человеческого — запечатлены на сердце каждого из нас.

Великие принципы чести и добра, как ни переиначивают их разные кодексы, едины во всем мире; и в свете этих принципов дела людские одинаково представляются правильными или неправильными и необразованному, и просвещенному уму. Именно в этом, внутренне присущем человеку и повсеместно равнозначном понятии «благородного» и «справедливого» заключен секрет той абсолютной честности, какую жители Маркизских островов проявляют в общении друг с другом. В своих домах, где двери никогда не запирались и где тут же хранилось все их добро, они спали спокойным сном в самую

глухую ночь. Неприятные мысли об убийцах и грабителях не тревожили их. Каждый островитянин отдыхал у себя под крышей из пальмовых листьев или посиживал под своим хлебным деревом, и никто его не обижал и не беспокоил. Во всей долине не нашлось бы ни одного замка́ и ничего, что выполняло бы роль такового; но при этом не было общности имущества. Вот это длинное копье, так изящно отшлифованное и покрытое такой изысканной резьбой, принадлежит Уормуну; оно куда красивей любимого копья старого Мархейо, да и у его владельца нет сокровища драгоценнее. Но я видел это копье в роще, оно стояло прислоненное к стволу пальмы, и там его и нашел Уормуну, когда хватился своего сокровища. Или вот кашалотов зуб, весь испещренный замысловатыми узорами; это имущество Корлуны, самое ценное ее украшение. На ее взгляд, оно дороже всяких брильянтов, — но вот оно у нее висит в доме на лыковой веревочке, а дом на отшибе, и все, кто в нем живут, ушли на

речку купаться[7].

Вот все, что я знаю о праве личной собственности в долине Тайпи; насколько надежны здесь вклады капиталов в недвижимость — не могу сказать. Находится ли земля долины в совместном владении жителей или же она поделена между некоторым числом землевладельцев, позволяющих всем и каждому незаконно поселяться и хозяйничать на своих уделах, — я также не выяснил. Во всяком случае заплесневелых поместных грамот и пергаментов на острове не знают; я даже склонен всерьез предполагать, что его жители получили свои широкие долины в наследное владение от самой Природы — держать и владеть, пока растет трава и бегут ручьи или пока пришельцы-французы, не вдаваясь в особые

[7] Примечания: 7

Строжайшая честность, которая отличает почти всех обитателей Полинезийских островов, когда они имеют дело друг с другом, находится в вопиющем противоречии с воровскими наклонностями, нередко проявляемыми ими в общении с иноземцами. Может показаться, что по понятиям их особой собственной морали кража топорика или железного ключа у европейца расценивается как похвальный поступок. Или можно предположить, что, принимая во внимание оптовые грабежи, которые учиняют у них заморские гости, они всякую их собственность рассматривают как свою по праву возмещения убытков. Такое толкование, во-первых, устранит видимое противоречие в моральном облике островитян, а во-вторых, несколько подымет их в глазах читателей, которые, по рассказам знаменитых путешественников, считают их бессовестными тварями. (*Примеч. авт.*)

юридические тонкости, не приберут их к рукам.

Вчера я видел, как Кори-Кори, прихватив длинный шест, отправился в рощу сбивать им с верхушек деревьев хлебные плоды, которые он вскоре принес домой в большой корзине из пальмовых листьев. Сегодня я вижу за тем же занятием знакомого тайпийца, который живет в другом конце долины. На отлогом берегу речки растут бананы. И я часто смотрел, как на них налетала большая ватага мальчишек, которые, шумя и перекликаясь, весело срывали и уносили каждый в свою сторону огромные золотые грозди. Видно, не скряга владелец этой рощи хлебных деревьев или этих роскошных солнечных бананов.

Из всего, что я рассказал, можно понять, что между нашей собственностью и недвижимым имуществом в долине Тайпи имеется огромная разница. Разумеется, одни люди здесь богаче, другие беднее. Например, стропила в доме Мархейо гнутся под тяжестью многочисленных свертков тапы; его ложе устлано циновками в семь слоев. И у доброй Тайнор за домом в ее бамбуковом буфете — или как там назвать это сооружение — понаставлено вдоволь тыквенных мисок и деревянных блюд. А вот дом напротив, где живет ближайший сосед Мархейо, Руаруга, уже побед-

нее. С потолка свисают только три сравнительно небольших свертка, циновки лежат всего лишь в два слоя, а тыквы и деревянные блюда и числом поменьше, и куда скромнее раскрашены, и резьба на них не такая красивая. Но все-таки у Руаруги есть дом — правда, не такой нарядный, но такой же вместительный и покойный, как и у Мархейо; и, наверное, захоти он потягаться с соседом, он смог бы сравняться с ним без особого труда. Другого рода различий в благосостоянии туземцев я не видел.

Цивилизованный мир не имеет монополии на человеческие добродетели; он даже причитающейся ему долей этих добродетелей не располагает. Гораздо свободнее и обильнее процветают они среди многих варварских племен. Гостеприимство кочевника-араба, отвага североамериканского индейца и верная дружба некоторых полинезийских народов не имеют себе равных у образованных жителей европейских государств. И если правда и справедливость и лучшие стороны нашей натуры не могут существовать без поддержки законов, то как объяснить уклад жизни тайпийцев? Они так честны и чисты во всем, что я, находившийся во власти сильнейшего против них предубеждения,

когда попал к ним в долину, скоро должен был недоуменно воскликнуть: «Неужели это свирепые дикари, кровожадные людоеды, о которых я наслышался таких ужасных рассказов?» Они куда добрее друг к другу и куда человечнее, чем многие из тех, кто изучает труды о достоинствах и добродетелях и ежевечерне повторяет прекрасную молитву, слетевшую некогда впервые с уст божественного и кроткого Иисуса. И я готов честно признаться, что после нескольких недель пребывания в этой маркизской долине мое мнение о человеческой природе сильно изменилось к лучшему. Но увы! После этого я поступил служить на военный корабль, и спертая, затаенная злоба пятисот членов экипажа едва не опровергла мои прежние теории.

Одна черта в характере тайпийцев особенно восхищала меня: единодушие, с каким они воспринимали все, что происходило. У них, по-моему, никогда не бывало разногласий. Все рассуждали и поступали одинаково. Если бы у них организовали дискуссионный клуб, больше одного вечера он бы не просуществовал — не нашлось бы о чем дискутировать; а вздумай они созвать всенародный сход для обсуждения судеб отечества, это было бы самое короткое заседание

в мире. Единодушие было у них во всем — всякое дело делалось при всеобщем согласии и дружеском участии. Приведу пример.

Однажды мы с Кори-Кори, возвращаясь из дома *Тай*, шли через поляну в роще. Мой верный провожатый объяснил мне, что на этой полянке вечером начнется строительство бамбукового жилища. И действительно, не менее ста человек были заняты подготовкой к началу работ — сносили на место строительные материалы: один шел, держа в руках две-три палки, которые пойдут на стены, другой тащил длинный прут хибискуса с нанизанными на него пальмовыми листьями для кровли. Не было человека, который не принял бы участия в работе, и к закату совместными, крайне малыми, почти неощутимыми усилиями все было сделано. Строившие хижину островитяне напомнили мне колонию бобров. Хотя, конечно, они были отнюдь не так серьезны и молчаливы, как эти удивительные животные, и трудились далеко не так усердно. Признаться по чести, они работали с явной ленцой, не утруждая себя, но поднимали такой веселый и дружный шум и делали все сообща, с такой готовностью подчиняясь братскому требованию взаимопомощи, что, право, приятно было на них смотреть.

В работе не участвовала ни одна женщина, и вообще, если степень уважения к прекрасному полу служит, как утверждают философы, верным мерилом просвещенности, смело могу сказать, что изысканнее общества, чем в долине Тайпи, не найти на всем белом свете. Не считая религиозных запретов *табу*, женщины у тайпийцев пользуются всеми мыслимыми привилегиями. Нигде в мире за ними так не ухаживают, нигде так высоко не ценят в них дарительниц высшего блаженства; и нигде в мире они так ясно не сознают свою силу. Не в пример многим грубым племенам, у которых женщина выполняет всю работу, в то время как ее не слишком-то галантный муж и господин погрязает в полной праздности, в долине Тайпи прекрасный пол освобожден от труда, если можно назвать трудом деятельность, не выгоняющую даже в этом тропическом климате ни капли пота на лоб человека. Легкие домашние заботы, а также изготовление тапы, плетение циновок и полировка кокосовых чаш — вот и все, что выпало на долю тайпийской женщины. Но даже и эти дела скорее напоминали изящное рукоделие, какому предаются в часы утреннего досуга наши светские дамы. И тем не менее, как ни легко и успокоительно такое

дамское занятие, юные кокетки и ветреницы ему не часто предавались. По правде говоря, эти упрямые и резвые молодые негодницы совершенно не склонны к какой-либо полезной деятельности. Как и полагается избалованным красавицам, они носились по рощам и лесам, купались в речке, танцевали, кокетничали, дурачились и озорничали — и вообще, проводили дни в веселом хороводе беспечного, бездумного счастья.

За все время, что я пробыл на острове, я не наблюдал ни единой ссоры, ничего даже отдаленно напоминающего пререкание. Казалось, туземцы живут одной большой семьей, в которой всех объединяет глубокая братская привязанность. Особой любви к кровным родичам я там не заметил — она как бы растворялась в общей любви всех ко всем; там, где все относились друг к другу как братья и сестры, было трудно определить, кто же в самом деле кому брат или сестра по крови.

Пожалуйста, не думайте, что в этом описании что-либо преувеличено. Ничуть. И не говорите, что враждебность племени тайпи к иноземцам и веками тянувшиеся войны с соседями по ту сторону гор противоречат нарисованной мною картине. Право же, нет, эти кажущиеся неувязки легко увязать. От отца к сыну передаваемые рас-

сказы о злодействах и несправедливостях, равно как и события, совершающиеся у них на глазах, научили этих людей смотреть на белого человека с ужасом и отвращением. Один только кровавый набег Портера дал им для этого более чем вдоволь оснований; и я лично вполне понимаю тайпийского воина, который оберегает с копьем в руках все доступы в родную долину и, стоя на морском берегу спиной к своему зеленому дому, не подпускает непрошеных заморских гостей.

О причинах, породивших вражду племени тайпи к соседственным ему племенам, я не могу говорить столь же определенно. Не стану утверждать, что агрессоры — не они, а их враги, не стану и приукрашивать их неблаговидные действия. Но ведь если злые наши страсти должны иметь выход, гораздо лучше срывать зло на чужих и посторонних, чем на близких, среди которых мы живем. В просвещенных странах гражданские распри, как и домашние неурядицы, нередко сопутствуют даже кровопролитнейшим из войн. Насколько же лучше поступают островитяне, которые из этих трех грехов виновны лишь в третьем, наименее отвратительном!

У читателя в ближайшем будущем появятся серьезные основания подозревать, что тайпийцы

не свободны от порока каннибализма; и тогда, наверное, будет высказано недоумение: как я могу восхищаться людьми, повинными в такой чудовищной мерзости? Но эта единственно порочная черта в их характере и наполовину не так чудовищна, как думают. Ведь в романах пишут, что экипажи кораблей, терпящих крушение у варварских берегов, живьем пожираются невежливыми туземцами, а в обманчиво приветливых долинах злосчастных путников убивают, тюкнув боевой дубинкой по голове, и тут же подают на стол даже без соуса и приправ. По совести сказать, рассказы эти так ужасны и так неправдоподобны, что многие разумные люди вообще отказываются верить в существование каннибалов и ставят книжки, где о них рассказывается, на одну полку с «Синей Бородой» и «Джеком — Победителем Великанов»; меж тем как другие, принимая на веру самые немыслимые выдумки, всерьез думают, будто на свете существуют люди со столь извращенными вкусами, чтобы любому добротному обеду с ростбифом и плум-пудингом предпочитать постный кусок человечины. Истина, всегда избирающая положение в центре, и на этот раз находится посредине; ибо каннибализм, хотя и весьма умеренного толка, действительно

существует у некоторых примитивных племен на Тихоокеанских архипелагах, но и они съедают лишь тела убитых врагов, и, как ни ужасен и ни отвратителен этот обычай, достойный всяческого осуждения, я все же утверждаю, что отдающие ему дань во всех прочих отношениях — добрые и хорошие люди.

XXVIII

Ни в чем так наглядно не выражалось доброжелательство и товарищество тайпийцев, как в их грандиозных рыболовных выездах. За то время, что я прожил в долине, молодые люди четырежды собирались незадолго до полнолуния в большие артели и выходили на рыбную ловлю. Так как их не было примерно двое суток, я заключил, что они выходят из залива в открытое море. Полинезийцы редко пользуются крючком и леской, главное орудие ловли здесь — большие добротные сети, прочно плетенные из волокон коры каких-то деревьев. Я видел их вблизи и даже трогал, когда в Нукухиве на берегу несколько сетей были развешаны для просушки. Они похожи на наши неводы и, пожалуй, не уступят им прочностью.

Все жители тихоокеанских островов любят рыбу, но таких страстных любителей рыбы, как тайпийцы, нет больше во всей Полинезии. Поэтому я очень удивлялся, что они так редко ловят ее в своих водах, ибо артели рыболовов собирались только в строго определенные дни, и наступления этих дней ждали нетерпеливо и задолго.

Пока рыбаки отсутствовали, во всей взбудораженной долине только и было разговоров, что о «пехи, пехи» (рыба, рыба). К тому времени, когда их ждали обратно, в ход пускался голосовой телеграф — в разных местах долины люди карабкались на деревья и на высокие камни, во все горло выражая радость предвкушения предстоящего пиршества. Но лишь только поступала весть о том, что рыбаки подходят к берегу, навстречу им устремлялось чуть не все мужское население долины. Оставались лишь те, кто должны были подготовить рыбе надлежащую встречу в доме *Тай*. Рыба поступала в Священные рощи в виде тяжелых лиственных свертков, каждый из которых несли на шестах, положенных на плечи, двое мужчин.

Я присутствовал однажды при этом в доме *Тай*. Зрелище было на редкость интересное. Когда прибыли свертки, их разложили в тени каменной веранды и открыли. Рыба там оказалась главным образом мелкая, размеров селедки, но зато всех мыслимых цветов и оттенков. Примерно восьмую часть улова отложили для дома *Тай*, остальное разделили на множество свертков поменьше, которые тут же уносили в разные концы долины. Доставленные в назначенные пункты,

они снова раскрывались, и здесь рыба раздавалась поровну всем обитателям ближних домов. И пока этот беспристрастнейший из разделов не завершился, рыба находилась под строжайшим запретом *табу*. Таким путем достигалось, что все жители долины, до последнего малого ребенка, в одно время садились за это всеми излюбленное угощение.

Помню, как-то рыбаки возвратились в полночь, но неурочный этот час никак не умерил возбуждения островитян. Носильщики рыбы из дома *Тай* спешили через рощи во все концы, перед каждым шел мальчик с пылающим факелом из сухих кокосовых веток, время от времени запаливая на ходу подобранный с земли валежник. Дикий блеск этих светильников, вдруг с удивительной яркостью выхватывающих из тьмы затаенные уголки долины и быстро бегущих под зелеными сводами деревьев; возбужденные гортанные крики торопливых вестников, возглашающих прибытие драгоценной ноши, и ответные отклики со всех сторон и странный вид освещенных обнаженных тел на черном фоне леса, — все это живо запечатлелось в моей памяти и, я думаю, не скоро забудется.

В тот раз Кори-Кори разбудил меня глубокой

ночью и вне себя от восторга сообщил радостную весть: «Пехи пеми!» (Рыба прибыла!) А я в это время так сладко и крепко спал, что совершенно не мог понять, почему это известие не могло подождать до утра; я уже готов был рассвирепеть и съездить моему лакею по уху, но потом одумался, мирно встал и, выйдя из дому, остановился восхищенный невиданной бегучей иллюминацией.

Когда старик Мархейо получил нашу долю добычи, начались немедленные приготовления к полночному пиршеству. Появились тыквенные миски с *пои-пои*, жарились зеленые хлебные плоды, и большие ломти огромного, как пирог, *эймара*, разрезанного бамбуковой щепкой, раскладывались на длинном банановом листе.

Мы ели в сиянии светильников, которые держали в руках молодые девушки. Светильники эти устроены очень интересно. Делаются они из ореха, в изобилии созревающего в долине; он называется здесь *армор* и по виду очень похож на обыкновенный конский каштан. Разбив скорлупу, содержимое ореха извлекают целиком. Ядра нанизываются на длинное гибкое волокно, добываемое из зеленых кокосовых веток. Такой светильник может достигать десяти футов в длину, его держат, свернув шнур петлей и запалив

свободный конец. Ядро ореха горит голубым неровным пламенем, и содержащегося в нем горючего масла хватает минут на десять. Тогда загорается следующее ядро, а обуглившийся шарик сбивают в кокосовую скорлупу, нарочно для этой цели предназначенную. Такой примитивный способ освещения требует постоянной заботы, так как светильник держат в руках. Зато тот, кто его держит, может отмерять время по количеству сгоревших орехов — надо только подсчитать лоскутки тапы, которые специально для этого навязывают на шнур у каждого ореха.

Должен с прискорбием сообщить, что жители долины Тайпи имеют обыкновение есть рыбу приблизительно таким же способом, как мы редиску, то есть без особых приготовлений. Они едят ее сырую — с чешуей, костями, жабрами и со всеми внутренностями. Рыбина берется за хвост, голова опускается в рот, и вся рыба исчезает в нем с такой быстротой, что кажется, будто она целиком уплывает вниз по пищеводу.

Сырая рыба! Забуду ли я, что я почувствовал, когда впервые увидел мою красавицу Файавэй жующей сырую рыбу? О небо! Прекрасная Файавэй, откуда у тебя эта гнусная привычка? Потом, когда возмущение мое улеглось, мне уже не

казалось это таким отвратительным, а скоро я привык и мог смотреть на едящих совершенно спокойно. Только не думайте, пожалуйста, что прелестная Файавэй глотала большие вульгарные рыбины — вовсе нет: своей нежной ручкой она брала за хвостик изящную, золотистую рыбку и съедала ее так просто, грациозно и невинно, словно тартинку. Но все же, увы! это была сырая рыба, и я могу только сказать, что она ее ела гораздо изысканнее и элегантнее, чем любая другая девушка в долине.

В чужой монастырь со своим уставом не ездят. Это правило я считал в высшей степени разумным и, живя с тайпийцами, старался во всем поступать по их уставам. Ел, как и они, *пои-пои*; ходил в костюме, отличающемся необыкновенной простотой; спал вместе со всеми на общем диване из циновок и делал еще многое другое в согласии с их своеобразными обычаями, но мало того, я даже ел с ними раза два сырую рыбу, а тут уж дальше некуда. Рыбки были очень маленькие, с нежным мясом, и есть их оказалось вовсе не так уж неприятно, как я думал; после двух-трех попыток я положительно полюбил это угощение, только я подвергал их небольшой ножевой операции, прежде чем отправить в рот.

XXIX

Я думаю, мне надо просветить читателя относительно естественной истории долины Тайпи.

Откуда во имя Господа, графа Бюффона и барона Кювье взялись тайпийские собаки? Вернее, большие безволосые крысы с лоснящимися, пятнистыми, жирными боками и крайне несимпатичными физиономиями. Откуда они могли взяться? Что они не естественные порождения местной фауны, в этом я не сомневаюсь. Да они и сами словно чувствовали себя здесь чужими — смущенно прятались по дальним закоулкам, будто испытывали неловкость. Было очевидно, что в долине Тайпи им не по себе, что они рады бы очутиться за тридевять земель отсюда, вернуться в ту никому не известную безобразную страну, которая была их родиной.

Гнусные псы! Я их терпеть не мог. Кажется, ничего мне в жизни так не хотелось, как лично отправить на тот свет их всех до одного. Я даже однажды намекнул Мехеви, что неплохо было бы устроить в долине собачью варфоломеевскую ночь; но добрый монарх не согласился. Он терпеливо выслушал меня, но, когда я кончил,

покачал головой и по секрету сообщил мне, что они — *табу*.

Что до животного, принесшего в свое время богатство бывшему лорд-мэру Уиттингтону, то никогда не забуду, как я лежал однажды в полдень в доме Мархейо; вокруг все спали, и вдруг, случайно подняв глаза, я встретил светящийся взгляд черного кота-привидения: он сидел на пороге и, подняв голову, смотрел на меня своими вытаращенными зелеными глазищами, страшный как черт, какие приходили когда-то мучить древних святых! Я принадлежу к тем несчастным, для которых вид этих созданий всегда и неизменно отвратителен.

Поэтому, от природы не вынося кошек, я был особенно неприятно поражен этим внезапным видением. Опомнившись и сбросив с себя чары его взгляда, я вскочил — кот немедленно обратился в бегство, и когда я, осмелев, выскочил за ним из дому, его уже нигде не было. То был единственный раз, что я видел в долине Тайпи кошку. Как она туда попала, не представляю себе. Может быть, удрала с какого-нибудь судна в Нукухиве? Расспрашивать туземцев было бесполезно, поскольку, кроме меня, никто этой кошки не видел, и появление ее до сих пор остается для

меня неразрешенной загадкой.

Среди немногочисленных живых тварей, действительно встречающихся в долине Тайпи, больше всего мне нравилась красивая золотистая ящерица. Она имела дюймов пять от головы до кончика хвоста и отличалась необыкновенным изяществом пропорций. Ящерки эти во множестве грелись обычно на солнцепеке на лиственных кровлях или сверкали золотистыми стрелками, резвясь в траве и целыми стайками взбегая и спускаясь по высоким древесным стволам. Но не только их редкая красота и веселый нрав вызывали мое восхищение. Дело в том, что они были совершенно ручные и ничуть не боялись человека. Часто бывало, что я присяду в тени под деревом, а они облепят меня с головы до ног. Сбросишь ящерку с локтя — она прыгнет в волосы; а когда я пробовал ее напугать, защемив пальцами ей лапку, она оборачивалась за помощью к моей же обидевшей ее руке.

Птицы тоже здесь совсем не пугливы. Если увидишь вблизи на ветке птицу и шагнешь к ней, она не вспархивает, а спокойно ждет, пока ты приблизишься настолько, что можешь ее потрогать, а тогда неторопливо отлетает — словно не потому, что испугалась, а просто, чтобы уйти с

твоей дороги. Не будь здесь соль такой редкостью, право, не нашлось бы лучше места, чтобы сыпать птицам соли на хвост.

Помню, когда-то на одном из необитаемых островов Галапагосской группы мне на вытянутую руку села птица, а ее подружка чирикала рядом на дереве. Такое отсутствие пугливости не огорчило меня, как некогда Селкирка, а, наоборот, внушило упоительнейшее чувство восторга; и примерно то же испытывал я в долине Тайпи, когда видел, как птицы и ящерицы выказывают свою веру в доброту человека.

Среди многочисленных зол, которые приносят островитянам в Южных морях европейцы, оказался случайно занесенный сюда враг покоя и раздражитель мирного нрава — москит. На Сандвичевых островах и на многих островах Товарищества эти насекомые расплодились в невероятных количествах, угрожая в ближайшем будущем совсем вытеснить местного гнуса — песочную муху. Они жалят, зудят и мучают весь год напролет и, выводя туземцев из себя, служат существенным препятствием в деятельности насаждающих миролюбие миссионеров.

Однако долина Тайпи пока еще не знает этой напасти; вместо нее здесь, к сожалению, иногда

появляется мелкая мошка, которая не жалит, но умудряется ощутимо отравлять существование. Непуганность птиц и ящериц — ничто в сравнении с самоуверенным бесстрашием этого насекомого. Оно, как на насест, может усесться вам на ресницу и сидеть, покуда вы его не сгоните; может проникнуть к вам в самую гущу волос или забраться глубоко в ноздри, словно вознамерилось докопаться до самого мозга. Однажды я непредусмотрительно зевнул в присутствии нескольких мошек. Второй раз я такой глупости никогда не сделаю. С полдюжины этих тварей ринулись в открывшееся помещение и начали прогуливаться по потолку. Это было ужасно; невольно я захлопнул рот. Бедняги, очутившись в полной темноте, должно быть, оступились у меня в глотке, и все, как одна, попадали в пропасть. Во всяком случае, хоть я потом минут пять нарочно сидел с разинутым ртом, чтобы заблудившиеся насекомые могли выбраться на свет божий, ни одно из них так и не воспользовалось предоставленной им возможностью.

Диких зверей на острове нет, если мы условимся не считать за таковых самих аборигенов. Горы и долы пустынны, тишину не нарушает хищный рев, и даже мелкая живность встречается не ча-

сто. Никакие ядовитые пресмыкающиеся и змеи не водятся в долине.

В маркизском обществе погода не может служить темою для разговора. Здешняя погода вообще не знает перемен. В дождливый сезон, правда, бывают ливни, но кратковременные, освежающие. По утрам, собираясь в дорогу, островитяне не бегут чуть со сна сразу смотреть, что сулит небо, и не интересуются, откуда дует ветер. Можно не беспокоиться: день будет прекрасный, а прольется дождик — тем лучше. Не знают здесь и «удивительно хорошей погоды», которая спокон веку иногда случается в Америке и потом без конца обсуждается и припоминается престарелыми гражданами. И никогда не происходят те метеорологические чудеса, которые подстерегают нас повсюду. В долине Тайпи не может случиться такого, чтобы приготовленное для гостей мороженое осталось не поданным к столу из-за вдруг ударившего мороза, а веселый пикник не состоялся, потому что поднялась неожиданная метель. Здесь день следует за днем ровной солнечной чередой, и весь год — как один длинный тропический месяц июнь, готовый смениться июлем.

В этом благодатном климате растут невиданно

пышные кокосовые пальмы. Бесценный их плод, напитанный соками богатой маркизской почвы и вознесенный чуть не на сто футов к небесам могучими колоннами стволов, кажется поначалу недосягаемым. И в самом деле, тонкий и гладкий высокий ствол без каких-либо выступов, чтобы опереться лезущему, служит препятствием, одолеть которое под силу лишь ловким и хитроумным островитянам. Казалось бы, по природной праздности они должны были бы терпеливо сидеть под деревьями и дожидаться, пока поспевшие орехи, отделившись от стебля, сами лениво не попадают на землю. Так, конечно, и было бы, но все дело в том, что больше всего они ценят как раз молодые кокосы, одетые в зеленую нежную шелуху, с тонкой кожицей, прилипающей изнутри к скорлупе, где, как в белом кубке, содержится божественный напиток. В языке у них имеется по меньшей мере двадцать терминов, обозначающих разные степени спелости кокосового ореха. Многие аборигены вообще их в рот не берут иначе как в одной определенной стадии созревания, которую они угадывают, как это ни удивительно, с точностью до нескольких часов. А другие и того разборчивее — собрав большую груду орехов всех возрастов, постукивают по скорлупе и отхлебы-

вают сначала из одного, потом из другого, точно взыскательные дегустаторы, со стаканом в руке отведывающие из пыльных бочек вина разных урожаев.

Некоторые юноши, у кого кости погибче и, наверное, сердца похрабрее, умели взбираться по кокосовому стволу способом, на мой взгляд, просто волшебным; глядя на них, я испытывал восторженное недоумение, как дитя, увидевшее муху, вверх ногами разгуливающую по потолку.

Я попробую сейчас описать, как это делал молодой вождь Нарни, когда я его специально об этом просил. Однако начать надо с его подготовительных действий. Допустим, я выражаю желание, чтобы мне сорвали зеленый орех с какого-то определенного дерева; красавец дикарь принимает удивленную позу, словно хочет сказать, что просьба моя немыслима, невыполнима. Но скоро недоумение на его выразительном лице уступает место готовности и согласию. Запрокинув голову, он тоскливо всматривается в верхушку дерева, потом становится на цыпочки, вытягивает шею, руки, будто хочет достать орех с земли. Убедившись, что ничего не выходит, он с притворным отчаянием валится под дерево, бьет себя в грудь; потом вдруг вскакивает на ноги, снова запроки-

дывает голову, выставляет перед собой руки, как школьник, изготовившийся поймать брошенный мяч. Так он стоит, дожидаясь, не скинет ли ему какой-нибудь добрый дух желанный орех прямо с дерева; потом отворачивается в новом приступе отчаяния и отбегает в сторону ярдов на тридцать — сорок. Здесь он стоит, глядя на дерево, всем видом выражая глубокую, безнадежную скорбь. И вдруг его словно осеняет вдохновение — он бежит к дереву, обхватывает ствол руками — одна повыше другой, плотно сдвинутыми ступнями упирается в дерево, ноги его оказываются в почти горизонтальном к стволу положении, а тело изогнуто в дугу; и рука за руку, нога за ногу, быстро взбегает вверх, не успеваю я опомниться, срывает целое гнездо зеленых орехов и, ликуя, сбрасывает их к моим ногам.

Такой способ взбегания по стволу применим, только если дерево растет наклонно, а так обычно и бывает: иная пальма, высокая и стройная, как колонна, подымается над землей косо, под углом чуть не в шестьдесят градусов.

Мужчины из менее ловких, а также дети лазят на деревья иначе. Берется прочный, широкий кусок коры и привязывается к лодыжкам, так что ноги невозможно расставить больше, чем на

ширину двенадцати дюймов. С этими кандалами на ногах лазить гораздо легче: полоса коры плотно прилегает к стволу, натянутая ногами, она не скользит и служит надежным упором; руки обнимают ствол, ноги подтягиваются вверх сразу на целый ярд, после чего соответственно перехватывают повыше и руками. Я сам видел, как дети едва ли пяти лет от роду взбирались таким образом по тонкому стволу пальмы футов на пятьдесят над землей, а родители снизу одобрительно хлопали в ладоши и поощряли своих отпрысков карабкаться еще выше. Интересно, подумал я, когда впервые оказался свидетелем подобной сцены, что было бы с нервозными американскими или английскими мамашами, застань они за таким занятием своего ребенка? Спартанки, наверное, могли бы оценить дерзость юнца, но с современными дамами была бы просто истерика.

На верхушке кокосовой пальмы густой зеленой корзиной расходятся из одного места во все стороны большие колышущиеся ветви, а на них между листьями виднеются плотно сидящие вместе орехи; на высоких деревьях они кажутся с земли не крупнее виноградной кисти. Помню одного отчаянного паренька — его звали Ту-Ту, — который

на верхушке живописной пальмы возле дома Мархейо построил себе воздушный шалашик для игр. Он просиживал там часами, шурша, возился среди ветвей, радостно горланил, когда порыв ветра с гор, налетев, раскачивал его головокружительно высокий и гибкий насест. Всякий раз, когда я слышал его звонкий голосок, звучавший так странно из поднебесья, и видел, как он выглядывал сверху из своего зеленого укрытия, на ум мне приходили строки из Дибдина:

А за судьбою горемыки Джека
С мачты смотрит херувим-дозорный.

Птицы — пестрые, красивые птицы — летают над долиной Тайпи. Сидят на недвижных могучих ветвях хлебного дерева или качаются легонько на ветру в гибких кронах дерева *ому*; скачут по пальмовым кровлям жилищ; призрачными тенями бесшумно проносятся через рощи или камнем падают в долину с горной высоты, сверкая на солнце всеми цветами радуги. Они синие и фиолетовые, пунцовые и белоснежные, черные и золотые; клювы у одних кроваво-красные, у других — иссиня-черные или белые чуть с желтинкой, как слоновая кость; и глаза, всегда блестящие, словно искры. Они проносятся по

воздуху яркими кометами, но, увы! уста их затворены — в долине нет ни единой певчей птахи!

Не знаю почему, но вид этих прекрасных птиц, наверное призванных дарить радость, на меня неизменно нагонял грусть. Когда в заклятье своей немоты они летали надо мною или провожали меня из-за листвы внимательным блестящим глазом, мне чудилось, что они все понимают и сочувствуют пленнику в чужом краю.

XXX

Однажды, когда я гулял с Кори-Кори по опушке, где рос густой кустарник, внимание мое привлекли какие-то странные звуки. Свернув, я углубился в чащу и впервые увидел татуировщика за работой.

Передо мной на спине лежал человек, и по лицу его, принужденно неподвижному, было видно, что он жестоко страдает. А его мучитель склонился над его телом и знай себе орудует, точно камнерез молотком и зубилом. В одной руке он держал палочку с острым акульим зубом на конце и стучал по ней сверху деревянным чурбачком, пробивая кожу своей жертвы и внося в нее красящее вещество, в которое обмакивался акулий зуб. Кокосовая скорлупа с красителем стояла подле. Его приготовляют из смеси каких-то растительных соков с золой светильного ореха *армора*, всегда для такой цели сберегаемой. Рядом с этим диким художником на куске тапы были разложены всевозможные устрашающего вида костяные и деревянные инструменты, предназначенные для разных орнаментальных операций. Некоторые оканчивались одним хо-

рошо заточенным острием и употреблялись, как особо тонкие карандаши, для нанесения последних точных штрихов или для обработки наиболее чувствительных участков кожи, как было сейчас. Другие имели по нескольку острых зубьев в ряд и были похожи на пилу. Эти шли в ход там, где не требовалось особой тонкости в работе, главным образом для проведения прямых полос. А были и такие, у которых острия располагались в виде определенного узора, будучи приставлены к телу, они с одного удара молотком оставляли на коже свой неизгладимый отпечаток. Некоторые, я заметил, имели ручки замысловато-изогнутой формы — быть может, такие резцы предназначались для того, чтобы вставляться в ухо и выбивать узорную дробь на барабанной перепонке. Больше всего этот зловещий инструментарий напоминал устрашающий набор крючьев, игл, зеркалец и прочих предметов с перламутровыми ручками, которые всегда лежат на бархате в раскрытом ящике под рукой у зубного врача.

В тот раз художник был занят не созданием нового произведения искусства, а подновлением старых узоров на теле почтенного старца, чья татуировка с годами сильно выцвела и потерлась, — это была просто реставрация работы

старых мастеров тайпийской школы. Холстом служили веки, по которым должна была проходить меридиональная полоса, пересекавшая, как у Кори-Кори, все лицо.

Как ни крепился бедный старик, мускулы его лица то и дело сводило и передергивало, выдавая тонкую чувствительность этих ставень на зеркале души, которые ему пришлось заново перекрашивать. Но татуировщик, сердцем жестокий, как полковой хирург, делал свое дело и, подбадривая себя каким-то диким песнопением, преспокойно потюкивал палочкой, что твой дятел по древесному стволу. Он был так поглощен творчеством, что не заметил нашего приближения, пока я сам, вдоволь налюбовавшись этим зрелищем, его не окликнул. Увидев меня, он вообразил, что я обращаюсь к нему по делам его профессии, и тут же вне себя от восторга вцепился в меня, горя нетерпением немедленно приступить к работе. Когда же мне удалось растолковать ему, что он не так меня понял, его разочарованию и горю не было границ. Потом, оправившись, он, видимо, решил не придавать веры моим утверждениям и, схватив свои орудия, стал размахивать ими в устрашающей близости от моего лица, рисуя воображаемые картины и сам вслух восхищаясь

собственным искусством.

Похолодев от ужаса при одной только мысли, что я могу на всю жизнь оказаться обезображенным, если это чудовище добьется своего, я вырывался изо всех сил, а Кори-Кори изменнически стоял рядом и говорил, что рекомендует мне подчиниться.

Натолкнувшись на противодействие, воспламененный живописец впал в совершенное отчаяние, оттого что ему не дают на столь выгодном объекте явить свое искусство.

Творческий замысел покрыть татуировкой мою белую кожу вдохновил его как художника — он бросал на лицо мое жадные взгляды, и с каждым взглядом воодушевление его росло. Не зная, до каких крайностей способен он дойти в пылу, и содрогаясь при мысли о том, как он может изуродовать мою физиономию, я сделал попытку отвлечь от нее его творческую фантазию и вытянул руку, которую уж, черт с ним, решил предоставить в его распоряжение. Но он с негодованием отверг такой компромисс и продолжал виться у моего лица, давая мне понять, что все остальное его удовлетворить не может. И когда он указательным пальцем наметил края полос, которые должны были опоясать мои чер-

ты, мурашки так и побежали у меня по коже от его прикосновения. Наконец, едва не обезумев от ужаса и негодования, я вырвался от этих дикарей и со всех ног помчался к дому Мархейо, а по пятам за мною несся со своими орудиями в руках неумолимый художник, пока Кори-Кори все-таки не вмешался и не пресек погоню.

Случай этот открыл мне глаза на новую опасность: я понял, что неотвратим тот час, когда личности моей будет нанесен непоправимый урон, так что мне уже не с чем будет предстать перед соотечественниками, даже если когда-нибудь обнаружится к тому возможность.

Опасения мои еще более возросли, когда король Мехеви и некоторые другие старейшины со своей стороны стали выражать желание видеть меня наконец татуированным. Воля короля сделалась мне известна на третий день после столкновения с татуировальным живописцем Карки. Боже ты мой! Сколько проклятий обрушил я на голову этого Карки! Так я и знал, этот дьявол устроил заговор против меня и моего лица и не успокоится, пока своего не добьется. Где бы я ни встретил его теперь, стоило ему только увидеть меня, и он со всех ног бежал ко мне со своим молотком и зубилом и начинал размахивать ими у самого

моего носа, словно ему не терпелось немедленно приступить к работе. Вот уж красавца он бы из меня сделал!

В первый раз, когда король высказал мне свою монаршую волю, я так страстно изобразил ему мое отвращение к этой процедуре и пришел в такой раж, что Мехеви взирал на меня в полном недоумении. Очевидно, у его величества просто в голове не укладывалось, как это здравомыслящему человеку может не нравиться такая чудесная вещь, как татуировка.

Через некоторое время он снова заговорил со мной об этом и, когда я опять стал нос воротить, выразил недовольство столь предосудительным моим упрямством. Когда же он в третий раз вернулся к этой теме, я понял, что, если не изобрету чего-нибудь, лицо мое погибло. И вот, набравшись, сколько возможно было, храбрости, я объявил, что согласен отдать под татуировку обе руки от запястий до плеч. Его величество от души обрадовался такому моему решению, и я уже с облегчением вздохнул, когда вдруг король сказал мне, что только, разумеется, начать надо будет с лица, а потом уж можно и руки. Отчаяние овладело мною. Я понял, что лишь окончательная гибель моего «божьего подобья», как говорят по-

эты, может удовлетворить неумолимого Мехеви и его старейшин, вернее же, проклятого Карки, потому что это, конечно, все он мутил воду.

Оставалось разве утешаться тем, что зато мне дано право выбирать узор по собственному вкусу. Захочу — можно провести три полосы поперек лица по тому же фасону, что и у моего телохранителя; а можно, если угодно, сделать косую штриховку; если же я, как истинный придворный, пожелаю во всем подражать моему монарху, то пожалуйста — лицо мое будет украшено мистическим треугольником, наподобие масонского знака. Но мне ни один из этих фасонов решительно не нравился, и, как ни заверял меня король, что выбор мой ничем не будет ограничен, я так упорно продолжал отказываться, что он в конце концов решил махнуть на меня рукой.

Он-то отступился, но кое-кто из тайпийцев продолжал оказывать на меня давление. Дня не проходило, чтобы кто-нибудь из них да не приставал ко мне с этой просьбой. Жизнь стала для меня положительно невыносимой — меня не радовали больше прежние удовольствия, и угасшее было желание бежать вернулось с новой силой.

Особенно обеспокоился я, когда узнал, что татуировка составляет здесь один из религиозных

ритуалов, так что меня не просто хотели обезобразить, но обратить в свою веру.

В разрисовке вождей прибегают к очень тонкой и тщательной технике, а среди туземцев низшего сословия иные выглядели так, словно по ним прошлись не глядя малярной кистью. Помню одного типа, который ужасно гордился большим овальным пятном, красовавшимся у него выше лопаток; мне он казался несчастным, у которого на загривке вздулся здоровенный волдырь от прижигания шпанской мушкой. У другого моего знакомого вокруг глаз были вытатуированы правильные квадраты, и глаза его, на редкость живые и блестящие, сверкали, точно два алмаза, вправленные в черное дерево.

Хотя я убежден, что татуировка относится к религиозным обрядам, но как именно она связана с идолопоклонническими суевериями местных жителей — в этом мне разобраться не удалось. Как и в системе запретов *табу*, теологическая сущность этого ритуала осталась для меня тайной.

Между религиями всех полинезийских племен усматривается заметное сходство, можно даже сказать, полное подобие, и в каждой из них существует загадочное *табу*, применяемое где

шире, где уже. Система его так сложна и уму непостижима, что я знал нескольких людей, годами живших среди туземцев, изучивших их язык и нравы и все-таки не сумевших разобраться в этом своеобразном и загадочном обычае. И я, живя в долине Тайпи, ежедневно, ежечасно сталкивался с этой всемогущей силой, не имея никакого понятия о ее природе. Влияние *табу* поистине всепронизывающе, оно распространяется и на самые важные события, и на ничтожнейшие мелочи повседневности. Одним словом, вся жизнь дикаря построена на строгом и неотступном соблюдении предписаний *табу*, которое управляет любым его действием.

Первые дни меня буквально на каждом шагу одергивал окрик: «*Табу*!», предостерегая от бесчисленных нарушений этого мистического запрета, которые я по простоте душевной то и дело готов был совершить. Помню, на второй день после нашего прихода в долину я, не чая худа, протянул Тоби пачку табаку через голову сидевшего между нами человека. Тот вскочил словно ужаленный, а все присутствующие в дружном ужасе завопили: «*Табу*!» Я никогда больше не повторял этого невежливого поступка, предосудительного не только по закону *табу*,

но и по правилам хорошего тона. Но не всегда оказывалось так легко определить, в чем твое преступление. Много раз, бывало, меня, что называется, призывали к порядку, а я понятия не имел, что я такого натворил.

Однажды я гулял в отдаленном конце долины, как вдруг до меня донеслись мелодичные звуки деревянных колотушек. Я свернул на тропинку, которая вскоре привела меня на поляну, где несколько молодых девушек были заняты изготовлением тапы. Я много раз смотрел, как это делается, и даже держал в руках кору в разных стадиях обработки. На этот раз девушки были почему-то особенно увлечены своим делом, они только перекинулись со мною парой веселых шуток и снова принялись за работу. Я немного постоял, следя за их изящными движениями, потом взял в горсть немного размятого вещества, из которого должна была получиться тапа, и стал в рассеянии разнимать волокна. И вдруг раздался визг — ну точно с целым пансионом благородных девиц началась истерика. Я вскочил, вообразив, что отряд хаппарских воинов вздумал повторить бестактность, некогда допущенную в отношении сабинянок, но очутился лицом к лицу с девушками, которые бросили работу и стояли в безумном

волнении, широко раскрыв глаза и с ужасом показывая на меня пальцами.

Наверное, какая-то ядовитая тварь прячется между волокнами, которые я взял, подумал я, и стал внимательно их перебирать. Но девушки только еще громче завизжали. Тут я и вправду перепугался, швырнул наземь горсть тапы и уже готов был пуститься в бегство, когда заметил, что вопли их внезапно прекратились, а одна из девушек подошла ко мне и, указав на разбитую волокнистую массу, только что выпавшую у меня из горсти, прокричала мне прямо в ухо роковое «*табу*!».

Впоследствии я узнал, что тапа, которую они делали, была какого-то особого сорта, она предназначалась на женские головные уборы и во всех стадиях изготовления охранялась строжайшим *табу*, запрещающим всему мужскому полу к ней прикасаться.

Нередко, гуляя по рощам, я замечал на каком-нибудь хлебном дереве или на кокосовой пальме особый венок из листьев, обхватывающий ствол. Это был знак *табу*. Само дерево, его плоды и даже тень, им отбрасываемая, объявлялись неприкосновенными. Точно так же трубка, пожалованная мне королем, оказалась в глазах туземцев свя-

щенной, и ни один из них никогда не позволил бы себе из нее затянуться. На чашке ее был надет вроде веночек из цветной соломы, отчего она, кстати говоря, была похожа на голову турка в чалме, какими у нас часто украшают рукояти плеток.

Такое соломенное кольцо было однажды надето мне на запястье собственноручно королем Мехеви, который, закончив плетение, тут же объявил меня *табу*. Случилось это вскоре после исчезновения Тоби; и если бы жители долины с самого начала не были ко мне неизменно добры, я, наверно, считал бы, что они так хорошо со мной обращаются из-за этого священнодействия.

Хитрые, необъяснимые запреты — одно из примечательных черт обычая *табу*; перечислить их все было бы просто немыслимо. Черные кабаны, младенцы до определенного возраста, женщины в интересном положении, молодые люди во время татуировки их лиц, а также некоторые участки долины, пока идет дождь, равно ограждены запретительной силой *табу*.

Я наблюдал его действие в долине Тиор, где, как рассказывалось выше, мне пришлось однажды побывать. Вместе с нами тогда отправился на берег и сам наш досточтимый капитан. А он был

неустрашимый охотник. Еще когда мы только начинали рейс и легли в обход мыса Горн, он, бывало, садился у гакаборта и кричал стюарду, чтобы нес и заряжал охотничьи ружья, которыми он подряд стрелял альбатросов, чаек, буревестников, глупышей и прочую морскую птицу, следовавшую за нами крикливой свитой. Матросы ужасались подобному святотатству, и все, как один, приписывали свирепый шторм, сорок дней трепавший нас там, у края земли, безбожному избиению этих пернатых тварей.

В бухте Тиор капитан выказал то же презрение к религии островитян, с каким прежде отвергал суеверия матросов. Наслышавшись о том, что в долине множество дичи — потомство нескольких кур и петухов, по недосмотру оставленных там когда-то английским кораблем, которое расплодилось под охраной строжайшего *табу* и почти совершенно одичало, — он теперь вознамерился прорваться сквозь все запреты и перебить этих птиц до последнего цыпленка. Соответственно, он захватил с собою грозного вида дробовик и возвестил о своем прибытии на берег оглушительным выстрелом, убив роскошного петуха, который сидел рядом на дереве и горланил свое всегдашнее «кукареку», оказавшееся для него на

этот раз погребальной песней. «*Табу*!» — в ужасе взвыли туземцы. «Да пошли вы с вашим *табу*... — отрезал наш спортсмен. — Потолкуете насчет этого с военными моряками». Снова бахнул дробовик, и новая жертва повалилась на землю. Испуганные островитяне разбежались по рощам, потрясенные столь неслыханным злодеянием.

До самого вечера между скал, обступающих долину, грохотали выстрелы, и многим красавицам птицам попортила роскошный пернатый наряд убийственная пуля-злодейка. И я уверен, что, не находись в это время на берегу французский адмирал с большим отрядом, туземцы, как ни малочисленны были их силы, в конце концов отомстили бы человеку, оскорбившему их священные порядки. Они и так умудрились немало ему досадить.

Разгоряченный трудами, наш капитан направился к ручью напиться; но дикари, следившие за ним с большого расстояния, разгадали его замысел и, бросившись к ручью, успели преградить ему дорогу и оттеснить его от воды, ибо его губы осквернили бы ее прикосновением. Наконец, утомившись и наскучив охотничьими забавами, он захотел войти в чью-то хижину и вкусить отдых на циновках, но обитатели хижины стол-

пились на пороге и не пустили его. Напрасно он то уговаривал их, то орал и грозился — туземцы не убоялись и не сжалились, и пришлось ему скликать команду и поскорее отвалить от этого «проклятущего» берега, как он выразился на прощание.

Его счастье еще — и наше тоже, — что напоследок разъяренные тиорцы не почтили нас градом камней. Ведь всего несколькими неделями раньше таким же способом за такое же преступление были убиты капитан и трое из команды со шхуны «К...».

Я не могу сказать ничего определенного о том, где можно искать источники запретов *табу*. Ведь разница в общественном положении между аборигенами так незначительна, так мала власть вождей и старейшин, так неопределенна роль членов жреческого сословия, которых с виду даже и не отличить было от остальных, что я совершенно не представляю себе, кто мог налагать эти запреты. Сегодня *табу* лежит на чем-нибудь, завтра оно снимается; а в других случаях оно действует всегда. Бывает, что его ограничения касаются одного какого-то человека или одной семьи, но бывает, что и целого племени; а отдельные запреты распространяются не только среди

разных племен в пределах одного острова, но даже в пределах целого архипелага. Примером этого последнего вида запретов может служить повсеместно на Маркизских островах распространенный закон, не позволяющий женщинам находиться в челне.

Само слово *табу* употребляется в разных значениях. Его иногда говорят ребенку, которого хотят родительской властью к чему-то не допустить. И вообще все, что не соответствует общепринятым нормам поведения островитян, даже если не находится под прямым запретом, все равно обозначается *табу*.

Язык долины Тайпи очень труден для усвоения. Он весьма близок другим полинезийским наречиям, которые, безусловно, все имеют общее происхождение. Одна из характерных их черт — удвоение слов типа *луми-луми, поипои* или *муи-муи*. Другой чертой, гораздо более неприятной, является способность одного слова выступать в нескольких разных значениях, причем между всеми этими значениями имеется определенная связь — и разобраться во всем этом и мечтать нечего. Получается, что одно расторопное словечко должно, как прислуга в бедном семействе, выполнять множество разных дел;

например, некая комбинация слогов выражает ряд понятий, связанных со сном, отдыхом, лежанием, сидением, прислонением и всеми прочими родственными занятиями, и нужный смысл в каждом отдельном случае сообщается главным образом с помощью жестов и выражения лица говорящего.

Еще одна их особенность — невероятно сложная грамматика. В миссионерском колледже на Лахайналуна, иначе — Моуи, одном из Сандвичевых островов, я видел таблицу спряжения гавайского глагола по всем временам и наклонениям. Она покрывала всю стену, и боюсь, что даже сам сэр Уильям Джонс не сумел бы ее запомнить.

XXXI

Я и до сих пор плачевнейшим образом разбрасывался в моем повествовании, однако теперь я прошу у читателя еще большего снисхождения, ибо дальше собираюсь просто нанизывать одно за другим без всякой претензии на логическую последовательность разные, еще не упомянутые клочки и обрывки сведений, которые я нахожу любопытными или характерными для долины Тайпи.

Был, например, один своеобразный обычай, строго соблюдаемый домочадцами старого Мархейо, всегда приводивший меня в изумление. Еженощно перед отходом ко сну все обитатели дома собирались в кружок и, усевшись на корточки, по обычаю всех этих островитян, затягивали тихое, бесконечно унылое монотонное песнопение с инструментальным сопровождением — у каждого в руках было по две довольно трухлявые палочки, и их редко, размеренно ударяли одна о другую. Так продолжалось битых два часа, а иногда и того более. Лежа поодаль, в темном углу, я поневоле таращил на них глаза, хотя зрелище это только тоску наводило. Мерцающие лучи

светильника *армор* лишь выделяли контуры их лиц, не рассеивая обступившей темноты. Я то задремывал, то вдруг пробуждался под заунывное пение — передо мной сидели в кружок какие-то удивительные люди, голые татуированные тела их едва проступали во мгле, бритые черепа покачивались под тихий вой и размеренный стук деревяшек, и тогда мне казалось, что здесь творятся злые чары и произносятся жуткие заклинания.

Каковы смысл и цель такого занятия, было ли то просто развлечение или же религиозный обряд, своего рода семейная молитва, я выяснить не сумел.

Звуки, издаваемые певцами, не поддаются описанию. Если бы я сам при этом не присутствовал, то никогда бы не поверил, что человеческие голоса способны звучать столь странно.

Считают, что речь дикарей вообще гортанна. Это, однако, далеко не всегда так и всего менее справедливо в отношении жителей Полинезийского архипелага. Плавная напевность, с какой тайпийские девушки произносят самые обыденные слова, мелодично растягивая последний слог каждой фразы и губами образуя звуки, чирикая, словно пташки, очень приятна на слух.

Речь мужчин не столь музыкальна; когда тема разговора их особенно волнует, с ними случаются настоящие припадки словоизвержения и самые корявые неуклюжие звуки сыплются тогда у них изо рта со скоростью поистине изумительной.

Хотя островитяне большие мастера таких унылых песнопений, искусство петь, как это понимают другие народы, им неизвестно.

Никогда не забуду, как я впервые запел в присутствии его величества Мехеви. На ум мне пришел куплет из «Баварца-метельщика», и я рявкнул его во все горло. Король и весь его двор посмотрели на меня с изумлением, словно я высказал сверхъестественную способность, которой их небеса не наделили. Король одобрил стихи, а припев его просто восхитил. По его желанию я пропел куплет еще и еще раз, и было безумно смешно, когда он пытался усвоить слова и мотив. Венценосный дикарь, видимо, думал, что, если сощурить и сморщить лицо так, чтобы остался один нос, это поможет ему добиться успеха. Однако гримасы все же не помогли, пришлось ему смириться в конце концов и утешиться тем, чтобы пятьдесят раз подряд прослушать полюбившуюся песню в моем исполнении.

До этого открытия, честь которого принадле-

жит Мехеви, я совершенно не подозревал, что во мне есть что-то от соловья. Но тут я был пожалован званием придворного менестреля, в каковом качестве и выступал затем бессчетное множество раз.

Других музыкальных инструментов, кроме барабанов и деревянных палочек, в долине Тайпи не знают, если не считать того, что ближе всего можно было бы обозначить как носовую флейту. Это ярко-красная тростниковая трубка, чуть длиннее обычной свирели, с четырьмя или пятью клапанами и с большим отверстием у конца, которое приставляют к левой ноздре. Правую ноздрю зажимают особым движением, сводя лицевые мускулы, дыхание направляется в трубку, и производят нежный, мелодичный звук, переменчивый оттого, что пальцами наугад перебирают клапаны. Игра на этом инструменте — любимое занятие женщин, и Файавэй достигла в нем замечательного мастерства. Каким неуклюжим ни кажется этот способ музицирования, в нежных ручках Файавэй носовая флейта выглядит необыкновенно изящно. Право, даже девица, терзающая гитару, которая подвешена у нее на шее с помощью добрых двух ярдов голубой ленты, выглядит не так прелестно.

Я развлекал моего царственного друга Мехеви и его жизнерадостных подданных не только пением. Ничто на свете не доставляло им такого удовольствия, как разыгрываемый мною в одиночку боксерский поединок. Поскольку ни один из туземцев не соглашался стоять, как настоящий мужчина, и терпеть, чтобы я колошматил его себе на радость и королю на потеху, я принужден был сражаться с воображаемым противником, которого неизменно и побеждал моими превосходящими силами и замечательной сноровкой. Случалось, что побитая тень в своем позорном отступлении слишком приближалась к кучке зрителей, тогда я бросался прямо в их гущу, нанося удары направо и налево, и бедные дикари разбегались в разные стороны, к великой радости короля Мехеви, старейшин, да и их самих.

Благородное искусство самозащиты здесь считали исключительным даром белого человека; эти дикари, я уверен, воображали, что солдаты европейских армий выходят на войну вооруженные только жилистыми кулаками и доблестными сердцами и, развернув строй, начинают по приказу высшего командования что есть силы тузить друг друга.

Однажды, когда мы с Кори-Кори пришли на

речку купаться, я увидел посреди реки сидящую на камне женщину — она с живейшим интересом наблюдала за чем-то, что плескалось рядом в воде и что я поначалу принял за какую-то крупную разновидность лягушки. Заинтересованный, я побрел туда, где она сидела. Каково же было мое изумление, когда я увидел младенца в возрасте не более нескольких дней, который бултыхался в воде с таким довольным видом, будто только что всплыл со дна, где вывелся из какой-нибудь икринки. По временам восхищенная родительница протягивала к малютке руки, и крохотное тельце, плеснувши по воде, оказывалось прижатым к материнской груди. Потом младенец снова пускался в речку, и так — многократно — всякий раз оставаясь в воде не более минуты. Случалось, он строил недовольные гримасы, глотнув речной водицы, или кашлял и захлебывался. Тогда мамаша подхватывала его и способом, описывать который едва ли уместно, заставляла извергнуть проглоченную жидкость. С тех пор у меня на глазах эта женщина больше месяца подряд каждый божий день приносила на речку своего ребенка по утренней прохладе и ближе к вечеру и устраивала ему такие ванны. Ничего удивительного, что жители Южных морей — настоящие амфи-

бии, если их спускают на воду, как только они появляются на свет. Я убежден, что плавать для человека так же естественно, как и для утки. А между тем сколько здоровых, крепких людей в цивилизованных странах тонут, точно слепые котята, при самых пустячных происшествиях!

Густые длинные блестящие волосы тайпийских красавиц неизменно вызывали мое восхищение. Хорошие волосы — отрада и гордость каждой женщины. Скручивают ли их вопреки недвусмысленной воле Провидения на макушке, укладывая в бухту, словно канат на палубе; оттягивают ли за уши и свешивают сзади наподобие бахромы на портьерах; или же позволяют им литься на плечи естественными локонами — все равно они остаются гордостью своей обладательницы и венцом ее туалета.

Девушки в долине Тайпи посвящают много времени уходу за своими роскошными локонами. После купания, то есть иногда по пять-шесть раз на дню, волосы тщательно просушивают, а если купание происходило в море, сначала прополаскивают пресной водой и смазывают пахучим маслом, изготовляемым из кокосов. Масло это добывается в больших количествах очень простым способом.

Большой деревянный сосуд с отверстиями в дне наполняют размельченной белой мякотью спелых кокосов и оставляют на солнце. Под действием солнечных лучей выделяется маслянистая жидкость и капля за каплей стекает сквозь отверстия в большую тыквенную миску, подставленную снизу. Когда набирается достаточное количество масла, его очищают, а затем разливают в круглые скорлупки ореха *му*, из которого для этого специально выдалбливают нутро. Скорлупки затем герметически запечатывают клейкой смолой, и скоро душистые стенки зеленого флакона сообщают маслу чудесный запах. Через несколько недель скорлупа снаружи становится сухой и твердой и приобретает красивый красный цвет; когда же ее вскрывают, она оказывается на две трети заполнена густой светло-желтой жидкостью, источающей сладчайший аромат. Такой душистый пунцовый шарик достоин занять место на туалетном столике любой королевы. А действенность его как средства для ухода за волосами не подлежит сомнению: его содержимое придает волосам блеск и шелковистость.

XXXII

Со времени моего знакомства с татуировальных дел мастером Карки жизнь моя сделалась сплошным мучением. Дня не проходило, чтобы кто-нибудь из тайпийцев не докучал мне разговорами о татуировке. Их приставания с ума меня сводили, я чувствовал, что, в сущности говоря, они могут сделать со мной все, что захотят, учинить надо мною любое безобразие, какое взбредет им на ум. Впрочем, пока что они обращались со мною по-прежнему очень хорошо. Файавэй была так же очаровательна; Кори-Кори так же предан; король Мехеви так же милостив и добр, как и до сих пор. Но я уже прожил в их долине, по моим подсчетам, около трех месяцев, хорошо усвоил границы, в которых был свободен разгуливать, и начинал по-настоящему осознавать всю горечь плена. Мне не с кем было поговорить по душам, некому открыть свои мысли. Тысячу раз я думал о том, насколько проще жилось бы мне здесь, будь Тоби, как и прежде, со мною. Но я остался в полном одиночестве, и сознание этого угнетало меня. И все-таки, как ни горько было у меня на душе, я крепился и старался казаться как можно более

веселым и довольным, отлично понимая, что, обнаруживая беспокойство и желание бежать отсюда, я могу тем самым только все испортить. А тут еще болезненный недуг, от которого я так страдал в первое время пребывания в долине, совсем уж было исчезнувший, возвратился опять и стал мучить меня с прежней силой. Это меня особенно угнетало; вновь начавшиеся боли свидетельствовали о том, что без основательного лечения никакой надежды исцелиться у меня нет. И когда я представлял себе, что вот за этими обступившими меня горами находится мое исцеление, но хоть до него рукой подать, а для меня оно недостижимо, терзания мои были жестоки.

Естественно, что в таком состоянии души всякое проявление дикарской природы моих пленителей лишь усугубляло снедавшие меня ужасные предчувствия. Одно происшествие, случившееся как раз в это время, особенно болезненно на меня подействовало.

Я уже упоминал выше, что в доме Мархейо со стропила свисали какие-то пакеты, завернутые в куски тапы. Многие из них не раз у меня на глазах снимали и разворачивали, и содержимое их было мне хорошо известно. Но было там три свертка, висевшие прямо над тем местом, где я

спал, которые необыкновенным своим видом давно возбуждали мое любопытство. Я несколько раз просил Кори-Кори показать мне, что в них находится, но мой верный телохранитель, с готовностью выполнявший все мои желания, в этом мне решительно отказывал.

Однажды я раньше обычного возвратился из дома *Тай*. Меня не ждали, и приход мой вызвал явное замешательство. Все домочадцы Мархейо сидели в кружок на циновках, и по веревкам, тянущимся с потолка, я сразу понял, что производился осмотр тех самых загадочных свертков. Откровенная их тревога породила во мне предчувствие недоброго, а также непреодолимое желание проникнуть в тайны, столь ревностно от меня оберегаемые. Напрасно Мархейо и Кори-Кори старались меня удержать — я прорвался в середину круга и успел заметить три человеческие головы, прежде чем испуганные туземцы успели накрыть их куском тапы, в который они все это время были завернуты.

Одну из голов я хорошо разглядел. Она была совершенно нетронута разложением, очевидно подвергнутая каким-то коптильным процессам, сделавшим из нее твердую, высохшую мумию. Две длинные пряди волос были свернуты на ма-

кушке в две букли — в точности так же, как их владелец носил при жизни. Запавшие щеки казались еще страшнее над двумя выступающими рядами обнажившихся белых зубов, а в глазницах были вставлены овальные перламутровые раковины с черным пятном посредине, сообщавшие ей поистине жуткий вид.

Две головы, безусловно, принадлежали местным жителям, но третья, к моему ужасу, оказалась головой белого человека. Правда, ее поспешили спрятать, но мне достаточно было беглого взгляда — я не мог ошибиться.

Боже милостивый! Какие страшные мысли нахлынули на меня! Неужели, разгадывая тайну свертков, я раскрыл и другую тайну и это ужасное зрелище явило мне судьбу моего пропавшего друга? Как мне хотелось сорвать покровы ткани и проверить мои страшные подозрения! Но не успел я опомниться, как зловещие свертки уже были подтянуты к потолку и снова висели на недосягаемой высоте. Туземцы обступили меня шумным кольцом и стали настойчиво убеждать, что виденные мною головы принадлежали трем павшим в битве хаппарским воинам. Эта очевидная ложь еще больше меня встревожила, и я смог немного успокоиться только тогда, когда

сообразил, что свертки эти висели у меня над головой еще до исчезновения Тоби.

Но как бы то ни было, даже если одно это ужасное подозрение рассеялось, того, что я увидел, было довольно, чтобы натолкнуть меня на горчайшие размышления. Было совершенно ясно, что я видел останки какого-то злосчастного матроса, прибывшего по делам торговли в этот залив и растерзанного на берегу дикарями.

Но меня угнетала не только гибель этого бедного незнакомца. Я содрогался при мысли о том, что сталось после смерти с его бездыханным телом. Быть может, и мне уготована такая же судьба? Быть может, и мне суждено умереть его смертью, быть, как и он, съеденным, а голове моей — в качестве сувенира служить приятным напоминанием об этом событии? Воображение мое разыгралось, я был уверен, что мне угрожают величайшие ужасы. Но я продолжал скрывать мои страхи, равно как и сделанное мною открытие насчет головы белого человека.

Конечно, я не верил, когда тайпийцы клялись мне, что у них такого и в заводе даже нет, чтобы есть человеческое мясо; но я прожил среди них довольно долго, ни разу не застав их за этим ужасным занятием и не видя ни малейших при-

знаков, которые бы о нем говорили, и я уже начал было надеяться, что ввиду необыкновенной редкости этого явления мне удастся и впредь за все время, какое я еще здесь пробуду, избегнуть столь омерзительного зрелища; но, увы! надежды мои не сбылись.

Примечательно, что среди всех существующих описаний людоедских племен едва ли можно найти рассказ очевидца, лично наблюдавшего это крайне неприятное явление. Вывод о приверженности к каннибализму делался всякий раз либо на основании слухов, передаваемых европейцами, либо же строился на чистосердечном признании самих дикарей, уже слегка цивилизованных. Полинезийцы осведомлены о решительном осуждении, которое у европейцев вызывает обычай людоедства, поэтому они всячески от него отрекаются и с чисто дикарским хитроумием заметают все следы.

Так, например, было многократно отмечено упорное нежелание жителей Сандвичевых островов, и до сего времени ими выказываемое, обсуждать печальную судьбу капитана Кука. Им так хорошо удалось сохранить свою тайну, что даже сегодня, сколько об этом ни пишут и ни говорят, по-прежнему остается неизвестным,

правда ли, что они поступили с его мертвым телом из мести так же, как нередко поступают с телами своих поверженных врагов.

В бухте Каракикова, где разыгралась эта трагедия, раньше стоял врытый в землю столб, к которому был прибит кусок медной корабельной обшивки, а на нем надпись, уведомлявшая интересующихся о том, что под сим столбом покоятся останки великого мореплавателя. Но я сильно подозреваю, что не только тело навигатора не было похоронено по христианскому обряду, но и сердце Кука, принесенное через некоторое время Ванкуверу островитянами с полными ручательствами, вовсе таковым не было; а был все это чистой воды подлог, чтобы утихомирить доверчивого англичанина.

Несколько лет тому назад на острове Мауи, одном из группы Сандвичевых островов, был еще жив старый вождь, который, гонимый болезненной жаждой славы, объявился среди иностранных резидентов, выдавая себя за живую могилу большого пальца ноги капитана Кука! — поскольку на каннибальском пиршестве, воспоследовавшем за печальной кончиной достойного британца, на его долю выпал именно этот лакомый кусок тела покойника. Его

собственные возмущенные соотечественники возбудили против него судебное преследование — по делу о гнусной клевете на родной народ; однако старик твердо стоял на своем, а никаких опровергающих улик выдвинуто не было, и потому истцы были присуждены к уплате издержек, а людоедская репутация ответчика полностью восстановлена. Процесс этот принес ему славу и богатство, ибо с тех пор у него не было отбоя от щедрых путешественников, жаждущих посмотреть на человека, который съел большой палец ноги великого мореплавателя.

Неделю спустя после открытия мною страшной тайны трех свертков я находился в доме *Тай*, как вдруг была поднята боевая тревога, и тайпийцы, расхватав оружие, ринулись прочь отбивать новое нападение хаппарских агрессоров. Все повторилось, как и в прошлый раз, с той только разницей, что во время этого сражения я слышал не три, а по меньшей мере пятнадцать мушкетных выстрелов. А часа через два после конца перестрелки громогласные хвалебные песнопения возвестили приход победителей. Я стоял с Кори-Кори, облокотившись на ограду *пай-пай*, и ожидал их появления. Вот из ближней рощи высыпала шумная толпа. В середине ее

строем шествовали друг за другом четыре человека и несли между собою на плечах длинные палки, на которых были подвешены на лыковых ремнях три длинных узких свертка, тщательно закатанных в пальмовые листья с бамбуковыми зажимами. Сквозь зеленые гробовые пелены проступали свежие пятна крови, и тела воинов, несших страшный груз, тоже были испещрены кровавыми знаками боя. На бритой голове шагавшего впереди зияла глубокая рана, и кровь, бежавшая из нее, спеклась вокруг. Он с трудом нес свою ношу; узоры татуировки на его теле покрыла кровь и грязь; воспаленные глаза вращались в орбитах; по всему было видно, что от слабости и боли он едва стоит на ногах. Но, поддерживаемый каким-то могучим вдохновением, он продолжал шагать, а теснившиеся вокруг него люди поощряли его буйными возгласами. Остальные трое шли легче, гордо выставляя свои раны — у каждого было по нескольку на руках и груди.

Эти четыре воина, особо отличившиеся в недавнем сражении, были удостоены чести принести к дому *Тай* тела убитых врагов. Так я, во всяком случае, это понял, и, если не ошибаюсь, именно это пытался растолковать мне Кори-Кори.

Король Мехеви шел подле славных героев. Он нес в одной руке мушкет, на стволе которого висел холстяной мешочек с порохом, а другой сжимал короткий дротик и разглядывал его с торжеством и восхищением. Этот дротик он вырвал из рук знаменитого хаппарского воина, который позорно бежал за горы, преследуемый по пятам противником.

Немного не дойдя до дома *Тай*, воин с пробитой головой — это был Нармони — покачнулся, сделал три неверных шага вперед и рухнул наземь. Но другой воин успел перехватить конец палки и подставить под нее плечо.

Возбужденная толпа островитян, теснящихся вокруг короля и мертвых вражеских тел, приблизилась к тому месту, где я стоял; в воздухе над головами мелькали грубые орудия войны, сильно покореженные и пострадавшие, и звенел неумолчный вопль торжества. Когда процессия достаточно приблизилась к дому *Тай*, я приготовился наблюдать, что будет происходить дальше; но не успели дикари остановиться, как мой верный слуга, отвлекшийся было на минуту, тронул меня за локоть и предложил вернуться в дом Мархейо. Я сказал, что не хочу; но, к моему удивлению, Кори-Кори твердил свое, и притом тоном,

непривычно для него решительным. Однако я отказывался подчиниться; он наступал на меня, настаивая; я стал пятиться, как вдруг ощутил на своем плече тяжелую руку — обернувшись, я увидел перед собой могучую фигуру одноглазого вождя Мау-Мау, который отделился от толпы и сзади поднялся на террасу *пай-пай*. На щеке у него была колотая рана, нанесенная острием копья, и татуированное лицо его, и без того обезображенное одноглазием, казалось оттого еще ужаснее. Не произнеся ни слова, зловещий воин указал пальцем в сторону дома Мархейо, между тем как Кори-Кори, встав ко мне спиной, жестом пригласил меня садиться на него верхом.

Это приглашение я отклонил, но выразил готовность удалиться и медленно зашагал вдоль каменной террасы, на ходу ломая голову над тем, чем объяснить такую строгость. Очевидно, дикари собирались устроить какое-то торжество по своим жутким обычаям и ни за что не хотели, чтобы я при этом присутствовал. Я спустился с *пай-пай* и, понукаемый Кори-Кори, который на этот раз не выказывал обычного сочувствия моей хромоте и был озабочен лишь тем, чтобы мы поскорее удалились, зашагал сквозь шумливую толпу. Со страхом взглянул я на три продолгова-

тых свертка, уже уложенные на земле, — я твердо знал, что составляет их содержимое, однако формы человеческих тел под толстым слоем листьев оставались неразличимы.

На следующее утро перед рассветом меня разбудил оглушительный барабанный бой — совершенно такой же, что и на второй день Праздника тыкв. Я понял, что дикари готовятся приступить к новому, на этот раз ужасному, празднеству.

Все обитатели дома Мархейо, за исключением самого старика, его сына и доброй Тайнор, облачившись в парадные наряды, отправились в Священные рощи.

Зная, что не получу согласия, я все-таки, чтобы проверить правильность моих умозаключений, предложил Кори-Кори совершить обычную прогулку к дому *Тай*. Он решительно отказался, а когда я попробовал настаивать, обнаружил готовность не допустить меня туда, чего бы это ему ни стоило. Чтобы отвлечь меня от вредных мыслей, Кори-Кори предложил прогуляться на речку. Мы пошли. Искупались. А когда вернулись, все наши сожители, к моему удивлению, оказались дома; они, как обычно, возлежали, нежась, на циновках, хотя барабаны по-прежнему звучали за рощей.

Остаток дня я провел в обществе Кори-Кори и Файавэй, гуляя в противоположном от дома *Тай* направлении, и стоило мне хотя бы взглянуть в ту сторону, где он находился, а был он на расстоянии по меньшей мере в милю, скрытый к тому же от нас деревьями, и всякий раз мой телохранитель в ужасе восклицал: «*Табу! Табу*!»

В домах, в которые мы заходили по дороге, люди преспокойно лежали на циновках или занимались разными мелкими делами, словно ничего необычного не происходило; но среди них я нигде не заметил ни одного воина или старейшины. Я спросил некоторых, почему они не на *хула-хула* (празднестве), и мне все в один голос отвечали, что этот праздник не для них, а для Мехеви, Нармони, Мау-Мау, Колори, Вармуну, Калоу, перебирая, чтобы я их правильно понял, имена всех племенных вождей.

Тем самым они только укрепляли мои ужасные подозрения о характере совершающегося празднества; теперь я уже не сомневался, что был прав. Мне еще в Нукухиве рассказывали, что на каннибальских банкетах никогда не присутствует все племя, а только жрецы и вожди; то, что я видел сейчас, согласовывалось с этими описаниями.

Барабаны грохотали, не переставая, целый

день, и, беспрерывно терзая слух, постепенно внушили мне ужас, которого описать я не в силах. Но наутро, проснувшись, я не услышал этого оглушительного праздничного шума и заключил поэтому, что противоестественное пиршество окончено. Как ни ужасно это было, но мне захотелось взглянуть, не осталось ли в доме *Тай* каких-нибудь следов происходившего, и я предложил Кори-Кори туда прогуляться. В ответ он указал пальцем на взошедшее солнце, а затем перевел его в зенит, давая этим понять, что прогулку придется отложить до полудня. Когда солнце достигло зенита, мы и в самом деле отправились к Священным рощам, и, лишь только очутились под их сводами, я стал в страхе озираться вокруг, ища какой-нибудь памяти разыгранных здесь недавно сцен. Но все казалось таким же, как и раньше. Придя в дом *Тай*, мы нашли там Мехеви и старейшин, возлежащих, как обычно, на циновках. Они встретили меня с всегдашним радушием. Ни о чем, что здесь недавно происходило, они не упоминали, и я, понятно, тоже воздержался от разговоров на эту тему.

Я пробыл с ними совсем недолго и собрался уходить. Проходя по каменной *пай-пай*, я обратил внимание на странной формы выдолбленный

сосуд, довольно большой, под деревянной же крышкой, по виду похожий на челнок. Он был окружен низкой бамбуковой оградой. Так как раньше его здесь не было, я сразу же подумал, что, должно быть, он как-то связан с прошедшим пиршеством; и, движимый непреодолимым любопытством, я на ходу приподнял край крышки; в тот же миг старейшины, разгадавшие мои намерения, громко воскликнули: «*Табу! Табу*!» Но с меня довольно было одного взгляда — я сам захлопнул крышку: глаза мои увидели разрозненные части человеческого скелета, кости, еще влажные, и кое-где на них куски мяса!

Кори-Кори, который шел впереди меня, обернулся на крик старейшин как раз в пору, чтобы заметить бесконечный ужас, выразившийся на моем лице. Он бросился ко мне, на бегу указывая на челнок и крича: «Пуарки! Пуарки!» (Свинья! Свинья!) Я сделал вид, будто поверил его обману, повторив за ним несколько раз это слово, словно для большего убеждения. Остальные дикари, обманутые моей хитростью, а может быть просто махнув рукой, раз уж дело сделано, больше об этом говорить не стали, и я поспешил покинуть дом *Тай*.

Всю ночь я пролежал без сна, размышляя о

моем ужасном положении. Последнее открытие представило мне его в беспощадно ясном свете, и жуткие мысли осаждали меня до утра.

Где, с тоской думал я, где надежда на спасение? Единственный человек, который мог бы мне помочь в этом, был чужестранец Марну; но кто знает, вернется ли он сюда еще когда-нибудь? И если я его еще раз увижу, дадут ли мне с ним поговорить? Нет, мне не на что было надеяться; оставалось покорно ждать своей судьбы. Тысячи раз я ломал голову над тем, как объяснить загадочное поведение островитян. Зачем они удерживали меня в плену? Какую цель преследовали, обращаясь со мною так хорошо? Может быть, под этим скрывались злодейские замыслы? И если даже у них не было иных замыслов, как просто сделать меня своим вечным пленником, мыслимо ли мне до конца дней моих существовать в этой тесной долине, отрезанным от всякой цивилизации, в разлуке с родными и близкими?

У меня оставалась только одна надежда. Французы, должно быть, не замедлят появиться в бухте Тайпи, и, если они устроят в долине постоянное поселение, туземцам не удастся долго скрывать меня от них. Но откуда я знал, останусь ли я до этого времени в живых, — ведь тысячи разных

мелочей могут задержать прибытие французов на самое неопределенное время.

XXXIII

«Марну, Марну пеми!» Это радостное известие достигло моих ушей спустя дней десять после описанных в предыдущей главе событий. Снова в долину пришел чужеземец Марну, и сердце мое забилось новой надеждой. Я могу разговаривать с ним на моем родном языке! Я сразу же решил, что непременно придумаю с ним вместе хоть какой-то, пусть почти безнадежный, план моего бегства из этой долины, где жизнь стала для меня невыносимой.

Но когда он появился, я вдруг с болью вспомнил наше с ним невеселое расставание и настороженно наблюдал из дальнего угла, как он будет принят в доме Мархейо. К моей радости, его встретили бурными восторгами; он ласково поздоровался со мною и, усевшись подле меня на циновках, завел с туземцами оживленный разговор. Вскоре, однако, обнаружилось, что на этот раз никаких важных известий он не принес. Я спросил его, откуда он держит путь? Он ответил, что из своей родной долины Пуиарка и что сегодня же намерен туда возвратиться.

Мне сразу же подумалось, что, добравшись

вместе с ним в долину Пуиарка, я без труда смогу оттуда по воде попасть в Нукухиву. В страшном волнении я коротко изложил Марну этот план и спросил, как его лучше всего осуществить. Но в ответ услышал, сразу поникнув, что это невозможно. «Канака тебя никуда не пускать, — ответил он мне на своем ломаном английском языке. — Ты — *табу*. Почему здесь тебе не нравится? Сколько хочешь *мои-мои* (сна), сколько хочешь *кай-кай* (еды), сколько хочешь *вайхини* (девушек) — о, славно в долине Тайпи! Не нравится? Зачем же приходил сюда? Как так, и не слышал про Тайпи? Все белые боятся Тайпи, потому белые не приходят в Тайпи».

Эти слова меня жестоко огорчили; когда же я принялся снова пересказывать ему историю о том, как я попал к тайпийцам, и пытался завоевать его сочувствие, живописуя мои телесные недуги, он слушал меня без внимания и наконец прервал, воскликнув: «Я больше не слушай тебя! Не то сейчас канака разозлишь, тебя убьют, меня убьют тоже. Не видишь разве, они не хотят, чтобы мы друг с другом говорили? А-а, ничего, вот скоро будешь крепкий, здоровый, они тебя убивать и есть, и голова твоя висеть, как Хаппар канака. Слушай меня, но сам не говори: я сейчас уходить,

ты замечай, куда я пошел; потом будет ночь, все канака *мои-мои* (спать) — ты убегай. Придешь в Пуиарка, я за тебя там слово говори, не тронут тебя. Потом везу тебя в Нукухива на моей лодке — ты больше с корабля не убегать». И с этими словами, подкрепленными необыкновенно решительной жестикуляцией, Марну отошел от меня и завел беседу с группой старейшин, только что вошедших в дом.

Возобновлять разговор, столь резко им прерванный, нечего было и пытаться. Марну не склонен был жертвовать своей безопасностью ради неосмотрительных попыток обезопасить меня. Но план, им предложенный, показался мне выполним, и я решился последовать ему при первой же возможности.

Поэтому, когда Марну собрался уходить, я пошел вместе с тайпийцами его провожать, чтобы тайно высмотреть и запомнить дорогу из долины. Спускаясь с *пай-пай*, он обернулся ко мне, быстро пожал мне руку и, многозначительно взглянув мне в лицо, скороговоркой сказал: «Ты смотри — делаешь, как я говорю, — а! хорошо, не делаешь — ах! умираешь». Затем он махнул копьем и живо зашагал по тропе, которая, как я заметил, вела к горному проходу в стороне, противоположной от

Хаппарского хребта. Скоро он скрылся из виду.

Путь к спасению был мне теперь известен, но как им воспользоваться? Я постоянно находился в окружении тайпийцев, даже от одной хижины до другой меня непременно кто-нибудь из них сопровождал, даже в часы сна малейшее мое движение сразу привлекало внимание тех, кто делил со мной ложе из циновок. Но всем преградам вопреки я решил, не откладывая, попытать удачи. Для того чтобы у меня появились хоть какие-то шансы на успех, нужно было сделать так, чтобы в доме Мархейо меня хватились не раньше чем через два часа после моего ухода, потому что сигнал тревоги передавался в долине с такой скоростью, а обитателям ее так хорошо знакомы были все тропинки в лесу, что иначе у меня, хромого и слабосильного и не знающего дороги, не было никакой надежды уйти от погони. Таким образом, единственное время для попытки — это ночь, и действовать надо с величайшей осторожностью.

Вход в жилище Мархейо представлял собою низкое и узкое отверстие в плетеной тростниковой стене. Когда обитатели дома отходили ко сну, отверстие это, неизвестно почему, всякий раз загораживалось — его задвигали тяжелым щитом

из палок, связанных соломенными тяжами. Если кто-нибудь хотел выйти, скрежет отодвигаемой двери будил весь дом; и я не раз имел возможность убедиться, что дикари, когда им не дают спокойно спать, оказываются не менее раздражительными, чем цивилизованные люди.

Это препятствие я решил преодолеть следующим способом. Я встану ночью не таясь, отодвину дверной щит и выйду на волю будто бы только затем, чтобы напиться из большой тыквы, которая всегда стояла снаружи на углу *пай-пай*. А возвратившись, я нарочно оставлю щит незадвинутым в расчете на то, что мои сожители по всегдашней своей лени не встанут, чтобы исправить такую мою оплошность. Я вернусь на циновки, дождусь, пока все опять заснут, а затем тихонько выскользну из дому и со всех ног пущусь по дороге в Пуиарку.

В ту же ночь я попробовал осуществить этот план. Где-то, как я думаю, около полуночи я встал и отодвинул щит. Сожители мои, как я и ожидал, сразу проснулись, поднялись, кто-то спросил: «Арваре пу ава, Томмо?» (Куда идешь, Томмо?) «Ваим» (вода), — коротко ответил я и взялся за тыкву. Они сразу же снова улеглись, я вернулся на свою циновку и стал с замирающим сердцем

ждать, что получится.

Тайпийцы один за другим, повозившись на циновках, заснули опять, и я, радуясь воцарившемуся безмолвию, уже собрался встать, как вдруг послышался шорох — чья-то темная фигура поднялась, загородив от меня желанный выход, задвинула назад дверной щит и вернулась к себе на циновки. Кто это был, я не разглядел. Удар был жестокий. Опасаясь возбудить подозрение островитян, я не мог в эту ночь повторить попытку и вынужден был отложить все на завтра. В последующие ночи я еще несколько раз пробовал осуществить мой замысел, однако с таким же неуспехом. Так как я делал вид, будто встаю, чтобы утолить жажду, Кори-Кори, то ли заподозрив что-то, то ли просто желая мне, как всегда, услужить, теперь каждый вечер ставил у моего изголовья тыковку с водой. Но я все равно вставал. Однако каждый раз мой верный слуга вставал вместе со мною, словно ни на минуту не желая выпустить меня из-под своего надзора. Пришлось мне покамест отказаться от задуманного; правда, я утешал себя, что когда-нибудь еще все-таки своего добьюсь.

Вскоре после посещения Марну здоровье мое настолько ухудшилось, что я уже почти не мог

ходить, даже опираясь на копье, и Кори-Кори, как прежде, должен был носить меня каждый день на речку.

А в жаркие часы я подолгу лежал на циновке и, пока все вокруг нежились беззаботным сном, бодрствовал, предаваясь горьким мыслям, которые теперь уже не в силах был отгонять, — о родных и друзьях, находящихся за тысячи миль от дикого острова, где меня держат в плену, об ужасной моей судьбе, о которой они никогда не узнают и, может быть, будут все еще ждать моего возвращения, когда мои кости уже смешаются с песками долины. И меня начинала бить неудержимая дрожь.

Как живо, со всеми подробностями запечатлелась в моей памяти сцена, открывавшаяся моему взгляду в эти часы мучительных раздумий! По моей просьбе мои циновки всегда стелились против входа, и мне видна была невдалеке хижина, которую строил старый Мархейо.

Когда нежная Файавэй и верный Кори-Кори засыпали подле меня и я оставался наедине с самим собою, я с интересом следил за занятием этого престарелого чудака. Один в безмолвии знойного тропического полдня, он потихоньку возился со своей постройкой — сидел в холодке и

связывал узкие пальмовые листья или скручивал у себя на коленях лыковую веревочку, чтобы оплести зеленую кровлю своего домишки. Нередко, опустив работу на землю и встретив мой внимательный тоскливый взгляд, он махал мне рукой с выражением искреннего сострадания, а потом не спеша вставал, на цыпочках, чтобы не потревожить спящих, входил ко мне и, взяв из моих рук опахало, садился подле меня, и, медленно им помахивая, грустно глядел мне в глаза.

Там, где кончалась *пай-пай*, перед домом широким треугольником росли три роскошных хлебных дерева. И сейчас у меня перед глазами стройные колонны их стволов, нежные шероховатости коры, на которых изо дня в день отдыхал мой взгляд, пока я предавался моим одиноким печальным раздумьям. Удивительно, как неодушевленные предметы оказываются слиты с нашими чувствами, особенно в часы печали. Даже сегодня, среди шума и суеты великого города, в котором я живу, я вижу перед собой эти могучие три дерева, словно в самом деле стоящие за моим порогом, и ощущаю успокоение, которое нисходило на меня, когда я час за часом любовался гибким колыханием их высоких крон.

XXXIV

Прошло без малого три недели со времени второго посещения Марну и, наверное, больше четырех месяцев с тех пор, как я попал в долину Тайпи, как вдруг однажды в час полуденного сна на пороге дома Мархейо вдруг появился Мау-Мау, одноглазый вождь, и, низко наклонившись ко мне, негромко, но отчетливо сказал: «Тоби пеми эна» (Тоби приехал). Боже милосердный! Какие бурные чувства заклокотали у меня в душе! Забыв про терзавшую меня боль в ноге, я вскочил и стал громко звать дремавшего возле меня Кори-Кори. Переполошившиеся островитяне попрыгали со своих циновок; новость сразу же была сообщена и им. И не прошло и нескольких минут, как я верхом на Кори-Кори, окруженный взволнованными туземцами, уже направлялся к дому *Тай*.

Из всего, что Мау-Мау рассказывал на ходу моим спутникам, я мог понять только, что мой давно пропавший друг наконец нашелся — прибыл на лодке, которая только что вошла в залив Тайпи. Естественно, что, услышав такое известие, я думал только о том, как бы поскорее попасть на берег, больше всего опасаясь, чтобы

какие-нибудь непредвиденные обстоятельства не помешали моей встрече с Тоби. Но тайпийцы не соглашались идти к морю и продолжали путь к королевской резиденции. Мехеви и старейшины вышли нам навстречу на *пай-пай* и издалека громко приглашали нас приблизиться.

Мы подошли, и я сразу же попытался им втолковать, что мне надо на берег — встретиться с Тоби. Однако король не дал на это своего согласия, наоборот, он сделал Кори-Кори знак внести меня в дом *Тай*. Сопротивляться было бесполезно; и я очутился внутри, окруженный толпой, громко обсуждавшей полученные вести. При этом то и дело упоминалось имя Тоби, сопровождавшееся шумными, удивленными восклицаниями. Очевидно, известие о его прибытии вызывало у них сомнения — каждую свежую новость, поступавшую с берега, они выслушивали с живейшим интересом.

Вне себя оттого, что меня здесь держат в такую минуту, я стал умолять Мехеви, чтобы он позволил мне отправиться на берег. Встречусь я там с Тоби или нет — все равно я знал, чувствовал, что от моего появления на берегу зависит сейчас вся моя судьба. И я заклинал Мехеви отпустить меня. Он смотрел на меня молча, серьезным, вни-

мательным взглядом, но потом все-таки нехотя согласился.

И вот в сопровождении полусотни тайпийцев я рысью двинулся к берегу. Каждые несколько минут носильщики пересаживали меня с одной спины на другую, а я торопил их и заклинал не задерживаться. Я не испытывал ни малейших сомнений в правдивости полученных известий. Одна мысль вертелась у меня в голове: появилась возможность избавления, надо только преодолеть противодействие местных жителей!

Все это время, что я жил в долине Тайпи, мне было запрещено приближаться к морю, поэтому в моем сознании дорога на берег была дорогой к спасению. И Тоби тоже — если только правда, что он по своей воле покинул меня, — бежал отсюда морем; так что теперь, на пути к берегу, в душе моей возродились самые радостные надежды. Было ясно, что в бухту вошло какое-то судно, почему бы на нем и вправду не быть моему пропавшему товарищу? И я жадно оглядывал горизонт всякий раз, как тропа наша подымалась на взгорье.

Так я двигался быстрой рысью вперед, то и дело пригибая голову, чтобы не задеть ветки деревьев, и не переставая просить тех, кто меня нес, чтобы они еще ускорили свой и без того быстрый шаг.

А вокруг меня, переговариваясь и жестикулируя на ходу, теснились туземцы, очевидно взбудораженные не меньше моего.

Мы проделали уже, наверное, миль пять, когда навстречу нам показалась группа тайпийцев человек в двадцать, и между ними и моими спутниками завязался оживленный разговор. Негодуя на такую задержку, я уговаривал того, на чьей спине в это время сидел, продолжать путь, не дожидаясь своих болтливых товарищей, но тут ко мне подбежал Кори-Кори и тремя роковыми словами разрушил все мои надежды: «Тоби оули пеми» (Тоби не приехал). Бог знает, как при моем тогдашнем состоянии я смог перенести такой удар. Новость не была неожиданной, но я всей душой надеялся, что она не будет объявлена до того, как мы достигнем берега. Теперь дикари, поддавшиеся на мои уговоры только ради того, чтобы я мог встретить моего пропавшего товарища, узнав, что его там нет, конечно, заставят меня повернуть назад.

Так оно и оказалось. Как я ни спорил, меня внесли в ближайший дом и опустили на циновки. После этого часть людей, сопровождавших меня от дома *Тай*, отделилась от прочих и, видимо, поспешила дальше к морю; те, кто остались со

мною, — а среди них были Мархейо, Мау-Мау, Кори-Кори и Тайнор, — толпились возле дома и поджидали их возвращения.

Это меня окончательно убедило в том, что кто-то, быть может даже мои соотечественники, действительно находился в бухте. При мысли, что так близко свои, я, забывая о хромоте, рвался к выходу, не слушая туземцев, которые уверяли меня, что никаких лодок в бухте нет. Но навстречу мне в дверях встали плечом к плечу несколько мужчин, и мне было приказано сесть и сидеть спокойно. Грозный вид обозленных дикарей умерил мой пыл — было ясно, что силой я ничего не добьюсь, мне оставалось только умолять их.

Поэтому я обратился к Мау-Мау, единственному из вождей здесь, с которым я был хорошо знаком, и, не выдавая своих истинных намерений, стал просить у него позволения выйти навстречу Тоби, якобы все еще веря, что он приехал. Он убеждал меня, что моего друга там нет, что его не видели, но я словно не слышал и продолжал настаивать на своем, так страстно жестикулируя, что одноглазый вождь, видно, под конец не выдержал, словно я был капризным, надоедливым ребенком, которому он не в силах отказать. Он что-то проговорил, стоящие в дверях расступи-

лись, и я вышел наружу.

Здесь я стал выглядывать в толпе Кори-Кори, но мой всегда такой услужливый телохранитель будто сквозь землю провалился. Боясь промедления — ведь сейчас важна была каждая секунда, — я знаком попросил первого попавшегося крепкого парня взять меня себе на спину. К моему удивлению, он отказался, да еще с сердцем! Я обратился к другому — снова безуспешно, к третьему — опять то же самое. Тут только я понял, что Мау-Мау потому лишь и дал мне согласие, ибо знал, что мне все равно не добраться к морю.

Итак, меня решено держать в плену! С отчаянием я схватил прислоненное к стрехе копье и, опираясь на него, заковылял к морю. Боли в ноге я почти не чувствовал. К удивлению моему, никто за мной не последовал, туземцы остались перед домом, и между ними явно разгорелся какой-то спор, с каждой минутой делавшийся все громче и яростнее. Было ясно, что у них образовались как бы две партии, и эти их разногласия сулят мне новую надежду.

Но не прошел я и ста ярдов, как вновь оказался в окружении толпы дикарей, однако спор их и теперь не утихал, более того, в воздухе пахло дракой. Посреди всеобщей суматохи ко мне по-

дошел Мархейо — никогда не забуду, с каким добрым участием он на меня смотрел. Положив мне руку на плечи, он со значением произнес единственное английское слово, которому я его научил, — «хоум» (домой). Я понял и стал благодарить его. Рядом стояли Файавэй и Кори-Кори и горько рыдали. Старик должен был дважды повторить приказание, прежде чем его сын смог ему повиноваться и взять меня себе на спину. Одноглазый вождь воспротивился было этому, но, как видно, не имел довольно сторонников. Мы двинулись вперед. Забуду ли я когда-нибудь восторг, который испытал, расслышав отдаленный грохот прибоя? Еще немного, и в просветы между деревьев я увидел и самые валы, катившие на берег белоснежные гребни. О, сладостный голос и вид океана! С какой радостью приветствовал я тебя, моего старого друга! Между тем стали слышны голоса людей, толпившихся на берегу, и мне казалось, что в общем гуле я различаю речь моей родины.

Первое, что я увидел, когда мы вышли на открытое место, был английский вельбот. Он был повернут кормой к нам, буквально в десятке саженей от берега. На веслах сидело пятеро островитян в коротких ситцевых рубашках. Мне

показалось, что они гребут к выходу из бухты — так значит, после всех мучений я все-таки опоздал? Сердце у меня ушло в пятки. Но, взглянув еще раз, я увидел, что они просто держат шлюпку носом к волне за линией прибоя. В это время я услышал, что кто-то у воды выкрикнул мое имя.

Какова же была моя радость, когда, взглянув в том направлении, я увидел высокую фигуру Каракои — туземца из Оаху, неоднократно бывавшего у нас на «Долли», когда мы стояли в Нукухиве. На Каракои была все та же зеленая охотничья курточка с золотыми пуговицами — подарок офицера с французского флагмана «Рэн Бланш», — в которой он всегда щеголял и раньше. Мне сразу же вспомнилось, как он рассказывал, что пользуется покровительством *табу* во всех долинах острова, и сердце мое при виде его в такую минуту радостно забилось.

Каракои стоял на песке, перекинув через плечо большое полотнище ситца и держа в протянутой руке три холщовых мешочка с порохом; в другой руке у него был мушкет, и все это он, как видно, предлагал на продажу толпившимся вокруг него вождям. Но вожди нетерпеливо отвергали все его товары и хотели только одного: чтобы он немедленно удалился. Они горячо указывали ему

на его лодку и недвусмысленно гнали прочь.

Но островитянин не двигался с места, и я понял, что он пробует выторговать у них мою свободу. Воодушевившись, я крикнул ему, чтобы он шел ко мне, но он на ломаном английском языке ответил, что тайпийцы грозятся проткнуть его копьями, если он сделает хоть шаг в мою сторону. Между тем я продвигался к воде, а вокруг меня по-прежнему теснились тайпийцы, меня держали за ноги и за руки, и несколько копий были направлены мне остриями в грудь. Но я ясно видел, что среди тех, кто никогда со мною особенно не дружил, многие в нерешительности и тревоге.

Не добравшись ярдов тридцати до Каракои, я вынужден был остановиться — меня стащили вниз и усадили на земле, и по-прежнему несколько рук держало меня за плечи. А суматоха вокруг удесятерилась: я увидел, что к месту действия прибыли жрецы и теперь единогласно убеждали Мау-Мау и других вождей не отпускать меня ни за что на свете. Проклятое слово «Ру-ни! Ру-ни!», которое я слышал в тот день уже, наверное, тысячу раз, раздавалось со всех сторон. Но Каракои не отступался, я видел, что он продолжал смело спорить с тайпийцами, стараясь соблазнить их

пестрой тканью и порохом и с особым вкусом щелкая затвором мушкета. Однако, как он ни старался, что ни говорил, беспокойство тайпийцев только возрастало, они кричали все оглушительнее и старались оттеснить его в воду.

Между тем я, сообразив, как баснословно высоко ценятся у островитян предметы, которые им предлагали в обмен на меня и которые они тем не менее с негодованием отвергали, увидел в этом еще одно доказательство того, как тверды и определенны их намерения относительно моей особы, и, чувствуя, что мне нечего терять, собрал все силы, вырвался от тех, кто меня держал, вскочил на ноги и бросился туда, где стоял Каракои.

Этот опрометчивый шаг едва все не погубил. Испугавшись, как бы я и в самом деле не ушел от них, несколько человек подняли дружный вопль и стали наседать на Каракои, бешено размахивая руками. Не на шутку испуганный островитянин отступал, пока не очутился по пояс в воде, тщетно уговаривая их успокоиться, и наконец вынужден был дать знак шлюпке подойти и принять его.

Но тут, когда я уже думал, что все потеряно, разногласия среди тайпийцев разгорелись с новой силой; посыпались удары; пролилась кровь. Во всеобщей потасовке обо мне на время было

забыто, около меня остались только Мархейо, Кори-Кори и бедняжка Файавэй, которая, прижавшись ко мне, безутешно рыдала. Тогда, стиснув ладони, я умоляюще посмотрел на старого Мархейо и зашагал к воде. Слезы стояли в глазах старика, но ни он, ни сын его не сделали попытки меня удержать. Я скоро добрался до Каракои, который в волнении следил за каждым моим шагом. Шлюпка подошла к самой полосе прилива, я в последний раз торопливо обнял онемевшую от горя Файавэй и в следующее мгновение был уже в шлюпке. Каракои сидел со мною рядом и отдавал гребцам команду навалиться на весла.

Мархейо, Кори-Кори и целая толпа женщин вошли вслед за мною в воду, и, как единственный доступный мне знак благодарности, я мгновенно решил раздать им все товары, предназначавшиеся служить за меня выкупом. Жестом, равнозначным дарственной записи, я протянул мушкет Кори-Кори (при этом он сделал слабую попытку схватить меня за руку); кусок цветастого ситца бросил старому Мархейо, указав на бедняжку Файавэй, которая печально сидела в стороне на прибрежной гальке, и отдал холстяные пороховницы в девичьи руки, со всех сторон с готовностью ко мне тянувшиеся.

Эта раздача не заняла и десяти секунд, гребцы успели разогнать шлюпку, а Каракои не переставал громогласно оплакивать такое разбазаривание столь ценного имущества.

Между тем, хотя многие туземцы видели все, что происходило, потасовка на берегу продолжалась, и, только когда шлюпка отошла уже ярдов на пятьдесят, Мау-Мау и еще шесть воинов вошли в воду и стали швырять в нас копья. Некоторые из этих снарядов, свистя, пролетели достаточно близко от цели, но никого не ранили, а гребцы продолжали доблестно налегать на весла. Скоро мы были уже недосягаемы для копий, но двигались очень медленно — с моря на берег дул сильный бриз, да к тому же еще был прилив. И я видел, что Каракои, сидящий на руле, с опаской поглядывает на далеко выдающийся в море мыс, в обход которого лежал наш путь.

Отставшие тайпийцы некоторое время неподвижно стояли в воде. Потом вдруг разъяренный вождь встрепенулся — видно было, что он принял какое-то новое решение. Громко крича и указывая томагавком на оконечность мыса, он со всех ног бросился бежать в ту сторону, а за ним ринулись еще человек тридцать, и среди них — несколько жрецов, во всю глотку кричавших:

«Ру-ни! Ру-ни!» Они задумали, очевидно, броситься с мыса в море и выплыть нам наперерез. Между тем противный ветер с каждой минутой крепчал, начиналась болтанка, в которой так трудно грести. Все же мы как будто бы выходили из этой гонки победителями. Однако, когда до самой оконечности мыса оставалась какая-нибудь сотня ярдов, мы увидели, как передовые бегуны один за другим с разгону попрыгали в воду. Еще пять минут, и рассвирепевшие дикари будут вокруг нас. Тогда гибель наша неотвратима, ибо в воде они еще опаснее, чем на суше. Началось состязание силы: наши гребцы надсаживались так, что весла гнулись, а пловцы резали расходившуюся волну с поистине угрожающей быстротой.

Мы выгребли за мыс — впереди нас в воде чернели головы преследователей. Наши гребцы достали ножи и зажали их в зубах наготове. Я схватил багор. Все понимали, что если они до нас доберутся, то применят к нам маневр, уже принесший смерть не одной команде гребцов в здешних водах: повиснут у нас на веслах, навалятся все на один борт, перевернут шлюпку, и мы окажемся всецело в их власти.

Я замер. Вдруг совсем близко от шлюпки я увидел Мау-Мау. Тайпийский богатырь, зажав в

зубах свой томагавк, двигался в воде могучими рывками, взбивая перед собой пену. Вот он уже настиг нас, сейчас схватится за весло! Даже и в этот миг я сознавал весь ужас того, что собирался совершить; но жалости и раскаяниям сейчас не было места — я прицелился и, собрав в один бросок все свои силы, ударил его багром. Острие угодило ему в грудь, под самой шеей, и Мау-Мау скрылся под водой. Повторить удар я не успел, но я видел, как голова Мау-Мау вновь показалась над водой, и никогда не забыть мне, какое разъяренное было у него выражение лица.

Еще один дикарь достиг нашей шлюпки. Он вцепился в борт, но лезвия наших ножей так исполосовали ему запястья, что он вынужден был разжать руки, и в следующую минуту мы, уже недосягаемые для наших преследователей, были в безопасности. Страшное волнение, возбуждавшее мои силы, теперь отпустило меня, и я без чувств упал на руки Каракои.

Здесь можно коротко изложить обстоятельства, приведшие к моему столь неожиданному спасению. В Нукухиву зашел австралийский барк, испытывавший острый недостаток в матросах; капитан рассчитывал здесь пополнить команду, но ему не удалось раздобыть ни одного человека.

Раздосадованный англичанин уже собирался уходить, когда их посетил Каракои и рассказал о том, что неподалеку в бухте Тайпи в плену у дикарей находится матрос-американец; он вызвался, если его снабдят товарами для мены, сделать попытку вызволить меня. Сам Каракои узнал обо мне от Марну, так что в конце концов я все-таки был обязан спасением ему. Предложение Каракои было принято, и он, захватив пятерых жителей Нукухивы, пользовавшихся покровительством *табу*, отплыл на баркасе к входу в бухту Тайпи. Здесь судно, убавив паруса, осталось ждать, а Каракои, посадив на весла свою заговоренную команду, вошел в бухту.

Что произошло затем, уже было описано мною. Остается добавить совсем немного. Меня подняли на борт «Джулии», где странный вид мой и необыкновенные приключения вызвали у всех живейший интерес. Я был окружен всем мыслимым вниманием и заботой. Но только через три месяца здоровье мое наконец восстановилось.

Тайна же исчезновения моего друга и спутника Тоби так и осталась нераскрытой. Я и по сей день не знаю, удалось ли ему бежать из долины Тайпи, или он пал от руки ее обитателей.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ТОБИ

(*Приложение к «Тайпи»*)

После побега из долины Тайпи, описанного в последней главе, автор еще два года провел в Южных морях. Вскоре по возвращении на родину им была опубликована настоящая повесть; при этом автор был далек от мысли, что она даст ему возможность обнаружить местопребывание и само существование Тоби, которого он почитал давно умершим. Тем не менее получилось именно так.

Рассказ о приключениях Тоби составляет естественное продолжение книги и, как таковой, прилагается к настоящему изданию. Автор услышал его из уст самого Тоби не далее как десять дней назад.

Нью-Йорк, июль 1846 г.

В то утро, когда разнеслась весть, что в бухту вошли лодки, мой товарищ покинул меня, как было выше изложено, поспешив к берегу в сопровождении большого числа туземцев, нагруженных плодами и свиными тушами — обычными предметами меновой торговли.

Пока путь их вел через населенные части долины, к ним по боковым тропинкам отовсюду с громкими возгласами сбегались все новые группы тайпийцев. Общее возбуждение было так велико, что, как ни не терпелось моему Тоби

поскорее достигнуть берега, он едва поспевал за своими спутниками. Вся долина звенела от их голосов, люди бежали торопливой рысцой, и передние то и дело оглядывались и размахивали копьями над головой, побуждая отставших убыстрить шаги.

Но вот все высыпали на поляну перед ручьем. Здесь островитяне вдруг остановились: из рощи на том берегу доносились какие-то странные удары. Это одноглазый вождь Мау-Мау, опередив всех, колотил тяжелым копьем по стволу дуплистого дерева. То был сигнал тревоги; поднялся дружный вопль: «Хаппар! Хаппар!», воины воздевали кверху копья и потрясали ими над головой, женщины и дети, громко крича друг на друга, бросились собирать камни в ложе ручья. Когда же из рощи выбежали Мау-Мау и еще трое вождей и присоединились к остальным, шум сделался и вовсе невообразимым.

Ну, подумал Тоби, быть сейчас доброй схватке. Он хотел было позаимствовать копье у одного из молодых людей, обитавших с нами в доме Мархейо, но получил отказ: юный нахал заявил, что, конечно, ему, тайпийцу, это оружие в самую пору, но белому человеку сподручнее и уместнее сражаться кулаками.

Шутку молодого остроумца, видимо, оценили все окружающие, ибо, несмотря на сумятицу боевых кличей и воинственных жестов, все сохраняли необыкновенное веселье, носились вприпрыжку по поляне и хохотали, словно на свете не было ничего забавнее, как ожидать, что с минуты на минуту в тебя дождем полетят из засады хаппарские дротики.

Мой товарищ озирался озадаченный; в это время от толпы отделились человек десять и стороной побежали в рощу. Остальные замерли, прислушиваясь, словно ожидая исхода какой-то военной операции. Немного погодя, однако, Мау-Мау, стоявший в передних рядах, дал знак, и люди осторожно двинулись вперед, бесшумно углубляясь в чащу — ни единая ветка не хрустнула под ногой. Они уходили все дальше под сень деревьев, каждые несколько шагов останавливаясь и чутко прислушиваясь.

Тоби такая стратегия была никак не по душе: если предстояло сражение, он предпочитал, чтобы к делу было приступлено безотлагательно. Однако всему свой срок — как раз, когда они, крадучись, подобрались к самой чащобе, со всех сторон вдруг раздались ужасные вопли и дождь камней и дротиков обрушился на их головы.

Правда, противника нигде не было видно, и, что еще удивительнее, никто из обстреливаемых не пострадал, хотя в воздухе было черно от летящих камней.

Потом на мгновение все смолкло, и вот тайпийцы с копьями наперевес, издав дружный пронзительный вопль, ринулись в заросли, за которыми укрывался противник. Не отставал и Тоби. Разгневанный обстрелом камнями, — ведь они вполне могли раскроить ему череп! — а также припомнив свои старые обиды на хаппарцев, Тоби среди первых устремился в атаку. Затрещал подлесок, Тоби на бегу попытался выхватить копье из рук какого-то молодого воина, и вдруг все крики битвы оборвались, и под сводами деревьев воцарилась мертвая тишина. В следующее мгновение из-за каждого куста, из-за каждого ствола выскочили те, кто раньше отделились от остальных и побежали зачем-то в обход, и тут поднялся дружный, веселый, всеобщий хохот.

Все это была игра. И Тоби, задыхаясь от бега и от воинственного пыла, пришел в страшное негодование из-за того, что попал впросак. Выяснилось, что затеяли ее как раз в его честь, хотя какая именно цель преследовалась при этом, сказать трудно. Моего товарища подобная детская забава

особенно возмутила, потому что она отняла так много времени, когда каждая минута была дорога. Возможно, впрочем, что это входило в расчет его спутников; он пришел к такому заключению, заметив, что, снова пустившись в путь, они уже отнюдь не так торопились, как раньше.

Они не спеша шли своим путем, и Тоби уже почти потерял надежду когда-нибудь достигнуть берега, но тут на тропе показались двое бегущих им навстречу людей. Все остановились, последовало шумное совещание, в ходе которого часто упоминалось имя Тоби. Мой друг того пуще насторожился, и его желание поскорее узнать, что происходит на берегу, еще больше возросло. Но напрасно порывался он идти дальше — туземцы загородили ему дорогу.

Кончив совещаться, они снова разделились: часть со всех ног бросилась дальше к морю, остальные окружили Тоби, настойчиво приглашая его *мои*, то есть присесть и отдохнуть. В качестве приманки перед ним расставили на земле захваченные из дому тыквенные сосуды с пищей, открыли их, разожгли трубки. Тоби счел за благо немного сдержать нетерпение, но скоро снова вскочил и бегом пустился к берегу. Его быстро догнали, опять окружили плотным

кольцом, но задерживать не стали и все вместе продолжали путь.

Они выбежали на открытое пространство между береговой полосой и лесом. Справа возвышалась гора Хаппар, по склону ее уходила и терялась из виду узкая тропа.

Никаких лодок, однако, в бухте не было. Только у самой воды собралась шумная толпа мужчин и женщин, и кто-то в самой ее гуще сдержанно увещевал их. При появлении моего товарища говоривший пошел ему навстречу, и оказалось, что это — старый знакомец, пожилой сивогривый матрос, которого мы с Тоби не раз встречали в Нукухиве, где он, махнув рукой на родину и прежнюю жизнь, поселился на правах домочадца царя Мованны; звался он просто Джимми. Он даже считался царским фаворитом и пользовался при дворе значительным влиянием. Он носил мятую манильскую шляпу, а на плечах нечто вроде просторного шлафрока из тапы, надетого в достаточной мере нараспашку, чтобы между свободных складок можно было видеть строки какой-то песни, вытатуированные у него на груди, а на прочих участках тела — ряды артистически сделанных разнообразных надрезов, принадлежащих местным художникам. В качестве жезла

он держал в руке удочку и не расставался с древней прокуренной трубкой, всегда висевшей у него на шее.

Этот старый, удалившийся от дел морской бродяга уже несколько лет жил в Нукухиве, знал местный язык, и по этой причине французы часто пользовались услугами его как переводчика. Был он, надо сказать, неисправимый старый сплетник, плавал на своем челноке по заливу от одного судна к другому и щедро потчевал экипажи лакомыми подробностями придворной жизни вроде скандальной интрижки его величества с одной хаппарской танцовщицей, а также вообще передавал всякие небылицы о Маркизских островах. Помню в особенности, как он рассказывал нам на «Долли» о двух чудесах природы, якобы имевшихся на острове, что, как и следовало ожидать, оказалось чистейшим вздором. Он говорил, будто бы в горах живет один урод — отшельник, пользующийся громкой славой за свое благочестие и силу колдовских чар, а живет он вдали от людей потому, что у него на висках растут два толстых рога. Святость его признается всеми жителями острова, однако люди смертельно его боятся, так как, по слухам, он еженощно выходит из своей берлоги и под покровом темноты ловит и уносит к

себе запоздалых путников. Какая-то любопытная Варвара, будучи в горах, якобы даже заглянула одним глазком в его логово и обнаружила, что там полным-полно человеческих костей. Словом, это было совершенно неслыханное чудовище.

Другой столь же удивительной достопримечательностью был, по словам Джимми, младший сын одного вождя, уже принявший, несмотря на свой десятилетний возраст, священнический сан. Соплеменники усматривали неоспоримый признак его духовного предназначения в том, что на голове у него имелся гребень наподобие петушиного. Мало того, этот чудо-ребенок, как ни странно, очень гордился таким украшением и, будучи еще наделен настоящим петушиным голосом, хвастливо кукарекал о нем на всю округу.

Но вернемся к Тоби. Узнав издалека старого бродягу, он, по-прежнему сопровождаемый толпой островитян, подбежал к нему и остановился, а его свита окружила их тесным кольцом. Джимми выразил радость, что видит его, а затем сообщил, что знает о нашем побеге с «Долли» и о нашем пребывании в долине Тайпи. Мованна даже уговаривал его отправиться к тайпийцам и, погостив у тамошних друзей, привести нас в Нукухиву, ибо его величеству очень хотелось по-

лучить свою долю назначенного за нашу поимку вознаграждения. Но, как заверил Джимми моего друга, разумеется, он с негодованием отверг это деловое предложение своего венценосного патрона.

Тоби был удивлен: мы с ним никак не предполагали, что кто-то из белых может быть на короткой ноге с жителями долины Тайпи. Но Джимми объяснил ему, что он сюда наведывается, хотя и редко, иногда морем, однако почти никогда не углубляется внутрь долины. Одна из тайпийских духовных особ состоит в каком-то родстве со старым татуированным жрецом Нукухивы, и через эту особу он, Джимми, пользуется защитой *табу*. Его нередко подряжают заходящие в Нукухиву корабли выменивать для них плоды у жителей Тайпи. Собственно, заключил объяснение Джимми, он и сейчас, перевалив через горы Хаппар, явился сюда именно с такой целью. К полудню следующего дня на берегу будут сложены готовые к погрузке груды плодов, за которыми он снова придет сюда на лодках.

Тут Джимми задал моему другу вопрос: хочет ли он покинуть остров. Если да, то в заливе Нукухива как раз стоит сейчас судно, испытывающее недостаток в матросах, там будут ему рады, и

можно отправиться на борт прямо сегодня.

— Нет, — ответил Тоби. — Я не могу уйти без моего товарища. Он остался там, в глубине долины, потому что туземцы не пустили его на берег. Поспешим к нему и захватим его с собой.

— Но ведь он не дойдет с нами через горы, — возразил Джимми, — даже если мы приведем его сюда, на побережье. Пусть лучше он подождет до завтра, я доставлю его в Нукухиву на лодке.

— Нет, нет, это невозможно, — сказал Тоби. — Надо сейчас же отправиться за ним и привести его хотя бы на берег.

И Тоби, не откладывая, повернул обратно в глубь долины. Но не успел он сделать и шагу, как с десяток рук легли ему на плечи, на локти, на грудь, и он понял, что вернуться за мной ему не позволят. Отбиваться нечего было и думать, а туземцы не желали ничего слышать о его возвращении в долину Тайпи. Оскорбленный до глубины души, Тоби стал уговаривать старого матроса, чтобы тот сам отправился за мной. Но Джимми отказался, объяснив, что островитяне сейчас так настроены, что все равно не пропустят его, хотя никакого зла ему сделать и не могут.

Мой товарищ был тогда далек от мысли, что этот Джимми, как ему пришлось заподозрить

впоследствии, был бессердечным негодяем и что это по его хитрому наущению туземцы не позволили ему вернуться за мной. Старый мошенник, видимо, отлично знал, что нас обоих тайпийцы ни за что не отпустят, и поэтому стремился заполучить одного Тоби для цели, вскоре вполне обнаружившейся. Но тогда Тоби ничего этого не знал.

Он все еще вырывался из рук островитян, когда Джимми, подойдя сзади, посоветовал ему не раздражать их понапрасну, потому что так он мог только утяжелить мою и свою участь, ведь, когда они приходят в ярость, от них можно ожидать чего угодно. В конце концов Джимми усадил Тоби на проломленное днище перевернутого челнока в тени груды камней, служившей подножием маленькой разрушенной кумирни, которая возвышалась на четырех установленных стоймя веслах и спереди была затянута сетью. Здесь было место встречи рыбачьих артелей, возвращающихся с уловом, и их приношения белели разложенные перед идолом на черном гладком камне. Сооружение это, по словам Джимми, находится под строжайшим *табу*, и никто не посмеет его тронуть и даже приблизиться к нему, пока он остается в его тени. Сам же старый матрос ото-

шел к кучке туземцев и стал о чем-то озабоченно переговариваться с Мау-Мау и другими вождями, между тем как остальные обступили сидящего в заповедном месте Тоби, не сводили с него глаз и без умолку что-то друг другу говорили.

Потом вопреки уверениям Джимми из толпы вышла одна старуха и села рядом с моим товарищем на перевернутый челнок.

— Тайпи мортарки? — спросила она.

— Мортарки нуи, — ответил Тоби.

Тогда она спросила его, правда ли, что он уходит в Нукухиву. Тоби утвердительно кивнул. Старуха жалобно взвыла, встала, взглянула на него полными слез глазами и ушла прочь.

Джимми потом объяснил, что это была супруга престарелого царька маленькой долины, расположенной в глубине острова и связанной тесным проходом с долиной Тайпи. Жители обеих долин находились друг с другом в кровном родстве и носили общее племенное имя. Пожилая дама прибыла накануне в сопровождении трех сыновей с визитом к своему родственнику.

Как только царственная особа удалилась, снова подошел Джимми и сообщил, что обо всем договорился с островитянами. Они не соглашаются пустить Тоби обратно в долину, а оставаясь и

дальше на берегу, он может навлечь беду и на себя, и на меня.

— Так что, — сказал старый матрос, — единственное, что нам сейчас остается, это отправиться пешком через горы в Нукухиву, а завтра я привезу к тебе Томмо, как они его называют, водой. Они обещали мне утром пораньше вывести его на берег, поэтому никакой задержки не будет.

— Нет, нет, — упорно твердил Тоби. — Я его не брошу. Я уйду отсюда только вместе с ним.

— Тогда вам не на что надеяться! — воскликнул Джимми. — Ведь как только я уйду, тебя схватят и утащат в глубь долины, и ни ты, ни твой товарищ больше никогда не увидите моря.

И он продолжал клясться и божиться, что, если только Тоби уйдет с ним в Нукухиву, завтра же поутру он доставит туда и меня.

— Но откуда мы знаем, что они приведут его к морю завтра, если они не пустили его сюда сегодня? — возразил Тоби.

Но у старого матроса нашлось тому множество объяснений, и все такие сложные и так замысловато связанные с мистическими обычаями туземцев, что Тоби ничего не понял. Все поведение тайпийцев, в особенности же их нежелание

пустить его обратно в долину, и впрямь представлялось ему загадочным. И при этом он с горечью сознавал, что старый матрос, быть может, обманывает его. А тут еще мысли обо мне, больном и одиноком среди местных жителей. Если бы он ушел с Джимми, была все-таки надежда, что удастся как-то облегчить мою участь. С другой стороны, что будет, если дикари, поведение которых казалось ему таким странным, успеют спрятать меня куда-нибудь? Ну а если он останется, ведь ему могут не позволить вернуться ко мне…

Такими сомнениями мучился мой бедный друг, не зная, на что решиться. И вся его храбрость и всегдашнее присутствие духа не могли помочь ему, сидящему понуро на продырявленном челноке в кольце островитян, с почтительного расстояния не отводивших от него все более и более пристальных взглядов.

— Уже полдень, — промолвил наконец Джимми, стоявший позади остальных. — Нукухива не близко. А я не могу затемно идти через долину Хаппар. Так что решайся. Если ты пойдешь со мной, все будет хорошо, если останешься, можешь мне поверить, ни один из вас не вырвется отсюда до конца дней.

— Ладно, у меня нет выбора, — с тяжелым вздо-

хом ответил Тоби. — Я вынужден довериться тебе.

И, бросив долгий взгляд в глубь долины, он вышел из тени у подножия кумирни.

— Держись вплотную ко мне, — сказал ему Джимми, — и пошли скорее.

Тут появились Тайнор и Файавэй. Добрая старая женщина, заливаясь потоком слез, обняла колени Тоби, а Файавэй, растроганная не меньше ее, произнесла те несколько английских слов, которым выучилась от нас, и подняла три пальца — через столько дней его ждали назад.

Наконец Джимми вытащил Тоби из толпы и, кликнув за собой тайпийца, который держал на руках молодую свинью, решительно зашагал с ними по тропе в гору.

— Я сказал им, что ты вернешься, — со смехом объяснил он на ходу моему другу. — Только боюсь, им придется долго ждать.

Тоби оглянулся: внизу все пришли в движение. Тайпийцы уходили. Девушки на прощание колыхали покрывалами из тапы, мужчины размахивали копьями. Когда последний из них, держа руку с тремя вытянутыми пальцами над головой, скрылся в роще, сердце у Тоби сжалось.

Раз они его отпустили, вероятно, кое-кто из

них и в самом деле верил, что он скоро вернется; может быть, они думали, что он хочет только достать мне лекарства, как он им сам втолковывал по пути на берег. Видимо, и Джимми подтвердил это. И они, как и в тот раз, когда мой товарищ пытался предпринять ради меня столь опасное путешествие в Нукухиву, полагая нас воистину неразлучными, видели во мне в его отсутствие верный зарок его возвращения. Все это, впрочем, не более как мои догадки, ибо в целом их поведение остается для меня непонятным.

— Видишь, какое на мне *табу*, — похвастался старый матрос, когда они поднялись уже довольно высоко в гору. — Мау-Мау подарил мне свинью, и этот человек, который ее несет, пройдет вместе со мной через долину Хаппар в Нукухиву. Пока он подле меня, ему ничего не грозит, и тебе, когда ты со мной, тоже. А завтра так будет и с Томмо. Словом, гляди веселей и положись во всем на меня. Завтра ты с ним увидишься.

Подъем был не очень крут — у самой воды горные отроги довольно невысоки. Тропа, по которой они шли, была удобной, и скоро все трое уже стояли на вершине, и обе долины лежали внизу у их ног. Тоби снова увидел белые водопады там, где под зелеными кручами начиналась

долина Тайпи; от них можно было проследить взглядом до того места, где находилась хижина Мархейо.

Идя по хребту вслед за Джимми, Тоби разглядел, что долина Хаппар не так глубоко вдается в горный массив, как долина Тайпи. Потому-то мы, видимо, и промахнулись, не вышли в нее тогда, когда блуждали в горах.

Скоро была найдена тропа, ведущая вниз, и по ней они спустились в долину к хаппарцам.

— У нас, находящихся под охраной *табу*, — объяснил Джимми, не сбавляя ходу, — в каждой долине есть жены. У меня тут их две. Сейчас увидишь.

Когда же они достигли хижины, в которой жили жены Джимми, — она стояла в тенистом уголке у самого подножия горы, — то достойных дам дома не застали, и их супруг пришел в величайшее негодование. Впрочем, они вскоре явились и, надо отдать им должное, оказали старому Джимми весьма сердечный прием, равно как и моему товарищу Тоби, чрезвычайно раздразнившему их любопытство. Однако, когда весть о прибытии гостей распространилась по долине и хаппарцы собрались, Тоби обнаружил, что появление белого человека здесь не почитается

таким небывалым событием, как у их соседей.

Старый матрос велел своим женам поскорее подать ужин, так как ему нужно дотемна добраться в Нукухиву. Соответственно были сервированы рыба, плоды хлебного дерева и бананы, и гости, расположившись на циновках среди шумного и многочисленного общества, наелись до отвала.

Хаппарцы осыпали Джимми вопросами про Тоби. А сам Тоби тем временем пытливо всматривался в их лица, стараясь угадать среди них того, кто нанес ему рану, до сих пор причинявшую страдания. Но, очевидно, сей доблестный джентльмен, столь скорый на расправу копьем, счел более деликатным не показываться на глаза своей жертве. Естественно, что его присутствие не прибавило бы Тоби желания продлить свой визит в долину Хаппар, к чему его любезно склоняли кое-кто из хаппарских любителей удовольствий — ожидался какой-то местный праздник. Так или иначе, но Тоби отклонил их приглашение.

Все это время молодой тайпиец со свиньей находился возле Джимми неотлучно, как тень, и при всей живости характера, свойственной ему, как и всем его соплеменникам, держался кротко, словно овечка, не открывая рта иначе как для того, чтобы отправить туда кусок. Иные из

хаппарцев, правда, поглядывали на него искоса, но многие были с ним весьма любезны и звали пойти погулять, посмотреть их долину. Однако тайпиец на эти уловки не шел. На каком расстоянии от Джимми кончалось для него действие *табу*, со стороны определить было невозможно, но сам он, вероятно, знал это с точностью до дюйма. За обещанный ему кумачовый платок (и за что-то еще, но что именно — осталось тайной) бедняга подрядился на это весьма щекотливое путешествие, бывшее, насколько мог судить Тоби, здесь до сих пор вещью неслыханной.

Банкет завершился появлением местного пунша — *арвы* — в плоском тыквенном сосуде, который пустили по кругу.

Между тем беспокойство моего друга обо мне все росло. На душе у него, пока он сидел в хаппарском доме, сделалось так тяжело, что он совсем уже было решился возвратиться и стал просить Джимми, чтобы тот проводил его до перевала. Но матрос и слушать ничего не желал и, чтобы отвлечь Тоби от таких мыслей, стал уговаривать его выпить *арвы*. Тоби, зная о ее наркотических свойствах, отказывался, но Джимми уверил его, что подмешает в сосуд какое-то снадобье, которое сделает из *арвы* безобидное питье, и оно придаст

им бодрости до конца пути. В конце концов Тоби выпил, и действие питья оказалось именно таким, как предсказал Джимми. Он сразу развеселился, и тяжелых дум его как не бывало.

А старый бродяга завел с ним разговоры, вполне обнаружившие подлинную его натуру, хотя Тоби тогда еще ни о чем не подозревал.

— Если я доставлю тебя живехонького на корабль, — заявил этот прохвост, — ты ведь не забудешь дать чего-нибудь бедному матросу за то, что он тебя спас?

Словом, еще пиршество не закончилось, а уже Тоби успел пообещать ему пять испанских долларов, если только сумеет получить аванс в счет своего жалованья на корабле, куда его приведет Джимми; и Тоби еще посулил ему дополнительную награду, как только он вызволит меня.

Вскоре они в сопровождении толпы хаппарцев снова отправились в путь и, дойдя до дальнего конца долины, стали по крутой тропе карабкаться в гору, за которой лежала Нукухива. Хаппарцы остались у подножия и, задрав голову, провожали их глазами, при этом какие-то бандитского вида личности потрясали копьями и с недвусмысленной угрозой смотрели вслед бедному тайпийцу, сердце которого выбралось из пяток только то-

гда, когда он сам выбрался на гору, так что смог смотреть на них поистине сверху вниз, и притом с достаточной высоты.

Поднявшись, они некоторое время шли по каким-то хребтам в зарослях гигантских папоротников. Затем дорога опять вступила под сень леса, и здесь они нагнали партию обитателей Нукухивы в полном вооружении и со связками длинных шестов за плечами. Все они оказались добрыми знакомыми Джимми и с готовностью остановились поболтать с ним об «Уи-Уи», как называли в Нукухиве французов.

Это были люди царя Мованны, и по его повелению они собирали в лощинах эти шесты для мсье союзников.

Оставив их тащиться помаленьку с тяжелой ношей, Тоби и его спутники прибавили шагу, ибо солнце уже низко клонилось к западу. И вот с холмов, плавно спускающихся к морю, открылся вид на Нукухиву. Внизу в заливе по-прежнему стояли французские фрегаты, и, глядя на них в этот вечерний час, мой друг испытал такое чувство, будто все наши необыкновенные приключения были не более как сон.

Они спустились на побережье и, прежде чем окончательно стемнело, очутились в хижине

Джимми. Здесь нукухивские жены старого матроса тоже оказали им весьма горячий прием, и через некоторое время, подкрепившись *пои-пои* и кокосовым молоком, они сели в челнок (молодой тайпиец, разумеется, тоже не остался на суше) и поплыли к китобойному судну, стоявшему на якоре недалеко от берега. Этому китобойцу позарез нужны были рабочие руки. А наша «Долли» уже давно снялась с якоря и ушла в плавание. При виде Тоби капитан выразил величайший восторг, но усомнился, глядя на его изможденную фигуру, что он способен исправлять обязанности матроса. Как бы то ни было, он согласился записать его в команду и его товарища тоже, как только тот прибудет к нему на борт.

Не полагаясь на обещания Джимми, Тоби стал просить капитана послать в бухту Тайпи шлюпку с вооруженными людьми и вызволить меня. Но капитан и слышать об этом не желал. Он уверил Тоби, что старый матрос сдержит слово и нужно спокойно ждать. Не склонен он был и платить ему пять серебряных долларов, которые испросил у него Тоби. Но мой друг настаивал, ибо он угадал в Джимми простого корыстолюбца, а вовсе не благородного спасителя, и очень опасался, что тот подведет его, если ему не заплатить как

следует. Поэтому он не только вручил Джимми обещанную сумму, но и всячески внушал ему, что, как только я окажусь на корабле, он получит еще больше.

Назавтра еще до восхода Джимми и молодой тайпиец отчалили от борта китобойца в двух шлюпках с островитянами на веслах. Тоби, естественно, рвался отправиться вместе с ними, но Джимми утверждал, что его присутствие непременно все испортит, и потому, как ему ни тяжело было, Тоби принужден был остаться на корабле.

Под вечер, нетерпеливо всматриваясь с мачты в даль, он наконец увидел две шлюпки, огибающие мыс и входящие в залив. Он напряг зрение, и в первую минуту ему показалось, что он различает меня. Но меня там не было. Вне себя от волнения соскользнул Тоби с мачты, и не успел Джимми ступить на палубу, как уж Тоби вцепился ему в горло, крича страшным голосом: «Где Томмо?» Старик замялся было, но скоро нашелся и стал успокаивать его, говоря, что в то утро меня не оказалось на берегу, чему у него нашлось немало веских объяснений, но что завтра рано утром он снова туда отправится — французы дают ему шлюпку, и, если меня снова не выведут на берег, хотя этого вообще-то просто быть не может, он

тогда прямо отправится в глубь долины и доставит меня на побережье, чего бы ему это ни стоило. Однако взять с собой Тоби он и на этот раз отказался.

Тоби понимал, что вся надежда была на Джимми, и постарался, как мог, утешиться обещаниями старого матроса.

И вправду, назавтра утром он увидел, как отплывала французская шлюпка и в ней сидел Джимми. Ну, значит, сегодня вечером я его увижу, подумал Тоби. Но много, много дней прошло, прежде чем он снова встретился с Томмо. Шлюпка едва скрылась из виду, как вдруг из каюты вышел капитан и отдал приказ подымать якорь. Он уходил в плавание.

Напрасно безумствовал Тоби — на него даже не посмотрели. А когда он опомнился, паруса были поставлены и корабль ходко бежал в открытое море.

— …О, сколько бессонных ночей я тогда провел! — рассказал мне Тоби при встрече. — Как часто вскакивал в забытьи со своей койки: мне мерещилось, будто ты стоишь передо мной и упрекаешь меня за то, что я бросил тебя одного на острове.

* * *

К этому почти нечего прибавить. Тоби оставил китобоец по прибытии в Новую Зеландию и с кое-какими дальнейшими приключениями добрался на родину меньше чем через два года после того, как покинул Маркизы. Меня он считал погибшим, и у меня тоже имелись все основания думать, что его нет в живых. Но судьбе угодно было, чтобы однажды мы с ним неожиданно встретились, и эта удивительная встреча сняла с души Тоби тяжелый камень.

Бенито Серено

В исходе зимы 1799 года капитан Амаза Делано из Даксбери, штат Массачусетс, командующий большой зверобойной и торговой шхуной с ценным грузом на борту, бросил якорь в бухте Святой Марии, пустынного необитаемого островка у южной оконечности протяженного чилийского побережья, имея целью пополнить свои запасы пресной воды.

На рассвете следующего дня, когда он еще лежал у себя на койке, в каюту спустился вахтенный помощник с известием о том, что у входа в бухту показался парус. Суда в тех водах были тогда редкостью. Капитан встал, оделся и вышел на палубу.

Утро было такое, какие можно наблюдать только у южных берегов Чили. Все вокруг было недвижно и немо, все залито слабым серым светом. По глади моря шли длинные валы, но все равно она казалась застывшей и тускло блестела, словно свинец, затвердевший в отливке. Небо нависало над самой водой, точно серый занавес. То тут, то там серые стаи потревоженных мор-

ских птиц низко взлетали над волнами, во всем подобные серым клочьям утреннего тумана, среди которых они проносились, как ласточки над лугом перед непогодой. Летучие тени, предвестия других сгущающихся теней.

К удивлению капитана Делано, никакого флага на незнакомце в подзорную трубу обнаружить не удалось, а ведь показывать свой флаг при входе в бухту, где стоит еще хотя бы один корабль, пусть даже берега ее совсем пустынны, было в обычае у мирных мореходов всех наций. О тех безлюдных и безвластных водах ходили самые зловещие рассказы, и удивление капитана Делано легко могло бы перейти в беспокойство, когда бы не его на редкость добрый характер, чуждый всякой недоверчивости, так что без самых исключительных, настоятельных причин он не способен был питать подозрения, предполагающие коварство в натуре человека. В свете всего, на что способен род человеческий, можно ли считать такое свойство свидетельством не только чистого сердца, но также и проницательного ума, об этом мы предоставляем судить умудренному читателю.

Но если бы даже у него и возникли опасения, он, как всякий моряк, все равно забыл бы о них, видя, что неизвестное судно проделывает опас-

ный маневр, взяв слишком круто к берегу, прямо туда, где тянулся скрытый подводный риф. Видно, со здешними местами оно было знакомо столь же мало, как и со шхуной капитана Делано, и, следовательно, не могло принадлежать местным пиратам. Капитан Делано продолжал разглядывать незнакомца, хотя бегущие клочья тумана то и дело затягивали его корпус и сквозь серую пелену двусмысленно поблескивал огонь в верхнем иллюминаторе, подобный солнцу, которое, как раз в это время показавшись из-за горизонта, вместе с кораблем входило в бухту и выглядывало сквозь ту же кисею низких облаков, как коварная красавица на широкой площади Лимы, сверкающая одним глазом сквозь узкую амбразуру в своей темной мантилье.

И то ли от игры тающего тумана, трудно сказать, но чем дольше они наблюдали за незнакомцем, тем загадочнее представлялись им его маневры. Скоро уже совсем невозможно стало определить, хочет ли он войти в бухту или нет и каковы вообще его намерения. Поднявшийся было к рассвету береговой ветер почти совсем сник, и судно словно топталось на месте в полнейшей нерешительности.

В конце концов капитан Делано заключил, что

незнакомец терпит бедствие, приказал спустить шлюпку и, не слушая возражений своего помощника, решился лично отправиться на чужое судно, чтобы по крайней мере ввести его в бухту. Накануне ночью партия матросов его шхуны ходила на шлюпке ловить рыбу у отдаленного рифа и вернулась за два часа до рассвета с богатым уловом. Капитан Делано погрузил в вельбот несколько корзин со свежей рыбой в подарок бедствующему незнакомцу. Неизвестный корабль все еще держал курс на опасный подводный риф, и капитан Делано, дабы отвратить опасность, приказал своим матросам грести что есть силы, желая вовремя предостеречь его экипаж. Но не успели еще они подойти на достаточное расстояние, как ветер, хотя по-прежнему очень слабый, начал заходить и слегка отклонил судно с гибельного курса, одновременно развеяв немного окутывавший его туман.

Теперь, вблизи, вдруг открывшийся взгляду корпус корабля, вздымаемый свинцовыми валами и опоясанный последними клочьями тумана, еще струящегося по его бокам, казался похож на белостенный монастырь среди серых пиренейских круч, после того как над ними пронеслась грозовая буря. Сходство это не было мнимым, и

не досужая игра ума заставила капитана Делано вообразить, будто перед ним — транспорт, доверху груженный святыми монахами. Из-за борта на него действительно глядели какие-то люди, словно бы в черных капюшонах, и в иллюминаторах мелькали смутные темные фигуры, наподобие черных монахов, прогуливающихся по монастырским галереям.

Еще несколько саженей — и все встало на свои места: это был не плавучий монастырь, а испанское купеческое судно первого класса, везшее из одного колониального порта в другой, помимо прочего ценного груза, партию чернокожих рабов. Большой и в свое время роскошный фрегат, какие тогда еще попадались у берегов Южноамериканского континента, — в прежние времена они служили для вывоза сокровищ Акапулько или входили в состав военного флота испанского короля и, подобно устаревшим итальянским палаццо, хотя владельцы их и впали в ничтожество, долго еще сохраняли черты былого величия.

Чем ближе подходил вельбот к испанцу, тем понятнее становилось, почему он представлялся взгляду таким убеленным. Причиной этому было царившее на судне полнейшее запустение. Реи, снасти и борта казались лохматыми, так как

давно не знались со скребком, дегтем и шваброй. Можно было подумать, что этот фрегат был заложен, выстроен и спущен со стапелей еще в ветхозаветной Долине Сухих Костей пророка Иезекииля.

Приспосабливая для теперешнего занятия, его почти не переоснастили, и корпус его и такелаж сохранили изначальный воинственный средневековый облик. Пушек, впрочем, видно не было.

На его мачтах были большие марсовые площадки, обнесенные фигурной сеткой, ныне изодранной и разлезшейся клочьями. Они нависали над палубой, точно растрепанные птичьи гнезда, и на одном марсе действительно сидела, клюя носом, понурая белая птица, какие называются «глупышами» за сонный, вялый нрав — их нередко ловят в море прямо руками. Возвышенный нос фрегата, проломанный и разбитый, напоминал старинную башню, взятую некогда вражеским штурмом и с тех пор обращенную в руины. На высокой корме виднелись два балкона, перила которых здесь и там зеленели сухими мшистыми наростами; на них выходили иллюминаторы заброшенного пассажирского салона, наглухо задраенные и законопаченные, несмотря на тихую погоду, — эти необитаемые галереи высились

над волнами, точно балюстрады венецианских дворцов над водами Большого канала. Но главным знаком прежнего великолепия был большой овальный щит на борту у кормы, украшенный замысловатым резным гербом Кастилии и Леона и окруженный медальонами со сказочными и символическими фигурами — наверху в центре был изображен сатир в маске, попирающий копытом простертого врага, чье лицо было также скрыто маской.

Имелась ли у испанца носовая фигура или же простой голый форштевень, определить было невозможно, так как эту часть корпуса окутывал кусок брезента — то ли для того, чтобы защитить от непогоды во время ремонтных работ, то ли затем, чтобы не оскорблять взоров видом плачевного разрушения. Снизу из-под брезента вдоль своего рода дощатого постамента шла грубо, словно на потеху, намалеванная белилами или начертанная мелом надпись: «Следуй за мной»; а рядом на почерневшей обшивке борта крупными буквами значилось: «Сан-Доминик» — название корабля; буквы, его составляющие, были некогда золотыми, а ныне растеклись медной ржавчиной, и слизистые гирлянды водорослей скрывали их, траурно покачиваясь с

каждым наклоном корпуса.

Но вот наконец шлюпку крючьями провели с носа к трапу, спущенному со шкафута, и хотя между нею и бортом корабля еще оставался некоторый зазор, киль ее заскрежетал, словно по коралловому рифу: ниже ватерлинии на корпусе испанца огромным торчащим наростом налипли полипы и моллюски — свидетельство тому, что судно долго штилевало и штормовало в открытом море.

На палубе американского капитана сразу же обступила шумная толпа белых и негров, и черные превосходили числом белых более значительно, чем это можно было ожидать даже на работорговом судне. Но все они в один голос, одними словами принялись излагать ему печальную повесть их общих страданий, и с особой страстью звучали жалобы женщин, которых там было немало. Цинга и лихорадка унесли многих из их числа, главным образом испанцев. У мыса Горн они едва не потерпели кораблекрушение, потом много дней дрейфовали среди полнейшего безветрия. Запасы провизии у них на исходе; вода почти кончилась; губы у всех рассказчиков запеклись и потрескались.

Все эти взволнованные речи обрушились на

капитана Делано, а он между тем одним взволнованным взором обвел окружившие его лица и палубу испанского фрегата.

Когда в море всходишь на борт чужого корабля, в особенности иностранного, со смешанной командой полинезийцев или азиатов, впечатление бывает такое же, как при посещении незнакомого дома в чужом краю: и дом, и корабль, один за высокими стенами и ставнями, другой — за крепостными валами бортов, до последней минуты скрывают от взгляда то, что находится внутри; только среди пустынного океана, когда внезапно и полно разворачивается живая картина его внутренней жизни, в ней оказывается что-то колдовское. Весь корабль представляется как бы нереальным, люди в странных одеяниях, в странных позах, со странным выражением лиц, кажутся лишь тенями, сейчас только вышедшими со дна морского, куда им через мгновение предстоит снова кануть.

Быть может, нечто в подобном роде испытал и капитан Делано, и тем страннее показалось ему здесь все то, что и совершенно равнодушному взгляду не могло бы не представиться заслуживающим удивления. Прежде всего ему бросились в глаза четыре престарелых негра с убеленными

сединой, курчавыми, точно верхушки берез, головами. Величаво возвышаясь над шумом и суетой, царившими на палубе, они, точно сфинксы, недвижно возлежали друг против друга на крамболах и на противоположных планширах над грота-русленями, и каждый держал в руке старый конец и со стоическим спокойствием щипал паклю, складывая ее кучкой у себя под боком. Свою работу они сопровождали нескончаемым, тихим монотонным гудением, точно четыре седовласых волынщика, играющие похоронный марш.

На краю юта, обращенные к шканцам, но вознесенные, как и щипальщики пакли, футов на восемь над сутолокой палубы, на равных расстояниях один от другого сидели, скрестив ноги, еще шестеро чернокожих, и каждый держал по заржавленному топору, начищая его, точно кухонный мужик, с помощью кирпича и тряпки; в промежутках между ними лежали, дожидаясь своей очереди, целые стопки ржавых топоров. Четверо щипальщиков пакли время от времени еще обращались с короткими репликами к кому-нибудь из находящихся внизу, но шесть точильщиков сидели совершенно безмолвно, не переговариваясь ни с другими, ни даже между собой, и прилежно делали свое дело, лишь по

временам, со свойственной неграм склонностью сочетать работу и игру, оборачивались попарно друг к другу и сталкивали в воздухе ржавые лезвия, точно ударяя в литавры, подымая при этом варварский звон. Эти шестеро, в отличие от остальных, имели дикарский африканский облик.

Но первый взгляд, которым капитан обвел палубу, задержался на этих десяти фигурах не долее одного мгновения, нетерпеливо разыскивая в разноголосой сумятице того, кто бы командовал кораблем.

Словно решившись предоставить природе самой говорить за себя картиной страданий его подопечных или же просто пав духом от собственного бессилия, испанский капитан, с виду довольно молодой человек благородного облика, в богатом и пышном наряде, но с очевидными следами недавних бессонных забот и треволнений на лице, недвижно стоял в отдалении, прислонившись спиной к грот-мачте, то хмуро и отрешенно взглядывая на своих взбудораженных людей, то бросая тоскливый взор на гостя. Подле него стоял низкорослый негр и то и дело, точно верный пес, заглядывал в глаза хозяину со смешанным выражением преданности и печали

на грубом черном лице.

Растолкав толпу, американец приблизился к испанцу, чтобы высказать ему сочувствие и предложить посильную помощь. В ответ тот ограничился лишь церемонным и сумрачным выражением признательности, и даже традиционная испанская учтивость приобрела у него болезненный, хмурый оттенок.

Не растрачивая более времени на любезности, капитан Делано возвратился к трапу и велел поднять на палубу привезенные им корзины с рыбой, а затем, так как ветер был по-прежнему слаб и немало времени должно было еще пройти, прежде чем испанец сможет стать на якорь, он приказал своим матросам возвратиться на шхуну и привезти пресной воды, сколько возьмет шлюпка, свежего хлеба, какой найдется у стюарда, весь оставшийся на борту запас тыкв, ящик сахару, а заодно и дюжину бутылок сидра из личных капитанских запасов.

Шлюпка отвалила, а еще через несколько минут, ко всеобщей досаде, ветер и вовсе стих, и начавшийся отлив повлек беспомощное судно обратно в открытое море. Зная, что это беда временная, капитан Делано попытался ободрить испанцев; он не раз плавал в испанских коло-

ниальных водах и теперь радовался, что может вполне сносно беседовать с этими несчастными на их родном языке.

Оставшись один среди них, он вскоре опять стал замечать вокруг какие-то странности, но недоумение его отступило перед жалостью, равно и к испанцам, и к неграм, одинаково настрадавшимся от нехватки воды и пищи; правда, долгие тяготы, как видно, выявили в неграх свойственные им дурные наклонности, одновременно лишив белых силы осуществлять над черными власть. И неудивительно. В армиях, флотах, городах и семьях — да и в самой природе — ничто так не подрывает порядок, как бедствие. Впрочем, капитан Делано допускал, что, будь Бенито Серено человеком более энергичным, всеобщий развал на его судне не достиг бы таких пределов. Но телесная и духовная немощь испанского капитана, то ли присущая ему от природы, то ли вызванная тяжкими лишениями, не могла не броситься в глаза. Как видно, обманчивые надежды слишком долго дразнили его, и теперь, жертва беспросветного отчаяния, он отвергал их, хотя они и перестали быть обманчивыми, и нисколько не воспрянул духом, несмотря на то что мог твердо рассчитывать еще к исходу дня, самое позднее к

ночи, поставить судно на якорь и напоить своих людей, а рядом с ним был теперь другой капитан, протянувший ему руку помощи и сочувствия. Казалось, рассудок его расшатан, если не вконец расстроен. Запертый в этих дубовых стенах, двигаясь все время по одному унылому кругу власти и давно пресыщенный ее неограниченностью, он медленно расхаживал по шканцам, точно мизантроп-настоятель под сводами своего монастыря, то вдруг останавливаясь, вздрагивая или замирая с застывшим взглядом, кусая губы, кусая ногти, краснея, бледнея, теребя бороду, и видно было, что мысли его мрачны и чем-то неотступно заняты. Этот нездоровый дух обитал, как было сказано выше, в столь же нездоровом теле. Ростом довольно высокий, испанский капитан, вероятно, никогда не был особенно крепким, теперь же физические и нервные страдания превратили его в настоящий скелет. В последнее время у него, должно быть, проявилась прежде скрытая предрасположенность к легочным заболеваниям. У него был голос человека, наполовину лишившегося легких, сдавленный, сиплый полушепот. Неудивительно поэтому, что, куда бы он ни направлял неверный шаг, за ним по пятам повсюду заботливо следовал негр-слуга, то протягивая

ему для поддержки черную руку, то доставая из кармана изящный носовой платок. Все это — и многое другое — проделывалось с тем рвением и теплом, благодаря которым деятельность самая обыденная, служебная приобретает характер поистине родственный и которые повсеместно заслужили неграм славу лучших в мире слуг — слуг, которых хозяину нет нужды держать в строгости и на отдалении, а можно с ними быть запросто и накоротке; не столько слуг, сколько преданных товарищей.

Неприятно пораженный шумным беспорядком, царившим на палубе среди чернокожих, и явным неумением белых обуздать их, капитан Делано с человеколюбивым удовлетворением наблюдал безупречное поведение малорослого Бабо.

Но безупречность Бабо не более, чем распущенность всех остальных, казалась способной вывести полубезумного дона Бенито из его сумрачного оцепенения. Впрочем, испанский капитан тогда еще не представлялся американцу полубезумным, его странное состояние воспринималось до поры до времени лишь как бросающаяся в глаза деталь общей картины беды и беспорядка на судне. И все-таки капитан Делано был неприятно задет, как ему тогда показалось, недружелюб-

ным безразличием испанца к нему. К тому же дон Бенито держался с нескрываемым хмурым высокомерием, которое американский капитан, однако, великодушно приписал все тому же разрушительному воздействию болезни, так как по опыту прежних лет знал, что существуют своеобразные натуры, которых продолжительные физические страдания лишают всяких признаков интереса и доброты к ближним, словно, посаженные судьбой на черный хлеб несчастья, они считают только справедливым подвергать обидам и унижениям всякого, кто к ним приблизится, давая и ему вкусить от этой горечи.

Однако вскоре капитан Делано уже думал, что, как ни снисходителен был в своем отношении к дону Бенито, все же судил его слишком строго. Его обижала холодность испанца; но ведь столь же холоден он был со всеми, кроме разве своего слуги. Даже обычные судовые рапорты, с которыми к нему, по заведенному морскому порядку, через положенные промежутки времени являлся кто-нибудь из подчиненных (белый, негр или мулат), Бенито Серено выслушивал нехотя, с презрительным нетерпением. Так, наверное, вел себя его монарший соотечественник Карл V, перед тем как покинуть трон для отшельнической жизни.

Что пост капитана ему в тягость, заметно было по всему. Надменный и хмурый, он даже не снисходил до того, чтобы лично отдавать приказы, действуя во всем через своего черного телохранителя, который, в свою очередь, пересылал их по назначению через посыльных — испанцев или рабов, всегда наготове вившихся поблизости от дона Бенито, подобно пажам или рыбам-лоцманам. И человеку сухопутному никогда бы не пришло в голову, что этот болезненный и вялый аристократ, безмолвно скользящий по палубе в стороне от всего, облечен единоличной властью, выше которой во время плавания нет инстанции на этом свете.

Итак, испанец был, по-видимому, всего лишь жертвой собственной душевной болезни. Но, с другой стороны, могло статься, что он прибегает к такой манере сознательно. И в этом случае дон Бенито являл собой доведенное до предела воплощение скверного, но существующего у капитанов крупных судов обычая всегда держаться холодно и недоступно, не выказывая иначе, как в минуту крайней опасности, своей правящей воли, а заодно и вообще ни малейших признаков человечности, так что сам капитан уже становится как бы не живым существом, а

скалой или, вернее, заряженной пушкой, которой, пока не придет пора метать громы, просто нечего сказать.

Если так, то вполне понятно, что, повинуясь долгой привычке к такому нечеловеческому поведению, испанский капитан и теперь, при настоящем состоянии судна, сохраняет все ту же надменную позу, быть может, безвредную или даже подходящую на хорошо оснащенном судне, каким «Сан-Доминик», вероятно, был при выходе в плавание, но теперь по меньшей мере неуместную. Возможно, испанец считал, что капитаны, как боги, во всех случаях жизни должны оставаться недоступны для смертных. А всего вернее, его сонное высокомерие — это не более как попытка скрыть собственное бессилие, не жизненное правило, а простая уловка. Как бы то ни было, но чем больше капитан Делано наблюдал нарочитую или невольную холодность дона Бенито ко всем и вся, тем меньше он чувствовал себя лично ею задетым.

Да и не один только капитан занимал его внимание. Шумная беспорядочная сутолока на палубе многострадального «Сан-Доминика» не могла не оскорблять взор американца, привыкшего к спокойной семейственной упоря-

доченности на своем зверобое. Здесь нарушалась не только матросская дисциплина, но подчас обыкновенная пристойность. Причиной этого, по мнению капитана Делано, было главным образом отсутствие вахтенных офицеров, которым на многолюдном корабле поручаются, наряду с более высокими обязанностями, и, так сказать, полицейские функции. Правда, седовласые щипальщики пакли с высоты по временам увещевали своих чернокожих соплеменников; но, укрощая одного или другого, пресекая отдельные стычки, они были бессильны установить на палубе в целом хоть какой-то порядок. «Сан-Доминик» был в положении большого трансатлантического эмигрантского судна, на борту которого среди его живого груза есть, без сомнения, немало людей тихих и безобидных, как тюки или ящики, однако такие мягкие люди ничего не могут сделать против своих буйных соседей, и тут нужна твердая рука помощника капитана. «Сан-Доминику», как и эмигрантским кораблям, нужны были строгие вахтенные офицеры. Но на его палубах не видно было даже и четвертого помощника капитана.

Гостю весьма любопытно было поподробнее узнать обстоятельства, приведшие к такому опустошению в командном составе и его послед-

ствиям; ибо хотя кое-какое общее представление о бедственном плавании «Сан-Доминика» у него и сложилось по жалобам и стенаниям обступивших его в первые минуты людей, однако подробности до сих пор оставались ему неизвестны. Об этом, без сомнения, лучше всех мог рассказать сам капитан. Правда, обращаться опять к неприветливому, надменному испанцу было неприятно. Однако капитан Делано все-таки собрался с духом и, подойдя к дону Бенито, еще раз выразил ему доброжелательное сочувствие, прибавив, что, если бы он (капитан Делано) лучше знал все несчастия «Сан-Доминика», его помощь, наверно, была бы действеннее. Быть может, дон Бенито любезно расскажет ему, что и как с ними произошло?

Дон Бенито вздрогнул; потом, словно разбуженный лунатик, посмотрел на своего гостя бессмысленным, пустым взглядом; и наконец потупился. В этой позе он и остался стоять, не поднимая головы, так что в конце концов капитан Делано, в свою очередь, сильно смутившись, вынужден был поступить столь же невежливо: повернуться к испанцу спиной и уйти, в надежде, что удастся расспросить кого-нибудь из белых матросов. Но он не сделал и пяти шагов, как дон

Бенито взволнованным голосом окликнул его, извинился за свою минутную рассеянность и сказал, что готов удовлетворить его интерес.

Почти во все время последовавшего рассказа капитаны стояли на шканцах вдвоем, не считая слуги, и никто не мешал их разговору.

— Вот уже сто девяносто дней, — начал испанец своим сиплым шепотом, — как этот корабль с полным составом команды и судовых офицеров и с несколькими каютными пассажирами, всего числом около пятидесяти человек, отплыл из Буэнос-Айреса в Лиму, имея на борту разнообразный груз: парагвайский чай и прочее, а также, — он сделал жест в направлении полубака, — вот этих негров, из которых теперь осталось, как вы можете видеть, едва ли сто пятьдесят, а в то время было более трехсот душ. У мыса Горн нас настиг шторм. Во время этого шторма я за одно мгновение лишился сразу трех своих лучших помощников и пятнадцати матросов, их всех снесло за борт вместе с грота-реем, который вдруг обломился под ними, когда они пытались обить шестами обледенелый парус. Чтобы облегчить корпус, за борт были выкинуты наиболее тяжелые тюки с мате, а также почти все бочонки с пресной водой, которые были принайтовлены к палубе. И это

последнее вынужденное действие послужило причиной наших бедствий, когда на смену штормам пришел затяжной штиль. Когда…

Но здесь его прервал припадок мучительного кашля, вызванный, несомненно, душевными страданиями. Черный слуга обхватил дона Бенито, не давая ему упасть, и, вытащив из кармана флакон с лекарством, прижал к губам хозяина. Тот немного пришел в себя. Но черный слуга, боясь, как бы капитан не упал, по-прежнему обнимал его одной рукой и не отводил от его лица встревоженного взгляда, ища на нем знаков улучшения или ухудшения.

Испанец же продолжал свой рассказ, но теперь отрывисто и невнятно, точно во сне:

— О, боже мой! Чем пережить то, что я пережил, с радостью приветствовал бы я жесточайший шторм! Но…

Тут его снова прервал припадок удушающего кашля, и он, обессиленный, с окрасившимися кровью губами и закрытыми глазами, упал на руки своего телохранителя.

— Хозяин заговаривается. Он думал о чуме, которая разразилась у нас после шторма, — с жалобным вздохом пояснил слуга. — Бедный, бедный хозяин! — Одну руку он прижал к сердцу,

а другой отер больному губы. — Но будьте терпеливы, капитан, — вновь обратился он к капитану Делано. — Эти припадки длятся недолго; хозяин скоро придет в себя.

Дон Бенито действительно оправился и продолжал свое повествование; но так как вел он его урывками, по частям, здесь будет передана лишь суть этого рассказа.

Итак, «Сан-Доминик» сначала много дней носило штормом за мысом Горн, а после этого на борту началась цинга, от которой умерло много белых и негров. К тому времени, когда они наконец обогнули мыс Горн и вышли в Тихий океан, их паруса и рангоут были в самом жалком состоянии и оставшиеся в живых члены команды, из которых многие были изможденны болезнью, оказались не в силах вести судно на север курсом бейдевинд при сильном юго-восточном ветре, так что, почти не управляемое, его несколько дней и ночей сносило к северо-западу, пока наконец ветер вдруг не стих, оставив «Сан-Доминик» штилевать в неведомых тропических водах. И тут-то отсутствие на палубе бочек с пресной водой оказалось столь же гибельным, как прежде их наличие. Вслед за цингой пришла злокачественная лихорадка, вызванная или, во

всяком случае, отягощенная недостатком воды, а страшный зной быстро довершил ее дело, унеся за борт, подобно штормовой волне, целые семьи африканцев и пропорционально еще гораздо больше испанцев, в том числе, по несчастной игре случайностей, всех судовых офицеров. Вот почему, когда подул наконец свежий западный ветер, паруса пришлось просто-напросто отвязывать, а не крепить к реям, отчего они быстро пришли в полную ветхость и висели теперь как нищенское отрепье. Чтобы возместить потери в экипаже и пополнить запасы воды и парусины, капитан при первой же возможности взял курс на Вальдивию, самый южный цивилизованный порт Чили и всей Южной Америки; но при их подходе к берегу снова разыгралась непогода, и они не смогли даже издали увидеть желанную гавань. С тех пор, почти без команды, почти без парусов и воды, по-прежнему то и дело отдавая морю своих мертвецов, «Сан-Доминик» носился, подобно волану, туда и обратно по воле ветра, то попадая во власть морских течений, то без движения зарастая водорослями во время штилей. Как заблудившийся в лесу человек, он все кружил и кружил по собственному следу.

— Но как ни велики бедствия, — глухо про-

должал дон Бенито, с трудом оборачиваясь в объятиях своего слуги, — я должен быть благодарен этим неграм, которых вы здесь видите. Они, хотя на ваш взгляд и кажутся необузданными, в действительности вели себя гораздо разумнее, чем даже их хозяин мог бы от них ожидать.

Здесь ему снова сделалось дурно, он начал заговариваться, но потом взял себя в руки и продолжал рассказ уже не так путано.

— Да, да, их хозяин не ошибся, когда уверял меня, что его неграм не понадобятся оковы. Они в продолжение всего плавания оставались на палубе, а не сидели в трюме, как принято на невольничьих судах, и с самого начала пользовались свободой передвижения.

Новый приступ дурноты, сопровождающийся бредом, и снова, придя в себя, он продолжал:

— Но в первую очередь, клянусь небом, я должен быть благодарен вот ему, Бабо, и не только за спасение моей собственной жизни, но и за умиротворение тех его неразумных братьев, которые в трудную минуту готовы были возроптать.

— Ах, хозяин, — вздохнул черный слуга, понурившись, — не говорите обо мне. О Бабо нечего говорить, он только выполняет свой долг.

— Верная душа! — воскликнул капитан Дела-

но. — Дон Бенито, такому другу можно позавидовать — такому рабу, я должен бы сказать, но мой язык отказывается назвать его рабом.

И действительно, хозяин и слуга стояли перед ним в обнимку, черный поддерживал белого, и капитан Делано не мог не восхититься этой картиной воплощенной преданности, с одной стороны, и полного доверия — с другой. Впечатление еще усиливала разница в одежде, подчеркивающая положение того и другого. На испанце был просторный чилийский кафтан черного бархата, белые короткие панталоны и чулки, серебряные пряжки под коленом и на башмаке; на голове — высокое сомбреро из тонкой соломки; у пояса на перевязи — узкая шпага с серебряной рукоятью, и по сей день неизменная деталь костюма южноамериканских джентльменов, предназначенная более для пользы, чем для украшения. Во всем его облике сохранялась, за исключением тех минут, когда его схватывали нервные судороги, определенная строгая торжественность, никак не вязавшаяся с беспорядком, царившим вокруг, и прежде всего на баке, в этом грязном, захламленном гетто, населенном чернокожими.

Слуга же был одет в одни только широкие шта-

ны, скроенные, как можно было догадаться по заплатам и грубым швам, из обрывков старого топселя; они были чистые и подхвачены у пояса куском крученого троса, что вместе с кротким, молящим выражением лица придавало ему сходство с нищенствующим монахом-францисканцем.

Быть может, и неуместный в глазах простодушного американца, и странно противоречащий бедственному положению судна, наряд дона Бенито отвечал тем не менее моде, распространенной в то время среди южноамериканцев его класса. Хотя в это плавание он и вышел из Буэнос-Айреса, однако был, по его словам, уроженцем и жителем Чили, где мужчины в то время еще не перешли на прозаический сюртук и некогда плебейские брюки, но сохранили, с неизбежными изменениями, свой живописный национальный костюм. И все же, будучи сопоставлено с мрачной историей корабля и с сумрачным лицом самого капитана, пышное его одеяние выглядело довольно дико, приводя на ум разодетого английского вельможу, ковыляющего по Лондону во время чумы.

Самым интересным и даже удивительным в рассказе испанца был столь необыкновенно дол-

гий по тем широтам, о которых шла речь, штиль и соответственно затянувшийся дрейф «Сан-Доминика». Ничего не говоря вслух, американец про себя подумал, что, наверно, в затянувшемся дрейфе повинно все же отчасти и неумелое управление судном, и невысокое искусство навигации. Глядя на маленькие желтые руки дона Бенито, капитан легко мог заключить, что тот попал в капитаны не от матросской помпы, а из пассажирского салона, — приходилось ли удивляться неумелости там, где отсутствие опыта сочеталось с болезнью, молодостью и аристократизмом? Так по-демократически судил капитан Делано.

Однако сочувствие заглушило в нем неодобрительные мысли, и он, по окончании рассказа, еще раз выразив соболезнования, уведомил испанца, что готов не только, как говорил раньше, напоить и накормить его команду, но с удовольствием поможет ему также завезти на борт запас питьевой воды и даже даст парусины и канатов; более того, он согласен сам пойти на жертву и отдать дону Бенито трех своих лучших помощников для временного исполнения обязанностей палубных офицеров на «Сан-Доминике», с тем чтобы испанец мог, не откладывая, отправиться в Консепсьон и там полностью оснастить свой корабль

для плавания в порт назначения — Лиму.

Такая щедрость не оставила равнодушным даже больного дона Бенито. Лицо его вдруг просветлело и залилось лихорадочным румянцем, взволнованный взгляд открыто устремился навстречу дружескому взгляду гостя. Казалось, благодарность переполняла его.

— Хозяину вредно волноваться, — прошептал черный слуга, взяв дона Бенито за руку, и, тихо бормоча слова успокоения, отвел его в сторону.

Когда же дон Бенито снова приблизился, капитан Делано с горечью убедился, что вспыхнувшие было в нем надежды опять угасли, как угас и болезненный румянец, на мгновение осветивший его лицо. С неприветливой, хмурой миной испанец пригласил гостя подняться на высокий ют «Сан-Доминика» и освежиться, если возможно, еле ощутимым дыханием ветра.

За время его рассказа капитан Делано не раз вздрагивал, вдруг услышав перезвон топоров в руках точильщиков-негров прямо у себя над головой; его удивляло, почему им позволяется производить такой шум, да еще над самыми шканцами, не щадя слуха больного капитана; а так как топоры эти имели вид достаточно зловещий, а их усердные точильщики — тем более,

капитан Делано, сказать по правде, не без тайной неохоты и даже, может быть, содрогания, но с притворной готовностью принял это приглашение. А тут еще, послушный капризам этикета, дон Бенито, сам страшный как смерть, с пышным кастильским поклоном предложил ему первым подняться по лестнице туда, где по правую и по левую руку на высоте последней ступеньки восседали над грозными грудами ржавых лезвий двое чернокожих оружейников и стражей. Внутренне поеживаясь, ступил меж ними добрый капитан Делано, и от сознания, что они оказались у него за спиной, у него, как у дуэлянта на поединке, напряглись икры ног.

Но стоило ему обернуться и увидеть, как они все шестеро, точно шесть бессмысленных шарманщиков, продолжают свою работу, ничего не видя и не слыша вокруг, и он поневоле улыбнулся собственным навязчивым опасениям.

Потом, когда они стояли с доном Бенито на высоком юте и глядели вниз на палубу, на глазах у капитана Делано снова произошел странный случай, о каких велась речь выше. Трое чернокожих и двое испанцев сидели вместе на люке и выскребали большую деревянную тарелку, на которой еще сохранились остатки их недавней скудной

трапезы. Внезапно один из негров, разозленный какими-то словами белого, схватился за нож и, хотя кто-то из щипальщиков пакли громким голосом пытался его образумить, не обратил на этот окрик никакого внимания и нанес белому матросу удар по голове, так что хлынула кровь.

Пораженный капитан Делано спросил, что это значит. Дон Бенито, по-прежнему без кровинки в лице, пробормотал в ответ, что «молодежь просто резвится».

— Довольно опасная резвость, — заметил капитан Делано. — Случись такое на борту «Холостяцкой услады», наказание не заставило бы себя ждать.

При этих словах испанец вздрогнул и устремил на американца полубезумный взгляд; потом, словно очнувшись, с прежней вялостью отозвался:

— О, несомненно, несомненно, сеньор.

«Может быть, — подумал капитан Делано, — этот немощный человек — не более как “бумажный капитан”, из тех, что смотрят сквозь пальцы на зло, с которым им не под силу справиться? Я не знаю зрелища плачевнее, чем командир, когда он командир только по названию».

— Мне кажется, дон Бенито, — вслух сказал он,

глядя на щипальщика пакли, который пытался остановить ссору, — что самое разумное было бы занять работой всех ваших негров, в особенности кто помоложе, как бы бесполезна эта работа ни была и как бы бедственно ни было положение судна. Да что там! Даже я с моей горсткой людей вынужден к этому прибегать. Однажды у меня вся команда, кроме вахтенных, трое суток плела на шканцах маты для капитанской каюты, когда сам я уже считал корабль мой, со всеми матами и матросами, погибшим и целиком отдался на волю свирепствовавшему шторму, перед которым был бессилен.

— Несомненно, несомненно, — пробормотал в ответ дон Бенито.

— Впрочем, — продолжал капитан Делано, переводя взгляд со щипальщиков пакли на сидящих поблизости точильщиков, — я вижу, что некоторые у вас и без того при деле.

— Да, — последовал рассеянный ответ.

— Вон те старики, потрясающие кулаками со своих кафедр, — продолжал капитан Делано, указывая на щипальщиков пакли, — они, по-моему, своего рода старосты у остальных, хотя их, как видно, не всегда слушают. Добровольно ли они взяли на себя эту роль, дон Бенито, или же это

вы приставили их пастырями к вашему черному стаду?

— Во всем, что они делают, они следуют моим распоряжениям, — раздраженно отвечал испанец, словно расслышал в тоне гостя издевку.

— А вот эти дикари, эти шаманы, — продолжал капитан Делано, все еще с неприятным чувством поглядывая туда, где нет-нет да посверкивала сталь в руках усердных точильщиков. — Очень уж странное у них занятие, вам не кажется, дон Бенито?

— Во время шторма, — объяснил испанец, — те из наших грузов, что не были вышвырнуты за борт для спасения судна, сильно пострадали от соленой влаги. Поэтому, когда мы вышли в спокойные воды, я распорядился каждый день вытаскивать из трюма на палубу по нескольку ящиков ножей и топоров для осмотра и очистки.

— Разумная вещь, дон Бенито. Вы ведь один из владельцев корабля и груза, не так ли? Но рабы, верно, не ваши?

— Я владею всем, что вы здесь видите, — нетерпеливо отозвался дон Бенито. — Кроме чернокожих. Они почти все принадлежали моему покойному другу Алехандро Аранде.

Произнеся это имя, дон Бенито вдруг изменился

в лице, колени его подогнулись, и черный слуга опять должен был поддержать хозяина.

Капитану Делано легко было понять, что так мучило оставшегося в живых друга. Он переждал немного и, чтобы подтвердить свою догадку, спросил:

— Позвольте узнать у вас, дон Бенито, поскольку вы недавно говорили мне о пассажирах «Сан-Доминика», не сопровождал ли ваш друг, смерть которого вы так оплакиваете, не сопровождал ли он своих негров в этом плавании?

— Да.

— И умер от лихорадки?

— Умер от лихорадки. О, если бы я мог…

Испанец затрепетал и снова смолк.

— Простите меня, — медленно проговорил капитан Делано, — но я по своему печальному опыту могу судить о том, что для вас особенно непереносимо в вашем горе. Мне тоже когда-то выпало на долю потерять во время плавания близкого человека, родного брата, он был у меня суперкарго. Уверенный в вечном спасении его души, я бы стерпел утрату, как должно мужчине. Но его честные глаза и честная рука… я так хорошо знал его взгляд и рукопожатие… и это горячее сердце, — все, все брошено акулам, точно объ-

едки псам! Тогда-то я и поклялся, что не возьму больше с собой в плавание того, кто мне дорог, иначе как подготовив втайне на случай беды все для бальзамирования его бренного тела и последующего предания земле. Будь останки вашего друга, дон Бенито, на борту этого судна, вас не приводило бы в такое необыкновенное отчаяние одно упоминание его имени.

— На борту этого судна! — как эхо повторил испанец и, в ужасе простерев перед собой руку, словно отстраняя невидимый призрак, упал без чувств в объятия верного телохранителя, а тот умоляюще посмотрел на капитана Делано, словно без слов просил не возвращаться более к этой теме, причиняющей такие страдания его господину.

«Бедняга, — огорченно подумал американец, — как видно, он жертва предрассудка, и мертвое тело пугает его чертями, как мертвый дом — привидениями. До чего же по-разному устроены люди! От того, в чем я черпал бы суровое утешение, он цепенеет в ужасе. Бедный Алехандро Аранда! Что сказал бы ты, увидев, как твой друг, который в прежние годы, уходя в плавание, а тебя оставляя на берегу, наверно, не раз тосковал по тебе и рад был бы взглянуть на тебя хоть

мельком, — этот друг твой теперь весь дрожит, охваченный страхом, при мысли, что ты можешь быть рядом с ним».

В этот миг удар судового колокола на баке, приведенного в действие одним из седовласых щипальщиков пакли, провозгласил десять часов, и сиплый погребальный звон, выдававший трещину в металле, далеко разнесся по свинцовой глади вод. И сразу же внимание капитана Делано привлек огромный негр, отделившийся от толпы на палубе и медленно ступивший на лестницу, ведущую на ют. На негре был железный ошейник, от ошейника отходила толстая цепь и трижды обвивалась вокруг туловища, а звенья ее нижнего конца были прикреплены к широкой железной полосе у пояса.

— Атуфал шагает как в похоронной процессии, — негромко заметил черный слуга.

Негр взошел по лестнице и, точно узник, готовый, не дрогнув, услышать приговор, встал перед доном Бенито, немой и неколебимый.

Завидев приближающегося негра, дон Бенито, только успевший прийти в себя, вздрогнул, лицо его вновь омрачилось, и бескровные губы сжались в тонкую линию. Он словно вдруг вспомнил о чем-то, вызывавшем у него бессильную ярость.

«Вот упорствующий бунтовщик», — подумал капитан Делано, не без восхищения разглядывая фигуру черного колосса.

— Взгляните, хозяин, он ждет вашего вопроса, — сказал маленький слуга.

При этом напоминании дон Бенито, глядя в сторону и как бы заранее готовый к мятежному ответу, слабым голосом проговорил:

— Атуфал, будешь ты просить у меня прощения?

Негр безмолвствовал.

— Еще раз, хозяин, — посоветовал Бабо, с горьким укором глядя на своего соплеменника. — Спросите опять. Он еще склонится перед хозяином.

— Отвечай, — сказал дон Бенито, по-прежнему глядя в сторону. — Произнеси одно только слово: «Прощения!» — и твои цепи падут.

В ответ негр лишь воздел кверху обе руки и под звон цепей безжизненно уронил их, одновременно потупя голову и всем своим видом как бы говоря: «Да нет, мне и так хорошо».

— Ступай, — сказал дон Бенито со сдержанной горячностью.

Огромный негр повиновался и так же медленно, размеренно ступая, пошел прочь.

— Прошу извинения, дон Бенито, — сказал капитан Делано, — но эта сцена меня удивила. Что она означает?

— Она означает, что этот негр один изо всех оказал мне дерзкое неповиновение. И я заковал его в цепи, я…

Здесь он вдруг прервал свою речь и потер лоб ладонью, словно у него закружилась голова или замутилась память; но, встретив добрый, заботливый взгляд черного слуги, опомнился и продолжал:

— Я не мог обречь бичу этот великолепный торс. Но я велел ему просить у меня прощения. До сих пор он этого не сделал. По моему приказанию он является ко мне каждые два часа.

— И давно ли это продолжается?

— Дней шестьдесят.

— А во всем прочем он послушен? И почтителен?

— Да.

— Тогда, клянусь душой, — горячо воскликнул капитан Делано, — у него королевское сердце, у этого чернокожего!

— Очень может статься, — с горечью отвечал дон Бенито. — Он утверждает, что был королем у себя на родине.

— Да, — вмешался при этих словах слуга. — У него в ушах разрезы, в них он носил золотые пластины. А вот бедный Бабо был у себя на родине ничтожным рабом; был рабом чернокожего, а стал рабом белого человека.

Слегка раздосадованный таким бесцеремонным вмешательством, капитан Делано с удивлением посмотрел на слугу, потом перевел вопросительный взгляд на хозяина; но, словно привыкнув к подобной фамильярности, ни тот ни другой не поняли его недоумения.

— А в чем, позвольте спросить, дон Бенито, состоял проступок Атуфала? — спросил он тогда. — Если он был не очень серьезен, послушайте совета и в награду за смиренное поведение, а также из уважения к силе его духа, отмените наказание.

— Нет, нет, никогда хозяин его не помилует, — пробормотал себе под нос слуга. — Гордый Атуфал должен сначала попросить прощения. Раб носит на себе замок, а ключ от него — у хозяина.

Слова эти привлекли внимание капитана Делано к тому, чего до сих пор он не заметил: вокруг шеи дона Бенито, на тонком шелковом шнуре, действительно висел ключ. Догадавшись из слов слуги, каково назначение ключа, капитан улыб-

нулся и сказал:

— Ах вот как, дон Бенито, замок и ключ, а? Красноречивые символы, право.

Дон Бенито молчал, кусая губы.

Капитан Делано, человек простодушный и неспособный к иронии и насмешке, сделал это замечание, имея в виду столь необычный знак власти испанца над рабом. Но тот, как видно, усмотрел в нем намек на бесплодность всех его попыток сломить хотя бы на словах закованную волю чернокожего. Чувствуя себя не в силах развеять это плачевное недоразумение, капитан Делано попробовал было переменить тему разговора, но его собеседник оставался холоден, как видно, все еще переживая в душе якобы нанесенное ему оскорбление, и постепенно капитан Делано тоже смолк, поневоле поддавшись сумрачному настроению болезненно обидчивого и, как видно, мстительного испанца. Но сам он, будучи склада скорее противоположного, не выказывал дурных чувств да и не питал их, и если и хранил молчание, то лишь потому, что молчание заразительно.

Так они стояли некоторое время, как вдруг дон Бенито бесцеремонно повернулся к гостю спиной и, поддерживаемый телохранителем, отошел

в сторону — поступок, который можно было бы счесть пустым капризом больного, если бы, остановившись за крышкой светового люка, он не затеял со слугой какого-то тихого разговора. Это уже было неприятно. Мало того, если раньше в сумрачном облике недужного испанца еще было некое гордое достоинство, теперь от него не осталось и следа, а лакейская фамильярность его слуги совершенно утратила прежнюю прелесть искренней теплоты.

Смущенный гость отвернулся и стал смотреть в другую сторону. При этом взгляд его случайно упал на молодого матроса-испанца, который в это время начал с концом в руке подниматься по бизань-вантам. Ничего примечательного в молодом испанце не было, если не считать того, что, вскарабкавшись на бегин-рей, он украдкой посмотрел оттуда прямо в глаза капитану Делано, а затем, словно в какой-то скрытой связи, указал ему глазами на шепчущихся за выступом люка дона Бенито и его слугу.

Капитан Делано оглянулся — и вздрогнул: было очевидно, что тайный разговор, который в эту минуту дон Бенито вел со своим слугой, каким-то образом касался его, капитана Делано, — обстоятельство столь же неприятное для гостя, как и

неприличное для хозяина.

Подобная грубость наряду с церемонной учтивостью казалась необъяснимой. Оставалось предположить одно из двух: либо перед ним безобидный безумец, либо злостный самозванец.

Первое предположение, казалось бы, напрашивалось само собой, оно уже мелькало раньше у капитана Делано; но теперь, подозревая в действиях испанца оскорбительные для себя намерения, он, разумеется, от него отказался. Но если не сумасшедший, то кто же? Какой дворянин и даже честный простолюдин стал бы на его месте так себя вести? Значит, самозванец. Низкий авантюрист, переодетый океанским грандом; и при этом столь не сведущий в правилах благородного обхождения, что с первого же шага разоблачил себя вопиющим нарушением этикета. Да и эта его церемонность — разве не похоже, что он просто переигрывает? Бенито Серено — дон Бенито Серено — звучит превосходно. В те времена эта фамилия была хорошо известна во всем торговом флоте Тихоокеанского побережья, она принадлежала одному из самых многочисленных предприимчивых купеческих семейств в испано-американских провинциях; многие его члены носили высокие титулы

— своего рода кастильские Ротшильды, имеющие именитых братьев или кузенов в каждом крупном порту Южной Америки. Этот человек, называвший себя именем Бенито Серено, был еще сравнительно молод, лет двадцати девяти или тридцати. Блудный сын, младший отпрыск славного мореходного дома — самая подходящая роль для дерзкого и талантливого негодяя. Но этот испанец болен и слаб. Все равно. Известно, что искусство ловких лицедеев подчас способно подражать даже смертельному недугу. Подумать только, под этим младенчески беспомощным видом прячутся могучие злодейские силы и бархатная его одежда — как бархатная лапа хищника, в которой скрываются когти.

Эти сравнения пришли на ум капитану Делано не в ходе размышлений, не изнутри, а снаружи — вдруг упали на него, точно иней, и так же вдруг растаяли под воссиявшим солнцем его доброты.

Еще раз взглянув на дона Бенито, который в эту минуту стоял за люком и видна была только его голова, обращенная к нему в профиль, капитан Делано был поражен чистотой его черт, истонченных нездоровьем и обрамленных благородной узкой бородой. Прочь подозрения! Перед ним истинный отпрыск истинного идальго Серено.

В великом облегчении от этой и других еще более прекрасных мыслей, гость с равнодушным видом стал прохаживаться по высокому юту, напевая что-то себе под нос и изо всех сил стараясь не показать, что счел было поведение дона Бенито невежливым и даже подозрительным. Ибо подозрения эти были выдуманы и действительность пусть не сразу, но непременно их рассеет; небольшое, но загадочное недоразумение вскоре разъяснится, и тогда ему, конечно, придется пожалеть, если он сейчас позволит дону Бенито догадаться о своих недостойных вымыслах. Словом, не следовало заранее отказываться от благоприятного решения этой испанской головоломки.

А вскоре испанец, по-прежнему поддерживаемый слугой, вернулся к своему гостю и, отворачивая бледное, сумрачное лицо, словно смущенное более обычного, своим странным сиплым шепотом повел с ним следующий странный разговор:

— Могу ли я узнать, сеньор, как давно вы стоите в этой бухте?

— Всего лишь дня два, дон Бенито.

— А из какого порта вы теперь идете?

— Из Кантона.

— И там, сеньор, вы обменяли тюленьи шкуры

на чай и шелка, так вы, кажется, сказали?

— Да. На шелка главным образом.

— И в придачу взяли пряности, я полагаю?

Капитан Делано замялся, но ответил:

— Да. И немного серебра. Но так, самую малость.

— Гм. Да. А могу ли я узнать, сеньор, сколько людей у вас в команде?

— Общим счетом двадцать пять человек, — ответил капитан Делано, удивленно подняв брови.

— И в настоящее время, сеньор, все на борту, я полагаю?

— Все на борту, дон Бенито, — подтвердил капитан, на этот раз не колеблясь.

— И сегодня ночью тоже?

При этом последнем вопросе, которому предшествовали и другие, столь же странные и настойчивые, капитан Делано не смог удержаться и удивленно посмотрел прямо в глаза собеседнику, но тот, вместо того чтобы открыто встретить его взгляд, понурился, выказывая все признаки малодушного смущения, и уставил глаза в палубу — в противоположность своему честному слуге, который в эту минуту, коленопреклоненный, затягивал ему пряжку на башмаке и, не тая простодушного интереса, поднял кверху

черное лицо.

— Сегодня ночью… тоже? — все так же неуверенно и виновато повторил испанец свой вопрос.

— Наверно, — пожал плечами капитан Делано. — Ах нет, — тут же бесстрашно поправился он, — кое-кто собирался сегодня в ночь опять на рыбалку.

— А ваши суда… обычно хорошо вооружены, сеньор?

— Так только, одна-две пушки, на самый уж крайний случай, — последовал равнодушный бестрепетный ответ, — небольшой запас мушкетов, тюленьи остроги, ну и топоры, известное дело.

С этими словами капитан Делано снова попытался заглянуть в лицо дону Бенито, который по-прежнему смотрел вбок, а еще через минуту, вдруг переменив тему, надменно заметил что-то о затянувшемся штиле и, не извинившись, опять отошел со своим телохранителем к противоположному борту, где перешептывание их возобновилось.

В это время на глаза озадаченному капитану вновь попался молодой испанец-матрос, теперь спускавшийся по бизань-вантам. Он пригнулся,

готовясь спрыгнуть на палубу, и широкая, грубошерстная матросская роба, или рубаха, здесь и там запятнанная дегтем, распахнулась на груди, открыв засаленную нижнюю сорочку из тончайшего полотна, отороченную у горла узкой голубой шелковой лентой, правда, вытертой и полинялой. В это же время взгляд молодого матроса опять устремился на шепчущихся, и капитану Делано почудилась в нем скрытая многозначительность, словно то был тайный масонский знак.

Это снова побудило американца посмотреть в сторону дона Бенито, и опять ему стало очевидно, что темой происходящего там разговора служил он сам. Непонятно. Между тем до ушей его доносился громкий скрежет точимых топоров. Испанский капитан и его слуга продолжали шептаться с заговорщицким видом. Все это вместе — да еще странный допрос и загадочный молодой испанец в матросской робе — было уже слишком для такого бесхитростного человека, как капитан Делано. Приняв самый веселый и непринужденный вид, он, не колеблясь, прошел туда, где стояли шепчущиеся, и проговорил:

— Дон Бенито, я вижу, этот чернокожий у вас доверенное лицо. Тайный советник, так сказать.

Слуга оглянулся на него с довольной ухмыл-

кой, хозяин же при этих его словах вздрогнул, словно ужаленный. Видно, он не сразу нашелся, что сказать. Когда же наконец ответил, слова его прозвучали еще холоднее и враждебнее, чем прежде.

— Да, сеньор, — процедил он сквозь зубы. — Я доверяю Бабо.

Ухмылка Бабо сменилась понятливой, довольной улыбкой, и глаза с благодарностью обратились на хозяина.

Испанец молчал, всем своим видом вольно или невольно показывая, что присутствие гостя ему в данную минуту нежелательно, и капитан Делано, дабы не показаться неучтивым даже перед лицом такой неучтивости, отпустив ничего не значащее замечание, отошел. Мысли его были заняты загадкой странного поведения дона Бенито Серено.

Он спустился с юта и в задумчивости проходил мимо темного трапа, ведущего на нижнюю палубу, как вдруг ему показалось, что там в глубине кто-то есть. Капитан Делано заглянул вниз, в то же мгновение что-то ярко сверкнуло, и он успел заметить матроса, на ходу торопливо прятавшего руку за пазуху. Матрос тут же скрылся из виду, но капитан Делано его узнал: это был тот самый молодой испанец, которого он видел на вантах.

«Но что могло у него так сверкать? — недоумевал капитан Делано. — Фонарь? Нет. И не спичка, и не тлеющий уголь. Неужели драгоценный камень? Но откуда у матроса быть драгоценному камню? А также и тонкой сорочке, отороченной шелком, если уж на то пошло? Не из разграбленного ли сундука кого-нибудь из умерших пассажиров? Но если так, стал бы разве он носить награбленное прямо тут же на корабле? Н-да. Хотелось бы знать наверняка, действительно ли этот малый делал тайные знаки своему капитану? Только бы быть уверенным, что здесь нет никакого недоразумения, тогда уж…»

Здесь его мысли от одного подозрительного наблюдения перешли к другому, и он опять задумался о том, что могли означать удивительные вопросы, которые задавал ему дон Бенито.

Он перебирал в памяти замеченные странности, а наверху черные африканские колдуны со звоном ударяли топор о топор, словно нарочно сопровождая мысли белого пришельца зловещим аккомпанементом. И было бы поистине противоестественно, если бы под влиянием таких зловещих, загадочных знаков даже в самое доверчивое сердце не закрались ядовитые опасения.

Видя, что испанский фрегат с обвисшими,

точно заколдованными парусами все быстрее относит отливом в открытое море, а его собственную шхуну скрыл из глаз выступающий мыс, мужественный мореход дрогнул от мысли, в которой даже сам себе не осмеливался до конца признаться. И прежде всего от невыразимого ужаса перед доном Бенито — чувства, с которым он был не в силах больше бороться. И все-таки, встряхнувшись, расправив плечи и расставив ноги, капитан Делано попытался хладнокровно исследовать, к чему, собственно, сводились все его страхи.

Если у испанца и есть злодейские намерения, они относятся не к нему, капитану Делано, а к его шхуне «Холостяцкая услада». Поэтому отлив, разлучивший оба судна, не только не способствует осуществлению этих намерений, но, наоборот, служит ему хотя бы временным препятствием. И стало быть, его опасения, вероятнее всего, обманчивы.

Да и не абсурдно ли думать, что это бедствующее судно, на котором болезни унесли почти всю команду, на котором люди измучены жаждой, — не величайший ли в мире абсурд думать, что это пиратский корабль, что его капитан занят сейчас какими-то посторонними заботами, а не тем

только, как бы поскорее накормить и напоить своих подопечных. А может быть, страдания эти, и в особенности жажда, — притворны? Может быть, матросы-испанцы, якобы погибшие чуть не до последнего, на самом деле в полном составе сидят сейчас в трюме? Бывало же, что дьяволы в образе человека стучались в одинокие жилища, жалобно прося утолить жажду, и покидали их, лишь исполнив свое черное дело. И малайские пираты, как известно, заманивали противника в ловушку у берега или же побуждали к неравному абордажному бою в море тем, что являли взгляду якобы пустые палубы, под которыми таилась добрая сотня копий, зажатых в желтых руках и готовых к бою. Конечно, капитан Делано не очень-то во все это верил. Но рассказы такие слышал, случалось. И теперь они ему поневоле припомнились. Сейчас цель «Сан-Доминика» — стать на якорь. На якорной стоянке он окажется вблизи американской шхуны. Не может ли статься, что, достигнув такой близости, он, подобно спящему вулкану, вдруг взорвется со всей своей затаившейся силой?

Он вспомнил, как рассказывал ему испанский капитан историю своих бедствий. В его хмуром тоне была нерешительность и недоговоренность.

Так мог изъясняться человек, с недобрыми целями на ходу сочиняющий свой рассказ. Но если этот рассказ придуман, что же тогда — правда? Что корабль незаконно им захвачен? Но многое в этом рассказе — и в особенности та его часть, где говорилось о гибели команды, о последовавшем долгом блуждании в океане, о затяжном штиле и о горьких муках жажды, — многое находило подтверждение, и не только в жалобных возгласах толпившихся на палубе людей, как белых, так и черных, но также и в выражении самых их лиц, которое капитан Делано наблюдал и которое подделать представлялось, на его взгляд, невозможным. Если считать, что рассказ дона Бенито весь, с начала и до конца, вымышлен, тогда, значит, все, кто находится на борту «Сан-Доминика», вплоть до самой молодой негритянки, посвящены в заговор и научены играть роли, что просто немыслимо. Но, подвергая сомнению правдивость испанского капитана, именно это как раз и пришлось бы допустить.

Словом, едва только в душе честного морехода созревало подозрение, как он тут же, призвав на помощь здравый смысл, его отвергал. И кончилось дело тем, что он стал смеяться над собственными страхами — и над этим дурацким кораблем,

который своим загадочным видом их порождал, и над всеми этими нелепыми неграми, в особенности над старыми головорезами-точильщиками и дряхлыми бабушками-рукодельницами, полулежа щиплющими паклю, и даже над самим таинственным капитаном, главным пугалом в этом ведьмовском хороводе.

А говоря всерьез, если что-то на корабле казалось непонятным, добрый капитан Делано склонен был отнести это за счет болезни его командира: бедняга почти не сознавал, что происходит вокруг, то погружаясь в черную меланхолию, то вдруг начиная задавать бессмысленные неуместные вопросы. Как видно, он сейчас в таком состоянии, что ему нельзя доверять судно. Придется капитану Делано под каким-нибудь подходящим предлогом отнять у него командование и поручить доставку «Сан-Доминика» в Консепсьон своему первому помощнику, достойному человеку и бывалому моряку, — план, спасительный не только для судна, но и для его капитана, ибо, избавленный от обязанностей и забот, больной на руках у верного телохранителя сможет к концу рейса оправиться и снова встать у кормила своего корабля.

Таковы были мысли честного американца.

Это были успокоительные мысли. Одно дело, если дон Бенито втайне решает судьбу капитана Делано, и совсем другое — если капитан Делано открыто заботится о судьбе дона Бенито. И однако, добрый моряк вздохнул с облегчением, когда разглядел наконец вдали шлюпку со своей шхуны. Что-то, должно быть, задержало ее при отплытии, да и расстояние, которое ей надо было покрыть, все время увеличивалось, так как из-за продолжавшегося отлива цель отступала все дальше и дальше.

Темное пятнышко на воде заметили и негры. Их крики привлекли внимание дона Бенито, и он, подойдя к капитану Делано, в своей прежней учтивой манере выразил удовлетворение по поводу прибытия продовольствия и питья, пусть пока и в небольших количествах.

Капитан Делано в ответ поклонился, при этом он уронил взгляд на нижнюю палубу — среди людей, толпившихся у борта, на глазах у него произошел необъяснимый случай: один белый матрос, насколько можно судить, ненамеренно чем-то помешал двум неграм, и они набросились на него с грубыми ругательствами, а когда он высказал неудовольствие, швырнули его на палубу и стали избивать ногами, не слушая увещеваний

щипальщиков пакли.

— Дон Бенито! — воскликнул капитан Делано. — Взгляните, что там происходит. Вы видите?

Но тот во внезапном приступе кашля закрыл лицо ладонями, покачнулся и чуть не упал. Капитан Делано хотел было поддержать его, но верный слуга его опередил, одной рукой он обхватил испанца, а другой приложил к его губам флакон с лекарством. Лишь только дон Бенито чуть отдышался, негр его отпустил и отошел в сторону, но не далее, чем на один шаг, чтобы услышать, если понадобится, и шепотом произнесенный зов хозяина. Такая трогательная заботливость совершенно перечеркнула в глазах гостя те пороки, которые он приписал негру во время неприличных его перешептываний с хозяином, — да и то сказать, вина тут была скорее дона Бенито, ведь вот сам по себе он ведет же себя безупречно.

И, окончательно отвлекшись от бурной сцены внизу ради этого куда более приятного зрелища, капитан Делано еще раз похвалил дону Бенито его слугу, заметив, что он, быть может, и несколько развязный малый, но, когда надо ходить за больным, должно быть, настоящее сокровище.

— Скажите, дон Бенито, — шутливо заключил американец, — я, знаете ли, не прочь купить его

у вас. Сколько вы за него возьмете? Пятьдесят дублонов не мало?

— Хозяин не расстанется с Бабо и за тысячу дублонов, — вполголоса проворчал негр, который слышал эти слова и, приняв их всерьез, обиделся, что его, любимого хозяином и преданного слугу, так недооценил кто-то посторонний. Дон же Бенито, все еще не вполне оправившийся от приступа кашля, с трудом пробормотал в ответ что-то неопределенное.

А вскоре болезненное состояние его, как физическое, так и душевное, настолько ухудшилось, что верный слуга, словно для того чтобы скрыть от взоров это плачевное зрелище, увел своего хозяина вниз.

Предоставленный самому себе, американец хотел было, в ожидании шлюпки, потолковать с кем-нибудь из немногих имевшихся на судне матросов-испанцев, но вспомнил, как дурно отозвался об их поведении дон Бенито, и усомнился, стоит ли поощрять своим вниманием трусов и предателей.

Об этом он как раз и думал, рассматривая горстку белых моряков, как вдруг заметил, что кое-кто из них поглядывает в его сторону с каким-то тайным значением. Он провел ладонью по лицу — на

него смотрели все так же многозначительно. И сразу же его вновь посетили прежние туманные подозрения, правда, теперь, в отсутствие дона Бенито, не порождая у него в душе прежних страхов. Капитан Делано решил, невзирая на дурной отзыв испанского капитана о своих матросах, незамедлительно к одному из них обратиться. Он спустился с юта и пошел сквозь толпу чернокожих, которые, повинуясь непонятному возгласу седоголовых щипальщиков пакли, толкая друг друга, расступались перед ним, однако, желая, быть может, узнать, что могло привести белого пришельца в их гетто, у него за спиной сразу же смыкались снова и, храня порядок, теснились за ним вослед. Так, предшествуемый выкриками высоко сидящих герольдов и сопровождаемый африканским почетным караулом, шел по кораблю капитан Делано, стараясь сохранять беспечный, непринужденный вид, бросая на ходу словечко-другое неграм и недоуменно поглядывая на редкие белые лица, рассеянные в черной толпе, подобно последним белым пешкам, затесавшимся среди побеждающих черных фигур противника.

Еще не решив, кого из них избрать в собеседники, он вдруг заметил одного матроса, который

сидел на палубе и смолил шкив большого блока, а вокруг кольцом расположились на корточках негры, наблюдающие за его действием.

В облике этого матроса было что-то, не вязавшееся с грязной работой, которую он делал. Его черная от дегтя рука, то и дело погружавшаяся в смоляное ведро, которое держал перед ним один из негров, не соответствовала лицу — лицу, несмотря на крайнее изможденье, тонкому и благородному. Свидетельствовало ли изможденье о пороке, нельзя было сказать; ибо подобно тому, как жар и холод, столь различные между собой, могут оказывать одинаковое действие, невинность и преступление, вызывая душевную боль, также накладывают одну и ту же видимую печать.

Но даже такому доброму человеку, как капитан Делано, не пришло тогда в голову это соображение. Скорее наоборот. Видя изможденное лицо и темный уклончивый взгляд матроса, словно бы подавленного стыдом или беспокойством, и, вопреки логике, присоединяя к собственным наблюдениям нелестные слова испанского капитана, он незаметно для самого себя поддался распространенному заблуждению, что страдания и замешательство якобы всегда служат призна-

ками нечистой совести.

«Если правда, что на борту этого судна гнездится злодейство, — думал капитан Делано, — этот вот человек, уж конечно, замарал в нем руки, подобно тому как сейчас он марает их в дегте. Не буду обращаться к нему. Лучше поговорю вон с тем старым матросом, что сидит на шпиле».

И он подошел к старому барселонцу в изодранных красных штанах и грязном колпаке, чьи глубоко изборожденные, обожженные солнцем щеки заросли щетиной, густой, как колючая изгородь. Сидя между двумя сонными африканцами, он, как и тот, первый, был поглощен работой — сплеснивал два каната, а медлительные негры держали свободные концы.

При виде капитана Делано старый матрос поспешил еще ниже, чем было необходимо, опустить свою лохматую голову. Он словно хотел показать, что трудится с полным самозабвением. И когда американец к нему обратился, поднял на него торопливый опасливый взгляд, странно не вязавшийся со всем его обликом бывалого, закаленного морского волка — этот волк, вместо того чтобы рявкнуть и огрызнуться, почему-то заскулил и поджал хвост. Капитан Делано задал ему несколько вопросов об их недавнем пла-

вании, специально рассчитанных на то, чтобы проверить отдельные подробности в рассказе дона Бенито, не нашедшие подкрепления в сбивчивых жалобах, с которыми его здесь встретили в первую минуту. И на каждый вопрос был получен краткий ответ, и все, что нуждалось в подтверждении, было подтверждено. Негры, топтавшиеся у шпиля, тоже присоединили голоса к ответам старого матроса, но чем разговорчивее становились они, тем молчаливее он и наконец, погрузившись в угрюмое безмолвие, совсем перестал отвечать — странная помесь морского волка с трусливой овцой.

Отчаявшись завязать непринужденную беседу с подобным кентавром, капитан Делано осмотрелся вокруг, ища другие, более располагающие лица, но так ни на ком и не остановившись, дружелюбно попросил негров расступиться и дать ему пройти. Сопровождаемый улыбками и гримасами на черных лицах, он вернулся на ют с каким-то странным, непонятным ему самому ощущением, но в целом с возросшим доверием к дону Бенито.

«Как ясно на физиономии того старого бородача написана его вина, — думал капитан Делано. — Он, конечно, решил при моем приближении, что

я, уведомленный их капитаном о дурном поведении команды, иду, чтобы отчитать его, вот и повесил голову ниже плеч. И однако — право же, если я только не ошибаюсь, именно этот старый матрос недавно смотрел на меня снизу так многозначительно. М-да, здешние подводные течения совсем закружили мне голову, как закружили они и самое судно. Но вон я вижу зрелище иного рода, куда более приятное и располагающее».

На палубе, в тени фальшборта, полускрытая от его глаз кружевной сетью снастей, безмятежно спала, раскинув обнаженные руки, молодая негритянка, словно буйволица под лесистым утесом. Сверху на ее обернутой полотнищем груди копошился голенький черный детеныш, шаря лапками по телу матери, черной мордочкой напрасно тыкаясь туда и сюда в поисках того, что ему было нужно, и при этом раздраженно покряхтывая в унисон с мерным храпом спящей родительницы. Наконец беспримерная энергия младенца разбудила мать. Она села и оказалась лицом к лицу с капитаном Делано. Но, очевидно, нисколько этим не смутившись, она восторженно подхватила на руки своего детеныша и стала покрывать его страстными материнскими поцелуями.

«Вот она, нагая природа, чистая любовь и нежность», — с удовольствием подумал капитан Делано.

Это наблюдение побудило его обратить внимание и на других негритянок на борту «Сан-Доминика». Вид их ему понравился. Как обычно среди дикарей, их женщины отличались добротой сердца и выносливостью тела и казались равно готовы и умереть, и сражаться за своих детей. Безрассудные, как львицы, нежные, как горлицы. «Ах, — подумал капитан Делано, — быть может, как раз таких женщин видел в Африке и так восторженно описал Мунго Парк».

Эти природные картины исподволь воздействовали на капитана Делано успокоительно и благотворно. Он посмотрел в море — шлюпка была еще далеко. Потом оглянулся на корму — не возвратился ли дон Бенито; но дона Бенито не было.

Чтобы немного встряхнуться, а также чтобы получше видеть приближение шлюпки, капитан Делано вышел на бизань-руслень и оттуда взобрался на кормовую галерею правого борта — один из тех заброшенных венецианских балконов, о которых упоминалось вначале, не имеющих прямого сообщения с палубой. Лишь

только нога его ступила на ковер из морских лишайников, местами размокший, а местами высохший, как трут, и одновременно случайный вздох бриза — маленький изолированный островок ветра — пронесся у его щеки; лишь только взгляд его скользнул по слепым иллюминаторам, похожим на прижатые монетами смеженные веки покойника, и упал на дверь пассажирского салона, некогда выходившую, как и ослепленные иллюминаторы, прямо на галерею, а теперь тоже замазанную, точно крышка саркофага, и наглухо прицементированную к осмоленной исчерна-меловой притолоке, косяку и порогу; и на ум ему пришли те времена, когда в салоне и на галерее раздавались голоса блестящих офицеров испанского короля и стройные дочери вице-короля Перу облокачивались, быть может, на эти перила; когда все эти и им подобные мысли промелькнули у него в голове, подобные легким порывам бриза среди полного штиля, в душе у него проснулось неопределенное, смутное чувство беспокойства — так человек, оказавшийся один в бескрайней прерии, ощущает вдруг угрозу в полуденной тиши.

Облокотясь на резные перила, он посмотрел в море на свою шлюпку; но взгляду его откры-

лись ленты водорослей, плотно опоясывающие по ватерлинии судно, подобно живой буксовой изгороди; и другие водоросли, пятнами плавающие здесь и там на воде, точно овальные и выгнутые полумесяцем газоны, разделенные длинными строгими аллеями, которые тянутся по нисходящим террасам волн и уводят куда-то вниз, за поворот, к тенистым гротам. И над всей этой растительностью нависал кормовой балкон «Сан-Доминика»; весь в черных пятнах дегтя и зеленых наростах лишайника, он казался старой беседкой, разрушенной временем и пожаром, посреди большого запущенного парка.

Так, пытаясь развеять собственные вымыслы, капитан Делано лишь оказался во власти других, столь же обманчивых впечатлений — ему представилось, будто он не в открытом море, а где-то в глуби лесов и полей одиноким узником томится в заброшенном доме и выглядывает с тоской на одичавшие земли и замуравевшие неторные дороги.

Но потом поэтические картины отступили перед грубой реальностью — капитан Делано перевел взгляд вбок и увидел, в каком жалком состоянии находится ветхий грота-руслень «Сан-Доминика». Старинной конструкции, весь

проржавевший, до последнего болта, рыма и блока, он был скорее под стать нынешнему занятию, но никак не первоначальному назначению гордого испанского фрегата.

Вдруг ему почудилось, что на грота-русленe что-то мелькнуло. Он протер глаза, всмотрелся. От грота-русленя подымалась целая роща вант; и там, прячась за штагом, точно индеец в зарослях болиголова, белый матрос со свайкой в руке словно бы сделал ему какой-то знак — и сразу же, быть может спугнутый шагами внизу на палубе, скрылся в пеньковой чаще, как браконьер в лесу.

Что бы это значило? Очевидно, матрос скрытно от всех, даже от капитана, хотел ему что-то сообщить. Какую-то тайну, порочащую его капитана? Стало быть, прежние подозрения должны сейчас подтвердиться? Или же, объятый сумрачной грезой, он просто случайное движение человека, занятого починкой снасти, принял за призывный знак?

Слегка обескураженный, капитан Делано снова поискал глазами в море свою шлюпку. Но в это время она скрылась за выступающим скалистым мысом. С нетерпением выжидая, когда ее нос покажется из-за камней, капитан Делано пере-

гнулся через перила, надавил — и прогнившее дерево проломилось под его тяжестью. Не ухватись капитан Делано за висевшую здесь снасть, он неминуемо свалился бы прямо в море. Треск, хотя и негромкий, и всплеск, хотя и слабый, на судне, наверно, услышали. Капитан Делано посмотрел вверх и встретил спокойный заинтересованный взгляд одного из престарелых щипальщиков пакли, который оставил свой постамент и перебрался на бизань-гик; а снизу, невидимый для негра, из иллюминатора, словно лис из норы, снова украдкой выглядывал матрос-испанец. И опять что-то в его облике подсказало капитану Делано безумную мысль: а что, если все-таки болезнь дона Бенито, его внезапный уход вниз — не более как притворство, и в действительности он сейчас занят составлением заговора, а матрос каким-то образом об этом узнал и хочет предостеречь гостя, быть может, в благодарность за теплое слово участия, услышанное от него в первую минуту. Наверное, в предвидении вот такого вмешательства дон Бенито и постарался очернить в глазах американца своих матросов, расхвалив, в противоположность им, негров; хотя видно, что белые как раз ведут себя хорошо, а негры — плохо. И потом, белые от природы

догадливее. Разве не естественно, что человек, питающий дурные намерения, будет превозносить тупость, не способную их разгадать, и порочить проницательность, от которой он бессилен их скрыть? Кажется, что так. Но если белые могут разоблачить дона Бенито, что же тогда, неужто он действует заодно с черными? Разве они годятся в сообщники? И потом, слыхано ли такое: белый человек, и дошел до того, чтобы предать чуть ли не самый род свой, объединясь против него с неграми? Одни сомнения потянули за собой другие. Погруженный в них, капитан Делано спустился на палубу и брел вдоль борта, как вдруг внимание его оказалось привлечено новым лицом. У люка, скрестив по-турецки ноги, сидел пожилой матрос. Кожа у него на лице висела сухими складками, точно пустой подклювный мешок пеликана; волосы щедро убелила седина; выражение черт было сосредоточенное и серьезное. Руки его были заняты обрезками каната, которые он связывал в один огромный узел. Вокруг услужливо толпились негры, по ходу его работы подавая и затягивая пряди.

Капитан Делано подошел и молча остановился над матросом, рассматривая узел. Путаные извивы пеньки были как раз под стать его соб-

ственным запутанным мыслям. Узла такой сложности ему не приходилось видеть на американских судах, да и вообще никогда в жизни. Старик матрос был точно египетский жрец, поставляющий гордиевые узлы в храм Амона. То, что у него получалось, было каким-то сочетанием двойного беседочного узла с тройным брам-шкотовым и простым рифовым, да еще с плоской восьмеркой и задвижным штыком.

Наконец, теряясь в догадках о возможном назначении подобного переплетения концов, капитан Делано обратился к старику с вопросом:

— Что это ты вяжешь, добрый человек?

— Узел, — отвечал тот кратко, даже не подняв головы.

— Вижу; но для чего такой узел?

— Чтобы другие развязали, — буркнул в ответ матрос, потуже затягивая почти готовый узел.

Капитан Делано стоял и смотрел за его работой, как вдруг старик выпрямил спину и кинул узел прямо ему в руки, промолвив скороговоркой, на ломаном английском языке (впервые прозвучавшем на борту «Сан-Доминика»): «Развяжи, разруби, скорей!» Произнесено это было чуть слышно и в таком сжатом темпе, что длинные громоздкие испанские слова, предшествовавшие

краткой английской фразе и последовавшие за ней, почти скрыли ее от слуха.

Минуту капитан Делано стоял, будто онемев, со спутанным канатом в руке и спутанными мыслями в голове, а старик, не обращая на него больше ни малейшего внимания, склонился над новым узлом. Потом американец почувствовал у себя за спиной чье-то присутствие. Он обернулся — рядом стоял закованный негр Атуфал. В то же мгновение старый матрос, что-то ворча, поднялся на ноги и в окружении своих черных подчиненных пошел на бак, где и скрылся в толпе.

А к капитану Делано приблизился старый, убеленный сединой величавый негр, обвитый какой-то тряпкой, как младенец пеленкой. На вполне сносном испанском языке он, добродушно усмехнувшись и подмигнув, объяснил, что вязальщик узлов немного не в себе, однако безвреден, — просто шутит, чего с него взять? Негр заключил свою речь просьбой отдать ему узел, ведь он, конечно, только мешает американскому капитану. Капитан Делано, не задумываясь, протянул узел негру, тот отвесил ему в ответ церемонный поклон и, тут же отвернувшись, стал лихорадочно рыться в его запутанном нутре, точно таможенный инспектор в поисках контра-

бандных кружев. Наконец, произнеся какое-то пренебрежительное африканское междометие, он отшвырнул растрепанный узел за борт.

«Однако же все это очень странно», — подумал капитан Делано, охваченный новым приступом тревоги; но как человек, ощутивший приближение морской болезни, старается не замечать ее симптомов и взять себя в руки, так и он попытался преодолеть дурное чувство. Он снова поискал глазами в море свою шлюпку. К величайшему его облегчению, она уже показалась из-за скалистого мыса и снова была на виду.

Привычный вид собственной шлюпки — не в дымке отдаления, а вблизи, так что черты ее четко выступали, неповторимые, как облик человека; вид этого суденышка под названием «Скиталец», чей киль хоть и бороздил сейчас чужие воды, но прежде не раз чертил прибрежный песок у него дома, и, вытащенное из воды, оно лежало у его порога, точно верный пес ньюфаундленд; вид этого домашнего суденышка породил в душе капитана Делано тысячу успокоительных образов, и к нему вернулась спокойная уверенность, а с нею пришли и полуиронические упреки самому себе за то, что он чуть было ее не утратил.

«Как? Я, Амаза Делано, Приморский Джек, как

называли меня мальчишкой, я, Амаза, который с кожаной сумкой в руке шлепал босиком по воде, направляясь вдоль берега в школу, разместившуюся в старом корабельном корпусе, я, маленький Джек, ходивший по ягоды с братом Нэтом и остальными — здесь, на краю света, один на борту призрачного пиратского фрегата буду убит ужасным испанцем? Невозможная, нелепая мысль! Кто захочет убить Амазу Делано? Его совесть чиста. Есть некто над нами. Стыдно, стыдно. Приморский Джек! Да ты, право, ребенок; впал, как видно, старина, снова в детство; стал слабоумным и пускаешь слюни».

И капитан Делано с легкой душой легкими шагами взошел на ют. Здесь его встретил слуга дона Бенито и с приветливым взглядом, вполне отвечающим настроению американца, доложил, что его хозяин шлет ему поклон, он уже оправился от приступа кашля и велит передать любезному гостю дону Амазе, что он (дон Бенито) вскоре будет иметь счастье к нему присоединиться.

«Ну вот, понятно? — сказал себе опять капитан Делано, прохаживаясь по юту. — Какой же я был осел. Этот добрый джентльмен шлет мне любезный поклон, а еще десять минут назад он с потайным фонарем в руке прятался в трюме и

точил на меня топор, так я думал. Ну-ну. Видно, мертвый штиль и впрямь оказывает на наш ум гнетущее влияние, мне не раз случалось об этом слышать, да только я раньше не верил. Ну-ка, посмотрим, как там наш “Скиталец”; вон он, верный пес, и белая кость в зубах. Что-то уж очень большая кость… а-а, он попал прямо против отливного течения, пенного и бурлящего. И оно его тянет назад. Ну что же. Терпение».

Наступил полдень, хотя серый туман вокруг напоминал вечерние сумерки.

Над гладью вод царил мертвый штиль. На горизонте, куда не достигали береговые течения, лежал свинцовый океан, разлитый и застывший, и, казалось, земная жизнь его подошла к концу, душа отлетела и наступила смерть. А здесь, где находился «Сан-Доминик», отлив только набирал силу и, безмолвный, гнал судно прочь, в сонную океанскую ширь.

Но капитан Делано, хорошо знакомый со здешними широтами, знал, что есть все основания надеяться к вечеру на свежий попутный ветер, и, несмотря на обморочную тишь, смело рассчитывал еще до наступления ночи привести испанский корабль на якорную стоянку. Расстояние, на которое их отнесло, ничего не значило:

при хорошем ветре под парусами можно будет за десять минут покрыть путь, проделанный за час дрейфа. А пока, то поглядывая за борт, где единоборствовал с течением утлый «Скиталец», то озираясь через плечо, не идет ли дон Бенито, он продолжал расхаживать по юту.

Но шлюпка приближалась очень уж медленно, и капитан Делано поневоле начал испытывать досаду; еще немного — и досада сменилась беспокойством; когда же, уронив взгляд вниз, точно из театральной ложи, на палубу, он различил в толпе теперь замкнутое и безразличное лицо того испанца-матроса, который, как ему казалось, делал ему знаки с русленя, к нему опять возвратились прежние страхи.

«Совсем как лихорадка, — не шутя думал капитан Делано, — не успеет пройти, как начинается снова».

Сам устыдясь этого нового приступа, он, однако, был не в силах полностью ему противостоять и, призвав на помощь все свое добродушие, поневоле был вынужден прийти к компромиссу.

Да, это странный корабль; и странная у него история; странные люди собрались здесь на борту. Но и только.

Чтобы не давать воли праздным страхам, он

в ожидании шлюпки попробовал скоротать время, перебирая в мыслях замеченные прежде странности в поведении капитана и команды. И прежде всего выделились четыре непонятных обстоятельства.

Во-первых, случай, когда раб набросился с ножом на молодого испанца, а дон Бенито посмотрел на это сквозь пальцы. Во-вторых, тираническое обращение дона Бенито с чернокожим великаном Атуфалом — будто малый ребенок водит за носовое кольцо африканского буйвола. Потом избиение двумя неграми одного матроса — проступок, за который никто не получил даже выговора! И наконец, раболепная покорность, выказываемая всеми на судне, и прежде всего неграми, капитану, — словно здесь опасаются малейшим непослушанием вызвать его деспотический гнев.

Сопоставленные все вместе, эти факты как-то не вязались между собой. «Ну, так что из того? — думал капитан Делано, посматривая на приближающуюся шлюпку. — Что из того? Да, верно, этот дон Бенито — самодур. Но мне и раньше случалось встречать ему подобных; хотя, конечно, он в своем роде превосходит любого. Ну да ведь испанцы, — продолжал он мыслен-

но, — вообще странный народ, самое это слово “испанец” содержит в себе какой-то таинственный, интриганский, заговорщицкий призвук. И, однако ж, я уверен, что все они по большей части славные ребята, не хуже любого жителя Даксбери, что в штате Массачусетс. Ну, слава богу! Наконец-то подошел мой “Скиталец”».

Едва шлюпка с тремя смоленными бочонками пресной воды на сланях и грудой сморщенных тыкв на носу ударилась о борт фрегата, как негры шумной толпой ринулись на шкафут, теснясь и свешиваясь над водой и восторженно приветствуя прибытие долгожданного груза. Напрасно четверо щипальщиков пакли начальственными окриками пытались их отогнать.

И тут на юте снова появился дон Бенито со своим телохранителем, быть может, раньше времени привлеченный поднятым шумом. Капитан Делано попросил у него позволения самому раздать воду, чтобы всяк получил равную меру и ни один не причинил себе вреда неумеренностью. Но как ни разумно и, по словам самого же дона Бенито, ни любезно было это предложение, испанский капитан отверг его не без резкости — словно, сознавая свою непригодность как командира, он с ревностью бессилия всякое

вмешательство воспринимал как личное оскорбление. Так, во всяком случае, понял это капитан Делано.

Бочонки с водой стали вытягивать на палубу, и в это время в суматохе у трапа один из негров случайно толкнул капитана Делано; тот, уступив порыву и даже не подумав о доне Бенито, властно и беззлобно прикрикнул на негров и наполовину в шутку, наполовину всерьез замахнулся на провинившегося рукой. Все негры и негритянки замерли на месте кто как стоял, и несколько мгновений все оставались недвижны, а от одного щипальщика пакли к другому, точно меж чуткими телеграфными столбами, пробежало за эти мгновения какое-то тайное слово. Капитан Делано в недоумении наблюдал столь странную сцену. Вдруг дикари-точильщики привстали вверху на своих местах, и раздался короткий возглас дона Бенито.

Решив, что по знаку испанца его собираются схватить и зарезать, капитан Делано хотел уже было прыгнуть с борта в свою шлюпку, но увидел, что почтенные щипальщики пакли, покинув свои возвышения и спустившись на палубу, сердечными голосами побуждают всех негров и белых осадить назад, а его в то же время дру-

жески и даже шутливо знаками призывают не обращать внимания на эдакие глупости. Дикари-точильщики сразу же вновь спокойно уселись на свои места, скрестив ноги, точно мирные портняги, и вот уже чернокожие и белые снова дружно тянули канаты, с песней подымая бочки.

Капитан Делано оглянулся на дона Бенито. Слабосильный испанец в эту минуту становился на ноги после очередного припадка, который опять свалил его в объятия черного слуги, и при виде его тщедушной фигуры капитан Делано сам подивился, как мог он поддаться панике и допустить, что такой человек, при первой же пустячной, как теперь видно, заминке теряющий власть над собой и своим судном, коварно и планомерно замышляет злодейское убийство.

Бочки были подняты на палубу, подручный стюарда принес груду кружек и плошек и передал просьбу дона Бенито: пусть капитан Делано сделает то, что предлагал раньше, — разделит воду между всеми, кто находится на борту. И капитан Делано с республиканским беспристрастием принялся разливать эту республиканскую влагу, которая всегда стремится к равенству, сохраняя повсюду один уровень; он оделял одинаково и белого старца, и черного юнца, сделав лишь одно

исключение — для больного дона Бенито, чья немощь, если не ранг, требовала добавочной порции. Ему первому капитан Делано поднес большой кубок воды, но тот, как ни мучила его жажда, отпил из него не прежде, чем отвесил американцу несколько церемонных благодарственных поклонов, а довольные африканцы любовались этим обменом любезностями и одобрительно хлопали в ладоши.

Две наименее сморщенные тыквы были отложены для капитанского стола, а остальные прямо на палубе разделены на куски и розданы для всеобщего угощения. Но хлеб, сахар и сидр капитан Делано собирался отдать одним испанцам, и главным образом самому дону Бенито. Однако тот не согласился, восхитив своим справедливым отношением честного американца, и все, что было привезено, разделили по толике между всеми, как белыми, так и черными, — не считая одной бутылки сидра, которую верный Бабо унес и спрятал для своего хозяина.

Здесь следует заметить, что капитан Делано так же, как и в первый приход шлюпки, и на этот раз тоже не позволил своим людям подняться на «Сан-Доминик», дабы не увеличивать царящую на палубе сутолоку.

В благоразумном порыве капитан Делано, забыв и думать про недавние опасения и по одному ему заметным признакам ожидая бриза самое позднее через час или два, отослал свою шлюпку обратно с распоряжением, чтобы все свободные от вахты члены команды на шхуне занялись завозом на борт бочек с питьевой водой. При этом он велел передать своему первому помощнику, что, если, вопреки ожиданиям, испанский фрегат не удастся привести на якорную стоянку к закату, пусть первый помощник ни о чем не тревожится, потому что ночь обещает быть лунной и он (капитан Делано) будет ждать вечера на «Сан-Доминике», чтобы послужить им лоцманом, когда у судна появится ход.

И вот два капитана уже стояли бок о бок на юте, наблюдая за отваливавшей шлюпкой; черный слуга безмолвно счищал у хозяина с бархатного рукава только что замеченное пятнышко, а тем временем американец выразил сожаление, что на «Сан-Доминике» нет шлюпок, — ни единой, если не считать старого и совершенно непригодного к плаванию баркаса, остов которого, точно искореженный верблюжий скелет в пустыне, лежал опрокинутый кверху килем на шкафуте, служа укрытием для нескольких негритянских

семейств, главным образом для женщин с малыми детьми; сквозь прорехи в обшивке видно было, как они сидят на корточках внизу, подстелив старые циновки, или жмутся друг к другу, точно на насесте, на перевернутых банках в вышине под темным куполом днища — ни дать ни взять летучие мыши, набившиеся в уютное дупло; и только у чуть приподнятого края то и дело мелькали, ныряя во тьму или выпархивая на свет божий, голые, лоснящиеся негритята.

— Будь у вас сейчас три или четыре шлюпки, дон Бенито, — продолжал капитан Делано, — думается мне, посадив на весла ваших негров, можно было бы отбуксировать фрегат куда надо. Вы без шлюпок, дон Бенито, вышли в плавание?

— Нет, их разбило штормами, сеньор.

— Скверное дело. И людей вы тогда тоже потеряли немало. Остались без матросов и без лодок. Видно, сильные были шторма, дон Бенито.

— Не выразить словами! — весь задрожав, ответил испанец.

— Скажите мне, дон Бенито, — с возросшим интересом продолжал расспрашивать его собеседник, — скажите мне, когда вас настигли эти шторма, — когда вы уже обогнули мыс Горн?

— Мыс Горн? Кто говорил о мысе Горн?

— Вы сами, излагая мне историю вашего плавания, — ответил капитан Делано, удивленный такой непоследовательностью в речах испанца не менее, чем был до этого удивлен непоследовательностью в его поведении. — Вы сами называли мне мыс Горн, дон Бенито, — настойчиво повторил капитан Делано.

Испанец отвернулся и замер, чуть пригнувшись, как ныряльщик, приготовившийся ринуться вниз, из одной стихии в другую.

В это мгновение мимо пробежал белый юнга, спеша исполнить свою обязанность: доставить из капитанской каюты на бак весть об очередном истекшем получасе, которую должен был тотчас возгласить большой судовой колокол.

— Хозяин, — сразу оставив бархатный рукав капитанского кафтана, обратился к замершему испанцу слуга с тем сокрушенным, робким выражением, с каким человек, подчиняясь долгу, выполняет приказ, неприятный для того, от кого он исходит и кому на благо предназначен, — хозяин велел мне всегда, где бы он ни находился и чем бы ни был занят, оповещать его минута в минуту, когда наступит время для бритья. Полчаса до полудня, хозяин. Мануэль пробежал на бак. Время наступило. Не спустится ли хозяин в

кабинет?

— А? Да, да, — вздрогнув и точно возвращаясь к действительности из мира грез, отвечал испанец. И, обращаясь к капитану Делано, вежливо сказал, что надеется вскоре возобновить с ним беседу.

— Но если хозяин хочет еще побеседовать с доном Амазой, — вмешался слуга, — почему бы не пригласить и дона Амазу с собой? Хозяин сможет говорить, а дон Амаза слушать, а верный Бабо взбивать пену и править бритву.

— Да, правда, — сказал капитан Делано, живо отозвавшись на это дружеское предложение, — если только вы, дон Бенито, не против, я готов последовать за вами.

— Пусть будет так, сеньор.

И американец в сопровождении хозяина и слуги стал спускаться по трапу, дивясь еще одной прихоти испанского капитана: непременно бриться ровно в полдень, не раньше и не позже. Впрочем, думал он, вернее всего, что это не каприз капитана, а выдумка заботливого слуги, ведь, своевременно вмешавшись в разговор, он сумел отвлечь хозяина от мучительных мыслей и предотвратить новый припадок.

Помещение, именуемое «кабинетом», представляло собой палубную каюту в самой корме, своего

рода мансарду при главной капитанской каюте внизу. Один ее угол занимали раньше помощники капитана, но с их смертью перегородки сняли и все помещение превратили в широкий судовой салон; отсутствием обычной мебели и живописным беспорядком он напоминал просторный холл в доме какого-то чудаковатого холостяка-помещика, который вешает свою охотничью куртку и кисет на оленьи рога на стене и ставит в один угол удилище, каминные щипцы и трость.

Сходство это еще увеличивалось благодаря открывавшемуся из окон виду, ибо пустынные дикие леса сродни пустынному бескрайнему морю.

Пол «кабинета» был устлан ковром. Над головой, в просверленных бимсах, торчало пять или шесть мушкетов. У переборки, накрепко принайтовленный к палубе, стоял старинный стол на грифоньих лапах, на нем растрепанный требник, а вверху, на книце, висело небольшое скромное распятие. Под столом валялось несколько ржавых топориков, сломанный гарпун и обрывки старых снастей, подобные вервию, каким подпоясываются нищенствующие монахи. Еще здесь стояло два плетеных дивана с острыми, почерневшими от времени краями, с виду неудобные,

как дыба инквизитора, и большое бесформенное кресло с грубым подголовником на спинке, опускающимся с помощью винта, которое тоже напоминало средневековое орудие пытки. В углу был раскрытый сундук, и в нем пестрядь вымпелов и флажков, скатанных, полураскатанных, скомканных. А напротив сундука — громоздкий умывальник из цельного куска черного дерева на подставке, похожий на купель, и сверху зарешеченная полочка, на которой лежали гребни, щетки и прочие предметы туалета. По соседству от умывальника висела койка из цветной соломы, а в ней скомканная постель и наморщенная, точно человеческий лоб, подушка — как видно, сон того, кто на ней спал, был некрепок, нарушаемый то тяжкими думами, то мучительными видениями.

В дальнем конце «кабинета», нависающем над кормой корабля, имелось три отверстия — иллюминаторы или пушечные порты, в зависимости от того, люди или пушки в них смотрели и с какой целью, мирной или воинственной. Ни людей, ни пушек возле них в настоящее время не было, но массивные рамы и проржавевшие железные скобы в деревянной обшивке наводили на мысль о двадцатичетырехфунтовых орудиях.

Взглянув на койку, капитан Делано осведомился:

— Вы здесь и спите, дон Бенито?

— Да, сеньор, с тех пор как установилась такая погода.

— Стало быть, это у вас одновременно и спальня, и гостиная, и парусная кладовая? Да еще часовня, арсенал и ваш личный кабинет в придачу? — заметил капитан Делано, озираясь.

— Да, сеньор. Обстоятельства не благоприятствовали наведению здесь порядка.

К этому времени слуга с салфеткой через руку принял позу почтительного ожидания. Дон Бенито жестом выразил свою готовность, и слуга, усадив его в цирюльное кресло, а для гостя придвинув один из плетеных диванов, приступил к процедуре бритья, для начала распустив хозяину галстук и распахнув ворот его рубахи.

У негров есть особый талант к уходу и заботам о телесных нуждах других людей. Прирожденным камердинерам и брадобреям, щетка и гребень пристали им не меньше, чем кастаньеты, и они орудуют ими почти с таким же самозабвенным удовольствием. При этом они выказывают такую неназойливую ловкость в обращении, работают так споро, так непринужденно и легко, даже

по-своему грациозно, что одно удовольствие смотреть, тем более самому побывать у них в руках. А тут еще замечательный дар хорошего настроения. Речь идет не о каких-то там смешках или ухмылках, они были бы неуместны, но о некой общей жизнерадостности, гармонично проявляющейся в каждом жесте, каждом взгляде. Словно господь бог взял и настроил все существо негра на приятный, веселый мотив.

Если же к этому еще прибавить безотказное послушание всем довольного ограниченного ума и слепую чуткую преданность заведомо низшего высшему, то можно понять, почему такие ипохондрики, как Байрон и Джонсон, — и дон Бенито Серено, по-видимому, из их числа, — были так привязаны к своим слугам, перед всеми представителями белой расы отдавая предпочтение неграм Барберу и Флетчеру. Но если на негров благодаря этим свойствам не распространяется неприязнь циников и мизантропов, как же они должны располагать к себе человека благосклонного? Капитан Делано, когда тому не препятствовали внешние обстоятельства, был не просто добр, он был еще дружелюбен и приветлив. У себя на родине он любил в досужую минуту, сидя на пороге, смотреть, как работают

или веселятся по соседству свободные негры. Если же у него в команде оказывался черный матрос, он обязательно устанавливал с ним во время плавания шутейные, приятельские отношения. Вообще, как свойственно людям истинно добродушным, капитан Делано любил негров, и не из филантропических соображений, а от души, как любят иные больших и добрых собак.

До сих пор обстоятельства мешали проявлению этой его черты. Но теперь, когда недавние страхи его по разным причинам развеялись и он снова стал самим собой, здесь, в капитанском «кабинете», при виде чернокожего слуги с салфеткой на локте, обходительно склонившегося к хозяину в таком простом, интимном деле, как бритье, прежняя слабость к неграм полностью к нему возвратилась.

Его особенно позабавило, что Бабо, проявив чисто африканское пристрастие к ярким зрелищам и пестрым краскам, бесцеремонно вытащил из сундука какое-то цветное полотнище и набросил на плечи хозяину, заправив сверху за воротник, вместо простыни.

Испанцы бреются не совсем так, как все прочие народы. У них есть специальный таз, который так и называется бритвенным тазом, с одного

края он особым образом вырезан и при намыливании подставляется к горлу, туда плотно входит подбородок, намыливают же лицо не помазком, а прямо куском мыла, которым трут кожу, предварительно обмакнув в таз.

Теперь в тазу, за неимением пресной, вода была соленая, а мыльной пеной покрывалась только верхняя губа и шея под подбородком, в прочих же местах росла отпущенная и ухоженная борода.

Все это было внове для капитана Делано, и он сидел, с любопытством следя за приготовлениями и не возобновляя беседы, тем более что и дон Бенито, по-видимому, не склонен был сейчас разговаривать.

Поставив таз, негр выискал среди бритв самую острую, ловко направил ее о свою твердую лоснящуюся ладонь и замахнулся, собираясь приступить к делу, но на полдороге его рука с бритвой задержалась в воздухе, пока второй рукой он умело нащупывал под пышным слоем мыла тощую шею хозяина. При виде сверкнувшей так близко острой стали дон Бенито нервно вздрогнул, и обычная его бледность стала еще заметнее среди белой пены, а пена казалась еще белоснежнее рядом с угольной чернотой руки негра. Что-то в этой картине задержало взгляд ка-

питана Делано, и на минуту ему представилось, будто черный перед ним — это палач, а белый — его жертва у плахи. То была одна из тех случайных диких мыслей, какие неизвестно почему приходят на ум даже самым уравновешенным людям и, мелькнув, исчезают.

Между тем от тревожного движения дона Бенито распахнулось полотнище, стягивавшее ему плечи, и одним краем свободно легло поверх подлокотника. Глазам капитана Делано представились черно-сине-желтые поперечные полосы, а посередине герб в виде расчлененного щита, на нем в верхнем углу на кроваво-красном поле — замок, а наискось в нижнем — на белом фоне — стоящий на задних лапах лев.

— Ба! Кастилия и Леон! — воскликнул американец. — Вот какое употребление нашли вы, дон Бенито, испанскому флагу. Хорошо, что это вижу я, а не король Испании, — с улыбкой добавил он. — Но все неважно, было бы пестро, а? — обратился он к слуге, и его шутливые слова явно пришлись по вкусу чернокожему.

— Вот так, хозяин, — проговорил слуга, заправляя тому за ворот флаг и с мягкой настойчивостью запрокидывая ему голову. — Начнем, хозяин. — И сталь блеснула у самого его горла.

Дон Бенито опять чуть заметно вздрогнул.

— Не надо так дрожать, хозяин. Видите ли, дон Амаза, хозяин всегда дрожит, когда я его брею. А ведь хозяин знает, я еще ни разу не обрезал его до крови, хотя, ей-ей, кончится когда-нибудь и кровью, если хозяин будет так дрожать. Ну вот, хозяин. А вы, дон Амаза, сделайте любезность, продолжайте ваш рассказ о штормах и прочем, хозяин будет вас слушать, а время от времени сможет и отвечать.

— Ах да, о штормах, — сказал капитан Делано. — Знаете ли, чем больше я думаю о вашем плавании, дон Бенито, тем больше дивлюсь, и не штормам, как они ни ужасны, а тому бедственному штилю, который за ними последовал. Ведь у вас, как вы рассказываете, два месяца, да еще и с лишком, ушло на то, чтобы от мыса Горн добраться сюда, на Святую Марию, — расстояние, которое я покрыл с попутным ветром всего за несколько дней. Я понимаю, бывают штили, и затяжные, но штилевать два месяца кряду — это по меньшей мере необычно. Право, дон Бенито, расскажи мне подобную историю кто другой, я бы не мог не почувствовать некоторого недоверия.

Здесь на лице испанца снова появилось какое-то странное выражение, и то ли оттого, что

он опять вздрогнул, то ли оттого, что корабль вдруг качнуло на случайной волне, или же виной тому была минутная нетвердость черной руки, но только в эту минуту бритва порезала ему кожу, и красные капли окрасили белую пену у него на горле; чернокожий брадобрей поспешил отдернуть лезвие и, озабоченно склонив лицо к хозяину, а спину обратив к гостю, поднял кверху свое окровавленное орудие.

— Вот видите, хозяин, — проговорил он полушутливо-полусокрушенно. — Вы вздрогнули, и Бабо впервые пролил кровь.

Даже меч, сверкнувший перед Яковом Первым, королем английским, и совершивший убийство на глазах робкого монарха, не произвел на него столь устрашающего действия, как эта бритва на дона Бенито.

«Бедняга, — подумал капитан Делано, — он чуть не лишился чувств от простого пореза; и я мог вообразить, будто этот человек, с такими расстроенными нервами и таким слабым здоровьем, замышляет пролить мою кровь, когда он не выносит вида даже капли своей собственной крови. Право, Амаза Делано, ты сегодня что-то не в себе. Никому об этом не рассказывай, когда вернешься домой, глупый Амаза. Да, он куда как похож на

убийцу, верно? Скорее, на человека, которого самого сейчас убьют. Ну-ну. Сегодняшний день пусть послужит тебе, Амаза, уроком».

Такие мысли проносились в голове честного моряка, а чернокожий Бабо сдернул у себя с локтя салфетку и сказал, обращаясь к дону Бенито:

— Но ответьте же дону Амазе, хозяин, покуда я буду обтирать злосчастную бритву, а потом ее править, прошу вас.

При этих словах он повернулся так, что лицо его стало теперь видно не только испанцу, но и американцу, и можно было понять, что он хотел бы снова втянуть хозяина в разговор и тем отвлечь его внимание от недавнего досадного происшествия. Дон Бенито, словно обрадовавшись передышке, принялся в который раз пересказывать капитану Делано свои невзгоды, прибавив, что «Сан-Доминик» не только попал в необыкновенно затяжной мертвый штиль, но потом еще оказался во власти противных течений, и еще много повторяя и прибавляя в объяснение тому, почему они так необычайно долго плыли от мыса Горн до Святой Марии, и по ходу своего рассказа еще щедрее прежнего расточая между делом похвалы поведению своих негров.

И самый его рассказ, и попутный панегирик

носили характер несколько сбивчивый, так как его слуга время от времени пускал в ход бритву, и при этом голос рассказчика начинал звучать еще глуше обычного.

И растревоженному воображению капитана Делано на минуту представилось, что рассказ испанца чем-то фальшив, как фальшиво и сопровождающее его темное молчание негра, — словно хозяин со слугой, сговорившись, словом и делом, вплоть до притворной дрожи дона Бенито, зачем-то разыгрывают перед гостем некий хитрый спектакль. И действительно, они так по-заговорщицки шептались тогда на палубе. Но, с другой стороны, для чего им могло понадобиться такое цирюльное представление? Наконец, придя к выводу, что все это одни фантазии, подсказанные, быть может, живописным арлекинским облачением дона Бенито, капитан Делано сумел отогнать их прочь.

Между тем, покончив с бритьем, черный слуга взял пузырек кельнской воды, вылил несколько капель хозяину на голову и стал с такой силой и старательностью втирать, что лицо дона Бенито странным образом исказилось.

Затем наступила очередь гребня, ножниц и щетки; чернокожий парикмахер кругами ходил

возле своего господина, здесь приглаживая локон, там подстригая край бороды или изящно зачесывая наперед прядь волос у виска, спеша нанести последние вдохновенные штрихи и во всем выказывая неподдельное мастерство, а дон Бенито, как любой другой человек во власти цирюльника, отрешенно сидел и терпел все эти манипуляции гораздо спокойнее, чем раньше, когда его брили; бледный и неподвижный, он, застыв в своем кресле, сидел точно мраморная статуя под резцом ваятеля-нубийца.

Но вот наконец все было кончено; испанский штандарт, сдернутый с плеч испанского капитана, скомканный полетел обратно в сундук; горячее дыхание негра сдуло с его щек последние случайные волоски; ворот и галстук приведены в надлежащий порядок; с бархатного лацкана снята белая ниточка; и по завершении всего этого, отступив на полшага и замерев в гордой и смиренной позе, слуга обвел хозяина последним взглядом, как бы любуясь творением рук своих.

Капитан Делано шутливо похвалил его работу, одновременно выразив восхищение дону Бенито.

Но ни душистая вода, ни очищающее мыло, ни преданность слуги, ни любезность гостя не

развеселили испанца. Он снова погрузился в прежнюю угрюмость и даже не встал с кресла, когда капитан Делано, сочтя свое дальнейшее присутствие в «кабинете» нежелательным, простился, сославшись на необходимость проверить, не обнаружились ли уже признаки предсказанного им бриза.

Выйдя на палубу, капитан Делано остановился у грот-мачты, не без душевного смущения припоминая только что виденную сцену, как вдруг у трапа, ведущего из «кабинета», послышался шум, и на палубу выскочил негр Бабо; он прижимал ладонь к щеке. Капитан Делано подошел к нему и увидел, что прикрытая щека негра в крови. Он хотел было справиться о причине этого, когда его перебил жалобный монолог, сразу все объяснивший:

— Ай-яй-яй, ну когда же мой хозяин хоть немного оправится от своей болезни? Ведь это болезнь так отравила ему душу, что он стал немилостив к бедному Бабо; порезал Бабо бритвой лишь за то, что Бабо случайно чуть-чуть его поцарапал, и это в первый раз за столько дней. Ай-яй-яй! — причитал негр, держась за щеку.

«Возможно ли? — недоумевал капитан Делано. — Неужели лишь для того, чтобы сорвать на

бедняге слуге свою испанскую злость, этот надменный дон Бенито принял неприветливый вид и побудил меня уйти? Какие низменные страсти возбуждает в человеке рабство! Бедный, бедный человек!»

Он хотел было выразить негру сочувствие, но тот, поборов робость, снова скрылся в «кабинете». А немного погодя хозяин и слуга появились на палубе, и дон Бенито опять опирался на Бабо как ни в чем не бывало.

«Стало быть, просто милые бранятся», — с облегчением подумал капитан Делано. Он приблизился к дону Бенито, и они вдвоем начали прохаживаться по палубе. Так они сделали лишь несколько шагов, когда к ним подошел стюард — высокий, величавый мулат, в каком-то тюрбане в виде пагоды из трех или четырех мадрасских платков, ряд за рядом обвитых вокруг головы, — и с восточным поклоном объявил, что в капитанской каюте подано обедать.

Два капитана направились в каюту, предшествуемые мулатом-стюардом, который на ходу то и дело озирался, улыбками и поклонами приглашая их за собой и являя при этом столько щедрого, живописного изящества, что совершенно затмил незначительного, низкорослого Бабо, а тот,

видно, сам чувствуя, как ему далеко до этого роскошного кравчего, искоса, подозрительно на него посматривал. Впрочем, капитан Делано отчасти приписал его взгляды тому особому враждебному чувству, какое всегда питают чистопородные африканцы к своим полукровным соплеменникам. Что же до стюарда, то его поведение, быть может, и не свидетельствовавшее об избытке чувства собственного достоинства, говорило об искреннем желании быть приятным — стремление похвальное вдвойне: как с христианской, так и с честерфилдианской точки зрения.

Капитан Делано обратил внимание на то, что хотя цвет лица у мулата и гибридный, черты его полностью европейские, даже классические.

— Дон Бенито, — шепотом обратился он к испанцу. — Я рад, что вижу вашего носителя золотого жезла, его облик служит опровержением неприятного замечания, которое я когда-то слышал от барбадосского плантатора, что будто бы мулата с правильными европейскими чертами лица надо особенно остерегаться: он из злодеев злодей. Я вижу, что у вашего стюарда черты правильнее, чем у короля Георга Английского, и, однако же, вот он кланяется, кивает, улыбается — настоящий король, право, король доброго

сердца и вежливых манер. И голос у него тоже весьма приятный.

— Да, сеньор.

— Но скажите мне, дон Бенито, сколько вы его знаете, действительно ли он всегда и во всем был вот такой славный малый? — продолжал капитан Делано, когда стюард, в последний раз приветственно преклонив колена, скрылся за перегородкой. — По причине, сейчас только упомянутой, мне желательно узнать правду.

— Франческо — неплохой человек, — медлительно отозвался дон Бенито, как истинный ценитель, равно остерегающийся незаслуженной хулы и лишних похвал.

— Ну вот, так я и думал. Ведь странно же было бы, право, и не слишком лестно для нас, белокожих, если бы небольшая примесь нашей крови к африканской не только не оказывала облагораживающего действия, но, наоборот, действовала бы как купорос на темный бульон — улучшала цвет, но отнюдь не внутренние качества.

— Несомненно, несомненно, сеньор. Не знаю, как насчет негров, — бросив взгляд на Бабо, сказал дон Бенито, — но мнение, подобное высказанному вашим знакомым плантатором, я слышал в применении к индейско-испанским

помесям в наших колониях. Однако сам я ничего об этом не знаю, — вяло заключил он.

И они вошли в капитанскую каюту.

Трапеза была скудной — рыба и кусок свежей тыквы, дар капитана Делано, сухари с солониной, припасенная слугой бутылка сидра и последняя на «Сан-Доминике» бутылка старой мадеры.

Стюард Франческо с двумя или тремя чернокожими помощниками еще хлопотали над столом, завершая последние приготовления. При виде своего господина они поспешили вон, хотя Франческо успел с улыбкой отвесить еще один церемонный поклон; но мрачный испанец, словно не видя его, лишь брезгливо заметил, обращаясь к гостю, что терпеть не может, когда прислуга лезет на глаза.

Оставшись без посторонних, хозяин и гость одиноко расположились друг против друга за столом, точно бездетная супружеская чета, и при этом больной дон Бенито все же настоял на том, чтобы капитан Делано уселся прежде его.

Негр-слуга подложил хозяину под ноги коврик, засунул ему за спину подушку и встал за стулом, но не у дона Бенито, а у его гостя. Это сначала удивило последнего. Но вскоре он понял, что, заняв такую позицию, слуга остался верен хозя-

ину, так как, наблюдая его лицо, он мог быстрее выполнять его любое желание.

— На редкость сообразительный парень этот ваш слуга, — шепотом заметил он дону Бенито.

— Совершенно справедливо, сеньор.

В ходе затрапезной беседы капитан Делано возвратился к рассказу дона Бенито, выспрашивая у него время от времени кое-какие дополнительные подробности. Так, он поинтересовался, почему цинга и лихорадка произвели столь полное опустошение среди белого экипажа, оставив в живых более половины негров. Должно быть, вопрос этот вызвал в памяти испанского капитана всю картину пережитого мора, безжалостно напомнив ему, одиноко сидящему в капитанской каюте, что было время, когда его окружали здесь друзья и помощники; рука его задрожала, лицо стало землистым и серым, речь прервалась; а еще через мгновение здравая память минувшего уступила место болезненным страхам настоящего. Широко раскрытыми глазами дон Бенито смотрел перед собой — в пустоту, ибо там ничего не было, только черная рука его слуги подвинула к нему стакан с мадерой. Несколько глотков вина частично привели его в чувство, и он несвязно пробормотал что-то насчет разницы в конституту-

ции, благодаря которой одна раса оказывается устойчивее к болезням, чем другая. Мысль эта была его гостю внове.

Потом разговор перешел на денежные темы, в частности в связи с новыми парусами и прочими предметами оснастки, которые капитан Делано обещал испанцу, но, будучи строго подотчетен судовладельцам, должен был точно оговорить все условия и, естественно, хотел вести эти переговоры с глазу на глаз, полагая, что недужный испанец хоть некоторое время мог бы обойтись и без попечения своего слуги. Сначала, ничего об этом не говоря, он ждал, что дон Бенито сам догадается его отослать, как это принято обычно.

Однако ожидания его не оправдались. Наконец, перехватив взгляд дона Бенито, капитан Делано показал большим пальцем себе за плечо и шепнул: «Прошу простить меня, дон Бенито, но есть одно препятствие, которое мешает мне высказаться полностью».

Испанец изменился в лице — очевидно, ему был неприятен этот намек, касающийся его любимого слуги. Минуту помолчав, он дрожащим голосом ответил, что присутствие негра не может служить помехой в любом разговоре, ибо со времени гибели своих офицеров он во всем пола-

гается на Бабо, никогда с ним не расстается и не имеет от него тайн, хотя он был сначала только старшиной среди рабов.

На это американцу нечего было возразить, но в глубине души он почувствовал легкую обиду за то, что дон Бенито отказался исполнить такое пустяковое желание гостя, который к тому же собирается оказать ему немаловажные услуги. Это все его дурной нрав, решил капитан Делано и, наполнив стакан, приступил к деловым переговорам.

Они условились о цене парусины и всего прочего, но при этом капитан Делано заметил, что если раньше его предложение помощи было встречено с каким-то лихорадочным восторгом, то теперь, когда перешли к обсуждению практической стороны дела, его собеседник не выказывает ничего, кроме безразличия и апатии. Казалось, дон Бенито слушает его скорее из покорной учтивости, чем из интереса к той пользе, которую все эти подробности сулили ему самому и кораблю.

Дальше — больше. Испанец окончательно замкнулся, и все попытки вовлечь его в застольный разговор оказывались тщетны. Погруженный в свою ипохондрию, он сидел, уставясь перед собой, и лишь теребил бороду, напрасно рука его без-

молвного слуги подвигала к нему сидр и мадеру.

По окончании обеда оба капитана уселись на транец в каюте, и слуга, несмотря на мягкую обивку, подложил хозяину под спину подушку. В каюте стояла духота — затянувшееся безветрие делало свое дело. Дон Бенито тяжело дышал, словно ему не хватало воздуха.

— Почему бы не перейти в «кабинет», — предложил капитан Делано. — Там и воздух посвежее.

Но испанец сидел все так же безмолвно и недвижно.

Слуга между тем опустился перед ним на колени и обмахивал его большим веером из перьев. Потом на цыпочках вошел Франческо и принес чашку с ароматической водой, и негр стал растирать хозяину виски, смачивать лоб, приглаживать волосы, точно нянька малому ребенку. При этом он не произносил ни слова. Только смотрел и смотрел в глаза хозяину, как бы желая немного утешить его в его страданиях зрелищем беззаветной преданности.

Но вот судовой колокол пробил два часа, и в иллюминатор было видно, как по морю потянулась легкая рябь как раз в том направлении, откуда ждали ветра.

— Ага! — воскликнул, вскакивая, капитан

Делано. — Что я говорил вам, дон Бенито? Взгляните-ка!

Он изъяснялся нарочито оживленным голосом, чтобы хоть немного приободрить своего собеседника. Но хотя алые занавески на кормовом иллюминаторе в эту минуту откинулись и затрепетали прямо у его бескровного лица, дон Бенито обрадовался ветру не более, чем раньше радовался безветрию.

«Бедный человек, — подумал капитан Делано, — горький опыт научил его, что одно дуновение не делает ветра, как одна ласточка не делает весны. Но сейчас он ошибается. Я ему это докажу и приведу в гавань его корабль».

И капитан Делано, тактично сославшись на нездоровье дона Бенито, предложил ему оставаться внизу, тогда как сам он с удовольствием возьмет управление судном на себя и позаботится о том, чтобы наилучшим образом использовать появившийся ветер.

Капитан Делано вышел на палубу и вздрогнул: у порога величественно и недвижно, точно кариатида из черного мрамора у входа в египетскую гробницу, возвышался исполин Атуфал.

Впрочем, вздрогнул он просто от неожиданности. Присутствие Атуфала знаменовало

покорность даже под личиной упорства, как терпеливое усердие точильщиков свидетельствовало о безропотном послушании; и то и другое доказывало, что как ни распустил больной дон Бенито команду, однако если уж он в чем-то проявлял свою волю, ни дикарь, ни титан не в силах были ей противостоять.

Схватив висевший на борту рупор, капитан Делано весело подошел к краю юта и стал подавать команды, употребляя все свое знание испанского языка, и немногочисленные матросы, а также толпа негров бросились их исполнять, одинаково радуясь возможности привести наконец судно в бухту.

Отдавая команду поднять ундер-лисель, капитан Делано вдруг с удивлением услышал, что кто-то повторяет все его слова. Он обернулся и увидел Бабо, как видно, приступившего к исполнению при лоцмане своих первоначальных обязанностей старшины над рабами. Помощь его оказалась весьма полезной. Изодранные паруса и покореженные реи скоро были приведены в нужное положение. И все брасы и фалы тянулись под ликующее пение негров.

«Хорошие ребята, — думал о них капитан Делано, — погонять их немного, и будут отличными

моряками. Ба, смотрите-ка, с ними и женщины тянут и поют во всю глотку. Видно, это дикарки из племени ашанти, они, как я слышал, бравые воины. Однако кто стоит на руле? Там надо поставить умелого моряка».

И он пошел посмотреть.

«Сан-Доминик» управлялся посредством тяжелого румпеля с большими поперечными румпель-талями, у которых находились два негра, а в середине на ответственном посту стоял матрос-испанец, и лицо его, как и у всех на корабле, было освещено радостью и надеждой на поднимающийся ветер.

Это оказался тот самый матрос, который недавно сидел на шпиле и выказал тогда такую робость.

— А, это ты, приятель, — обратился к нему капитан Делано. — Ну что, больше не будешь робеть? Смелей. И так держать. Ты, надеюсь, дело знаешь? И в гавань попасть тоже не прочь, а?

— Si, Señor[8], — отозвался матрос и чуть заметно ухмыльнулся, крепко держа штурвал. При этом оба негра за спиной у американца искоса взглянули на своего рулевого.

---

[8] Примечания: 8
Да, сеньор (*исп.*).

Убедившись, что руль в надежных руках, новоявленный лоцман отправился на бак, чтобы узнать, как обстоят дела там.

К этому времени судно уже имело достаточный ход, чтобы преодолеть отливное течение. А с наступлением вечера бриз еще должен был усилиться.

Позаботившись обо всем, что пока было нужно, капитан Делано дал матросам последние распоряжения и пошел назад, чтобы доложить обо всем дону Бенито в капитанской каюте, отчасти побуждаемый надеждой застать его одного и переговорить с ним с глазу на глаз, пока его телохранитель занят на палубе.

В капитанскую каюту вело под кормовой надстройкой два входа, один с правого, другой с левого борта, притом один ближе к корме, а другой на некотором удалении, так что от него к порогу самой каюты вел еще внутренний коридор. Удостоверившись, что слуга все еще на палубе, капитан Делано воспользовался этим более длинным проходом, у начала которого по-прежнему высился неподвижный Атуфал, и поспешил в каюту, лишь на мгновение задержавшись у самого порога, чтобы перевести дух. И вот, со словами о деле на устах, он вошел в капитан-

скую каюту. Но каково же было его удивление, когда, сделав несколько шагов к сидящему на диване испанцу, он услышал в ритм со своими и другие шаги, и из противоположной двери вышел с подносом в руке чернокожий слуга.

«Черт бы драл этого преданного малого, — подумал капитан Делано. — Какое досадное совпадение!»

Он бы, вероятно, подосадовал еще сильнее, если бы не хорошее настроение, вызванное начавшимся ветром. Но все-таки ему было неприятно при мысли, что между Бабо и Атуфалом, быть может, существует какая-то связь.

— Дон Бенито, я принес вам радостное известие, — громко произнес американец. — Ветер установился и крепчает. Между прочим, ваш великан Атуфал точен, как часы: он опять у порога. По вашему распоряжению, я полагаю?

Дон Бенито только вздрогнул и еще больше понурился, словно ему сказали колкость, но в такой умело вежливой форме, когда ее невозможно парировать.

«Право, с него точно содрали кожу, — подумал капитан Делано, — где ни тронь, всюду болит».

Верный слуга склонился над хозяином, поправляя у него за спиной подушку; испанец, как бы

опомнившись, с принужденной вежливостью ответил:

— Вы не ошиблись. Строптивый раб появляется здесь по моему распоряжению: если в назначенный ему час я нахожусь внизу, он должен подойти и ждать меня у порога.

— Но, прошу прощения, вы и в самом деле обращаетесь с ним как с королем в изгнании. Право, дон Бенито, — улыбаясь, заметил американец, — хоть вы кое в чем и чересчур много воли даете своим подчиненным, боюсь, что при этом вы все-таки слишком уж с ними суровы.

И снова дон Бенито вздрогнул и поник, на сей раз, как догадался честный моряк, от укора совести.

Беседа их сделалась затрудненной. Капитан Делано напрасно старался привлечь внимание испанца к тому, как все заметнее оживал корпус его судна, легко взрезая проснувшееся лоно вод, — дон Бенито смотрел перед собой потухшим взглядом и отвечал ему вяло и скупо.

А ветер все крепчал и, дуя в желаемом направлении, ходко гнал «Сан-Доминик» в гавань. Вот обогнули мыс, и вдалеке снова показалась американская шхуна.

Капитан Делано в это время уже опять был

на палубе. Но потом, изменив галс так, чтобы подальше обогнуть подводный риф, он решил на несколько минут спуститься в каюту.

«На этот раз я сумею приободрить беднягу», — думал он.

— Дела идут все лучше, дон Бенито! — воскликнул он весело, входя. — Скоро настанет конец вашим горестям и заботам, хотя бы на время. Ведь когда после долгого мучительного плавания падает на дно якорь, вместе с ним с плеч капитана падает тяжелое бремя. Мы идем превосходно, дон Бенито. Уже видна моя шхуна. Вон, взгляните сквозь бортовой иллюминатор. Видите? Высокая, стройная, моя красавица «Холостяцкая услада». Ах, как бодрит свежий ветер, дон Бенито! Сегодня вечером вы должны испить у меня чашку кофе. Мой старый стюард сварит вам такого кофе, что вкуснее ни один султан не отведывал. Ну так как же, дон Бенито, вы согласны?

Дон Бенито сначала встрепенулся и устремил в иллюминатор на американскую шхуну тоскующий мечтательный взгляд. Верный слуга замер в немом ожидании, заглядывая в лицо хозяину. Но потом гримаса равнодушия снова исказила черты больного, он откинулся на подушки и не сказал ни слова.

— Вы не отвечаете? Право, я целый день сегодня был вашим гостем; позвольте же и мне ответить вам гостеприимством на гостеприимство.

— Я не смогу, — последовал ответ.

— Отчего же? Поездка не утомит вас. Мы поставим суда только что не вплотную, лишь бы не столкнулись. Вам всего-то почти и придется ступить с палубы на палубу, как перейти из комнаты в комнату. Ну же, соглашайтесь, дон Бенито.

— Я не смогу, — решительно и неприязненно повторил испанец.

И, совершенно позабыв о требованиях учтивости, нетерпеливо кусая ногти, чуть не с ненавистью посмотрел на гостя, как бы желая поскорее избавиться от его назойливого присутствия и вновь предаться на свободе своей могильной мрачности. А в иллюминаторы меж тем все громче и радостнее лилось журчание рассекаемых вод, как бы укоряя его за угрюмость, как бы твердя, что, сколько он ни хмурься, сколько ни выходи из себя, природе до этого дела нет, ибо где тут сыскать виноватого?

Но чем веселее бежал по волнам его корабль, тем мрачнее становился испанский капитан.

Тут уж было нечто большее, чем просто нелюдимость больного человека, даже капитан Делано,

при всем своем врожденном добродушии, не мог больше закрывать на это глаза.

Чем объяснялось подобное обхождение, было непонятно; никакие болезни и странности характера не служили здесь извинением; сам он тоже наверняка ничем не мог его вызвать; и тогда в капитане Делано наконец заговорила оскорбленная гордость. Он замолчал, принял холодный вид. Однако испанец ничего не заметил. И капитан Делано, оставив его, снова вышел на палубу.

Шхуна его была теперь не далее как в двух милях. И спущенная с нее шлюпка уже ныряла в волнах, направляясь к «Сан-Доминику».

Вскоре благодаря лоцманскому искусству капитана Делано оба корабля уже дружески покачивались на якорях на небольшом расстоянии друг от друга.

Перед тем как возвратиться к себе на шхуну, капитан Делано собирался обсудить с доном Бенито некоторые практические частности своего предложения о помощи. Но теперь, не желая лишний раз подвергаться оскорбительному обращению, он решил немедленно покинуть испанский корабль, благополучно приведенный им в укрытие, не заводя более разговоров ни о гостеприимстве, ни о деле. Там будет видно — как

сложатся обстоятельства, так он и поступит. Его шлюпка была уже готова принять своего капитана, но испанский капитан все еще медлил внизу. «Ну что же, — подумал американец, — если у него не хватает учтивости, тем более покажем ему свою». И он стал спускаться в капитанскую каюту, чтобы любезно и укоризненно отвесить хозяину прощальный поклон.

Но, как видно, вежливая холодность оскорбленного гостя уже возымела свое действие на дона Бенито: поддерживаемый слугой, он поднялся теперь навстречу капитану Делано и с большим чувством молча пожал ему руку, словно не в силах от волнения произнести ни слова. Впрочем, в следующее мгновение этот проблеск сердечности угас — так же внезапно испанец с прежней и даже еще более отталкивающей холодностью отвел взгляд от лица гостя и в молчании уселся обратно на свои подушки. Капитан Делано, тоже сразу помрачнев, коротко поклонился и вышел.

Едва дойдя до середины узкого коридора, ведущего из каюты к трапу, он вдруг услышал какой-то лязг, подобный бою тюремного гонга, возглашающего о новой казни. Это отбивал наверху время надтреснутый судовой колокол, и его зловещий голос глухим эхом отозвался в мрачном

корабельном подземелье. В тот же миг, словно по данному знаку, на капитана Делано внезапно нахлынули суеверные страхи. Он остановился. В голове у него куда быстрее, чем эти слова, пронеслись образы всех его прежних подозрений.

До сих пор, доверчивый и доброжелательный по натуре, он находил успокоительные объяснения самым настораживающим обстоятельствам. Почему, например, этот испанец, временами учтивый до церемонности, теперь вдруг пренебрег требованиями простого приличия и не пошел провожать отъезжающего гостя? Неужели только из-за нездоровья? Но нездоровье не мешало ему выполнять в течение дня и более трудные обязанности. И как двусмысленно он сейчас держался. Вскочил на ноги, тепло пожал гостю руку, даже потянулся было за шляпой — и тут же снова погрузился в зловещую холодную немоту. Не означало ли это минутного раскаяния в каком-то злодейском замысле и окончательного, бесповоротного возврата к нему? Его прощальный взгляд выражал безнадежную покорность перед вечной разлукой. Он отклонил приглашение посетить американскую шхуну. Почему? Не потому ли, что совесть испанца оказалась чувствительнее совести иудея, который вечером ужинал за столом

того, кого в ту же ночь предал на смерть? Для чего все эти загадки и противоречия, если не затем, чтобы сбить с толку, а потом уже нанести неожиданный удар? Атуфал, притворный бунтарь и неотступная тень, он и сейчас, наверное, стоит у трапа. Уж не сторож ли он, и даже более того? А кто, по собственному признанию, поставил его там? Кого же он подкарауливает?

Сзади — испанец, впереди — его ставленник; вперед, к свету — другого выбора у капитана Делано не было.

И вот, сжав зубы и кулаки, невооруженный американец обошел Атуфала и ступил на палубу, залитую светом. Но когда он увидел свою аккуратную шхуну, мирно стоящую на якоре так близко, что крикни — услышат; когда он увидел свою до мелочей знакомую шлюпку, терпеливо покачивающуюся на коротких волнах под бортом «Сан-Доминика», и в ней — знакомые, родные лица; а затем, обведя взглядом палубу, увидел, как пальцы щипальщиков пакли с прежним прилежанием делают свое дело, и услышал тихий звон и усердный скрежет, издаваемый точильщиками, с головой ушедшими в свое бесконечное занятие; особенно же когда он увидел кроткий лик Природы, мирно вкушающей ве-

черний покой; и затуманившийся диск солнца на западном биваке, источающий неяркий свет, подобный тусклому светильнику в шатре Авраамовом; когда его зачарованному взгляду и слуху представилась вся эта картина, с закованным негром на переднем плане, кулаки его и зубы сами собой разжались. И он опять улыбнулся своим недавним призрачным страхам и даже устыдился, что, поддавшись им хотя бы на минуту, тем самым допустил почти атеистическое сомнение в неусыпности Провидения.

Последовала небольшая заминка, пока шлюпку, по команде капитана Делано, крючьями подводили вдоль борта к шкафуту. И в то же время как он стоял и ждал, его посетило приятное и несколько грустное чувство удовлетворения своими добрыми делами. «Да, — подумал он, — наша совесть всегда награждает нас за хорошие поступки, даже если те, кого мы облагодетельствовали, остаются неблагодарны».

Но вот, обратившись лицом к палубе, он поставил ногу на первую перекладину веревочного трапа. В то же мгновение он услышал, как его учтиво окликают по имени, и с приятным удивлением увидел, что к нему приближается дон Бенито. Облик испанца дышал необычной энер-

гией, казалось, в последнюю минуту он принял решение искупить сердечностью всю свою прежнюю нелюбезность. Теплые чувства нахлынули на капитана Делано, он снял ногу с трапа и приветливо шагнул ему навстречу. При этом нервное возбуждение испанца еще возросло, но жизненные силы почти покинули его, и верный слуга, чтобы не дать ему упасть, вынужден был положить ладонь хозяина себе на голое плечо и прижать ее там, служа ему своего рода живым костылем.

Капитаны сошлись, и испанец опять взял руку американца, взволнованно заглянув ему в лицо, но, как и раньше, от волнения не произнося ни слова.

«Я был к нему несправедлив, — укорил себя капитан Делано, — меня обманула его холодность; у него и в мыслях не было ничего дурного».

Было заметно, что слуга, опасаясь, как бы этот разговор не расстроил излишне господина, с нетерпением ждет его конца. Все так же служа хозяину костылем, он продвигался к трапу между двумя капитанами, а дон Бенито, словно обуреваемый добрым раскаянием, протянув свободную руку перед черной грудью негра, не выпускал руки гостя.

Так они подошли к самому борту и остановились, глядя сверху в шлюпку, а те, кто сидел в ней, задрав головы, с любопытством разглядывали их. Растроганный и смущенный капитан Делано ждал, пока дон Бенито отпустит его руку. Он уже сделал шаг, чтобы ступить за борт на трап, но испанец по-прежнему не ослаблял рукопожатия.

— Дальше мне хода нет, — только произнес он сдавленным от волнения голосом. — Здесь я должен с вами проститься. Прощайте же, прощайте, мой дорогой дон Амаза. Уходите, уходите! — закончил он, вдруг вырывая руку. — Ступайте, и да хранит вас Бог, не так, как меня, о мой лучший друг!

Капитан Делано, расчувствовавшись, хотел было еще задержаться, но слуга посмотрел на него с кроткой укоризной, и тогда, торопливо простившись, он спустился в шлюпку, а вслед ему неслись прощальные возгласы дона Бенито, стоявшего наверху у трапа.

Капитан Делано уселся на корме, последний раз взмахнул на прощанье рукой и приказал шлюпке отваливать. Гребцы сидели, держа весла на валек. Теперь загребной оттолкнул шлюпку от борта, чтобы можно было опустить весла на воду. И в то же мгновение, перескочив через борт, дон

Бенито спрыгнул в шлюпку к ногам капитана Делано, крикнув при этом что-то, чего никто в шлюпке понять не мог. Но, очевидно, на корабле его слова разобрали, потому что в море из разных мест сразу же спрыгнули три матроса-испанца и поплыли вслед, словно на выручку.

Растерявшийся командир шлюпки тревожно спросил, что это значит. В ответ ему капитан Делано, с презрительной усмешкой посмотрев на Бенито Серено, проговорил, что этого он не знает да и не интересуется; видимо, испанец решил представить своим людям дело так, будто его хотят похитить.

— Или же… Навались что есть мочи, ребята! — крикнул он возбужденно, услышав на палубе страшный шум и выделявшийся в нем набатный звон топоров в руках чернокожих точильщиков, и, схватив за горло дона Бенито, докончил: — Или же этот подлый пират замыслил убийство!

В то же мгновение, как бы подтверждая слова капитана, вверху на фальшборте показался слуга дона Бенито с кинжалом в руке, замер на мгновение и ринулся с высоты вниз — черный телохранитель, до последнего не расстающийся со своим господином; трое испанцев, спеша ему на подмогу, уже лезли с носа в шлюпку, а негры

«Сан-Доминика», вопя и жестикулируя, черной лавиной повисли на борту, вне себя от опасности, грозящей их капитану. И все это: и то, что было раньше, и что последовало затем, — произошло с такой головокружительной быстротой, что, казалось, прошлое, настоящее и будущее бедственно сошлись в одной точке.

Капитан Делано успел отшвырнуть к борту испанца, а негра с ножом принял прямо в объятия и прижал к груди — к той самой груди, которую он искал пронзить своим клинком. Только клинок у него из руки был выбит и сам он оказался повержен на дно шлюпки, быстро уходившей прочь от фрегата.

Матросы лихорадочно работали веслами. Капитан Делано сидел на корме, освободившейся левой рукой держа за грудь опрокинутого на борт полуобморочного испанца, а правой ногой попирая повергнутого на дно негра; правая же его рука налегала на кормовое весло, добавляя шлюпке хода, глаза смотрели вперед, и голос побуждал матросов грести, не жалея сил.

Но тут командир шлюпки, которому удалось отбиться от трех испанцев, обернулся и крикнул: «Капитан! Посмотрите, что делает негр!» Одновременно состоявший у них в команде мат-

рос-португалец крикнул: «Капитан! Послушайте, что говорит испанец!»

Капитан Делано поглядел себе под ноги: слуга, сжимая в руке еще один кинжал, — по-видимому, он прятал его в своей густой шевелюре, — извивался на дне лодки и тянулся острием к сердцу своего господина, и гримаса ненависти на его черном лице ясно выражала стремление всей его души; а полузадушенный испанец беспомощно корчился у борта и глухо бормотал какие-то слова, не понятные ни для кого, кроме матроса из Португалии.

И в это мгновение пелена спала с глаз капитана Делано, с неожиданной ясностью он вдруг понял все: и загадочное поведение Бенито Серено, и странные события минувшего дня, как и всего плавания «Сан-Доминика». Он ударил Бабо по руке, но и сам был потрясен будто ударом — он понял, что не его, а многострадального дона Бенито хотел зарезать негр, когда прыгнул в лодку. И он сокрушенно разжал руку, которой держал за грудь несчастного испанца.

Негру заломили руки, и капитан Делано, оглянувшись на «Сан-Доминик», увидел теперь фрегат совсем в другом свете — по палубам его метались не крикливые, разболтанные без хозяйского

надзора рабы, переполошившиеся исчезновением дона Бенито, нет, теперь, без масок, это были свирепые бунтари и пираты с кинжалами и топорами в руках. Словно бесноватые черные дервиши, на юте плясали шесть дикарей. Матросы-испанцы, которым не дали прыгнуть в море, торопливо карабкались прочь от своих врагов на топы мачт, а те из них, кто оказался менее проворен, уже были схвачены на палубе черной толпой.

Капитан Делано окликнул свою шхуну и распорядился открыть порты и выдвинуть пушки. К этому времени на «Сан-Доминике» уже обрубили якорную цепь, свободный конец ее подлетел в воздух и в полете сорвал с форштевня накинутый брезент, и когда убеленный корпус фрегата развернулся носом в открытый океан, все, содрогнувшись, увидели на нем человеческий скелет в виде носовой фигуры — своего рода иллюстрацию к начертанному у его подножия призыву: «Следуй за мной».

При виде скелета несчастный дон Бенито закрыл ладонями лицо и простонал:

— Это он, Аранда, мой убитый, непогребенный друг!

Когда шлюпка подошла к шхуне, капитан Дела-

но крикнул, чтобы ему бросили веревку; негра, не оказывавшего никакого сопротивления, связали и подняли на борт. После этого капитан хотел было помочь подняться по трапу вконец обессилевшему дону Бенито, но тот, как ни был слаб, не захотел сделать ни шагу, пока негра не уберут с его глаз в трюм. И лишь когда его желание было исполнено, согласился подняться на палубу.

Шлюпку отправили назад — подобрать оставшихся в воде матросов. Тем временем были приготовлены к бою пушки, но «Сан-Доминик» быстро относило назад в море, и на него успели направить лишь одно кормовое орудие. Оно произвело шесть выстрелов. На шхуне надеялись перебить у беглеца реи и тем лишить его хода, но были сбиты лишь кое-какие второстепенные снасти. Вскоре фрегат стал уже недоступен для пушечных выстрелов. Он держал курс к выходу из бухты; на носу у него тесно толпились негры, то обращая издевательские возгласы своим белым противникам, то с воздетыми руками приветствуя разворачивающуюся перед ними сумеречную ширь океана, — каркающие вороны, вспугнутые выстрелом птицелова. Первой мыслью было поднять якорь и пуститься в погоню. Однако по трезвом размышлении решено было

вести преследование на ялике и вельботе.

У дона Бенито спросили, какое огнестрельное оружие имеется на «Сан-Доминике», и он ответил, что пригодного к употреблению у них нет совсем, так как еще в первые дни бунта один пассажир, впоследствии погибший, пробрался в крюйт-камеру и разбил затворы всех наличных мушкетов. Однако дон Бенито из последних сил умолял американца отказаться от погони и на корабле и на шлюпках, потому что эти негры такие отчаянные головорезы, что нападение на них ни к чему не приведет, кроме гибели всех белых. Но капитан Делано счел это малодушием сломленного страданиями человека и не оставил своего намерения.

Лодки приготовили и оснастили. Капитан Делано усадил в них двадцать пять человек. И уже собрался сам занять место в одной из них, когда дон Бенито ухватил его за рукав и страдальчески произнес:

— Как? Вы спасли жизнь мне, сеньор, а теперь хотите погубить свою?

Помощники капитана тоже решительно воспротивились тому, чтобы их командир покидал корабль, — это противоречило бы их интересам, и нуждам плавания, и долгу перед судовла-

дельцами. Капитан Делано взвесил их доводы и принужден был согласиться, командиром же нападающего отряда он вместо себя назначил своего первого помощника — очень решительного и крепкого человека, который в молодости служил на капере, а злые языки утверждали, что и пиратствовал. Для большего воодушевления матросам было объявлено, что испанский капитан считает судно для себя погибшим; что вместе с грузом — а в его трюмах есть и золото, и серебро — оно стоит около десяти тысяч дублонов; пусть они только отобьют его, и немалая часть этой суммы достанется им. Матросы ответили дружным «ура».

Беглецы между тем уже отошли далеко от берега. Ночь почти наступила, но над горизонтом всходила луна. После долгой, отчаянной гребли лодки поравнялись с кормой фрегата, весла отложили и выстрелили по палубе из мушкетов. Негры за неимением пуль ответили градом проклятий. Но когда грянул второй залп, в матросов, точно томагавки, полетели топоры. Один топор отсек пальцы загребному. Второй угодил в нос вельбота, перерубив лежавший там канат, и впился в доску, точно топор лесоруба в пень. Первый помощник вырвал его и швырнул обратно.

Возвращенная противнику перчатка, пролетев над водой, попала в полусгнившую кормовую галерею и там осталась.

Слишком горячо встреченные неграми, белые держались на почтительном расстоянии, где их не могли достать летящие с палубы топоры. Перед тем как сойтись вплотную, они хотели, чтобы раззадоренные их видом враги пошвыряли свои топоры в море и сами лишили себя своего наиболее смертоносного для рукопашной схватки оружия. Но негры разгадали их хитрость, и вскоре стальной град прекратился, однако многие на палубе «Сан-Доминика» вынуждены были вооружиться, взамен утраченных топоров, матросскими свайками, что, как и предполагалось, пришлось на руку нападающим.

Меж тем, со свежим ветром, фрегат продолжал резать носом волну; шлюпки то отставали, то подгребали ближе и давали по нему новые залпы.

Огонь был нацелен главным образом на корму, так как именно там столпились теперь все негры. Однако цель нападающих была не в том, чтобы перебить или искалечить негров, их следовало захватить вместе с судном. Для этого надо было взять судно на абордаж, но при таком быстром ходе шлюпки не могли пристать к борту.

И тут первому помощнику пришла в голову одна мысль. На верхушках мачт находилось несколько матросов-испанцев, и он крикнул им, чтобы они спустились на реи и обрезали паруса. Так и было сделано. К этому времени, по причинам, которые стали ясны потом, на палубе были убиты два испанца, сраженные не шальной пулей, а прицельными выстрелами, кроме того, как обнаружилось потом, залповым огнем был уже убит черный исполин Атуфал и испанец-рулевой. Теперь, без парусов и руля, фрегат сделался неуправляем.

Скрипя мачтами, он развернулся к ветру, медленно обратив к шлюпкам свой страшный нос со скелетом, который бледно мерцал в отлогих лучах вставшей луны, отбрасывая на посеребренные волны огромную ребристую тень. Одна рука мертвеца была простерта вперед, будто призывая белых к отмщению.

— «Следуй за мной!» — выкрикнул первый помощник начертанные под носовой фигурой слова, и лодки одновременно пристали к фрегату с правого и левого борта. Абордажные крючья и пики скрестились с топорами и свайками. А на шкафуте, сбившись в кучу на днище перевернутого баркаса, черные женщины затянули

заунывную песню, и звон клинков служил ей зловещим припевом.

Поначалу атака белых почти захлебнулась; негры теснили их, матросы капитана Делано бились точно всадники, одну ногу перекинув через борт и орудуя абордажными пиками как хлыстами. Все было напрасно. Их одолевали. Тогда, сплотившись потеснее, они вместе, все вдруг, с громким криком «ура» спрыгнули на палубу. Толпа чернокожих хлынула на них и сомкнулась над их головами. Несколько мгновений слышен был только глухой, подспудный гул — точно рыба-меч в морской глубине расправлялась со стаей черных рыбешек. Но скоро, снова сплотив строй и приняв в свое число находившихся на палубе испанцев, белые вырвались на поверхность и стали шаг за шагом теснить негров к корме. У грот-мачты их остановила баррикада из бочек и мешков, наваленных поперек палубы от борта до борта. Укрывшись за ней, черные искали передышки. Но матросы, не задерживаясь, перескочили через преграду и продолжали неотвратимо теснить врага. Негры отбивались уже из последних сил. Белолицые бились, сжав зубы и не произнося ни слова; еще несколько минут — и корабль был завоеван.

Не менее двух десятков негров было убито. Кое-кто пал от пуль, остальные же были посечены длинными клинками абордажных сабель — такие же увечья, наверно, наносили англичанам привязанные к палкам серпы шотландских горцев у Престонпенса. С противоположной стороны убитых не было, но имелись раненые, некоторые — тяжело, как, например, первый помощник капитана. Оставшихся в живых негров посадили под замок, и фрегат, отбуксированный шлюпками обратно в бухту, в полночь снова бросил якорь.

Не будем распространяться о последовавших событиях и приготовлениях, достаточно сказать, что, потратив два дня на починку «Сан-Доминика», оба судна вместе отплыли в чилийский порт Консепсьон, а оттуда в столицу Перу — Лиму, где вице-королевский суд подверг все происшествие, с начала и до конца, самому тщательному расследованию.

Примерно на полпути в состоянии многострадального испанца, освободившегося от страшного бремени, наметились было некоторые изменения к лучшему; но дурные предчувствия не оставляли его, и действительно, незадолго до прибытия в Лиму ему опять стало хуже, настолько, что на

берег его пришлось вынести на руках. Услышав его горестную историю, одно из многочисленных религиозных учреждений королевского города предложило ему пристанище, и там его окружили заботы врача телесного и врача духовного, а один из членов братии вызвался смотреть и ходить за ним днем и ночью.

Ниже предлагаются в переводе выдержки из официальных испанских документов, которые, как можно надеяться, прольют свет на предыдущее повествование и в первую очередь откроют истинный порт отплытия и правдивую историю плавания «Сан-Доминика» вплоть до того момента, когда он подошел к берегам острова Святой Марии.

Но выдержкам этим здесь следует предпослать одно предварительное замечание.

Цитируемый документ, отобранный нами среди многих других, содержит письменные показания Бенито Серено, первого свидетеля по названному делу. В них имеются подробности, вызвавшие поначалу у достопочтенных судей некоторое недоверие как по соображениям здравого смысла, так и по понятиям сугубо научным. Трибунал склонялся к мнению, что свидетелю, чей рассудок не мог не пострадать от пережи-

того, примерещилось кое-что, не имевшее в действительности места. Однако впоследствии показания оставшихся в живых матросов в отдельных весьма странных частностях совпали с рассказом капитана и послужили ему убедительным подтверждением. Так что трибунал, вынося смертные приговоры, основывался на данных, которые без неопровержимого подтверждения должен был бы отвергнуть как ложные.

* * *

Я, дон Хосе де Абос-и-Падилья, его королевского величества нотариус и протоколист этой Провинции, а также нотариус этой Крестоносной Епархии и т. д.

сим свидетельствую в соответствии с требованиями закона, что в уголовном деле, начатом двадцать четвертого числа сентября месяца в год одна тысяча семьсот девяносто девятый против сенегальских негров с транспорта «Сан-Доминик», в моем присутствии были даны следующие показания.

Показания первого свидетеля дона Бенито Серено.

В названный день названного месяца и года его честь доктор Хуан Мартинес де Досас, канц-

лер Верховного суда этого королевства, хорошо осведомленный о законах этой колонии, вызвал к себе капитана фрегата «Сан-Доминик» дона Бенито Серено, каковой и прибыл на носилках в сопровождении монаха Инфеликса; в присутствии дона Хосе де Абос-и-Падилья, нотариуса Крестоносной Епархии, с него была взята присяга именем господа бога и крестного знамения в том, что он будет говорить правду обо всем, что ему известно и что у него будут спрашивать; и, будучи спрошен, в соответствии с действующими правилами судопроизводства, о том, как было дело, показал, что

двадцатого мая минувшего года он вышел на своем судне из Вальпараисо и взял курс на Кальяо, имея на борту местные товары и сто шестьдесят негров обоего пола, принадлежавших главным образом дону Алехандро Аранде, дворянину из Мендосы; команда судна состояла из тридцати шести человек, и, сверх того, имелись еще пассажиры; негры были следующие:

(Далее в оригинале следует список, содержащий около пятидесяти имен и характеристик, почерпнутый из обнаруженных бумаг Аранды, равно как и из показаний свидетеля, из каковых отрывки здесь и приводятся.)

Один негр восемнадцати-девятнадцати лет по имени Хосе был личным слугой хозяина и после четырех-пяти лет службы свободно владел испанским языком… мулат по имени Франческо, стюард в капитанской каюте, имевший приятный вид и голос, раньше пел в церковном хоре Вальпараисо, сам родом из провинции Буэнос-Айрес, возраст — около тридцати пяти лет; смышленый негр Даго, долго работавший среди испанцев могильщиком, сорока шести лет; четверо стариков из Африки, лет шестидесяти — семидесяти, но крепкие, владеющие ремеслом конопачения, их имена: первый — Мури, он был убит (как и его сын Диамело), второй — Накта, третий — Иола, также убит, четвертый — Гофан; шесть взрослых негров в возрасте между тридцатью и сорока, совершенно дикие, из племени ашанти: Мартинки, Ян, Лекбе, Мапенда, Ямбайо, Аким, из них четверо были убиты… исполинский негр по имени Атуфал, который, как считалось, был у себя в Африке царем, и потому владельцы его высоко ценили… и малорослый негр, родом из Сенегала, но уже давно живший среди испанцев, возраст — лет тридцати, имя — Бабо… имена остальных негров свидетель не помнит, но полагает, что среди сохранившихся бумаг дона Алехандро их можно

будет найти; в этом случае они немедленно будут переданы суду; и, сверх того, еще тридцать девять женщин и детей всех возрастов.

(Здесь прилагается полный список негров, а далее идут снова показания свидетеля.)

…Все негры спали, как это принято у нас, прямо на палубе, и ни на ком не было оков, так как их владелец и друг свидетеля Аранда заверил его, что они все смирные. Но на седьмой после отплытия день в три часа утра, когда все испанцы, кроме двух вахтенных офицеров, а именно: боцмана Хуана Роблеса и плотника Хуана Батисты Гайете, а также рулевого с помощником, спали, негры вдруг взбунтовались, опасно ранили боцмана и плотника и убили восемнадцать человек из команды, спавших на палубе, одних зарубили топорами или закололи свайками, других, связав, побросали в море; из всей команды оставлены были связанными в живых человек семь для управления судном, и еще трое или четверо сумели спрятаться и также избегли смерти. Хотя мятежники завладели палубой и трапами, шестерых или семерых раненых они беспрекословно пропустили в кубрик: однако когда первый помощник вместе с еще одним человеком, чьего имени свидетель не припомнит, попытались под-

няться на палубу, на них сразу же напали, ранили и принудили возвратиться в кают-компанию; когда рассвело, свидетель решился подняться по капитанскому трапу и обратиться к негру Бабо, их главарю, и его помощнику Атуфалу; он призвал их прекратить зверства, спросил, чего они хотят и что намерены сделать, и сам выразил готовность подчиниться их распоряжениям; и тем не менее, прямо у него на глазах, они бросили за борт живьем трех связанных матросов и только потом сказали свидетелю, что он может подняться на палубу, они его не тронут; когда же он к ним вышел, негр Бабо осведомился у него, нет ли где-нибудь в тех морях негритянских стран, где они могли бы пристать к берегу; на что он ответил им отрицательно; тогда негр Бабо приказал ему доставить их в Сенегал или на близлежащие острова Святого Николая; свидетель возразил, что это невозможно, так как плыть туда очень далеко, надо обогнуть мыс Горн и пересечь Атлантический океан, а его судно плохо оснащено, на нем нет ни провизии, ни воды, ни парусины; но негр Бабо сказал, что так или иначе, но ему все равно придется их туда доставить и что они готовы подчиниться любым ограничениям в еде и питье; после длительных переговоров свиде-

тель вынужден был и в этом им покориться, так как они угрожали в противном случае перебить всех оставшихся белых на борту, он только сказал им, что на такое дальнее плавание им никак не хватит воды, необходимо подойти к берегу и пополнить свои запасы и лишь потом взять курс на Сенегал; негр Бабо на это согласился; свидетель направил судно в сторону берега, рассчитывая встретить какой-нибудь испанский или иностранный корабль, который их спасет; на десятый или одиннадцатый день показалась земля, и они некоторое время продолжали идти в виду побережья провинции Наска, однако негры начали беспокоиться и роптать на то, что он медлит, и негр Бабо потребовал от свидетеля, сопровождая свои слова угрозами, чтобы вода была принята на борт завтра же; свидетель же ему возразил, что берега здесь, как можно отчетливо видеть, обрывисты и круты, что рек, устья которых обозначены на его картах, обнаружить не удается, и так далее, и что поэтому правильнее всего будет дойти до острова Святой Марии, где можно, как делают иностранцы, беспрепятственно пополнить запасы воды и провизии, поскольку это остров необитаемый; свидетель сообщает, что не зашел в Писко, вблизи которого

они проплывали, и ни в какой другой порт на побережье, так как негр Бабо неоднократно угрожал ему перебить всех белых на борту, лишь только на берегу, к которому будет направлено судно, покажется город или селение; решившись же идти на остров Святой Марии, свидетель надеялся встретить по пути какой-нибудь спасительный корабль, а если нет, то убежать там и на шлюпке добраться до близлежащего побережья Арруко; в этих целях он изменил курс и направил судно к острову Святой Марии; между тем негры Бабо и Атуфал продолжали каждый день обсуждать между собой, какие меры им надо еще принять, чтобы осуществить свой план возвращения в Сенегал, следует ли им убить испанцев и, в частности, свидетеля; на восьмой день после того, как исчезло из виду побережье Наски, рано на рассвете, после очередного такого совещания негр Бабо поднялся к свидетелю на капитанский мостик и объявил ему, что они решили убить своего владельца дона Алехандро Аранду, во-первых, для того, чтобы обеспечить себе и своим товарищам свободу, но также и затем, чтобы держать в повиновении матросов, чтобы у них перед глазами было постоянное напоминание о том, какая судьба их ждет, если хоть кто-нибудь

из них вздумает сопротивляться его воле; смерть дона Алехандро необходима для такого наглядного урока; что именно он имел в виду при этом, свидетель тогда не понял, да и не мог бы понять; единственное, что ему было ясно, это что дону Алехандро угрожает смерть; более того, негр Бабо предложил свидетелю вызвать из каюты спавшего там штурмана Ранедса, с тем чтобы, как понял свидетель, во время акции опытный мореход не был убит вместе с доном Алехандро и остальными; свидетель, которому дон Алехандро был другом детства, напрасно умолял и уговаривал негра Бабо, тот ответил, что дело это решенное и будет выполнено и всякому испанцу, кто вздумает препятствовать его воле в этом или вообще в чем бы то ни было, грозит смерть; тогда свидетель вызвал своего штурмана Ранедса, того заставили стоять в стороне, а негр Бабо немедленно распорядился, чтобы Мартинки и Лекбе, чернокожие дикари из племени ашанти, спустились вниз и совершили убийство; дикари с топорами в руках убежали туда, где спал дон Алехандро; однако, изрубленного и полумертвого, выволокли его на палубу и собирались в таком виде выбросить за борт, но негр Бабо запретил это и велел умертвить их жертву на глазах у свидетелей, после чего по

его приказу тело унесли куда-то в носовой отсек трюма, и больше в течение последовавших трех дней его никто не видел… Свидетель рассказывает, что престарелый дон Алонсо Сидония, много лет проживавший в Вальпараисо, но недавно получивший государственную должность в Перу, куда и направлялся, спал напротив дона Алехандро; разбуженный криками последнего, он увидел негров с окровавленными топорами в руках, выбросился через иллюминатор в море и утонул, при этом свидетель не имел возможности ничем ему помочь… Негры же, убив Аранду, выволокли на палубу его кузена, пожилого дона Франсиско Масу из Мендосы, и юного Хоакина, маркиза де Арамбоаласа из Испании, с его испанским слугой Понсе, и трех молодых приказчиков Аранды: Хосе Мосаири, Лоренсо Баргаса и Эрменегильдо Гандиса, уроженцев Кадиса; из них дона Хоакина и Эрменегильдо Гандиса негр Бабо, в целях, которые обнаружились впоследствии, оставил в живых; дона же Франсиско Масу, Хосе Масаири и Лоренсо Баргаса и с ними слугу Понсе, а также боцмана Хуана Роблеса с помощниками Мануэлем Вискайя и Родериго Урта и еще четырех матросов негр Бабо распорядился живьем бросить в море, хотя они даже не сопротивлялись

и просили только о том, чтобы им пощадили жизнь; боцман Хуан Роблес, единственный среди них, кто умел плавать, продержался на воде дольше остальных, творя покаянную молитву и в последних словах заклиная свидетеля отслужить мессу Богоматери-Заступнице за упокой его души… В последовавшие три дня свидетель, лично не зная о том, какая судьба постигла останки дона Алехандро, много раз обращался к негру Бабо с вопросами о том, находятся ли они на борту и будут ли сохранены для предания земле, и заклинал его сделать соответствующие распоряжения, но негр Бабо ему не отвечал; на четвертый день на рассвете, когда свидетель вышел на палубу, негр Бабо указал ему на нос корабля — там вместо старой носовой фигуры открывателя Нового Света Христофора Колумба стоял человеческий скелет; негр Бабо спросил свидетеля, чьи, по его мнению, это кости и не думает ли он, судя по их белизне, что это кости белого человека; свидетель закрыл руками лицо, а негр Бабо, подойдя к нему вплотную, сказал ему, что отныне он должен верно служить неграм и доставить их в Сенегал, иначе душа его последует за тем, кто сейчас показывает путь его телу… В то утро негр Бабо отвел на нос всех по очереди оставшихся в живых испанцев

и каждого спрашивал, чей, по его мнению, там стоит скелет и не кажется ли ему по белизне костей, что это скелет белого; и каждый закрывал ладонями лицо, и тогда негр Бабо повторял каждому те слова, которые сказал свидетелю… потом он собрал всех испанцев на корме и произнес перед ними речь о том, что теперь дело полностью сделано, капитан теперь служит неграм, он может спокойно вести корабль куда нужно, но если он или кто-либо другой из испанцев скажет или замыслит худое против негров, преступники и душой и телом последуют по пути скорби за доном Алехандро; угрозу эту им повторяли потом каждый день; кроме того, незадолго перед описанным событием негры связали и хотели бросить в море корабельного кока за какие-то слова, которые он кому-то сказал, но потом негр Бабо, по ходатайству свидетеля, его помиловал; несколько дней спустя свидетель, не упуская ни одного способа спасти жизнь оставшимся на судне испанцам, обратился к неграм, призывая их к порядку и спокойствию и предлагая составить документы, под которыми подпишется он сам, все грамотные члены команды, а также негр Бабо — за себя и за всех негров, о том, что он, капитан, обязуется привести их корабль в Сенегал, а они

— никого больше не убивать, при этом он формально передавал корабль со всем грузом в их собственность; все это на какое-то время их удовлетворило и успокоило… Однако на следующий день по распоряжению негра Бабо, дабы окончательно отрезать матросам путь к спасению, были уничтожены все шлюпки, за исключением баркаса, который был непригоден к плаванию, и еще одного катера в хорошем состоянии, который должен был вскоре понадобиться для перевозки с берега бочек с пресной водой, и потому негр Бабо сохранил его и только спустил в трюм.

* * *

(Далее следует подробное описание трудного и долгого плавания, происходившего при бедственном безветрии, из этого описания здесь приводится один отрывок.)

…На пятый день штиля, когда все на судне страдали от жары и жажды и пятеро уже умерло в припадках буйного помешательства, негры сделались раздражительными и за какой-то ничего не значащий жест, который они сочли подозрительным, хотя в действительности совершенно безобидный, схватили и убили старшего штурмана Ранедса, когда он передавал свидетелю

секстан; однако об этом они вскоре пожалели, так как то был, не считая свидетеля, последний человек на судне, владевший искусством кораблевождения.

* * *

Опуская далее многие другие ежедневно происходившие события, рассказ о которых лишь попусту напомнил бы о минувших мучениях и бедах, свидетель сообщает, что на семьдесят четвертый день плавания, считая от того времени, как они потеряли из виду побережье Наски, терпя постоянный недостаток пресной воды и затяжной штиль, они наконец прибыли к острову Святой Марии, что произошло семнадцатого августа месяца около шести часов пополудни, и бросили якорь в непосредственной близости от американской шхуны «Холостяцкая услада» под командой великодушного капитана Амазы Делано, которая стояла в этой же бухте; однако бухту они впервые увидели еще в шесть часов утра того же дня, и когда в ней против ожидания замечено было судно, негры сильно забеспокоились, но негр Бабо утихомирил их и убедил, что они могут ничего не бояться; он сразу же распорядился, чтобы нос фрегата закрыли брезентом,

как будто там ведутся ремонтные работы, и навел кое-какой порядок на палубах; потом негр Бабо и негр Атуфал некоторое время совещались — негр Атуфал был за то, чтобы немедленно уйти из этой бухты, но негр Бабо с ним не согласился и один измыслил весь план дальнейших действий; он явился к свидетелю и приказал ему говорить и делать все то, что он затем говорил и делал на глазах у американского капитана… ибо негр Бабо угрожал ему, если он хоть в чем-то отклонится от его предписаний, скажет хоть одно слово, бросит хоть один взгляд, дающий понять об истинном положении вещей в настоящем и в прошлом, он, негр Бабо, его немедленно убьет, а с ним и всех его товарищей; он показал при этом кинжал, который носил при себе спрятанным, сказав что-то в том смысле, что нож будет так же проворен, как и глаз; после этого негр Бабо объяснил свой замысел сообщникам, и все остались довольны; дабы лучше скрыть правду, он придумал много мелких штрихов, порою сочетая в них обман с обороной; так, он посадил шестерых дикарей из племени ашанти, о которых говорилось выше и которые были у него главными головорезами, на краю юта как бы для того, чтобы начищать и точить топоры (ящики с которыми были среди

корабельных грузов), в действительности же затем, чтобы самим пустить их в дело и раздать остальным по его условному знаку; он же придумал представить Атуфала, своего ближайшего помощника, закованным в цепи, которые на самом деле он мог сбросить одним движением; при этом свидетель получил самые подробные указания, когда и при каких обстоятельствах что он должен говорить и как держаться, и в случае малейших отклонений ему угрожали немедленной смертью; одновременно, предвидя, что среди негров может начаться беспокойство, негр Бабо выбрал четырех престарелых негров, конопатчиков по ремеслу, и поручил им блюсти своей властью на палубах возможный порядок; он подробно наставлял как своих сообщников, так и испанцев, объясняя им свой замысел и все хитрости и знакомя их с той вымышленной историей, которую должен был излагать свидетель, чтобы никто не вступил с нею в противоречие; и все эти приготовления были задуманы и осуществлены за два или три часа — с того момента, как была замечена шхуна, и до появления на борту капитана Амазы Делано, что произошло около половины восьмого утра; капитан Амаза Делано прибыл в шлюпке и взошел на палубу,

встреченный всеобщей радостью; свидетель, изображавший, насколько это было в его силах, основного владельца и свободного капитана своего судна, на вопросы Амазы Делано ответил, что вышел из Буэнос-Айреса в Лиму, имея на борту три сотни негров, что в штормах у мыса Горн и потом от лихорадки многие из них умерли и те же бедствия унесли у него всех его помощников и бо`льшую часть матросов.

(Далее в показаниях свидетеля подробно описывается, как он, по требованию Бабо, обманывал капитана Делано, а также приводятся все дружественные предложения помощи, сделанные американским капитаном, и многое другое, но мы это опускаем. После описания обмана свидетель продолжает.)

Великодушный капитан Амаза Делано пробыл у них на судне целый день и оставил его лишь после того, как привел на якорную стоянку около шести часов вечера, и все это время свидетель поддерживал его в заблуждении, говоря о своих вымышленных бедах и не имея возможности ни единым словом, ни намеком открыть ему истинное положение вещей, ибо негр Бабо, исполнявший при нем роль заботливого слуги и якобы смиренного, покорного раба, ни на минуту

не отходил от свидетеля и следил за каждым его жестом и словом, так как он хорошо понимает по-испански; а кроме того, поблизости постоянно находились на страже и другие, столь же свободно владеющие испанским языком… Один раз, когда свидетель стоял на палубе и беседовал с Амазой Делано, негр Бабо тайным знаком отозвал его в сторону, придав этому действию такой вид, будто распоряжение исходило от свидетеля, после чего потребовал, чтобы тот добыл у Амазы Делано подробные сведения о его шхуне, экипаже и вооружении; свидетель спросил: «Для чего?» — и негр Бабо ответил, что он сам может догадаться; услышав о том, какая беда угрожает великодушному Амазе Делано, свидетель сначала отказался задавать ему требуемые вопросы и пытался, как мог, отговорить негра Бабо от его нового намерения; но негр Бабо показал ему кончик своего ножа; когда же сведения были получены, негр Бабо опять отозвал его и сообщил, что той же ночью он (свидетель) станет капитаном не одного, а двух кораблей, так как бо`льшая часть американской команды ушла на рыбную ловлю и его шестеро дикарей легко завладеют шхуной без чьей-либо помощи; свидетель опять пытался возражать, но все его доводы и просьбы остались безуспешны;

хотя до появления Амазы Делано у них на борту никаких разговоров о том, чтобы захватить американский корабль, не было, теперь свидетель был бессилен помешать их намерению… Здесь память его несколько слабеет и путается, кое-что он не может вспомнить с достаточной отчетливостью… Но как только в шесть часов вечера они бросили якорь, о чем уже упоминалось выше, американский капитан с ним простился и собрался возвратиться на свой корабль; и тогда, повинуясь внезапному побуждению, которое, по мнению свидетеля, было внушено ему богом и его ангелами, он, уже обменявшись с великодушным капитаном Делано словами прощания, вышел вслед за ним и довел его до самого борта, где и оставался, якобы провожая гостя, до тех пор, пока Амаза Делано не уселся на кормовую банку своей шлюпки, и в последнее мгновение, когда гребцы уже отпихнулись веслами от борта, свидетель спрыгнул сверху и, сам не зная как, упал в шлюпку, хранимый господом…

(Здесь в оригинале следует подробный рассказ о том, при каких обстоятельствах был осуществлен побег, и как был потом отбит у негров «Сан-Доминик», и как протекало дальнейшее плавание, попутно приводятся многократные выражения

«вечной благодарности» «великодушному капитану Амазе Делано», после чего в заключение свидетель, в соответствии с требованием суда, перечисляет поименно кое-кого из негров, дабы определить степень личного участия каждого из них в описанных событиях и дать суду основание для вынесения приговоров. Из этого раздела приводится нижеследующий отрывок.)

Свидетель полагает, что все негры, не будучи вначале посвящены в заговор, когда бунт произошел, отнеслись к нему одобрительно… Негр Хосе, восемнадцати лет, бывший в личном услужении у дона Алехандро, еще до бунта передавал негру Бабо сведения обо всем, что происходило внизу, он по нескольку раз в ночь покидал свою койку, находившуюся в каюте непосредственно под койкой его хозяина, и выходил на палубу к главарю негров и его сподвижникам и вел с ними тайные переговоры, и были случаи, когда он попадался на глаза вахтенному помощнику капитана; так, в одну ночь помощник капитана дважды прогонял его с палубы… этот же самый негр Хосе, не получив на то специального распоряжения от негра Бабо, как Лекбе и Мартинки, тем не менее лично дорезал своего господина дона Алехандро, когда того полумертвым выволокли на палубу…

Стюард-мулат Франческо был у бунтовщиков из главарей, он душой и телом был предан негру Бабо, выполняя все его замыслы; и даже, ища его благосклонности, предложил во время обеда в капитанской каюте отравить пищу великодушного капитана Амазы Делано, об этом известно по рассказам самих негров; однако Бабо, имея другие намерения, запретил Франческо это делать… Дикарь Лекбе был из самых злостных, в тот день, когда отбили «Сан-Доминик», он принимал участие в обороне, держа по топору в обеих руках, и одним топором ранил в грудь помощника американского капитана, лишь только тот ступил на палубу, об этом знают все; кроме того, на глазах у свидетеля негр Лекбе ударил топором дона Франсиско Масу, когда по приказу негра Бабо тащил его, чтобы выбросить живьем за борт; не говоря о его участии в убийстве дона Алехандро Аранды и остальных каютных пассажиров; все шестеро дикарей в абордажном бою дрались с особой яростью, в результате чего в живых остались только Лекбе и Ян; этот Ян был ничуть не лучше Лекбе; это он вызвался по приказу Бабо приготовить скелет дона Алехандро, что и исполнил способом, который негры потом описали свидетелю, но о котором он, пока остается в здравом

уме, говорить не может; это он вдвоем с Лекбе темной безветренной ночью установил скелет на носу фрегата, так говорили свидетелю негры; надпись же у подножия скелета сделал негр Бабо; негр Бабо с самого начала возглавил заговор, был его душой и руководящей волей, убийства совершались только по его приказанию, и весь бунт держался на нем; Атуфал во всем был его верным помощником, но своей рукой убийств не совершал, и негр Бабо тоже… Атуфал был убит мушкетной пулей из американской шлюпки… Известно также, что все взрослые негритянки были посвящены в заговор и выражали удовлетворение в связи со смертью своего хозяина дона Алехандро; более того; будь на то их воля, они бы каждого обреченного приказами Бабо испанца не просто убивали, а готовы были своими руками истязать до смерти; они же всячески добивались и смерти свидетеля; и каждый раз при совершении убийства пели и плясали — не весело, а торжественно; так, перед началом абордажного боя и в течение его они пели неграм заунывные песни, и это заунывное пение распаляло негров больше, чем какое-либо другое, именно для этого оно и предназначалось; все вышесказанное известно со слов самих негров.

Всего же из тридцати шести человек экипажа — не считая пассажиров, которые, насколько свидетелю известно, все убиты, — в живых осталось только шесть, в том числе четверо юнг… одному юнге негры сломали руку и нанесли удары топорами.

(Далее следуют отдельные разъяснения, относящиеся к разным моментам происходившего. Некоторые из них здесь приводятся.)

Во время пребывания капитана Амазы Делано на судне было сделано несколько попыток открыть ему глаза на истинное положение вещей; однако попытки эти остались безуспешными из-за страха немедленной смерти, за них угрожавшей, и из-за многих хитростей, рассчитанных на то, чтобы производить обратное впечатление, но также и из-за великодушия и благочестия достойного Амазы Делано, который был не способен представить себе столь низкого злодейства. Так, среди тех, кто пытался привлечь внимание капитана Делано, был Луис Гальего, матрос лет шестидесяти, прежде служивший в королевском военном флоте; действия его, хотя и не разоблаченные, вызвали у негров подозрение, и они, под каким-то предлогом уведя его с палубы, затащили его в трюм и там убили; это стало потом известно

от самих же негров… Один юнга не сумел или не догадался скрыть надежд на избавление, которые у него возродились с появлением на судне капитана Амазы Делано, и даже позволил себе об этом какое-то замечание, которое было услышано и понято молодым рабом, сидевшим с ним вместе за едой, тот в ярости ударил юнгу ножом по голове и нанес ему серьезную рану, но теперь юнга уже почти оправился; подобным же образом другой моряк подверг себя опасности, позволив неграм заметить проблеск надежды в выражении его лица, этому человеку благодаря проявленной им крайней осмотрительности удалось, однако, спастись… Перечисленные случаи приводятся здесь для того, чтобы суд мог видеть, что с самого начала бунта у свидетеля и всех остальных не было ни малейшей возможности вести себя иначе, чем они себя вели… третьего приказчика Эрменегильдо Гандиса поселили в кубрике с матросами и заставили носить матросскую одежду, так что и с виду его ничем нельзя было от них отличить; его убили по недоразумению двумя выстрелами из мушкета, когда американские шлюпки подходили к фрегату, так как в страхе он вскарабкался высоко по бизань-вантам и кричал оттуда американцам: «Не причаливайте!» — опа-

саясь, что, если они пойдут на абордаж, негры его убьют; американцы же подумали, что он на стороне негров, и подстрелили его, и он, упав в море, утонул… Юный дон Хоакин, маркиз де Арамбаоласа, так же как и третий приказчик Эрменегильдо Гандис, был низведен в положение простого матроса; один раз, когда он побрезговал какой-то работой, негр Бабо приказал дикарю Лекбе разогреть деготь и вылить дону Хоакину на руки… дон Хоакин тоже был убит американцами по ошибке, избежать которую, однако, не было возможности: когда шлюпки подошли к фрегату, негры вывели дона Хоакина и поставили у борта; к обеим его рукам были привязаны острые топоры, так что, видя его в такой позиции, американцы, естественно, приняли его за переметнувшего матроса и застрелили… На теле убитого дона Хоакина был обнаружен потом спрятанный бриллиант, предназначавшийся, как явствовало из найденных бумаг, для алтаря Богоматери-Заступницы в Лиме, — заранее приготовленный и тщательно оберегаемый дар, который он, согласно обету, должен был принести в благодарность за счастливое завершение плавания из Испании в Перу… Бриллиант этот вместе с остальным имуществом покойного дона

Хоакина находится в настоящее время на хранении у святых братьев и ждет решения высокого суда… Из-за болезненного состояния, в котором находился свидетель, а также по причине спешки, с какой уходили на «Сан-Доминик» шлюпки, американцы остались не предупреждены о том, что среди команды фрегата есть переодетые негром Бабо пассажир и один из приказчиков… Помимо тех негров, которые погибли в схватке, еще несколько было убито ночью уже после того, как отбитый фрегат был поставлен на якорь, когда их стали выводить и по одному приковывать к палубным рымам; сделали это матросы, прежде чем их удалось остановить. Но как только капитан Делано услышал об этом, он употребил для пресечения всю свою власть и даже лично ударил и сбил с ног матроса Мартинеса Голу, который в кармане бывшей своей куртки, надетой на одного негра, нашел бритву и пытался этой бритвой перерезать негру горло; точно так же великодушный капитан Амаза Делано отнял нож у Бартоломео Барло, этот нож был у него спрятан со дня резни белых, и он пытался зарезать им закованного в цепи негра, который утром того самого дня вдвоем с еще одним чернокожим швырнул его на палубу и топтал ногами…

Всего, что происходило на судне за долгое время владычества негров, свидетель пересказать здесь не в силах; однако показания его касаются самого основного из того, что он может сейчас припомнить, и являются истинной правдой в соответствии с данной им присягой. Настоящую запись, зачитанную ему, свидетель выслушал и подтверждает.

О себе он сообщил: что имеет от роду двадцать девять лет и разбит душой и телом; что, освободившись от этого судебного процесса, он не вернется домой в Чили, а поселится в монастыре, что на горе Агонии за чертой города; и, поклявшись честью в том, что все это правда, и осенив себя крестом, отбыл, как и прибыл, на носилках вместе с монахом Инфеликсом в свое временное местопребывание — лазарет Святых Церковников.

Бенито Серено.

Доктор Росас.

Если считать, что показания Бенито Серено послужили ключом к замку загадок, ему предшествовавших, в таком случае «Сан-Доминик» можно уподобить теперь тайному склепу, двери которого наконец оказались распахнутыми.

До сих пор природа нашего повествования

требовала, помимо неизбежного запутанного начала, еще и нарушения последовательности в изложении событий; они излагались здесь в обратном порядке, а иногда и вовсе просто без всякого порядка; последнее справедливо и в отношении тех оставшихся абзацев, которые заключают весь рассказ.

Во время долгого благополучного плавания до Лимы были, как уже говорилось, несколько дней, когда к дону Бенито начало было понемногу возвращаться здоровье или по крайней мере душевное спокойствие. И пока вновь не наступило ухудшение, между двумя капитанами много раз происходили самые задушевные беседы, которые братской непринужденностью так разительно отличались от прежней искусственной замкнутости.

В этих беседах не единожды было повторено, как трудна была для испанца роль, которую навязал ему Бабо.

— Ах, дорогой мой дон Амаза, — сказал как-то дон Бенито, — в то самое время, когда вы находили меня угрюмым и неблагодарным, когда, более того, вы, по собственному признанию вашему, готовы были заподозрить во мне вашего будущего убийцу, — в то время сердце мое сжималось и хо-

лодело, — я не мог глядеть вам в лицо, терзаемый мыслью о том, какая страшная угроза нависла над моим благодетелем. И, клянусь Богом, дон Амаза, едва ли один страх за собственную жизнь заставил бы меня совершить тот прыжок в вашу шлюпку, меня подвигло сознание, что, если вы, мой лучший друг, ничего не ведая, вернетесь к себе на корабль, в ту же ночь на вас и на всех, кто с вами, нападут, когда вы будете спать на своих койках, и вы никогда уже больше не проснетесь на этом свете. Вообразите себе на мгновение, ведь вы ходили по палубе, сидели в каюте, а под вами был настоящий пороховой погреб. Один мой намек, одна отдаленнейшая попытка к взаимопониманию между нами, и смерть, мгновенная смерть — и моя, и ваша — была бы завершением этой сцены.

— Правда, это правда! — воскликнул, вздрогнув, капитан Делано. — Вы спасли мне жизнь, дон Бенито, а не я вам. Спасли при полном моем неведении и даже противодействии.

— Нет, друг мой, — возразил испанец с почти религиозной учтивостью. — Вас хранил Господь, а меня спасли вы. Когда только подумаю, как вы себя вели, — о ваших улыбках и насмешках, о неосторожных словах и жестах! — за меньшее

они убили моего штурмана Ранедса. Но у вас была охранная грамота царя небес, и с нею вы счастливо прошли через все опасности.

— Да, я знаю, во всем воля Провидения, но в то утро у меня было особенно хорошее расположение духа, а зрелище чужих бедствий — хоть и притворных, — по счастью, добавило к моему природному добродушию еще толику сострадания и милосердия. Иначе, несомненно, какое-нибудь неудачное слово, обращенное мною к неграм, привело бы, как вы говорите, к плачевной развязке. Притом же эти три чувства глушили всякое возникавшее у меня подозрение — когда за понимание правды я мог бы поплатиться жизнью, даже не спасши взамен жизни чужой. Лишь под самый конец подозрения мои возобладали, но вы знаете, как далеки от истины они оказались.

— Действительно, далеки, — грустно ответил дон Бенито. — Подумать только, вы провели со мною вместе целый день, стояли и сидели рядом, разговаривали, смотрели на меня, пили и ели со мной за одним столом, и, однако же, после всего этого вы схватили меня за горло, почтя негодяем человека не только невиновного, но и самого жалкого из смертных. Вот каково могущество

злого обмана. Вот как могут заблуждаться даже лучшие из людей, судя о поступках другого, чье положение им известно не до самых последних глубин. Но ваше заблуждение было вынужденным, и вы своевременно прозрели правду; жаль, что так бывает не всегда и не со всеми.

— Мне кажется, я вас понимаю, дон Бенито, вы делаете обобщения, и довольно печальные. Но ведь прошлое прошло — к чему выводить из него мораль? Забудем о нем. Взгляните, это яркое солнце ничего не помнит, и синее небо, и синее море тоже; они начинают жить наново.

— Потому что у них нет памяти, — грустно прозвучало в ответ. — Потому что у них нет души.

— Но разве не задушевны эти теплые пассаты, дон Бенито, разве своим ласковым прикосновением не приносят они исцеления и вашей душе? Верные друзья пассаты, они отличаются постоянством и теплотой.

— Их постоянство лишь стремит меня к моей могиле, сеньор, — последовал вещий ответ.

— Дон Бенито, вы спасены! — с болью и удивлением воскликнул капитан Делано. — Вы спасены, дон Бенито. Откуда же падает на вас эта тень?

— От негра.

И мрачный человек умолк, задумчиво кутаясь

в плащ, точно в гробовые пелены.

В тот день их разговор больше не возобновлялся.

Но если печальный испанец иной раз умолкал, когда речь заходила о предметах, подобных вышеупомянутому, были и другие предметы, о которых он не говорил никогда, при упоминании о которых к нему возвращалась вся его прежняя замкнутость. Об этом да умолчим, лишь один или два примера попроще послужат необходимым разъяснением. Богатое, пышное платье, бывшее на нем в тот день, когда происходили описанные события, надел он не по своей доброй воле. И шпага с серебряной рукоятью, этот символ деспотической власти, в действительности даже не была шпагой, но лишь ее оболочкой — твердые ножны были пусты.

Что же до негра, чей мозг — но только мозг, а не тело — был центром всего заговора и мятежа, то, схваченный в лодке, он сразу же подчинился превосходящей мускульной силе. Убедившись, что все кончено, он не произнес больше ни слова, и заставить его нарушить молчание было невозможно. Он словно говорил своим видом: раз мне недоступно действие, к чему слова? В трюме, закованный в цепи, он вместе с остальными был

доставлен в Лиму. Дон Бенито во время плавания ни разу не спустился к нему. Ни тогда, ни потом он не хотел его видеть. Когда его попросили об этом в суде — отказался. Когда судьи настояли — упал в обморок. Так что законное опознание личности Бабо было произведено лишь по свидетельству матросов. При этом в разговоре испанец иногда упоминал негра, как было показано выше. Но смотреть на него он не хотел — или не мог.

Через несколько месяцев, привязанный к хвосту мула, негр был доставлен прямо под виселицу и так принял безгласную смерть. Тело его испепелили в огне, но долго еще его голова торчала на шесте над городской площадью, дерзко встречая взоры белых; и мертвыми глазами глядя через площадь, туда, где в склепе под церковью Святого Варфоломея покоились, как покоятся и ныне, спасенные кости Аранды; и еще дальше, через реку Римак, где на горе Агонии за городской чертой стоит монастырь, откуда через три месяца после окончания суда Бенито Серено на катафалке и впрямь последовал за тем, кто вел его путем скорби.

Писец Бартлби

Я человек уже немолодой. По роду моих занятий мне за последние тридцать лет довелось близко познакомиться с любопытным и довольно-таки своеобычным разрядом людей, о которых, сколько мне известно, ничего до сих пор не написано. Я имею в виду писцов, то есть переписчиков судебных бумаг. Я знавал их великое множество, как по должности, так и в частной жизни, и при желании мог бы рассказать не одну историю, которая вызвала бы у благодушных людей улыбку, а у чувствительных женщин — слезы. Однако я оставляю в стороне биографии всех других писцов ради нескольких страниц из жизни Бартлби — самого странного писца, какого я видывал или о каком слыхивал на своем веку. Что касается других, я мог бы дать их полное жизнеописание, но с Бартлби об этом и думать нечего. Полную биографию этого человека просто не из чего сложить. Это — непоправимая утрата для литературы. Бартлби был одним из тех людей, о которых ничего нельзя установить с точностью, разве что из документальных источников, а таковые в дан-

ном случае почти отсутствуют. О Бартлби я знаю только то, что, к великому моему удивлению, видел собственными глазами, если, впрочем, не считать одного непроверенного слуха, о котором речь пойдет в своем месте.

Прежде нежели познакомить читателя с Бартлби, каким я впервые увидел его, мне следует сказать несколько слов о себе, о моих служащих, моем деле, моей конторе и всей обстановке, меня окружающей: без такого описания главное действующее лицо моего рассказа может оказаться вовсе непонятным.

Итак, я — человек, с молодых лет проникшийся твердым убеждением, что из всех путей в жизни предпочтительнее самый спокойный. А поэтому, хотя представители моего сословия и вошли в поговорку как люди деятельные и нервозные, а порою даже неуравновешенные, сам я превыше всего ценю и оберегаю свой душевный покой. Я — один из тех скромных, не зараженных честолюбием юристов, которые никогда не выступают в суде, не гоняются за рукоплесканиями, но в прохладной тишине своей солидной конторы ведут солидные дела богатых людей — устанавливают право собственности, составляют купчие и закладные. Все, кто меня знает, считают

меня самым надежным человеком. Покойный Джон Джейкоб Астор, личность, заведомо чуждая поэтических восторгов, решительно заявил однажды, что первое мое великое достоинство — осмотрительность, а второе — методичность. Говорю это не из тщеславия, а лишь отмечая то обстоятельство, что покойный Джон Джейкоб Астор тоже пользовался моими услугами. Сознаюсь, мне приятно повторять это имя — в нем есть что-то законченное, округлое, напоминающее звон золотых монет. Охотно добавлю, что доброе мнение покойного Джона Джейкоба Астора для меня в высшей степени лестно.

Незадолго до того времени, когда начинается эта история, круг моих занятий значительно расширился. На меня была возложена старинная и благородная должность, ныне отмененная в штате Нью-Йорк, — должность члена совестного суда, не слишком обременительная, однако же приносившая весьма приятный доход. Я редко выхожу из себя; еще реже даю я волю опасному возмущению всяческим злом и беззаконием; но здесь я позволю себе некоторую резкость и прямо скажу, что столь неожиданную отмену должности члена совестного суда по новой конституции считаю, черт возьми, мерой преждевременной:

ведь я рассчитывал пожизненно получать с нее доход, пользовался же этим доходом всего каких-то несколько лет. Но это между прочим.

Контора моя помещалась на Уолл-стрит, в доме под номером**. С одной стороны окно ее выходило в просторный белый колодец со стеклянной крышей, прорезавший все здание сверху донизу. Можно, конечно, сказать, что вид из этого окна был скучноватый; художник-пейзажист сказал бы, что в нем «мало жизни». Но недостаток этот сторицею возмещался видом, открывавшимся из моей конторы в противоположную сторону. Здесь перед окнами расстилался ничем не заслоненный вид на высокую кирпичную стену, почерневшую от времени и никогда не освещаемую солнцем; для того чтобы рассмотреть все ее красоты, не требовалось даже подзорной трубы, ибо воздвигнута она была, для удобства близоруких зрителей, на расстоянии десяти футов от моих окон. А поскольку окружающие здания были весьма высокие, моя же контора помещалась всего на втором этаже, то пространство между этой стеной и нашим домом сильно напоминало огромный квадратный ствол шахты.

В пору, предшествовавшую появлению Бартлби, у меня служили два переписчика и подающий

надежды мальчик на побегушках: Индюк, Кусачка и Имбирный Пряник. Могут возразить, что таких имен не найти ни в одном справочнике. Но это и были не имена, а клички, которые трое моих служащих дали друг другу, тем самым, как им казалось, определяя наружность или нрав каждого из них. Индюк был низенький толстенький англичанин примерно одного со мною возраста, то есть лет около шестидесяти. По утрам лицо его, можно сказать, радовало своим здоровым румянцем, но после полудня — в этот час он обедал — оно пылало, как угли в камине на рождество, и продолжало пылать, хотя и все менее жарко, до шести часов вечера, после чего я уже не видел обладателя этого лица, которое, достигая своего зенита вместе с солнцем, как будто с ним вместе и закатывалось, а на следующий день опять всходило, поднималось и клонилось к закату во всей своей непреходящей славе. Мне довелось наблюдать в жизни немало странных совпадений, среди которых не последним было, что именно с той минуты, когда красная, блестящая физиономия Индюка начинала излучать самое жаркое сияние, ценность его как работника значительно убывала на все остальное время суток. И не то чтобы он начинал бездельничать

или отлынивать от работы. Напротив того, скорее он проявлял излишнее рвение. Им овладевала какая-то странная, лихорадочная, суетливая, бесшабашная жажда деятельности. Он макал перо в чернильницу, не глядя, что делает. Все кляксы, какие он посадил на моих бумагах, были посажены после полудня. Мало того. После полудня он не только забывал об осторожности и сажал кляксы, но порой шел дальше — поднимал шум. И лицо его в такие дни пылало жарче обычного, словно бы поверх антрацита насыпали еще кеннельского угля. Он со стуком переставлял свой стул, опрокидывал песочницу; принимаясь чинить перья, от нетерпения расщеплял их и в запальчивости швырял на пол; вставал и, наклонившись над своим столом, ворошил и расшвыривал бумаги, что уж вовсе не пристало такому пожилому человеку. Однако ж, поскольку был он во многих отношениях мне полезен и с утра до полудня писал не отрываясь и весьма быстро, так что успевал сдать очень много работы, притом безупречно выполненной, — по всем этим причинам я смотрел сквозь пальцы на его чудачества, хотя подчас и выговаривал ему. Делал я это, впрочем, очень мягко, потому что он, будучи по утрам самым вежливым, более того,

самым кротким и почтительным человеком, во второй половине дня становился по малейшему поводу несколько невоздержан на язык, а вернее сказать — дерзок. И поскольку я очень ценил его утреннюю работу и ни в коем случае не хотел ее лишаться, а с другой стороны, его буйное поведение после полудня было мне очень уж не по душе и поскольку я, как человек мирный, не хотел своими замечаниями вызывать его на неприличные споры, я и решился очень деликатно намекнуть ему как-то в субботу (по субботам он бывал хуже всего), что он-де стареет и не лучше ли ему сократить свой рабочий день; иными словами, что он может впредь не возвращаться в контору после полудня, а, пообедав, идти домой и отдыхать до вечернего чая. Но нет: он не пожелал отказаться от послеполуденных трудов. Лицо его приняло нестерпимо огненный оттенок, и, жестикулируя длинной линейкой, он стал велеречиво уверять меня с другого конца комнаты, что ежели утром его услуги мне нужны, так после обеда они тем более совершенно необходимы.

— Осмелюсь сказать, сэр, — заявил мне Индюк по этому случаю, — я считаю себя вашей правой рукой. Утром я только собираю и строю свои войска; а после обеда я становлюсь во главе их

и храбро атакую неприятеля — вот так. — И он сделал бойкий выпад линейкой.

— Но кляксы, Индюк, — тихо напомнил я.

— Да, верно, но осмелюсь сказать, сэр, взгляните на мои седины. Я старею. Неужели же, сэр, одна-две кляксы в жаркий день не простятся этим сединам? Старость почтенна, даже несмотря на кляксы. Осмелюсь сказать, сэр, мы оба стареем.

Трудно было устоять против таких доводов. Во всяком случае, я понял, что добром он не уйдет. И решил оставить его, но последить за тем, чтобы во второй половине дня самые важные мои бумаги к нему не попадали.

Другой мой клерк, Кусачка, был молодой человек лет двадцати пяти, довольно-таки пиратского вида, с желтым лицом и с бородой. Я всегда полагал, что им владеют две злые силы: честолюбие и несварение желудка. Честолюбие проявлялось в некотором презрении к обязанностям рядового переписчика и в предосудительных попытках заняться чисто профессиональными делами — например, составлением судебных бумаг. Несварение желудка сказывалось по временам в нервной раздражительности, заставлявшей его, при всякой ошибке в переписывании, громко скрежетать зубами; в ненужных проклятиях,

которые в самый разгар работы вырывались у него не как слова, а скорей как шипение; и главное — в том, что он никогда не бывал доволен высотою стола, за которым работал. При всей своей изобретательности Кусачка никак не мог приспособить этот стол себе по вкусу. Он подкладывал под него щепки, чурбашки, куски картона, даже испробовал хитроумное приспособление из сложенных листов промокательной бумаги, но ничто его не удовлетворяло. Если он, чтобы не напрягать спину, поднимал крышку стола под углом к самому подбородку и писал так, словно столом ему служила острая крыша голландского дома, — тогда он заявлял, что у него останавливается кровообращение в плече и руках. Если он опускал стол до уровня своей талии и писал согнувшись крючком, у него начинала жестоко ныть спина. Словом, дело было в том, что Кусачка сам не знал, чего ему нужно. А если ему что и нужно было, так это вовсе избавиться от стола, за которым переписывают бумаги. Его болезненное честолюбие выражалось, между прочим, и в том, что он любил принимать каких-то сомнительных посетителей в изношенных сюртуках, которых называл своими клиентами. Более того, мне было известно, что он не только занимается иногда

мелкими политическими махинациями, но по временам обделывает кое-какие делишки в суде или торчит у дверей Гробницы. Однако у меня имеются основания полагать, что один из субъектов, явившихся к нему в мою контору, о котором он с важностью отзывался как о клиенте, был попросту кредитором, а юридический документ, им принесенный, самым обыкновенным счетом. Но при всех своих недостатках, на которые я частенько досадовал, Кусачка, так же как и его соотечественник Индюк, был мне очень полезен; писал он быстро и аккуратным почерком и, когда давал себе труд, умел держаться не без благородства. К тому же он всегда был одет как подобает джентльмену и этим косвенно способствовал доброй славе моей конторы. Что же касается Индюка, то, если б я не держал ухо востро, он мог серьезно повредить моей репутации. Платье его вечно лоснилось и пахло трактиром. Панталоны в летнюю пору сидели мешком. Сюртуки были из рук вон, к шляпе прикоснуться противно. Но шляпа его была мне безразлична, поскольку он, как из врожденной вежливости, так и по скромному своему положению, снимал ее, не успев войти в комнату. Не то сюртук — о сюртуках его я неоднократно заводил разговор, но без всякого толку.

Дело, вероятно, заключалось в том, что ему было просто не по карману щеголять одновременно и таким лучезарным лицом, и в лучезарных сюртуках. По остроумному замечанию Кусачки, свои деньги Индюк тратил главным образом на красные чернила. И вот однажды зимой я подарил Индюку вполне приличный сюртук со своего плеча — серый сюртук на вате, необыкновенно теплый и с застежкой от колен до самого горла. Я надеялся, что Индюк оценит такое внимание и умерит свое буйное поведение в послеобеденные часы. Но нет. Я даже склонен к мысли, что этот мягкий и теплый стеганый сюртук возымел на него пагубное действие — ведь известно же, что лошадь вредно перекармливать овсом. Да, да, точно так же, как про норовистую лошадь говорят, что она бесится от овса, так Индюк стал беситься от нового сюртука. Он сделался положительно дерзок. Он был из тех людей, которым довольство не впрок.

Насчет тайных грешков Индюка у меня давно сложилось свое мнение, зато в отношении Кусачки я был твердо убежден, что при всех прочих своих пороках он был по крайней мере человеком непьющим. Но сама природа, казалось, взялась быть при нем виноторговцем и при рождении

столь щедро наделила его раздражительным, спиртуозным нравом, что никаких последующих возлияний ему уже не требовалось. Когда я вспоминаю, как в тишине моей конторы Кусачка, бывало, внезапно вскакивал с места и, согнувшись над своим столом, широко раскинув руки, хватал его и принимался со скрипом и стуком возить по полу, словно бы стол этот был злобным одушевленным существом, взявшим за правило во всем поступать ему наперекор, мне становится ясно, что ни в каких горячительных напитках Кусачка не нуждался.

На мое счастье, раздражительность и нервозность Кусачки, в силу особой своей причины — несварения желудка, проявлялись главным образом по утрам, тогда как во вторую половину дня он вел себя более или менее смирно. Таким образом, поскольку Индюк начинал куражиться лишь после полудня, мне не приходилось терпеть их чудачества одновременно. Приступы их сменяли друг друга, как караул. Когда накатывало на Кусачку, Индюк был тих, и наоборот. И естественный этот порядок вполне меня удовлетворял.

Третий мой подчиненный, Имбирный Пряник, был мальчуган лет двенадцати. Отец его, ломовой извозчик, лелеял честолюбивую мечту еще

при жизни увидеть своего сына не на козлах, а в судейском кресле. Поэтому он определил его ко мне в контору изучать право, а также быть на побегушках и подметать помещение за плату один доллар в неделю. У мальчика был в конторе свой столик, но он мало им пользовался. В ящике этого стола при осмотре обнаружилось большое количество ореховой скорлупы. В самом деле, для этого сметливого юнца вся высокая наука права как будто сводилась к щелканью орехов.

Одной из важнейших обязанностей Имбирного Пряника, которую он к тому же выполнял особенно ретиво, было поставлять Индюку и Кусачке яблоки и прочую снедь. Переписывание судебных бумаг — работа, как известно, иссушающая, и оба моих писца любили промочить горло сочным зимним яблоком, какие во множестве продавались с лотков близ таможни и главного почтамта. Нередко они посылали мальчишку и за теми особыми пряниками — маленькими, плоскими, круглыми и очень острыми на вкус, — от которых и пошло его прозвище. Когда выдавалось утро посвободнее, Индюк уплетал эти пряники дюжинами, как облатки, — их и продают-то по шесть, если не по восемь штук на цент, — и скрип его пера сливался с аппетитным хрустом пряника

на зубах. Из всех оплошностей, какие Индюк допустил в пылу послеобеденной горячки, мне особенно запомнилось, как он однажды подышал на имбирный пряник и пришлепнул его на закладную вместо печати. В тот раз я совсем было его рассчитал. Однако он умилостивил меня, отвесив мне изысканный восточный поклон и заявив:

— Осмелюсь сказать, сэр, с моей стороны это даже щедрость — ведь я за свой счет снабжаю вас канцелярскими принадлежностями.

Повторяю: когда получил я должность члена совестного суда, прежний круг моих обязанностей — как нотариуса, ходатая по имущественным делам и составителя всяких сложных документов — значительно расширился. И переписки прибавилось соответственно. Мало того, что приходилось торопить клерков, которые уже работали у меня, но потребовалась и дополнительная помощь. И вот, в ответ на помещенное мною объявление, в дверях моей конторы, раскрытых настежь, благо время было летнее, возник неподвижный молодой человек. Как сейчас, он стоит у меня перед глазами — аккуратный и бледный, до жалости чинный, безнадежно несчастный. Это был Бартлби.

После нескольких вопросов касательно его подготовки я нанял его, довольный тем, что среди моих писцов будет человек, по виду столь положительный, который, как я надеялся, благотворно повлияет на ветреного Индюка и неистового Кусачку.

Я забыл рассказать, что контора моя состояла из двух комнат, соединенных между собой двустворчатой дверью с матовым стеклом; одну из комнат занимали мои переписчики, другую — я сам; дверь же я держал то отворенной, то закрытой — как мне было удобнее. Бартлби я решил посадить в углу возле двери, но в своей комнате, чтобы этот спокойный человек всегда был под рукой, если он мне потребуется для какого-нибудь поручения. Я поставил для него стол у бокового окошка, из которого некогда открывался вид на грязные задние дворы, теперь же, с постройкой новых домов, не открывалось никакого вида, но все же проникал свет. В трех футах от окошка была стена, так что свет шел сверху, между двух высоких зданий, словно из небольшого отверстия в куполе собора. Для полного удобства я отгородил тот угол зелеными ширмами, которые совершенно скрывали Бартлби от моих глаз, хотя голос мой он всегда мог слышать. Так мне удалось

сочетать обособленность и приятное общество.

Сначала Бартлби писал невероятно много. Он, казалось, изголодался по переписке и буквально пожирал мои бумаги, не давая себе времени их переваривать, работал без передышки, и при дневном свете, и при свечах. Усердие его радовало бы меня еще больше, будь он повеселее. Но он писал молча, безучастно, как машина.

В обязанности переписчика входит, разумеется, и проверка написанного им, слово за словом. Когда в конторе двое или больше писцов, они помогают в этом друг другу: один читает копию, другой следит по оригиналу. Дело это скучное, томительное и усыпляющее. Я легко могу себе представить, что некоторым людям сангвинического темперамента оно было бы просто не под силу. Так, например, едва ли столь горячий и беспокойный человек, как поэт Байрон, уселся бы по своей воле проверять с Бартлби юридический документ, страниц этак на пятьсот, исписанных убористым кудрявым почерком.

Временами, когда работа бывала спешная, я сам сличал какой-нибудь короткий документ, вызывая в помощь себе Индюка или Кусачку. Поместив Бартлби за ширмами так близко от себя, я, между прочим, имел в виду пользоваться его услугами

в таких вот пустячных случаях. И вот на третий, помнится, день его пребывания у меня, еще до того, как возникла нужда сличать что-либо им написанное, я, торопясь закончить одно небольшое дело, кликнул Бартлби. Поскольку я спешил и, естественно, ожидал, что он немедля повинуется, я не отрывал глаз от документа, лежавшего передо мной на столе, а правую руку с копией протянул вбок, так чтобы Бартлби, появившись из своего убежища, мог тотчас же схватить бумагу и без задержки приступить к делу.

И вот, сидя в этой позе, я окликнул его и быстро объяснил, что мне от него нужно, — а именно, проверить со мной небольшой документ. Каково же было мое удивление, вернее, мой ужас, когда Бартлби, не двинувшись с места, ответил необыкновенно тихим, ясным голосом:

— Я бы предпочел отказаться.

Минуту я сидел молча, как громом пораженный. Потом мне пришло в голову, что я ослышался или что Бартлби меня не понял. Я повторил свое распоряжение как можно отчетливее. Но не менее отчетливо прозвучал и прежний ответ:

— Я бы предпочел отказаться.

— Предпочли отказаться? — переспросил я и, от волнения встав с места, в два шага пересек

комнату. — Что вы мелете? В своем ли вы уме? Я хочу, чтобы вы считали со мной этот лист, — вот, держите. — И я сунул ему бумагу.

— Я бы предпочел отказаться, — повторил он.

Я пристально посмотрел на него. Худое лицо его было невозмутимо; серые глаза смотрели спокойно. Ни одна жилка в нем не дрогнула. Будь в его манере держаться хоть капля смущения, гнева, раздражительности или нахальства — словом, будь в нем хоть что-то по-человечески понятное, я бы, несомненно, вспылил и велел ему убираться с глаз долой. Но сейчас мне это и в голову не пришло — это было бы все равно как выгнать за дверь мой гипсовый бюст Цицерона. Я постоял, глядя на Бартлби, который тем временем уже опять углубился в переписку, потом вернулся к своему столу. «Это очень странно, — думал я. — Как же мне поступить?» Однако спешные дела не ждали. Я решил пока забыть об этом случае и обдумать его на досуге. Я вызвал из другой комнаты Кусачку, и скоро бумага была проверена.

Спустя несколько дней Бартлби закончил переписывание в четырех экземплярах длинного документа — свидетельских показаний, которые я в течение недели собирал как член совестного суда. Их нужно было сличить. Тяжба была серьез-

ная, и требовалась сугубая точность. Подготовив все, что нужно, я вызвал Индюка, Кусачку и Пряника, решив раздать копии моим четырем клеркам, а самому читать вслух подлинник. И вот Индюк, Кусачка и Пряник уселись в ряд, каждый со своими бумагами, а я позвал Бартлби, чтобы он присоединился к этой живописной группе.

— Бартлби! Поживее, я жду.

Я услышал, как ножки стула медленно проскребли по голому полу, и Бартлби появился у входа в свое убежище.

— Что нужно? — спросил он тихо.

— Копии, копии, — отвечал я нетерпеливо. — Сейчас будем их сличать. Берите. — И я протянул ему четвертый экземпляр.

— Я бы предпочел отказаться, — сказал он и бесшумно скрылся за ширмы.

Я превратился в соляной столб. Но, простояв так несколько мгновений возле моих трех застывших в ожидании клерков, я очнулся, подошел к ширмам и пожелал узнать причину столь несуразного поведения.

— Почему вы упрямитесь?

— Я бы предпочел отказаться.

Будь передо мною другой человек, я бы страшно вспылил и без дальних слов с позором выставил

его вон. Но в Бартлби было что-то, что не только меня обезоруживало, но странным образом смущало и трогало. Я стал его урезонивать.

— Вы же сами снимали копии, которые мы должны просмотреть. Это сбережет вам время, ведь за один раз будут проверены все четыре. Так всегда делается. Каждый переписчик обязан участвовать в проверке своей работы. Разве нет? Ну, что же вы молчите? Отвечайте!

— Я предпочту отказаться, — ответил он своим нежным голосом.

У меня было впечатление, что, пока я с ним говорил, он старательно обдумывал каждую мою фразу; вполне понимал ее смысл; не мог не согласиться и с выводом. Но в то же время, подчиняясь каким-то высшим соображениям, продолжал твердить свое.

— Так, значит, вы окончательно решили не слушаться меня, хотя мое требование не противоречит ни заведенному порядку, ни здравому смыслу?

Он кратко дал мне понять, что я не ошибаюсь. Да, решение его бесповоротно.

Когда человек получает отпор, притом неожиданный и до крайности неразумный, ему случается усомниться в собственной правоте. В мозг

его закрадывается смутное подозрение, что, как это ни удивительно, правда и разум не на его стороне. И если есть поблизости беспристрастные лица, он, естественно, обращается к ним, ища подкрепить свое пошатнувшееся суждение.

— Индюк, — сказал я, — что вы об этом думаете? Разве я не прав?

— Осмелюсь сказать, сэр, — ответил Индюк с утонченной вежливостью, — на мой взгляд, вы совершенно правы.

— Кусачка, — сказал я, — а вы что об этом думаете?

— Думаю, что вышвырнул бы его к черту.

(Проницательный читатель, вероятно, отметит, что, поскольку дело было утром, ответ Индюка прозвучал вежливо и спокойно, Кусачкин же — весьма раздраженно. Или, возвращаясь к уже употребленному сравнению, у Кусачки его норов стоял на карауле, а у Индюка уже сменился.)

— Имбирный Пряник, — сказал я, стремясь завербовать любую поддержку, — ну а ты что об этом думаешь?

— Я думаю, сэр, что он маленько рехнулся, — ответил Имбирный Пряник, расплываясь в улыбке.

— Вы слышали, что здесь было сказано, — проговорил я, повернувшись к ширмам. — Идите

сюда и исполняйте свой долг.

Но он не удостоил меня ответом. Горестное недоумение овладело мною. Однако и сейчас дело не терпело отлагательства. И я опять решил обдумать эту загадку когда-нибудь после, на досуге. Мы кое-как приспособились сличать копии без Бартлби, хотя Индюк через каждые две-три страницы позволял себе вполне учтиво заметить, что это непорядок и никуда не годится, а Кусачка, ерзая на стуле от беспокойства в животе, поскрипывал зубами и время от времени шипел что-то весьма нелестное по адресу упрямого невежи за ширмой. Что до него (Кусачки), то это он в первый и последний раз выполняет задаром чужие обязанности.

Бартлби же тем временем сидел у себя в келье, слепой и глухой ко всему, кроме собственного своего дела.

Прошло несколько дней, в течение которых мой писец был занят новой объемистой работой. Непонятное его поведение заставило меня внимательнее к нему приглядеться. Я приметил, что он никогда не уходит обедать; более того, что он вообще никуда не уходит. Я не мог припомнить ни одного случая, чтобы он отлучился из конторы. Он был как бессменный часовой в своем

углу. Однако я замечал, что часов в одиннадцать утра Имбирный Пряник заглядывал за ширмы, словно его неслышно оттуда поманили, сделав знак, которого я со своего места не мог увидеть. Затем мальчик исчезал из конторы, позвякивая в кармане мелочью, и вскоре появлялся вновь с пригоршней имбирных пряников, которые и сдавал в келью, получая два пряника за труды.

«Значит, он питается имбирными пряниками, — подумал я, — никогда по-настоящему не обедает; как видно, вегетарианец; впрочем, нет, он и овощей никогда не ест, не ест ничего, кроме имбирных пряников». И я предался туманным размышлениям относительно того, как может отразиться на существе человека диета из одних имбирных пряников. Пряники эти названы так потому, что в состав их входит имбирь, который и придает им особый вкус. Что же такое имбирь? Острый и пряный корень. Есть ли в Бартлби что-нибудь острое и пряное? Отнюдь нет. Значит, имбирь не оказывает на Бартлби никакого действия. Вероятно, он предпочитает, чтобы это было так, а не иначе.

Ничто так не ожесточает уважающего себя человека, как пассивное сопротивление. Однако если тот, кому оказывают такое сопротивление,

не лишен гуманности, а сопротивляющийся — личность вполне безобидная, то первый, сколько хватит у него терпения, будет милосердно пытаться силою воображения представить себе то, что он не может постичь рассудком. Именно так я обычно и подходил к Бартлби. «Бедняга! — думал я. — В нем нет коварства. Ясно, как день, что дерзость его не преднамеренная. И чудит он без всякой задней мысли, это сразу видно. Он мне полезен. Я научился с ним ладить. Если я его уволю, он, чего доброго, попадет к менее снисходительному хозяину и тот обойдется с ним грубо, прогонит его, быть может, обречет на голодную смерть. Да. Мне представляется случай задешево купить восхитительное ощущение собственной праведности. Обласкать этого Бартлби, потворствовать его странному упрямству мне почти ничего не стоит, а у меня будет чем при случае успокоить свою совесть». Но не всегда мне удавалось сохранить такую ясность духа. Порою пассивность Бартлби выводила меня из терпения. Меня так и подмывало нарочно его раззадорить, вызвать и у него ответную вспышку гнева. С тем же успехом я стал бы тщиться выбить пальцами искру из куска душистого мыла. Но иногда соблазн бывал слишком велик, и однажды после

обеда в конторе разыгралась следующая сценка.

— Бартлби, — сказал я, — когда вы кончите переписывать эту бумагу, мы с вами ее сличим.

— Я бы предпочел отказаться.

— Что? С вас еще не соскочила эта блажь?

Ответа не последовало.

Я распахнул дверь и воскликнул в сердцах, обращаясь к Индюку и Кусачке:

— Он опять говорит, что не будет сличать копии. Что вы об этом думаете, Индюк?

Как уже сказано, время было после полудня. Индюк сидел раскаленный, как медный котел, от лысой его головы шел пар, руки ворошили закапанные чернилами бумаги.

— Думаю?! — взревел Индюк. — Я думаю, что вот зайду к нему сейчас за ширмы да поставлю ему фонарь под глазом!

С этими словами Индюк поднялся и высоко занес сжатый кулак. Он шагнул к двери, готовый привести свою угрозу в исполнение, но я остановил его — я уж сам был не рад, что так опрометчиво разбудил его послеобеденную воинственность.

— Сядьте, Индюк, — сказал я, — и послушаем, что скажет Кусачка. Что вы об этом думаете, Кусачка? Разве нет у меня оснований немедля дать

Бартлби расчет?

— Прошу прощенья, сэр, вам виднее. Я нахожу, что он ведет себя необычно, а по отношению к Индюку и ко мне нехорошо. Но возможно, что это каприз и скоро обойдется.

— Ах вот как! — воскликнул я. — Вы, значит, изменили свое мнение? Теперь вы отзываетесь о нем очень снисходительно.

— Это все пиво! — крикнул Индюк. — Вся мягкость от пива: мы с Кусачкой сегодня вместе обедали. Вы сами видите, какой я стал мягкий. Ну, поставить ему фонарь?

— Вы, очевидно, имеете в виду Бартлби? Нет, Индюк, лучше в другой раз. Прошу вас, уберите кулаки.

Я затворил дверь и снова подошел к Бартлби. Меня неудержимо тянуло испытать судьбу. До смерти хотелось еще раз встретить отпор. Я вспомнил, что Бартлби никогда не отлучается из конторы.

— Бартлби, — сказал я, — Имбирный Пряник куда-то ушел. Будьте добры, сходите на почтамт (туда было три минуты ходу) и узнайте, нет ли для меня писем.

— Я бы предпочел не ходить.

— Вы не пойдете?

— Предпочту не ходить.

Я, шатаясь, добрел до своего кресла и погрузился в задумчивость. Тупое упрямство завладело мною. Что бы еще такое придумать, чтобы получить унизительный отказ от этого хилого, нищего призрака? От клерка, которому я плачу жалованье? Какую еще разумную просьбу он непременно откажется выполнить?

— Бартлби!

Никакого ответа.

— Бартлби! (Громче.)

Никакого ответа.

— Бартлби! — заорал я.

Как заправское привидение, согласно всем колдовским законам появляющееся по третьему зову, он выглянул из своего убежища.

— Пойдите в соседнюю комнату и вызовите ко мне Кусачку.

— Я предпочту отказаться, — ответил он почтительно, с расстановкой и тихо исчез.

— Хорошо же, Бартлби, — произнес я сурово и сдержанно, тоном своим давая понять, что близок час неотвратимого и ужасного возмездия. В ту минуту я, кажется, и сам это чувствовал. Но так как мне уже почти пора было идти обедать, я счел за лучшее надеть шляпу и отправиться

домой в великой растерянности и смятении.

Признаться ли? Кончилось тем, что в конторе у меня скоро установился следующий порядок: бледнолицый молодой писец по имени Бартлби имел там рабочий стол; он переписывал для меня бумаги за обычную плату — четыре цента лист (то есть сто слов), но он раз и навсегда был освобожден от обязанности проверять им же выполненную работу, каковая обязанность перешла к Индюку и Кусачке, — надо полагать, в награду за их отличные способности; более того, вышеназванного Бартлби никогда и никуда не посылали, будь то даже с самым пустяковым поручением, ибо всем было известно, что, ежели и обратиться к нему с покорной о том просьбой, он предпочтет ее не выполнить — иными словами, откажется наотрез.

Время шло, и я почти что примирился с Бартлби. Его порядочность, полное отсутствие легкомыслия, неустанное прилежание (кроме случаев, когда он вдруг замечтается о чем-то за своими ширмами), его крайняя скромность, неизменность его поведения при любых обстоятельствах — все это заставляло считать его ценным приобретением для конторы. А главное, он всегда был на месте: раньше всех являлся по утрам, не

уходил весь день, дольше всех сидел вечерами. В его честности я почему-то никогда не сомневался. Я спокойно доверял ему самые важные мои документы. Бывало, конечно, что я просто не мог сдержаться и крепко его распекал: очень уж трудно было постоянно помнить о тех странностях, привилегиях и неслыханных поблажках, которые Бартлби как бы поставил неписаным условием своего пребывания у меня в конторе. Иногда, желая поскорее покончить с каким-нибудь спешным делом, я, позабывшись, окликал Бартлби и в резких, торопливых выражениях просил его, к примеру, придержать пальцем красную тесьму, которой я обвязывал пачку бумаг. Из-за ширм, конечно же, раздавался обычный ответ: «Я предпочту отказаться»; и мог ли тогда простой смертный, наделенный присущими человеку слабостями, не дать волю своему возмущению такой строптивостью, таким неразумием! Впрочем, после каждого полученного мною афронта становилось все менее вероятным, что я еще раз проявлю такую забывчивость.

Здесь следует сказать, что я, подобно большинству юристов, снимающих конторы в битком набитых зданиях, для этого отведенных, имел не один ключ от своей двери, а несколько. Один на-

ходился у женщины, которая жила на чердаке и ежедневно подметала и стирала пыль в конторе, а раз в неделю мыла полы. Второй для удобства был передан Индюку. Третий я сам носил в кармане. У кого был четвертый — я не знал.

И вот однажды в воскресенье утром я отправился в церковь Троицы послушать знаменитого проповедника, а прибыв на Уолл-стрит немного раньше, чем нужно, решил ненадолго зайти к себе в контору. Ключ у меня, по счастью, был с собой, но, вставляя его в замочную скважину, я обнаружил, что она занята ключом изнутри. У меня вырвался возглас удивления; и тут, к моему ужасу, ключ повернулся, из-за двери высунулась тощая физиономия, и Бартлби, появившийся передо мной без сюртука и в сильно потрепанном дезабилье, спокойно сообщил, что он сожалеет, но очень занят и… предпочтет пока меня не впускать. Он добавил и еще несколько слов в том смысле, что мне, пожалуй, стоит два-три раза пройтись до угла и обратно, а к тому времени он, вероятно, успеет закончить свои дела.

Потрясающее открытие, что Бартлби расположился у меня в конторе в воскресное утро, его замогильно-беспечный тон в сочетании с твердостью и полным самообладанием — все это

так странно на меня подействовало, что я тот же час поплелся прочь от своей двери и поступил точно по его указаниям. Однако нет-нет да и поднимался во мне бессильный ропот против тихой наглости этого непостижимого писца. В самом деле, именно его поразительная тихость больше всего меня обезоруживала и даже в некотором роде лишала самообладания. Ибо я считаю, что, если человек позволяет своему клерку распоряжаться собой и приказывать ему покинуть собственную контору, этот человек поистине лишен самообладания. Кроме того, меня сильно тревожил вопрос — что мог Бартлби делать у меня в конторе в воскресенье утром, без сюртука и вообще в таком виде. Неужто тут творятся некрасивые дела? Нет, это исключено. Заподозрить Бартлби в безнравственности просто немыслимо. Но чем же он там занимался? Переписыванием? Опять-таки нет. У Бартлби было много причуд, но он неукоснительно соблюдал приличия. Ничто не заставило бы его сесть за рабочий стол в состоянии, близком к наготе. К тому же было воскресенье. А в Бартлби было что-то, не позволявшее предположить, что он способен нарушить торжественность этого дня какими-нибудь светскими занятиями.

И все же на душе у меня было неспокойно, и

тревожное любопытство владело мною, когда я наконец вернулся к двери. Без всякой помехи я вставил ключ в замок, отворил дверь и вошел. Бартлби не было видно. Я с опаской огляделся, заглянул за ширмы; было ясно, что он ушел. Более внимательный осмотр помещения убедил меня в том, что Бартлби уже давно и ест, и одевается, и спит у меня в конторе, притом без тарелок, без зеркала и без кровати. Шаткая старая кушетка в углу хранила слабый отпечаток длинного, худого тела. Под столом у Бартлби я обнаружил скатанное одеяло; в давно не топленном камине — банку с ваксой и щетку; на стуле — жестяной таз, мыло и рваное полотенце; а в газете — крошки от имбирных пряников и небольшой кусок сыра. «Да, — подумал я, — нет сомнений, что Бартлби здесь обосновался; устроил себе, можно сказать, холостую квартиру». И тут же меня пронзила мысль: о каком бесконечно тоскливом одиночестве это свидетельствует! Бедность его велика. Но одиночество — сколь ужасно! Подумать только. По воскресеньям Уолл-стрит безлюдна, как Петра, и каждый вечер она словно вымирает. Самое это здание, где в будние дни кипит работа и жизнь, по ночам дает приют только гулкому эху, и все воскресенье оно необитаемо. И

здесь-то Бартлби нашел себе пристанище; одинокий созерцатель пустыни, которая на его памяти кишела народом, — некий простодушный Марий нашего века, предающийся мрачным раздумьям на развалинах Карфагена.

Впервые в жизни меня охватило чувство тягостной, щемящей печали. Раньше мне приходилось испытывать только не лишенную приятности грусть. Теперь же сознание родственной связи с другими людьми невыразимо меня угнетало. Печаль брата! Ведь мы с Бартлби оба были сынами Адама. Мне вспомнились яркие шелка и веселые лица, которые в тот день праздничной вереницей, как лебеди, проплывали передо мной по широкой реке Бродвея; и, сопоставляя их с бледным моим переписчиком, я думал: «Да, счастье ищет света, поэтому мы считаем, что мир — веселое место; но нужда и горе прячутся от людских глаз, и поэтому мы считаем, что нужды и горя нет». Эти горькие мысли — химеры глупого, воспаленного мозга — привели к другим, более определенным, касающимся странностей Бартлби. Горестные предчувствия сжимали мне сердце. Мне виделось изможденное тело переписчика, окутанное холодным саваном, лежащее среди чужих, равнодушных людей.

Внезапно внимание мое привлек закрытый стол Бартлби с торчащим в замке ключом.

«У меня нет дурных намерений, я не ищу удовлетворить праздное любопытство, — подумал я. — Кроме того, стол принадлежит мне и содержимое его также, вот я и загляну в него». Все было в безупречном порядке, бумаги аккуратно сложены. Ящики были глубокие; я вытащил пачки документов и обследовал стол до последнего уголка. В одном из ящиков я что-то нащупал. Это оказался старый клетчатый платок, тяжелый, связанный узелком. Я развязал его и убедился, что он служит сберегательной кассой.

Тут я припомнил, как много загадочного я уже отмечал в Бартлби. Я вспомнил, что он никогда не разговаривает — только отвечает на вопросы; что, хотя у него бывает свободное время, он никогда ничего не читает, даже газет; что он подолгу простаивает у своего тусклого окна за ширмами, вперив глаза в глухую кирпичную стену. Я был уверен, что он никогда не ходит ни в трактир, ни в закусочную, а бледное его лицо без слов говорило, что он никогда не пьет пива, как Индюк, ни даже чая и кофе, как другие люди. Я вспомнил, что на моей памяти он вообще никуда не ходил, даже на прогулку, разве что вот сейчас

пошел прогуляться; что он не пожелал сообщить мне, кто он, откуда приехал и есть ли у него родные; что он, хотя крайне худ и бледен, никогда не жаловался на здоровье. А самое главное — я вспомнил присущее ему выражение бессознательной, вялой… — как бы это сказать? — вялой надменности или, вернее, суровой сдержанности, которая и устрашила меня до того, что я покорно сносил его причуды и боялся попросить его о малейшей услуге даже тогда, когда по затянувшейся тишине за ширмами знал наверняка, что он стоит, неизвестно о чем задумавшись, вперив глаза в кирпичную стену за окном.

Я перебирал все это в уме, сопоставлял с только что сделанным открытием, что он превратил мою контору в постоянное свое жилище и местопребывание, думал и о болезненной его замкнутости; и постепенно во мне заговорил инстинкт самосохранения. Первыми моими чувствами были чистая печаль и искренняя жалость: но по мере того как я все яснее представлял себе, до какой степени Бартлби несчастен и одинок, печаль переходила в страх, а жалость в неприязнь. Как это верно — и как ужасно! — что до известной черты чужие муки будят в нас лучшие побуждения; но дальше этой черты, в иных случаях, дело не идет.

И не правы те, кто стал бы утверждать, что это объясняется лишь свойственным человеку себялюбием. Скорее это проистекает от сознания, что ты бессилен излечить слишком далеко зашедший недуг. Человеку чувствительному жалость, которую он испытывает, нередко причиняет боль. И когда наконец становится ясно, что жалостью не поможешь, здравый смысл приказывает вырвать ее из сердца. Все увиденное мною в то утро убедило меня, что мой переписчик — жертва врожденного и неизлечимого душевного расстройства. Я мог подать ему милостыню; но тело его не страдало — мучилась его душа, а душа его была для меня недосягаема.

В то утро я, вопреки своему намерению, так и не попал в церковь Троицы. После того, что я видел, мне было как-то не до церкви. Я пошел домой, раздумывая о том, что мне делать с Бартлби. Наконец я порешил так: утром я спокойно задам ему несколько вопросов касательно его прошлого и т. п.; но буде он откажется откровенно на них ответить (а я полагал, что он предпочтет отказаться), дам ему двадцать долларов сверх того, что я ему должен за работу, и скажу, что более не нуждаюсь в его услугах, но что если я могу как-нибудь иначе ему помочь, я с радостью это сделаю; в частности,

если он хочет вернуться к себе на родину, где бы это ни было, я охотно оплачу ему проезд. Более того, если он, приехав домой, окажется в стесненных обстоятельствах, пусть только напишет мне, и я тотчас откликнусь.

Настало следующее утро.

— Бартлби, — ласково сказал я, глядя на ширмы.

Ответа не последовало.

— Бартлби, — сказал я еще ласковее, — подите сюда. Я не собираюсь просить вас ни о чем, чего вы предпочли бы не делать, я просто хочу побеседовать с вами.

Тогда он бесшумно выдвинулся из-за ширм.

— Скажите мне, Бартлби, где вы родились?

— Я предпочел бы не говорить.

— Вы мне ничего не хотите о себе рассказать?

— Предпочел бы не рассказывать.

— Но чем вы объясняете такое нежелание говорить со мною? Ведь я к вам хорошо отношусь.

Пока я говорил, он не смотрел на меня, — взгляд его был прикован к бюсту Цицерона, стоявшему за моей спиной, дюймов на шесть выше моей головы.

— Какой же будет ваш ответ, Бартлби? — спросил я, переждав довольно продолжительное

время, в течение которого лицо его оставалось неподвижным, только по тонким бескровным губам пробегала едва заметная дрожь.

— Пока я предпочел бы не давать ответа, — сказал он и скрылся в свое убежище.

Пусть это было слабостью, но, признаюсь, в этот раз его тон уязвил меня. Мало того, что в нем сквозило холодное высокомерие — такое упорство уже граничило с неблагодарностью: ведь нельзя отрицать, что я был к нему до крайности снисходителен.

И снова я сидел, соображая, как быть. Хоть и очень меня раздражало его поведение, хоть я и шел в контору с твердым решением рассчитать его, однако же какое-то суеверное чувство меня удерживало, какой-то голос твердил, что я буду последним злодеем, если посмею хоть словом обидеть этого самого несчастного на свете человека. Наконец, с шумом вдвинув стул к нему за ширму, я сел и сказал:

— Ну хорошо, Бартлби, можете не рассказывать мне о своей жизни. Но прошу вас как друг, подчиняйтесь вы порядку, заведенному в этой конторе. Пообещайте, что завтра или послезавтра будете вместе со всеми сличать бумаги, короче говоря, что через день-другой проявите хоть каплю бла-

горазумия. Ну же, Бартлби, обещайте!

— Пока я предпочел бы не проявлять капли благоразумия, — последовал тихий, замогильный ответ.

В эту самую минуту дверь отворилась, и вошел Кусачка. Он явно не выспался — как видно, несварение желудка мучило его ночью больше обычного. Последние слова Бартлби донеслись до его слуха.

— Предпочел бы, говоришь? — прошипел он. — Уж я бы его предпочел, сэр, — обратился он ко мне, — я бы его предпочел, я бы ему, ослу упрямому, такое оказал предпочтение… Чего он еще предпочитает не делать, сэр?

Бартлби и бровью не повел.

— Мистер Кусачка, — сказал я, — я бы предпочел, чтобы вы пока отсюда ушли.

В последнее время я стал ловить себя на том, что употребляю это слово «предпочитать» по всякому поводу, даже и не вполне подходящему. И я трепетал при мысли, что общение с переписчиком уже успело отразиться на моем рассудке. Не последует ли за этим и более серьезное помрачение ума? Это опасение отчасти и заставило меня решиться на крутые меры.

Только что Кусачка с весьма кислой и расстро-

енной миной исчез в дверях, как подошел Индюк, услужливый и смирный.

— Осмелюсь сказать, сэр, — начал он, — я тут вчера думал об этом самом Бартлби и надумал, что если б он только предпочел каждый день выпивать по кварте доброго эля, это, наверное, пошло бы ему на пользу и помогло бы проверять бумаги.

— Значит, и вы подхватили это слово, — сказал я не без легкой тревоги.

— Осмелюсь спросить: какое слово, сэр? — заговорил Индюк, почтительно протискиваясь в узкое пространство за ширмами и так прижав меня, что мне поневоле пришлось толкнуть плечом Бартлби. — Какое слово, сэр?

— Я бы предпочел, чтобы меня оставили здесь одного, — сказал Бартлби, словно оскорбленный нашим вторжением.

— Вот это самое слово, Индюк, — сказал я.

— А-а, «предпочел»? Да, да, чудно́е слово. Я-то его никогда не употребляю. Так вот, сэр, я и говорю, если б он только предпочел…

— Индюк, — перебил я, — будьте добры выйти отсюда.

— Слушаю, сэр, конечно, если вы так предпочитаете.

Когда он отворил дверь, Кусачка увидел меня со своего места и спросил, как я предпочитаю — чтобы он переписал такой-то документ на голубой бумаге или на белой. Слово «предпочитаю» он произнес без всякого озорства или подчеркивания. Ясно было, что оно слетело у него с языка само собой. «Нет, — подумал я, — пора избавиться от сумасшедшего, который и мне, и моим клеркам уже свихнул если не мозги, то язык». Но я почел за лучшее не сразу сообщать ему об отставке.

На следующий день я заметил, что Бартлби ничего не делает, а все время стоит у окна, вперившись в глухую стену. На мой вопрос, почему он не пишет, он ответил, что решил больше не писать.

— Что такое? — воскликнул я. — Что вы еще придумали? Больше не писать?

— Не писать.

— А по какой причине?

— Разве вы сами не видите причину? — сказал он равнодушно.

Я внимательно посмотрел на него и заметил, что глаза у него мутные, без блеска. Меня осенила догадка, что работа у темного окна, да еще при том беспримерном усердии, какое проявлял он в первые недели, плохо отразилась на его зрении.

Я был растроган. Я сказал ему какие-то слова утешения, дал понять, что он правильно сделает, если на время воздержится от переписывания, и советовал воспользоваться передышкой и побольше бывать на воздухе. Этому совету он, впрочем, не последовал. Спустя немного дней, когда мне потребовалось срочно отправить по почте несколько писем, а другие мои клерки уже ушли, я подумал, что раз Бартлби решительно нечего делать, он, конечно же, не станет упорствовать, как обычно, а снесет эти письма на почтамт. Но он отказался. Волей-неволей пришлось мне идти самому.

Прошло еще несколько дней. Лучше ли стало у Бартлби с глазами или нет, я не знал. Мне казалось, что получше. Но когда я спросил его, так ли это, он не соизволил ответить. Писать он, во всяком случае, не писал и наконец на мои настойчивые вопросы сообщил мне, что навсегда покончил с перепиской бумаг.

— Что? — воскликнул я. — А если зрение у вас совсем восстановится, — будет лучше, чем раньше, — вы и тогда не станете работать?

— Я покончил с перепиской, — сказал он и отвернулся.

По-прежнему он никуда не трогался из моей

конторы. Более того, он как будто еще крепче прирос к ней. Что было делать? Работать он не желал, так чего ради было ему здесь оставаться? Он, попросту говоря, стал жерновом у меня на шее, бесполезным, как ожерелье, и достаточно обременительным. И все же мне было жаль его. Я не отступлю от правды, если скажу, что я за него тревожился. Назови он хоть одного своего родственника или друга, я немедля написал бы им, настаивая, чтобы они поместили беднягу в какой-нибудь приют. Но, по-видимому, он был один, совершенно один на свете. Обломок крушения посреди океана. В конце концов требования дела перевесили все остальные соображения. Я как мог деликатнее сказал Бартлби, что через шесть дней он должен во что бы то ни стало покинуть контору. Я предупредил его, чтобы он за это время подыскал себе другое жилище. Я предложил помочь ему в этом, если он сам предпримет хотя бы первый шаг.

— И когда мы будем расставаться, Бартлби, — добавил я, — уж я позабочусь о том, чтобы не оставить вас на мели. Помните: шесть дней, считая от этого часа.

Когда истекло назначенное время, я заглянул за ширмы — и что же? Бартлби был там.

Я застегнул сюртук, приосанился, медленно подошел к нему, тронул его за плечо и сказал:

— Время пришло. Вам нужно уходить отсюда. Мне вас жаль. Вот деньги. Но вам нужно уйти.

— Я бы предпочел не уходить, — отвечал он, все еще стоя спиной ко мне.

— Нужно.

Он промолчал.

Я уже говорил, что я был глубоко убежден в честности этого человека. Не раз он возвращал мне монеты и в двадцать пять и в пятьдесят центов, которые мне случалось обронить, — я бываю очень беспечен в обращении с мелочью. Поэтому никого не должно удивить то, что произошло дальше.

— Бартлби, — сказал я, — за работу я вам должен двенадцать долларов. Я даю вам тридцать два: остальные двадцать тоже ваши. Вот, возьмите. — И я протянул ему деньги.

Но он не пошевелился.

— Тогда я их оставляю здесь. — Я положил деньги на стол, под пресс-папье. Потом, взяв шляпу и трость, направился к двери и уже с порога добавил спокойно: — Когда вы унесете отсюда свое имущество, Бартлби, вы, конечно, запрете дверь — ведь в конторе больше никого не осталось — и,

будьте добры, суньте ключ под коврик, чтобы я утром мог его там найти. Мы с вами больше не увидимся. Значит, прощайте. Если там, где вы поселитесь, вам понадобится моя помощь, непременно дайте мне знать письмом. Прощайте, Бартлби, желаю вам всего хорошего.

Но он не ответил ни слова. Как последняя колонна разрушенного временем храма, он стоял, немой и одинокий, посреди опустевшей комнаты.

В задумчивости я шел домой, и постепенно самодовольство победило во мне жалость. Я похвалил себя за то, как искусно сумел отделаться от Бартлби. Именно искусно, всякий непредубежденный человек должен с этим согласиться. Вся прелесть моего образа действий заключалась в полнейшем спокойствии. Я не пускал в ход ни грубого запугивания, ни бравады, ни желчных назиданий; не шагал взад-вперед по комнате, резко выкрикивая, чтобы Бартлби выкатывался прочь со своими нищенскими пожитками. Ничего подобного. Вместо того чтобы громко приказать Бартлби уйти — так сделал бы человек более низкого разбора, — я взял за предпосылку, что уйти ему необходимо; и на этой предпосылке построил все, что имел ему сказать. Чем больше

я думал о своем образе действий, тем больше им восхищался.

Однако же, проснувшись наутро, я ощутил кое-какие сомнения, словно самодовольство мое развеялось вместе со сном. Всего трезвее и хладнокровнее человек рассуждает по утрам, когда только что проснется. Мой образ действий показался мне все таким же безупречным… но лишь в теории. Вся загвоздка была в том, что из него получится на практике. Взять уход Бартлби за предпосылку было, конечно, блестящей мыслью; однако ведь предпосылка-то эта была моя, а не Бартлби. Главное заключалось не в том, предположил ли я, что он уйдет, а в том, предпочтет ли он это сделать. Предпочтения для него значили больше, чем предпосылки.

После завтрака я пошел в контору, по дороге взвешивая все доводы pro и contra[9]. То мне казалось, что ничего из моей затеи не вышло и я, как всегда, застану Бартлби в конторе, в следующую минуту я был уверен, что стул его окажется пуст. Так я и бросался из одной крайности в другую. На углу Бродвея и Кэнэл-стрит я увидел взволнованную кучку людей, серьезно что-то обсуждавших.

---

[9] Примечания: 9
За и против (*лат.*).

— Пари держу, что нет, — услышал я, проходя мимо.

— Что он не уйдет? — сказал я. — Пари. Ставьте деньги.

Я и сам уже потянулся было в карман за деньгами, когда вдруг вспомнил, что сегодня — день выборов. Слова, мною услышанные, относились не к Бартлби, а к шансам какого-то кандидата на пост мэра. Я же, в своей одержимости одной мыслью, вообразил, как видно, что весь Бродвей разделяет мою тревогу и занят тем же вопросом, что и я. Я пошел дальше, благодаря судьбу за то, что в уличном шуме моя рассеянность осталась незамеченной.

В тот день я нарочно вышел из дому раньше обычного. У дверей конторы я прислушался. Все было тихо. Как видно, Бартлби ушел. Я попробовал дверную ручку — заперто. Да, мой образ действий оправдал себя на славу — видно, он и в самом деле скрылся. Но к торжеству моему примешивалась грусть: я уже почти жалел о своей блестящей удаче. Разыскивая под ковриком ключ, который Бартлби должен был там оставить, я нечаянно стукнул коленом о дверь, и в ответ на этот стук до меня донесся голос:

— Обождите, я занят.

Это был Бартлби.

Я окаменел. Секунду я стоял, уподобившись тому человеку, которого когда-то давно, в безоблачный летний день, убило молнией в Виргинии: убило в окне его собственного дома, где он стоял в тот душный день, покуривая трубку, и так и продолжал стоять, пока к нему не притронулись, а тогда упал.

— Не ушел! — пробормотал я наконец. И, снова повинуясь тому странному влиянию, которое имел на меня этот непостижимый переписчик и от которого я не мог вполне освободиться, как бы оно меня ни стесняло, я медленно спустился по лестнице и пошел до угла и обратно, раздумывая о том, что же мне предпринять в этих неслыханных обстоятельствах. Просто вытолкать Бартлби за дверь я не мог; выгнать его, осыпая бранью, считал для себя неприемлемым; звать полицию не хотелось. Но допустить, чтобы этот выходец из могилы торжествовал надо мною победу — нет, так тоже не годится. Что же делать? Или, если сделать ничего нельзя, не выручит ли какая-нибудь новая предпосылка? Да, как раньше я наперед предположил, что Бартлби уйдет, так теперь можно предположить задним числом, что он уже ушел. Действуя согласно этой предпосылке,

я могу войти в контору так, словно очень спешу, и, сделав вид, будто не вижу Бартлби, налететь прямо на него, точно он не человек, а пустое место. Такой поступок, несомненно, возымеет действие. Едва ли Бартлби устоит против столь ощутительного применения методы предпосылок. Но по некотором размышлении успех этой затеи показался мне сомнительным. Я решил, что лучше будет еще раз с ним поговорить.

— Бартлби, — сказал я, входя в контору с видом спокойным и строгим, — я очень вами недоволен. Я обижен, Бартлби. Этого я от вас не ожидал. Мне казалось, что у вас благородная натура и что в любом затруднительном деле для вас достаточно мягкого намека, короче — предпосылки. Но я вижу, что заблуждался. О, — добавил я, невольно вздрогнув, — вы даже не притронулись еще к деньгам. — И я указал на стол, где оставил их накануне вечером.

Он не ответил.

— Уйдете вы от меня или нет? — спросил я, внезапно вспылив и подступая к нему.

— Я бы предпочел не уходить от вас, — отвечал он, мягко выделив слово «не».

— Какое право вы имеете здесь оставаться? Вы что, оплачиваете помещение? Платите за

меня налоги? Или, может быть, все это — ваша собственность?

Он не ответил.

— Готовы вы сейчас же сесть за работу? Глаза у вас поправились? Можете вы переписать мне небольшой документ? Или сличить со мной несколько строк? Или сходить на почтамт? Короче говоря, готовы ли вы хоть чем-нибудь оправдать свое упорное нежелание выселиться отсюда?

Он молча удалился за ширмы.

Гнев и обида во мне достигли такого накала, что я решил, из благоразумия, воздержаться от дальнейших препирательств. Мы с Бартлби были одни. Я вспомнил трагедию злополучного Адамса и еще более злополучного Кольта, разыгравшуюся в пустой конторе последнего; и как бедный Кольт, доведенный Адамсом до белого каления, не сумел вовремя сдержать свой безумный гнев и, не помня себя, совершил роковой поступок, о котором впоследствии никто не сокрушался больше, чем он сам, его совершивший. Размышляя об этом случае, я часто думал, что, случись их ссора на людной улице или в частном доме, она не кончилась бы столь прискорбно. То обстоятельство, что они были одни в пустой конторе, на верхнем

этаже, в здании, не освященном согревающими душу напоминаниями о домашнем очаге, — и контора-то наверняка была без ковров, голая и пыльная, — именно это, я полагаю, содействовало взрыву слепой ярости у злосчастного Кольта.

И вот, когда я почувствовал, что и во мне воспылал гневом древний Адам, искушая меня поднять руку на Бартлби, я схватился с ним и поборол его. Как? Да просто вспомнив божественные слова: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Право же, только это и спасло меня. Помимо более высоких своих достоинств, милосердие зачастую оказывается и весьма благоразумным принципом — надежной защитой тому, кто им обладает. Человек совершает убийство, движимый ревностью, злобой, ненавистью, себялюбием, гордыней; но я не слышал, чтобы хоть кого-либо толкнуло на зверское убийство святое милосердие. А следовательно, всем, особенно же людям вспыльчивым, должно хотя бы ради собственной пользы, если уж нет у них более благородных побуждений, стремиться к милосердию и добрым делам. Так или иначе, я обуздал свою ярость, постаравшись объяснить поведение моего переписчика как можно благожелательнее. «Бедный малый, — думал я, — он не понимает, что делает;

да и жилось ему нелегко, и нельзя с него строго спрашивать».

Я решил поскорее заняться делами и этим придать себе хоть немного бодрости. Мне все представлялось, что в течение утра, в какое-нибудь время, которое он найдет для себя подходящим, Бартлби сам выберется из своего убежища и начнет передвигаться по направлению к двери. Но нет. Наступила половина первого; Индюк уже, как водится, излучал жар, опрокидывал чернильницу и вообще буянил; Кусачка присмирел и стал отменно учтив; Имбирный Пряник жевал румяное яблоко; а Бартлби все стоял у своего окна, точно в каком-то забытьи, вперив глаза в глухую стену. Признаться ли? Этому трудно поверить, но в тот вечер я ушел из конторы, не сказавши ему больше ни одного слова.

В последующие дни я, когда выдавалась свободная минута, просматривал Эдвардса «О воле» и Пристли «О необходимости». Книги эти подействовали на меня как бальзам. Мало-помалу я проникся убеждением, что все мои заботы и неприятности, связанные с Бартлби, были суждены мне от века, что он послан мне всемудрым провидением в каких-то таинственных целях, разгадать которые недоступно простому смерт-

ному. «Да, Бартлби, — думал я, — оставайся за своими ширмами, я больше не буду тебе досаждать, ты безобиден и тих, как эти старые кресла; да что там — я никогда не ощущаю такой тишины, как когда ты здесь. Теперь я хотя бы увидел, почувствовал, постиг, для чего я живу на земле. Я доволен. Пусть другим достался более высокий удел; мое же предназначение в этой жизни, Бартлби, заключается в том, чтобы отвести тебе уголок в конторе на столько времени, сколько ты пожелаешь здесь находиться».

Я бы, вероятно, так и пребывал в этом возвышенном и отрадном состоянии духа, если бы мои деловые знакомые, бывавшие у меня в конторе, не стали мне навязывать своих непрошеных и негуманных советов. Но ведь частенько бывает, что лучшие намерения людей доброжелательных в конце концов разбиваются о постоянное противодействие менее великодушных умов. Впрочем, как подумаешь, не приходится особенно удивляться тому, что посетители мои бывали поражены странным видом необъяснимого Бартлби и, не подумав, отпускали на его счет какое-нибудь неприятное замечание. Вот, предположим, заходит ко мне в контору адвокат, с которым я веду дела, и, не застав никого, кроме

Бартлби, пытается у него узнать поточнее, где меня можно найти; а Бартлби неподвижно стоит посреди комнаты, как будто и не слыша, что он там болтает. И адвокат, полюбовавшись некоторое время на это зрелище, уходит ни с чем.

Или, скажем, у меня разбирается апелляция. Комната полна юристов и свидетелей, дело подвигается быстро, и какой-нибудь сильно занятый стряпчий, заметив, что Бартлби сидит сложа руки, просит его сбегать в его (стряпчего) контору за нужными бумагами. Бартлби преспокойно отказывается, однако и за работу не берется. Стряпчий делает большие глаза и обращается ко мне. А что я могу сказать?

Наконец до меня дошло, что в кругу моих собратьев под шумок ведутся оживленные пересуды по поводу диковинного создания, которое я держу у себя в конторе. Это сильно меня обеспокоило. И когда мне пришло в голову, что Бартлби, возможно, доживет до глубокой старости и так все и будет обретаться у меня в конторе; и отказывать мне в повиновении; и ставить в тупик моих посетителей; и бросать тень на мое доброе имя; и распространять вокруг себя уныние; и будет кое-как кормиться на свои сбережения (ведь он тратит не больше пяти центов в день!); и, чего

доброго, переживет меня, да еще вздумает притязать на мою контору, ссылаясь на бессменное там проживание, — когда эти мрачные мысли стали все более завладевать мною, между тем как мои знакомые не уставали чесать языки насчет привидения, которое я у себя держу, тогда во мне произошла большая перемена. Я решил собраться с духом и раз навсегда избавиться от этого невыносимого кошмара.

Однако, прежде нежели составить какой-нибудь сложный план кампании, я еще раз сказал Бартлби, что ему следует со мною расстаться. Я очень серьезно советовал ему обдумать эту перспективу, тщательно и не торопясь. Но, употребив на размышления три дня, он сообщил мне, что первоначальное его решение не изменилось, иначе говоря, что он и сейчас предпочитает остаться у меня.

Как же быть? — спросил я себя, застегивая сюртук на все пуговицы. Что делать? Как подсказывает мне совесть поступить с этим человеком или, вернее, призраком? Избавиться от него необходимо, и я это сделаю. Но как? Ты же не выбросишь за порог это беззащитное создание, этого жалкого, бледного, безобидного человека? Не унизишься до такой жестокости? Нет, не

выброшу, не могу. Скорее я позволю ему жить и умереть здесь, а потом замурую его останки в стене. Так как же ты поступишь? Твои уговоры на него не действуют. Взятки он оставляет у тебя на столе, под пресс-папье. В общем, совершенно ясно, что он предпочитает не покидать тебя.

В таком случае надо принять строгие, чрезвычайные меры. Как! Неужели ты распорядишься, чтобы констебль взял его за шиворот и, безвинного, препроводил в тюрьму? Да и на каком основании ты стал бы этого требовать? Бродяжничество? Но разве он бродяга? Это он-то, который не желает сдвинуться с места, — бродяга, шатун? Ты его потому и хочешь записать в бродяги, что он не хочет бродяжничать. Это уж совсем глупо. Ну хорошо, тогда — отсутствие видимых средств к существованию. Опять не выходит: ведь он несомненно существует, а это единственное бесспорное доказательство того, что у человека есть к тому средства. Нет, довольно. Раз он не желает меня покидать, придется мне самому его покинуть. Я сниму другую контору, перееду, а его предупрежу, что если обнаружу его по новому своему адресу, то поступлю с ним, как со всяким нарушителем порядка, пойманным в чужих владениях.

Верный своему намерению, я наутро обратился к нему с такой речью:

— Мне неудобно, что моя контора так далеко от городской управы; и воздух здесь нездоровый. Словом, на будущей неделе я переезжаю, и ваши услуги мне больше не понадобятся. Говорю вам об этом заранее, чтобы вы могли подыскать себе другое место.

Он не ответил, и более ничего не было сказано.

В назначенный день я нанял людей и подводы, и так как мебели в конторе было мало, с укладкой справились быстро. Все время, пока уносили вещи, переписчик стоял за ширмами — я распорядился, чтобы их забрали в последнюю очередь. Но вот и их унесли, сложив, как огромную папку, и в оголившейся комнате не осталось ничего, кроме недвижимого Бартлби. Я постоял на пороге, глядя на него и прислушиваясь к внутреннему голосу, в чем-то меня упрекавшему.

Потом я вернулся в комнату. Руку я держал в кармане, а в сердце ощущал непонятный страх.

— Прощайте, Бартлби, я уезжаю. Прощайте, и уж да благословит вас как-нибудь Бог. Вот, возьмите-ка. — И я сунул ему в руку денег. Но они упали на пол, и тут я — странно сказать — с болью душевной расстался с тем, от кого так мечтал

избавиться.

Устроившись на новом месте, я первые дни держал дверь на запоре и всякий раз вздрагивал от шагов на лестнице. Возвращаясь в контору после недолгой отлучки, я замирал перед дверью и прислушивался, прежде чем поднести ключ к замку. Но страхи мои были излишни: Бартлби не показывался.

Мне уже представлялось, что все идет хорошо, когда однажды ко мне явился какой-то взбудораженный незнакомец и спросил, не я ли до недавнего времени имел контору на Уолл-стрит, в доме номер**.

Сразу почуяв недоброе, я ответил утвердительно.

— В таком случае, сэр, — продолжал незнакомец, оказавшийся юристом, — вы отвечаете за человека, которого там оставили. Он не желает переписывать бумаги, не желает вообще ничего делать; говорит, что предпочтет отказаться; и уходить тоже не желает.

— Очень сожалею, сэр, — сказал я с притворным спокойствием, хотя и содрогнувшись в душе, — но, уверяю вас, человек, о котором вы говорите, для меня ничто. Он мне не родственник и не состоит у меня в учении, так что вы напрасно

считаете меня ответственным за него.

— Да кто же он такой, прости господи?

— Не могу вам сказать. Мне о нем ничего не известно. Раньше он служил у меня переписчиком, но теперь я уже давно не пользуюсь его услугами.

— В таком случае я от него отделаюсь. Всего хорошего, сэр.

Прошло несколько дней, все было тихо; и хотя голос милосердия не раз подсказывал мне, что нужно повидать бедного Бартлби, какое-то странное отвращение меня удерживало.

Теперь я о нем больше не услышу, решил я наконец, когда миновала еще неделя, а никаких новых сведений о Бартлби до меня не дошло. Но на следующий же день, подходя к дверям своей конторы, я увидел там группу людей, ожидавших меня и, видимо, чем-то взволнованных.

— Вот он, вот он идет! — воскликнул тот, что стоял всего ближе, и я узнал в нем юриста, который ранее приходил ко мне один.

— Забирайте его, сэр, и притом немедля, — громко заговорил, подступая ко мне, дородный мужчина — владелец дома номер** по Уолл-стрит. — Эти джентльмены, мои съемщики, не могут больше терпеть такое положение. Ми-

стер Б., — он указал на юриста, — выставил его из своей конторы, так теперь он бродит по всему дому — днем сидит на лестнице, ночью спит в подъезде. Нам всем от этого большие неприятности. Клиенты разбегаются. Пошли разговоры — боятся, как бы над ним не учинили самосуд. Вы просто обязаны что-нибудь предпринять, и как можно скорее.

Перепуганный, я отступил перед этим потоком слов и, будь моя воля, заперся бы в своей новой конторе. Напрасно я твердил, что Бартлби для меня чужой человек, так же как и для всех здесь присутствующих. Нет, я последним имел к нему какое-то отношение, и мне не уйти от ответа. Опасаясь, что имя мое может попасть в газеты (как пригрозил один из моих разгневанных посетителей), я подумал немного и наконец сказал, что если юрист позволит мне поговорить с переписчиком с глазу на глаз в его (юриста) конторе, я сегодня же приложу все усилия к тому, чтобы избавить их от предмета их жалоб.

Поднимаясь по знакомой лестнице, я действительно увидел Бартлби, молча сидящего на перилах площадки.

— Что вы здесь делаете, Бартлби? — спросил я.

— Сижу на перилах, — ответил он тихо.

Я сделал ему знак пройти со мною в контору, и юрист оставил нас одних.

— Бартлби, — сказал я, — известно ли вам, что вы причиняете мне кучу хлопот, оставаясь в этом доме после того, как я вас рассчитал?

Он не ответил.

— Теперь возможно одно из двух: либо вы что-то сделаете, либо что-то сделают с вами. Скажите же мне, чем бы вы хотели заняться? Хотите снова поступить к кому-нибудь в переписчики?

— Нет, я бы предпочел ничего не менять.

— Хотите пойти сидельцем в мануфактурную лавку?

— Там мало свежего воздуха. Нет, сидельцем я не хотел бы; а впрочем, мне все равно.

— Что? — вскричал я. — Да вас на свежий воздух калачом не выманишь!

— Я предпочел бы не идти в сидельцы, — сказал он, словно давая понять, что с этим вопросом покончено.

— А место буфетчика в ресторане вас не прельщает? По крайней мере не утомительно для глаз.

— Совсем не прельщает. А впрочем, как я уже сказал, мне все равно.

Необычная словоохотливость его придала мне

мужества. Я снова пошел в атаку:

— Ну, тогда вы, может быть, хотите поездить, получать для купцов деньги по счетам с иногородних покупателей? Это бы вам и для здоровья было полезно.

— Нет, я предпочел бы что-нибудь другое.

— А что если вам поехать в Европу с каким-нибудь молодым человеком, которому нужен спутник, — это бы вам подошло?

— Отнюдь нет. Мне кажется, в этом есть что-то неопределенное. Я люблю оставаться на месте. А впрочем, мне все равно.

— Ну и оставайтесь на месте! — вскричал я, потеряв терпение и в первый раз за время наших с ним нелегких отношений давая волю своей ярости. — Если вы нынче же не уберетесь из этого дома, я буду вынужден… я… я вынужден… сам отсюда уйти, — закончил я довольно-таки глупо, не зная, какой угрозой запугать его и сдвинуть с мертвой точки. Отчаявшись в успехе дальнейших попыток, я уже бросился было к двери, но тут вспомнил еще одну возможность, мысль о которой и раньше у меня мелькала.

— Бартлби, — сказал я, вложив в свой голос всю мягкость, какая была возможна в столь напряженную минуту, — пойдемте ко мне — не

в контору, а домой, и поживите у меня, пока мы не спеша придумаем для вас что-нибудь подходящее. Ну, пойдемте же прямо сейчас, не откладывая.

— Нет. Пока я предпочел бы оставить все как есть.

Я ничего не ответил; но, ошеломив всех внезапностью своего бегства, ринулся вниз по лестнице и вон из подъезда, пробежал по Уолл-стрит до Бродвея и, вскочив в первый попавшийся омнибус, вскоре ушел от погони.

Стоило мне немного успокоиться, и я понял, что сделал все возможное как по отношению к домовладельцу и его съемщикам, так и по отношению к Бартлби, которого из чувства долга и просто из жалости пытался до сих пор оградить от грубых преследований. Теперь я решил дать себе полный отдых от этих забот и треволнений, но это оказалось не так-то легко, хотя совесть меня ни в чем не упрекала. Я до того боялся, как бы разъяренный домовладелец и доведенные до отчаяния съемщики не вздумали снова меня настигнуть, что, передав дела Кусачке, несколько дней разъезжал в своей карете по северной части города и предместьям, переправлялся в Джерси-Сити и Хобокен и лишь украдкой наведывался в

Манхэттенвилл и Асторию. Можно сказать, что я прожил эти дни, почти не выходя из кареты.

Когда я снова появился в конторе, на столе меня ждало письмо от домовладельца. Я вскрыл его дрожащими руками. Домовладелец сообщал мне, что он обратился в полицию и Бартлби препровожден в Гробницу за бродяжничество. А поскольку я знаю о нем больше, чем кто бы то ни было, мне следует там побывать и сообщить все известные мне факты. Весть эта произвела на меня смешанное впечатление. Сперва я возмутился, потом пришел к выводу, что возмущаться нечем. Домовладелец, в силу своего энергического, решительного характера, поступил так, как сам я, вероятно, не отважился бы поступить; а между тем при столь необычайных обстоятельствах ничего иного как будто и не оставалось.

Как я узнал впоследствии, бедный переписчик не оказал ни малейшего сопротивления, услышав, что его поведут в Гробницу, но подчинился, по своему обыкновению, молча и безучастно.

К нему присоединилось несколько прохожих — жалостливых и просто любопытных, — и безмолвная процессия, возглавляемая одним из констеблей рука об руку с Бартлби, потянулась по шумным, жарким улицам, среди бурлящей

полуденной толпы.

Получив письмо, я в тот же день поехал в Гробницу, или, выражаясь более правильно, в городскую тюрьму. Я разыскал нужного чиновника, изложил ему цель своего приезда, и он подтвердил, что тот, о ком я говорю, действительно здесь. Тогда я заверил его, что Бартлби — честнейший человек, чудак, пусть и безответственный, но достойный всяческого сочувствия. Я рассказал все, что мне было известно, и в заключение добавил, что, по моему мнению, содержать его следует возможно менее сурово и в дальнейшем постараться смягчить его участь, как именно — я, в сущности, и сам не знал. На худой конец, его нужно поместить в богадельню. Затем я попросил о свидании.

Поскольку никакого тяжкого обвинения Бартлби не было предъявлено и поведения он был спокойного, его не запирали в камере и даже разрешали ему свободно выходить на поросшие травой внутренние тюремные дворики. Здесь я и нашел его — он стоял один в самом пустынном дворике, повернувшись лицом к высокой стене, и мне чудилось, что со всех сторон, из узких тюремных окошек, на него смотрят глаза убийц и воров.

— Бартлби!

— Я вас знаю, — сказал он, не оборачиваясь. — Я не хочу с вами разговаривать.

— Не моя вина, что вы здесь, Бартлби, — сказал я, уязвленный подозрением, которое прозвучало в его словах. — А вам здесь, должно быть, не так уж худо. И доброе имя ваше ничуть не пострадает. Да и не такое уж это унылое место, как можно бы ожидать. Взгляните, вон небо, а вот трава.

— Я знаю, где нахожусь, — ответил он, но больше не сказал ничего, и я оставил его в покое.

Когда я входил со двора в коридор, ко мне приблизился дородный, краснолицый мужчина в фартуке и, ткнув большим пальцем через плечо, спросил:

— Ваш приятель?

— Да.

— Он что, хочет с голоду умереть? Тогда пусть живет на тюремной пище, вот и все.

— Кто вы такой? — спросил я, с удивлением услышав в этих стенах столь неофициальную речь.

— Я — кухмистер. Господа, у которых приятели сюда попадают, платят мне, чтобы я кормил этих пташек повкуснее.

— Это правда? — спросил я, обращаясь к тю-

ремщику.

Он сказал, что правда.

— В таком случае, — сказал я, отсыпая кухмистеру в руку немного серебра, — я прошу вас отнестись к моему другу с особым вниманием. Давайте ему лучшие обеды, какие у вас есть. И будьте с ним как можно вежливее.

— А вы нас познакомьте, ладно? — сказал кухмистер с таким выражением, точно ему не терпелось мне показать, как он отменно воспитан.

Я согласился, полагая, что это будет полезно для переписчика, и, спросив у кухмистера, как его фамилия, подошел вместе с ним к Бартлби.

— Познакомьтесь, Бартлби, это мистер Котлетс; он может быть вам очень полезен.

— К вашим услугам, сэр, к вашим услугам, — заговорил тот, шевеля руками под фартуком и отвешивая низкий поклон. — Надеюсь, вам здесь нравится, сэр, — обширное здание, прохладные комнаты, — надеюсь, сэр, вы у нас погостите; постараемся угодить. Разрешите от своего имени и от имени миссис Котлетс пригласить вас отобедать с нами?

— Я предпочту сегодня не обедать, — сказал Бартлби, отворачиваясь. — Мне это вредно; я не

привык обедать.

Он медленно отошел в дальний конец дворика и остановился лицом к стене.

— Это что же такое? — произнес удивленный кухмистер. — Какой-то он чудной, а?

— Кажется, он немного помешан, — сказал я печально.

— Помешан, говорите? Ну и ну! А я думал, он фальшивомонетчик из хорошей семьи — они всегда этакие бледные и благородного вида. Очень я их жалею, сэр, очень жалею. Вы Монро Эдвардса знали? — добавил он умильно и помолчал. Потом, соболезнующе положив мне руку на плечо, вздохнул: — Умер от чахотки в Синг-Синге. Так вы не знали Монро?

— Нет, среди моих знакомых не было ни одного фальшивомонетчика. Но мне пора. Позаботьтесь о моем друге. Вы об этом не пожалеете. Я еще к вам наведаюсь.

Спустя несколько дней я опять получил пропуск в Гробницу и стал бродить по коридорам в поисках Бартлби; он мне все не попадался.

— Я недавно видел, как он выходил из своей камеры, — сказал встретившийся мне тюремщик. — Может, слоняется по дворам.

Я пошел в ту сторону.

— Это вы молчальника ищете? — спросил другой тюремщик. — Вон он лежит во дворе — видно, заснул. Он минут двадцать, не больше, как улегся, я видел.

Во дворике стояла тишина. Других заключенных сюда не выпускали. Сквозь окружающие стены не проникал ни один звук, такой они были поразительной толщины. Египетский стиль построек угнетал меня своей мрачностью. Но под ногами росла мягкая узница-трава. Словно здесь было сердце вечных пирамид, в трещинах которого, как по волшебству, проросли семена, оброненные птицами.

И вдруг я увидел, что у самой стены, весь скрючившись, поджав колени, головой касаясь холодного камня, лежит бледный, исхудавший Бартлби. Совершенно неподвижный. Я замер на месте; потом подошел к нему, наклонился и увидел, что мутные глаза его открыты, а сперва мне показалось, что он крепко спит. Что-то побудило меня коснуться его. Я дотронулся до его руки, и дрожь пробежала у меня к плечу, вниз по спине, к ногам.

Тут на меня глянуло круглое лицо кухмистера.

— Обед ему готов. Или он сегодня тоже не будет обедать? Он что же, так и живет, не обедая?

— Живет, не обедая, — сказал я и закрыл невидящие глаза.

— Эге, да он спит?

— Опочил с царями и советниками земли, — прошептал я задумчиво.

Как будто и нет нужды продолжать эту повесть. Краткий рассказ о похоронах бедного Бартлби легко восполнить воображением. Но, прежде нежели расстаться с читателем, я все-таки добавлю, что если эта история его заинтересовала и ему захотелось узнать, кто же был Бартлби и какова была его жизнь до знакомства с рассказчиком, я могу только сказать, что полностью разделяю его любопытство, однако удовлетворить его не могу. И я даже затрудняюсь, следует ли мне передать один незначительный слух, который дошел до меня через несколько месяцев после кончины переписчика. На чем он был основан, мне так и не удалось установить, а значит, и о достоверности его судить не берусь. Но, поскольку смутный этот слух не лишен был для меня известного своеобразного интереса, — пусть вызванные им мысли и были печального свойства, — возможно, что им заинтересуются и другие; поэтому я в нескольких словах все же упомяну о нем. Заключался он в следующем: будто бы Бартлби состоял младшим

клерком в Отделе невостребованных писем в Вашингтоне и был оттуда неожиданно уволен в связи со сменой начальства. Не могу выразить, какие чувства охватывают меня, когда я думаю об этом слухе. Невостребованные письма! Разве это не те же мертвецы? Представьте себе человека, от природы и под влиянием жизненных невзгод склонного к вялой безнадежности; есть ли работа, более способная усилить такую склонность, чем бесконечная разборка этих невостребованных писем, предшествующая их сожжению? А сжигают их каждый год целыми возами. Порою из сложенного листка бумаги бледный клерк вынимает кольцо, — палец, для которого оно предназначалось, возможно, уже истлел в могиле; или кредитный билет, посланный в порыве сострадания, — тот, кого он должен был выручить, уже не ест и не знает голода. В этих письмах — прощение для тех, кто умер, во всем изверившись; надежда для тех, кто умер в отчаянии; добрые вести для тех, кто умер, задохнувшись под гнетом несчастий. Посланцы жизни, эти письма гибнут в огне.

О, Бартлби! О, люди!

Энкантадас, или Заколдованные острова

Очерк первый
Общее впечатление от этих островов

– Не обольщайтесь, – кормчий говорит,
—
Мне эти кущи, кажется, знакомы,
И острова, прелестные на вид,
На самом деле – гнусные фантомы,
Блуждающие вечно по морскому
Простору, Роковые острова,
Как их скитальцы кличут по-иному,
Худого не сулящие сперва,
Но гибельные – так о них гласит мол-ва.
И тот, кто ступит на берег ужасный,
Опасности еще не чуя, тот
Ни счастья, ни спасенья не найдет.

Вершина Горя, грозная Гора!
Не подавилась падалью дыра,
Не поперхнулась человечьим мясом;
Разгуливают с ночи до утра

Здесь призраки, треща сухим каркасом,

Да вечно вопиет сова геенным гласом[10].

Представьте себе двадцать пять куч золы, сваленных там и сям на пригородном пустыре; вообразите, что иные из них выросли до размеров высокой горы, а пустырь — это море, — и вы получите некоторое понятие о том, как выглядят Энкантадас, или Заколдованные острова. Группа не столько островов, сколько потухших вулканов, являющая собой картину, какую мог бы являть наш мир, если бы Бог покарал его вселенским пожаром.

Сомнительно, чтобы на всей земле нашлось хоть одно столь же безотрадное место. Давным-давно заброшенные кладбища, древние города, постепенно обращающиеся в руины, — те и другие достаточно унылы; но, как и все, что было когда-либо связано с человеческими судьбами, они, однако же, будят в нас своеобразное сочувствие, пусть и печальное. Потому даже Мертвое море, какие бы иные чувства оно порой ни вызывало, непременно порождает в душе паломника и вовсе не неприятные ощущения.

---

[10] Примечания: 10

Эпиграфы даны в переводе В. Топорова. (*Примеч. авт.*)

А пустынность? Казалось бы, что может представиться наблюдателю более пустынного, чем необозримые северные леса, просторы безлюдного океана, ледяные поля Гренландии? И все-таки ужас, ими внушаемый, умеряет волшебная смена течений и времен года: ведь эти леса хоть и не посещает человек, зато посещает май; и в самых дальних морях, как и в озере Эри, отражаются знакомые звезды; и в прозрачном воздухе ясного полярного дня лазурный лед под лучами солнца прекрасен, как малахит.

А особое, если можно так выразиться, проклятие, которое лежит на Заколдованных островах и по безотрадности ставит их выше Идумеи и полюса, в том и состоит, что здесь ничто никогда не меняется, ни время года, ни печаль. Разрезанные экватором, Энкантадас не ведают осени и не ведают весны; и разрушение против них бессильно, ведь они и так — сплошное пожарище. Пустыню освежают ливни, но на этих островах дождей не бывает. Подобно треснувшим тыквенным бутылям, брошенным где-нибудь в Сирии досыхать на солнце, они лежат под раскаленным небом, все в трещинах от нескончаемой засухи. «Смилуйся надо мной, — словно взывает страждущая душа Заколдованных островов, — пошли Лазаря, чтобы

он омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем».

Еще одна особенность этих островов — их полнейшая необитаемость. Полагают, что лучший пример отверженности — это шакал, ютящийся в заросших сорной травой развалинах Вавилона; но Энкантадас не дают приюта даже изгоям животного мира. Человек и волк равно их чураются. Живут здесь только твари ползучие и пресмыкающиеся: черепахи, ящерицы, огромные пауки, змеи и самое диковинное порождение заморской природы — игуана. Здесь не услышишь ни рева, ни рыка, ни воя; из всех живых звуков самый частый — шипение.

На тех островах, где есть хоть какая-то растительность, она по большей части непригляднее, чем в бесплодной Аракаме. Спутанный жесткий кустарник без ягод и без названия, поднявшийся среди глубоких расселин в покрытом окалиной камне и предательски их скрывающий, или сухая поросль искривленных ветвистых кактусов.

Берег во многих местах скалистый — вернее, это не скалы, а обломки застывшей лавы, — черноватые либо зеленоватые глыбы вроде шлака близ доменной печи; они образуют кое-где темные пещеры и гроты, и море без устали заливает

их яростной пеной, заволакивая клочьями серого тумана, в котором с пронзительными криками кружат неведомые птицы, добавляя свои голоса к гремящему гулу воды. Как бы спокойно ни было в открытом море, эти волны и эти скалы не знают покоя — вечно хлещущие, вечно исхлестанные, даже тогда, когда океан словно бы пребывает в мире с самим собою. В душные облачные дни, каких много бывает в этой части экваториальных вод, темные волны, будто стеклянные горбы, вздымающиеся из белых валов и воронок в особо опасных местах неподалеку от берега, кажутся видениями ада. Только в падшем мире мыслимы такие картины.

Там, где берег свободен от следов извержений, он тянется широкими, плоскими ракушечными отмелями, на которых попадаются гниющие куски сахарного тростника, палки бамбука и кокосовые орехи, занесенные в этот иной, темный мир с чарующих пальмовых островов, что лежат отсюда к югу и к западу, — долгим путем из рая в преисподнюю; и тут же, рядом с этими воспоминаниями о далекой красоте, увидишь порой обгорелый обломок дерева или трухлявый шпангоут от погибшего корабля. Все эти последние находки вас не удивят, если вы заметили, сколько

морских течений сталкиваются и смешиваются почти во всех широких проливах этого архипелага. И воздушные течения в своих прихотях не уступают морским. Нигде ветер не бывает столь легок, обманчив и ненадежен, как на Энкантадас. Один корабль чуть не месяц провел в пути между двумя островами, хотя их разделяют всего тридцать миль; ибо из-за силы течения буксиров едва хватало на то, чтобы не дать кораблю наскочить на скалы, ускорить же его ход они были не в состоянии. Бывает, что судно, прибывающее сюда издалека, проносит мимо всего архипелага, если еще до того, как завидеть его, штурман не сделал поправки на сильный снос. А бывает и так, что какое-то таинственное, непреодолимое течение затягивает в пролив между островами проходящее судно, которое вовсе и не держало сюда курс.

Правда, в былые времена, а изредка еще и в наши дни большие флотилии китобойных судов добывали китовый жир в местах, которые моряки называют Заколдованным морем. Но происходило это, как будет описано ниже, вблизи большого, крайнего острова Альбемарля, далеко от лабиринта сравнительно мелких островов, — там море открытое, а посему высказанные выше

замечания к тем местам относятся в меньшей степени. Впрочем, случаются и там течения небывалой силы и столь же изменчивые. Более того, в иные годы совершенно необъяснимые течения наблюдаются на большом расстоянии вокруг всего архипелага, течения столь непостоянные и мощные, что поворачивают корабль на 180 градусов, даже если он шел со скоростью четырех-пяти миль в час.

Ошибки в навигационных расчетах, вызванные этими причинами, а также легкими и своенравными ветрами, долго поддерживали уверенность в том, что на параллели Энкантадас существуют две разные группы островов, примерно в трехстах милях друг от друга. Так считали, наведываясь сюда в старину, флибустьеры; и еще в 1750 году морские карты этой части Тихого океана следовали столь странному заблуждению. И эта-то кажущаяся переменчивость местоположения островов, по всей вероятности, послужила одной из причин, почему испанцы назвали их Энкантадас, то есть Заколдованными.

Современный же мореплаватель, твердо зная, где они находятся, но пораженный их видом, склоняется к мысли, что отчасти название их подсказано сильнейшим впечатлением неесте-

ственной пустынности, которое они производят. Нечто, когда-то живое и цветущее, злою силой обращенное в пепел; содомские яблоки после того, как к ним прикоснулись, — вот что вызывают в воображении эти острова.

Каким бы зыбким ни представлялось их местоположение из-за игры течений, сами они, по крайней мере тому, кто сошел на берег, кажутся всегда одинаковы: втиснутые, влитые, вбитые в самое тело уродливой смерти.

И еще в одном смысле наименование Заколдованные достаточно уместно. Ибо касательно населяющей эту пустыню необыкновенной твари, по которой острова получили свое второе испанское название — Галапагосские, — касательно обитающей здесь черепахи среди моряков издавна существует поверье, и жуткое, и нелепое. Они всерьез убеждены в том, что все потерпевшие крушение морские чины, в особенности же коммодоры и капитаны, после смерти (а иногда и перед смертью) превращаются в черепах и потом пребывают на этой выжженной суше как единственные, навечно одинокие владыки Асфальта.

Без сомнения, столь горькие мысли первоначально внушил людям угрюмый и мрачный здешний пейзаж, но не в последнюю очередь,

быть может, именно черепахи. Ибо, не говоря уже об их чисто физических признаках, в облике этих созданий есть что-то до странности виноватое. Больше чем какое-либо живое существо, они кажутся воплощением неизбывного горя, ниспосланной за грехи безнадежности; а мысль об их поразительном долголетии еще усиливает это впечатление.

И, даже рискуя прослыть глупцом, верящим в колдовские чары, я не могу не сознаться, что до сих пор, когда случается мне в июле или в августе покинуть людные городские улицы и побродить в Адирондакских горах далеко от влияния города и, следственно, близко к неисповедимому влиянию природы; когда во время таких скитаний я сижу у поросших мхом истоков глубокого лесного оврага, среди упавших стволов сраженных молнией сосен и вспоминаю, словно во сне, другие мои скитания в далеких краях, в запекшемся сердце зачарованных островов, где нет-нет да мелькнет темный панцирь или протянется лениво из безлиственных зарослей длинная шея; и снова вижу внутренним взором остекленелые глыбы, на которых прочертили глубокие борозды черепахи, когда век за веком медленно тащились по ним в поисках какой-нибудь лужи, — что в

такие минуты я не могу отделаться от чувства, будто мне и вправду довелось побывать во владениях злого чародея.

Мало того, столь ярки мои воспоминания или столь причудлива фантазия, что я далеко не уверен в том, не бывает ли у меня порой зрительных галлюцинаций, вызванных Галапагосскими островами. Ибо нередко во время веселых сборищ, а тем паче пиршеств при свечах в каком-нибудь старинном доме, когда в отдаленных углах просторной комнаты залегают тени, превращая их в подобие неведомо кем населенного подлеска в некоем пустынном бору, — друзья обращают внимание на мой застывший взгляд и внезапную перемену настроения: это мне привиделось, что из созданной моим воображением чащи медленно возникает и тяжко волочится по полу призрак гигантской черепахи, и на спине у нее огненными буквами выведено: «Memento…»[11].

[11] Примечания: 11
Помни [о смерти] (*лат.*).

Очерк второй
Две стороны черепахи

Чудовищны исчадья здешних мест!
Сама Природа, глянув по оказии
На тварей, расплодившихся окрест,
Стыдилась бы плодов своей фантазии,
Возросших столь бесстыдно в безобразии.
Не диво, коль заплачет человек:
Ведь все, что было мукой для него,
Забудется мгновенно – и навек —
При виде гадин, выползших на брег.

– Смелее будьте, – рек паломник наш, —
Не бойтесь; их на самом деле нет:
Они обман, фантазия, мираж. —
И посохом над нечистью взмахнул —
И гадины попятились назад,
Во чрево тьмы, где оборотни спят.

Прочитав такое описание, как вы думаете:

возможно ли на Энкантадас веселье? Да. Нужно только найти повод для веселья, и будешь весел. В самом деле, пусть это острова покаяния и скорби, но все же здесь царит не вовсе беспросветный мрак. Ибо даже черепаха, хоть никто не станет отрицать, что вид ее настраивает на торжественное и суеверное состояние духа, хоть самые твердые намерения не могут помешать мне вглядываться в черепаху-призрак, когда она появляется из завешанного тенями угла, — даже черепаха, повторяю, как бы ни была она со спины темна и печальна, имеет свою светлую сторону: ведь ее калипи, то есть набрюшный щит, отливает иногда желтизной или золотом. К тому же всем известно, что сухопутная черепаха, так же как и морская, если перевернуть ее на спину, так чтобы светлая сторона оказалась на виду, не может сама перевернуться обратно, темной стороной кверху. Но, перевернув ее, не уверяйте, будто это значит, что у черепахи нет и темной стороны. Любуйтесь ее светлой стороной, держите ее в таком положении хоть все время, но будьте честны, не притворяйтесь, что черной стороны нет. А уж если вам не удалось изменить естественное положение черепахи так, чтобы темная ее сторона была скрыта, а светлая на

виду, словно тыква на октябрьском солнце, не заявляйте на этом основании, что упрямая эта тварь — сплошное чернильное пятно. Черепаха и черна, и светла. Однако перейдем к рассказу.

За несколько месяцев до того, как я впервые ступил на эти берега, наше судно плавало неподалеку от Заколдованного архипелага. Однажды в полдень мы очутились на траверзе южного мыса острова Альбемарль, на довольно близком от него расстоянии. Отчасти для развлечения, отчасти же для осмотра столь удивительной суши на берег была отправлена шлюпка и матросам приказано высмотреть все, что возможно, а заодно доставить на корабль черепах, каких и сколько сумеют.

Смельчаки воротились уже после захода солнца. Я перевесился через высокий фальшборт, точно заглядывая в сруб колодца, и смутно увидел внизу мокрую шлюпку, глубоко осевшую под каким-то необычным грузом. Сбросили веревки, и после напряженных усилий на палубу были подняты три огромные, допотопного вида черепахи. Казалось, такого не могла породить земля. Перед тем мы провели в море пять долгих месяцев — срок, вполне достаточный для того, чтобы все сухопутное воспринималось как чудо. Если

бы в тот вечер к нам на палубу поднялись три таможенных чиновника, очень возможно, что я изумленно воззрился бы на них, стал трогать их и гладить, как поступают дикари с гостями из цивилизованного мира. Но вместо трех таможенных чиновников перед глазами у меня были эти поистине сказочные черепахи — не из тех мелких, с какими возятся школьники, а черные, как траур вдовца, тяжелые, как полные серебра сундуки, с большущими панцирями, овальными и выпуклыми, как боевые щиты, в зазубринах и вмятинах, как щиты, побывавшие в деле, а местами мохнатые от темно-зеленого мха, липкие и скользкие от морской пены. Эти загадочные твари, внезапно перенесенные в темноте из неимоверно пустынных пространств на нашу людную палубу, произвели на меня действие, которое нелегко описать словами. Они будто только что вылезли из-под основания мира. Да, это словно были те самые черепахи, на которых, как полагают в Индии, держится все мироздание.

С помощью фонаря я рассмотрел их подробнее. До чего же почтенный, полный достоинства облик! До чего мягко ворсистая зелень облекает грубую корку, исцеляя трещины в поврежденной

броне! Я уже не видел перед собой трех черепах. Они разрослись, преобразились. Я видел три римских Колизея, великолепных и в упадке.

— О вы, древнейшие обитатели этого да и любого другого острова, — сказал я, — впустите меня в ваши трехстенные города!

Острее всего при виде этих созданий было ощущение старости, извечной выносливости и терпения. Мне просто не верится, чтобы какое-нибудь другое создание могло жить и дышать дольше, чем черепахи с Заколдованных островов. Не говоря уже о всем известной их способности существовать без пищи целый год, примите во внимание непроницаемую крепость их природной кольчуги. Какому еще животному дана такая цитадель, чтобы выдерживать в ней набеги Времени?

Когда я, зажав в одной руке фонарь, другою соскребал мох, обнажая древние шрамы от ушибов, следствия многих тяжелых падений среди здешних мергельных гор, — шрамы, причудливо разошедшиеся, взбухшие, уже почти зажившие, но искривленные, как те, что порою видишь на коре очень старых деревьев, — я чувствовал себя археологом, изучающим птичьи следы и письмена на обнаруженных раскопками плитах, по

которым ступали невероятные живые существа, даже призраки коих ныне вымерли.

В ту ночь, лежа в своей койке, я слышал над головой медленное, усталое передвижение трех увесистых пленниц по загроможденной палубе. Так велика была их глупость — или решимость, — что никакие препятствия не заставляли их свернуть с дороги. Незадолго до полуночи одна из них совсем затихла. На рассвете я увидел ее — она воткнулась, как таран, в неподвижное основание фок-мачты и все еще изо всех сил пыталась пробиться вперед. Ничто вас так не укрепляет в мысли, что черепахи — жертвы карающего, или злобного, или даже сродного дьяволу чародея, как эта страсть к безнадежным усилиям, которая ими порой овладевает. Я знавал случаи, когда они во время своих странствований по острову геройски кидались на скалы и долго тыкались в них, изворачивались и ловчили, чтобы сдвинуть их в сторону и продолжить твердо намеченный путь. Поистине страшным проклятием кажется это их тупое стремление двигаться по прямой в перекореженном мире.

Другие две черепахи, не встретив столь серьезной преграды, как первая, натыкались всего лишь на такие мелкие препятствия, как бочки, ящики,

бухты канатов, и время от времени, переползая через них, с грохотом шлепались на палубу. Прислушиваясь к этому волочению и глухим ударам, я рисовал себе их родные места — остров с бесчисленными оврагами и бездонными ущельями, врезающимися в самое сердце расщепленных гор, на много миль поросший непроходимыми чащами. Потом я представил себе, как эти три прямолинейных чудовища из века в век пробирались во мраке теней, закопченные, как кузнецы, такие медлительные и тяжеловесные, что не только у них под ногами вырастали ядовитые грибы, но и спины их обрастали грязно-зеленым мхом. Вместе с ними я блуждал в вулканическом хаосе, без конца отбрасывал с дороги гниющие сучья; и наконец мне приснилось, что я сижу, скрестив ноги, на той, что идет впереди, а на двух других тоже сидит по мудрецу, образуя треножник, на котором покоится свод вселенной.

Вот в какой несуразный кошмар вылилось мое первое впечатление от здешней черепахи. А на следующий вечер, как ни удивительно, я сел за стол с другими матросами, и мы превесело поужинали черепашьими отбивными и черепашьим рагу, и после ужина, вооружившись ножами, скоблили и ровняли, пока из трех мощных вы-

гнутых панцирей не получились три затейливые суповые миски, а из трех плоских желтоватых набрюшных щитов — три роскошных подноса.

Очерк третий
Утес Родондо

Несчастья и Отчаянья скала…
Несчастье и подумать про нее,
Она живое воплощенье зла,
Здесь волны вопиют, как воронье,
И ветер носит хриплое вранье
Басистого баклана над водой.
Пусть на нее кидается прибой —
Молчанием ответствует она,
И вот о край твердыни роковой
Бессильно разбивается волна.
Да выслушает Мореход без гнева
Хоть половину непонятного напева.

И с диким криком взмыли к облакам
Неистовые стаи мерзких птиц,
Стучали крылья глухо по бокам,
И полночь означала страх, и стыд, и срам.
Как будто не Природой, а Пороком

Порода этих птиц порождена.

Подниматься на высокую каменную башню не только интересно само по себе, это еще и лучший способ обозреть ближние и дальние окрестности. И предпочтительно, чтобы башня стояла одна, на пустом месте, как таинственная башня в Ньюпорте, или была единственной уцелевшей частью какого-нибудь разрушенного замка.

Так вот, Заколдованные острова предлагают нам как раз такого рода превосходную наблюдательную вышку в виде необыкновенного утеса, которому испанцы за его своеобразную форму издавна присвоили название утес Родондо, то есть Круглый. Высотой около двухсот пятидесяти футов, вырастающий прямо из воды в десяти милях от берега, северо-западнее этого гористого архипелага, утес Родондо занимает здесь, в большем масштабе, примерно то же положение, какое campanile, отдельно стоящая колокольня Святого Марка в Венеции, занимает по отношению к окружающим ее скученным старинным зданиям.

Однако прежде, нежели взойти на этот утес и окинуть взглядом все Энкантадас, следует внимательно приглядеться к нему самому. Виден он с моря уже за тридцать миль и, без сомнения,

тоже причастен к колдовству, которым опутаны эти острова, потому что издали его неизменно принимают за судно. Милях в пятнадцати, в золотой, чуть туманный полдень, под сверкающими ярусами парусов, он кажется фрегатом какого-нибудь испанского адмирала. «Виден парус! Парус! Парус!» — кричат марсовые со всех трех мачт. Но вот вы приблизились — и вместо фрегата перед вами скалистая крепостная башня.

Впервые я побывал там в серый предутренний час. Мы спустили три шлюпки, чтобы наловить рыбы, и, отплыв мили две от своего корабля, перед самым рассветом оказались в лунной тени от Родондо. В двойных сумерках очертания его были и отчетливы, и мягки. Огромная полная луна горела низко на западе, как далекий маяк, отбрасывая на море неяркие румяные блики, какие в полночь отбрасывает на пол догорающий огонь камина; а на востоке невидимое солнце бледным свечением уже возвещало о своем приходе. Ветер был легок, волны ленивы, звезды мигали, чуть заметно лучась; казалось, вся природа, утомленная долгим ночным бдением, бессильно замерла в ожидании солнца. То было лучшее время суток для первой встречи с Родондо. Света как раз хватало на то, чтобы открыть

глазу все его примечательные черты, не срывая с него полупрозрачного покрова чуда.

От неровного, ступенчатого основания, омываемого волнами, как лестница венецианского дворца, утес подымался карнизами к плоской вершине. Эти почти одинаковой толщины слои камня и отличают утес от всякого другого. Ибо они выступают наружу круговыми горизонтальными балконами, поднимаясь один над другим до самого верха. И как под стропилами старого сарая или аббатства полным-полно ласточек, так на этих скалистых выступах полным-полно всякой морской птицы. Карниз над карнизом, гнезда над гнездами. Тут и там по всей башне сверху донизу шли длинные, мутно-белые потеки птичьего клея, чем и объясняется, что издали она похожа на паруса. Тут стояла бы зачарованная тишина, если бы не дьявольский шум, производимый птицами. Они заполняли карнизы громким шорохом, взлетали кверху кучными стаями, а потом разворачивались в крылатый, непрестанно движущийся балдахин. Этот утес — пристанище водяной птицы на сотни и сотни миль в округе. К северу, к востоку и к западу простерся бескрайний пустой океан, так что ястреб-крейсер, летящий от берегов Северной Америки, из Полинезии или

из Перу, делает свой первый привал на Родондо. И все же, хотя Родондо — твердая земля, ни одна сухопутная птица на него не опустится. Да и вообразите здесь реполова или канарейку! Поистине плененной филистимлянами оказалась бы бедная певчая пташка, окруженная, как стаями саранчи, сильными птицами-разбойниками с длинными клювами, жестокими, как кинжалы.

Едва ли где-нибудь можно изучить естественную историю чужестранных морских птиц лучше, чем на Родондо. Это настоящий птичий питомник. Здесь живут птицы, которые никогда не опускались ни на мачту, ни на дерево; птицы-отшельники, летающие только поодиночке, птицы-поднебесники, знакомые с неизведанными заоблачными высями.

Заглянем сперва на самую широкую, нижнюю полку, расположенную лишь немногим выше уровня воды. Что это там за диковинные существа? Стоячие, как люди, но отнюдь не такие же приятные с виду, они выстроились по всему кругу карниза и, подобно кариатидам, поддерживают следующий, нависающий над ними выступ. Тела их нелепы и уродливы; клювы короткие; широкие лапы растут прямо из туловища, а по бокам торчат непонятные отростки — не плавники, не

крылья и не руки. И в самом деле, пингвин — ни рыба, ни мясо, ни птица; в пищу он не годится ни постом, ни на масленице; из всех созданий, известных человеку, безусловно, самое несуразное, самое непривлекательное. Он пробует свои силы во всех трех стихиях и как будто даже имеет для этого основания, однако ни в одной из них не чувствует себя дома. По земле он ковыляет, в воде барахтается, в воздухе не держится. Мать-природа, словно стыдясь своей промашки, запрятала это свое неприглядное детище в самые дальние концы земного шара — к Магелланову проливу и на нижний ярус Родондо.

Но поглядите, что это за скорбная толпа собралась чуть повыше, на следующем карнизе? Что за шеренги крупных, странного вида птиц? Что за серые монахи океанской породы? Пеликаны. Большие клювы и подвешенные к ним тяжелые кожаные мешки придают им презрительно-угрюмое выражение. Бурые, без блеска крылья наводят на мысль, что они посыпаны пеплом. Прямо-таки покаянная птица, вполне уместная на берегах этих вулканических Энкантадас, где Иову впору было бы сесть и скоблить себя черепицей.

Еще повыше гнездится гони, серый альбатрос,

названный так не по заслугам — это нескладная, совсем не поэтичная птица, не то что ее легендарный сородич, белоснежный дух, витающий над мысом Горн и мысом Доброй Надежды.

Поднимаясь еще выше, от карниза к карнизу, мы видим, что обитатели башни постепенно убывают в размерах — олуши, черные и пятнистые бакланы, морские сойки, морские курочки, птица-кашалот, всякого вида чайки; троны, княжества, державы высятся одни над другими в строгой иерархии. А повсюду, и выше и ниже, как бесконечно повторяющаяся мушка на огромной вышивке, мелькает малый буревестник, без умолку подавая звонкие сигналы вызова и тревоги. То, что этот удивительный океанский колибри (будь у него расцветка поярче, его можно было бы за эфемерную прелесть назвать даже океанской бабочкой, но щебет его за кормой моряки считают дурной приметой, как фермеры — тиканье древоточца в стене), то, что он охотно посещает Заколдованные острова, немало способствует моряцкой вере в здешние злые чары.

С приближением утра нестройный гомон все нарастает. Оглушительным криком дикие птицы служат свою обедню. Одна за другой стаи взмывают с утеса и вливаются в воздушный хор, а

их место мгновенно занимают новые сонмища. Но сквозь эту суету и разноголосицу я все время слышу чистые, серебряные звуки дудки, падающие сверху, как косые полосы теплого летнего дождя. Я поднимаю голову и далеко в вышине вижу нечто белоснежное, как ангел, с торчащим сзади одним-единственным копьевидным пером. Это — веселый ярко-белый петух океанских просторов, красавец, которому за его мелодичный призывный свист дали самое подходящее название: «птица-боцман».

Как я убедился в то памятное утро, сонмам пернатых, которыми полнится воздух вокруг Родондо, не уступают по численности рыбы, населяющие воду у его основания. Ниже уровня воды утес являет собой сплошные соты, лабиринты гротов, убежище несчетных сказочных рыб. Все они причудливы, иные на редкость красивы, достойны дорогих стеклянных шаров, в каких держат напоказ золотых рыбок. Что самое поразительное — многие особи в этом скоплении были мне совершенно незнакомы. Здесь были оттенки, еще не воссозданные кистью, очертания, не изображенные пером.

Чтобы дать представление о количестве, жадности и бесстрашии этих рыб, скажу, что наши

рыболовы раз за разом пытались забросить удочки в глубину, где медленно плавали более крупные и более осторожные рыбы, видные в те минуты, когда рыбки помельче выскакивали на поверхность, оставляя за собой просветы чистой воды. Но тщетно: пробиться через верхний слой рыбы так и не удалось. Едва крючок касался воды, как на него набрасывались сотни желающих угодить на сковородку. Бедные, доверчивые рыбки Родондо! В своем заблуждении вы подобны тем людям, что слепо верят в человеческую природу, ничего в ней не понимая.

Однако уже совсем рассвело. Стая за стаей птицы улетели искать пропитание в море. Утес опустел, остались только рыбы у его подножия. Птичий клей блестит в золотых лучах, как побеленная стена высокого маяка или как паруса фрегата. Мы-то уже знаем, что это мертвый, пустынный утес, но другие моряки наверняка готовы поклясться, что видят нарядный, многолюдный корабль.

Но где веревки? Пора лезть на башню. Только потихоньку, ведь дело это нелегкое.

Очерк четвертый
Вид с птичьего полета

Вершина эта – выше остальных,
С нее обозреваешь всю картину…

Если вы хотите подняться на утес Родондо, выполните нижеследующие предписания. Три раза обойдите вокруг света марсовым матросом на самом высоком из ныне плавающих фрегатов; затем года на два поступите в обучение к проводникам, что поднимаются с приезжими на пик Тенериф, и на такое же время по очереди к канатоходцу, к индусу-жонглеру и к горной козе. После чего являйтесь сюда, и в награду вы получите вид с нашей башни. Как мы туда взобрались — известно только нам. Если б мы и попробовали рассказать другим, что бы это им дало? Довольно того, что мы с вами стоим здесь, на вершине. Открываются ли взору воздухоплавателя или даже обитателя Луны столь обширные пространства? Можно вообразить, что примерно так выглядит вселенная с зубчатых стен Мильтоновой небесной крепости. Бескрайнее водяное Кентукки. Подходящее обиталище для Дэниела Буна.

Подождите пока смотреть на выжженную группу Заколдованных островов. Обратите взгляд как бы мимо них, к югу. Вы не увидите ничего, но давайте я вам покажу хотя бы в какой стороне, если не где именно, лежат кое-какие интересные точки в этом бесконечном океане, который, поцеловав подножие нашей башни, как свиток разворачивается к Южному полюсу.

Мы стоим сейчас в десяти милях от экватора. Вон там, на востоке, миль за шестьсот отсюда, начинается материк; и наш утес приходится почти на одной параллели с городом Кито.

А еще заметьте вот что: мы находимся на одной из трех групп необитаемых островов, которые примерно на одинаковом расстоянии от материка, далеко отстоя друг от друга, охраняют, словно часовые, все западное побережье Южной Америки. Можно сказать, что с ними кончается южноамериканский характер местности. Из лежащих дальше к западу бесчисленных островов Полинезии ни один не обладает теми же особенностями, что Энкантадас, острова Святого Фелисия и Святого Амвросия или острова Хуан Фернандес и Массафуэро. О первых нам нет нужды сейчас говорить. Вторые лежат чуть южнее тропика Козерога: высокие, суровые, непригод-

ные для обитания скалистые острова, один из которых, представляя собой две скругленные возвышенности, соединенные низким рифом, очень смахивает на двуглавое боевое ядро. Последние лежат на широте 33 градусов, они тоже высокие, дикие, скалистые. Хуан Фернандес достаточно известен и без дальнейших описаний. Массафуэро — испанское название, означающее, что этот остров лежит «кнаружи», то есть дальше от континента, чем его сосед Хуан. Этот Массафуэро миль за восемь — десять выглядит очень внушительно. Когда подходишь к нему в облачную погоду с одной определенной стороны, он своей большой высотой и ломаными очертаниями, а главное — своеобразно скошенными вершинами сильно напоминает исполинский айсберг, застывший в величавом покое. Бока его изрезаны длинными щелями, как старинный собор с сумрачными боковыми приделами. Приближаясь с моря к такому ущелью после долгого плавания и видя, как навстречу по его камням круто спускается какой-нибудь оборванный бродяга с посохом в руке, человек, неравнодушный к живописным зрелищам, испытывает очень странное чувство.

В разное время мне, отлучаясь с корабля на ловлю рыбы, привелось посетить все эти острова.

У новичка, подплывающего в шлюпке вплотную к их мрачным утесам, создается впечатление, что он первым их открыл, до того они обычно безмолвны и пустынны. И тут, между прочим, стоит упомянуть о том, как эти острова действительно были впервые обнаружены европейцами, тем более что это относится и к открытию наших Энкантадас.

До 1563 года переходы испанских кораблей из Перу в Чили были сопряжены с неимоверными трудностями. Вдоль этого побережья дуют главным образом южные ветры; и шкиперы неизменно держались возможно ближе к берегу, суеверно считая, что, стоит потерять его из виду, как безжалостный пассат унесет их в бескрайние моря, откуда не будет возврата. Здесь, петляя среди извилистых бухт и мысов, рифов и мелей, к тому же при встречном ветре, часто слабом, а порой сменяющемся штилем, испанцы обычно терпели жестокие бедствия на пути, который в наши дни как будто бы сильно удлинился. В каком-то собрании отчетов о морских катастрофах имеется рассказ об одном таком корабле, который, пустившись в плавание, рассчитанное на десять дней, провел в море четыре месяца, да так и не достиг гавани, потому что в конце

концов потерпел крушение. Примечательно, что корабль этот ни разу не попал в шторм, но оказался игрушкой коварных течений и штилей. Три раза, когда истощались припасы, он заходил в промежуточный порт, и снова пускался в путь, и опять возвращался. То и дело его окутывал туман, так что он не мог определить свое местоположение, а один раз матросы уже пребывали в радостной уверенности, что вот-вот завидят порт назначения, но вдруг туман поднялся, и что же они увидели? Те самые горы, от которых первоначально пустились в путь. В таком же предательском тумане корабль через некоторое время наскочил на риф, из чего воспоследовали невзгоды столь тяжкие, что и рассказывать о них трудно.

Конец этим каботажным злоключениям положил знаменитый мореход Хуан Фернандес, которого обессмертил остров, названный в его честь: он отважился на рискованный опыт, как то сделал до него да Гама по отношению к Европе, — решил идти курсом вдали от берега. Здесь ветры для продвижения на юг оказались благоприятны, и он, удалившись к западу настолько, чтобы избежать влияния пассатов, потом без труда возвратился к материку, совершив рейс хоть и в

высшей степени обходный, но оказавшийся куда более быстрым, чем так называемый прямой. Вот на этих-то новых путях около 1670 года и были открыты Энкантадас и другие острова-часовые, если позволено будет их так назвать. Хотя я нигде не читал о том, оказались ли какие-нибудь из них обитаемыми, можно с уверенностью предположить, что они от века были пустыней. Однако вернемся на Родондо.

К юго-западу от нашей башни, в сотнях и сотнях миль от нее, лежит Полинезия; а прямо на запад, на одной с нами параллели, вы не встретите ничего, пока не ткнетесь килем в Кингсмильские острова совсем неподалеку — в пяти тысячах миль или около того.

Теперь, когда мы с помощью таких далеких ориентиров (а иных на Родондо не придумаешь) определили свое место в океане, займемся предметами не столь отдаленными. Посмотрите на мрачные обугленные Энкантадас. Вот этот, ближайший к нам мыс в виде кратера — часть Альбемарля, самого большого из Заколдованных островов, в длину не меньше шестидесяти миль, а в ширину пятнадцать. Видели вы когда-нибудь подлинный, неподдельный экватор? Приходилось ли вам в буквальном смысле «стоять у

черты»? Так вот, экватор разрезает этот мыс-кратер, эту сплошную желтую лаву, в точности так, как нож разрезает пополам пирог с тыквой. Если бы человеческий глаз мог видеть дальше, вы бы приметили чуть сбоку от этого мыса, вон за той низиной, остров Нарборо, самую высокую точку архипелага: ни горстки почвы; сверху донизу одна застывшая лава; на каждом шагу — черные пещеры, подобные кузницам; металлическая прибрежная отмель громыхает под ногой, как лист железа; а вулканы в центре стоят тесно друг к другу, как исполинские печные трубы.

Нарборо и Альбемарль — соседи, но не обычные. Простой рисунок даст вам представление об этом странном соседстве:



Прорежьте пролив у основания средней поперечины, и эта поперечина будет Нарборо, а все остальное — Альбермаль. Нарборо лежит в черном зеве Альбемарля, как красный язык волка в его открытой пасти. Если вас интересует, какое на Альбемарле население, могу предложить в круглых цифрах некоторые статистические данные, результат подсчетов, произведенных на месте:

Людей	нет
Муравьедов	неизвестно
Людоедов	неизвестно
Ящериц	500 000
Змей	500 000
Пауков	1 0 000 000
Саламандр	неизвестно
Чертей	тоже
Итого	11 000 000

да еще неисчисленное множество чертей, муравьедов, людоедов и саламандр.

Альбемарль разинул свою пасть в сторону заходящего солнца. Его раскрытые челюсти образуют большую бухту, которую Нарборо, его язык, делит на две части, названные: одна — бухта Наветренная, другая — бухта Подветренная; а вулканические мысы, которыми заканчивается остров, носят названия Северный и Южный.

Отмечаю я это потому, что вышеназванные бухты часто упоминаются в анналах китобойных промыслов. В определенное время года киты заплывают сюда рожать детенышей. Мне рассказывали, что первые китобои, достигавшие этих мест, перегораживали вход в бухту Подветренную, а затем их шлюпки проходили через бухту Наветренную в пролив Нарборо, и таким образом левиафаны оказывались в ловушке.

На следующий день после того, как мы ловили рыбу у подножия Родондо, наш корабль при попутном ветре резво обогнул Северный мыс, и вдруг мы увидели целую флотилию, не менее тридцати судов, голова в голову несущихся против ветра. Удивительно красивое зрелище. Полная слаженность при стремительном движении. Тридцать килей звенели, как тридцать натянутых струн, и прямыми, как струны, были параллельные пенные следы, которые они оставляли на воде. Но охотников оказалось больше, чем дичи. Завидев нас, китобои бросились врассыпную и исчезли из вида, оставив на месте только наше судно да еще двух щеголеватых лондонцев. Однако и те, ничего не найдя, скоро исчезли, и бухта Подветренная со всем, что в ней было, и без единого соперника досталась нам.

Лавировать здесь приходится так. Долго топчешься у входа в бухту — шаг вперед, два назад. А бывает — не всегда, как в других частях архипелага, но временами, — что поперек этого входа со скоростью арабского скакуна проносится какое-то течение, и тогда ничего не остается, как, поставив все паруса, осторожно менять галс. Сколько раз на рассвете, пока наш корабль терпеливо ждал, нацелившись носом в проход между двумя островами, я, стоя у фок-мачты, разглядывал эти берега — не пряничные, а каменные, и на них — не сверкающие брызгами ручьи, а застывшие потоки взбаламученной лавы.

Перед кораблем, проникшим наконец в бухту из открытого моря, Нарборо предстает темной, плотной скалистой громадой, уходящей ввысь на пять-шесть тысяч футов, а еще выше окутанной тяжелыми тучами, ровный нижний край которых так же четко выделяется на фоне его черного склона, как нижняя линия снега — на фоне Анд. Там, в заоблачном мраке, творятся злые дела. Там орудуют огненные демоны, что время от времени на много миль в округе озаряют ночь призрачным светом, в остальном же, однако, ведут себя тихо; а не то неожиданно заявляют о себе оглушительными взрывами и всеми ужасами

вулканического извержения. Чем чернее эти тучи днем, тем вероятнее, что ночью будет светло. Китобоям нередко случалось видеть вблизи эти горы, залитые огнями, как бальная зала. А еще больше, пожалуй, этот остров Нарборо с его высокими трубами напоминает стекольный завод.

Отсюда, с вершины утеса Родондо, на которой мы все еще стоим, видны не все острова, но указать, где они находятся, можно. Однако вон там, к ост-норд-осту, я могу различить темный горный кряж. Это — остров Абингтон, один из самых северных в группе; затерянный, далекий, пустой — так выглядит Ничья земля с наших северных берегов. Сомневаюсь, чтобы там когда-либо побывали хоть два человека. Если судить по этому острову, Адам и миллиарды его потомков вообще не были сотворены.

Южнее острова Абингтон, скрытый от нас за длинной стеной Альбемарля, лежит остров Якова, некогда названный так флибустьерами в честь злополучного Стюарта, герцога Йоркского. Заметим, кстати, что, если не считать островов, нанесенных на карты сравнительно недавно и по большей части носящих имена знаменитых адмиралов, первые свои названия Энкантадас получили от испанцев; но на английских картах

эти испанские названия были затем изменены флибустьерами, которые в середине XVII века переименовали их в честь английских вельмож и королей. Об этих верноподданных пиратах и о том, как они связаны с Энкантадас, будет рассказано ниже. Впрочем, один пустячок можно упомянуть и сейчас. Между островом Якова и Альбемарлем лежит островок с чудноватым названием Заколдованный остров Коули. Но поскольку заколдованным считают весь архипелаг, следует объяснить, какие же еще особые чары дали повод для такого наименования. Оказывается, доблестный флибустьер сам окрестил этот остров, когда впервые здесь побывал. В своих опубликованных записках он говорит: «Мне вздумалось назвать его Заколдованный остров Коули, ибо он, будучи наблюдаем с различных румбов, всякий раз являл новые очертания — то походил на развалины крепости, то на большой город…» и т. д. И надо ли удивляться, что посетившие эти места часто оказывались жертвой фата-морганы и всякого рода обмана зрения.

То, что Коули связал свое имя с этим хамелеонским насмешником островом, наводит на мысль, что в минуты раздумья он, возможно, отождествлял его образ с самим собой. Правда, если он, что

вполне возможно, приходился родственником поэту Коули, жившему примерно в одно время с ним и известному созерцательным складом ума и склонностью к самобичеванию, то такое предположение едва ли справедливо, ибо кровь не вода и есть семейные черты, свойственные равно поэтам и пиратам.

Еще дальше к югу от острова Якова расположены острова Джервиса, Дункана, Кроссмена, Брэтла, Вуда, Чатама и другие, поменьше, по преимуществу без обитателей, без истории и без надежды когда-либо обзавестись таковыми. Но поблизости от них есть и более примечательные острова — Баррингтона, Карла, Норфолка и Гуда. Из дальнейших глав вы узнаете о том, чем они примечательны.

Очерк пятый
Фрегат и «Летучий корабль»

Корабль вдали, на шири беспредельной,
Мы лицезрели, как заветный знак.
Какая крепость в снасти корабельной,
Как весело и гордо реет стяг!

Прежде чем покинуть Родондо, не забудем упомянуть, что именно здесь в 1813 году чуть не затонул фрегат Соединенных Штатов «Эссекс», которым командовал капитан Дэвид Портер. Однажды утром, когда он попал в штиль, а течение быстро несло его прямо на этот утес, с мачты завидели корабль, который — в полном соответствии с легендами о здешних наваждениях — как будто боролся с жестоким штормом, в то время как сам фрегат был неподвижен, словно какая-то сила держала его на месте. Но вот поднялся легкий ветерок, и фрегат на всех парусах помчался в погоню за неприятелем, предположив, что это английское китобойное судно; однако так сильно было течение, что незнакомый корабль скоро исчез из вида; а к полудню «Эссекс», сколько он ни стопорил, подогнало так близко к исхлестанным

пеной скалам Родондо, что люди уже потеряли надежду. И опять свежим ветром их отнесло от опасного места — в самую последнюю минуту, так что избавление показалось чудом.

Спасшись таким образом от гибели, фрегат попытался использовать свое спасение на погибель врагу. Он пустился в погоню, в ту сторону, куда скрылся неизвестный корабль, и наутро увидел его. Тот, поняв, что его заметили, поднял американский флаг и дал «Эссексу» дорогу. Ветер стих, и капитан Портер, по-прежнему убежденный, что перед ним английское судно, послал к нему баркас — не для нападения, а с приказом отогнать шлюпки, которые вели его на буксире. Это баркасу удалось. Затем баркасам было приказано захватить незнакомца, который к тому времени сменил американский флаг на английский. Но когда они были уже близко к вожделенному призу, снова задул неожиданный ветер. Незнакомец, распустив паруса, понесся на запад и еще до наступления темноты скрылся за горизонтом, а «Эссекс» так и не сдвинулся, прикованный к месту штилем.

Таинственный этот корабль — утром американский, а к вечеру английский, с парусами, надутыми ветром во время полного штиля, — ни-

кто больше никогда не видел. Конечно, тут не обошлось без колдовства. Так по крайней мере уверяли матросы.

Этот поход «Эссекса» в Тихий океан во время войны 1812 года — едва ли не самый любопытный и волнующий эпизод в истории американского военного флота. Фрегат захватил несколько сбившихся с курса вражеских судов; посетил самые отдаленные моря и острова; долго пробыл в зачарованных водах вблизи Энкантадас и наконец геройски сложил голову в битве с двумя английскими фрегатами в гавани Вальпараисо. Здесь мы рассказали о нем по той же причине, почему ниже расскажем о флибустьерах: подобно им, он много плавал среди Энкантадас; люди его охотились за черепахами на их берегах и вообще их обследовали; а значит — связь его с Заколдованными островами несомненна.

Да будет всем известно, что сколько-нибудь надежные сведения об Энкантадас оставили нам только три очевидца: Коули, флибустьер (1684); Кольнет, разведчик китобойных промыслов (1798); Портер, командир двадцатипушечного фрегата (1813). Кроме их свидетельств имеются лишь случайные, ничего не дающие упоминания в работах кое-каких мореплавателей и компи-

ляторов.

Очерк шестой
Остров Баррингтон и флибустьеры

С презреньем их приказы отметем!
Сыны Земли, наследники отцов,
Возьмем с отвагой праведной бойцов
Богатства все, завещанные нам,
Те, что пока немногие к рукам
Прибрали втихомолку – и таят.

Что должен делать ты? Да лишь одно —

Ты должен делать все, что пожелаешь.

Как славно мы теперь живем, как весело,
как близко к наследию праотцов, без страха, свободные от мелких забот.

Лет двести тому назад остров Баррингтон был убежищем тех знаменитых флибустьеров, которые, будучи вытеснены из кубинских вод, пересекли Дарьенский перешеек и стали совершать набеги на испанские колонии со стороны Тихого океана и точно по расписанию, как в

наши дни ходит почта, перехватывать корабли с королевскими сокровищами, курсировавшие между Манилой и Акапулько. Сюда они возвращались после тяжких пиратских трудов, чтобы молиться Богу, предаваться невинным забавам, пересчитывать сухари из больших бочек и дублоны из малых бочонков и перемеривать азиатские шелка, пользуясь вместо деревянных ярдов длинными толедскими клинками.

Никакое иное место на земле не могло бы в те дни служить столь верным укрытием, столь недоступным тайником. Здесь, посреди огромного безмолвного океана, куда редко заходили корабли, окруженные островами, чей негостеприимный вид отпугивал случайного морехода, однако же всего в нескольких днях пути от богатых земель, где флибустьеры искали свою поживу, они обретали тот покой, которого сами беспощадно лишали все цивилизованные гавани в этой части земного шара. Сюда устремлялись эти разбойники былых времен, выдержав жестокий шторм, либо потрепанные в схватке с жаждущим мести врагом, либо удирая на всех парусах со своей золотой добычей, и здесь отсиживались, уже ничего не опасаясь. Но был этот остров не только надежным пристанищем и ме-

стом отдохновения — он и в других отношениях был весьма полезен.

Остров Баррингтон как нельзя лучше приспособлен для ремонта, кренгования, пополнения припасов и прочих моряцких надобностей. Мало того, что там есть хорошая вода и удобные стоянки, защищенные от всех ветров высокой стеной Альбемарля, — из этой группы островов он наименее бесплоден. Он изобилует черепахами, годными в пищу, деревьями, годными на дрова, и высокой травой, годной для постелей; там даже есть красивые естественные дороги и несколько живописных видов. В самом деле, хотя по своему местоположению Баррингтон и принадлежит к группе Заколдованных островов, он так не похож на своих соседей, что поверить в их родство почти невозможно.

«Как-то раз я высадился на его западном берегу, — пишет один давний сентиментальный мореплаватель, — на стороне, обращенной к черной твердыне Альбемарля. Я бродил под сенью деревьев, не очень высоких, и были то, конечно, не пальмы, и не апельсиновые деревья, и не персиковые, а все же после долгого пребывания в море бродить под ними было отрадно, хотя на них не росло никаких плодов. И здесь, в тихих угол-

ках, у истоков долин и наверху тенистых склонов, откуда открываются самые мирные картины, что бы вы думали, я увидел? Кресла, на каких могли бы восседать философы и президенты пацифистских обществ. Замечательные остатки того, что некогда было седалищами, отменно сработанными из земли и камня; несомненно искусственного происхождения и очень старинные, они, конечно же, были изготовлены флибустьерами. Одно из них имело форму длинного дивана со спинкой и подлокотниками, точь-в-точь такого дивана, на какой с удовольствием опустился бы поэт Грей с томиком Кребийона в руках.

Хотя флибустьеры иногда проводили на этом острове по нескольку месяцев кряду и использовали его как склад запасных рангоутов, парусов и бочек, однако же маловероятно, чтобы они возводили здесь жилища. Они никогда не оставались на острове без своих кораблей, а значит, и ночевали скорее всего на борту. Я упоминаю об этом потому, что не берусь объяснить постройку этих романтических тронов чем-либо иным, кроме стремления к чистому созерцанию и душевному общению с природой. Что флибустьеры творили страшные дела — это святая правда; что многие из них были отъявленными злодеями

— этого нельзя отрицать; однако мы знаем, что к их числу принадлежали и Дэмпир, и Вейфер, и Коули, и другие, кому в упрек можно поставить разве что их горькую судьбу, кого преследования, или несчастья, или тайные неотмщенные обиды погнали за пределы христианского общества на поиски печального одиночества или преступных морских похождений. Во всяком случае, пока на острове Баррингтон сохраняются остатки этих кресел, у нас будут неоспоримые доказательства того, что не все флибустьеры были законченными чудовищами.

Но во время моей прогулки по острову я не замедлил набрести и на другие свидетельства, вполне подтверждающие те жестокие черты, которые обычно — и, разумеется, не без оснований — приписывают всему племени флибустьеров. Если бы мне попались на глаза истлевшие паруса и ржавые обручи, я бы подумал только о судовых плотниках и бочарах. Но я нашел старинные абордажные сабли и кинжалы, ныне обратившиеся в полоски ржавчины, а некогда, безусловно, вонзавшиеся под ребра испанцам. То были реликвии убийц и разбойников; и бражники тоже оставили здесь свой след. На берегу, вперемешку с раковинами, там и сям валялись осколки разби-

тых жбанов — в точности таких, в какие сейчас на побережье Испании наливают местное вино и дешевую водку.

С заржавленным обломком кинжала в одной руке и черепком от винного жбана в другой я сел на полуразрушенный зеленый диван, о котором писал выше, и предался долгим раздумьям все о тех же флибустьерах. Возможно ли, чтобы они сегодня убивали и грабили, завтра бражничали, а еще через день отдыхали, превращаясь в созерцателей и философов, в сельских поэтов и строителей каменных кресел? А ведь не так уж это немыслимо. Каких только изменений не претерпевает человек! Впрочем, как ни странно это может показаться, мною владела и более милосердная мысль, а именно — что среди этих отчаянных людей встречались благородные, общительные души, склонные к подлинно безмятежному покою и добродетели».

Очерк седьмой
Остров Карла и собачий король

…Истошный вопль
Атаки этой означал начало.
Взбесился Город Зла, завыл Дьяволополь,
Срамные хляби и чумные скалы
Разинули железные кусала,
Дохнули смрадом, ужасом, огнем,
А дрянь помельче дротики метала.

– Мы не потерпим вашего вторжения,
Мы не рабы, чтоб жить для унижения;
Одни тупицы уважают труд,
А умные и так не пропадут.

К юго-западу от Баррингтона лежит остров Карла. И с ним связана история, которую я слышал давным-давно от одного матроса из нашей команды, обладавшего обширными познаниями о жизни в заморских краях.

Во время успешного восстания, поднятого испанскими провинциями в Америке против

Старой Испании, сражался в перуанской армии некий наемник, кубинский креол, который благодаря своей храбрости и удачливости с годами достиг высоких чинов в войсках патриотов. По окончании войны государство Перу — как то случалось с многими доблестными грандами — оказалось свободно и независимо, но без гроша в кармане. Иначе говоря, ему нечем было расплачиваться со своими солдатами. Но наш креол — забыл, как его звали, — выразил готовность получить свою плату землей. Ему был предложен на выбор любой из Заколдованных островов, которые находились тогда, да и теперь остаются номинально под властью Перу. Герой немедля пускается в путь, обследует всю группу островов и, возвратившись в Кальяо, объявляет, что возьмет грамоту на владение островом Карла. В этой грамоте должно быть также оговорено, что отныне оный остров Карла будет не только собственностью креола, но на вечные времена независим от Перу, так же как Перу — от Испании. Словом, этот проходимец добился того, что стал верховным владыкой острова, одним из земных

самодержцев![12]

И вот он рассылает оповещение о том, что в его еще не заселенном королевстве требуются подданные. Откликнулось человек восемьдесят, мужчин и женщин; и эти люди, получив от своего господина необходимые припасы, различного рода орудия, а также некоторое количество коров и коз, отплывают в землю обетованную, причем последним, уже перед самым отплытием, на корабль является сам креол в сопровождении, как ни удивительно, построенного по всем правилам эскадрона больших, устрашающего вида собак. Во время переезда было замечено, что собаки эти, не снисходя до общения с эмигрантами, держались аристократическим кружком возле своего хозяина на поднятом полуюте и оттуда бросали презрительные взгляды вниз, на палубу, где теснилась чернь; так солдаты гарнизона в завоеванном городе поглядывают с высоты крепостных стен на жалкие кучки городских обывателей, за которыми они поставлены над-

[12] Примечания: 12

Американские испанцы издавна завели обычай одаривать особо заслуженных лиц островами. Так, шкипер Хуан Фернандес получил грамоту на владение островом, названным его именем, и несколько лет прожил там еще до Селкирка. Однако ему, надо полагать, не очень-то весело жилось в его княжеской вотчине, поскольку через некоторое время он вернулся на материк и, по дошедшим до нас сведениям, стал весьма словоохотливым цирюльником в городе Лима. (*Примеч. авт.*)

зирать.

Надобно сказать, что остров Карла не только пригоден для жилья, как и Баррингтон, но и вдвое превосходит его по площади, имея в окружности миль сорок, если не пятьдесят.

Эмигранты, благополучно высадившись на сушу, тотчас приступили под руководством своего повелителя к постройке столицы. Они возвели несколько стен из обломков лавы, а лавовые полы аккуратно посыпали вместо песка золой. Коров они пасли на тех холмах, где было побольше зелени; козы, эти прирожденные искатели приключений, сами обследовали внутренние части острова в поисках высокой травы для скудного своего пропитания. А прочие потребности новоселов обеспечивало изобилие рыбы и неисчерпаемые запасы черепах.

Трудности, сопутствующие освоению всякой дикой местности, в данном случае усугублялись тем, что у многих из новоявленных паломников был чрезвычайно неуживчивый нрав. Чтобы справиться с ними, его величество были вынуждены объявить военное положение и даже самолично выследить и пристрелить нескольких своих строптивых подданных, которые с подозрительной целью устроили себе тайное убежище

в глубине острова и, украдкой выбираясь оттуда по ночам, бродили босиком вокруг лавового королевского дворца. Нужно, впрочем, отметить, что до того, как пойти на столь крайние меры, благоразумный правитель отобрал наиболее надежных людей и создал из них пехотную личную охрану под началом у кавалерийской охраны — собак. О политическом положении в этой несчастной стране можно судить по тому обстоятельству, что те из ее жителей, кто не состоял в королевской охране, были все до единого заговорщики и злостные изменники. Со временем смертная казнь была, без особого о том уведомления, отменена: король Нимрод успел сообразить, что, если и дальше отправлять правосудие столь решительно, у него скоро не останется дичи. Людской контингент личной охраны был распущен и послан обрабатывать землю и сажать картошку, а в регулярной армии остался только собачий отряд. Как я слышал, собаки эти были исключительно свирепые звери, лишь очень суровая выучка сделала их покорными хозяину. Теперь креол, вооруженный до зубов, разгуливал по острову, окруженный своими четвероногими янычарами, чей грозный лай не хуже штыков подавлял всякое поползновение к бунту.

Но мысль о том, что население острова сильно поредело вследствие судебных приговоров и лишь очень незначительно растет благодаря бракам, огорчала его и тревожила. Число жителей следовало увеличить, но как? Оттого, что на острове Карла есть пресная вода и что вид его сравнительно приятен, туда, случалось, заглядывали иностранные китобои. Король всегда взимал с них портовые сборы, тем пополняя свою казну. Теперь у него зародились новые планы. С помощью уловок и лести ему время от времени удается уломать матросов дезертировать с корабля и поступить на его королевскую службу. Хватившись дезертиров, капитан тотчас просит разрешения сойти на берег и разыскать их. Король, предварительно спрятав их в надежном месте, милостиво дает такое разрешение. Беглецов не находят, и корабль отплывает без них.

Так, благодаря обоюдоострой тактике этого хитроумного монарха многие правительства теряли подданных, а сам он таковых приобретал. И этих иностранцев-перебежчиков он обхаживал особенно любовно. Но, увы, сколь тщетны честолюбивые замыслы монархов, сколь преходяща земная слава! Как в Древнем Риме пришлые преторианцы, неосмотрительно допущенные

в пределы метрополии и еще более неосмотрительно приближенные к императорам, в конце концов оскорбили и повергли трон, так эти бессовестные матросы вместе с остальными телохранителями и со всем народом учинили грандиозный мятеж против своего повелителя. Он храбро двинулся на них со всеми своими собаками. На берегу разгорелась жестокая битва. Она длилась три часа: собаки дрались с доблестным упорством, но и матросы остервенело рвались к победе. На поле сражения полегли три человека и тринадцать собак, у той и у другой стороны было много раненых, и наконец король с остатками своего собачьего воинства обратился в бегство. Силы преследования камнями загнали и собак, и их хозяина в дикие горные заросли. Затем победители, прекратив погоню, возвратились в поселок на берегу, выломали донья из бочек с вином и провозгласили республику. Убитых солдат похоронили с воинскими почестями, убитых собак без всяких почестей пошвыряли в море. Бежавший креол, не выдержав тоски и лишений, спустился наконец с гор и предложил начать мирные переговоры. Но мятежники согласились мириться лишь при условии его безоговорочного изгнания. И первый же корабль, посетивший

после этого остров, увез бывшего короля в Перу.

История короля острова Карла лишний раз доказывает, как нелегко заселять необитаемые острова нравственно неустойчивыми паломниками.

Можно не сомневаться в том, что изгнанный монарх, отдыхая на лоне природы в Перу, где ему было предоставлено спокойное убежище, еще долго встречал каждого, прибывшего с Энкантадас, в надежде услышать, что республика лопнула, как мыльный пузырь, мятежники раскаялись и его призывают снова занять престол.

Можно не сомневаться, что республику он считал всего лишь жалким экспериментом, обреченным на неудачу. Но нет, мятежники тем временем учредили у себя демократию — правда, не греческого, не римского и не американского толка. Вернее, то вообще была не демократия, а непрестанная «бунтократия», прославленная не столько своими законами, сколько беззакониями. Тая в себе неодолимые соблазны для дезертиров, она быстро пополнялась подонками со всех судов, заходивших в эти воды. Остров Карла был объявлен пристанищем для угнетенных любого флота. Каждого беглого матроса здесь привечали, как мученика за дело свободы, и немедленно

зачисляли в ряды обтрепанных граждан этого сборного государства. Напрасно капитаны пытались вернуть на борт своих переметчиков. За них вступались их новые соотечественники, готовые наставить синяков любому противнику. Пушек у них было маловато, зато кулаки внушительные. Кончилось тем, что ни один капитан, наслышанный о тамошних порядках, не решался туда заходить, как бы ни настоятельна была его нужда в припасах или в ремонте. Остров стал анафемой — океанской Эльзасией, неприступным убежищем головорезов, творивших все, что им вздумается, прикинувшись борцами за свободу. Численность их все время колебалась. Матросы, сбежавшие с кораблей на другие острова либо самовольно спустившие шлюпку, неизменно брали курс на остров Карла; тогда как другие, наскучив этой жизнью, время от времени переправлялись на соседние острова и, наврав какому-нибудь капитану, что потерпели крушение, нередко добивались того, что их подбирали и доставляли на испанские берега, да еще сердобольно пускали шапку по кругу, чтобы снабдить их деньгами.

Как-то раз, когда я впервые плавал в тех водах, наш корабль лениво покачивался в теплой ночной тишине, как вдруг с бака раздался крик:

«Виден огонь!» Вглядевшись, мы тоже увидели слабый свет на каком-то окутанном мраком клочке земли, справа по носу. Нашему третьему помощнику эти места были незнакомы. Он подошел к капитану и спросил: «Прикажете снарядить шлюпку, сэр? Наверно, там люди с какого-нибудь затонувшего судна».

Капитан невесело рассмеялся и, погрозив кулаком в сторону светящейся точки, выругался и сказал: «Ну нет, негодяи вы этакие, нынче вам не заманить к себе мою шлюпку. Правильно делаете, мерзавцы, что жжете огонь, как на опасной отмели. Но умный человек не станет разузнавать, что у вас там случилось, а прикажет поворачивать подальше от берега, от этого острова Карла. — И добавил, обращаясь к помощнику: — Обрасопить реи, держать к огню кормой».

Очерк восьмой
Остров Норфолк и вдова Чола

А на одном из этих островов
Увидели сидящую в слезах
Красавицу печальную, чей зов,
К ним обращенный, чьи мольбы и страх
Уже давно витали здесь, в песках.

Очи, как полночь, черным-черны.
Шея, как полдень, белым-бела.
Губы, как утро, красным-красны.
«Я мертвеца на песке нашла.
Мертв мой милый,
И могилу
Рою, рыдая, в сухом песке.

Любой пейзаж в краю скорбей
Мне о тебе приносит весть;
Люблю и плачу по тебе,
Пока душа и слезы есть».

К юго-востоку от острова Карла, далеко в сто-

роне от всего архипелага, находится остров Норфолк; и пусть одинокий этот остров не представляет интереса для большинства мореплавателей, для меня он силой сострадания обращен в святое место, в место, освященное горчайшими человеческими муками.

Я тогда был на Энкантадас впервые. Два дня мы провели на берегу, охотясь за черепахами. Времени у нас было в обрез, мы наловили их немного, и на третий день после полудня распустили паруса. Сборы были в разгаре, якорь, уже отпустивший дно, еще раскачивался невидимо под волнами, и добрый наш корабль неспешно поворачивался, готовясь покинуть остров, как вдруг матрос, вместе со мной крутивший ворот, бросил работу и указал мне на что-то, что двигалось и трепетало на берегу, — не у самой воды, а поодаль, на склоне горы.

Ввиду того, о чем будет рассказано дальше, следует здесь объяснить, как могло случиться, что предмет, и притом небольшой, ранее не замеченный никем из находившихся на корабле, все же привлек внимание моего товарища. Дело в том, что другие матросы, в том числе и я, работали стоя на палубе, тогда как этот мой товарищ, все более воодушевляясь с каждым поворотом

тяжелого ворота, вскочил на него и со всей силы толкнул прямо вниз, не сводя при этом веселого взгляда с медленно удаляющегося берега. Вот тут-то, оказавшись выше всех остальных, он и заметил этот ранее не замеченный предмет; а глаза он поднял потому, что пребывал в приподнятом состоянии духа; а в такое состояние его, что греха таить, привел глоток перуанской водки, который в то утро, в благодарность за какую-то услугу, преподнес ему наш буфетчик-мулат. Все мы знаем, что от водки на свете проистекает много зла; но поскольку в данном случае она послужила средством, хотя и косвенным, для избавления живого человека от поистине страшной участи, не должно ли признать, что иногда от той же водки проистекает и много добра?

Глянув через полосу воды в указанном мне направлении, я тоже увидел что-то белое, свисающее со скалы примерно в полумиле от берега.

— Это птица, белокрылая птица, возможно… нет, это… это носовой платок!

— Вот-вот, носовой платок, — подтвердил мой товарищ и во весь голос сообщил о своем открытии капитану.

Мгновенно — как выкатывают и направляют пушку — с высокой площадки на корме была

просунута сквозь снасти длинная подзорная труба, и сам капитан ясно разглядел на скале человеческую фигуру, отчаянно махавшую тем, что мы приняли за носовой платок.

Наш капитан был человек добрый и скорый на решения. Отпрянув от трубы, он помчался на нос и приказал: якорь снова бросить и спустить шлюпку.

Через полчаса быстроходная шлюпка вернулась. Уходили на ней шестеро, а пришло семеро, и седьмой была женщина.

Это с моей стороны не бессердечие художника, но, право же, мне жаль, что я не владею пастелью, ибо женщина эта являла собою зрелище в высшей степени трогательное, и пастельные карандаши, наносящие мягкие, печальные линии, как нельзя лучше передали бы скорбный образ темнокожей вдовы чола.

Рассказ свой она закончила быстро, и хотя она говорила на своем родном языке, мы столь же быстро ее поняли, потому что наш капитан, долго водивший купеческие суда в чилийские гавани, хорошо знал испанский язык. Три года назад Хунилла, индианка чола, то есть смешанной крови, родом из Пайты в Перу, вместе со своим молодым мужем Фелипе, чистокровным кастильцем, и со

своим единственным братом индейцем Труксиллом вышла в море на французском китобойном судне, которым командовал очень веселый капитан; каковое судно, направляясь на далекие промыслы, должно было пройти совсем близко от Заколдованных островов. Целью маленькой экспедиции было добыть черепашьего жира, высоко ценимого за прозрачность и отличный вкус везде, где он известен, а известен он на всем тихоокеанском побережье Америки. Хунилла и ее спутники благополучно высадились в облюбованном ими месте и выгрузили сундук с платьем, орудия, кухонную утварь, примитивный аппарат для вытапливания жира, бочки с сухарями и еще кое-какое добро, включая двух любимых собак (все чола любят этих преданных животных). Француз, согласно предварительному уговору, должен был забрать их на обратном пути, проплавав в морях западнее их острова четыре месяца, — наши смельчаки считали, что этого времени им вполне достанет для задуманного дела.

На пустынном берегу они заплатили капитану серебром за проезд до острова — только на этом условии он и согласился их везти, хотя готов был чем угодно поклясться, что сдержит слово. Фели-

пе долго уговаривал его отложить срок уплаты до возвращения корабля, но напрасно. Впрочем, они считали, что у них есть другая причина не сомневаться в намерениях француза: было договорено, что за обратный проезд они заплатят не серебром, а черепахами — к его возвращению на остров их будет для него поймано сто штук. Они собирались наловить их, когда закончат собственную свою работу, ко времени, намеченному капитаном; и несомненно были уверены, что эти сто черепах (пока что бродящие где-то в дебрях острова) представляют собою сто надежных заложников. Как бы то ни было, корабль отчалил; трое на берегу, глядя ему вслед, подтянули громкой песне матросов; и к вечеру французское судно скрылось за горизонтом — его мачты, как три еле заметные черточки, были последним, что еще увидела Хунилла.

Француз легкомысленно дал обещание, закрепив его клятвой, как якорем; но клятвы, как и якоря, не всегда достаточно крепки, и нет на нашей вечно меняющейся земле ничего постоянного, кроме нарушенных обещаний радости. Коварный ветер с переменчивых небес, или коварный выверт собственного, еще более прихотливого нрава, либо крушение и внезапная

гибель в безлюдных морях, — какова бы ни была причина, только веселый капитан не вернулся.

Но если это и грозило нашим чола страшной бедой, дурные предчувствия до времени не тревожили их — слишком они были заняты утомительной работой, ради которой прибыли сюда. Да что там, не прошло и семи недель, как удар судьбы, подкравшейся, словно тать в нощи, избавил двоих из них от всех тревог, земных и океанских. Им уже не предстояло вглядываться в горизонт ни с лихорадочными опасениями, ни с еще более лихорадочной надеждой — их души сами бесшумно уплыли в грядущее, которому нет конца. Неутомимо работая под палящим солнцем, Фелипе и Труксилл натаскали к своей хижине не одну сотню черепах и вытопили из них жир; и как-то раз, вдохновленные своей удачей и чтобы вознаградить себя за тяжкий труд, они на скорую руку соорудили катамаран, то есть индейский плот, на каких плавают в Карибском море, и весело отправились на нем половить рыбы за длинным рифом с острым зазубренным гребнем, что тянется параллельно берегу острова примерно в полумиле от него. Что тут было виной — течение, или случай, или собственная небрежность, порожденная веселым настроени-

ем (их не было слышно, но, судя по их жестам, они в это время распевали песни), — но только их на большой глубине прибило к этой каменной стене, кое-как построенный плот перевернулся и развалился на куски; а незадачливых рыболовов швырнуло в волны между обломками бревен и острыми зубьями рифа, и оба они погибли на глазах у Хуниллы.

На глазах у Хуниллы они пошли ко дну. Истинный ужас этого происшествия она восприняла как трагедию, сыгранную на сцене. Она сидела среди сухого кустарника на вершине большой скалы, немного отступя от берега. Отсюда можно было глядеть в открытое море, как с высокого балкона. Но в тот день, о котором идет речь, она, чтобы лучше следить за каждым движением двух человек, нежно ею любимых, раздвинула ветки и держала их в таком положении. Получилась овальная рама, в которой бескрайнее синее море раскинулось как на картине. И на этой картине незримый художник изобразил для нее развалившийся плот, ставший игрушкою волн, бревна, косо вздыбившиеся, как сломанные мачты, и среди них — четыре мелькающие руки; а потом все ушло в мутную, плавно катящуюся зыбь — только обломки еще плавали на ее поверхности;

и с начала до конца не было слышно ни звука. Смерть на безмолвной картине; видение; исчезающие образы, какими дразнит мираж.

Столь мгновенна была эта сцена, столь завораживающа в своей картинности, столь далека от раскаленной скалы, служившей беседкой Хунилле, и от обычных ее мыслей, что она смотрела и смотрела, не в силах ни пошевелить пальцем, ни крикнуть. Но если б она и не сидела окаменев, тупо глядя на эту пантомиму, что могла бы она сделать? За полмили глубокой воды могли ли ее две застывшие руки помочь тем четырем, обреченным? Слишком далеко, и время ушло. Какой глупец, увидев молнию, станет пытаться предотвратить удар грома? Тело Фелипе скоро прибило к берегу, а Труксилл так и канул в вечность; всплыла только его веселая шляпа, сплетенная из золотой соломы, — цветок подсолнуха, которым он помахал сестре, оттолкнувшись от берега, — теперь, учтивая до конца, она передала его прощальный привет. А у Фелипе, когда волны выбросили его тело на берег, одна рука была вытянута и согнута в локте. Закоченевший мертвец, муж-любовник нежно обнимал молодую жену, не изменив ей и в смерти. О Боже, когда человек так хранит верность, ужели ты, сотворивший его

верным, сам изменяешь? Но тот, кто никогда не клялся в верности, не может ее и нарушить.

Нет нужды говорить о том, какая несказанная скорбь теперь овладела одинокой вдовой. Сама она почти не останавливалась на этом, а просто излагала события. В лице ее каждый волен был прочесть, что сможет; из слов же ее как бы даже не явствовало, что она и есть героиня своего рассказа. Однако этим она не удержала нас от слез. Все сердца обливались кровью оттого, что горе может быть так мужественно.

Она лишь приподняла для нас крышку своей души и показала нам странные письмена, на ней начертанные; а все, что было внутри, утаила со скромностью истинно гордой натуры. За одним только исключением. Вытянув вперед свою маленькую оливковую руку, она сказала капитану по-испански, мягко и медлительно: «Сеньор, я его похоронила»; потом умолкла, вся сжалась, словно стиснутая кольцами удава, и, внезапно выпрямившись, повторила с выражением страстной муки: «Я похоронила его, мою жизнь, мое сердце!»

Нет сомнения, что эта несчастная действовала полусознательно, машинально, когда совершала над телом Фелипе похоронный обряд и стави-

ла грубый крест из сухих веток — зеленых не нашлось — в изголовье одинокой могилы, где упокоился в тихой пристани, в вечном довольстве тот, кого сгубило вечно непокойное море.

Но убитую горем Хуниллу не покидало смутное чувство, что надо схоронить и еще одно тело, освятить вторым крестом вторую могилу, еще не вырытую, — смутная боль и тоска об исчезнувшем брате. Отряхнув с пальцев могильную землю, она медленно спустилась обратно к воде и бесцельно бродила по берегу, вперив взор в бесконечно набегающие волны. Но они не несли ей ничего, кроме плача, и ощущение, что убийцы оплакивают свою жертву, сводило ее с ума. Однако время шло, мысли ее постепенно прояснились, и тогда прочно усвоенное учение католической церкви, столь строго требующей соблюдения священных обрядов, заставило ее возобновить, сознательно и наяву, благочестивые поиски, начатые в состоянии сомнамбулизма. День за днем, неделю за неделей она мерила шагами усыпанный пеплом берег, и теперь ею руководило двоякое побуждение. Одинаково жадно высматривала она мертвого и живого: брата и капитана-француза, безвозвратно пропавших. Поглощенная своими переживаниями, Хунил-

ла почти не следила за временем, и не было у нее ни часов, ни календаря, кроме собственных ощущений. Как и несчастного Крузо в тех же самых морях, ни одна церковь не оповещала ее колокольным звоном о прошествии недели или месяца; день ничем не бывал отмечен: петух не возвещал этих душных рассветов, мычание стада — этих убийственных ночей. Из всех привычных, обыденных звуков, связанных с человеком или очеловеченных дружеским с ним общением, лишь один нарушал это палящее безмолвие — лай собак; а еще был шум моря, неумолчный и однообразный, для вдовы наименее милый из всех голосов, какие она могла услышать.

Не мудрено, что мысли ее теперь обращались к запоздавшему кораблю, обращались и вновь отступали, — надежда в ее душе то вспыхивала, то вновь угасала, так что наконец она решила в отчаянии: «Еще рано, еще не время, мое глупое сердце слишком спешит», — и снова на несколько недель запаслась терпением. Но для тех, кого неодолимо влечет к себе могила, терпение и нетерпение мало чем разнятся. Хунилла попыталась с точностью до одного часа определить, сколько времени прошло с тех пор, как корабль ушел, а значит, с такой же точностью — и сколь-

ко еще осталось его ждать. Но это ей не удалось. Она не знала, ни какой нынче день, ни какой месяц. Время было как лабиринт, в котором она безнадежно заплуталась.

Далее следует…

Здесь я, хоть и непреднамеренно, вынужден на время умолкнуть. Как знать, не сама ли природа обязывает к скрытности человека, посвященного в чужую тайну. Во всяком случае, сомнительно, чтобы ее следовало разглашать. Если некоторые книги считают вредными и запрещают их продажу, то что же сказать о фактах еще более страшных и притом не вымышленных фантазером-сочинителем? На тех, кому могут повредить книги, болезненно подействуют и события. События, а не книги — вот что нужно запрещать. Но «дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит», и неведомо человеку, доброе или злое от сего произойдет. Часто злое происходит от доброго и доброе от злого.

Когда Хунилла…

Страшное это зрелище — шелковистая кошка, долго играющая с золотою ящерицей, прежде чем ее сожрать. Еще страшнее видеть, как кошка-Судьба порою играет с человеческой душой,

невесть каким колдовством заставляя ее переходить от понятного отчаяния к другому, совсем уже безумному. И я невольно уподобился этой кошачьей породе, играя сердцем читателя, ибо если он не страдает, читая эти строки, то и читать ему незачем.

«Корабль отплывает нынче, сегодня, — наконец сказала себе Хунилла. — Значит, какой-то срок я еще могу быть уверена; без уверенности я сойду с ума. В невежестве своем я надеялась и надеялась; теперь я знаю и буду просто ждать. Теперь я живу, а не погибаю в бессмысленных блужданиях. Пресвятая дева, помоги мне! Приведи ко мне тот корабль! О вы, бесконечные прошедшие недели, ценою вас я купила сегодняшнюю уверенность и без жалости расстаюсь с вами, хоть и отрываю вас от себя!»

Как моряки, заброшенные штормом на пустынную скалу, строят лодку из остатков своего корабля и пускаются на ней по тем же волнам, — так и Хунилла, эта потерпевшая крушение душа, из предательства строила веру. Человечество, я славлю твою силу, но воплощенную не в увенчанном лаврами победителе, а в ней, побежденной.

Поистине Хунилла оперлась на тростник — не метафорический, а самый настоящий восточный

тростник. Полый ствол бамбука, занесенный с неведомо какого острова и выброшенный на берег, с концами, некогда острыми, а теперь сглаженными точно наждачной бумагой, утерявший былую позолоту. Волны, и суша, и камни, неустанно трудясь, обнажили его и придали ему новый блеск, блеск его измученного тела. Естественные кольца на этой гладкой поверхности делили его на шесть кусков неравной длины. На первом Хунилла стала отмечать дни — каждый десятый зарубкой подлиннее и поглубже; на втором — количество яиц морской птицы, которые она для пропитания собирала по гнездам среди скал; на третьем — сколько рыбин выудила с берега; на четвертом — сколько мелких черепах поймала в чаще; на пятом — ясные дни, а на шестом — облачные, и список последних был длиннее. Долгие ночи старательных подсчетов, математика горя, чтобы утомить, усыпить неугомонную голову; но сон бежал ее.

Запись дней уже порядком стерлась, длинные зарубки еле прощупывались, как на азбуке для слепых. Десять тысяч раз тоскующая вдова перебирала пальцами этот бамбук, но флейта не отзывалась, молчала; ведь, считая пролетающих в небе птиц, не ускоришь хода черепахи в лесной

чаще.

После сто восьмидесятого дня отметки кончались; последняя была самой бледной, а самой глубокой — первая.

— Ведь были и еще дни, — сказал наш капитан, — еще много, много дней, почему же ты перестала отмечать их, Хунилла?

— Сеньор, не спрашивайте меня.

— И за это время ни один корабль не прошел мимо острова?

— Нет, сеньор, но…

— Но что, Хунилла, говори же.

— Не спрашивайте меня, сеньор.

— Ты видела, как корабли проходили вдалеке, махала им, а они шли дальше — так было дело?

— Сеньор, пусть будет, как вы сказали.

Со своим горем Хунилла свыклась, а вот говорить о нем не могла, не решалась. Когда же наш капитан спросил, неужели китоловы и те…

Но нет, я не запишу этот разговор до конца, не хочу, чтобы насмешники повторяли его и приводили в доказательство своей правоты. Половина останется недосказанной. Те два события, что еще произошли с Хуниллой на этом острове, — пусть они останутся между ней и ее Создателем. Бывает, что правда, и не только по закону, равносильна

клевете.

А вот как случилось, что, хотя мы стояли на якоре возле этого острова целых три дня, единственная его обитательница обнаружила нас лишь в последнюю минуту, когда мы уже покидали эту затерянную в океане точку, не рассчитывая когда-либо туда вернуться, — это я готов объяснить хоть сейчас.

Бухта, где французский капитан когда-то высадил своих пассажиров, находилась на противоположном конце острова. Там же они построили себе хижину. И вдова, оставшись в одиночестве, не покинула места, где жили вместе с нею двое милых ее сердцу людей и где самый дорогой из этих двоих спал теперь последним, непробудным сном и не слышал ее жалоб, хотя в жизни и был ей верным и любящим мужем.

А между двумя оконечностями острова громоздятся возвышенности и горы. Корабль, ставший на якорь с одной его стороны, с другой невидим. И самый остров не так уж мал: десяток людей может долго бродить по его дебрям, громко перекликаясь, а с другого конца их будет не видно и не слышно. Поэтому Хунилла, естественно полагавшая, что корабль если появится, так только с ее стороны, вполне могла вообще не узнать о

прибытии нашего судна, если бы не таинственное наитие, которое, как уверяли наши матросы, внушил ей заколдованный воздух, овевающий эти острова. И ответы вдовы соответствовали такому представлению.

— Почему же ты, Хунилла, именно сегодня утром отправилась на этот конец острова?

— Сеньор, что-то пролетело мимо меня, оно коснулось моей щеки, моего сердца.

— Что это ты говоришь, Хунилла?

— Сеньор, я уже сказала. Что-то пролетело по воздуху.

Еще немного — и было бы поздно. Ибо когда Хунилла, пересекая остров, поднялась на возвышенность, занимающую его среднюю часть, она, очевидно, только тут и увидела наши мачты, заметила, что на них поднимают паруса, возможно, даже услышала обрывки песни, под которую крутили ворот. Неизвестное судно вот-вот отойдет, а она не поспеет. Скорей, скорей! И вот она начинает спускаться в нашу сторону, но вскоре теряет корабль из виду — его заслонила лесная чаща у подножия гор. Она продирается сквозь сухие ветки, норовящие преградить ей каждый шаг, и наконец выходит к голой скале, все еще довольно далеко от берега. Взбирается на эту

скалу, чтобы проверить себя. Да, корабль еще здесь и ясно виден. Но Хунилла от непомерного напряжения сил чуть не теряет сознание; ей страшно спускаться со скалы — все плывет перед глазами, впору так и остаться на месте. И тогда она прибегает к последнему средству — срывает с головы длинный шарф и, размотав, машет им в нашу сторону поверх зарослей.

Пока Хунилла рассказывала, матросы окружали ее и капитана безмолвным кольцом; когда же капитан приказал снарядить самую ходкую шлюпку и идти к дальнему концу острова за сундуком Хуниллы и черепашьим жиром — его команду бросились исполнять, и бодро, и подавленно, с редкостной расторопностью. Даром не тратили ни минуты. Якорь уже успел снова вонзиться в грунт, и корабль спокойно на нем покачивался.

Но Хунилла пожелала непременно сопровождать матросов, чтобы показать им, где спрятана ее хижина. Подкрепившись лучшим угощением, какое мог собрать буфетчик, она отправилась с нами. И такого благоговейного почтения, какое выказал бедной Хунилле экипаж нашей шлюпки, не знала ни одна супруга самого важного адмирала на его адмиральском корвете.

Через два часа, обогнув множество мысов и выступов, мы оказались между берегом и роковым рифом, вошли в глубокую узкую бухту и, подняв глаза к зеленой лавовой стене, увидели единственное на острове жилище.

Оно словно повисло на скалистой площадке, защищенное с боков спутанным кустарником, а спереди полускрытое ступенями грубой каменной лестницы, поднимающейся к нему от края воды. Построено оно было из бамбука, крыто длинной полусгнившей травой. Словно стог сена, брошенный косцами, которых уже нет в живых. Крыша была односкатная, край ее не доходил до земли всего на два фута. И тут же находилось нехитрое устройство для сбора росы, вернее — того тонко просеянного дождя, которым ночное небо, из милости или в насмешку, нет-нет да и побрызгает эти иссохшие Энкантадас. Вдоль стены, под краем крыши, была натянута изношенная, вся в пятнах, простыня, закрепленная на колышках, вбитых в неглубокий песок. Камень, брошенный на простыню, оттягивал ее середину вниз, так что влага стекала в подставленную в этом месте тыквенную бутыль. Все трое чола только из нее и пили — больше пресной воды на острове не было. Хунилла рассказала, что иногда,

правда не часто, бутыль за ночь наполнялась до половины. Вмещала она кварт шесть, не больше. «Но к жажде мы все привыкли, — сказала она. — В Пайте, где я живу, дождя с неба никогда не бывает. Всю воду привозят на мулах из долин, удаленных от моря».

К кустам были привязаны штук двадцать стонущих черепах — кладовая Хуниллы; а вокруг валялись сотни черных боевых щитов, похожих на вывороченные, разбитые надгробья из темного шифера. То были останки больших черепах, из которых Фелипе и Труксилл добывали драгоценный жир. Им были наполнены две огромные тыквенные бутыли и два порядочных бочонка. Рядом в котле навалены были ссохшиеся корки, из которых жир уже испарился. «Они собирались вытопить его на следующий день», — сказала Хунилла и отвернулась.

Я забыл рассказать о том, что нас больше всего поразило, едва мы ступили на землю: память не всегда воскрешает события в должном порядке.

Когда мы причаливали, несколько собачек с мягкой, вьющейся шерстью, прекрасной породы, распространенной в Перу, приветствовали Хуниллу дружным радостным хором, и она им ответила. Собачки эти — потомство тех двух,

что были привезены из Пайты, — родились на острове уже после того, как Хунилла овдовела. Из-за острых камней и обрывов, непролазных зарослей, скрытых расщелин и прочих опасностей, которыми изобилует внутренняя часть острова, Хунилла, напуганная пропажей одного из своих любимцев, больше не разрешала этим нежным созданиям сопровождать ее, когда карабкалась по скалам в поисках птичьих яиц и вообще уходила далеко от хижины; вот почему в то утро они, привычные к этому запрету, не пытались за ней последовать, когда она отправилась на другой конец острова. Сама же она так полна была другим, что и не вспомнила о них, хотя была сильно к ним привязана и вдобавок к той влаге, которую они на рассвете вылизывали из углублений в ближайших камнях, делилась с ними водой из тыквенной бутыли, почти не делая запасов на случай совсем уж полного безводья, которое в особенно жестокие месяцы случается на этих островах.

По нашей просьбе она указала то немногое, что ей хотелось бы взять с собой, — сундук, жир, а также живых черепах, которых она в благодарность решила подарить нашему капитану, — и мы тут же принялись перетаскивать все это к лодке

по длинной лестнице, затененной нависшими скалами. Пока мои товарищи были этим заняты, я огляделся и увидел, что Хунилла исчезла.

Не одно любопытство, но еще и примешавшееся к нему какое-то иное чувство заставило меня выпустить из рук моих черепах и еще раз внимательно посмотреть по сторонам. Я вспомнил про мужа, которого она своими руками предала земле. Узкая тропинка уводила в чащу. Следуя за ее изгибами, я вышел на небольшую круглую поляну.

Могильный холм возвышался посредине ее, ровная горка мельчайшего песка, подобная тем, что образуются на дне песочных часов. В изголовье стоял крест из голых сучьев, с которых еще свисали лоскутки сухой увядшей коры; поперечина его, привязанная веревкой, бессильно поникла в неподвижном воздухе.

Хунилла стояла на коленях у могилы, низко опустив темную голову с распущенными длинными индейскими волосами. Руки ее, протянутые к подножию креста, сжимали маленькое бронзовое распятие, — от бессчетных прикосновений на нем не различить было ни рисунка, ни букв, как на древнем дверном молотке, которым стучали долго и тщетно. Меня она не видела, и я бесшумно

повернул обратно и ушел с той поляны.

За несколько минут до отплытия, когда сборы были закончены, она опять появилась среди нас. Я заглянул ей в глаза, но слез в них не было. В ее облике сквозила какая-то надменность, и, однако же, это был облик скорби. Испанская и индейская печаль, чуждающаяся зримых проявлений. Высокая гордость, которую не сломить никакой пыткой; сокровенная гордость, смиряющая сокровенные муки.

Она медленно спускалась к воде, и шелковые собачки окружали ее, как свита. Двух самых настойчивых она подхватила на руки.

— Милые мои! Хорошие! — и, лаская их, спросила, сколько можно взять с собой на корабль.

Нашей шлюпкой командовал помощник капитана — человек не злой, просто жизнь научила его во всем, вплоть до мелочей, руководствоваться практическими соображениями.

— Всех мы не можем забрать, Хунилла, — сказал он. — Припасов у нас в обрез, ветер ненадежный; до Тумбеса, возможно, придется идти много дней. Так что этих двух забирай, а больше нельзя.

Она уже сидела в шлюпке; гребцы тоже заняли свои места — все, кроме одного, который стоял наготове, чтобы оттолкнуть шлюпку и тоже

вскочить в нее. И тут собаки, с присущей этим животным сообразительностью, словно поняли, что вот сейчас, сию минуту, их покинут на пустом, бесплодном берегу. Планшир у лодки был высокий, нос ее, обращенный к земле, приподнят; к тому же собаки, видимо, боялись морской воды, так что вскочить в лодку они никак не могли. Но они стали неистово скрести лапами носовую обшивку, словно то была дверь, которую захлопнул перед ними фермер во время зимней вьюги. И громогласно изливали свое горе. То был не вой, не тявканье: то была почти человеческая речь.

— Навались! Дай ход! — гаркнул помощник.

Шлюпка тяжелым рывком сдвинулась с места, потом быстро отошла от берега, сделала поворот и помчалась. Собаки с воем бросились бежать по кромке воды. Они то замирали, глядя на летящую шлюпку, то словно готовы были кинуться в воду и догонять ее вплавь; но что-то их удерживало, и они опять с воем бежали вдоль берега. Будь они людьми, и то это не вызывало бы в сердце такой щемящей тоски. Весла взлетали согласно, как перья двух крыльев. Все молчали. Я глянул на берег, потом на Хуниллу, но темное лицо ее застыло в мрачном спокойствии. Собачки, свернувшиеся у нее на коленях, напрасно лизали ее неподвиж-

ные руки. Она ни разу не оглянулась, но сидела не шелохнувшись, пока мы не обогнули мыс и сзади уже ничего не стало видно и слышно. Казалось, она, пережив тягчайшие страдания, какие могут постигнуть смертного, отныне была готова к тому, что и остальные сердечные струны будут рваться одна за другой. Казалось, она так сжилась с болью, что и чужую боль, даже когда любовь и жалость сделали ее своей, тоже считала нужным сносить без ропота. Трепетное сердце в клетке из стали. Сердце, по-земному трепетное, схваченное морозом, упавшим с неба.

Досказать осталось немного. После долгого перехода, осложненного штилями и переменными ветрами, мы вошли в небольшой перуанский порт Тумбес пополнить запасы провианта. Отсюда до Пайты было недалеко. Наш капитан продал черепаший жир местному купцу и, добавив к вырученному серебру некоторую сумму, собранную командой, вручил эти деньги нашей молчаливой пассажирке, так и не узнавшей о том, что сделали для нее матросы.

В последний раз мы видели одинокую Хуниллу, когда она въезжала в Пайту на сером ослике и перед глазами у нее на холке животного мерно колыхался геральдический ослиный крест.

Очерк девятый
Остров Гуда и отшельник Оберлус

Унылое ущелье – место встречи —
Унылостью его не превзошло,
Сидящего по-скотски, по-калечьи
На корточках; на смрадное чело
Седые космы пали тяжело,
Седые космы покрывали плечи,
Глаза горели мертвенно и зло,
Как дьяволу поставленные свечи.
Беззубый рот не ведал пищи человечьей.
Он был одет считай что ни во что:
Колючками заколотые тряпки
Скрывали срам, как воду – решето.

К юго-востоку от острова Кроссмена лежит остров Гуда, он же — Облачный остров Мак-Кейна, а с южной его стороны есть небольшая бухта с прозрачной водой и с широкой полосой низкого берега из темной искрошенной лавы, называемого Черный берег, или пристань Оберлуса. С тем же успехом ее можно было назвать пристанью

Харона.

Свое имя она получила от белокожего чудовища, прожившего здесь много лет, от некоего европейца, который выказал в этих диких краях свойства поистине дьявольские, каких не обнаружить даже у людоедов, населяющих острова того же океана.

С полвека тому назад Оберлус дезертировал на этот остров, бывший тогда и до сих пор оставшийся необитаемым. Он соорудил себе берлогу из лавы и камней в миле от пристани, впоследствии названной в его честь, в долине, а вернее сказать, между раздвинувшимися стенами ущелья, где среди скал разбросаны клочки земли, кое-как поддающиеся обработке, — других мест, годных для этой цели, на острове нет. Здесь ему удавалось выращивать худосочный картофель и тыквы, которые он время от времени сбывал оголодавшим китоловам за водку или за доллары.

Внешностью он по всем описаниям напоминал жертву какой-то злой волшебницы; он словно напился из чаши Цирцеи. Звероподобный; лохмотья лишь отчасти прикрывают наготу; веснушчатая кожа вся в волдырях от постоянного пребывания на солнце; нос сплющенный; лицо землистое, тяжелое, перекошенное; волосы и бо-

рода густые, нечесаные, огненно-рыжие. Тем, кто видел его впервые, он казался каким-то вулканическим существом, извергнутым на поверхность теми же толчками, что породили весь остров. Говорят, что когда он спал, скрючившись в своей лавовой берлоге в горах, то казался кучей сухих листьев, которые свирепый ночной ветер сорвал с осенних деревьев и, на минуту утихнув, забыл в этом укромном уголке, а потом задул с новой силой, чтобы где-нибудь дальше повторить свою безжалостную выходку. Рассказывают также, что этот самый Оберлус являл поразительную картину, когда душным облачным утром, укрывшись под непотребной черной клеенчатой шляпой, мотыжил землю между кустов картофеля. Такой искривленной, изломанной была вся его необыкновенная натура, что казалось, даже рукоять его мотыги постепенно съежилась, превратилась в жалкую кривую палку, и орудовал он ею, как дикарь боевым серпом, а не как цивилизованный земледелец. Он завел себе непонятную привычку при первой встрече с незнакомым человеком все время стоять к нему спиной, возможно потому, что это была его наименее выразительная, а стало быть, лучшая сторона. Если встреча происходила в его огороде — а так бывало, когда вновь при-

бывшие прямо с корабля шли в ущелье на поиски диковинного зеленщика, о котором они были наслышаны, — Оберлус некоторое время продолжал мотыжить, точно и не слышал приветствий, ни учтивых и тихих, ни шумно-веселых. Когда любопытствующий старался зайти спереди, анахорет с мотыгой в руке столь же старательно отворачивался и так, пригнувшись, угрюмо описывал круги вокруг своей картофельной кочки. Это — если он мотыжил. Если же сажал, во всем его облике и в каждом движении было что-то до того злорадное и скрытное, точно он не картошку бросал в землю, а отраву в колодцы; что же касается его более безобидных чудачеств, то он воображал, будто посетители его не просто хотят запастись картошкой или хоть с кем-то пообщаться на этом пустынном острове, но жаждут лицезреть могучего отшельника Оберлуса в его царственном уединении. Просто не верится, чтобы такое существо обладало таким тщеславием, чтобы человеконенавистник так ценил поклонение; но он действительно был одержим своей манией и потому в разговорах с капитанами напускал на себя уморительную важность. Впрочем, это явление того же порядка, что и всем известная склонность некоторых каторжников

хвастаться самыми отвратительными своими подвигами. А случалось, на него нападала другая блажь, и он подолгу прятался от посетителей то за одним, то за другим углом своей каменной хижины; либо, как медведь от охотника, ускользал сквозь сухие заросли в горы, чтобы только не видеть человеческого лица.

Если не считать случайных гостей с моря, общество Оберлуса долгое время составляли одни черепахи, и он словно опустился даже ниже их уровня и сравнялся с ними в потребностях — разве что всегда был готов напиться до бесчувствия. Но как бы низко он, казалось, ни пал, в нем таилась, только ожидая случая проявиться, еще большая низость. В самом деле, единственное, в чем Оберлус превосходил черепах, была заложенная в нем порочность, а заодно и нечто вроде сознательной воли к ее проявлению. Более того, из дальнейшего, возможно, станет ясно, что такие изъяны, как честолюбие и стремление к власти ради власти, свойственны отнюдь не исключительно благородным умам, но также и существам, вовсе лишенным разума. Нет созданий столь себялюбивых и властных, как некоторые животные, — это мог заметить всякий, кто наблюдал за нравами пастбища.

«Мне этот остров от матери достался, Сикораксы», — сказал себе Оберлус, озирая свои пустынные владения. Каким-то способом он раздобыл — может быть, выменял, а может быть, украл с корабля — старый мушкет и несколько пуль. А обзаведясь оружием, ощутил потребность действовать как тигр, когда почувствует, что у него выросли когти. Долгая привычка властвовать над окружающим миром, одиночество, лишь изредка нарушаемое встречами с людьми, во время которых он мог проявить либо холодную независимость, либо торгашескую хитрость, — все это, очевидно, выработало в нем преувеличенное понятие о собственной значительности и чисто животное презрение ко всем и всему на свете.

Незадачливый креол, вкусивший утех короткого царствования на острове Карла, в какой-то степени руководствовался, вероятно, и вполне достойными мотивами — например, побудить других предприимчивых смельчаков тоже увезти в дальние края колонистов и утвердить свою политическую власть над ними. Что он без церемонии казнил многих своих перуанцев — вполне простительно, если вспомнить, с какими отчаянными головорезами ему приходилось иметь дело; а использование собачьего отряда

для усмирения мятежников представляется в данных обстоятельствах только справедливым. Но уж для этого короля Оберлуса и для того, о чем будет сейчас рассказано, никаких оправданий не придумаешь. В своих поступках он попросту упивался собственным тиранством и жестокостью, свойствами, которые тоже достались ему от матери его Сикораксы. И теперь, вооруженный грозным мушкетом, сильный сознанием, что он — полновластный хозяин этого мерзкого острова, он только и ждал случая испробовать свою власть на первом же существе человеческой породы, какое попадется беззащитным ему в лапы.

Такой случай не замедлил представиться. Однажды он увидел на берегу лодку, возле которой стоял всего один человек, негр. Недалеко от берега бросил якорь корабль, и Оберлус живо смекнул, как обстоит дело. Судно зашло сюда запастись дровами, и команда с лодки отправилась в лес собирать их. Он наблюдал за лодкой из укрытия, пока не увидел, что к ней подходят люди, нагруженные чурбаками и сучьями. Сбросив свои охапки наземь, они опять удалились в заросли, а негр стал грузить дрова в лодку. Теперь Оберлус со всех ног спешит к негру и униженно просит разрешения помочь ему в его трудах. Негр прихо-

дит в ужас, когда в этой пустыне вдруг появляется живое существо, да еще такое страховидное, и медвежья услужливость Оберлуса отнюдь не способствует его успокоению. Он стоит, подняв на плечо два чурбака и готовясь прибавить к ним еще столько же, но тут Оберлус, у которого за пазухой спрятана короткая веревка, любезно поднимает эти чурбаки с земли. При этом он упорно держится у негра за спиной, а тот, почуяв недоброе, тщетно пытается повернуться к нему лицом. Наконец Оберлус, устав от бесплодных попыток взять негра обманом, либо опасаясь возвращения тех, что ушли в лес, отбегает к ближнему кусту и, вытащив свой мушкет, свирепо приказывает негру бросить работу и следовать за ним. Негр отказывается. Тогда Оберлус стреляет в него. К счастью, ружье дает осечку; но негр, уже перепуганный до потери сознания, в ответ на повторный окрик покорно бросает дрова и сдается. Знакомым ему узким ущельем Оберлус спешит увести его подальше от берега.

Поднимаясь в горы, он радостно сообщает негру, что отныне тот станет на него трудиться, станет его рабом и в дальнейшем с ним будут обращаться в зависимости от его поведения. Но введенный в заблуждение тем, что в первую

минуту его пленник от неожиданности струсил, Оберлус не вовремя ослабляет бдительность. В узком проходе между скалами негр, мужчина могучего сложения, приметив, что поимщик его зазевался, внезапно хватает его, валит наземь, вырывает у него мушкет, вяжет ему руки его же веревкой, взваливает его на плечо к возвращается с ним к лодке. Вместе с подоспевшими товарищами они увозят Оберлуса на судно. То был корабль англичан-контрабандистов, а от них трудно ждать особого милосердия. После хорошей порки Оберлуса, закованного в наручники, снова везут на остров и заставляют показать свое жилище и выложить свое имущество. Забирают все — картофель, тыквы, черепах и в придачу доллары, которые он нажил своими торговыми операциями. Но в то время как не в меру мстительные контрабандисты разоряют его хижину и огород, Оберлус спасается в горы и сидит там в ему одному известном недоступном тайнике, пока корабль не уходит, а тогда выбирается наружу и с помощью старого напильника, воткнутого в ствол дерева, освобождается от наручников.

Слоняясь среди развалин своей хижины, среди унылых скал и потухших вулканов своего проклятого острова, оскорбленный мизантроп

обдумывает жестокую месть, но держит свои планы в тайне. Суда продолжают время от времени подходить к его пристани, и Оберлус опять понемножку снабжает их провиантом.

Умудренный первой неудачей, он больше не пытается похищать людей, теперь он решил действовать по-иному. Однажды, когда на берег сходят моряки, он встречает их по-приятельски весело, зазывает к себе в хижину и со всем радушием, какое способны выразить его рыжая борода и страшная рожа, предлагает им выпить и повеселиться. Его гостям долгие уговоры и не нужны; а как только они засыпают пьяным сном, их связывают по рукам и по ногам, прячут в скалах и держат там, пока их судно не уходит, после чего они оказываются во власти Оберлуса и, устрашенные его изменившимся обращением, свирепыми угрозами, а главное — его ужасным мушкетом, добровольно идут к нему на службу, становятся смиренными рабами, а Оберлус показывает себя немыслимым тираном. Двое или трое погибают, не выдержав методов его воспитания. Остальных, в количестве четырех человек, он заставляет вскапывать спекшуюся почву, таскать на спине плодородную землю, добытую во влажных расселинах среди гор, кормит

их впроголодь, при малейшем признаке неповиновения вскидывает ружье — словом, вынуждает их пресмыкаться, подобно плебеям — полосатым ужам, перед ним, его величеством Анакондой.

Наконец Оберлус умудряется пополнить свой арсенал четырьмя ржавыми абордажными саблями и еще некоторым количеством патронов для мушкета. Теперь он милостиво облегчает труд своих рабов и показывает себя с новой стороны — как человек, или, вернее, дьявол, поразительно умеющий силой или убеждением заставить людей действовать с ним заодно, как бы ни претили им вначале его зверства. И эти подонки, эти морские бродяги, уже подготовленные почти ко всякому злу своей прежней беззаконной жизнью, растворившей в них нравственное начало, так что теперь они с легкостью могли затвердеть в любой предложенной им форме подлости, привыкшие трепетать перед своим повелителем, который сам был жалчайшим из рабов, — эти люди теперь окончательно развратились. Он обращался с ними как с низшими существами. Вооружив своих четырех животных, он сделал из них убийц; из трусов превратил их в наемных злодеев.

Известно, что кинжал или меч в руке человека

— не что иное, как искусственные клыки и когти, те же железные шпоры, надетые на бойцового петуха. И вот Оберлус надел такие шпоры на своих подданных — иными словами, в жажде славы вложил им в руки по ржавой абордажной сабле. Теперь у него, как у всякого иного самодержца, было отменное войско.

Можно подумать, что за этим тотчас последовало восстание рабов. В самом деле, вложить оружие в руки угнетенным? Какой неосторожный шаг для императора, Оберлус! Но нет, ведь у них были только сабли, жалкие ржавые косы, а у него мушкет, зарядив который камнями и обломками лавы, он мог уложить всех четырех мятежников одним выстрелом, как четырех голубей. Кроме того, вначале он не спал в своей хижине: каждый вечер можно было видеть, как в зловещих лучах заката он забирается в горы, и там он до рассвета таился в какой-нибудь сернистой яме, надежно скрытый от своей банды. Но затем, решив, что это слишком хлопотно, он стал поступать иначе: с вечера загонял своих рабов в хижину, связывал их и убирал их сабли, сам ложился снаружи перед дверью и спал, не выпуская из рук мушкета, под навесом, который незадолго до того пристроил.

Можно предположить, что в эти дни Оберлус, не довольствуясь ежедневной маршировкой по остывшему пеплу во главе своей доблестной армии, обдумывал какое-то особенно интересное злодейство: скорее всего, он собирался напасть на корабль, приблизившийся к его владениям, перебить команду и скрыться на захваченном судне в неизвестном направлении. Пока этот замысел созревал в его мозгу, к острову, с противоположной от пристани стороны, одновременно подошли два корабля, и тут его планы сразу переменились.

Капитанам требуются припасы, и Оберлус предлагает их в любом количестве, если только с кораблей будут посланы к его пристани лодки, чтобы матросы сами снесли к воде картошку и тыквы; а заодно сообщает капитанам, что его негодяи — рабы и солдаты — в последнее время совсем разленились и он не может заставить их работать никакими уговорами, а применять к ним более строгие меры у него рука не подымается.

Капитаны пошли на его условия, лодки прибыли к пристани и были вытащены на берег. Команды их поднялись к хижине, но, к своему удивлению, никого там не застали. Подождав,

сколько хватило терпения, они вернулись на берег, — и что же? В их отсутствие кто-то — но, конечно, не добрый самарянин — там побывал. Три лодки были изрублены в щепы, а четвертая исчезла. С великим трудом, пробираясь среди гор и камней, несколько матросов сумели вернуться к тому концу острова, где стояли суда, и на выручку остальным были посланы новые лодки.

Но капитаны, пораженные вероломством Оберлуса и опасаясь еще каких-нибудь, совсем уже непонятных пакостей, почти готовые к тому же приписать столь странные события колдовству, якобы тяготеющему над этими островами, решают, что единственный безопасный курс — бежать отсюда, оставив похищенную лодку Оберлусу и его воинству.

Накануне отплытия они вложили в бочонок письмо, оповещавшее весь Тихий океан о том, что здесь случилось, и, привязав бочонок, пустили его плавать в бухте. Спустя некоторое время другой капитан, оказавшийся там, вскрыл бочонок, но уже после того, как успел послать лодку к пристани Оберлуса. Легко себе представить, с какой тревогой он ждал возвращения своей лодки, а когда она вернулась, он получил другое письмо, в котором то же происшествие было описано с точ-

ки зрения Оберлуса. Ценный этот документ, уже наполовину истлевший, был найден заткнутым в щель, в лавовой стене зловонной покинутой хижины. Вот это письмо, свидетельствующее о том, что Оберлус — казалось бы, совершенный кретин — отлично умел писать и вдобавок был способен на самое слезливое красноречие.

«Сэр! Из всех людей я самый обиженный и несчастный. Я патриот, изгнанный за пределы моей родины жестокой рукой тирании.

Сосланный на эти Заколдованные острова, я много раз умолял капитанов продать мне лодку, но неизменно получал отказ, хотя и давал щедрую цену в мексиканских долларах. Наконец мне представился случай самому обзавестись лодкой, и я этот случай не упустил.

Уже давно я пытался тяжким трудом и лишениями скопить малую толику денег, дабы обеспечить себе пусть не счастливую, но добродетельную старость, однако за это время меня несколько раз обирали и избивали люди, именующие себя христианами.

Сегодня я отплываю с Заколдованных островов в добром суденышке “Милосердие”, держащем путь к островам Фиджи.

Сирота *Оберлус*.

P. S. За камнями у очага вы найдете старую птицу. Не убивайте ее, потерпите, она сидит на яйцах. Если она выведет цыплят, сим завещаю их вам, кто бы вы ни были. Но помните, цыплят по осени считают».

Птица оказалась полудохлым петухом, обреченным на сидячее положение своей дряхлостью.

Оберлус написал, что держит путь к островам Фиджи, но сделал это лишь для того, чтобы сбить со следа погоню. Ибо долгое время спустя он один, в открытой лодке, прибыл в Гуаякиль. Поскольку никто больше не видел его клевретов на острове Гуда, можно предположить либо, что они умерли от жажды на пути в Гуаякиль, либо — и это не менее вероятно, — что Оберлус бросил их за борт, когда увидел, что питьевой воды осталось мало.

Из Гуаякиля Оберлус отправился в Пайту и там, пустив в ход непостижимое обаяние, каким бывают наделены самые безобразные животные, заслужил благосклонность некой темнокожей красотки и уговаривал ее уехать с ним на его Заколдованный остров, который он, несомненно, расписывал ей как благоухающий цветами райский сад, а не как усыпанную камнями преисподнюю.

Но Оберлусу не суждено было населить остров

Гуда отборными образчиками живой природы, ибо в Пайте его диковинная внешность и дьявольские повадки вызвали сильнейшие подозрения; так что, когда он однажды ночью был застигнут со спичками в кармане под корпусом небольшого баркаса, который как раз готовились спустить на воду, его схватили и бросили в тюрьму.

Тюрьмы в большинстве южноамериканских городов не назовешь приятными жилищами. Построенные из крупных саманных плит и состоящие всего из одной комнаты без окон и без дворика, с единственной дверью, забранной решеткой из толстых жердей, они и снаружи, и внутри выглядят отталкивающе. Будучи зданиями общественными, они стоят на видном месте, на жаркой и пыльной городской площади, и каждый волен разглядывать сквозь решетку запертых там злодеев и горемык, прозябающих в грязи и всяческом убожестве. В такой-то тюрьме долгое время можно было увидеть Оберлуса, и здесь главенствовавшего над разношерстным преступным сбродом, — создание, вызывающее подлинно благочестивое отвращение, поскольку ненавидеть человеконенавистника — значит проявлять человеколюбие.

Примечание. Тех, кто склонен усомниться в

достоверности выведенной на этих страницах фигуры, я отсылаю ко второму тому «Плавания по Тихому океану» Портера, где они найдут множество фраз, быстроты ради позаимствованных мною и повторенных в моем повествовании слово в слово. Главное различие между тем и другим рассказом — если не считать некоторых попутных отступлений — состоит в том, что к фактам, приведенным Портером, я добавил и еще кое-какие, собранные в тех краях из надежных источников; а там, где факты противоречили друг другу, я, естественно, предпочел свои источники Портеровым. Так, например, по моим сведениям, Оберлус жил на острове Гуда, по сведениям Портера — на острове Карла. Письмо, найденное в хижине, тоже изложено по-разному: как мне рассказывали на Энкантадас, письмо это не только свидетельствовало о некоторой грамотности, но и отмечено было своеобразной издевательской дерзостью, что из версии Портера не явствует. Поэтому я несколько изменил текст, приведя его в соответствие с характером писавшего.

Очерк десятый
Преступники, жертвы, отшельники, надгробия и пр

И все они – висели и висели
На тощих ветках и суках сухих
Подобьем безобразной карусели,
Где многие катались и до них.

Кое-какие следы хижины Оберлуса сохранились в глубине лавового ущелья до наших дней. Да и на других Заколдованных островах можно набрести на подобные одинокие жилища, давным-давно перешедшие во владение ящериц и черепах. Думается, мало есть уголков на земле, которые в наше время давали бы приют стольким пустынникам. Объясняется это тем, что Заколдованные острова лежат вдали от материка и корабли, которые изредка их посещают, — либо китобои, либо суда, совершающие долгие утомительные переходы, что в большой степени освобождает их как от надзора закона, так и от соблюдения его. А люди, равно среди командиров и среди матросов, там встречаются такие, что при

неблагоприятных обстоятельствах между ними просто не могут не вспыхивать разногласия и ссоры. Матрос, обуянный угрюмой ненавистью к тирану-кораблю, не прочь обменять его на эти острова, которые, хоть и сожжены непрестанным палящим сирокко, однако сулят ему убежище, где его никто не изловит. Побег с корабля в каком-нибудь перуанском или чилийском порту, даже в самом захолустном, сопряжен с опасностью поимки, не говоря уже о ягуарах. За обещанную награду в пять песо пятьдесят негодяев испанцев, вооружившись длинными ножами, бросятся в лес и будут день и ночь обшаривать его, в надежде завладеть своей добычей. И на островах Полинезии, в общем-то, не легче уйти от погони. Те из них, куда проникла цивилизация, таят для беглого не меньше опасностей, чем перуанские порты. Тамошние передовые туземцы так же корыстны и так же хорошо чуют дичь и владеют ножом, как отсталые испанцы; к тому же среди полинезийских дикарей, когда-либо слышавших о европейцах, идет о них такая дурная слава, что дезертировать здесь с корабля в большинстве случаев — гиблое дело. Вот почему Заколдованные острова стали приютом добровольных изгнанников, многие из которых, однако, с грустью

убедились, что само по себе бегство от тирании еще не означает спокойной, а тем более счастливой жизни.

Кроме того, нередко случалось, что отшельников на этих островах создавали превратности, связанные с охотой на черепах. Внутреннюю часть островов обычно покрывают почти непроходимые заросли; воздух душный, спертый; нет ни ручейка, из которого можно утолить невыносимую жажду. Горе тому, кто, заблудившись на Заколдованных островах, через несколько часов, проведенных под экваториальным солнцем, дойдет до полного изнеможения! Многие острова так велики, что на тщательные поиски потребовалось бы несколько недель. Нетерпеливое судно ждет день, ждет два, а потом, если человек не нашелся, на берегу вбивают кол, привязывают к нему письмо с выражением соболезнований, бочонок с водой и, второй, с сухарями, и — прости-прощай! — судно уходит.

Известны также случаи, когда бесчеловечный капитан решал, не опасаясь последствий, расквитаться с каким-нибудь матросом, не угодившим ему или оскорбившим его самолюбие. Такие моряки, будучи выброшены на раскаленный мергель, быстро погибают, если только им не удастся

ценою невероятных усилий разыскать драгоценную воду, каплями стекающую из расселины в скале или застоявшуюся в горной впадине.

Я был близко знаком с одним человеком, который заблудился на острове Нарборо и от жажды дошел до такого неистовства, что в конце концов спас свою жизнь, отняв жизнь у другой живой твари. На берег вылез большой морской котик. Человек накинулся на него, вонзил ему в шею нож, а потом припал к еще вздрагивающей туше, стал жадно пить кровь из раны, и удары умирающего звериного сердца вернули ему жизнь.

Другого моряка выбросило вместе с лодкой на островок, откуда не видно было никакой земли и куда не заходило ни одно судно, поскольку островок этот совершенно бесплоден и окружен опасными мелями. Этот человек, решив, что оставаться здесь — верная смерть и что ничего хуже смерти ему не грозит, если он отсюда уберется, убил двух котиков, надул их шкуры и связал из них плот, на котором и перебрался на остров Карла, под знамена тамошней республики.

Но люди, не наделенные смелостью, необходимою для столь отчаянных поступков, довольствуются тем, что находят как можно скорее воду, хотя бы в ничтожном количестве, строят хижину,

ловят птиц и черепах — словом, готовятся к тому, чтобы жить отшельниками, пока их не вызволит чудо или какой-нибудь захожий корабль.

На многих островах под отвесными стенами ущелий встречаются впадины в камне, заполненные гниющими листьями и мусором или заросшие кустами, а иногда и хранящие немного воды; приглядевшись внимательно, можно убедиться, что они выдолблены искусственным орудием, а значит — здесь трудился какой-нибудь несчастный, выброшенный на берег после кораблекрушения, или какой-нибудь совсем уж горемычный бродяга, сам сбежавший с корабля. Углубления эти делают в таких местах, куда надеются хоть по каплям собирать росу, стекающую из расщелин в скалах.

Не одни только остатки хижин и выемки в камне свидетельствуют о некогда томившихся здесь людях. И как ни странно, самую гнетущую картину являет на Энкантадас учреждение, которое во всех деревнях и поселках бывает самым оживленным. Хоть и смешно говорить о почтовых отделениях на этих безлюдных островах, но кое-где почтовые отделения там можно найти. Состоят они из кола и бутылки. Письма здесь не только запечатывают, но и закупоривают.

Обычно их оставляют капитаны американских судов, сообщающие другим морякам, удачен ли был лов китов и охота на черепах. Но бывает, что проходят долгие месяцы и даже годы, а письма так и остаются невостребованными. Кол успевает подгнить и упасть, и зрелище это не из веселых.

Для полноты картины добавим, что на некоторых из этих островов попадаются надгробные камни, вернее — надгробные доски.

На берегу острова Якова много лет стоял грубо сколоченный дорожный указатель. И впервые попавший сюда человек, предположив, что это, возможно, голос гостеприимства в пустом и печальном краю — приглашение какого-нибудь доброго отшельника утолить голод из его деревянной миски, — долго следовал по указанной тропинке, доходил до тихого, защищенного уголка и убеждался, что единственный, кто его там ждет, — мертвец, единственное приветствие, которое его встречает, — надпись на могиле: «Здесь в 1813 году рано утром убит на дуэли лейтенант фрегата Соединенных Штатов “Эссекс”, 21 года от роду. В смерти он достиг совершеннолетия».

Что ж, это закономерно. Ведь в старых европейских монастырях монахов-затворников хоронят не на кладбище, а в тех же стенах, где

они умирают, так пусть и Энкантадас хоронят своих мертвецов, как хоронит своих великий монастырь, имя которому Земля.

Известно, что похороны в океане — всего лишь неизбежное зло моряцкой жизни и что совершаются они только в тех случаях, когда ни за кормой, ни впереди не видно суши. А значит, для судов, проходящих вблизи Энкантадас, острова эти служат удобным погостом. После того как тело зароют, какой-нибудь жалостливый палубный поэт и художник схватит кисть и накропает стишок-эпитафию. Когда спустя долгое время на это место набредут другие жалостливые морячки, они используют могильный холм вместо стола и, помянув беднягу, выпьют по чарке за упокой его души.

Вот, для образчика, одна такая эпитафия, найденная в голом ущелье на острове Чатам:

Под этим камнем, братец Джек,
Лежит несчастный человек.
И он был весел, полон сил,
Как ты, он счастия вкусил,
Теперь его могила
С друзьями разлучила.

Билли Бадд, фор-марсовый матрос

Предисловие

Год тысяча семьсот девяносто седьмой — год, когда происходили описываемые тут события, — относится к периоду, который, как понимает теперь каждый мыслитель, был ознаменован кризисом христианского мира и по необъятному своему значению превосходит любую известную нам эпоху. Дух Этого Века в первой же своей предпосылке потребовал п. реодоления наследственных зол Старого Мира. Во Франции это было в некоторой степени достигнуто, хотя и кровавой ценой. Но что далее? Незамедлительно сама Революция свернула на неправый путь и предстала даже более тиранической, нежели монархи. При Наполеоне она возносила на престолы свежеиспеченных королей, и с нее началась та длительная агония войны, последней судорогой которой было Ватерлоо. И пока шли эти годы, даже мудрейшие из мудрых вряд ли могли предвидеть, что все описанное приведет к тому, к чему оно, по мнению некоторых современных мыслителей, и привело — к политическому продвижению Европы вперед почти по всей линии.

Как намекалось на иных страницах, этот вот

Революционный Дух и придал смелость экипажам линейных кораблей в Спитхеде возмутиться против вошедших в обычай злоупотреблений, а затем в Норе предъявить неслыханные по дерзости требования. О том, что они отвергнуты, стало известно, только когда в назидание стоящему на якоре флоту зачинщики были повешены на реях. Однако Великий Мятеж, подобно самой Революции (хотя в то время англичане, естественно, считали его чудовищным), несомненно, послужил одним из первых скрытых толчков, которые впоследствии привели к весьма важным реформам в английском флоте.

I

В дни, когда еще не появились паровые суда, человек, прогуливавшийся в любом сколько-нибудь значительном морском порту, куда чаще, чем теперь, мог встретить там компанию бронзовых от загара матросов в праздничной одежде, отпущенных на берег с военного или торгового корабля. Порой они шагали по бокам — а то и вовсе, подобно телохранителям, окружали — какого-нибудь бравого молодца, такого же простого матроса, но выделяющегося среди них, точно Альдебаран между прочими, более слабыми светилами своего созвездия. То был Красавец Матрос времен, менее прозаичных как для военных, так и для торговых флотов, чем нынешние. Без малейшего тщеславия, но с небрежной простотой врожденной царственности принимал он дань восхищения своих товарищей. Мне вспоминается примечательный случай. Однажды в Ливерпуле, тому назад уже с полвека, я увидел в тени длинной обветшалой стены Принцева дока (с тех пор давно уже разобранной) некоего матроса с кожей такой черноты, что он, несомненно, был природным африканцем и в жилах его струилась

ничем не разбавленная кровь Хама. Его отличало безупречное телосложение при редкостном росте. Концы свободно повязанной на шее пестрой шелковой косынки трепетали на открытой эбеновой груди. В ушах его болтались большие золотые кольца, а на гордой голове красовалась шотландская шапка с клетчатой лентой.

Был жаркий июльский полдень, и его блестящее от испарины лицо сияло дикарским благодушием. Отпуская направо и налево веселые шуточки, сверкая белейшими зубами, он неторопливо шествовал между своими приятелями. Они же являли такую смесь племен и оттенков кожи, что Анахарсис Клоотс вполне мог бы привести их на заседание французского Учредительного собрания как представителей всего Рода Человеческого. И всякий раз, когда встречный воздавал невольную дань удивления этой черной башне в человечьем облике, остановившись и устремив на него ошеломленный взгляд, а то и громко ахнув, эта пестрая свита выражала ту же гордость, с какой, наверное, взирали ассирийские жрецы на своего величавого каменного Быка и на распростертых перед ним верующих. Но мы отвлеклись…

Хотя Красавец Матрос той эпохи, сходя на бе-

рег, порой блеском своих украшений чуть ли не затмевал самого Мюрата, он тем не менее нисколько не походил на расфранченного Билли Черт Подери — этот забавный тип к настоящему времени почти вымер, хотя иногда еще и встречается в облике даже более забавном, чем первоначальный, у румпеля судов, бороздящих бурный канал Эри, или же — и куда чаще — в харчевнях у бечевника, где за кружкой грога рассказывает всякие были и небылицы. Но Красавец Матрос не только знал до тонкости свое опасное ремесло, обычно он славился также как грозный боксер или борец. Он воплощал в себе и красоту, и силу. О его подвигах ходили легенды. На берегу он был победителем и защитником, на море — тем, кто говорил от имени остальных. И всегда, во всем он был первым. Беря рифы на топселе в ураган, он восседал на самом конце рея, вдев ногу в коуш, и обеими руками натягивал нок-бензель, точно поводья, — как юный Александр, укрощающий неистового Буцефала. Великолепная фигура, будто вскинутая рогами Тельца в грозовое небо, лихо взлетающая по вантам к нужной снасти.

И нравственный его облик редко противоречил телесному. Ведь как ни привлекательны красота и сила, когда они сопряжены в мужчине, тем не

менее, не подкрепленные высокими душевными качествами, едва ли они могли вызвать то поклонение, которым столь часто окружали Красавца Матроса его товарищи, менее одаренные природой.

Таким вот совершенством — во всяком случае, внешне, да и внутренне тоже, хотя и с кое-какими отклонениями (но о них ниже), — был лазурноглазый Билли Бадд, иначе Детка Бадд, как его начали ласково называть при обстоятельствах, которые будут описаны в своем месте. Ему был двадцать один год, и он служил фор-марсовым на военном корабле в конце последнего десятилетия прошлого века. Незадолго до времени, с которого начинается наш рассказ, он был завербован в королевский флот и взят в Ла-Манше с торгового судна, которое возвращалось в родной порт, на семидесятичетырехпушечный линейный корабль «Неустрашимый», который еще только вышел в плавание и — как в те лихорадочные дни случалось нередко — с некомплектом в экипаже. Едва поднявшись на борт, еще прежде, чем команда «купца» была построена перед ним на квартердеке, дабы он мог ее внимательно осмотреть, лейтенант Рэтклифф прямо-таки бросился к Билли. И никого, кроме него, не взял. То ли потому,

что рядом с Билли остальные выглядели очень уж жалко, то ли в нем заговорила совесть — на «купце» тоже не хватало рабочих рук, — но офицер удовлетворился своим первым мгновенным выбором. К большому удивлению прочих матросов, но к полному удовольствию лейтенанта, Билли не стал возражать. Впрочем, от его возражений было бы не больше толку, чем от возмущенного писка зяблика, посаженного в клетку.

Его недавние товарищи, заметив эту бодрую (чтобы не сказать — радостную) готовность подчиниться, смотрели на Билли с недоумением и безмолвным упреком. Шкипер торгового судна принадлежал к тем достойным смертным, каких можно встретить в любой, даже самой смиренной профессии, — к тем, кого называют «почтенными людьми». И — что отнюдь не так странно, как может показаться на первый взгляд, — хотя он был пахарем бурных вод и всю жизнь вел спор с неумолимыми стихиями, ничто так не влекло его честную душу, как тихий мир и покой. А в остальном это был пятидесятилетний мужчина, склонный к некоторому дородству, с лицом внушительным, бритым и румяным, пожалуй излишне полным, но приятным и умным. В летний день, когда дул попутный ветер и все ладилось,

голос его обретал какую-то особую музыкальность, словно беспрепятственно выражал самую сущность его натуры. Он был в большой мере наделен благоразумием и добросовестностью — качествами, иной раз причинявшими ему значительное беспокойство. Во время плавания, если его судно находилось вблизи суши, капитан Грейвлинг не смыкал глаз. Он всегда помнил о лежащей на нем ответственности и, в отличие от иных шкиперов, не пренебрегал ею даже в малом.

Так вот, пока Билли Бадд в кубрике собирал свои вещи, лейтенант с «Неустрашимого», грубоватый старый служака, ничуть не обескураженный тем, что капитан Грейвлинг не оказал ему должного гостеприимства — упущение, вызванное отнюдь не малоприятной причиной их встречи, но простой рассеянностью, — без всяких церемоний сам спустился в каюту и извлек сулею из шкафчика с крепкими напитками, который его опытный глаз обнаружил незамедлительно. Попросту говоря, он принадлежал к числу тех морских волков, которые вопреки всем тяготам и опасностям, сопутствовавшим морской службе в долгих и ожесточенных войнах той эпохи, ничуть не утрачивали природной склонности к чувственным

удовольствиям. Свой долг он выполнял неукоснительно, но не всякий способен удовлетворяться одними лишь сухими обязанностями, и он был не прочь при удобном случае умягчить их сухость освежающей спиртной смесью. Владельцу каюты волей-неволей пришлось исполнить навязанную ему роль обходительного хозяина, и в добавление к сулее он с учтивой поспешностью, но молча, поставил перед своим нечинящимся гостем вместительную стопку и кувшин с водой. Сам он пить не стал и, извинившись, уныло смотрел, как бравый лейтенант без малейшего смущения разбавил ром водой лишь самую малость, выпил его в три глотка, отодвинул стопку — но так, что до нее было нетрудно опять дотянуться, уселся поудобнее и, довольно причмокнув, уставился на своего хозяина.

Когда этот ритуал был завершен, шкипер наконец нарушил молчание. В тоне его голоса слышался грустный упрек:

— Лейтенант, вы забираете у меня самого лучшего матроса. Каких мало.

— Знаю-знаю, — ответил тот, протягивая руку к стопке и готовясь вновь ее наполнить. — Что ж, сожалею.

— Прошу прощения, но вы не поняли, лейте-

нант. Вот послушайте. До того, как я взял этого молодца, у меня на баке конца не было сварам. Черное это было время на борту моих «Прав». Я до того измучился, что и в трубке утешения на находил. А потом явился Билли, точно католический поп, который утихомиривает подравшихся ирландцев. Нет, он им проповедей не читал и ничего особенного не говорил и не делал. Только что-то в нем есть такое, от чего самые кислые становились слаще. Их к нему тянуло, точно ос на патоку, всех, кроме только того, кто раньше был на баке заправилой — эдакий дюжий косматый детина с огненно-рыжей бородой. Верно, из зависти, и полагая, что от такого «миленького малыша», как он его с насмешкой называл, уж конечно, отпора ждать нечего, начал он всячески искать с ним ссоры. Билли сначала терпел и старался с ним поладить по-хорошему — он ведь схож со мной, лейтенант, в том, что нет для меня ничего мерзее ссор, — но без толку. И вот однажды на второй собачьей вахте рыжебородый прямо перед всеми заявил Билли, что вот сейчас покажет ему, откуда отрубают филейную часть (малый этот прежде был мясником), и с насмешкой ткнул его под ребра. Тут уж Билли на него кинулся. Возможно, ударил он сильнее,

чем собирался, но, как бы то ни было, отделал он рыжего олуха знатно. И всего за полминуты. От его молниеносной быстроты тот совсем ошалел. Вы, наверное, не поверите, лейтенант, а только рыжебородый теперь души в Билли не чает — он его любит по-настоящему, или другого такого лицемера свет еще не видывал. Да они его все любят. Одни белье ему стирают и чинят его старые брюки, а плотник в свободное время сколачивает для него красивый сундучок. Для Билли Бадда каждый готов сделать что угодно, и мир у нас тут царит, точно в дружной семье. Но я знаю, лейтенант, во что сразу превратятся «Права» без этого малого. Не скоро мне теперь доведется, отобедав, спокойно выкурить трубочку у кабестана, нет, не скоро. Да-да, лейтенант, вы забираете у меня матроса, каких мало. Вы забираете моего миротворца!

Тут добряк не без труда сдержал рыдание.

— Ну что же, — сказал лейтенант, который слушал его с насмешливым интересом, все больше веселея от новых возлияний. — Блаженны миротворцы, и уж тем более драчливые миротворцы. Вроде тех семидесяти четырех красоток, подмигивающих из портов корабля, который лежит вот там в дрейфе и ждет меня! — С этими словами он

указал в иллюминатор на «Неустрашимого». — Но не отчаивайтесь! Не вешайте носа! Ручаюсь, вы получите высочайшее одобрение. Уж конечно, его величество придет в восхищение, услышав, что в дни, когда матросы идут на его службу не с той охотой, как следовало бы, в дни, когда шкиперы втайне злобствуют, если у них позаимствуют человека-другого для королевского флота, его величество, повторяю, придет в восхищение, узнав, что хотя бы один шкипер с радостью отдал королю лучшее украшение своей команды — матроса, который столь же верноподданно не выразил ни малейшего неудовольствия. Но где же мой красавчик? А! — воскликнул он, взглянув в открытую дверь. — Идет, идет и, черт побери, тащит свой сундучок! Ну прямо-таки Аполлон с дорожным саком!

— Милейший, — продолжал лейтенант, вставая, — на военных кораблях такие ящики не положены. Вот если в них картечь — другое дело. Клади свои вещи в сумку, малый. У кавалериста — сапоги и седло, у матроса военного флота — сумка и койка.

Вещи были переложены из сундучка в сумку, затем лейтенант приказал новобранцу спуститься в катер, спустился сам, и катер отвалил от

«Прав человека». Таково было полное название торгового судна, хотя шкипер и команда по морскому обыкновению сократили его просто в «Права». Своеобычный владелец судна, проживавший в Данди, был большим поклонником Томаса Пейна, чья книга, написанная в ответ на поношения, с которыми Бэрк обрушился на французскую революцию, уже довольно давно вышла в свет и читалась повсюду. Выбрав для названия корабля заголовок книги Пейна, житель Данди словно бы следовал примеру своего современника Стивена Жерара, филадельфийского судовладельца, который в знак симпатии к своей прежней родине и ее просвещенной философии называл принадлежащие ему корабли в честь Вольтера, Дидро и прочих.

И вот, когда катер прошел под кормой «купца» и лейтенант, а также гребцы прочитали, кто с горечью, кто с усмешкой, сверкавшее на ней название, новобранец, сидевший, как ему приказал боцман, на носу шлюпки, вдруг вскочил на ноги, замахал шляпой своим недавним товарищам, которые в грустном безмолвии смотрели на него с юта, и дружески пожелал им всего хорошего, после чего воскликнул, обращаясь к самому судну:

— И вы прощайте навсегда, «Права человека»!

— А ну сесть! — рявкнул лейтенант, снова обретая всю суровость, положенную его рангу, хотя и с трудом сдерживая улыбку.

Бесспорно, поступок Билли был неслыханным нарушением морского устава. Но ведь он и не мог знать этого устава, а потому лейтенант навряд ли одернул бы его столь резко, если бы не прощальный привет, который он послал своему бывшему кораблю. В его словах лейтенант усмотрел скрытую дерзость, ехидную насмешку над насильственной вербовкой вообще и над тем, как только что завербовали его самого в частности. Однако если эти слова и прозвучали саркастически, произошло это непреднамеренно: Билли, хотя он, как и всякий человек с отменным здоровьем и чистым сердцем, отличался веселым нравом и любил пошутить, сатириком отнюдь не был. Он не имел ни злокозненного желания язвить, ни необходимого для этого умения. Логические построения с двойным смыслом и тонкие инсинуации были полностью чужды его натуре.

А свою насильственную вербовку он, по-видимому, принял так, как привык принимать любые причуды погоды. Подобно животным, он был не философом, а истинным фаталистом, хотя сам об этом и не подозревал. Возможно даже, что он

не без удовольствия принял этот нежданный поворот в своей судьбе, обещавший ему совсем иную жизнь и военные приключения.

На борту «Неустрашимого» наш моряк с торгового судна был тотчас внесен в судовую роль как матрос первой статьи и записан фор-марсовым правого борта. Он скоро освоился со службой, а его безыскусственная красота и бодрый, беззаботный вид завоевали ему общее расположение. В его артели не сыскать было человека веселее, не в пример некоторым другим насильственно завербованным членам экипажа. Эти последние, если только они не были заняты делом, нередко — и особенно во время второй собачьей вахты, когда приближение сумерек располагает к задумчивости, — впадали в тоску или даже в угрюмость. Правда, они были старше нашего фор-марсового, так что у многих, несомненно, был какой-то домашний очаг, а кое-кого, возможно, тревожила судьба жены и детей, оставшихся без кормильца, и, уж конечно, среди них вряд ли нашелся бы человек без родных и близких. Но вся семья Билли, как скоро станет ясно читателю, исчерпывалась им самим.

II

Хотя наш новоиспеченный фор-марсовый был хорошо принят своими новыми товарищами на фок-мачте и на батарейных палубах, он отнюдь не сделался там предметом всеобщего восхищения, как бывало на тех судах, на каких он только и плавал прежде — торговых, с малочисленной командой.

Он был очень молод и, несмотря на свое поистине атлетическое сложение, выглядел даже еще более юным. Причиной тому было простодушно-детское выражение его лица, не утратившего первого пушка и напоминавшего девичье цветом и нежностью кожи, хотя холод, жара и соленый морской ветер согнали с него лилеи, а розы лишь с трудом просвечивали сквозь загар.

Новичок, столь мало осведомленный в сложностях искусственно созданной жизни, вынужденный вдруг сменить свой прежний простой мирок на несравненно более обширный и хитросплетенный мир большого военного корабля, мог бы совсем растеряться и утратить веру в себя, если бы его натуре были хоть в малой степени присущи самодовольство и тщеславие. Ведь в

пестром многолюдье «Неустрашимого» были и люди далеко не заурядные, несмотря на низкое их положение. Эти матросы оказались особенно восприимчивыми к тому духу, который военная дисциплина и участие в сражениях способны привить даже самому обыкновенному человеку. Положение Билли Бадда как Красавца Матроса на борту семидесятичетырехпушечного линейного корабля было в чем-то сходно с положением сельской красавицы, волей судеб покинувшей глушь и ставшей соперницей высокородных придворных дам. Но сам он этого почти не сознавал. Как не замечал и загадочных усмешек, которые в его присутствии иной раз появлялись на двух-трех наиболее грубых лицах. И точно так же он не отдавал себе отчета в том благоприятном впечатлении, которое его облик и манера держаться производили на тех офицеров, кому нельзя было отказать в уме и наблюдательности. Да иначе и быть не могло. По телесному своему сложению он принадлежал к тем лучшим представителям английского типа, в жилах которых кровь саксов словно вовсе не была разбавлена нормандской или какой-либо иной, а его лицу было присуще то человеческое выражение безмятежного и ласкового спокойствия, которое греческие ваятели

подчас придавали своему могучему герою Геркулесу. Но кроме того, в его облике ощущался некий вездесущий оттенок аристократичности; о ней говорило все: маленькие изящные уши, свод стопы, изгиб губ и вырез ноздрей, даже мозолистые руки, оранжевато-коричневые, точно клюв тукана, от постоянного соприкосновения со снастями и смолой, а главное — нечто в подвижных чертах лица, в каждой позе и движении, нечто, неопровержимо свидетельствовавшее о том, что мать его была щедро одарена богиней Любви и Красоты. Все это указывало на происхождение, совершенно не соответствующее нынешнему его жребию. Впрочем, как стало ясно, когда Билли официально зачисляли у кабестана на королевскую службу, особой тайны за этим не крылось. Офицер, невысокий и весьма деловитый, среди прочих вопросов осведомился о месте его рождения, на что он ответил:

— С вашего разрешения, сэр, мне это не известно.

— Тебе не известно, где ты родился? А кто был твой отец?

— Бог его знает, сэр.

Офицер, заинтересованный наивным простодушием этих ответов, спросил затем:

— Тебе что-нибудь известно о твоем происхождении?

— Нет, сэр. Но я слышал, что меня нашли рано поутру в красивой, подбитой шелком корзине, которую кто-то прицепил к дверному молотку одного почтенного бристольского жителя.

— Нашли, говоришь? Ну что ж, — офицер откинул голову и осмотрел новобранца с ног до головы, — ну что ж, находка оказалась недурной. Пусть почаще находят таких, как ты, любезный. Флоту они очень пригодились бы.

Да, Билли Бадд был подкидышем, предположительно незаконнорожденным и, очевидно, благородной крови. Порода чувствовалась в нем, как в скаковой лошади.

А в остальном, хотя Бадд не обладал особой остротой ума или мудростью змеи, да и голубиной кротостью тоже, он все же был в достаточной мере наделен здравым смыслом и нравственным чутьем неиспорченного человека, которого еще не угостили сомнительным яблоком познания. Он был неграмотен. Но если читать он не умел, зато хорошо пел и, подобно неграмотному соловью, нередко сам слагал свои песни.

Склонность к познанию самого себя у него развита не была — во всяком случае, немногим

больше, чем у сенбернаров, насколько мы можем о них судить.

Жизнь его была связана с морской стихией, и сушу он знал только как «берег», то есть как ту часть земного шара, которую благое провидение предназначило для танцевальных заведений, портовых девок и кабаков — всего того, чем полон сказочный «Матросский рай», — а потому сохранял первозданную простоту и был чужд нравственных экивоков, иной раз вполне тождественных тем искусственным построениям, что носят названия добропорядочности и благопристойности. Но беспорочны ли моряки, любители бродить по «Матросскому раю»? Отнюдь нет, однако у них так называемые пороки гораздо реже, чем у обитателей суши, порождаются нравственной низостью, и в злачные места их влечет не столько порочность, сколько избыток жизненных сил после долгих месяцев воздержания — просто и прямо, в полном согласии с естественными законами. По природным наклонностям, которые доставшийся ему удел лишь усугубил, Билли во многих отношениях был прекраснодушным дикарем, каким, скажем, мог быть Адам до того, как сладкоречивый змий вкрался к нему в доверие.

И тут следует указать на одну особенность, которая как бы подтверждает догмат о грехопадении (догмат, ныне почти забытый): если кому-то, кто внешне приобщен цивилизации, бывают присущи некие первобытные и неразжиженные добродетели, при ближайшем рассмотрении почти всегда оказывается, что они не только не порождены обычаем или принятой моралью, но скорее противоречат им, точно перенесенные в наш век из того времени, когда не было еще ни града Каинова, ни городского человека. Для тех, чей вкус не испорчен, натура, наделенная этими качествами, обладает, подобно лесным ягодам, природным благоуханием, тогда как в человеке полностью цивилизованном тот же взыскательный вкус различит какую-то примесь, точно в крепленом вине. И к любому бездомному наследнику этих первозданных качеств, подобно Каспару Гаузеру, неприкаянно блуждающему по улицам какой-нибудь шумной столицы, подойдет восклицание, которое без малого две тысячи лет назад исторг у поэта добрый поселянин, забредший в императорский Рим:

И в мыслях, и в словах прямого,
Что в город привело, о Фабиан, тебя?

Хотя внешность нашего Красавца Матроса не оставляла желать ничего лучшего, он, подобно красавице в одном из рассказов Готорна, обладал неким недостатком — правда, не видимым, как у нее, а недостатком речи, причем проявлялось это лишь при определенных обстоятельствах. Среди буйства стихии, в часы гибельной опасности трудно было бы сыскать другого столь бравого матроса, но под воздействием внезапного и сильного душевного волнения его голос, обычно на редкость мелодичный, как бы рождаемый внутренней гармонией, пресекался, он начинал говорить невнятно, заикался, а то и вовсе умолкал. Тут Билли являл собой разительное подтверждение того, что архитолкователь, коварный эдемовский завистник, все еще имеет касательство к каждому человеческому грузу, прибывающему на нашу планету. И всякий раз ему так или иначе удается сопроводить этот груз своей визитной карточкой, словно для того, чтобы напомнить нам: «Без меня тут дело не

обошлось!»

Упоминание об этом недостатке Красавца Матроса показывает, что он не только не представлен здесь как обычный герой романа, но что и история, в которой он играет главную роль, — отнюдь не романтический вымысел.

III

«Неустрашимый», когда Билли Бадд был насильственно на него забран, направлялся в Средиземное море, где должен был присоединиться к действовавшему там флоту, что в скором времени и произошло. После этого он плавал вместе с другими кораблями эскадры, а порой, ввиду его отличных ходовых качеств и за отсутствием фрегатов, его посылали с особыми поручениями — в разведку или же для выполнения какой-либо более длительной миссии. Но все это не имеет прямого отношения к нашей истории, ибо она ограничивается внутренней жизнью только одного корабля и судьбой одного матроса.

Было лето 1797 года. А не далее как весной, в апреле, произошли беспорядки в Спитхеде, за которыми в мае последовало второе и гораздо более серьезное восстание на линейных кораблях в Норе, получившее название Великого Мятежа. И следует признать, что эпитет «великий» не содержит ни малейшего преувеличения — событие это представляло для Англии несравненно большую опасность, чем все декреты и манифесты французской Директории или чем все ее

победоносные армии, вербовавшие сторонников самым фактом своего существования.

Мятеж в Норе был для Англии тем же, чем оказалась бы внезапная забастовка пожарных для Лондона, когда в нем вот-вот должен был бы заняться гигантский пожар. В момент тяжелейшего кризиса, когда Соединенное Королевство вполне могло бы предвосхитить прославленный сигнал, который несколько лет спустя был отрепетован по всей боевой линии перед решающим морским сражением, и объявить, чего ждет сейчас Англия от каждого англичанина, вот в такой-то момент на мачтах трехпалубных семидесятичетырехпушечных кораблей, стоявших на ее собственном рейде, тысячи матросов флота, который был правой рукой державы, в те годы чуть ли не единственной из государств Старого Света обладавшей подобием свободы, под громовое «ура» подняли британский флаг без эмблем союза и без креста, превратив таким образом флаг прочного закона и оберегаемой им свободы во вражеский алый метеор необузданного и безудержного восстания. Обоснованное недовольство, вызванное притеснениями и некоторыми жестокими порядками во флоте, заполыхало безрассудным пожаром, точно подожженное раскаленными уг-

лями, которые летели через Ла-Манш из объятой пламенем Франции.

Это событие на время превратило в иронию пылкие строфы Дибдина (чьи песни служили английскому правительству немалым подспорьем), написанные по поводу событий в Европе и воспевавшие среди прочего верноподданнический патриотизм британского матроса:

А жизнь мою отдам за короля!

Естественно, что морские историки Альбиона касаются этого эпизода в его величественной морской истории лишь вскользь. Так, один из них (Д.П.Р. Джеймс) откровенно признается, что был бы рад вовсе обойти его молчанием, если бы «беспристрастность не воспрещала брезгливости». И тем не менее он вместо обстоятельного рассказа ограничивается короткой ссылкой, почти совсем не приводя подробностей. И вообще, отыскать эти подробности в библиотеках — дело далеко не простое. Подобно некоторым другим катаклизмам, которые во все века выпадали на долю государств повсюду, не исключая и Америки, Великий Мятеж был событием такого рода, что национальная гордость вкупе с политическими соображениями требовала затушевать его

на страницах истории, запрятать подальше от любопытных взоров. Оставить эти события вовсе без упоминания нельзя, но существует особый деликатный способ исторического их истолкования. Разумный человек не станет направо и налево кричать о семейном несчастье или позоре, а потому и нациям в сходных обстоятельствах можно извинить такую сдержанность.

Хотя после переговоров между правительством и вожаками и некоторых уступок в отношении наиболее вопиющих злоупотреблений первое восстание — в Спитхеде — было не без труда подавлено и на время наступило затишье, непредвиденная новая и гораздо более мощная вспышка в Норе, ознаменованная на последующих переговорах требованиями, которые власти сочли не только неприемлемыми, но и неслыханно дерзкими, показывает (если для этого недостаточно одного красного флага), какой дух обуял матросов. И все-таки мятеж был окончательно сокрушен. Но, возможно, объяснялось это лишь неколебимой верностью морской пехоты и добровольным возвращением к присяге многих влиятельных членов восставших экипажей. В определенном смысле мятеж в Норе можно уподобить вторжению заразной лихорадки в

организм по сути здоровый, который затем полностью с ней справляется.

Во всяком случае, среди этих тысяч бунтовщиков были и те матросы, которые всего два года спустя, движимые то ли патриотизмом, то ли природной воинственностью, то ли и тем и другим вместе, помогли Нельсону стяжать победный венок на Ниле, а затем и величайший из военных венков при Трафальгаре. Для мятежников эти битвы, и в особенности Трафальгар, послужили полным отпущением грехов, и к тому же благородно заслуженным. Ибо величие морским битвам придает лишь беззаветный героизм. Эти битвы, и в особенности Трафальгар, не знают себе равных в анналах истории.

IV

О «величайшем моряке, какого видел свет».

Теннисон

Как ни заставляет себя писатель придерживаться большой дороги, ему бывает очень трудно устоять перед соблазном и не свернуть на заманчивую боковую тропку. Гений Нельсона властно манит меня, и я, отступая от правил, все-таки сойду на такую тропку. И буду рад, если читатель составит мне компанию. Мы хотя бы доставим себе то удовольствие, которое, как утверждают злые языки, кроется в самой возможности согрешить: ведь уклонение от темы — немалый литературный грех.

Наверное, не ново будет сказать, что изобретения нашего века вызвали в принципах ведения войны на море изменения, вполне сопоставимые с той революцией, которую произвело в ведении любой войны появление в Европе китайского пороха. Первое европейское огнестрельное оружие, весьма ненадежное и неудобное в обращении, вызвало, как известно, презрительные насмешки

рыцарей, объявивших его мужичьим и пригодным разве что для ткачей, слишком подлых и трусливых, чтобы скрестить меч с мечом в честном бою. Но как на суше рыцарская доблесть, пусть и лишенная геральдического блеска, не канула в прошлое вместе с рыцарями, так и на море; хотя в наши дни, при изменившихся обстоятельствах, уже невозможно блистать храбростью на прежний манер, тем не менее высокие достоинства таких властителей моря, как дон Хуан Австрийский, Дориа, ван Тромп, Жан Барт, бесчисленные английские адмиралы и американец Декейтерс, прославившийся в 1812 году, отнюдь не устарели вместе с их «деревянными стенами».

И все же тому, кто способен ценить Настоящее, не умаляя Прошлого, можно простить, если в старом корабле, одиноко разрушающемся в Портсмуте, в нельсоновской «Виктории», он видит не просто ветшающий памятник нетленной славы, но и поэтическое порицание — пусть смягченное его живописным видом — как мониторам, так и еще более могучим европейским броненосцам. И не только потому, что суда эти некрасивы, что они, естественно, лишены симметричности и благородства линий старинных боевых кораблей,

но и по некоторым другим причинам.

Пожалуй, найдутся и такие люди, которые, не оставаясь бесчувственными к упомянутому выше поэтическому порицанию, тем не менее будут готовы со всем жаром иконоборцев оспаривать его во имя нового порядка вещей. Например, при виде звезды, обозначающей на палубе «Виктории» то место, где великий моряк пал, сраженный насмерть, эти военные утилитаристы не преминут заметить, что Нельсону не только незачем было во время боя показываться там, где его легче всего могли заметить вражеские стрелки, но что его обычай командовать боем при всех регалиях противоречил военной науке и даже отдавал глупым упрямством и хвастливостью. Они могут еще добавить, что в Трафальгарском сражении он таким образом бросал дерзкий вызов Смерти — и Смерть явилась — и что победоносный адмирал, если бы не его бравада, скорее всего остался бы жив, и тогда его преемник не поступил бы наперекор его мудрым предсмертным указаниям, — он сам после завершения битвы отдал бы приказ своему потрепанному флоту стать на якорь, и прискорбная гибель сотен человеческих жизней в морской буре, сменившей бурю военную, была бы, вероятно, предотвращена.

Ну, если оставить в стороне более чем спорный вопрос о том, мог ли флот при сложившихся обстоятельствах отдать якоря, тогда доводы военных поклонников Бентама обретают некоторую правдоподобность.

Впрочем, «если бы да кабы» — весьма зыбкая почва, не годящаяся для логических построений. Но несомненно одно: по предусмотрительности во всем, что касалось главной задачи сражения и тщательной к нему подготовки — вроде разметки буями смертоносного пути и нанесения его на карту перед битвой у Копенгагена, — мало найдется флотоводцев столь педантичных и осторожных, как этот бесшабашный любитель выставлять себя напоказ под огнем противника.

Личная осторожность, даже если она диктуется отнюдь не эгоистическими соображениями, все-таки не такое уж большое достоинство для солдата, а вот пылкая любовь к славе, подвигающая на щепетильнейшее исполнение воинского долга, — это его высшая добродетель. Если имя Веллингтон не воспламеняет кровь подобно более простому имени Нельсон, объяснение, возможно, следует искать в том, что сказано выше. Теннисон в оде на погребение победителя под Ватерлоо не дерзает назвать его величайшим

воином всех времен, хотя в той же самой оде он вспоминает о Нельсоне как о «величайшем моряке, какого видел свет».

Перед самым началом Трафальгарского сражения Нельсон выбрал минуту, чтобы написать свое последнее краткое завещание. Если в предчувствии великолепнейшей из своих побед, увенчанной его собственной гибелью, некое почти жреческое побуждение заставило его надеть усыпанные драгоценными камнями свидетельства собственных сияющих подвигов, если такое украшение самого себя для алтаря и принесения в жертву было всего лишь тщеславием, тогда любая истинно героическая строка в великих трагедиях и поэмах — не более чем аффектация и мишура, ибо в подобных строках поэт всего только воплощает в стихи те возвышенные чувства, которые натуры, подобные Нельсону, если позволит случай, преобразуют в действие.

V

Бунт в Норе был подавлен, но далеко не все вызвавшие его причины были устранены. Если, например, поставщикам стало трудно обманывать и мошенничать, как это принято у их племени повсюду, — скажем, подсовывать гнилое сукно вместо крепкого или доставлять несвежую провизию, причем неполной мерой, то насильственная вербовка продолжалась. Этот освященный веками способ обеспечивать флот матросами, оправдывавшийся правоведами даже в столь недавние годы, когда лордом-канцлером был Мэнсфилд, вышел из употребления сам собой, но официального запрета на него так никогда и не наложили. А в ту эпоху отказаться от него было попросту невозможно. Прекращение насильственной вербовки обескровило бы флот, столь необходимый стране — флот парусный, еще не знающий пара, так что все его неисчислимые снасти и тысячи пушек обслуживались силой одних только человеческих мышц, флот, ненасытно требующий людей, ибо он постоянно пополнялся новыми кораблями всех классов в предвидении или для предупреждения опасностей, которыми

угрожал или мог угрожать сотрясаемый конвульсиями Европейский континент.

Недовольство, предшествовавшее двум мятежам, под спудом пережило их. А потому благоразумие требовало принятия определенных мер для предотвращения новых волнений — местных и общих. Каковы бывали иногда эти меры, показывает следующий случай. В том же году, о котором идет речь в нашей повести, Нельсон, в то время еще сэр Горацио и вице-адмирал, находясь вместе с остальным флотом у испанских берегов, получил приказ от адмирала перенести свой флаг с «Капитана» на «Тезея». И вот почему. «Тезей» только что пришел из Англии, где участвовал в Великом Мятеже, настроение его экипажа вызывало некоторую тревогу, и было решено, что на корабле требуется командир, подобный Нельсону, который не станет запугивать матросов и доводить их до состояния скотской покорности, но самим своим присутствием пробудит в них верность долгу, пусть не столь горячую, как его собственная, однако не менее искреннюю.

И понятно, что на многих квартердеках в то время властвовало тайное беспокойство. В плавании принимались всяческие предосторожности против возможного повторения новых вспышек.

Ведь встреча с противником могла произойти в любую минуту. И когда она происходила, командующие батареями лейтенанты порой стояли за спиной пушкарей, держа шпагу наголо.

Однако на борту «Неустрашимого», где теперь подвешивал свою койку Билли, ни в поведении матросов, ни в обхождении с ними офицеров ничто не напоминало бы стороннему наблюдателю о том, что со времени Великого Мятежа прошли считанные месяцы. На военных кораблях офицеры, естественно, держатся так, как подсказывает им пример капитана — конечно, если капитан сумеет поставить себя надлежащим образом.

Капитан «Неустрашимого», высокородный Эдвард Фэрфакс Вир, холостяк лет сорока с небольшим, выделялся своими незаурядными профессиональными достоинствами даже в ту эпоху — эпоху, изобиловавшую прославленными моряками. Он состоял в родстве с самыми знатными фамилиями, но карьерой своей был обязан отнюдь не только семейным связям. Службу он начал с юности, участвовал во многих сражениях, всегда заботливо пекся о своих подчиненных, не спуская тем не менее ни единого нарушения дисциплины. Мореходную науку он постиг во всех тонкостях и был храбр почти до безрассудства,

никогда, однако, не рискуя без нужды. За доблестное поведение в вест-индских водах, где он был флаг-лейтенантом Роднея, когда этот адмирал одержал решительную победу над де Грассом, он получил под свою команду линейный корабль.

На берегу же и в цивильном платье он вряд ли показался бы кому-нибудь похожим на моряка, тем более что он никогда без нужды не уснащал свою речь морскими словечками, хранил неизменную серьезность и не любил шуток. И в море, пока обстоятельства не призывали его к исполнению командирских обязанностей, ему были присущи чрезвычайная сдержанность и молчаливость. Обитатель суши, увидев, как этот джентльмен самой скромной наружности и без парадных знаков своего чина поднимается из капитанской каюты на палубу, а потом заметив, с какой почтительностью офицеры отходят к подветренному борту, наверное, принял бы его за официального гостя, за цивильное лицо на борту военного корабля, за какого-нибудь высокопоставленного посланника, едущего с тайным важным поручением. На деле же источником этой сдержанности могла быть искренняя скромность, которая у решительных натур подчас сопутствует мужеству. Подобная скромность,

проявляющаяся всегда, когда нет нужды действовать, и остающаяся неизменной, какое бы положение человек ни занимал, свидетельствует об истинном аристократизме.

Подобно очень многим, кто посвятил себя той или иной героической профессии, капитан Вир, человек обычно вполне практичный, порой поддавался мечтательности. Нередко можно было увидеть, как он стоит в одиночестве на верхней палубе у наветренного борта, держась одной рукой за ванты и устремляя рассеянный взгляд в темную морскую даль. Если в такую минуту к нему обращались с каким-либо незначительным делом, прерывая ход его мыслей, он, видимо, испытывал досаду, но тотчас брал себя в руки.

Во флоте он был известен более под прозвищем Звездный Вир. Столь пышное наименование досталось тому, кто при всех своих превосходных качествах все-таки особо не блистал, при следующих обстоятельствах. Когда он вернулся в Англию после вест-индской кампании, первым его приветствовал любимый его кузен лорд Дентон, несколько склонный к восторженности. Как раз накануне этот последний, пролистывая книжку стихов Эндрю Марвелла, наткнулся (впрочем, не впервые) на строки, озаглавлен-

ные «Эплтон-Хаус». Так называлось поместье их общего предка, отличившегося в германских войнах XVII века, и стихотворение, в частности, содержало следующие строки:

И обязаны мы ныне
Вашей строгой дисциплине
Тем, что восхищен весь мир,
Гордый Фэрфакс, звездный Вир!

И вот, обнимая кузена, возвратившегося после славной победы Роднея, которой он немало способствовал своей доблестью, лорд Дентон, по праву гордясь, что столь отличившийся моряк принадлежит к их семье, ликующе воскликнул:

— Поздравляю тебя, Эд! Поздравляю тебя, мой звездный Вир!

Восклицание его услышали и запомнили многие, а так как новый эпитет позволял во внеслужебных разговорах отличать капитана «Неустрашимого» от другого Вира, его дальнего старшего родственника, также капитана линейного корабля, то эпитет этот и прирос к его фамилии навеки.

VI

Ввиду роли, которую капитан «Неустрашимого» играет в нашей истории, пожалуй, следует дополнить его портрет, набросанный в предыдущей главе. Капитан Вир был человеком незаурядным, даже если оставить в стороне его качества как морского офицера. С ним не произошло того, что случилось со многими и многими знаменитыми английскими мореплавателями: долгие годы ревностной службы и беззаветной преданности долгу не поглотили и не «засолили» его целиком. В нем были сильны интеллектуальные наклонности. Он любил читать и никогда не уходил в море, не пополнив заново библиотеку, пусть по необходимости небольшую, но зато включавшую все самое лучшее. Часы одинокого — и для многих столь скучного — досуга, который время от времени выпадает на долю капитана даже в дни войны, никогда не тяготили капитана Вира. Литературный вкус, ценящий не мысли и сведения, но лишь их оболочку, был ему чужд, и он предпочитал книги, которые всегда привлекают людей серьезного умственного склада, притом деятельных и занимающих тот или иной высокий

пост, то есть книги, трактующие о подлинных событиях и людях всех веков, — исторические труды, биографии и произведения тех своеобразных писателей, которые, подобно Монтеню, без притворства и оглядки на общепринятые мнения честно и здраво судят о том, что есть на самом деле.

Благодаря этой любви к чтению он обретал подтверждение собственным заветным мыслям — подтверждение, которого тщетно искал в беседах с другими людьми, — а потому касательно всех наиболее важных вопросов у него сложились прочные убеждения, и он чувствовал, что сохранит их неизменными, кроме разве мелких частностей, до конца дней своих, если только разум его не утратит силы. И это было для него благом, если вспомнить, в какую смятенную эпоху довелось ему жить. Его твердые убеждения служили как бы плотиной против бурного натиска новых взглядов — социальных, политических и прочих, — которые, точно разлившийся поток, увлекали в те дни немало умов, казалось бы, ничем не уступавших его собственному. И если прочие аристократы, к которым он принадлежал по праву рождения, негодовали на тех, кто провозглашал новые идеи, главным образом

оттого, что теории эти были враждебны привилегированным классам, то капитан Вир осуждал их беспристрастно — и не только потому, что не видел, как их можно воплотить в прочные институты, но еще и потому, что, на его взгляд, они противоречили установлениям рода человеческого и его благу.

Другие капитаны, не столь начитанные и менее склонные к размышлениям, чье общество он по временам волей-неволей должен был делить, находили, что ему не хватает истинно товарищеского духа, и считали его сухим книжником. Стоило ему удалиться, и уж кто-нибудь обязательно говорил соседу: «Благороднейший человек Вир! Звездный Вир! Что бы там ни трубили газеты, а сэр Горацио, в сущности, немногим его превосходит и как моряк, и как боевой офицер. Но, между нами говоря, вы не находите, что есть в нем эдакая нелепая склонность к педантизму? Ну, как прядь пеньки другого цвета в корабельном канате».

Кое-какие основания для этого упрека действительно были: капитан Вир не только никогда не снисходил до шутливой болтовни, но к тому же, желая пояснить то или иное замечание о каком-нибудь современном выдающемся деятеле или

злободневном событии, он непременно ссылался для аналогии на подходящую историческую фигуру или на случай, имевший место в древности, причем с той же легкостью, с какой цитировал новых авторов. Он словно бы не замечал, что грубоватые собеседники не способны уловить суть его ссылки, какой бы уместной она ни была, так как круг их чтения почти исчерпывался вахтенными журналами. Но в подобных обстоятельствах тактичность бывает чужда таким натурам, как капитан Вир: честность требует от них прямолинейности, иной раз настолько безоговорочной, что невольно вспоминаются перелетные птицы, которые вовсе не замечают государственных границ, пересекающих их путь.

VII

Здесь нет нужды описывать по отдельности лейтенантов и прочих офицеров «Неустрашимого», как и унтер-офицеров, если не считать одного, который имеет к нашему рассказу самое прямое отношение, а потому его следует незамедлительно представить читателю. Я попытаюсь набросать его портрет, хотя это навряд ли мне удастся.

Речь пойдет о Джоне Клэггерте, каптенармусе. Боюсь, люди, мало знакомые с морской службой, недостаточно ясно представляют себе, что это за должность. В прошлом, как показывает само слово, сократившееся в настоящую свою форму из французского capitaine d'armes (начальник по оружию), в обязанности этого офицера действительно входило обучение матросов владению оружием — абордажной саблей и кортиком. Но уже давным-давно, едва пушки превратили рукопашный бой в редкость и селитра с серой возобладали над сталью, надобность в таком обучении отпала и каптенармус на большом военном корабле превратился в своего рода начальника полиции — ему, в частности, поручалось наблю-

дение за порядком на густонаселенных нижних и батарейных палубах.

Клэггерт, мужчина лет тридцати пяти, был довольно высок ростом и сухощав, хотя в целом не так уж плохо сложен. Его небольшие изящные руки, несомненно, никогда не знали тяжелого труда. Лицо же его производило необыкновенное впечатление. Все черты были чеканными, точно на греческой монете, но подбородок, гладкий, как у Текумсе, сильно выдвинутый вперед и словно налитый тяжестью, приводил на память гравированные изображения преподобного Тайтеса Оутса, этого доносчика с голосом проповедника, который в царствование Карла II изобличил им же сочиненный папистский заговор. Глаза Клэггерта умели смотреть с пронзительной строгостью, что в его должности было весьма полезно. Лоб его, согласно френологической науке, свидетельствовал о незаурядном уме, а падавшие на него крутые завитки иссиня-черных шелковистых волос подчеркивали бледность кожи — бледность с легким янтарным оттенком, как у древних мраморных статуй, окрашенных веками.

Эта бледность, резко выделявшаяся среди красных и бронзовых матросских физиономий,

возможно, в некоторой мере объяснялась тем, что по должности своей он редко выходил на солнечный свет, и хотя в самой ней не было ничего неприятного, она, казалось, свидетельствовала о каком-то отклонении или пороке в организме и крови. Однако общий его облик и манера держаться как будто говорили об образованности и былых занятиях, не соответствовавших нынешнему его положению, и когда он не был занят своими обязанностями, его нетрудно было принять за человека благородного — и в прямом, и в переносном смысле, — который по причинам, известным лишь ему самому, предпочитает сохранять инкогнито. О его прошлом никто ничего не знал. Возможно, он был англичанином, однако в его речи иногда проскальзывал легкий акцент, позволявший предположить, что родился он вне пределов Англии, хотя и попал туда еще малым ребенком. Убеленные сединой старожилы батарейных палуб и бака поговаривали, что капитенармус был из французских дворян и пошел во флот добровольно, чтобы избегнуть обвинения в некоем таинственном мошенничестве, когда он уже должен был предстать перед судом Королевской Скамьи. То обстоятельство, что история эта ничем не подтверждалась, разумеется, не

мешало передавать ее из уст в уста. В эпоху, о которой идет наш рассказ, подобный слух, пущенный на батарейных палубах о ком угодно, кроме разве офицеров с королевским патентом, не вызвал бы особых сомнений у просмоленных всезнаек, задающих тон в команде военного корабля. Да и могло ли быть иначе, когда речь шла о человеке с достоинствами Клэггерта, который, ничего не зная о море, уже в зрелые годы идет во флот и, естественно, начинает свою службу с самых низов? О человеке, который ни разу даже словом не обмолвился о своей прежней жизни на суше? А раз прошлое его было скрыто мраком неизвестности, перед любопытными, естественно, открывалось широкое поле для всяческих догадок, не слишком для него лестных.

Однако россказни, которыми матросы обменивались на вахте, обретали некоторое правдоподобие благодаря тому обстоятельству, что, когда дело шло о пополнении судовых команд, британскому флоту в те годы было не до разборчивости — не только пресловутые шайки вербовщиков хватали кого могли на суше и на море, но, как знали все, лондонская полиция получила право без суда отправлять в доки или на корабли не одних лишь бродяг, а и любого подозреваемого

в преступлении человека, если он, конечно, был достаточно молод и крепок. Да и теми, кто шел служить на флоте добровольно, иной раз руководили вовсе не патриотизм и даже не желание изведать морскую жизнь и военные приключения. Для несостоятельных должников, если только долги их не были слишком уж велики, и для людей, чья мораль хромала на обе ноги, флот становился удобным и надежным приютом — ведь, завербовавшись, они оказывались на королевском корабле в такой же безопасности, как в Средние века преступник, укрывшийся в церкви. Подобные санкционированные свыше отклонения от буквы закона, которые английское правительство по очевидным причинам старалось не предавать гласности и которые поэтому совсем уже исчезли во мраке забвения, тем более что страдали от них наименее влиятельные слои общества, как будто подтверждают нижеследующие сведения, хотя поручиться головой за их достоверность я не могу и сообщаю их с некоторой опаской. Я видел упоминание об этом в книге — правда, не помню в какой, — и то же самое рассказывал мне сорок с лишним лет назад старый инвалид в треуголке, с которым у меня завязался чрезвычайно интересный разговор на террасе в

Гринвиче. Он был негром из Балтимора и участвовал в Трафальгарском сражении, за что получал пенсию. А рассказывал он мне вот что: в тех случаях, когда военному кораблю необходимо было выйти в море без промедления, а матросов на нем не хватало, нехватку эту, за неимением другого выхода, восполняли вербовкой преступников прямо в тюрьмах. По указанным выше причинам в настоящее время было бы, вероятно, не так-то просто подтвердить или опровергнуть это утверждение. Но если счесть, что оно верно, — какое же это наглядное свидетельство того, насколько тяжело приходилось Англии в ту эпоху, когда на нее обрушились войны, которые, подобно стае гарпий, с хищными криками взвились из грохота и пыли сокрушенной Бастилии! Нам, кто оглядывается на эту эру из настоящего и судит о ней лишь по книгам, она представляется достаточно ясной. Но дедам тех из нас, кто уже сам убелен сединами, дух ее, если они задумывались об этом, представлялся, подобно «Духу Мыса» Камоэнса, всеобъемлющей угрозой, таинственной и неисповедимой. Когда Наполеон находился на вершине своей беспримерной славы, иные американцы, в свое время сражавшиеся при Банкер-Хилле, опасались, что Атлантический океан окажется

недостаточной преградой на пути этого ненасытного завоевателя, который восстал из хаоса революции и, казалось, уже исполнял своими деяниями пророчества Апокалипсиса.

Впрочем, сплетням, ходившим на батарейных палубах о Клэггерте, следует доверять тем меньше, что человек, занимающий на военном корабле должность каптенармуса, неизбежно вызывает у команды враждебность и антипатию. А матросы, понося того, на кого у них есть зуб, не менее обитателей суши склонны к преувеличениям и романтическим вымыслам.

На деле же экипаж «Неустрашимого» знал о жизни, которую вел каптенармус до того, как поступил на службу, не более, чем знает астроном о странствиях кометы, предшествовавших тому мгновению, когда он впервые обнаружил ее на нашем небосклоне. И приговор морских зоилов приведен здесь лишь затем, чтобы показать, какого рода впечатление производил Клэггерт на грубые, необразованные натуры, чьи понятия о глубинах человеческого злодейства не могли не быть самыми узкими и по необходимости ограничивались простейшими представлениями о низости и подлости: умственному их взору рисовались лишь вор среди покачивающихся коек

в часы ночной вахты, грабители и мошенники в портовых притонах.

Однако не сплетней, но фактом было следующее: хотя вначале Клэггерта — о чем вскользь уже упоминалось выше, — как совсем не знающего морской службы, определили в трюмные (а на военном корабле это — последние из последних, выполняющие самую черную работу), оставался он среди них недолго.

Его незаурядный ум, безукоризненная трезвость, вкрадчивая льстивость по отношению к высшим вкупе с редкими сыскными способностями, которые нежданный случай позволил ему проявить, — все это, а также своеобразный суровый патриотизм, вскоре помогло ему из простого матроса сразу стать каптенармусом.

В подчинении у этого морского начальника полиции находились так называемые корабельные капралы, которые в угоду ему — как это нередко случается и в кое-каких учреждениях на суше — готовы были иной раз перейти пределы дозволенного совестью. Тот, кто занимал должность каптенармуса, сосредоточивал в своих руках самые разнообразные нити и, ловко используя свое тайное влияние, через посредство усердных помощников мог подстраивать нижним чинам

всяческие мелкие неприятности, а то и что-нибудь похуже.

VIII

Жизнь на фок-мачте пришлась Билли Бадду по душе. У фор-марсовых, отбиравшихся по признаку молодости и ловкости, был там своего рода воздушный клуб: когда им не надо было ставить или убирать верхние паруса, они уютно располагались на свернутых лиселях, точно ленивые боги, рассказывали друг другу всякие были и небылицы и посмеивались, глядя со своей высоты на хлопотливый мир палубы. Само собой разумеется, молодой человек с характером и склонностями Билли не мог не чувствовать себя довольным таким обществом. Он отлично со всеми ладил, и слова команды никогда не заставали его врасплох. Правда, и на торговом судне он обычно бывал впереди всех. Но теперь никто не мог сравниться с ним в старательности, так что иной раз товарищи даже добродушно над ним посмеивались. Это рвение имело свою причину — впечатление от экзекуции, которую ему довелось впервые в жизни увидеть на второй день своей новой службы. Наказанию подвергся молоденький ютовый, щуплый новичок, — его не оказалось на месте, когда корабль начал по-

ворот, а это привело к задержке при маневре, который требует молниеносной быстроты в отдаче и креплении снастей. С леденящим ужасом Билли смотрел, как плеть впивается в обнаженную спину, окровавленную, всю в решетке багровых рубцов, он увидел искаженное лицо несчастного, который кинулся в толпу, чтобы поскорее спрятаться, едва экзекутор набросил на него шерстяную рубаху. И наш фор-марсовый тут же дал себе клятву, что не только никогда не допустит проступка, который может навлечь на него подобную кару, но и будет остерегаться самых незначительных недосмотров и промахов, хотя бы даже за них не полагалось ничего страшнее словесного выговора. Каково же было его недоумение и даже тревога, когда он некоторое время спустя начал замечать, что у него все чаще и чаще случаются неприятности из-за плохо уложенной сумки или криво подвешенной койки — словом, из-за всего, что находилось в ведении корабельных капралов, призванных следить за порядком на нижних палубах, причем один из них не поскупился и на неопределенные угрозы!

Но ведь он старательно проверяет каждую мелочь, так как же это может быть? Он не понимал, в чем дело, и его томило беспокойство. Когда он

заговаривал об этом со своими молодыми товарищами, они либо пропускали его слова мимо ушей, либо потешались над его озабоченностью.

— Значит, дело в сумке. Билли? — сказал один. — Так ты в нее залезь поглубже — и увидишь, трогает ее кто-нибудь или нет.

Среди матросов был некий ветеран, которого годы лишили былой ловкости и сноровки, а потому незадолго до начала нашего повествования он был назначен гротовым и приставлен к нижним снастям этой гигантской мачты. В часы, свободные от работы, между ним и нашим фор-марсовым завязалось некоторое знакомство, и теперь Билли пришло в голову, что старик может дать ему дельный совет. Был он датчанин (хотя долгие годы службы почти превратили его в англичанина), очень молчаливый, с лицом, изборожденным морщинами и почтенными шрамами. Его кожа, продубленная временем и непогодой, напоминала по цвету древний пергамент, а лоб и щеки испещряли синие пятна — память о пороховом заряде, случайно взорвавшемся во время боя. На «Неустрашимого» его перевели с «Агамемнона» — за два года до описываемых событий он еще служил под командой Нельсона, в то время только сэра Горацио, на этом корабле, который

обрел бессмертие в морских анналах, а затем был частично разобран и предстает перед нами на гравюре Хейдона как величественный остов. Однажды, когда «Агамемнон» сошелся с вражеским кораблем вплотную, он был в абордажной партии и получил сабельный удар, пришедшийся по виску и щеке — тонкий бледный рубец пересекал его темное лицо, точно рассветный луч. На борту «Неустрашимого» датчанина прозвали На-Абордаж-в-Дыму — не только из-за синих пороховых пятен на его лице, но и в честь шрама, а также в честь дела, в котором он заработал этот шрам.

Когда его маленькие, острые, как у хорька, глазки впервые заметили Билли Бадда, морщины на лице датчанина задергались и поползли в разные стороны, слагаясь в подобие угрюмой улыбки. Быть может, суровый чудак, наделенный безыскусственной природной мудростью, узрел (или, во всяком случае, решил, будто узрел) в Красавце Матросе что-то, никак не вяжущееся с военным кораблем и жизнью на нем? Но затем старый Мерлин рассмотрел его получше и перестал язвительно улыбаться. Теперь, когда они встречались, усмешка в глазах датчанина, едва появившись, сменялась выражением задумчивым и вопросительным, словно он тщился

угадать, что ожидает впереди эту бесхитростную натуру, заброшенную в мир, где хватает ловушек и хитрых тенет, против которых мало помогает простая храбрость, не оснащенная опытом и житейской ловкостью, не укрытая хотя бы тенью спасительной безобразности, в мир, где невинность духа в минуту нравственного кризиса не всегда обостряет чувства и укрепляет волю.

Но как бы то ни было, датчанин по-своему привязался к Билли. И объяснялось это не только отвлеченным философским интересом к подобному характеру. Была тут и другая причина. Чудаковатость старика, граничившая порой с грубостью, обычно отпугивала молодых матросов, но Билли словно не замечал ее и сам искал встреч, приветствуя старого агамемнонца с той почтительностью, которую всегда ценят пожилые люди, какими бы ворчливыми ни сделало их время и какое бы положение они ни занимали. Гротовому был свойствен своеобразный суховатый юмор, и с первого же раза он начал называть Билли Деткой Баддом, то ли с высоты своих лет посмеиваясь над его юностью и атлетическим сложением, то ли по какой-нибудь другой, не столь очевидной причине. С легкой руки датчанина это прозвище пошло в ход, и вскоре нашего

фор-марсового никто иначе на корабле и не называл.

И вот Билли, ломая голову над таинственными, хотя и мелкими неприятностями, отправился на поиски старика, которого и отыскал на верхней батарейной палубе, где тот отдыхал после собачьей вахты. Примостившись на ящике с картечью, старик с усмешкой поглядывал на матросов помоложе, которые прогуливались там вразвалку, и о чем-то размышлял. Билли рассказал ему о своих непонятных затруднениях, по-прежнему недоумевая, какая тут может быть причина. Корабельный патриарх внимательно слушал — его морщины странно подергивались, а в маленьких глазках вспыхивали загадочные искры. В заключение фор-марсовый спросил:

— Ну вот, Датчанин, что ты обо всем этом думаешь?

Старик сдвинул шляпу на затылок, задумчиво потер длинный косой рубец там, где он терялся среди жидких волос, и ответил лаконично:

— Тощий Франт (прозвище каптенармуса) на тебя взъелся, Детка Бадд.

— Тощий Франт? — вскричал Билли, широко раскрыв лазурные глаза. — Да за что же? И ведь мне говорили, что он меня иначе не называет,

как «милым малым».

— Вот как? — усмехнулся седой моряк, а затем добавил: — Да уж, Деточка, Тощий Франт поет сладко.

— Ну, не всегда. Только я от него ни одного сердитого слова не слышал. Стоит мне мимо пройти, и уж он обязательно что-нибудь ласковое скажет.

— А это потому, Детка Бадд, что он на тебя взъелся.

Повторение этих слов и самый тон старика, непонятный для нового человека, встревожили Билли едва ли не больше, чем тайна, разъяснения которой он искал. Он попробовал добиться от оракула какого-нибудь другого, не столь неблагоприятного предсказания, но старый морской Хирон, быть может полагая, что на этот раз он достаточно наставил своего юного Ахиллеса, крепко сжал губы, стянул морщины поближе друг к другу и не пожелал ничего добавить к уже сказанному.

Годы и опыт, которого набираются проницательные люди, вынужденные всю жизнь подчиняться воле начальства, развили в датчанине скрытый, но едкий цинизм, ставший главенствующей чертой его характера.

IX

Случившееся на следующий день небольшое происшествие утвердило Билли Бадда в сомнениях, которые вызвал у него странный вывод, сделанный датчанином из того, что он ему поведал.

В полдень «Неустрашимый» шел крутым фордевиндом, а потому испытывал некоторую качку. Билли, который обедал внизу, так увлекся разговором с членами своей артели, что не остерегся, и при внезапном толчке вся похлебка из его миски выплеснулась на только что надраенную палубу. Каптенармус Клэггерт, помахивая тростью, положенной ему по должности, как раз в эту минуту проходил мимо закоулка, где обедали фор-марсовые, и жирная жижа потекла ему прямо под ноги. Он перешагнул через нее и, поскольку при подобных обстоятельствах ничего заслуживающего внимания в этом происшествии не было, пошел дальше, но тут вдруг заметил, кому принадлежала злополучная миска. Он сразу переменился в лице и встал как вкопанный. Казалось, он хотел выбранить матроса, однако сдержался и, указывая на разлитую похлебку, шутливо похлопал его

тростью на спине и негромко произнес тем особым мелодичным голосом, каким вдруг начинал говорить при определенных обстоятельствах:

— Мило-мило, дружочек! И ведь не по хорошему мил, а по милу хорош!

Затем он удалился, так что Билли не увидел невольной улыбки, а скорее гримасы, сопровождавшей эти двусмысленные слова и криво изогнувшей его красиво очерченные губы. Однако все приняли его слова за шутку, а поскольку, когда начальство шутит, положено смеяться, они и захохотали «в притворном веселье». Билли, возможно польщенный этим намеком на его положение Красавца Матроса, посмеялся вместе с ними, а потом, обращаясь к товарищам, воскликнул:

— Ну, кто еще скажет, что Тощий Франт на меня взъелся?

— А кто это говорил, Красавчик? — с некоторым удивлением осведомился некий Дональд.

Наш фор-марсовый только широко раскрыл глаза, вдруг сообразив, что, собственно, лишь один человек — На-Абордаж-в-Дыму — высказал столь, как ему казалось, нелепое предположение, будто этот обходительный каптенармус питает к нему неприязнь. Тем временем на лице уда-

ляющегося Клэггерта, по-видимому, появилось выражение более определенное, чем просто кривая улыбка, и, поскольку в выражении этом отразилась душа, оно, вероятно, не очень красило каптенармуса — во всяком случае, мальчишка-барабанщик, вприпрыжку выскочивший из-за угла и слегка его толкнувший, при взгляде на него почувствовал непонятный страх. И страх этот отнюдь не рассеялся, когда каптенармус сердито хлестнул его гибкой тростью и злобно крикнул:

— Смотри, куда идешь!

X

Но что происходило с каптенармусом? И — что бы с ним ни происходило — какое это могло иметь отношение к Билли Бадду, с которым он до эпизода с пролитой похлебкой ни разу не разговаривал ни по долгу службы, ни просто так? Каким образом его душевное волнение могло быть связано с человеком столь покладистым и добродушным, как наш «миротворец» с торгового судна, которого и сам Клэггерт называл «милым малым»? Да, почему Тощий Франт вдруг, по выражению датчанина, «взъелся» на Красавца Матроса?

Но в глубине души, как легко мог бы заключить проницательный свидетель этой последней их встречи, он, бесспорно, таил на него злобу, и, конечно, не без причины.

Разумеется, было бы нетрудно придумать какие-нибудь тайные узы, связывавшие Клэггерта с Билли, о которых последний даже не подозревал, сочинить какое-нибудь романтическое происшествие, дав понять, что Клэггерт знал о существовании молодого матроса задолго до того, как увидел его на палубе «Неустрашимого», — да,

все это было бы нетрудно сделать, отчего предполагаемая загадка обрела бы особенный интерес. Но ни о чем подобном и речи не было. И все же причина, которая за неимением никакой другой представляется единственно возможной, в самой своей реалистичности пронизана не меньшей таинственностью, этим главнейшим элементом радклифских романов, чем те, что порождались неистощимой фантазией хитроумной создательницы «Удольфских тайн». Ибо что может быть таинственнее внезапной и сильнейшей антипатии, которую в человеке определенного склада с первого взгляда возбуждает другой человек, совершенно, казалось бы, безобидный? Или самая эта безобидность и порождает ее?

С другой стороны, нигде люди разного склада не находятся в такой постоянной и раздражающей близости, как в плавании на большом военном корабле с полностью укомплектованной командой. Там, что ни день, каждый человек, независимо от его чина, почти обязательно приходит в соприкосновение чуть ли не со всеми остальными. И избежать лицезрения того, кто вызывает неприязнь, там невозможно, если только не выбросить его за борт, как пророка Иону, или не прыгнуть в море самому. А теперь спро-

сите себя, каким может быть воздействие всех этих обстоятельств на человека, чья натура в любом своем проявлении прямо противоположна натуре святого?

Но этих отрывочных намеков далеко не достаточно для того, чтобы обыкновенный человек сумел понять Клэггерта. Ведь чтобы перейти от обыкновенного человека к Клэггерту, необходимо пересечь «их разделяющее смертоносное пространство», а для этого лучше всего выбрать косвенный путь.

В давние времена некий прямодушный ученый, много старше меня годами, сказал мне про нашего общего знакомого (которого, как и его самого, ныне уже нет среди живых), человека столь безупречной репутации, что лишь немногие решались усомниться в ней, и то лишь шепотом: «Да, NN — орешек, который дамским веером не расколешь. Вам известно, что я не исповедую ни одной из упорядоченных религий и тем более чуждаюсь философий, преобразованных в систему. И все же я считаю, что попытаться проникнуть в душу NN, вступить в ее лабиринт и выбраться наружу, руководствуясь при этом лишь той путеводной нитью, которая зовется “знанием света”, не под силу никому, и уж во

всяком случае не мне». — «Однако, — возразил я, — ведь NN, каким бы загадочным он ни казался некоторым, все-таки человек, а знание света безусловно подразумевает знание человеческой натуры в большинстве ее разновидностей». — «О да. Но знание поверхностное, пригодное для простых житейских целей. Однако если подойти к вопросу глубже, то, на мой взгляд, знание света вовсе не означает знания человеческой натуры, и наоборот. Хотя в одном сердце они могут присутствовать оба, но в другом какое-то из них может быть очень слабым или отсутствовать вовсе. Более того: у обычного человека, постоянно соприкасающегося со светом, от этого соприкосновения притупляется то духовное зрение, без которого нельзя проникнуть в сущность редких характеров, как благородных, так и низких. Я был однажды свидетелем того, как юная девица в некоем довольно важном деле обвела вокруг пальца опытнейшего стряпчего. И объяснялось это отнюдь не его дряхлостью или старческой влюбленностью. Ничего подобного. Просто он разбирался в законах лучше, чем в секретах ее сердца. Кок и Блэкстон проливают на темные закоулки души куда меньше света, чем библейские пророки. А кем были те? Чаще всего отшельни-

ками».

В то время я был еще достаточно наивен и не сумел понять, к чему он клонит. Но теперь, пожалуй, я понимаю. Будь лексика, опирающаяся на Священное писание, по-прежнему во всеобщем употреблении, нам было бы легче находить определения некоторым исключительным характерам и разбираться в них. Но при нынешнем положении вещей приходится искать авторитеты, заведомо свободные от обвинения в приверженности к Библии.

Список определений, которые включаются в труды Платона как предположительно принадлежащие этому философу, содержит и следующее утверждение: «Природная безнравственность — безнравственность от природы». Определение, которое, хотя и отдает кальвинизмом, в отличие от догмы Кальвина вовсе не относится к человечеству в целом. Совершенно очевидно, что по самой своей сути оно приложимо лишь к отдельным личностям. В тюрьмах, а также на виселицах можно найти не так уж много примеров этой безнравственности. Во всяком случае, наиболее яркие ее воплощения мы вынуждены искать не там, ибо подобным людям чужда низкая примесь зверя и властвует над ними один рассудок. Без-

нравственности такого рода благоприятствует цивилизованность, особенно аскетического толка. Эта безнравственность драпируется в мантию благопристойности. Она обладает кое-какими негативными достоинствами, которые служат ей безмолвными пособниками. Можно даже сказать, что она чужда пороков и мелких грешков, ибо ей присуща непомерная гордыня, не снисходящая до корыстолюбия и жадности. Короче говоря, в безнравственности, о которой идет здесь речь, нет ничего грязного или чувственного. Она опасна, но свободна от мелочности. И, не льстя роду человеческому, она никогда не говорит о нем дурно.

И в наиболее полных ее воплощениях вот какая черта отличает характеры столь редкие: хотя ровное и сдержанное поведение подобного человека, казалось бы, свидетельствует о натуре, более других послушной законам разума, на самом деле в тайных глубинах души он вовсе не признает их власти и видит в разуме лишь коварное орудие для достижения иррационального. Другими словами, стремясь к осуществлению цели, которая по бессмысленной злобности кажется порождением безумия, такой человек подчиняет свои действия холодным велениям здравого рассудка.

Эти люди — подлинные безумцы, причем наиболее опасные, так как их сумасшествие проявляется не постоянно, но лишь от случая к случаю, при столкновении с чем-то, что их раздражает. Оно столь надежно укрыто, что в самых бурных своих проявлениях остается для умов обыкновенных неотличимым от здравомыслия: ведь по указанной выше причине, какова бы ни была их цель, она никогда не становится явной, а способ ее достижения и все внешние действия всегда выглядят вполне разумными.

Вот таким человеком и был Клэггерт; в нем таилась маниакальная злоба, отнюдь не привитая ему дурным воспитанием, развращающими книгами или распутной жизнью, но врожденная, присущая самой его натуре — короче говоря, «безнравственность от природы».

Не это ли явление, непризнанное и отвергнутое, ставит в тупик суд при рассмотрении некоторых уголовных преступлений? Не по этой ли причине нашим присяжным иной раз приходится выслушивать не только бесконечные аргументы высокооплачиваемых адвокатов, но и куда более непонятные споры медицинских экспертов, оплачиваемых не менее высоко? Но почему ограничиваться лишь ими? Почему они

вступают в особое общение со множеством людей в такие минуты, когда те забывают о скрытности и разговаривают более доверительно, чем больные с врачом. Вот почему священники должны быть осведомлены во всех сложностях и тонкостях вопроса о моральной ответственности — например, было ли данное преступление следствием мозгового бешенства или безумия сердца. Что до споров, которые могут возникнуть в суде между этими духовными экспертами, то вряд ли в них будет больше противоречий, чем в доводах, на которые ссылаются медицинские эксперты, получающие за это гонорар.

«Темные рассуждения!» — возможно, скажут некоторые. Но почему? А потому, что в них слышится отзвук «тайн неправедности», о которых говорится в Священном писании.

Глава эта потребовалась потому, что причины описываемых событий кроются в истинной натуре каптенармуса, в ее тайных глубинах. Еще два-три пояснения по поводу происшествия с пролитой похлебкой, и пусть дальнейший рассказ сам послужит доказательством своей достоверности.

XI

Зависть, ярый гнев, отчаяние.

Уже говорилось, что Клэггерт был недурно сложен и благообразен лицом, которое портил лишь подбородок. По-видимому, сам он был довольно высокого мнения о своей внешности и одевался не просто аккуратно, а даже щеголевато. Но Билли Бадд был вылеплен по образцу античных героев, и если его лицо, в отличие от бледных черт Клэггерта, не было помечено печатью мысли, оно, как и лицо Клэггерта, озарялось изнутри, хотя источник тут был иной. Веселый огонь, пылавший в его сердце, просвечивал в розовом румянце под золотистым загаром на его щеках.

Такое различие в их внешности заставляет предположить, что каптенармус, употребив во время вышеописанной сцены поговорку «Не по хорошему мил, а по милу хорош», не удержался от иронии, которая осталась непонятной молодому матросу, и тем в какой-то мере выдал, что, собственно, так сильно восстановило его против Билли. Причина заключалась в редкостной красоте фор-марсового.

А ведь зависть и антипатия — страсти, если рассуждать здраво, словно бы несовместимые — тем не менее нередко рождаются неразрывно соединенными, как Чанг и Энг, знаменитые сиамские близнецы. Но зависть — такое ли уж это чудовище? Вспомним, однако, что немало людей, представавших перед судом, в чаянии смягчения кары признавали себя виновными в самых ужасных преступлениях, но кто и когда в подобных обстоятельствах хоть раз сослался на зависть? Все словно соглашаются, что это чувство куда постыднее даже тягчайшего преступления. И не только всякий спешит отречься от него, но иные добрые души просто отказываются верить, что умный человек вообще способен поддаться зависти. Однако зависть гнездится в сердце, а не в мозгу, а потому никакой ум не может послужить от нее защитой. Но у Клэггерта она не приняла обычной пошлой формы. Не сквозила в его зависти к Билли Бадду и та опасливая ревность, которая искажала лицо Саула, когда он угрюмо и подозрительно размышлял о юном миловидном Давиде. Зависть Клэггерта гнездилась глубже. Красота, здоровье и бодрая жизнерадостность Билли Бадда были ему неприятны потому лишь, что сопутствовали натуре простодушной и чистой, которая, как маг-

нетически ощущал Клэггерт, чуждалась низкой злобы и никогда не испытывала коварных укусов этой змеи. В его глазах Красавцем Матросом делал Билли именно дух, который обитал в нем, выглядывая, как из окон, из его лазурных глаз — то несказанное нечто, которое ямочками играло на его щеках, придавало особую гибкость его членам и переливалось в золоте его кудрей. На борту «Неустрашимого», пожалуй, только каптенармус, за одним лишь исключением, обладал умом, способным оценить, какой нравственный феномен являл собой Билли Бадд, но это только усугубляло его черную зависть, которая принимала в тайниках его сердца самые разные формы, иной раз оборачиваясь циничным презрением — презрением к невинности духа. «Простодушный дурак, и ничего больше!» — убеждал он себя. И все же он отвлеченно ощущал все обаяние этого духа, его мужественную и веселую безмятежность, он был бы рад приобщиться ему — и отчаивался.

Бессильный уничтожить в себе природное зло, хотя он и умел хорошо его скрывать, постигая добро, но не имея сил прийти к нему, в чем мог Клэггерт обрести выход? Его натура, заряженная энергией, как все ей подобные, была способна лишь обратиться на самое себя и, подобно скор-

пиону, которого творец создал так, а не иначе, сыграть до конца назначенную ей роль.

Страсть, необоримая страсть вовсе не требует для себя пышных подмостков. В самых низах, среди нищих и тех, кто роется в мусоре, бушуют неистовые страсти. И повод для такой вспышки, пусть самый ничтожный и заурядный, не может быть ее мерилом. В нашем случае сценой служит надраенная батарейная палуба, а внешним поводом — похлебка, выплеснувшаяся из матросской миски.

Так вот, когда каптенармус обнаружил, откуда взялась растекающаяся перед ним жирная лужа, он, очевидно, решил (или, вернее, прямо внушил себе), что произошло это отнюдь не случайно, но что Билли исподтишка дал волю такой же антипатии, какая снедала его самого, — хотя на самом деле ничего подобного, безусловно, не было. Разумеется, он счел это глупейшей выходкой, совершенно безобидной, как удар копытца резвящегося теленка, который, впрочем, оказался бы далеко не безобидным, будь на месте теленка подкованный жеребец. Другими словами, Клэггерт лишь добавил в желчь своей зависти еще и жгучую кислоту презрения. Но одновременно в этом происшествии он увидел подтверждение

тому, о чем ему на ухо докладывал Крыса — один из самых хитрых его капралов, седой и щуплый человечек, получивший от матросов это насмешливое прозвище потому, что пискливый голос, остренькая физиономия и манера рыскать по самым темным закоулкам нижних палуб в поисках нарушителей дисциплины, по их мнению, делали его точь-в-точь похожим на крысу в погребе.

Именно с помощью этого послушного орудия каптенармус и подстраивал нашему фор-марсовому мелкие неприятности, упоминавшиеся выше, и угодливый капрал, естественно заключив, что его начальник не питает особой любви к этому матросу, принялся подливать масла в огонь, злонамеренно толкуя некоторые невинные проделки веселого фор-марсового и сочиняя всякие ругательные эпитеты, на которые тот якобы не скупился. Каптенармус принимал все это за чистую монету — и особенно эпитеты, ибо прекрасно знал, какую тайную неприязнь может вызвать каптенармус (во всяком случае, каптенармус тех времен, ревностно исполняющий свои обязанности) и как поносят и высмеивают его между собой матросы: самое его прозвище (Тощий Франт) скрывало под шутливой формой их неуважение и враждебность.

Ненависть всегда жадно выискивает предлоги, чтобы еще более ожесточиться, а потому Клэггерт обошелся бы и без нашептываний капрала. Утонченной безнравственности обычно сопутствует сугубая осмотрительность, так как она боится выдать себя. А потому, когда речь идет всего лишь о воображаемой обиде, это стремление затаиться не позволяет узнать правду или избежать недоразумения. Такой человек начинает рьяно действовать, опираясь на собственные умозаключения, как на неопровержимые факты. И подобное мщение чаще всего чудовищно не соответствует предполагаемому оскорблению: ибо когда же месть в своих требованиях не превосходила самого свирепого ростовщика? Ну, а совесть Клэггерта? Ведь совесть есть у каждого мыслящего существа, не исключая бесов в Писании, которые «верили и трепетали». Но совесть Клэггерта, прислужница его воли, раздувала пустяки в преступления и, вероятно, как ловкий законник, доказывала, что побуждение, предположительно толкнувшее Билли пролить похлебку тогда, когда он ее пролил, в совокупности с вышеупомянутыми эпитетами уже само по себе является достаточным свидетельством его виновности и оправдывает неприязнь к нему,

преображая ее в праведное воздаяние. Фарисей, подобно Гаю Фоксу, рыщет по тайным подземельям натур, подобных Клэггерту. И натуры эти не способны представить себе, что злоба вовсе не обязательно порождает ответную злобу. Быть может, каптенармус начал исподтишка травить Билли, рассчитывая довести его до белого каления, но все его усилия оставались тщетными: в поведении фор-марсового по-прежнему не было ничего, что позволило бы прибегнуть к официальным мерам или хотя бы оправдало вражду к нему. Вот почему случай с похлебкой, сам по себе ничтожный пустяк, был весьма приятен для того своеобразного чувства, которое заменяло Клэггерту совесть и, вероятно, подтолкнуло его на дальнейшие попытки.

XII

Не прошло и нескольких дней, как новый странный случай поверг Билли Бадда в недоумение, какого ему еще не доводилось испытывать.

Ночь выдалась жаркая даже для этих широт, и наш фор-марсовый, сменившийся с вахты, дремал на верхней палубе, куда он забрался, покинув койку, которая словно обжигала тело — одну из сотен коек, так тесно подвешенных на нижней батарейной палубе, что они даже не покачивались. Билли лежал словно в тени пригорка, растянувшись у штабеля запасных реев, возле самой большой корабельной шлюпки, которая носит название «катер». Рядом спали еще трое беглецов с нижней палубы. Билли устроился с краю, у того конца штабеля, который был ближе к фок-мачте. Поскольку во время вахты его место на вантах было прямо над местом бакового матроса на палубе, то по корабельному обычаю он имел право находиться тут в свободные часы.

Неожиданно он пробудился, потому что кто-то тронул его за плечо, по-видимому, предварительно проверив, крепко ли спят его соседи. Едва он приподнял голову, как у него над ухом раздался

быстрый шепот:

— Спустись-ка на левый носовой руслень, Билли. Есть дело. Смотри, ни звука. И побыстрей. Я буду тебя там ждать.

Голос смолк, и говоривший исчез.

Билли, подобно многим добрым людям, обладал слабостями, часто свойственными доброте. Так, он не умел, прямо-таки не мог ответить «нет» на внезапную просьбу, если только она не производила впечатление нелепой, не была продиктована недоброжелательством и не содержала в себе ничего явно нечестного или противозаконного. Его живой и бойкой натуре была чужда флегматичность, отвечающая на просьбу равнодушным бездействием. И он не был скор на подозрительные опасения — как и страх, они просыпались в нем нелегко. К тому же в эту минуту мысли его все еще были затуманены сном.

Во всяком случае, он послушно встал и, сонно прикидывая, что это может быть за дело, спустился на указанный руслень — одну из шести узких площадок, расположенных с наружной стороны высоких бульварков и скрытых от взгляда громоздкими юферсами, высокими талрепами и бакштагами. Размеры их на огромных военных

кораблях этой эпохи были пропорциональны мощному корпусу. Короче говоря, они представляли собой висящие над морем просмоленные балкончики, настолько укромные, что на «Неустрашимом» старый матрос-сектант даже устроил себе на руслене собственную маленькую молельню.

Едва Билли забрался туда, как незнакомец присоединился к нему. Луна еще не взошла, звездный свет терялся в туманной дымке, и Билли не мог рассмотреть его лица. Однако что-то в очертаниях фигуры незнакомца, в его манере держаться подсказало ему, что перед ним ютовый, — и, как выяснилось в дальнейшем, он не ошибся.

— Тсс, Билли! — произнес тот все тем же быстрым настороженным шепотом. — Тебя ведь завербовали насильно? Ну, так и меня тоже. — Тут он умолк, словно проверяя, какое впечатление произвели его слова.

Но Билли, не понимая, к чему он клонит, попросту ничего не ответил.

— Мы же тут, Билли, не одни такие, — продолжал неизвестный. — Нас много. Так ты бы… не помог… в случае чего?

— Ты это про что? — сердито спросил Билли, наконец стряхнув с себя дремоту.

— Тсс, тсс! — Торопливый шепот сделался сиплым. — Вот посмотри! — И незнакомец протянул ему два маленьких кружка, тускло блеснувших в ночной мгле. — Это тебе, Билли, если только ты…

Но Билли перебил его. Он был охвачен негодованием и, торопясь скорее высказать его, по обыкновению начал заикаться.

— Ч-ч-черт, я не знаю, к-к-куда ты клонишь и з-з-за-чем все это говоришь, т-т-только проваливай отсюда, да п-п-поскорей!

Но тот словно окаменел, и Билли, вскочив на ноги, крикнул:

— П-п-поживей, не то п-п-полетишь у меня к-к-ку-вырком!

Было ясно, что он не замедлит привести свою угрозу в исполнение, и таинственный эмиссар поспешно шмыгнул в тень снастей и исчез где-то в направлении грот-мачты.

— Э-э-эй! Что тут еще такое? — рявкнул один из баковых, разбуженный криком.

Билли перелез через борт, и матрос его узнал.

— А, Красавчик, это ты? Видно, что-то случилось, раз ты з-з-заикаешься.

— Да я наткнулся тут у нас на ютового, — ответил Билли, уже справившийся со своим заикани-

ем. — Ну и отправил его туда, откуда он пришел.

— Только и всего, фор-марсовый? — проворчал второй баковый, пожилой матрос, которого товарищи за раздражительный характер, багровую физиономию и рыжие волосы прозвали Красным Перцем. — Я бы такого пролазу оженил на дочке пушкаря.

Это выражение означало, что он с удовольствием подверг бы такого пролазу наказанию плетьми, положив его на пушечный ствол.

Тем не менее объяснение Билли вполне их удовлетворило, так как баковые — по большей части ветераны, закосневшие в морских предрассудках, — весьма ревниво относятся к покушениям на свои территориальные права, особенно со стороны ютовых, потому что ставят их чрезвычайно низко, как сухопутных крыс, которые только и умеют, что убрать грот или взять на нем рифы, и на мачте выше первого рея не бывали, а о том, чтобы свайкой орудовать или, скажем, с юферсом управиться, так и говорить нечего.

XIII

Это происшествие ввергло Билли Бадда в тягчайшее недоумение. Ничего подобного с ним прежде не случалось. Никогда еще никто не пробовал подговаривать его тайком на какие-то темные делишки. И ведь этого ютового он вовсе не знал: слишком уж далеко друг от друга располагались их посты — один нес вахту на носу высоко над палубой, второй стоял на палубе у самой кормы.

Что же это означало? И неужели те две блестящие штучки, которые чужак поднес к его (Билли) глазам, и вправду были золотые гинеи? Откуда они у него? Ведь в море даже лишняя пуговица, и та редкость. Чем больше Билли ломал голову над этим случаем, тем больше он терялся, и в нем нарастало неясное беспокойство. В том, как он с омерзением отмахнулся от этих гиней, хотя толком не понял, чего от него хотят, и лишь инстинктивно почувствовал, что дело нечисто, его можно уподобить молодому необъезженному жеребчику, который впервые в жизни глотнул дыма химической фабрики и долго фыркает, чтобы очистить от него свои ноздри и легкие. У нашего

фор-марсового не было ни малейшего желания возобновлять разговор с незнакомцем — пусть даже для того лишь, чтобы узнать, зачем тот к нему приходил. И в то же время он не прочь был бы поглядеть, как его ночной гость выглядит при свете дня, — любопытство вполне естественное.

Он высмотрел его на следующий день среди курильщиков, собравшихся в носовой части верхней батарейной палубы, где было отведено место для любителей трубочки. Узнал он его по фигуре и телосложению, а не по круглому весноватому лицу и выпуклым молочно-голубым глазам под белесыми ресницами. И все же Билли испытывал некоторые сомнения: неужто это и вправду он — вон тот парень, его ровесник, который весело болтает и смеется, небрежно прислонившись к пушке? С лица вроде бы приятный, и сразу видно, что без царя в голове. Вот разве что толстоват для матроса, пусть даже ютового. Короче говоря, малый из тех, кого никак не заподозришь в склонности долго вынашивать мысли, а тем более — крамольные, опасные мысли, без чего не может обойтись ни один настоящий заговорщик или даже его подручный.

Хотя Билли этого и не подозревал, ютовый, исподтишка настороженно косившийся по сто-

ронам, заметил его первым и теперь, перехватив его взгляд, весело кивнул ему, точно старому знакомому, а сам продолжал болтать с приятелями. Два дня спустя, проходя вечером мимо Билли во время прогулки по батарейной палубе, ютовый дружески с ним поздоровался. От неожиданности Билли оторопел, а вспомнив сомнительные обстоятельства их знакомства, вовсе смутился и предпочел промолчать и сделать вид, будто ничего не заметил.

Теперь Билли пребывал уже в полной растерянности. Бесплодные размышления были ему чужды и тягостны, а потому он старательно отмахивался от всяких непрошеных мыслей. При этом ему даже в голову не пришло, что по долгу службы он обязан был бы сообщить начальству о столь сомнительном происшествии. Впрочем, даже посоветуй ему кто-нибудь это сделать, его от такого шага, вероятнее всего, удержало бы простодушное опасение оказаться в гнусной роли доносчика. Как бы то ни было, Билли предпочел помалкивать. Правда, один раз он не удержался и все-таки заговорил об этом со стариком датчанином — быть может, под разнеживающим воздействием ласковой южной ночи. Был полный штиль, и они сидели рядом на палубе,

привалившись к борту. Долгое время оба хранили молчание, а потом Билли начал рассказывать старику о том, что с ним случилось. Но рассказал он далеко не все и опустил многие важные подробности — та излишняя щепетильность, о которой говорилось выше, мешала ему быть откровенным до конца. Однако проницательный старый мудрец, по-видимому, о многом догадался сам. Он погрузился в размышления, и морщины на его лице сошлись так, что оно вовсе утратило обычную насмешливую мину. Потом он сказал:

— Разве ж я тебя не предупреждал, Детка Бадд?

— О чем? — с недоумением спросил Билли.

— А о том, что Тощий Франт на тебя взъелся.

— Да при чем тут Тощий Франт? — изумленно осведомился Билли. — Я думаю, этот ютовый просто свихнулся!

— Хо-хо! Так, значит, это был ютовый… Кошкин хвост, кошкин хвост!

Издав это загадочное восклицание, то ли относящееся к узкой облачной полоске между звезд, то ли содержащее тонкий намек на роль ютового, старый Мерлин впился черными зубами в толстую табачную плитку, отломил кусок жвачки и умолк. Он всегда погружался в молчание, если его многозначительные высказывания встречались

скептическим недоверием, хотя им в полной мере были присущи неясность и двусмысленность, вообще свойственные изречениям любого оракула.

XIV

Весьма возможно, что долгий и горький опыт научил старика той ожесточенной осторожности, которая запрещает вмешиваться во что бы то ни было или давать советы.

Несмотря на упорные намеки датчанина, что конечной причиной странных неприятностей, с которыми Билли столкнулся на борту «Неустрашимого», был не кто иной, как каптенармус, сам молодой матрос скорее был готов подумать на кого угодно, но только не на человека, у которого, по собственному выражению Билли, «всегда находилось для него ласковое слово». Как удивительно! А впрочем, так ли уж и удивительно? Некоторые матросы и в зрелые годы во многих отношениях сохраняют безыскусственную наивность. А уж молодой матрос с характером нашего богатыря фор-марсового — и вовсе большой ребенок. Но детская невинность ведь не более чем оборотная сторона полной умственной неосведомленности, и по мере того, как развивается ум, невинность эта постепенно сходит на нет.

Однако, если говорить о Билли Бадде, развитие ума, каков бы этот ум ни был, не нанесло почти

никакого ущерба его простодушию. Опыт, бесспорно, великий наставник, но Билли был еще слишком юн, чтобы успеть набраться опыта. Не обладал он и той интуитивной способностью распознавать зло, которая у натур дурных или недостаточно хороших предшествует опыту, а потому может быть присуща — а в иных случаях и явно присуща — даже юности.

Да и самые представления Билли о людях, в сущности, сводились к его представлению о матросах. Матрос старой школы, буквально выросший на палубе и с отрочества не знавший ничего, кроме моря, хотя и принадлежит к тому же виду, что и обитатель суши, тем не менее в некоторых отношениях разительно от него отличается. Моряк весь как на ладони, обитатель суши скрытен и уклончив. И жизнь для матроса — это вовсе не игра, требующая хитрости и смекалки, не сложная шахматная партия, в которой редкий ход делается без задней мысли, а цель достигается с помощью долгих коварных маневров, не запутанная и томительная бесплодная игра, которая не стоит жалкой свечи, сгорающей, чтобы она могла быть сыграна.

Да, в целом матросы по своему характеру — юное племя. Даже в их пороках и проступках есть

что-то детское. И тем более справедливо это в отношении матросов той эпохи, когда жил Билли. Кроме того, определенные черты, общие для всех матросов, сильнее проявляются у молодых. И наконец, каждый матрос приучен выполнять приказы, не обсуждая их. В море его жизнь подчинена строгому распорядку, и он не волен над ней даже в мелочах. Он не вступает в то тесное и свободное общение с другими людьми на равных началах (во всяком случае, равных внешне), которое очень скоро научило бы его, что только бдительность, прямо пропорциональная видимой честности и порядочности тех, с кем он имеет дело, может оградить его от беды. Привычная сдержанная недоверчивость настолько присуща не только дельцам, но и вообще людям, хорошо изучившим своих ближних в сфере отношений куда более широкой, чем чисто деловые, — то есть так называемым бывалым людям, — что они попросту перестают ее за собой замечать. Некоторые из них, возможно, искренне удивились бы, услышав, что именно эта черта составляет чуть ли не основу их характера.

XV

Однако после пустячного происшествия с похлебкой у Билли Бадда перестали случаться непонятные недоразумения из-за койки, сумки с одеждой и прочего. А вот улыбка, порой ему сиявшая, и ласковые слова, брошенные мимоходом, сделались, пожалуй, еще более приветливыми.

Но вместе с тем теперь можно было бы заметить и кое-что другое. Если взгляд Клэггерта неприметно останавливался на Билли, который во время второй полувахты прогуливался по верхней батарейной палубе, обмениваясь залпами веселых шуток с другими молодыми матросами, взгляд этот провожал веселого морского Гипериона задумчиво и печально, а на глаза каптенармуса навертывались странные жгучие слезы. В такие минуты казалось, что Клэггерта томит глубокое горе. А иногда к этой грусти примешивалась тоскливая нежность, словно Клэггерт мог бы даже полюбить Билли, если бы не роковой запрет судьбы. Но выражение это было мимолетным, и его как бы со стыдом тотчас сменял взгляд, полный такой неумолимости, что все лицо каптенармуса вдруг испещрялось бороздами, точно

грецкий орех. Порой, заметив издали, что навстречу ему идет наш фор-марсовый, Клэггерт, когда они сближались, чуть-чуть отступал в сторону и пропускал Билли мимо себя, сверкая на него всеми зубами в притворной улыбке. Но если они встречались неожиданно, в глазах каптенармуса вспыхивали красные огоньки, точно искры под молотом в сумрачной кузнице. Эти краткие яростные молнии производили особенно странное впечатление потому, что их метали глаза, цвет которых в минуты покоя бывал почти фиалковым самого нежного оттенка.

Билли, конечно, иногда замечал эти адские вспышки, но по самой своей натуре не способен был правильно их истолковать. Ум его едва ли достигал той степени тонкой духовной чуткости, благодаря которой самый простодушный человек подчас инстинктивно угадывает близость зла. А потому Билли просто считал, что на каптенармуса иногда что-то находит. Только и всего. Но приятную улыбку и приветливые слова молодой матрос принимал за чистую монету — ему еще не доводилось слышать поговорки «На языке мед, а под языком лед».

Разумеется, знай наш фор-марсовый за собой какие-нибудь поступки или слова, которые мог-

ли навлечь на него гнев каптенармуса, пелена спала бы с его глаз, даже если бы зрение его и не сделалось острее.

Оставался он слеп и еще к одному обстоятельству. Два унтер-офицера — оружейный мастер и баталер, с которыми он ни разу даже словом не обмолвился, так как по своим обязанностям фор-марсовые вообще с ними не соприкасались, — теперь при случайных встречах начали смотреть на него с неодобрением, неопровержимо свидетельствующим, что смотрящий кем-то настроен против того, кому адресован его взгляд. Но Билли не придал этому ни малейшего значения и ничего не заподозрил, хотя отлично знал, что оружейный мастер и баталер, а также писарь и фельдшер, по морскому обычаю, едят за одним столом с каптенармусом, а потому могли многого от него наслушаться.

Наш Красавец Матрос снискал себе общие симпатии мужественным прямодушием и веселой благожелательностью, лишенной даже следа того умственного превосходства, которое способно возбудить завистливые чувства, и доброе расположение почти всех, с кем ему приходилось иметь дело, заслоняло от него безмолвную враждебность, подобную той, о которой только

что говорилось.

Да и ютовый, хотя по причинам, перечисленным выше, встречались они очень редко, всякий раз дружески кивал Билли, а то и говорил мимоходом что-нибудь приятное. Такая его манера как будто ясно показывала, что, каковы бы ни были первоначальные намерения этого ловкого малого (или намерения тех, чьим эмиссаром он мог быть), теперь он совершенно от них отказался.

Плутоватая самонадеянность (а мелкие негодяи всегда самонадеянны) на сей раз его обманула: простак, которого он рассчитывал с легкостью обвести вокруг пальца, взял над ним верх именно благодаря своей простоте.

Проницательные читатели могут счесть неправдоподобным, что Билли не подошел к ютовому и не потребовал от него объяснения, с какой, собственно, целью он заманил его на руслень, откуда затем убрался с такой поспешностью. Проницательные читатели, кроме того, пожалуй, полагают, что для Билли было бы естественно потолковать кое с кем из насильственно завербованных и проверить, была ли доля истины в темных намеках его ночного собеседника на их недовольство. Пусть проницательные читатели думают, что им хочется. Но чтобы понять харак-

тер, подобный характеру Билли Бадда, требуется, пожалуй, нечто большее, а вернее, нечто совсем иное, нежели простая проницательность.

Что касается Клэггерта, то мания (если это была мания), которая порой сквозила в его манерах и взглядах, чаще всего надежно маскировалась его сдержанным и разумным поведением. Но, подобно подземному огню, она все больше и больше пожирала его изнутри. Долго это продолжаться не могло.

XVI

После загадочного разговора на руслене — разговора, который Билли оборвал столь резко, — некоторое время не происходило ничего, что имело бы прямое отношение к нашей истории, пока не начались события, о которых пойдет речь теперь.

Где-то раньше уже упоминалось, что в то время английская эскадра, действовавшая у Гибралтара, не располагала фрегатами (бесспорно, более быстроходными, чем линейные корабли), а потому семидесятичетырехпушечный «Неустрашимый» использовался не только для разведки, но подчас и откомандировывался для выполнения более важных поручений. Такой выбор объяснялся не одними лишь его ходовыми качествами, хотя они и были выше, чем у других кораблей того же класса, но в основном характером его капитана: он считался человеком особенно подходящим для выполнения миссий, сопряженных с неожиданностями, которые могли внезапно потребовать самостоятельных решений, а также знаний и способностей помимо тех, что необходимы просто хорошему моряку. И вот когда «Неустрашимый»,

выполняя поручение как раз такого рода, находился на наиболее удаленном расстоянии от своей эскадры, дозорный в конце дневной вахты доложил, что на горизонте виден вражеский корабль. Это был фрегат, и его капитан, рассмотрев в подзорную трубу, что преимущество и в людях, и в вооружении в случае боя окажется на стороне английского корабля, решил воспользоваться своей быстроходностью для бегства и приказал поставить все паруса. «Неустрашимый» бросился в почти безнадежную погоню, которая длилась до самой середины первой полувахты, когда фрегату наконец удалось уйти.

Вскоре после того, как «Неустрашимый» отказался от погони, когда еще не улеглось вызванное ею возбуждение, каптенармус поднялся из порученных его надзору темных недр корабля, направился к грот-мачте и остановился там со шляпой в руке, ожидая, пока его заметит капитан Вир, который в одиночестве прохаживался по квартердеку вдоль правого борта, без сомнения, несколько раздраженный недавней неудачей. На то место, где стоял Клэггерт, нижние чины приходили, когда им требовалось по какому-нибудь особенному делу обратиться к вахтенному офицеру или к самому капитану. Впрочем, обращаться

к последнему в ту эпоху хватало духа редко у какого матроса или унтер-офицера: такую дерзость могло оправдать лишь нечто действительно из ряда вон выходящее.

Несколько минут спустя капитан, собираясь в задумчивости повернуться, чтобы вновь направиться к корме, вдруг заметил Клэггерта и увидел, что тот прижимает к груди шляпу, смиренно, но упрямо ожидая, когда на него обратят внимание. Надо сказать, что капитан Вир лично почти не знал этого унтер-офицера, так как Клэггерт появился на борту перед самым их выходом в море — его прежнему кораблю предстояла долгая починка, и он был переведен на «Неустрашимый», каптенармус которого получил серьезные увечья и был списан на берег.

Едва капитан увидел, кто столь почтительно ждет у грот-мачты, как на его лице появилось странное выражение. Такую невольную гримасу делает тот, кто нежданно встречает человека, которого хотя и знает, но не настолько долго и хорошо, чтобы узнать по-настоящему, и вдруг теперь впервые замечает в его облике что-то отталкивающее. Тем не менее он остановился, принял свой обычный сдержанный вид и спросил:

— Ну, в чем дело, каптенармус?

Голос его и тон тоже были обычными, однако в первом слове проскользнуло что-то похожее на неудовольствие.

Клэггерт, услышав это приглашение, а вернее, приказ изложить свое дело, заговорил с видом подчиненного, который удручен тем, что ему приходится быть вестником несчастья, но собирается ничего не утаивать, хотя и избегая при этом преувеличений. Не приводя его собственных слов, свидетельствовавших, между прочим, что их произносит человек не без образования, передадим лишь общий смысл сказанного им. Сообщил же он следующее: во время погони и приготовлений к возможному бою у него был случай убедиться, что среди матросов есть по меньшей мере один смутьян, представляющий особую опасность для корабля, насчитывающего в своем экипаже не только тех, кто был причастен к недавним бунтам, но и тех, кто — подобно матросу, о котором идет речь, — не поступил во флот добровольно, а был взят на службу его величества иным способом.

Тут капитан Вир с некоторым раздражением перебил его:

— Говори прямо, любезный, — те, кто был за-

вербован насильно.

Клэггерт угодливо поклонился и продолжал. В последнее время он (Клэггерт) начал подозревать, что вышеупомянутый матрос исподтишка разжигает недовольство, но не считал себя вправе докладывать об этом, пока не сумеет выяснить чего-либо более определенного. Однако нынче, наблюдая за указанным матросом, он успел заметить достаточно много, и его подозрения сменились почти твердой уверенностью, что на корабле что-то втайне готовится. Ему ясна, добавил Клэггерт, вся мера ответственности, которую он берет на себя ввиду последствий, каковые его доклад может повлечь для главного виновника, не говоря уж об усугублении естественной тревоги, какой не может не испытывать капитан всякого военного корабля ввиду неслыханных событий, случившихся столь недавно, как те, которые нет нужды называть, о чем он упоминает лишь с глубоким прискорбием.

В начале этой речи капитан Вир, захваченный врасплох, не сумел полностью скрыть свое беспокойство, но затем на его лице появилось досадливое выражение, словно ему не нравилось что-то в манере, с какой она произносилась. Тем не менее он слушал, не прерывая. Однако затем

Клэггерт добавил:

— Упаси бог, ваша честь, чтобы на «Неустрашимом» произошло то же, что на…

— Довольно! — перебил капитан, и лицо его вспыхнуло гневом, ибо он понял, что каптенармус намеревался назвать корабль, на котором во время мятежа в Норе события приняли особенно трагический оборот и чуть было не стоили жизни его командиру. Такой намек в подобных обстоятельствах возмутил его. Офицеры «Неустрашимого» упоминали о недавних волнениях во флоте с большой осторожностью и деликатностью, а тут унтер-офицер без всякой необходимости вдруг дерзко и развязно заговаривает о них в присутствии своего капитана! Его чувство собственного достоинства было столь щепетильно, что в этих словах ему даже почудилась попытка его испугать. Кроме того, он был несколько удивлен, что каптенармус, который до сих пор, насколько ему было известно, выполнял свои обязанности с большим тактом, сейчас словно бы вовсе лишился этого такта.

Однако на смену этим и другим недоумениям внезапно пришла интуитивная догадка, которая хотя и не успела приобрести четкости, тем не менее в значительной мере определила его

отношение к столь дурным новостям. Во всяком случае, ясно одно: капитан Вир, превосходно осведомленный о всех тонкостях сложной жизни батарейных палуб, таившей, подобно жизни в любых других сферах, свои ловушки и темные стороны, о которых вслух не говорилось, не испытал чрезмерной тревоги, да и общий тон доклада его подчиненного не внушил ему особых опасений. Разумеется, ввиду недавних событий первые же явные признаки нарушения дисциплины требовали принятия немедленных мер, и все же, по его мнению, не следовало торопиться с заключением, будто скрытое недовольство действительно все еще тлеет подспудно, и придавать веру сообщениям доносчика — пусть даже его собственного подчиненного, в обязанности которого, среди прочего, входило и полицейское наблюдение за командой. Возможно, он не так легко поддался бы этой мысли, если бы ранее уже не было случая, когда патриотическое рвение Клэггерта показалось ему излишне пылким и нарочитым и вызвало у него досадливое раздражение. К тому же самая манера, уверенная, почти хвастливая, с какой каптенармус излагал свои соображения, почему-то привела ему на память некоего музыканта, лжесвидетельствовавшего

перед военным судом, членом которого был и он, капитан Вир, тогда еще лейтенант. Дело это разбиралось на суше, и обвиняемому грозила смертная казнь.

И вот, властно оборвав Клэггерта, когда тот хотел было позволить себе неуместный намек, он тотчас задал ему следующий вопрос:

— Ты сказал, что на борту есть по меньшей мере один опасный человек. Назови его!

— Уильям Бадд, фор-марсовый, ваша честь.

— Уильям Бадд! — повторил капитан с непритворным изумлением. — Тот матрос, которого лейтенант Рэтклифф не так давно забрал с торгового судна? Молодой человек, который успел стать любимцем команды, — Билли, Красавец Матрос, как его называют?

— Он самый, ваша честь. Но хоть он молод и хорош собой, а себе на уме. И он недаром втирается в доверие к своим товарищам: авось в случае нужды они за него заступятся, не делом, так словом. А лейтенант Рэтклифф не рассказывал вашей чести о том, как Бадд вскочил на носу катера, когда они проходили под кормой купца, и что он выкрикнул? С виду он, конечно, пригож. Да только под цветами, бывает, прячется ловушка.

Разумеется, Красавец Матрос, заметная фигу-

ра среди нижних чинов, не мог не привлечь к себе внимания капитана, едва появившись на борту. Капитан Вир, хотя обычно он держался со своими офицерами несколько сухо, даже поздравил лейтенанта Рэтклиффа с редкой удачей, присовокупив, что новый матрос — поистине великолепный образчик genus homo[13] и без одежды мог бы позировать для статуи юного Адама до грехопадения.

Что же касается прощального привета, который Билли послал судну «Права человека», то лейтенант, неверно усмотрев в этих словах сатирический выпад, действительно сообщил их капитану, но просто как забавный анекдот, и они еще более расположили капитана к новобранцу — веселая бодрость, с какой он принял насильственную перемену в своей судьбе, пришлась по душе военному моряку. Поведение фор-марсового на борту в той мере, в какой оно было известно капитану, казалось, вполне подтверждало это первое благоприятное впечатление, а его матросская сноровка была настолько выше похвал, что капитан прочил его на такое место, где мог бы сам чаще за ним наблюдать, и намеревался

[13] Примечания: 13
Рода человеческого (*лат.*).

рекомендовать старшему офицеру назначить его на бизань-мачту старшим крюйсельным взамен ветерана, чьи годы делали его уже малопригодным для выполнения подобных обязанностей. Заметим в скобках, что паруса, с которыми имеют дело крюйсельные, не столь широки и тяжелы, как нижние паруса фок- и грот-мачты, а потому для должности старшего там больше всего подходит молодой человек, какого туда и назначают, если только он обладает прочими необходимыми качествами, в подчинении же у него находятся совсем уж юные матросы, чуть ли не подростки. Короче говоря, капитан Вир с самого начала счел Билли Бадда тем, что на морском жаргоне того времени именовалось «королевским барышом», то есть весьма выгодным приобретением для флота его британского величества, которое потребовало лишь самых малых затрат, а то и вовсе никаких.

Вот о чем живо вспомнил капитан Вир, обдумывая весомость последнего клэггертовского намека, заключенного во фразе «под цветами, бывает, прячется ловушка», и все больше и больше сомневаясь в правдивости доносчика. Внезапно он прервал молчание и сказал гневно:

— И ты являешься ко мне, каптенармус, со

столь маловразумительной историей? Можешь ли ты назвать какие-нибудь поступки Бадда или его слова, которые подтвердили бы эти туманные обвинения? Погоди, — добавил капитан, шагнув к нему. — Взвесь то, что ты намерен сказать. В такое время и в таком деле лжесвидетелю полагается петля.

— Ах, ваша честь, — вздохнул Клэггерт и с кроткой укоризной покачал красивой головой, словно удрученный столь незаслуженным подозрением. Затем он вдруг выпрямился, как будто готовый встать на защиту своей безупречной добросовестности, и подробно описал некоторые якобы достоверно ему известные слова и поступки Билли, которые в совокупности, если принять их за истину, неопровержимо свидетельствовали о явной виновности этого последнего. И многое из сказанного он может незамедлительно подтвердить весомыми доказательствами.

Капитан Вир слушал, и его серые глаза с досадой и недоверием пытливо всматривались в спокойные фиалковые глаза Клэггерта, словно пытаясь разгадать, что они скрывают. Потом он погрузился в задумчивость, и теперь уже Клэггерт, словно проверяя, насколько удачной оказалась его тактика, в свою очередь устремил

на него пристальный взгляд, который было бы нелегко истолковать — таким взглядом, должно быть, смотрел на Иакова тот из его завистливых сыновей, кто с лживыми речами протянул опечаленному патриарху окропленную кровью одежду юного Иосифа.

Незаурядным нравственным качествам капитана Вира сопутствовала особого рода проницательность, которая, точно пробный камень, открывала ему подлинную сущность натуры того, с кем ему приходилось иметь дело, однако в отношении Клэггерта и истинной подоплеки его действий он испытывал не столько интуитивную уверенность, сколько сильнейшие подозрения, тем не менее сопряженные с непрошеным сомнением. И колебался он не потому, что мысленно взвешивал обвинение (как, вероятно, решил Клэггерт), а потому, что искал способа, как вернее разобраться с обвинителем. Сперва он, естественно, склонен был потребовать представления тех доказательств, которыми Клэггерт, по его словам, располагал. Но это означало немедленное разглашение дела, что, по его мнению, могло бы неблагоприятно подействовать на команду. Если Клэггерт лжесвидетельствует… тогда на этом все и окончится. А потому прежде, чем проверить

донос, следует приватно испытать правдивость доносчика вдали от любопытных глаз и ушей.

План, на котором он остановился, требовал смены места действия, перенесения его в обстановку более уединенную, нежели широкий квартердек. Правда, находившиеся там офицеры-артиллеристы согласно с требованиями морского этикета отошли к левому борту, едва капитан Вир начал прогуливаться у правого, и во время его беседы не осмеливались подойти ближе, сам же он говорил тихо, а голос Клэггерта был негромким и серебристым, так что свист ветра в снастях и плеск воды и вовсе заглушал их слова, но тем не менее их затянувшаяся беседа уже привлекла внимание марсовых, некоторых матросов на шканцах и даже баковых.

Обдумав свой план, капитан Вир сразу же начал приводить его в исполнение. Внезапно обернувшись к Клэггерту, он спросил:

— Каптенармус, Бадд сейчас на вахте?

— Нет, ваша честь.

— Мистер Уилкс, — окликнул капитан ближайшего мичмана, — попросите ко мне Альберта.

Альберт был вестовым капитана Вира, своего рода морским камердинером, и тот давно привык полагаться на его преданность и умение

молчать.

Вестовой явился.

— Ты знаешь Бадда, фор-марсового?

— Знаю, сэр.

— Ну так разыщи его. Он сейчас свободен. Скажешь ему так, чтобы никто другой не слышал, что его требуют на ют. Присмотри, чтобы он ни с кем не обменялся ни единым словом. Отвлеки его разговором. И только когда вы будете уже на корме, — не раньше! — сообщи ему, что ты ведешь его в мою каюту. Ты понял? Исполняй. Каптенармус, спустишься на нижнюю палубу и, когда Альберт, по твоим расчетам, пройдет с матросом на корму, незаметно последуешь за ними.

XVII

Когда наш фор-марсовый оказался в капитанской каюте, так сказать, с глазу на глаз с самим капитаном и с Клэггертом, он был очень удивлен. Но к его удивлению не примешивалось никаких опасений или подозрений. Детские натуры, честные и добрые, ни от кого не ждут козней и редко их предчувствуют. И молодой матрос подумал только: «Значит, недаром мне все казалось, что капитан поглядывает на меня с одобрением. Может, он хочет произвести меня в младшие боцманы. А хорошо бы! Вот он и решил расспросить про меня каптенармуса».

— Часовой, затвори дверь, — приказал капитан Вир. — Встань снаружи и никого не впускай. А теперь, каптенармус, повтори этому матросу все, что ты сообщил мне о нем.

Затем он отступил на шаг и приготовился внимательно наблюдать за лицами обоих.

Клэггерт почти вплотную приблизился к Билли со спокойной неторопливостью психиатра, который в каком-нибудь публичном месте замечает, что у больного вот-вот начнется припадок, и, устремив на него гипнотический взгляд, коротко

изложил свои обвинения.

Билли понял его не сразу. А когда понял, его золотисто-розовые щеки стали белыми, как у прокаженного. Он стоял, пригвожденный к месту, словно чувствуя во рту жестокий кляп. А глаза обвинителя, по-прежнему впивавшиеся в лазурь его широко раскрывшихся глаз, вдруг непонятным образом преобразились: их обычный глубокий фиалковый тон помутнел, стал грязновато-лиловым. Эти светильники человеческого разума вдруг утратили все человеческое и студенисто выпучились, точно уродливые органы зрения еще неведомых науке обитателей морских глубин.

Первый гипнотический взгляд только парализовал, последний был как жадный рывок электрического ската.

— Говори же, любезный! — сказал капитан Вир, обращаясь к окаменевшему фор-марсовому, чей вид поразил его даже больше, чем вид Клэггерта. — Говори же, докажи свою невиновность!

Но Билли ответил на этот призыв лишь непонятными конвульсивными жестами и хрипом. Подобное обвинение, столь внезапно обрушенное на неопытного юношу, а может быть, и ужас перед обвинителем связали ему язык, стократно

усилили его нервическую немоту. Судорога сжала ему горло, он всем телом устремился вперед в тщетном усилии заговорить, опровергнуть навет, и от этого его лицо приобрело выражение, какое, наверное, могло исказить черты преступившей обет весталки, когда ее погребали заживо и начиналась агония удушья.

Капитан Вир, разумеется, не знал, что Билли в минуты душевного волнения теряет дар речи, но тотчас же об этом догадался, ибо лицо и вся поза Билли живо напомнили ему, как его школьный товарищ, умный и способный мальчик, был однажды вот так же поражен внезапной немотой, когда, поспешно опережая остальных, вскочил с места, чтобы ответить на вопрос учителя. Подойдя к молодому матросу, он положил руку ему на плечо и ласково проговорил:

— Не торопись, мой милый. Успокойся. Не торопись.

Однако вопреки намерениям капитана эти слова и отеческий тон, которыми они были произнесены и который, несомненно, проник в самое сердце Билли, только понудили его усугубить усилия, и без того отчаянные, что вовсе замкнуло его уста, и черты его изобразили такую муку, какую можно увидеть только у распятого. В

следующий миг его правая рука взметнулась, как язык пламени, вырывающийся из жерла пушки в ночном сражении, и Клэггерт рухнул на пол. То ли рассчитанно, то ли из-за высокого роста юного силача, но удар пришелся прямо в лоб каптенармуса, столь красивый и мудрый на вид, а потому он опрокинулся навзничь всем телом, словно тяжелая доска, которую перед этим поставили стоймя. Судорожный вздох, еще один, и он застыл в неподвижности.

— Злосчастный! — произнес капитан Вир тихо, почти шепотом. — Что ты наделал! Но помоги же мне.

Вместе они приподняли распростертое тело за плечи и придали ему сидячую позу. Худое туловище подчинилось их усилиям легко, но вяло. Они как будто сгибали мертвую змею. Тогда они вновь опустили его на пол. Капитан Вир выпрямился, прикрывая лицо ладонью. Внешне он казался столь же невозмутимым, как бездыханный труп у его ног. Раздумывал ли он над случившимся, взвешивая, что следует сделать, и не только сию минуту, но и потом? Он медленно отнял ладонь от лица, и впечатление было такое, будто затмившаяся луна появилась из тени совсем не похожей на ту, какой она в эту тень погрузилась. Отцов-

ская доброта, с какой он до сих пор обращался с Билли, сменилась начальственной суровостью. Он строго показал фор-марсовому на дверь одного из кормовых салонов и велел ему оставаться там впредь до дальнейших распоряжений. Билли выполнил этот приказ в покорном молчании. Затем, подойдя к той двери каюты, которая выходила на квартердек, капитан Вир сказал стоявшему снаружи часовому:

— Передай кому-нибудь, чтобы ко мне прислали Альберта.

Когда вестовой явился, капитан, заслонив от него неподвижное тело на полу, приказал:

— Альберт, попроси ко мне врача. А сам не возвращайся, пока я тебя не позову.

Когда в дверях появился врач (человек опытный, спокойный и уравновешенный, которого, казалось, ничто не могло бы изумить), капитан Вир пошел к нему навстречу, опять заслонив Клэггерта, на сей раз нечаянно, и сказал, прервав официальное приветствие:

— Довольно, посмотрите скорее, что с ним.

И он указал на распростертую фигуру.

Как ни умел врач владеть собой, он не смог скрыть удивления при этом нежданном зрелище. Лицо Клэггерта, всегда бледное, казалось сейчас

еще белее, потому что изо рта и уха у него сочилась густая черная кровь. Врачу было достаточно одного взгляда, чтобы понять, что перед ним — мертвец.

— Значит, это верно? — сказал капитан Вир, не спускавший с него глаз. — Я и сам так думал. Но все-таки убедитесь.

Проверка только подтвердила первое заключение врача, который, покончив с ней, поглядел на своего начальника вопросительно и озабоченно. Но капитан Вир стоял недвижно, прижимая руку ко лбу. Внезапно он схватил врача за локоть и, указывая на труп, воскликнул:

— Свершился суд Божий, как над Ананией. Взгляните!

Врач, пораженный столь бурным волнением, какого он никогда прежде не наблюдал у командира «Неустрашимого», и все еще ничего не понимающий, предпочел благоразумно промолчать и только недоуменно смотрел на капитана, словно спрашивая, что могло привести к подобной трагедии.

Однако тот вновь застыл, погрузившись в раздумье. Затем вздрогнул и воскликнул с еще большим возбуждением:

— Сражен ангелом господним. И тем не менее

ангела должно повесить!

Эти бессвязные восклицания, совершенно не понятные врачу, который по-прежнему пребывал в полном неведении относительно предшествовавших событий, чрезвычайно его смутили и даже испугали. Однако тут капитан Вир, несколько опомнившись, уже более спокойно сообщил ему в кратких словах, что произошло.

— Но к делу, — заключил он. — Помогите мне перенести его (он подразумевал труп) вон туда. — И он указал на второй салон, напротив того, где ждал фор-марсовый.

Врач беспрекословно повиновался, хотя эта просьба, свидетельствовавшая как будто о желании сохранить случившееся в тайне, показалась ему странной и опять вызвала у него боязливое смущение.

— А теперь идите, — сказал капитан Вир уже почти обычным своим голосом. — Я незамедлительно соберу военный суд. Сообщите лейтенантам о том, что произошло. А также мистеру Мортону (это был начальник отряда морской пехоты). И предупредите их, чтобы они молчали.

Врач вышел из каюты полный тревоги и дурных предчувствий. Уж не помешался ли капитан Вир? Или это — всего лишь сильное, но краткое

волнение, вызванное столь странным и неожиданным происшествием? Созыв военного суда представлялся врачу неблагоразумным, если не сказать больше. По его мнению, Билли Бадда следовало посадить под арест и отложить разбирательство столь необычайного дела до того времени, когда они вернутся к эскадре, а тогда передать его на усмотрение адмирала. Он никак не мог забыть непривычную взволнованность капитана Вира и возбужденные восклицания, столь не вязавшиеся с его обычной манерой держаться. Или все-таки причиной тут безумие? Но если и так, доказать это было бы непросто. Что же ему делать? Трудно придумать более щекотливое положение, чем положение офицера, который подозревает, что его начальник если и не совсем сошел с ума, то несколько повредился в рассудке. Попытка возражать ему была бы дерзостью, а неисполнение его приказов означало бы открытый мятеж. Поэтому он выполнил распоряжение капитана Вира и сообщил о случившемся лейтенантам, а также начальнику морской пехоты, ничего не сказав им о том, в каком тот был состоянии. И все-таки они смотрели на него с озабоченным недоумением. Как и он сам, они, по-видимому, полагали, что такое дело следует

передать на усмотрение адмирала.

Кто, глядя на радугу, способен указать точную границу, где кончаются синие тона и начинаются оранжевые? Мы ясно видим различие цветов, но где все-таки один сменяет другой? Вот так же обстоит дело и с болезнями рассудка. Когда безумие вполне овладело человеком, все ясно. Но когда речь идет о менее явных признаках, мало кто возьмется провести разграничивающую черту, хотя кое-какие эксперты-профессионалы и не откажутся сделать это за приличный гонорар. Ведь всегда находятся люди, которые за деньги возьмутся сделать что угодно. Другими словами, порой нет средства определить, здоров ли человек душевно, или к нему уже подкрадывается болезнь.

Оказался ли капитан Вир, как заключил врач, невольной жертвой внезапного безумия или нет, читатель должен будет решить сам, довольствуясь тем светом, который может бросить на этот вопрос наше дальнейшее повествование.

XVIII

Описанное злополучное событие не могло бы случиться в более неподходящее время. Ибо оно произошло слишком скоро после подавления двух мятежей, в те трудные для морских властей дни, когда от каждого английского командира требовалось одновременное проявление двух качеств, причем таких, которые сочетаются далеко не просто, — благоразумной осторожности и неколебимой строгости. И в довершение всего само это дело заключало в себе критическое противоречие.

Прихотливая игра обстоятельств, предшествовавших и сопутствовавших трагедии на борту «Неустрашимого», а также требования военных законов, согласно с которыми ее предстояло судить, привели к тому, что невиновность и вина, олицетворенные в Клэггерте и Билли Бадде, по сути, поменялись местами.

С юридической точки зрения видимой жертвой был тот, кто стремился злонамеренно погубить ни в чем не повинного человека, а ответный поступок этого последнего согласно с морским уставом составлял тягчайшее военное преступ-

ление. Более того. Чем яснее проявлялось в этом деле столкновение истинной правоты и неправоты, тем горше становилась ответственность добросовестного морского командира, уполномоченного решать его, исходя лишь из узкоюридических принципов.

Неудивительно, что капитан «Неустрашимого», при обычных обстоятельствах человек менее всего склонный к колебаниям, в данном случае готов был поставить осмотрительность даже выше, чем быстроту действий, которую также почитал необходимой. Ввиду всех обстоятельств он полагал, что следует избегать какой бы то ни было огласки не только до тех пор, пока он не обдумает во всех подробностях, как и что следует предпринять, но и до той самой минуты, когда настанет пора привести в исполнение заключительную меру. Быть может, в этом он заблуждался, а быть может, нет. Верно, во всяком случае, одно: впоследствии многие офицеры в частных беседах высказывали осуждение по его адресу — впрочем, его друзья и с особенным пылом его кузен Джек Дентон объясняли это профессиональной завистью, которую подобные зоилы испытывали к Звездному Виру. Правда, кое-какая почва для неблагожелательных предположений была. Та-

инственность, окружавшая это дело настолько, что известия о нем долгое время не выходили за пределы того места, где произошло нечаянное убийство, то есть за пределы капитанской каюты, действительно вызывала в памяти дворцовые трагедии, не раз и не два случавшиеся в столице, которую основал Петр Варвар.

И капитан «Неустрашимого» с безмерным облегчением предпочел бы умыть руки и ограничиться лишь арестом фор-марсового, с тем чтобы после возвращения к эскадре доложить о случившемся адмиралу и предоставить решение ему.

Но в одном отношении искренне верный присяге офицер сходен с искренне благочестивым монахом: он с таким же самоотречением выполняет свой воинский долг, как тот — свой обет послушания.

Капитан Вир был убежден, что поступок фор-марсового, стань он известен на батарейных палубах прежде, чем будут выполнены все требования закона, может раздуть среди команды пламя Нора, если оно действительно еще тлеет в душе некоторых матросов, и эта необходимость торопиться взяла верх над прочими соображениями. Но, будучи строгим блюстителем устава и дисциплины, он любил власть вовсе не ради

самой власти, и его отнюдь не прельщала возможность взять на себя всю полноту тяжкой моральной ответственности — во всяком случае, тогда, когда ее можно было бы уступить его собственному начальнику или разделить с равными себе, а то и с подчиненными. А потому он только с облегчением решил воспользоваться обычаем, который дозволял ему передать это дело на рассмотрение суда, составленного из его офицеров, а за собой (поскольку в конечном счете ответственность все равно ложилась на него) оставить право наблюдать за разбирательством, вмешиваясь в него лишь изредка, в случае особой необходимости. Он незамедлительно назначил и судей — первого и второго лейтенантов, а также начальника морской пехоты.

Пригласив армейского офицера участвовать вместе с морскими в рассмотрении дела, касавшегося матроса, капитан Вир, пожалуй, несколько отступил от принятого обычая. Выбор его объяснялся тем, что он знал начальника морской пехоты за человека разумного, рассудительного и вполне способного справиться с задачей, далеко выходящей за пределы его прежнего опыта. И все же капитан остановился на нем не без некоторых колебаний, так как начальник морской пехоты

отличался величайшим добродушием, любил вкусно поесть, а потом сладко вздремнуть и был склонен к тучности. Короче говоря, он принадлежал к тем людям, чье мужество в бою неколебимо, но для кого тем не менее сложная моральная дилемма, да к тому же еще трагическая, может оказаться неразрешимой. Что же касается лейтенантов, то капитан Вир прекрасно знал, что оба они при всей своей безукоризненной честности и испытанной храбрости не блещут особым умом и ничем, кроме профессиональных обязанностей, не интересуются. Суд заседал в той самой каюте, где случилось непредвиденное несчастье. Каюта эта, принадлежавшая капитану, занимала всю кормовую надстройку и состояла из четырех помещений. Ближе к корме располагались два небольших салона (из которых один служил сейчас временной тюрьмой, а другой — мертвецкой), разделенные коридорчиком, который ближе к носу расширялся во внушительный прямоугольник, тянувшийся от борта до борта. Свет в эту часть каюты попадал через световой люк скромных размеров и через два задраенных иллюминатора — они находились на противоположных концах прямоугольника, и в случае нужды их легко можно было превратить в порты

для легких каронад.

Приготовления были быстро завершены, и Билли Бадд предстал перед своими судьями. Капитан Вир, естественно, выступал в роли единственного свидетеля, на время как бы отказавшись от привилегий своего чина, не считая одной, казалось бы, самой незначительной, — он давал показания, стоя у правого борта, а поэтому, заранее имея это в виду, судей посадил у левого. Он сжато и точно изложил события, которые привели к трагедии, не упустив ни одной подробности из обвинений Клэггерта, и описал, как воспринял эти обвинения подсудимый. Все трое судей глядели на Билли Бадда с изумлением, так как еще совсем недавно готовы были поклясться, что он равно не способен как на мятежные замыслы, приписанные ему Клэггертом, так и на поступок, который бесспорно совершил. Первый лейтенант, взявший на себя роль председателя, обратился к подсудимому со словами:

— Капитан Вир кончил. Так ли было все, как говорил капитан Вир?

Ответ был произнесен более четко, чем можно было бы ожидать:

— Капитан Вир говорит правду. Все было так, как говорит капитан Вир, но не так, как говорил

каптенармус. Я ел хлеб моего короля, и я не изменник моему королю.

— Я верю тебе, любезный, — произнес свидетель, и в его голосе проскользнуло сдержанное волнение, которое ничем другим он не выдал.

— Да благословит вас Бог, ваша честь! — заикаясь, сказал Билли и чуть было не разрыдался. Однако его тотчас привел в себя новый вопрос, на который он ответил, по-прежнему лишь с трудом преодолевая свой обычный недостаток. — Нет, между нами не было вражды. Я никогда не питал вражды к каптенармусу. Я сожалею о его смерти. Я не хотел его убивать. Если бы язык меня слушался, я бы его не ударил. Но он подло оболгал меня прямо в глаза перед моим капитаном, и я должен был ответить ему. Вот я и ответил ударом. Да простит мне Бог!

Безыскусственная горячность Билли, его наивное простодушие объяснили судьям слова, сначала ввергнувшие их в недоумение, поскольку они исходили от свидетеля трагедии и были произнесены сразу же после того, как Билли страстно опроверг самую мысль о том, что у него могли быть мятежные замыслы, — объяснили им слова капитана Вира: «Я верю тебе, любезный».

Затем его спросили, знает ли он или подозре-

вает ли о каких-либо беспокойных настроениях среди тех или иных членов команды (слова «мятеж» судьи тщательно избегали).

Билли ответил не сразу. Судьи, естественно, приписали это тому же речевому недостатку, который замедлял его прежние ответы или придавал им невнятность. Но на этот раз причина крылась в другом. Билли тотчас вспомнил свой разговор с ютовым на руслене. Однако в нем слишком сильно было врожденное отвращение к роли доносчика, тем более когда дело касалось его товарищей, — то природное чувство чести, пусть ошибочное, которое помешало ему тогда же доложить о случившемся, хотя этого требовала от него присяга, и подобное умолчание, будь оно доказано, грозило бы ему тягчайшим наказанием. Это чувство вкупе с твердой уверенностью, что на самом деле никаких мятежных умыслов ни у кого нет, взяло в нем верх, и он, справившись наконец с заиканием, ответил отрицательно.

— Еще один вопрос, — сказал начальник морской пехоты, в первый раз прервав молчание и говоря с некоторым душевным волнением. — Ты утверждаешь, что каптенармус обвинял тебя лживо. Но почему же он лгал, и лгал так злобно, если, по твоим же словам, между вами не было

вражды?

Вопрос этот, непреднамеренно затронувший ту сферу понятий и чувств, которая лежала вообще вне представлений Билли, вверг его в полную растерянность, и смущение на его лице могло бы представиться наблюдателям определенного толка неопровержимым, хотя и невольным свидетельством виновности. Тем не менее Билли попытался было сказать что-то, но сразу оставил тщетные попытки и умоляюще посмотрел на капитана Вира, словно считая его своим заступником и другом. Капитан Вир встал со стула, на который было опустился, и произнес, обращаясь к спросившему:

— Вопрос, который вы ему задали, вполне естествен. Но как может он дать на него верный ответ? Или кто-нибудь другой, за исключением разве что лежащего там? — Тут капитан указал на салон, где лежал труп. — Но он не встанет, дабы явиться на ваш суд. Однако мне представляется, что ответ, которого вы ищете, не имеет касательства к делу. Какими бы ни были побуждения, руководившие каптенармусом, и чем бы ни был вызван удар, военный суд в настоящем случае рассматривает лишь следствие этого удара, каковое следствие бесспорно проистекало из

действий подсудимого.

Билли скорее всего был не способен уловить скрытый смысл этих слов, и тем не менее он обратил на говорившего грустный вопросительный взгляд, который по своей немой выразительности напоминал взгляд породистой собаки, старающейся по лицу хозяина угадать, что означает тот или иной жест, недоступный собачьему пониманию. На судей эти слова также произвели заметное впечатление, и особенно на начальника морской пехоты. Они уловили в них то, чего не ждали, — твердое, заранее вынесенное решение. Это еще больше усугубило недоумение и растерянность, которые они испытывали.

Начальник морской пехоты снова заговорил с некоторым смущением, обращаясь одновременно и к своим товарищам, и к капитану Виру:

— Здесь ведь нет никого… никого из экипажа, хочу я сказать, кто был бы в состоянии, если только это возможно, пролить свет на таинственную сторону этого дела.

— Совершенно справедливо, — заметил капитан Вир. — Я понимаю, что вы имеете в виду. Да, тут есть тайна, но, говоря языком Писания, это «тайна неправедности», и подлежит она веденью духовных лиц. Но что до нее военному суду? Не

говоря уж о том, что мы даже не можем ее расследовать, ибо он там (тут капитан вновь указал на временную мертвецкую) … умолк навеки. Нет, нам надлежит рассматривать поступок подсудимого, и только.

Начальник морской пехоты не нашелся, что ответить на эти аргументы и особенно на последний из них, а потому печально промолчал. Первый лейтенант, который с самого начала — вполне естественно — взял на себя председательство, теперь после властного взгляда капитана Вира, взгляда более действенного, нежели слова, вновь вернулся к роли председателя.

— Бадд, — объявил он, повернувшись к подсудимому и с трудом сохраняя ровный тон. — Бадд, если ты имеешь еще что-нибудь сказать в свое оправдание, так говори.

Молодой матрос вновь бросил быстрый взгляд на капитана Вира и, словно найдя в его лице подтверждение собственной внутренней уверенности, что говорить ничего больше не нужно, ответил лейтенанту:

— Я все сказал, сэр.

Солдат (тот самый часовой, который стоял у капитанской каюты, когда в нее вошли фор-марсовый, а за ним каптенармус), не отходивший от

Билли в течение всего разбирательства, теперь получил приказание отвести его назад в салон и остаться с ним там. Едва они вышли, как трое судей, словно освободившись от скованности, которую как бы вызывало самое присутствие Билли, переменили позы и обменялись взглядами, исполненными тревожной нерешительности. Тем не менее они чувствовали, что обязаны принять решение, и принять его безотлагательно, хотя капитан Вир сидел, отвернувшись от них, и словно бы в рассеянии, как это с ним бывало, глядел сквозь иллюминатор правого борта на окутанную сумерками однообразную равнину пустого моря. Но судьи хранили молчание, лишь изредка прерывая его, чтобы шепотом обменяться тем или иным мнением, и капитан Вир, казалось, почерпнул в этом какую-то новую уверенность. Он встал и прошелся вдоль каюты. Когда он возвращался к иллюминатору, ему пришлось подниматься вверх по наклонному полу, так как «Неустрашимый» в это мгновение шел с креном на левый борт. И каждое его движение, хотя он этого и не сознавал, как бы символизировало неумолимую решимость, готовую преодолеть даже природные инстинкты, могучие, как ветер и волны. Затем он остановился перед судьями и

внимательно всмотрелся в их лица. Он медлил, но не как человек, собирающийся с мыслями, а как тот, кто просто обдумывает способ изложить эти мысли людям хотя и благонамеренным, но не склонным к умствованиям, людям, которым необходимо сначала растолковать принципы, ему самому представляющиеся лишь аксиомами. Возможно, подобная же необходимость вот так подбирать слова и мешает своеобразно мыслящим личностям выступать с речами перед большими скопищами людей, под каковое определение подпадают законодательные собрания многих республик.

Когда же капитан Вир все-таки заговорил, и содержание, и форма его речи могли служить примером того, как одинокие бдения над книгами влияют на деятельные привычки, умеряя и преображая их. Это, а также некоторые его словесные обороты, и служило основанием для того, чтобы моряки чисто практической закалки приписывали ему педантизм и сухость, хотя они же с полной искренностью признали бы, что во флоте его величества короля английского мало кто из самых уважаемых офицеров того же ранга может сравниться со Звездным Виром.

Сказал же он примерно следующее:

— До сих пор я был всего лишь свидетелем, и я не стал бы сейчас обращаться к вам по-иному, как ваш советчик, если бы не заметил в вас — и в такую критическую минуту! — томительной неуверенности, которая, полагаю, порождается столкновением воинского долга с нравственными сомнениями, к тому же еще усиленными жалостью. Что до жалости, то могу ли я не разделять ее? Тем не менее, памятуя о наиглавнейшей нашей обязанности, я подавляю в себе эти сомнения, не позволяя им повлиять на единственно возможное решение. При этом, господа, я отдаю себе отчет в исключительности самого дела. Рассуждая умозрительно, его следовало бы передать на рассмотрение ученых правоведов. Но мы тут не правоведы и не моралисты, и для нас это — конкретное дело, которое мы должны решить практически, в соответствии с военными законами.

Ну, а ваши сомнения? Ведь они неясны, словно их прячут сумерки. Так потребуйте от них отзыв. Принудьте их выйти на свет и назвать себя! Вот послушайте, не это ли мнится вам в них: «Если, не принимая во внимание смягчающие обстоятельства, мы обязаны считать смерть каптенармуса деянием подсудимого, то не представляет ли

оно собой тягчайшее преступление, караемое смертью? Но допускает ли естественная справедливость, чтобы мы рассматривали самый поступок подсудимого, и ничего больше? Можем ли мы обречь скорой и позорной казни собрата-человека, невинного перед Богом, ибо таким мы его и считаем?» Верно ли я все изложил? Вы скорбно кивнули. Что же, я в полной мере разделяю ваши чувства. Они согласны с Природой. Но вот эти пуговицы на наших мундирах, разве они свидетельствуют о том, что мы присягали в верности Природе? Нет, мы присягали королю. Хотя океан, воплощение вечной первозданной природы, есть та стихия, чье лоно мы бороздим и кому принадлежим, как моряки, наш долг, долг королевских офицеров, лежит ли и он в сфере столь же естественной? Отнюдь! Ведь, получив наши патенты, мы утратили естественную свободу в самых важных областях бытия. Когда объявляют войну, советуются ли предварительно с нами, хотя вести ее должны мы? Мы сражаемся потому, что нам приказывают. Если мы считаем войну справедливой, это лишь частность, которая ничего не меняет. И так во всем. И в настоящем случае — мы ли сами вынесем приговор или же его вынесет военный закон, для которого мы

лишь орудие? Ответственность за этот закон и за его строгость лежит не на нас. Принесенная же нами присяга обязывает нас к следующему: как бы безжалостен ни был закон, мы следуем ему и исполняем его.

Однако исключительность этого дела трогает ваши сердца. Как и мое сердце. Но нельзя позволить, чтобы жар сердца возобладал над рассудком, которому надлежит быть холодным. На берегу, разбирая уголовное дело, допустит ли нелицеприятный судья, чтобы удрученная горем мать или сестра подсудимого искала встречи с ним вне стен суда и рыданиями пыталась его растрогать? Наши сердца сейчас подобны этой несчастной женщине. И как ни тягостно, мы не должны их слушать.

Он помолчал, внимательно вглядываясь в судей, а затем продолжал свою речь:

— Однако выражение ваших лиц как будто указывает, что в вас говорит не только сердце, но еще и совесть, ваша личная совесть. И все же скажите, не должна ли наша личная совесть, совесть людей, занимающих официальные посты, отступать перед государственной совестью, воплощенной в законах и уставах, которыми мы только и обязаны руководствоваться в своей

служебной деятельности.

Все трое судей при этих словах вновь переменили позу, не столько убежденные, сколько смущенные его доводами, которые только усугубляли терзавшие их внутренние противоречия. Заметив это, капитан Вир немного помолчал, а затем заговорил снова, резко переменив тон:

— Пусть же нам помогут сами факты. Во время войны матрос на военном корабле наносит удар высшему в чине, и удар этот причиняет смерть. Но даже если оставить в стороне его последствия, этот удар согласно с дисциплинарным уставом сам по себе является преступлением, которое карается смертью. Далее…

— Конечно, сэр, — с чувством вскричал начальник морской пехоты, — в определенном смысле это так. Но ведь Бадд, бесспорно, не замышлял ни мятежа, ни убийства.

— Вы правы. И суд менее деспотичный и более милосердный, чем военный, несомненно, счел бы это важным смягчающим обстоятельством. На Страшном суде этого будет достаточно для оправдания. Но здесь? Мы руководствуемся Законом о мятеже. Дитя не так повторяет в своих чертах черты отца, как закон этот по духу своему уподобляется тому, что его породило, — войне.

На службе его величества — и на этом корабле тоже — есть англичане, которых принудили сражаться за короля против их воли. Возможно, это даже противно их совести. Как собратья-люди мы можем сочувствовать их положению, но как морские офицеры считаемся ли мы с ним? И еще менее считается с ним враг. Он равно радуется, косят ли его ядра наших насильственно завербованных матросов или тех, кто пришел на флот добровольно. И точно так же мы не щадим вражеских матросов, хотя некоторые из них, быть может, питают к цареубийственной французской Директории не меньшее отвращение, чем мы сами. Война глядит только на фасад, на внешность. И Закон о мятеже, дитя войны, следует в этом за своим родителем. Намерения Бадда или отсутствие их у него к делу не относятся. Но покуда, я вновь повторяю то, что уже говорил, подвигнутый на это вашими сомнениями, которые искренно уважаю, покуда мы столь необычно затягиваем разбирательство вместо того, чтобы незамедлительно его завершить, дозорные могут заметить врага, и нам придется готовиться к бою. Надо кончать. И выбор у нас невелик — либо смертный приговор, либо полное оправдание.

— Но не можем ли мы, признав его виновным,

смягчить кару? — неуверенно спросил второй лейтенант, впервые прервав молчание.

— Лейтенант, даже если бы при данных обстоятельствах мы могли, не отступив от буквы закона, вынести такой приговор, подумайте о последствиях подобной снисходительности. Простые люди (так он назвал матросов) обладают природным здравым смыслом, а очень многие отлично знают морские законы и обычаи, так как же они истолкуют такую мягкость? Даже если бы мы объяснили им — чего наше официальное положение не допускает, — долгое нерассуждающее подчинение деспотической дисциплине притупило в них ту чуткость и гибкость ума, которая позволила бы им понять все правильно. Нет, для матросов поступок фор-марсового, как бы он ни был назван в официальном оповещении, останется убийством, совершенным в момент открытого бунта. Им известно, какое за это положено наказание. Но оно не воспоследует. Почему? — задумаются они. Вы же знаете матросов. Неужели они не вспомнят про недавнее восстание в Норе? Им известно, какую вполне обоснованную тревогу… какую панику вызвало оно по всей Англии. Они сочтут, что ваш снисходительный приговор продиктован трусостью.

Они решат, что мы дрогнули, что мы испугались их — испугались применить законную кару, хотя обстоятельства требовали именно ее, — так как опасались вызвать новую вспышку. Каким позором для нас явится подобный их вывод и как губительно скажется он на дисциплине! Вы понимаете, к чему я упорно веду, следуя велениям долга и закона. Однако прошу вас, друзья мои, не поймите меня превратно. Я не менее вас сострадаю злополучному юноше. Но мне кажется, натуре его свойственно такое великодушие, что он, если бы мог заглянуть в наши сердца, сам почувствовал бы сострадание к нам, поняв, сколь тяжело для нас то, чего требует от нас военная необходимость.

Умолкнув, он вновь отошел в дальний конец каюты и сел возле иллюминатора, тактично предоставив трем судьям прийти к решению. Они же хранили смятенное молчание. Верные подданные короля, люди простые и не склонные к умствованиям, они, хотя в глубине души соглашались не со всеми доводами капитана Вира, были не способны, да и не стремились опровергнуть мнение человека, глубокую убежденность которого чувствовали, и к тому же человека, стоявшего выше их не только по табели о рангах,

но и по духовному развитию. Однако не лишено вероятности, что никакие даже самые убедительные его аргументы не подействовали на них так, как заключительный призыв к ним как к морским офицерам. Ведь он предсказал, какими губительными последствиями для дисциплины (учитывая неустойчивые настроения во флоте в те дни) будет чревато убийство матросом в море высшего в чине, если убийцу не приговорить к смертной казни, и притом незамедлительно.

Правдоподобным кажется предположение, что состояние их духа было сходно с той мучительной тревогой, которая в 1842 году понудила капитана американского военного брига «Сомерс» казнить во время плавания (на основании так называемого дисциплинарного устава, составленного по образцу английского Закона о мятеже) мичмана и двух унтер-офицеров, замышлявших захватить бриг и поднять на нем пиратский флаг. Это решение, принятое и исполненное в дни мира, всего в нескольких сотнях миль от родных берегов, было несколько месяцев спустя оправдано и подтверждено военно-морским следственным судом, разбиравшим вопрос о правомочности действий капитана. Таково свидетельство истории, которое приводится здесь без каких-либо оценок. Правда,

положение на борту «Сомерса» заметно отличалось от положения на борту «Неустрашимого». Но в обоих случаях равно ощущалась необходимость безотлагательных действий (оправданная или нет — это иной вопрос).

Некий писатель, известный лишь немногим, говорит: «Через сорок лет после битвы людям, не принимавшим в ней участия, легко рассуждать о том, как ее следовало бы вести. Но совсем другое дело — лично руководить ею, находясь под огнем противника, когда все вокруг затянуто пороховым дымом. То же относится и к прочим разнообразным кризисам и практического и нравственного порядка, когда от человека требуются мгновенные решения и действия. Чем гуще туман, тем опаснее он для парохода, а приказ прибавить скорости увеличивает угрозу столкновения с другим судном. Люди же, играющие в карты в уютном салоне, даже не думают о человеке, который бессонно бдит на капитанском мостике, ощущая на своих плечах все бремя ответственности».

Короче говоря, Билли Бадд был по всем правилам признан виновным и приговорен к повешению. Приговор предстояло привести в исполнение рано утром, так как уже наступи-

ла ночь. Если бы не это обстоятельство, казнь совершилась бы немедленно. В дни войны и на суше, и на море смертный приговор, вынесенный военно-полевым судом (а на поле битвы иной раз — и просто кивком генерала), обжалованию не подлежит и приводится в исполнение тут же, на месте.

XIX

Капитан Вир пожелал сам сообщить о приговоре подсудимому и, войдя в салон, где тот содержался под арестом, приказал часовому на время удалиться.

Приговор был сообщен, но что еще происходило во время этой беседы, осталось навеки неизвестным. Однако зная характер тех, кто на недолгий срок затворился в этой каюте, зная редкостные, восполняющие друг друга черты их натур (настолько редкостные, что умы заурядные, пусть даже и образованные, постигнуть их не в силах), можно позволить себе некоторые догадки.

Душевный склад капитана Вира был таков, что, скорее всего, не позволил ему скрыть что-либо от осужденного, и, наверное, он откровенно поведал ему о собственной роли в его осуждении и объяснил побуждения, им руководившие. А Билли, без всякого сомнения, принял это признание с такой же открытой душой, с какой оно было сделано. Возможно даже, он ощутил нечто вроде радости, подумав о том, сколь высокого мнения должен быть о нем капитан, если так ему доверился. И конечно, он почувствовал, что приговор сообщен

ему как мужественному человеку, который не боится смерти. Но можно предположить и большее. Под конец капитан Вир мог дать волю тому скрытому жару, который нередко таится под оболочкой стоической невозмутимости. По возрасту он годился Билли в отцы. И этот суровый служитель воинского долга, уступив первозданным чувствам, которые цивилизованное человечество привыкло держать под спудом, в последнюю минуту, возможно, прижал Билли к сердцу, точно так же, как Авраам мог прижать к сердцу юного Исаака, готовясь без колебаний принести его в жертву по безжалостному повелению свыше. Но высокое таинство, в котором при обстоятельствах, подобных описанным, соучаствуют два благороднейших создания великой Природы, пребывает скрытым от насмешливых глаз злорадного мира. Эти минуты священны для того, кто остается в живых, и благое забвение, всегда сопутствующее божественным движениям души, неизменно скрывает все своим непроницаемым покровом.

Первый лейтенант увидел капитана Вира, когда тот выходил из салона. И мука сильного духом, которую он прочел в чертах его лица, глубоко поразила этого пятидесятилетнего человека,

много повидавшего на своем веку. Сам осужденный, по-видимому, страдал меньше, чем тот, кто был главным орудием его осуждения, — об этом свидетельствует его восклицание, которое мы приведем при описании сцены, которой вскоре вынуждены будем коснуться.

Рассказ о цепи событий, стремительно сменяющих друг друга в пределах краткого срока, может потребовать времени более долгого, чем то, которое заняли сами события, особенно если для лучшего их понимания необходимо бывает добавить пояснения или рассуждения. Между моментом, когда в капитанскую каюту вошли тот, кому не суждено было покинуть ее живым, и тот, кто покинул ее осужденным на смерть, и завершением упомянутой выше тайной беседы протекло не более полутора часов. Тем не менее и этого времени оказалось достаточно, чтобы матросы принялись гадать, почему каптенармус и Детка Бадд так долго остаются в капитанской каюте, — ведь кто-то видел, как они туда вошли, но вот обратно ни тот ни другой не вышел. Этот слух стремительно распространился по батарейным палубам и по реям — матросы большого военного корабля чрезвычайно сходны с жителями маленьких деревушек в том, что подмечают

малейшие подробности мельчайших происшествий или же их отсутствие. Вот почему, когда во время второй полувахты, хотя погода отнюдь не была бурной, раздалась команда «Все наверх!», весьма редкая в такие часы, матросы почти не сомневались, что им предстоит услышать нечто необыкновенное и к тому же как-то связанное с продолжительным отсутствием каптенармуса и юного фор-марсового.

Волнение на море было несильным, и почти уже круглый диск недавно взошедшей луны лил серебристый свет на белый спардек, исчерченный длинными четкими тенями снастей и движущихся людей. По обеим сторонам квартердека выстроились караулы морской пехоты, и капитан Вир, окруженный всеми офицерами корабля, обратился к матросам с речью. Он держался так, как подобало командиру корабля. Коротко и ясно он сообщил им обо всем происшедшем в его каюте, о смерти каптенармуса и о том, что убивший его матрос уже предстал перед судом, приговорен к смерти и на рассвете будет казнен. Он ни разу не употребил слова «мятеж». Не воспользовался он этим случаем и для того, чтобы строго напомнить о требованиях дисциплины, полагая, вероятно, что при суще-

ствующих обстоятельствах лучше предоставить последствиям нарушения дисциплины самим говорить за себя.

Стоящие рядами матросы выслушали своего капитана в немом безмолвии, подобном тому, с каким сидящие рядами прихожане, чья вера в загробное возмездие неколебима, слушают, как их священник провозглашает свою кальвинистскую доктрину.

Однако под конец его речи раздался неясный ропот. Он начал было усиливаться, но тут по знаку капитана его пронизал и заглушил пронзительный свист боцманских дудок, подающих сигнал «Свободная вахта вниз!».

Тело Клэггерта было передано унтер-офицерам, с которыми он столовался и которым надлежало приготовить его для погребения. И тут, чтобы не отвлекаться в дальнейшем, следует прибавить, что в назначенный час труп каптенармуса был предан морским волнам с церемониями, какие положены этому чину.

С той минуты, когда трагедия стала достоянием гласности, все совершалось в строжайшем согласии с требованиями обычая. Любое самое незначительное отступление от него, как в отношении Клэггерта, так и в отношении Билли

Бадда, вызвало бы нежелательные толки среди команды, ибо матросы — и особенно матросы военного флота — великие блюстители обычая.

По этой же причине всякие сношения между капитаном Виром и осужденным прекратились после описанной беседы за закрытыми дверями, и Билли Бадда теперь готовили к смерти обычным порядком. Из капитанской каюты его увели под стражей, но, казалось, без каких-либо особых предосторожностей — во всяком случае, видимых.

На военном корабле существует негласное правило: ни в коем случае не допускать, чтобы матросы догадывались о том, что офицеры подозревают их в каких-нибудь противозаконных замыслах. И чем серьезней положение, тем старательнее офицеры прячут свои опасения, хотя и стараются быть готовыми ко всему.

В описанном нами случае часовой получил строжайший приказ не позволять приближаться к осужденному никому, кроме священника. И приказ этот был подкреплен другими не столь явными, но действенными мерами.

XX

На старинном семидесятичетырехпушечном корабле так называемая верхняя батарейная палуба находилась под спардеком, который, хотя на нем тоже стояли пушки, был почти полностью открыт. При обычных обстоятельствах она была круглые сутки свободна от коек — они вешались на нижней батарейной палубе и на жилой палубе, которая служила не только общей спальней, но и местом хранения матросских сумок, а по обеим ее сторонам тянулись большие рундуки, заменявшие матросским артелям кладовые и посудные шкафы.

И вот мы видим Билли Бадда у правого борта верхней батарейной палубы «Неустрашимого», где он, закованный в железа, лежит под охраной часового в узком пространстве между двумя пушками, которые расставлены через равные промежутки вдоль обоих бортов, выглядывая дулами в порты. Обе эти батареи состояли из самых тяжелых орудий, какие существовали в ту пору. Они были уложены в громоздкие деревянные станки и казались еще более неуклюжими из-за мощных рымов у казенной части и брю-

ков — толстых канатов, с помощью которых их выдвигали в порты. Пушки, станки, а также подвешенные над ними длинные банники и более короткие пальники были, по обычаю того времени, выкрашены черной краской, да и цвет пеньковых просмоленных брюков не уступал им в похоронной мрачности. На таком траурном фоне одежда распростертого возле пушки матроса — белая фуфайка и белые парусиновые штаны, хотя и довольно замызганные, — смутно белела в полутьме этой глубокой ниши, точно пятно потемневшего снега в начале апреля перед черным провалом какой-нибудь горной пещеры. Собственно говоря, он уже облачен в саван, потому что другого у него не будет. Над ним, покачиваясь, еле теплятся подвешенные к двум толстым бимсам спардека два боевых фонаря, которые заправлены ворванью, полученной от военных поставщиков (чья прибыль, честная и нечестная, в любой стране составляет заранее учитываемую долю в урожае смерти). Скудное мерцание грязновато-желтого света только оскверняет бледные лунные лучи, которые с трудом просачиваются через открытые порты над жерлами пушек, заткнутых дульными пробками. И остальные фонари, покачивающиеся

через равные промежутки по всей длине батарейной палубы, нисколько не разгоняют сумрака в тупиках между пушками — тупики эти, точно исповедальни или маленькие боковые часовни в соборе, ответвляются в обе стороны от длинного, смутно освещенного центрального прохода между батареями правого и левого борта.

Такой была палуба, где между двумя пушками, словно зажатый в тисках судьбы, лежал Красавец Матрос. Никакая бледность не могла бы стереть розовато-золотистый загар с его щек. Для этого потребовалось бы скрыть его от солнца и свежего воздуха не на один, а на много дней. Однако на скулах золотистая кожа натянулась, обрисовывая кости черепа. Муки горячих искренних сердец пожирают ткани тела так же стремительно, как пожар, скрытно разгоревшийся в корабельном трюме, пожирает тюки хлопка.

Однако к этому времени душевная агония Билли, во многом порожденная тем, что юное великодушное сердце впервые соприкоснулось с дьявольским началом, присущим некоторым людям, — эта агония уже стихла. Что-то во время беседы с капитаном Виром за замкнутыми дверями каюты исцелило его. Билли лежал недвижно, словно в забытьи, и уже упоминавшееся свой-

ственное ему детское выражение стало еще более детским, придавая ему сходство с дремлющим в колыбели младенцем, когда тихая спальня застыла в ночном безмолвии и только теплые отблески огня в камине играют на ямочках, которые беспричинно то появляются на розовой щечке, то вновь исчезают. Ибо время от времени лицо закованного озарял благостный счастливый свет, порожденный случайным воспоминанием или грезой, и угасал для того лишь, чтобы через мгновение снова вспыхнуть.

Пришедший к нему священник, увидев состояние осужденного и убедившись, что его появление осталось незамеченным, постоял немного, внимательно вглядываясь в безмятежное лицо, а затем удалился, быть может, с мыслью, что даже он, служитель божий, пусть и на военном жалованье, не может предложить утешения, которое принесло бы больший мир, нежели тот, в коем уже пребывала эта душа. Но перед рассветом он пришел вновь. Осужденный, уже очнувшийся от своего транса и замечавший теперь, что происходит вокруг, поздоровался с ним почтительно и чуть ли не весело. Но тщетно старался добрый пастырь пробудить в Билли смиренное сознание, что на заре ему предстоит умереть. Правда, сам

Билли не раз упоминал о своей близкой смерти, но делал это с той легкостью, с какой говорят о смерти дети, охотно чередующие другие забавы с игрой в похороны, когда, соорудив из тележки катафалк, они следуют за ним траурной процессией. Это вовсе не значит, будто Билли, подобно ребенку, вообще не понимал, что такое смерть. Нет, но он был вовсе лишен безотчетного страха перед ней — страха, который в высокоцивилизованном обществе куда сильнее, чем среди так называемых дикарей, во всех отношениях стоящих ближе к первозданной Природе. Но ведь уже говорилось, что Билли, в сущности, был дикарем — совсем таким же (вопреки различиям в одежде), как его земляки, британские пленники, которые в качестве живых трофеев шли за колесницей Германика во время его триумфа. Совсем таким же, как те юноши, которые в более поздние времена были отобраны среди первых британцев, обратившихся в христианство (во всяком случае, формально), и отосланы в Рим — как в наши дни новообращенных с более мелких островов иной раз отправляют в Лондон. И тогдашний римский папа, восхищенный их необычной, столь не похожей на итальянскую красотой, их свежими румяными лицами и льня-

ными кудрями, воскликнул: «Англами (как тогда еще именовали англичан), англами называете вы их? Не потому ли, что видом они подобны ангелам?» Случись это в более позднюю эпоху, можно было бы подумать, что папа вспомнил серафимов Фра Анджелико, которые собирают яблоки в садах Гесперид и нежным розовым цветом лица напоминают юных английских красавиц.

XXI

Если добрый священник не сумел внушить юному дикарю те представления о смерти, которые символизировали череп над скрещенными костями и песочные часы, изображавшиеся в старину на могильных плитах, не менее тщетными, по всей видимости, оставались и его усилия обратить мысли осужденного к вечному спасению и к Спасителю. Билли внимательно слушал его наставления, но более из врожденной вежливости, чем с трепетом или благоговением, и, без сомнения, пропускал их мимо ушей, как это свойственно морякам его класса, когда им приходится выслушивать проповеди о предметах отвлеченных или далеких от будничного привычного мира. Этот матросский способ восприятия богословских рассуждений во многом сродни тому, как на тропических островах времен капитана Кука и несколько позже так называемый благородный дикарь — например, таитянин — внимал доводам первого миссионера, толковавшего о чуде пресуществления и прочем. Он слушал учтиво, но без всякого интереса. Словно на ладонь протянутой руки клали подарок, но пальцы не

смыкались на нем.

Однако священника «Неустрашимого» отличала терпимость — ему была свойственна мудрость доброго сердца. А потому он не стал навязывать благочестивых утешений тому, кто в них не нуждался. По приказанию капитана Вира один из лейтенантов сообщил ему все, что было известно о Билли, и вот, чувствуя, что пред ликом Верховного Судии невинность духа весит более религиозности, он с неохотой удалился. Но прежде, повинуясь владевшему им чувству, он совершил поступок, странный для англичанина и при подобных обстоятельствах еще более странный для лица, носящего духовный сан. Наклонившись, он поцеловал в нежную щеку собрата-человека, преступника в глазах военного закона — того, кого даже в преддверии смерти он был не в силах приобщить догме и тем не менее в чьем спасении он не сомневался.

Не дивитесь, что достойный пастырь, узнав, как мало, в сущности, был виновен молодой матрос, не сделал ничего, чтобы избавить жертву беспощадной военной дисциплины от незаслуженной кары. Ведь всякая попытка с его стороны не только пропала бы втуне, как глас вопиющего в пустыне, но и была бы дерзким

нарушением принятых правил, ибо круг его обязанностей определялся военным уставом с не меньшей строгостью и категоричностью, чем круг обязанностей боцмана или кого-либо из офицеров. Попросту говоря, судовой священник — это служитель Князя Мира, состоящий в свите Марса, бога войны. И выглядит он в ней столь же неуместно, как неуместен был бы мушкет на аналое в сочельник. Так почему же его в эту свиту включают? А потому, что он косвенно способствует той же цели, которую провозглашают пушки; и еще потому, что в его лице религия кротких духом как бы санкционирует то, в чем воплощено отрицание всего, кроме грубой силы.

XXII

Ночь, столь светлая на спардеке (хотя и полнившая пещерным мраком нижние палубы, в эти часы напоминающие ярусы штолен в угольной шахте), эта ночь наконец миновала. Подобно пророку, который, возносясь на колеснице в небеса, сбросил свою милость на Елисея, уходящая ночь передала свои бледные покровы занимающемуся дню. Робкий смиренный свет забрезжил на востоке за легкой колышущейся дымкой, которая курчавилась, словно белое руно. Этот свет медленно разгорался. На корме отбили одну склянку, и с носа донесся такой же, но более громкий металлический звон. Четыре часа утра. И тотчас серебристо залились дудки, вызывая команду наверх, где ей предстояло присутствовать при казни. Из главного люка, обрамленного ящиками с ядрами, хлынула на палубу свободная вахта и, мешаясь с дежурной вахтой, заполнила все пространство между фок-мачтой и грот-мачтой, а подносчики пороха и самые молодые матросы взобрались на большой катер и на черные штабеля реев по его сторонам, откуда можно было наблюдать за происходящим без всяких помех.

А с марса фок-мачты, который на семидесятичетырехпушечном корабле не уступал по размерам хорошему балкону, перегибаясь через перила, смотрели вниз на толпу фор-марсовые. И старые, и молодые хранили молчание, а если кто и заговаривал, то лишь шепотом. Капитан Вир — как всегда, центральная фигура в группе офицеров — стоял спиной к корме у самого края полуюта. Прямо под ним на квартердеке в полном вооружении выстроились солдаты, совсем так же, как и при объявлении приговора.

В старину на военных кораблях матросов обычно вешали на рее фок-мачты. Но на этот раз по особым соображениям был выбран грота-рей. И осужденного привели под нок грота-рея. С ним был священник, и многие заметили про себя, а после обсуждали вслух, что этот последний в заключительной сцене ни в чем не проявил поспешности или небрежности. Напутствовал он осужденного лишь кратко, но истинно евангельский дух был и в его голосе, и во взгляде, обращенном на Билли. Два младших боцмана быстро и по всем правилам обрядили осужденного. Билли стоял лицом к корме. В последнее мгновение он сказал только одно — сказал ясно, без малейшей запинки:

— Да благословит Бог капитана Вира!

Столь неожиданное восклицание, сорвавшееся с уст того, чью шею обвивала позорная петля, благословение, посланное тем, кого закон считал преступником, на корму, это средоточие чести, слова звонкие и гармоничные, как трель певчей птицы, готовой вспорхнуть с ветки, — эти слова произвели необычное впечатление, еще усиленное редкой красотой молодого матроса, которой пережитые муки придали теперь тонкую одухотворенность.

И все матросы на палубе и на снастях, словно обратившись в проводники некоего звучащего электричества, как эхо, невольно повторили в один голос:

— Да благословит Бог капитана Вира!

Тем не менее в этот миг их сердца, как и взоры, без сомнения, были обращены только к Билли.

Однако ни сами эти слова, ни их нежданное звучное эхо не нарушили стоического самообладания капитана Вира — а может быть, все его чувства вдруг сковал паралич; но как бы то ни было, он продолжал стоять неподвижно и прямо, точно мушкет в ружейной стойке.

«Неустрашимый», медленно выравниваясь после крена на левый борт, только-только встал

на ровный киль, когда был дан последний — немой — сигнал. И в тот же миг колыхавшуюся на востоке курчавую дымку пронизал свет, точно руно Агнца Господня, представшее в мистическом видении, а Билли возносился все выше над тесной массой запрокинутых человеческих лиц и, возносясь, оделся всем розовым блеском зари.

Ко всеобщему удивлению, тело, повисшее над ноком грота-рея, оставалось совершенно неподвижным, если не считать легкого покачивания в такт медлительным наклонам с борта на борт, которые в тихую погоду придавали такую гордую величавость огромному парусному кораблю, вооруженному тяжелыми пушками.

Отступление

Несколько дней спустя за обедом в кают-компании казначей, краснощекий толстяк, привыкший иметь дело более со счетами, нежели с философией, заговорил с корабельным врачом о только что упомянутой странности и заключил свою речь замечанием:

— Каким могуществом, однако, обладает сила воли!

На что врач, сухопарый, высокий человек, в котором склонность к едкости сочеталась с холодной вежливостью, лишенной и следа добродушия, ответил:

— Извините, господин казначей. Когда повешенье производится научно — а по особому распоряжению я лично проследил, чтобы все было сделано как следует, — любое движение тела казнимого после того, как оно полностью поднимется в воздух, является следствием мышечной спазмы. А потому сила воли, как вы изволили выразиться, повинна в неподвижности тела не более, чем, с вашего позволения, лошадиная сила.

— Но ведь мышечная спазма, о которой вы

говорите, при подобных обстоятельствах более или менее неизбежна?

— Безусловно, господин казначей.

— Так как же, любезный сэр, вы объясните ее отсутствие в данном случае?

— Господин казначей, совершенно очевидно, что вы смотрите на этот случай несколько по-иному, чем я. Вы находите ему объяснение в том, что вы называете «силой воли», — но термин этот еще не включен в язык науки. Я же попросту не берусь его истолковывать, так как нынешних моих знаний для этого недостаточно. Даже если предположить, что, едва петля начала затягиваться, сердце Бадда не выдержало невыносимого напряжения чувств и остановилось — подобно часам, когда, заводя их, вы неосторожно затянете пружину и она лопнет, — даже в этом случае чем можно объяснить такую необычную неподвижность?

— Так, значит, вы признаете, что отсутствие судорожных подергиваний было необычным?

— Да, господин казначей. Как необычно все, чему мы не сразу можем найти объяснение.

— Но скажите, любезный сэр, — упрямо продолжал казначей, — была ли смерть этого матроса причинена петлей, или же она явилась своего

рода эвтаназией?

— Эвтаназия, господин казначей, относится к тому же классу явлений, что и ваша сила воли. Я такого научного термина не знаю — еще раз прошу у вас извинения. Это определение метафизично и фантастично одновременно — другими словами, истинно греческое слово. Однако, — добавил он уже другим тоном, — в лазарете меня ждет больной, которого я не хотел бы предоставить заботам только моих помощников. Прошу прощения. — И, встав из-за стола, он удалился с общим церемонным поклоном.

XXIII

Безмолвие, воцарившееся в минуту казни, продлилось еще несколько мгновений, лишь подчеркнутое мягкими ударами волн о борта и шумом заполоскавшего паруса, когда рулевой на миг отвлекся от своих обязанностей, но затем в это глубокое безмолвие, постепенно нарастая, вторгся звук, который почти невозможно описать словами. Тот, кому довелось услышать отдаленный рев стремительного потока, когда после тропических ливней, разразившихся высоко в горах, но не оросивших равнины, он внезапно выходит из берегов и грозный вал устремляется вниз через леса на склонах, — тот, кому довелось услышать его первый приглушенный гул, может, пожалуй, представить себе, каким был этот звук. Кажущаяся его отдаленность объяснялась лишь тем, что он оставался пока неясным ропотом, хотя источник его был тут же — он вырывался из груди матросов, заполнивших верхнюю палубу. Ропот этот не разделялся на слова, и можно было только догадываться, что его породила одна из тех капризных перемен мыслей или чувства, которым бывает подвержена возбужденная толпа

на суше — в нашем же случае он, вероятно, был вызван угрюмой злобой, охватившей матросов при воспоминании о том, как они невольно повторили благословляющие слова осужденного. Но прежде чем ропот успел перейти в рев, ему положила конец своевременная стратегическая команда, тем более властная, что она была отдана внезапно и без какого-либо предупреждения:

— Боцман, свистать свободную вахту вниз! Проследи, чтобы на палубе никого лишних не оставалось!

И резкие звуки боцманских дудок, пронзительные, как крики морского орла, ворвались в зловещий нарастающий гул, рассеивая и приглушая его. Привычка сразу и беспрекословно подчиняться сигналам взяла верх над всем, и вскоре толпа на палубе поредела наполовину. Остальных же немедленно разослали по вантам брасопить реи или подтягивать шкоты — вахтенный офицер всегда сумеет найти дело для незанятых рук.

Все процедуры, следующие за исполнением смертного приговора, вынесенного в море военным судом, выполняются с незамедлительностью, которая только-только не переходит в торопливость. Койка, на которой при жизни спал

Билли, уже была утяжелена ядрами и вообще приспособлена для того, чтобы послужить ему парусиновым гробом, и морские гробовщики — помощники парусного мастера — вскоре закончили остальные приготовления. Затем вновь прозвучала команда «Свистать всех наверх», ставшая необходимой из-за описанного выше стратегического хода, и погребение совершилось.

Подробности этой заключительной церемонии приводить тут нет нужды. Но едва бремя соскользнуло с наклоненной доски в море, вновь раздался тот же глухой ропот, однако теперь к нему примешались хриплые крики неких больших морских птиц, чье внимание привлек всплеск и странное бурление воды, когда в нее косо соскользнула отягощенная ядрами койка. Они слетелись к кораблю со всех сторон настолько близко, что можно было расслышать сухой треск их длинных узких перьев. Когда же легкий ветер увлек корабль дальше и место погребения осталось за кормой, птицы эти еще долго кружили там над самой водой, испещряя ее мелькающими тенями широко распростертых крыльев, а их крики сливались в хриплый реквием.

Матросы «Неустрашимого», суеверные, как

все моряки эпохи, предшествовавшей нашей, только что узрели чудо в безмятежной неподвижности повисшего в воздухе тела, которое теперь медленно опускалось на дно, и, конечно, по-своему истолковали поведение морских птиц, на деле, без сомнения, просто высматривавших добычу в полном согласии со своими хищными инстинктами, и приписали ему отнюдь не прозаическое значение. Среди них началось неясное движение в сторону квартердека. Но его терпели недолго. Внезапно барабанная дробь возвестила утреннюю поверку — эти знакомые звуки, раздававшиеся не реже двух раз в сутки, на сей раз были проникнуты какой-то особой настойчивостью. Долгая военная муштра воспитывает в заурядных натурах механическую покорность, и такой человек подчиняется командам с почти инстинктивной поспешностью.

Барабанная дробь рассеяла толпу и отослала бо`льшую ее часть на батарейные палубы. Орудийная прислуга, безмолвно выпрямившись, встала у пушек. Через несколько минут старший офицер со шпагой под мышкой уже занял свое место на квартердеке и начал принимать рапорты от лейтенантов, командующих батареями, а затем, держа, как положено, руку у козырька,

в свою очередь, отдал общий рапорт капитану. На все это потребовалось немало времени — для того-то сигнал утренней поверки и был дан на час ранее положенного. То обстоятельство, что капитан Вир, слывший сухим педантом во всем, что касалось службы, почел необходимым такое отступление от заведенного распорядка, свидетельствует, насколько, по его мнению, настроение матросов, при всей своей, как он полагал, временности, требовало необычных действий. «Для рода людского, — не раз говорил он, — важнее всего форма, внешняя размеренная форма. В этом-то и заключается смысл мифа об Орфее, который игрой на лире завораживал диких обитателей лесов». И сам он прибег к этому средству, чтобы воспрепятствовать чарам той обольстительной формы, которая рождалась за Ла-Маншем, и не допустить неизбежных последствий ее чар.

Несмотря на необычный час, все происходило как положено. Оркестр на квартердеке сыграл гимн. Затем священник приступил к обычной утренней службе. После ее окончания барабан прогремел отбой, и матросы, которых музыка и религиозный обряд, предназначенный для подкрепления дисциплины и воинского духа,

вернули в привычную колею, послушно разошлись по нижним палубам, где им полагалось быть в свободные от вахты часы.

К этому времени день уже полностью вступил в свои права. Курчавая дымка исчезла, выпитая солнцем, которое еще так недавно зажигало ее золотым блеском. И воздух вокруг напоминал своей ослепительной чистотой отполированный белый мрамор плиты, еще не увезенной со двора гранильщика.

XXIV

Гармоничность частей, которой можно добиться, сочиняя романы, не столь легко достигается в повествовании, чуждом выдумке и придерживающемся действительных фактов. Правду, рассказанную без обиняков, нельзя округлить и уложить в рамки, а потому конец подобного повествования редко обладает архитектурной законченностью сочиненной развязки.

Не уклоняясь от истины, мы поведали о том, что произошло с Красавцем Матросом в год Великого Мятежа. Однако, хотя эта история, собственно, кончается вместе с его жизнью, было бы нелишним заключить ее подобием эпилога. Для этого достаточно будет трех коротеньких глав.

Когда при Директории переименовывались суда, составлявшие прежде военный флот французской монархии, линейный корабль «Святой Людовик» превратился в «Атеиста». Это название, как несколько других, ему подобных, которые получили корабли Революции, конечно, свидетельствовало о кощунственной дерзости стоящих у власти, но кроме того (пусть они об этом и не думали), на редкость подходило для военного

корабля — намного более, чем принятые ныне «Опустошение», «Эреб» («Ад») и прочие в том же духе.

Возвращаясь к английской эскадре из крейсерского плавания, во время которого произошли изложенные тут события, «Неустрашимый» повстречался с «Атеистом». Завязался бой, и капитан Вир уже подводил свой корабль вплотную к противнику, чтобы взять его на абордаж, как вдруг его поразила мушкетная пуля, пущенная из иллюминатора капитанской каюты «Атеиста». Он упал на палубу, тяжело раненный, и его унесли вниз, в тот же лазарет, где уже лежало несколько его матросов. Командование принял первый лейтенант. В конце концов вражеский корабль удалось захватить и отвести — что было редкой удачей, так как он сильно пострадал в бою, — в Гибралтар, английский порт, ближайший к месту сражения. Там капитана Вира вместе с прочими ранеными снесли на берег. Несколько дней спустя он умер. Преждевременная гибель помешала ему принять участие в битвах при Абукире и Трафальгаре. И духу, который, несмотря на всю его философскую суровость, мог все же таить самую скрытную из всех страстей — честолюбие, не суждено было упиться желанной славой.

В смертный час, одурманенный тем магическим средством, которое, смягчая телесные страдания, таинственно воздействует на человеческое сознание, он пробормотал слова, оставшиеся непонятными для склонившегося над ним служителя: «Билли Бадд, Билли Бадд». Но в них, по-видимому, не слышалось угрызений или раскаяния, как явствует из того, что сообщил о них служитель начальнику морской пехоты «Неустрашимого». Офицер же этот ничего не стал ему объяснять, хотя был членом военного суда и более остальных противился вынесению смертного приговора, а потому лучше всякого другого знал, кто такой Билли Бадд.

XXV

Через несколько недель после казни в официальном морском еженедельнике того времени под заголовком «Известия со Средиземного моря» был напечатан отчет о случившемся. Несомненно, его автор вовсе не желал преднамеренно искажать истину, но главным источником его сведений были, по-видимому, слухи, что привело к неверному освещению и прямому извращению фактов. Издание это давно уже прекратилось и кануло в забвение, но поскольку представление о том, какими людьми были Клэггерт и Билли Бадд, прежде можно было получить только из указанного отчета, он воспроизводится тут целиком.

«Десятого числа прошлого месяца на борту линейного корабля его величества “Неустрашимый” имело место прискорбное происшествие. Джон Клэггерт, корабельный каптенармус, обнаружив, что среди низших чинов зреет тайный заговор и что зачинщиком является некий Уильям Бадд, как раз собирался обличить последнего перед капитаном, когда мстительный негодяй внезапно поразил его ножом в самое сердце.

Как само злодеяние, так и его орудие со всей

несомненностью указывают, что убийца, хотя он и числился на службе под английской фамилией, был вовсе не англичанином, а одним из тех принимающих английские имена иноземцев, которых из-за нехватки людей наш флот все чаще вынужден зачислять в матросы.

Чудовищность этого преступления и гнусная закоренелость преступника производят еще более отвратительное впечатление из-за личности жертвы — человека средних лет, почтенного и надежного, носившего унтер-офицерский чин, а ведь кому, как не офицерам, знать, в какой мере именно от унтер-офицеров зависят успехи флота его величества. Он исполнял весьма ответственную должность, многотрудную и неблагодарную, и его усердие было тем похвальнее, что оно подкреплялось патриотическим пылом. Характер этого достойного и злополучного человека — еще один пример из множества таких же примеров, с которыми мы постоянно встречаемся в наши дни, опровергающий (если тут нужно опровержение!) приписываемую доктору Джонсону брюзгливую шуточку, будто патриотизм — это последнее прибежище негодяя.

Преступник понес законную кару за свое злодеяние. Незамедлительность, с какой она была

приведена в исполнение, оказала самое благотворное воздействие. В настоящее время на борту линейного корабля “Неустрашимый” царит полнейшее спокойствие».

XXVI

Память о любом из ряда вон выходящем событии долго живет на военных кораблях. Любой материальный предмет, связанный с чем-либо необычным, превращается в памятник. И матросы несколько лет следили за судьбой грота-рея, на котором был повешен фор-марсовый. Мрачная слава последовала за этим реем с корабля на верфь, а оттуда — вновь на корабль и продолжала жить, даже когда он опять перекочевал на верфь уже в качестве простой балки. В глазах матросов щепочка от него была словно кусок истинного Креста Господня. Хотя они не имели ни малейшего представления о том, что произошло на самом деле, и принимали казнь как само собой разумеющееся воздаяние, тем не менее они инстинктивно чувствовали, что Билли был не способен ни на мятеж, ни на преднамеренное убийство. Они вспоминали свежее юное лицо Красавца Матроса — лицо, которое никогда не искажала злобная усмешка или какая-нибудь тайная порочная страсть. Без сомнения, он так глубоко врезался в их память и из-за своей безвременной гибели, тем более что гибель эта была окружена

некоторой таинственностью. Общее мнение о бесхитростной простоте его характера, сложившееся на батарейных палубах «Неустрашимого», в конце концов воплотилось в безыскусственных стихах другого фор-марсового, его товарища по вахте, который, как это нередко среди матросов, был наделен поэтическими склонностями. Просмоленные пальцы начертали несколько строк, которые долго передавались из рук в руки среди команды и позже были напечатаны в Портсмуте на отдельном листке как баллада. Заголовок принадлежит автору-матросу.

Билли в кандалах

Священник сюда не побрезгал спуститься,
Чтоб за такого, как я, помолиться,
За Билли Бадда. А стало светлей,
Нож часового во тьме серебрится,
И свет луны на пушку струится.
Он сгинет с последней зарею моей.
Да, ясного солнца не видеть мне боле.
Повесят на рее меня, как серьгу,
Что вдел я в ушко тогда бристольской Молли,

И мне не бывать уж на берегу.

Так-то я лихо, чуть утро займется,

Взлечу без команды «по вантам» на рей.

Ну, и голодным мне быть не придется —

Пару-другую дадут сухарей.

Товарищ нальет мне последнюю чарку.

А вешать придется кому из ребят?

Да, «к фалам», наверное, тут не свистят…

А может, я сплю? Мне мерещится это?

И надо бы только дождаться рассвета?

Мне кануть на дно? Барабаны забили,

Вон ром разливают, и нету лишь Билли?

Столкнут меня в воду – и дело с концом?

А Дональд поклялся с доской рядом стать,

Так руку ему я успею пожать…

Да нет, я ведь буду уже мертвецом.
Видал я, как Таффи, валлиец, утоп,
Румяный такой. А мне сделают гроб —
Зашьют меня в койку, швырнут в глубину.
Все глубже и глубже во сне я тону.
Сомкнулась вода... Часовой, где ты тут?
Ослабь кандалы, они руки мне трут.
Не видеть мне больше ни ночи, ни дня.
Морская трава оплетает меня.